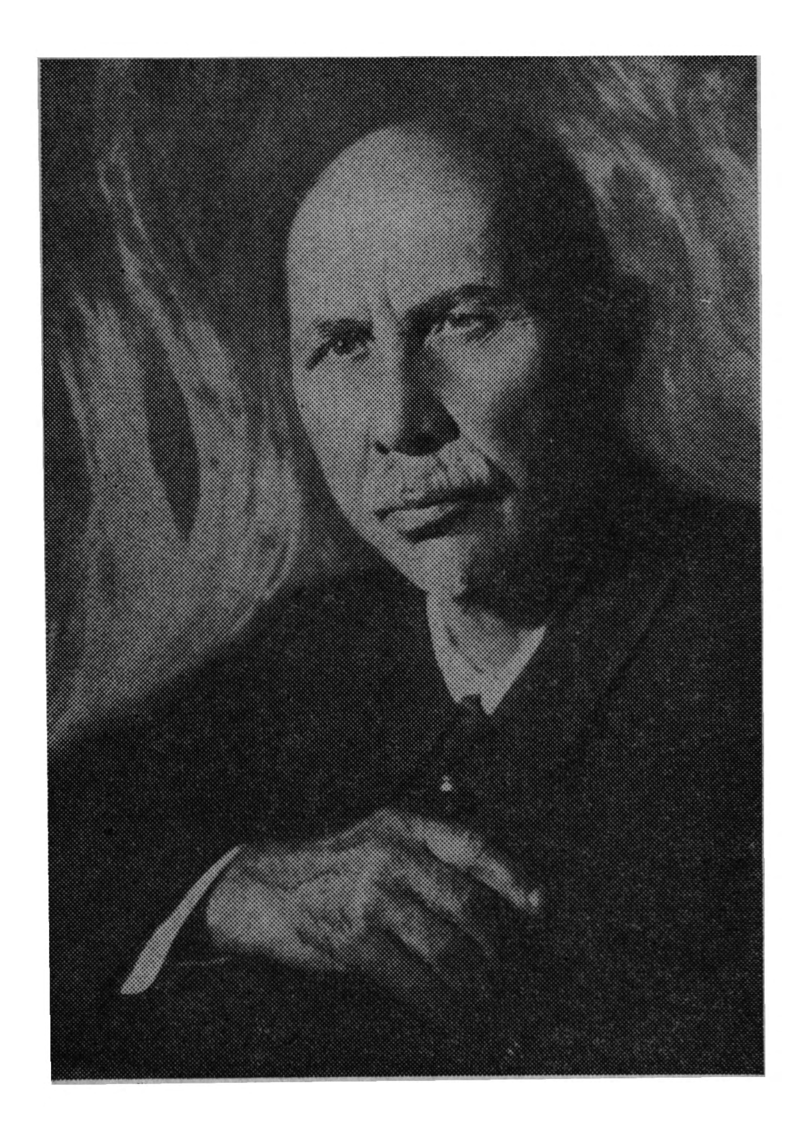
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ ОБ

А. С. СЕРАФИМОВИЧЕ





ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ ОБ А. С. СЕРАФИМОВИЧЕ



Сборник

МОСКВА СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1977

8Р2
В77

А. С. Серафимович (Попов) — выдающийся советский писатель, один из зачинателей новой социалистической литературы. Автор знаменитого «Железного потока», он прославил свое имя еще до революции как создатель цикла рассказов о людях труда и романа «Город в степи».

Творчество и личность А. С. Серафимовича — живое воплощение традиций русской классической литературы и тех новых качеств, которые развились в ней после Великого Октября. Художник, глубоко демократичный по самым основам своего щедрого таланта, он являл своим творчеством и всей жизнью образец подлинной партийности, целеустремленного поиска. Его «Железный поток» открыл в советской литературе путь к большому реалистическому искусству — масштабному роману-эпопее.

Книга воспоминаний вводит читателя в истоки творчества А. С. Серафимовича, в мир его многогранной литературной и общественной деятельности, расширяет наше представление об истории создания произведений этого замечательного художника слова.

В $\frac{70302-260}{083(02)-77}$ 79—77

А. В. Луначарский

ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ

I

наружности, в манере Александра Серафимовича Серафимо́вича есть что-то как будто несколько тугое, что-то веское, даже увесистое, несколько медлительное и очень сильное.

Его друзья, например Леонид Андреев, с которым он дружил в лучшую пору этого писателя, называли его Лысогором. Писать он начал довольно поздно и тоже как будто несколько туго.

Если он рассказывает о себе, что ему приходилось просиживать иной раз много часов, чтобы как следует осилить десять строчек из «Капитала» Маркса, то он почти теми же словами повествует и о своих первых литературных работах — тоже по десять строчек в сутки удавалось ему написать, делая бесконечное количество поправок.

Этой туговатой, замедленной поступью прошел т. Серафимович большую часть своего жизненного и творческого пути. Он шел вперед, как танк, прокладывая себе очень прямой, очень уверенный путь. Эта неутомимым трудом, грудью проложенная дорога привела его к тому, что он вписал свое имя неизгладимыми чертами где-то очень близко от первых по времени и первых по качеству имен пролетарских писателей.

«Железный поток» — это значительное произведение Серафимовича, которое соединяет в себе художественную высоту, социальную значимость и обработку нового,

послереволюционного материала. После «Железного потока» можно уже было, опираясь на факты, сказать, что пролетарская литература не только предсказывает, не только оценивает грядущие явления пролетарской революции, но и отражает ее самое. В этом отношении «Железный поток» должен был быть поставлен рядом с «Матерью» Горького.

Серафимович и до революции был очень крупным писателем. Но та позиция, которую он занял непосредственно после Октября, и те произведения, которыми он откликнулся на послеоктябрьскую жизнь, бросили новый свет на весь его прошлый художественный путь и осветили этот путь так, что весь литературный подарок, который наш писатель принес людям, предстал как часть именно пролетарской литературы.

II

Серафимович происходит из казацкой военно-чиновничьей семьи. С самых первых лет своей жизни он соприкасался, однако, не только с тем средним классом, к которому принадлежал. Припомним, с какой благодарностью и с какой глубокой любовью говорит Салтыков-Щедрин о глубоких уроках, которые он получил на кухне, в людской, среди дворовых, раскрывших ему глаза на помещичий быт еще в те годы, когда сердце его было по-детски мягко. Так же точно и Серафимович говорит о себе в комментариях к сборнику своих произведений, названному «В дыму орудий»:

«Я получил в семье двойственное воспитание. На белой половине меня учили «благородным манерам» и «хорошему тону». Заботливая нянька пичкала меня всякой вкусной снедью. На черной же половине я узнавал от денщиков и горничных многое такое, что знать мне возбранялось. Тут я узнавал, в каких тяжелых условиях и в каком порабощении живут трудящиеся. Многое из тогдашних впечатлений на кухне оставило след на всю жизнь».

Уже с тех пор подросток, потом юноша, выглядевший немного увальнем (что сам Серафимович в себе отмечает), молчаливым степняком, стремится постичь быт обездоленных и трудовых масс.

Писатель-реалист, писатель-народник, однако без народнических односторонностей, присматривавшийся с большим вниманием к пролетариату, Серафимович завоевал внимание интеллигентской публики, а через то и доступ в журналы; но его слишком плебейские, слишком глубоко со дна черпавшие свой материал рассказы прочитывались обычно хозяевами литературы с «кислой рожей».

Эта «кислая рожа» в известной части (в то время очень и очень широкой части) русской интеллигенции превратилась в гримасу отвращения и негодования, когда Серафимович решительно встал на точку зрения пролетарской революции и принял на себя от Московского Совета исполнение известных, довольно важных функций.

Сам Серафимович так картинно описывает это событие, что мы считаем полезным воспроизвести его здесь еще раз.

Пришел он на так называемую «литературную среду». Было это вскоре после его назначения заведующим художественным отделом «Известий Московского Совета».

«Вдруг встает один художник и говорит: «Господа, прежде чем приступить .. и так далее, должен сделать заявление: среди нас находится лицо, которому не место здесь. Это лицо сотрудничает в газете Московского совдепа. Я вынужден предложить этому лицу оставить собрание... и так далее». Юлий Бунин, помню, тогда председательствовал. Потом встает один из молодых писателей. «Я,— говорит,— горячо присоединяюсь к предложению. Что у нас может быть общего с большевиками, этими узурпаторами, не признающими свободы печати?..» и т. д. Тут я подумал: «Пожалуй, выгонят, сукины дети!» Я и говорю: «Что же? Все присоединяются?» Все как в рот воды набрали. Я нервничал, конечно. Повернулся к выходу. Один писатель, тот, что говорил об «узурпаторах», протянул ноги. Я споткнулся, чуть не упал. После там, говорят, были восторги такие, что трудно описать. «Русские ведомости», захлебываясь, писали об этом».

Наш писатель, протянувший так смело руку пролетарской революционной организации, оказался, таким образом, выброшенным из среды пишущей братии. Он,

однако, не так легко сдался, он протестовал. В его фельетоне дан ответ изгонявшим его господам. В этом фельетоне он спрашивал себя: «Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, и те с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем, солдате?» И он отвечал: «Это объясняется тем, что наступила социальная революция и, как масло в воде, отделились все имущие от неимущих. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и все связанные с имущими — на другом».

Прекрасно объяснил это явление т. Серафимович еще в таких словах: «30 лет и 3 года без ног сидел народ, а теперь поднимается. И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники, как проникновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, озлобленного! А когда он стал подниматься, когда широко разомкнулись на сотни лет сомкнувшиеся глаза, когда он пытается говорить не косноязычное «тае», а по-человечески, тогда от него слепота перекинулась на художников».

С тех пор А. Серафимович проникся еще бо́льшим желанием целиком и полностью пойти на службу революции. На службе у нее написал он и свою большую повесть «Железный поток», которая является только началом цикла «Борьба». На службе у нее написал он множество других прекрасных повестей и острых, правдивых летучих корреспонденций; на службе у нее он работал в качестве заведующего ЛИТО. И — как это я лично помню, ведь мы всегда работали в Наркомпросе вместе, — как заведующий заботился Серафимович прежде всего о привлечении талантов из самых недр пролетариата, об обучении их, о помощи им. Недаром еще в том фельетоне, которым он отмахнулся от своих врагов, он писал: «Продолжайте, товарищи, охранять чудесное наследство искусства прошлого и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его. Берегите как зеницу ока то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадное дарование и не оторвалось от вас».

На службе революции остается маститый писатель и сейчас, и мы еще ждем новых даров от его творчества.

III

Постараемся охарактеризовать коротко этот дар Серафимовича, каким он лежит сейчас перед нами.

С самого начала, когда у писателя проснулась жажда литературного творчества, он обратил внимание на то, что всегда призывало его, призывало мучительно: на судьбу тружеников. Серафимович прекрасно понимает, что труд — великое благо, что труд — все порождающая сила, что труд — творческая радость. Но в действительности он не находил такого труда. Характерным для труда, для работы того времени было своеобразное полурабство, которое, уже освободившись от легальных крепостнических черт, экономически было не менее мощным и мрачным. «Суровый и угрюмый север», куда закинула Серафимовича ссылка, показал ему на своих детях этот «проклятый» труд, безрадостно напряженный, отдающий свои плоды другому, эксплуататорумущему. Картины этого жестокого, как пытка, труда, связанного с постоянным риском жизнью, проходят в первых полотнах Серафимовича, и они-то заставили такого мастера, как Короленко, признать крупнейшее дарование новичка.

Замечательно, однако, что в этой первой серии рассказов («Месть», «На море» и др.) Серафимович изображает не только труд. Он имеет дело с тружениками-собственниками или с таким слоем, где труд и собственность сталкиваются и соприкасаются. Столько же места, как безрадостный героизм труда на других, занимает в произведениях Серафимовича и жажда приобретения, стяжательная страсть. Когда затронута собственность этого корявого, сурового, северного морского человека, он не знает пощады, он преобразуется в лютого зверя, и вы чувствуете, как ужасающе сильна власть демона-собственника над человеком.

Помните, читатель, как после страшного побоища между мелкими собственниками-рыбаками и ворами в живых остаются только двое? Обессиленные, они взбираются на опрокинутый баркас. Сперва, спасшись, они разговаривают довольно мирно. Мелкий собственник расспрашивает: как же это воровали, почем продавали.

«Тот молчал, и мрачное серо-зеленое лицо его чуть тронулось:

— Да сот на шесть...

И осекся. Этот, с задрожавшим от ярости подбородком, прохрипел, давясь словами:

— Нашими... кровными... трудовыми... а-а, кровопийцы!

Вцепился в горло, и оба рухнули в расступившуюся воду».

Серафимович насмотрелся много этакого, и с жуткой силой и простотой, правдивым художественным словом изображает он эксцессы, муки, преступления собственности.

Мы живем в первую пору организующегося социализма, но было бы странно отыскать среди нас человека, который бы не понял всего значения анализа полного скорби и ненависти изображения собственничества. Это наваждение еще не прошло, оно держит в своих руках огромное количество мещан наших городов и крестьян обновляющейся страны.

Недаром предупреждал нас великан Ленин, что легче покончить с титанической мощью крупного капитала, владеющего сотнями миллионов, обладателями заводов, копей, железных дорог, чем с этой мещанской мошкарой, с этим мещанским гнусом, который все еще наполняет воздух вокруг нас.

Оздоровить воздух, почву можно, только отдавая себе полный отчет в том, каков этот враг наш. И потрясающие повести Серафимовича о собственническом озверении — мотив, проходящий через многие и многие его произведения,— остаются поучительными и сейчас.

Но, раз начав свои очерки труда, Серафимович переходит прямо к рабочему. Конечно, его рассказы о рабочих — «Шахтер», «Под землей», «На заводе», «Стрелочник» и другие — рисуют еще рабочих старого времени. В их героях еще нет настоящей активности. Это не классово сознательный пролетариат. Серафимович относится с состраданием к этим труженикам, как сострадал он нищим-рыбакам, работавшим на хозяина. Но он сострадает им с глубоким уважением.

Особое место занимают в жизни и творчестве нашего писателя очерки, написанные им под влиянием потрясающих событий 1905 года. Пожалуй, и тут Серафимо-

вич еще не распознал до конца или, по крайней мере, не сделал объектом своего художественного внимания активность пролетариата в ее сознательной форме. Две вещи бросаются ему в глаза, две линии явлений и сопровождающих их чувств видим мы в этих рассказах: героическую решимость протестовать и жесточайшую кару, которая обрушивается за этот протест на рабочих:

«А как убьют? — спрашивают рабочего. — Под грохот канонады?» Тот отвечает: «Убьют — не откажешься... Нас давно убивают, не в диковину».

Рассказы-очерки «На Пресне», «Мертвый на улице» и другие остаются прекрасным памятником тех многознаменательных дней.

Проникнутый уважением к рабочему, Серафимович накопляет тем большее презрение к праздноболтающему либералу, к слабодушному меньшевику (рассказ «Мать»). Эти по размерам еще мелкие, но уже очень глубокие произведения подводят Серафимовича к большому полотну — «Город в степи». Это — роман, достойный Бальзака. Перед нами громадный организм города, возникшего около железной дороги и по-американски растущего так, что меняется не только его облик, но и характер его жителей и взаимоотношений. Процесс капиталистического набухания города, процесс расслоения его на классы показан на десятках людей, из которых каждый представляет собой замечательный тип. Роман чрезвычайно богат содержанием. Его социологические выводы бьют далеко. Вместе с тем он читается с захватывающим вниманием. На каждой странице читатель найдет нечто поучительное и для нашего времени.

Пришла революция, пришел окончательный переход Серафимовича на ее службу. Во время гражданской войны Серафимович работает больше всего как революционный корреспондент с театра военных действий, отчасти из тыла.

Вся серия в широком смысле слова батальных произведений Серафимовича собрана в томе «В дыму орудий». К этому тому Серафимович приложил свои комментарии. Они заслуживают большого внимания. Автор пишет в них:

«У меня был опыт «военного корреспондента», но корреспондировать в буржуазную газету — это одно, а в пролетарскую — совсем другое. Я, можно сказать,

был пионером, бродил ощупью. Но как-то инстинктивно осмысливал, что самое главное и важное — быть ближе к правде. Читателю-пролетарию не нужно никакого приукрашательства. Нужно, чтобы он вполне поверил корреспонденту. Тогда затраченная энергия не пропадает даром. Я ставил себе чисто утилитарные цели. Нужно было, чтобы из моей работы получился определенный результат».

Вот почему Серафимович как корреспондент не бил «на чувство, на психологию». Он говорит:

«Прежнее романтизирование театра войны было неуместно, тон моих корреспонденций был деловой. В империалистическую войну можно было более медлительно обрабатывать материал и давать образы.

В гражданскую же войну некогда было. Нужен был практический подход».

Из этих слов автора можно как бы сделать вывод, что его корреспонденции с театра гражданской войны менее художественны, менее обработаны, чем корреспонденции с театра войны империалистической. Однако это вовсе не верно. Простота тона, отсутствие украшений, стремление к деловитости сказались также и художественно большим плюсом.

Что мы находим в образцовых произведениях Серафимовича, написанных среди тягот похода, часто в условиях невероятно тяжелых? Прежде всего необыкновенную серьезность автора; вдумчивыми, зоркими глазами смотрит он на эти лица, на эти черты, слушает эти слова, пропускает через себя чувства суровые, простые, героические. Но и за этим серьезным и скупым, но верным, как хорошая гравюра, изображением стоят определенные чувства, крепко сросшиеся с идеей: идея — чувство, трепетное участие в этом деле, желание победы, желание содействовать, помочь.

Самым большим произведением Серафимовича, написанным на службе революции, является «Железный поток». Я уже говорил о том, каково значение этого произведения в смысле самоутверждения пролетарской литературы. Но это формальное значение может быть великим только в силу глубокой значительности произведения по существу. Хотя «Железный поток» стратегически есть отступление (его даже сравнивали с «Анабазисом» Ксенофонта — отступление 10 тысяч греков из

Малой Азии), но политически это наступление. Отступление шло среди боев, среди страшных бедствий, среди огромного напряжения сил, среди возникших эпидемий, сомнений и протестов, вызванных чрезмерными, почти нечеловеческими усилиями. Все это нужно было побеждать. Целью отступления было, во-первых, спасти жизнь колонны, во-вторых, привести ее на соединение с главными силами, социалистическими силами Красной Москвы.

Именно этот характер повести придает ей значение прообраза.

Составленная из мелкого люда, казацкой и крестьянской бедноты, колонна крепнет в боях. Путь ее поистине тернист: она внутренне, социально-психологически несет в себе полярные процессы: с одной стороны, мы видим людей, готовых отпасть, усталых, озлобленных, отчаивающихся; с другой стороны, какие-то иные силы колонны оказываются мощно центростремительными, преодолевают все препятствия, чтобы победить, дойти!

Так наша страна, как гигантская колонна, тоже в огромном большинстве по составу своему пестрая, крепнет, идя через неслыханные трудности, потому что она сознает в себе железную волю вождей, которые в состоянии побудить и принудить ее к действию и в то же время поддержать, обнадежить, руководить, организовать.

Вот почему, помимо своих огромных непосредственных художественных достоинств, помимо яркого реалистического описания этого непомерного похода через горы и бои, «Железный поток» близок сердцу каждого из нас, ибо, повторяю, он есть прообраз всего великого наступления, которое мы ведем уже второй десяток лет и которое так часто делало нас свидетелями явлений, близких к изображенным Серафимовичем.

IV

Несколько слов о методах Серафимовича как художника.

Серафимович — убежденнейший реалист. Он говорит в одном месте:

«Я твердо усвоил, что романтизм противоестествен. То, что не соответствует правде, меня в литературе всегда отвращало».

Действительно, правдивость — это сила Серафимовича. Его правдивость, однако, особенная. Он говорит:

«Я всегда боялся что-нибудь подсказать читателю, я хотел, чтобы мои образы, как зубами, схватили его и привели к должным выводам».

Как видите, Серафимович одновременно чуждается тенденциозности, чуждается белых и красных ниток в своем произведении, но в то же время прекрасно сознает, что образы должны убедительно приводить к определенным выводам.

Но для этого нужно соответствующим образом распределить наблюденный материал, сделать его выпуклее, значительнее, выдвинуть на первый план то, что важнее для цели, поставленной себе автором. Это делает Серафимовича представителем социалистического реализма. Он не фотограф, он проповедник, но проповедует он образами.

Проповедует он и тем, что показывает ужасы жизни, ужасы нищеты, ужасы подневольного труда, ужасы забитости женщины, ужасы невежества, мещанского лицемерия и т. д. и т. д. Временами Серафимович так ярко изображает эти ужасы, что его больно читать. Но это нужно, это «страшное» в жизни приковывает читателя, как голова Медузы.

Серафимович совсем не похож на таких реалистов-полуромантиков, как Флобер или Мопассан в его романах. Он показывает ужасы не для того, чтобы поделиться своим унынием, и не для того, чтобы растворить этот страх в совершенстве передающих его образов. Нет. Серафимович полон любви. Он полон надежды. Без этих двух чувств нет социалистического реализма.

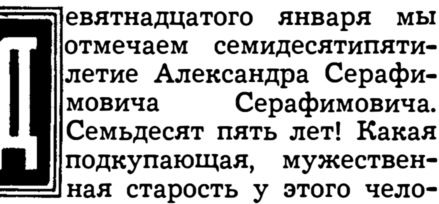
Чем он беспощаднее обрисовывает уродство людей, чем более отвратительны их поступки, вытекающие из их жизни и положения, чем более они раздавлены, чем более свирепы кары, низвергающие их и заставляющие протестовать, тем сильнее звучит в глубине вера в возможность исхода и тем громче слышится биение сердца, полного симпатии к страдающему люду.

Серафимовичу повезло — он дожил до социалистической революции, он узнал ее, он пришел к ней. Вот почему поздние его произведения озарены солнцем революции. Отблеск этого солнца пышно и богато лег на весь путь Серафимовича, пройденный им тяжелой и размеренной поступью. Все те литературные памятники, которые построил Серафимович вдоль этого пути, навсегда останутся в русской литературе и, что еще важней, в пролетарской литературе.

1933

Михаил Шолохов

ПИСАТЕЛЬ-БОЛЬШЕВИК



Девятнадцатого января мы отмечаем семидесятипятилетие Александра Серафимовича Серафимовича. Семьдесят пять лет! Какая подкупающая, мужественная старость у этого человека. Когда встречаешься с ним, не веришь, что человек этот достиг уже таких преклонных лет, ибо он бодр, жизнерадостен, весел и общителен. С ним всегда чувствуешь себя так, словно никакой разницы возрастов нет.

Я очень люблю старика. Это настоящий художник, большой человек, произведения которого нам так близки и знакомы. Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь, учились. Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания.

Это, конечно, кладет свой отпечаток на наши отношения.

Никогда не забуду 1925 год, когда Серафимович, ознакомившись с первым сборником моих рассказов, не только написал к нему теплое предисловие, но и захотел повидаться со мною. Наша первая встреча состоялась в Первом Доме Советов. Серафимович заверил меня, что я должен продолжать писать, учиться. Советовал работать серьезно над каждой вещью, не торопиться.

Этот наказ я старался всегда выполнять.

Пять лет тому назад партия, правительство и советская общественность отмечали 70-летие Александра Серафимовича. Юбиляр отмахивался тогда от всех нас, заявляя, что если человек старится, то это прежде всего неприятность и нечего, мол, это отмечать. Мне кажется, что тут мы, советские писатели, не должны соглашаться с Серафимовичем, хотя бы потому, что его «Железный поток» является первым по времени большим произведением о гражданской войне. Ничего другого не было у нас в те годы. И «Железный поток» так и остался в ряду лучших произведений советской литературы.

Но Серафимович дорог нам не только своим классическим «Железным потоком». Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры, оставаясь преданными революции и рабочему классу в самые тяжелые годы, когда немало людей изменило пролетариату. Разве роман «Город в степи» или многочисленные рассказы Серафимовича не дали нам картины старой России со всеми ее «прелестями»?

Большую и долгую жизнь прожил Серафимович. Серафимович прошел царские тюрьмы и ссылку. Он лично знал старшего брата Ленина, покушавшегося на Александра III. В качестве корреспондента «Правды» изъездил он фронты гражданской войны.

Несмотря на свой возраст, он все так же бодр и подтянут, как и пять, как и десять лет назад. Значит, есть что-то такое, что молодит этого неутомимого старика, которого словно не берет время.

Мне вспоминается сейчас приезд Серафимовича в станицу Вешенскую. В течение нескольких дней гостил он у меня. Какой бы ни была холодной вода в Дону, он никогда не отменял своего купанья. Всегда тщательно выбритый, искупавшийся, свежий, он поражал меня своей неутомимой, неиссякаемой бодростью.

Больно он молод душой!

1938

П. А. Моисеенко

Из «Воспоминаний»[1]

В 1887 году прибыл к нам[2] товарищ Александр Серафимович Попов, студент Петербургского университета, донской казак. Он внес в нашу семью еще больше сплочения и солидарности и, одобрив наше занятие, принялся и сам с увлечением за работу.

В конце июля мы начали готовиться к сенокосу. Наладили косы и отправились я, жена и Петр Самсонович[3] косить. Мы с женой хорошо косили, а Петра Самсоновича пришлось учить. Косили мы для нашей поставщицы мяса, которая была замечательной женщиной. Она любила политических ссыльных, ссужала их деньгами, товаром, всем, чем только могла; никогда не просила долга, а, напротив, сама всегда еще спросит, есть ли у нас деньги, предложит взять, если нужно. Мы не злоупотребляли ее доверием, старались платить ей как можно чаще. Вот этой женщине мы и собрались помочь, насколько можно.

К сожалению, долго мне не пришлось косить, так как нагрянуло предписание посадить меня под арест при полиции на три месяца, к которому я был пригово-

---

[1] Печатается по книге: П. А. Моисеенко. Воспоминания. 1873—1923. М., изд-во «Красная новь», Главполитпросвет, 1924, стр. 108—113.

[2] В ту пору в Мезени ссыльными была организована коммуна.

[3] П. С. Кравченко — один из ссыльных.

рен коронным судом. Пришлось сесть. Я попросил исправника поставить в камере небольшой верстак, чтобы не сидеть без дела. Исправник разрешил, и я устроился как дома. Товарищи и жена посещали меня ежедневно, носили мне пищу и инструмент для точки, косы налаживать. Приходила и местная публика с различными просьбами. Однажды приходят рано, приносят обед.

— Что так рано?

— Едем на маевку.

— Ну хорошо, привезите ягод, наберите грибов, а потом расскажете, как вы праздновали.

Вечером вваливаются ко мне всей гурьбой, хохочут.

— В чем дело?

— Да как же, тебе рассказать — и ты будешь хохотать.

— Да говорите, что случилось?

Начинают рассказывать, как донской казак с мезенской кобылы упал. Дело было так. Задумали согреть чаю, нужно было принести воды. Серафимович вызвался съездить. Вот он сел верхом, взяв чайники; только тронул — чайники загремели, кобыла испугалась и стала бить задом. Серафимович не удержался и полетел с кобылы, а чайники — в сторону. Кобыла ушла в лес. Поднялся хохот, а Серафимович, очень застенчивый от природы, был страшно сконфужен перед дамами. Это так на него подействовало, что он растерялся и не знал, что ему делать. Выручила Сазонова (жена П. А. Моисеенко. — *Ред.*): она привела кобылу, принесла воды, разложила костер. Серафимович долго не мог успокоиться, все удивляясь тому, что он упал. Просидели у меня до темноты. Смех, шутки не прекращались.

Время моего ареста, в общем, проходило незаметно; мне не было особенно плохо, но все же брала досада, что люди развлекаются, а я принужден сидеть.

7 августа они снова поехали на лодке по ту сторону реки смотреть затмение солнца. Их подхватило приливом и понесло вверх по течению, еле пробились к берегу. Высадились и стали ждать затмения солнца, которого им, однако, не удалось увидеть, так как стоял туман такой, что противоположного берега не

было видно. Когда сели в лодку — их понесло вниз, потому что начался отлив. На поверхности воды показался зверь, заяц или тюлень,— ребята струсили, как бы их не занесло в море, и начали усиленно грести к берегу. Попали в вяшу, то есть в грязь, из которой едва выбрались, выпачкались, как чучела гороховые. Пришли ко мне поздно и рассказали свои приключения.

Из-под ареста я вышел в октябре, когда стояла уже зима. Только я вышел из-под ареста, как из Архангельска приехал жандармский ротмистр и следователь, и меня позвали к исправнику. Вот прихожу, меня приглашают в кабинет.

— Вы Моисеенко?

— Да, я, что вам угодно?

— Именем закона мы должны сделать у вас обыск, идемте к вам на квартиру.

Обыск был произведен, но ничего не нашли. Составили протокол. После их ухода я удивлялся, как это они не могли догадаться, рассматривая кусок сплавленного желатина? Вероятно, они сочли его за мыло. Затем, они не нашли спрятанных за картиной прокламаций. Они искали переписку, перерыли все бумаги. Вечером зовут опять к исправнику. Начинается допрос, с кем я переписываюсь, отвечаю, что со многими, например — с родными. И далее: есть ли у меня во Владимире родные? Я отвечаю, что совершенно никого нет. После этого меня заставляют писать крупно и мелко, я пишу, будучи совершенно уверен, что моих писем нет. Написали протокол, подписали, и делу конец. Больше никого из нас не трогали.

Мы взялись за работу. Но не долго нам пришлось работать. Щепицын[1] подал прошение о переводе его в другой город. Разрешение пришло, с условием ехать на свой счет с провожатым. Проводили мы Александра Николаевича Щепицына. Жаль было расставаться с таким товарищем. Утешало лишь то, что встретимся в лучших условиях, когда восторжествует революция. Мы верили, что она придет, желанная, и свергнет иго самодержавия. В то время, не разбираясь совсем в этих вопросах, виновником всего мы считали только

[1] Один из ссыльных.

самодержавие. В Мезени этот вопрос начал обсуждаться только с приездом Серафимовича, который во время дебатов затрагивал его. Я всегда наводил речь на капиталистический гнет, на что мне возражали, говоря, что у нас нет капитализма. Я тогда всецело верил интеллигенции, да оно и понятно: сколько тогда было нас — раз-два, да и обчелся. Вся ссылка была заполнена учащейся молодежью.

Петра Самсоновича Кравченко потребовали на военную службу. Мы простились и с ним. Остались жена, я и Серафимович. Вскоре приехал к нам Редько Петр, студент технологического института.

Еще совсем молодой, мало приспособившийся к подпольной работе, он попал по делу флотских офицеров с сыном Шелгунова, который впоследствии подал прошение на высочайшее имя о помиловании. Брат его, Александр, сослан был в Сибирь. Вскоре из Пинеги перевели к нам товарища Тихомирова, и нас опять собралась компания. Но уже не то, что было...

В январе 1888 года у меня родилась дочь. Ухаживать за нами было некому. Пришлось все делать самому. Купать ребенка приходила жена учителя Балиева. Забот был полон рот. Молодежь не принималась за работу. Пока работали мы с Серафимовичем. Надо было покончить с заказами; я напрягал все силы. Для ребенка надо было сделать кроватку. К этому времени мы уже сделали себе токарный станок.

Жена пролежала в постели дней десять. Готовили пищу сами с Серафимовичем, а тут еще отчаянное безденежье. Пришлось залезть в долги по самые уши. Вся надежда была, что отработаем, и действительно, мы отработали. Ребенок оставался некрещеным. Дней пятнадцать местная публика поговаривала, что студенты бога не признают. Пришлось с этим считаться. Пригласили попа; кумом был Серафимович, а кумой Балиева.

За близкое знакомство учителя Балиева с политическими ему предложили подать в отставку. Что тут делать, как быть? Человек он семейный. Судили, рядили, написали во все концы и решили, что Ия Васильевна Балиева, жена учителя, поедет в Петербург и поступит на акушерские курсы, а сам Балиев

поедет в Архангельск, где поработает пока. Ехать решили весной пароходом по Белому морю. Серафимович подал тоже прошение о переводе его в Архангельск для лечения глаз. Приходилось ждать только до весны. Ию Васильевну отправили на подводах в Питер.

Из деревни перевелся к нам Гуревич[1]. Колония наша пополнялась, но внутренней спайки не было, хотя коммуна, как таковая, продолжала существовать. С отъездом Серафимовича работать приходилось почти мне одному, Тихомиров и Редько совершенно бросили работать, а Гуревич занялся починкой часов. Средства наши истощились, ждали только получения одежных, чтобы расплатиться с долгами. Из Архангельска Серафимович переселился в Пинегу. Мне писали, чтобы я подал прошение о переводе меня туда же. Это пришлось сделать в 1889 году. В январе подал губернатору прошение, мотивируя тем, что мне в этом году кончается срок и что легче будет выехать водным путем. Ответ губернатора получился как раз в марте. В последних числах марта я взял подводу, усадил жену с дочерью. Товарищи все вышли провожать меня. Так я распрощался с Мезенью.

Через два дня мы были в Пинеге. Квартира для меня уже была приготовлена. Меня встретили Серафимович, Машицкий, Захарова. Мы с Серафимовичем завели мастерскую; работа у нас кипела. Сначала заказы были небольшие, но потом они стали все увеличиваться. Желающие ознакомиться ближе с ссылкой, прочтите рассказ Серафимовича «У холодного моря», где он мастерски обрисовал нашу жизнь. Мне пришлось читать этот рассказ в журнале «Современный вестник».

Лето 1889 года прошло среди близких и дорогих товарищей, забыть которых невозможно. У нас не было частной собственности, все было общее. Те, которые не желали этого, отходили в сторону. С этим и воевала Машицкая. Всех таких она пилила за их эгоизм. Машицкая была одним из неутомимых борцов.

Это было переходное время от народничества к марксизму. Мы с большим усердием читали первый

---

[1] Один из ссыльных.

том «Капитала» Маркса и произведения Лассаля. У меня был первый том «Капитала», подарок П. С. Кравченко, потом я получил от Короленко все то, что вышло из-под его пера. Серафимович принялся штудировать Короленко. Помню первый рассказ Серафимовича, переписанный Машицкой. Однако этому рассказу не удалось увидеть света. Написан был второй рассказ, который появился в «Русских ведомостях» и за который получили гонорар в 50 рублей. О, какими богачами мы считали себя!

Машицкий и Машицкая вскоре получили разрешение выехать в Шенкурск, и наша колония поубавилась. Из села прибыл Иванов и учительница, фамилии которой я не помню. Я готовился вскоре покинуть этот край. По этому поводу велась уже переписка с товарищами Поповым и Гофманом, которые жили в Челябинском уезде и имели сельскохозяйственную заимку. Вот мы и решили, что я буду работать с Поповым и Гофманом, как знающий сельское хозяйство и столярное ремесло. Рисковать попасть куда-либо нашли неподходящим. Переписка привела к тому, что я еду в Челябинск, а там что будет...

Ребенок мой был здоровый, так что путешествие меня не пугало. Я всецело отдавался общественной работе. Таким образом, мы постепенно подготовлялись к отъезду. Каждый день учитывался. Мы торопились покончить с заказами, так как один Серафимович не мог сладить, да к тому же надо было подвести счеты, узнать, какими ресурсами я могу располагать в дороге. Мы собирали последние гроши, в кредит залезать опасались, так как у нас не было уверенности, что мы расплатимся. Пришлось отказаться от некоторых предложений, зная, что в срок внести не сможем.

В Нижнем я рассчитывал увидеть Короленко, а в Ярославле обещали тоже дать письма. На этом основании я решил, что беспокоиться нечего, а надо действовать. Мы с Серафимовичем привели все в порядок. Надо было подумать, каким путем ехать: на лошадях до устья или нанять лодку и тоже до устья. Я стал наводить справки. Оказалось, что лодка будет стоить дешевле. В попутчики к нам напросился один из уголовных-евреев. Пришлось увязать свои пожитки

и распроститься с дорогими товарищами, в надежде, что встретимся, когда будет свергнуто ненавистное царское правительство... Особенно Серафимовичу было тяжело расставаться с его любимой крестницей, то есть моей дочерью. Эта девочка была для всех нас утешением. Мы инстинктивно чувствовали, что все принадлежит молодежи. Мы обрекали себя на служение будущему. Теперь трудно понять, какие это были чувства.

1923

Сергей Семенов

БЫЛОЕ

Александр Серафимович Попов (Серафимович) был близко знаком с моим отцом и часто посещал нас. Мой отец, Иван Тимофеевич, еще студентом попавший за хранение народовольческой литературы в ссылку, в то время редактировал газету «Донские областные ведомости».

Александр Серафимович был обаятельным, чистой души человеком. Меня привлекало в нем не только то, что он, как тогда говорили, «пострадал за народное дело», но и то, что он разговаривал со мной, гимназистом, как со взрослым, живо интересовался гимназической жизнью, настроениями среди молодежи.

В Новочеркасске, маленьком и сонном тогда, в 90-х годах, городишке, Александр Серафимович получил кличку «*политик*», за то, что побывал в политической ссылке. В устах одних эта кличка звучала почтительно, другие же — крупные чиновники, торговцы — произносили ее с озлоблением.

...Целыми часами беседовал, бывало, Александр Серафимович с моим отцом. Иногда при этом присутствовал и я. Помню, что нередко между отцом и Александром Серафимовичем возникали горячие споры. Отец мой еще не отрешился от народнических иллюзий, а Александр Серафимович был проникнут взглядами социал-демократов.

Врезался в память такой случай. Отец рассказывал Александру Серафимовичу о происшествии,

взволновавшем новочеркасское «общество». Войсковым наказным атаманом Войска Донского был тогда князь Святополк-Мирский. Дочь его училась в последнем классе Мариинского донского института благородных девиц. Шел урок французского языка. Преподаватель месье Гризель вызвал к доске атаманскую дочку и предложил ей написать какую-то французскую фразу. Стояли жестокие морозы, в казенных помещениях топили, по общему правилу, плохо. Изящный молодой парижанин Гризель приехал в Россию совсем недавно, русского языка почти не знал, но, видя, как княжна зябко поводит плечиками, решил блеснуть знанием русской «варварской» речи и, неудачно «сочинив» существительное от глагола «мерзнуть», брякнул:

— Ах, княжна, ну какая же вы мерзавка!

Ошарашенная этим «неожиданным репримандом», княжна рухнула на пол в обмороке. В классе раздались вопли и стоны. Многие из институток, лебезившие перед княжной, тоже попадали в обморок, то ли настоящий, то ли притворный... Властью войскового атамана месье Гризель был немедленно выслан из пределов Области Войска Донского.

Отец мой, смеясь, рассказывал об этом Александру Серафимовичу, но тот нахмурился и заметил:

— Ну как вы можете смеяться? Ведь это же дикий произвол. Этот пузатый генерал Святополк-Мирский прославился своей жестокостью еще молодым офицером при подавлении польского восстания в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году.

— Я сам его ненавижу,— ответил уже серьезно отец,— но что поделаешь: беспросветно тяжелое время, народ еще не проснулся.

— А вот рабочий класс уже просыпается,— горячо проговорил Александр Серафимович и начал рассказывать о стачках на фабриках и заводах России, среди шахтеров Александровска-Грушевского (ныне г. Шахты) и в Донбассе...

Надо сказать, что Александр Серафимович очень интересовался бытом и настроением рабочих, в частности шахтеров. Он совершал выезды в Александровск-Грушевский, Донбасс, Юзовку (ныне г. Донецк), спускался в шахты, беседовал со многими рабочими,

вникал во все детали шахтерской работы. И в редакцию «Донской речи», и на квартиру к нему шли рабочие, шахтеры, железнодорожники — обычно с жалобами на притеснения администрации, а иногда просто чтобы поговорить «по душам» с хорошим человеком, живущим интересами народа.

Помню одну встречу. В редакцию «Донской речи» пришли старик и старуха. Их единственный сын был убит при преследовании рыбачьей ватаги, ловившей рыбу в «запретных водах», в устье Дона. Преследовал эту ватагу паровой катер «Казак» под командой полковника Шарова, ведавшего тогда охраной гирл Дона. Таких случаев убийств и ранений рыболовов было немало.

Старик и старуха были удручены тяжким горем. По их морщинистым загорелым лицам катились слезы. Слезы были и на глазах Александра Серафимовича. Участливо расспросив пришедших, он сказал им печально:

— Ничего поделать законным путем с этим негодяем полковником нельзя. Единственно, что могу обещать вам,— написать рассказ об этом.

Такой рассказ и был вскоре написан. Назывался он «В камышах». Он был издан большим по тому времени тиражом в Ростове и всколыхнул общественное мнение.

Ружейные выстрелы охранников в гирлах Дона с тех пор стали раздаваться значительно реже...

1959

Владимир Петров

В ДАЛЕКИЕ ГОДЫ



Я был близок с Александром Серафимовичем еще в дореволюционное время. Встречался с ним и позже, но мне хочется поделиться своими воспоминаниями о том, что связано с теми далекими годами.

Помню, в 1910 году, когда я был еще учеником старших классов гимназии, мы с Серафимовичем часто совершали на велосипедах загородные прогулки — в рощу, раскинувшуюся в окрестностях Новочеркасска. Устраивали и состязания «на скорость».

Отправляясь на эти прогулки, Александр Серафимович обычно забирал с собой газеты, журналы. Меня не брал на прогулку, если я не захватывал с собой какой-либо книги. Нередко он давал мне их из своей библиотечки. Обычно это была художественная литература.

Расположившись в тени деревьев, Александр Серафимович спрашивал о прочитанных мной по его совету книгах, учил читать не «залпом», а внимательно, разбираясь в ведущей идее, характерах действующих лиц, в развертывании сюжета, в стиле и языке. Александр Серафимович говорил, что читать книги надо с разбором, не тратить времени на чтение таких пустопорожних, пошлых книг, как сочинения Вербицкой, Нагродской, Арцыбашева, хотя эти авторы и пользовались тогда в буржуазных кругах большой популярностью.

В 1912 году после окончания гимназии я переехал в Москву, по-

ступил в Московский коммерческий институт и жил в семье Серафимовича, в Серебряном переулке.

Часто в свободное время я прогуливался с двумя сыновьями Александра Серафимовича. Эти прогулки сочетались зимой с катанием на санках, лыжах, коньках, а летом с ездой на велосипедах. Все это доставляло большое удовольствие и мне как любителю спорта. Тем более что нередко в наших прогулках принимал участие и Александр Серафимович. С его согласия к нам охотно присоединялись и некоторые мои товарищи студенты.

По-прежнему мы часто устраивали спортивные соревнования. И хотя Серафимович тогда был уже немолодым человеком, он, как правило, «побивал» нас во всех видах спорта. Из состязаний с нами в катании на коньках, на лыжах, а в летнее время на велосипедах он неизменно выходил победителем.

Мои друзья быстро привязались к Серафимовичу и всегда очень огорчались, если почему-либо он не мог выйти на прогулку. Нередко в таких случаях они звонили по телефону или приходили на дом к Александру Серафимовичу и уговаривали его.

Почему же мы, студенты, относились к Александру Серафимовичу еще в то время с такой любовью и глубоким уважением? Дело не только в том, что он уже тогда считался большим писателем и что у него было славное революционное прошлое. Это было, конечно, важно для нас, увлекало, но мы ценили и то, что, несмотря на огромную разницу лет между нами, он оставался молодым душой и сердцем.

Серафимович постоянно интересовался жизнью студенчества, его политическим кругозором, вникал во все детали нашей студенческой общественной жизни, давал советы. Нередко он рассказывал нам о себе, о своей творческой работе; вспоминал студенческие годы, товарищей тех лет; говорил об активной революционной борьбе студенчества 80-х годов. Рассказывал о том, как многосторонне и широко велась работа в студенческих кружках в то время, и журил нас за узость целей и недостаточную активность наших кружков.

Сердечно относился писатель к нашему донскому землячеству в Коммерческом институте. Когда мы,

чтобы помочь нуждающимся студентам, устраивали концерты, спектакли, вечера, Серафимович всячески поддерживал нас в этих начинаниях. Землячество всегда посылало ему почетный пригласительный билет. Иногда он и сам выступал на таких вечерах с чтением своих рассказов или отрывков из крупных произведений. В таких случаях билеты расходились полностью, и зал был битком набит студентами, курсистками, передовой рабочей молодежью. Собранные от таких вечеров средства наше землячество отчисляло в фонд стипендии имени Серафимовича. Многие нуждающиеся студенты получали благодаря этому большую материальную помощь в течение учебного года.

Следует отметить и то, что Серафимович пользовался особым, настороженным «вниманием» со стороны полиции: при его выступлениях на наших вечерах неизменно присутствовал кто-либо из полицейских чинов.

...У всех, кто знал Александра Серафимовича, никогда не утратится из памяти светлый, обаятельный облик этого великого писателя-большевика, настоящего друга молодежи.

1959

...Один порыв: бороться, бороться во имя тех, кто молча, с каплями пота на челе несет на своем хребте всю тягость жизни и общественных неустройств. И пусть мои писания только капли в бушующем океане силы и несправедливости, пусть, но ведь и капли прободают камень.

А. Серафимович (1901 г.)

Игорь Попов

О ПИСАТЕЛЕ-ОТЦЕ



а Дону, в глухой станице Усть-Медведицкой с суровыми степными обычаями, в жестокой борьбе за существование прошли детство и юность моего отца — донского казака Курмояровской станицы Александра Серафимовича Попова, впоследствии писателя А. С. Серафимовича.

В Усть-Медведицкой станице он жил с 11 лет до 21 года, а затем, после ссылки, находился под гласным надзором полиции.

...Из года в год тихий Дон точит гористый обрывистый берег, на котором раскинулась обширная станица Усть-Медведицкая, ныне город Серафимович.

Будучи гимназистом, отец с товарищами-сверстниками любил уходить летом из дома на реку и в степь. Раздобыв в станице буханку хлеба, мальчики днями, а иногда неделями не возвращались домой. Казаков в станице не волновало их отсутствие, а мать, занятая заработками и воспитанием еще троих детей, уследить за ним не могла.

Многоводная река Дон была у подростков вторым домом. Рано утром, еще на заре, ребята принимались рыбачить, варить уху; когда солнце поднималось в зенит и песок на берегу делался нестерпимо раскаленным, забирались в густые заросли ивняка и камыша, строили шалаши, но и там все раскалялось от зноя.

В семье Поповых свою землю не обрабатывали и в степь не выезжали. Зато мальчик помогал в полевых работах семьям товарищей или целыми днями возился с лошадьми.

Прошло более чем полвека жизни и суровых испытаний, а детская привязанность к степной реке и к все сжигающему горячему солнцу осталась в душе писателя до последних дней его жизни.

Когда мне или брату случалось ездить с отцом по родному Дону, он любил рассказывать нам о своем детстве, о жизни степной станицы. Ему хотелось приобщить нас, детей, к суровому казачьему быту.

После глухой станицы юноша А. С. Попов поступает в Петербургский университет и попадает в среду самой передовой революционной интеллигенции того времени.

Новая университетская обстановка, напряженное, жадное чтение классиков русской литературы, общение с передовой революционной молодежью и систематическое изучение трудов Карла Маркса помогли осознать и осмыслить еще с детства возникший в сознании протест против социального неравенства.

О приезде в Питер, в университет, о встречах со студентами и со старшим братом В. И. Ленина Александром Ульяновым отец вспоминал:

«Туманом, серой насупленностью встретил Питер, когда я приехал в университет. Прощай, родное южное солнышко. Тяжелым, непроницаемым пологом лежала фабричная мгла над колоссальным городом, а потом угрюмо пошли бесконечные каменные здания.

Странно, первое впечатление города тоской сжало сердце. Не о том мелькнула мысль, что это город напряженной мысли, скрытой борьбы, красоты искусства, не это, а то, что уже нет наших бескрайних степей, не скоро увижу родные белые, тихоотраженные в Дону горы, и сухой звенящий зной, и гомон живых

непоседливых южных птиц — сжалось сердце, все это далеко...

...Среди других товарищей я встретил в это время и старшего брата Владимира Ильича — Александра. Это был прекрасный юноша с кудрявыми черными, как смоль, волосами, с жгучими южными глазами.

Он сразу выделялся среди студентов своим матовым лицом, на котором — кипучая энергия, своей крепкой, немного наклоненной, точно в порыве, фигурой.

С маху, как бы играючи, он написал университетское сочинение (был естественник) и получил золотую медаль. Этот юноша был буйно блестящих способностей.

И это был удивительного блеска оратор, поразительной силы, страстный и давящий противника аргументацией, насмешкой, огромной начитанностью.

Бывало, схватятся они с Туган-Барановским, а мы, новички, еще не искушенные, робко слушаем...

— Вы висите в воздухе,— кричал Туган,— висите в воздухе, за вами нет массы, вам не на кого опереться.

— Это вы висите в воздухе,— страстно бросал Александр Ильич,— потому что не считаетесь с русскими условиями, с особенностями всего склада русской жизни, русского капитализма, развития русского рабочего движения. Вы просто отмахиваетесь от борьбы, откладываете ее на дальнюю полочку...»

В 1887 году, в год окончания университета, Попов был арестован и сослан в ссылку.

«В тюрьме, во время прогулок в клетке, похожей на звериную, я увидел в одном из бесчисленных решетчатых окон «предварилки» поблескивающий осколочек зеркала,— это товарищ сигнализировал. И я, напряженно ловя быстро вспыхивающие и гаснущие отблески, разобрал:

«...Ульянов Александр и еще четверо казнены...» [1]

По поводу встречи с Александром Ульяновым и с Владимиром Ильичем отец говорил:

---

[1] Воспоминания А. С. Серафимовича, записанные Н. Н. Фатовым. Н. Н. Фатов. Серафимович. Очерк жизни и творчества. М. — Л., ГИЗ, 1927, стр. 192—193.

«Мне выпало счастье на заре моей молодости, когда я общественно только формировался, встретиться с Ульяновым-старшим, Александром, в студенческих кружках Петербурга, и уже к старости, в начале становления советской власти, мне выпало еще большее счастье — работать под руководством второго брата — Ленина и получать указания непосредственно из уст гения пролетариата» [1].

Запас сил и здоровья позволил отцу перенести тяжелую ссылку в Мезени и Пинеге. (Позже он ярко воссоздаст этот период жизни в рассказе «У холодного моря».) И все же она сильно подорвала его силы, у него начались туберкулез и болезнь глаз.

Встречи в ссылке с революционерами, людьми волевыми, крепкими духом, непреклонными борцами, воспитали в нем веру в силу и красоту характера русского человека, веру в его победу в борьбе за правое дело, за народное дело.

В ссылке он осознал себя борцом и нашел себя как художник, и всю свою долгую жизнь твердо стоял на позиции революционного пролетариата, никогда не отступая в сторону. Заметную роль в этом сыграло его знакомство со знаменитым организатором Морозовской стачки 1885 года революционером П. Моисеенко, глубокое уважение к которому осталось у писателя на всю жизнь.

Жажда познания являлась основной чертой характера отца с раннего детства и до последних лет жизни. Он редко жил безвыездно в одном городе, любил ездить, путешествовать, изучая при этом быт людей, их характеры.

Его поездки были разнообразны и увлекательны. Неутомимый спортсмен, любитель лошадей, велосипедист и мотоциклист, он легко переносил лишения и опасности путешествий, а в последующем и фронтовой жизни. Он бывал на фабриках и в шахтах, среди рыбаков, крестьян, ремесленников, изучал быт железнодорожников, жизнь горцев, жил в Петербурге, Москве, Новочеркасске и многих краях нашей большой страны.

---

[1] А. С. Серафимович. Собрание сочинений, т. X. М., Гослитиздат, 1948, стр. 455.

Изучая быт простого народа, он находил среди них богато одаренных самобытных людей, которые становились героями его произведений.

Мать, Ксения Александровна Попова, в девичестве Петрова, родилась в 1876 году, умерла в 1931 году. Донская казачка, высокая, стройная, с красивыми чертами лица, она была волевым и упрямым человеком.

...Они поженились в 1898 году в Новочеркасске, наперекор воле родителей и жениха и невесты.

Ксения Александровна по тем временам была высокообразованной женщиной, она окончила в Петербурге Бестужевские курсы, играла на рояле, знала иностранные языки, принимала активное участие в общественной жизни города Новочеркасска, позднее была одним из создателей общественной городской библиотеки.

Родители любили друг друга, но мать не всегда понимала стремление отца к поездкам, даже иногда препятствовала им, и тогда возникали разногласия. Но все же политическая настроенность и матери и отца в ту пору шла в унисон.

После появления первого ребенка родители матери требовали от отца поступления на казенную службу, сулили ему хорошую карьеру. Однако при первом же соприкосновении с чиновничьей службой отец почувствовал глубокое отвращение к этой среде.

Он начал работать как журналист, что, конечно, не давало тех доходов, на которые рассчитывали Петровы.

Мать имела средства, оставленные ей по наследству отцом. Это давало возможность семье существовать независимо от весьма неустойчивых писательских заработков.

Я помню, что в Новочеркасске, где мы жили в просторной квартире, у нас постоянно были гости, шли оживленные споры и дебаты. Среди посещавших нас были и профессионалы революционеры. Иногда в нашей семье появлялись «воспитатели» или «слуги», как я потом узнал, на самом деле — скрывавшиеся подпольщики. Эти товарищи, несомненно, оказывали большое влияние на отца. Однако либеральное обще-

ство, собиравшееся у нас в Новочеркасске, недостаточно ценило его произведения и зачастую иронизировало над их острым социальным содержанием.

Свои произведения еще в набросках отец обсуждал с матерью, слушал ее советы с большим вниманием, иногда между ними возникали споры. Мать все чаще не понимала социальной направленности его произведений.

В период революции 1905 года отец жил один в Москве на Пресне, недалеко от фабрики Шмита, штаба революционных рабочих, в большом кирпичном доме на углу Пресни и Волкова переулка. Позднее отец вспоминал: «Наш дом находился, можно сказать, в самом центре борьбы, около нас происходили самые ожесточенные схватки» [1].

И хотя революция 1905 года потерпела поражение, он твердо верил в новый революционный подъем и в рассказах «На Пресне», «У обрыва» и других показал волю трудового народа к дальнейшей борьбе.

Отгремел 1905 год. Русская интеллигенция начала заметно «праветь». Она испугалась рабочего класса. Менялись взгляды и матери.

В 1915 году, несмотря на свой возраст, отец поехал рядовым санитаром на фронт в Галицию, где шли ожесточенные бои. В санитарном отряде он вместе с Марией Ильиничной Ульяновой самоотверженно работал, ухаживал за ранеными и много писал, стараясь, насколько позволяли условия цензуры, показать пробуждающееся сознание солдат и бездарность царских генералов.

В империалистическую войну отец был последовательным пораженцем. В это время на него большое влияние оказывал его младший брат Вениамин, выступавший под псевдонимом Дубовского, старый большевик, один из старых правдистов, высокообразованный марксист, чистейшей души человек. В эти годы Вениамин жил в Москве и был членом Российского бюро ЦК партии РСДРП (б), т. е. был в составе подпольного, руководящего бюро партии. Центр партии,

---

[1] А. С. Серафимович. Собрание сочинений, т. II. М., Гослитиздат, 1947, стр. 382.

как известно, во главе с В. И. Лениным находился за границей.

Мать, под влиянием окружавших ее людей, все меньше понимала и сочувствовала делам отца, и это клином входило в их отношения. Отец продолжал много ездить, он подолгу не бывал дома. Мать без отца, безусловно, скучала, а когда он приезжал, начинались ссоры, распри, и не только из-за денег (хотя и деньги тут играли большую роль), влияли на мать и насмешки окружающей интеллигенции над его, с их точки зрения, непонятной направленностью в описании «бедненьких и забитых». Вскоре это и оказалось основной причиной полного их разрыва.

Отец стал уезжать из дому все чаще, пребывание его в семье, в Новочеркасске, становилось все реже и реже.

Но пока еще семья сохранялась. Для меня и для брата каждое его возвращение домой было большой радостью.

Отцу были глубоко чужды и ненавистны собственнические инстинкты. Во многих своих произведениях он убедительно показывает, что собственность, начиная с мелочей, подчиняет людей, меняет их внутренний облик, ломает жизнь, делает их глубоко несчастными.

Вопрос о приобретении собственности был у него твердо решен на всю жизнь. В семье до революции этот вопрос, естественно, возникал и обсуждался: отец иногда получал от издательства крупные гонорары, мать тоже имела средства, так что кое-какую собственность они могли бы приобрести.

Однако отец считал, что даже предметы личного обихода, если их много, ограничивают возможность передвижений, возможность путешествий, которые были для него средством общения с народом.

Однажды он объяснил мне, почему у него не было большой библиотеки (вся его библиотека, тщательно подобранная, помещалась в одном шкафу, отец ее не расширял):

— Библиотека писателю необходима для работы, но библиотека, как и всякая собственность, приковывает человека к месту, отнимает у него самое дорогое — подвижность.

Иногда он ездил совсем налегке, без вещей, с небольшим саквояжем. Уезжая надолго, брал с собой «большой багаж» — два чемодана, удивительно умело размещал в них разнообразный набор необходимых вещей.

С раннего детства в моей памяти запечатлелись эти два объемистых чемодана, перетянутых тугими ремнями. Для меня и брата было большой радостью рассматривать множество диковинных предметов, уложенных в них с искусством опытного путешественника.

Когда чемоданы появлялись на видном месте, это значило, что мы на многие месяцы расстаемся с отцом.

Приезжая, отец извлекал из них миниатюрные машины, паровозы с топкой и со свистком и другие диковинные игрушки. После этого мы не пускали его из комнаты. Мы с братом садились ему на ступни, крепко охватив ноги ручонками, а он шагал, едва переступая с тяжелым, шевелящимся грузом на ногах. Потом мы бежали к чемоданам, ложились на них, цепляясь за ремни, и, только убедившись, что отец уходит без чемоданов, отпускали его.

Когда отец бывал дома, я и старший брат Анатолий искали случая, чтобы привлечь его к нашим играм, с ним эти игры приобретали особенный интерес.

Мы нарочно выдумывали себе болезни, просили мать поставить нам градусник, потому что хорошо знали, что тогда обязательно придет обеспокоенный отец, пока будет измеряться температура, а может быть, и дольше, будет рассказывать нам интересные истории.

Отец воспитывал в нас смелость и самостоятельность.

Вспоминая те далекие годы, приходится только удивляться, как при большой занятости и частых разъездах он сумел привить нам любовь к спорту, которая осталась на всю жизнь.

Мне еще не исполнилось и десяти лет, а я уже владел коньками, ходил на лыжах, плавал, управлял и греб на лодке, ездил верхом, имел огнестрельное оружие.

Впоследствии, в гражданскую войну, физическое развитие оказало нам с братом неоценимую услугу.

Кроме физического воспитания, отец проявил еще большее умение в нашем духовном развитии. Надо учесть, что в ту пору господствовала частнособственническая мещанская идеология. Однако он сумел навсегда вытравить ее из нашего сознания.

Когда мне минуло 6 лет, а брату Анатолию 10, отец купил Анатолию нарезное мелкокалиберное «монте-кристо», стрелявшее дробинкой. Он учил брата и меня держать ствол ружья только кверху, а вскоре разрешил самостоятельно пользоваться им и стрелять без взрослых. «Монтекристо» осталось в нашем пользовании, правда с некоторыми ограничениями, даже после того, как сверстники прострелили брату ногу и он некоторое время должен был лежать в постели.

Как только я немного подрос, мне тоже было куплено мелкокалиберное ружье, на этот раз гладкоствольное, но большего калибра. Я с гордостью разбирал, чистил эту опасную игрушку и сам хранил патроны.

Отец любил устраивать с нами и нашими товарищами учебную стрельбу по мишеням.

Я и брат умели держаться в воде одетыми и уплывали, куда нам хотелось, на весельной лодке по реке, без взрослых.

Однажды, когда мне было девять лет, во время тренировки верхом без седла и без взрослых, я попал под лошадь. Но и после этого, с разрешения отца, мы часто уводили купленную нам лошадь и поочередно скакали на ней по широкой степи.

Мать ревниво оберегала покой отца, необходимый при литературном труде, и прежде всего оберегала его от нас.

Когда нам удавалось обмануть ее и проникнуть в кабинет, работа отца прекращалась; он играл с нами с величайшим удовольствием, это был обоюдный праздник.

В 1910 году отец больше жил в Москве и у нас в Новочеркасске бывал только наездами. В 1912 году мы с матерью переехали в Москву.

В Москве квартира была из пяти больших комнат, на пятом этаже. В широком коридоре квартиры

родители соорудили лестницу-трапецию, на которой я и брат, а часто и гости отца занимались, делая самые различные упражнения. Помесячная плата за квартиру составляла 115 рублей. Такую сумму тогда получал далеко не каждый служащий.

Это время мне памятно. Отец много работал, и поэтому я целыми днями не входил в кабинет, бывая там только в часы его отдыха. А иногда принимал посильное участие в ремонте мотоцикла, который производил отец. Он был большой любитель мотоциклов и к этому времени имел их два. Один подарил Анатолию, а второй стоял в его просторном кабинете.

Вскоре мать с ужасом обнаружила, что паркетный пол кабинета запачкан масляными пятнами. Было ясно, что управляющий потребует возмещения убытков за испорченный пол. Все ломали голову, как вывести эти пятна раньше, чем управляющий узнает про них. Наконец способ был найден. Купили белую глину, замесили, сделали какие-то добавки и тщательно покрыли смесью пол — слоем в несколько сантиметров везде, где были пятна. Два дня с замиранием сердца ждали результатов. А когда сняли глину, ахнули: пол был совершенно чистый.

Теперь дворника смело водили по всем комнатам. Дворник получал часто чаевые.

Внимание к нему не было случайным. Еще по жизни в Новочеркасске мать знала, что всегда, когда она находилась около отца, надо было остерегаться пристального внимания полиции. А дворники, как известно, являлись тайными осведомителями.

В праздники и в «царские дни», например, дни рождения царя и его семьи, к нам приходили в разные часы дня несколько городовых и околоточный, чтобы поздравить. Получив «на чай» полтинник, они с улыбкой, кланяясь, уходили.

Поп обходил квартиры по престольным религиозным праздникам, но у нас его не принимали, и он никогда не заглядывал к нам.

Отец любил беседовать с нами, его беседы в какой-то мере перекликались с его рассказами, например с рассказом «Никита». Незаметно он воспитывал в нас

не только жалость к обездоленным, но и уважение к людям борьбы. Иногда его разговоры о борьбе носили абстрактный характер, но всегда он внушал нам, что каждый человек должен бороться за народ, против ужасов окружающей нас жизни. Он умел пробудить в нас готовность к самопожертвованию, но это тоже не носило конкретного характера, и если вспомнить то время, то идеалы жизни, а тем более цель жизни и борьбы были мне мало понятны и как бы затуманены. Естественно, отец не решался прямо внушать нам, детям, революционные идеи, справедливо опасаясь, что мы, приученные никогда не лгать и не кривить душой, можем неосторожно выложить все, что думаем, в гимназии, и тогда нам несдобровать.

Но все же семена воспитания, заложенные в нас, дали свои результаты. Как только грянула Февральская революция, в марте 1917 года мой брат Анатолий вступил в партию большевиков — РСДРП (б), а я несколько позже, летом 1917 года, вступил в «Союз рабочей молодежи III Интернационал».

Отец, еще раньше без колебаний примкнувший к партии большевиков, горячо поддержал вступление в РСДРП (б) сына Анатолия.

В следующем году, уже имея опыт боевой деятельности, я тоже был принят в мае 1918 года в партию большевиков.

Наше участие в общеполитической борьбе было достигнуто дорогой ценой — ценой разрыва с матерью и с кругом товарищей гимназистов. Сначала Анатолий, а потом и я переехали жить к отцу.

Квартира отца на Пресне, в Большом Трехгорном переулке, дом № 5, была невелика. Это был район Прохоровской мануфактуры, район рабочий, и отец имел возможность широко общаться с рабочими Пресни.

Дом — кирпичное трехэтажное здание, с каменными лестницами, в глубине до крайности застроенного двора, вплотную прилегавшего к Прохоровской фабрике.

Каждая квартира имела небольшой продолговатый сарай с погребом. Отопление дровяное, освещалась квартира спиртовыми лампами накаливания. Вода из кранов текла еле-еле — предусмотрительная хозяйка боялась, что жильцы будут много ее расходовать,

а это грозило переполнением ямы для нечистот. (Вместо канализации под домом была устроена бетонированная яма, вонь из которой мучила все население.)

Планировка квартиры была такой: небольшой проходной кабинет отца; рядом комната, где жили мы с братом (он спал на кровати, а я на раскладушке).

Одна дверь из нашей комнаты выходила в кабинет отца, а другая в столовую.

Столовая была небольшая. Там помещался обеденный стол, буфет, дверь из столовой выходила в комнату бабушки, матери отца,— тоже небольшую комнатку. Из комнаты бабушки другая дверь вела в кухню. Кухня была очень маленькая, тут же стоял и умывальник, рядом, за тонкой перегородкой,— уборная. И очень большая, типа русской печки, плита. Но плитой в нашем доме пользовались редко, в основном готовили на примусах.

Обстановка в квартире — самая простая. Отец не терпел никаких украшательств. Он принимал только простую и строгую мебель. Сам он всю жизнь спал на диване.

В 1918 и 1919 годах квартира опустела. Бабушка, мать отца, умерла от испанки в 1918 году, брат ушел на фронт, часто уезжал отец, нас «уплотнили» — вселили две рабочие семьи, а отцу оставили кабинет и комнату, в которой мы с ним жили.

Отец к этому времени получил широкую известность как писатель-большевик.

В 1917—1918 годах он оказался в орбите развернувшейся гигантской классовой борьбы. Естественно, что меньшевики, эсеры, подавляющая часть буржуазной интеллигенции с бешенством травили его, объявляли ему бойкот. Он был исключен из литературной организации «Среда», бывшие собратья по перу демонстративно перестали подавать ему руку.

И все же отец чувствовал себя, как никогда, твердо и уверенно. Он понимал, какие великие социальные сдвиги происходили в стране, его очень трогало, что в этой титанической борьбе трудящиеся не забывали о нем. Он получал с фронта от солдат, от рабочих, из деревни от крестьян теплые, искренние, дружеские письма; на собраниях его встречали овациями, к нему

приходили солдаты, рабочие, представители революционной интеллигенции, чтобы познакомиться и выразить ему свое одобрение и поддержку.

Работая с начала революции по заданиям партии, он в мае 1918 года вступил в партию большевиков в Пресненском районе Москвы.

Для характеристики корреспонденции, которую Серафимович получал в 1917—1918 годах, привожу несколько писем.

Письмо датировано декабрем 1917 года.

«Товарищ Серафимович!

Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов, собравшись 17 с. м. на общее собрание, шлет Вам горячий товарищеский привет как стойкому борцу и защитнику трудящихся масс. Пусть не смущает Вас тот поступок бывших Ваших товарищей по литературе, с которыми Вы десятки лет работали на трудном литературном поприще по просвещению темного и забитого народа и которые в самый трудный для народа момент отвернулись от него, встав открыто на сторону врагов его. Верьте, товарищ, что поступок Ваш, оставшегося верным народным идеалам, как и поступок писателей, прилагающих все усилия, чтобы замарать Вас, будет чуткой народной душой оценен по достоинству и воздаст каждому по заслугам его.

Вы с народом. Народ с Вами!»

Письмо из 95-го Красноярского пехотного полка действующей армии:

«Открытое письмо Серафимовичу.

Мы, кучка интеллигентов одного из полков действующей армии, с интересом следим за великими событиями в стране, ищем и ждем живого слова и удивленно видим, что прежние идолы, прежние литературные бойцы, один за другим постыдно бегут к стану тех, кого так недавно они бичевали. Прежние защитники народа — мужика, рабочего, солдата — брезгливо теперь отворачиваются от него, между тем как настала пора от слов перейти к делу...

...И вот с радостью и восторгом мы узнали, что Вы, гражданин Серафимович, гордо и смело, не изменяя своим идеалам, ушли из кружка «Среда». Не ушли —

принуждены были уйти от гнусных оскорблений. Тем хуже для оскорбителей.

Да, гражданин Серафимович, пропасть между шатающейся, испуганной интеллигенцией и народом — рабочими, крестьянами и солдатами — вырыта. И писатели, которые так трогательно, так хорошо писали о бедном мужике, оказались по одну сторону этой пропасти, а мужичок — по другую.

Но Вы оказались там, где стояли и раньше. Мы приветствуем Вас, гражданин Серафимович, и гордимся стойкостью Вашей.

Мы верим, что не один Вы из славной плеяды старых свободоборцов останетесь верным и словам и делу. Мы знаем, что народ даст Вам новых друзей и товарищей, светлых, могучих и смелых!»

Письмо от рабочего из Москвы:

«Глубоко уважаемый товарищ!

Позвольте приветствовать Вас как истинного художника-мыслителя. Вас не смутил разрыв с Вашими единомышленниками (на словах) и, быть может, и друзьями. Ваш поступок свидетельствует, что у рабочих и крестьян есть искренний вождь и учитель. Этот светлый пример свидетельствует не только об истине художественного слова, но также и об истинном и честном борце за истину.

Да здравствует истинный художник и мыслитель!

13 декабря 1917 года, рабочий Е. Кнашич».

Такие письма приходили к отцу ежедневно. К сожалению, многие из них не сохранились.

Но приходили письма не только от друзей.

Писатель понимал неизбежность разрыва с буржуазной интеллигенцией и со всей энергией отдался служению революции. Мой брат Анатолий и я в период Октябрьской революции с оружием боролись в рядах Красной гвардии, а потом мы уехали на фронты гражданской войны с одобрения отца.

Сам он непрерывно выезжал то на один, то на другой фронт в качестве корреспондента.

Вот одно из его писем, написанное мне с фронта из Ростова-на-Дону (датировано 4 марта 1918 г.):

«Ростов-Дон.

Милый мой, дорогой Юрок [1], часто тебя вспоминаю, моего родного.

Как-то ты поживаешь? Как учишься? Устроился ли с учителями?

Пробовал я добраться из Харькова до Киева, но поезда туда не ходят, так как за Киевом идет бой.

Тогда я направился в Ростов. Калединцев-юнкеров всех разогнали. Остатки с Алексеевым и Корниловым отступают в глубь Донских степей к калмыкам. Часть хотела прорваться в Екатеринодар, но их не пропустили.

В Екатеринодаре засели юнкера и идет бой. На них надвигаются с Тихорецкой и с Новороссийска советские войска. Кубанские казаки тоже подымаются на юнкеров. Скоро их сломят.

Приехал я, тут было тепло, славно, а теперь пришел туман, сыро, холодно, скверно.

Вчера был на собрании большевистской фракции.

Юнкера застрелили перед своим уходом несколько членов Совета.

Алексеев и Корнилов награбили много золота из банков и унесли...

Ростов и Новочеркасск два месяца были отрезаны от всего мира — ни газет, ни телеграмм, ни писем.

А местные газеты врали не в меру; каждый день сообщали о победах юнкеров и о поражении советских войск. А когда советские войска подошли к Ростову, редакция и сотрудники разбежались во все стороны, как крысы.

Послал я тебе и Толе по открытке. Получили ли?

Крепко целую тебя, Толунка и бабушку.

Твой папа»

Почти всю гражданскую войну он ездил по фронтам и много печатался в центральной прессе. Наконец-то он говорил полным голосом, был свободен от цензуры. В качестве корреспондента газет «Правда» и «Известия» он кроме калединского фронта объездил Восточный, деникинский, польский, врангелевский и другие фронты гражданской войны.

[1] Так звали меня в детстве в семье.

Всю гражданскую войну и брат провел на полях сражений, будучи на ответственных политических и командных должностях. Он погиб в конце войны на Южном фронте. Отец по командировке газеты «Правда» проехал по многим районам фронта, но установить место и подробности гибели сына не смог.

Есть основание предполагать, что в его гибели были повинны троцкисты, которые мстили за письмо[1] Анатолия к Ленину от 6 июля 1919 года. В это время Секретариат ЦК изучал материалы о казачестве, там было и письмо брата. Оно противостояло позициям троцкистов на Дону.

В связи с гибелью Анатолия отец получил от В. И. Ленина письмо.

«21/V. 1920

Дорогой товарищ!

Сестра только что передала мне о страшном несчастье, которое на Вас обрушилось. Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам руку и пожелать бодрости и твердости духа. Я крайне сожалею, что мне не удалось осуществить свое желание почаще видаться и поближе познакомиться с Вами. Но Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как *нужна* рабочим и всем нам Ваша работа и как необходима для Вас твердость теперь, чтобы перебороть тяжелое настроение и *заставить* себя вернуться к работе. Простите, что пишу наскоро. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш *Ленин*»[2].

Анатолий вел личные дневники, которые сохранились в архивах отца. Это были короткие, лаконичные, яркие записи о его беззаветной борьбе за революцию. В этих дневниках просматривается духовная сила воздействия на Анатолия дорогого нам обоим отца.

---

[1] Письмо опубликовано в книге А. Алексеевой «Анатолий Попов». М., «Молодая гвардия», 1968, стр. 146—147.

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 198—199.

Вот эти записи:

20 мая 1915 года.

Как плохо жить, когда не знаешь — для чего? Что делать, как правильно жить, к чему все кругом? В гимназии было сочинение на тему «Смысл жизни человека». Учитель поставил мне «5», сказал, что сочинение мое отличается глубиной мысли. Боже мой, я сам не знаю, для чего живу, а он мне ставит «5». Он и Рантовскому, графу, поставил «5». А ведь Рантовский — скряга и богач, для него жить — значит копить деньги. Он зарежется, но не подаст нищему...

Кто из меня получится? Как сделать, чтобы какой-то толк вышел от моей жизни... Не знаю, не знаю, не знаю... А ведь мне уже 15 лет!

3 декабря 1916 года.

Кажется, стал лучше — во всяком случае, стараюсь. Прошлое лето я жил на даче с папой и с дядей Виней, и там я, кажется, стал человеком; у меня стали появляться какие-то взгляды. Лето это было чудесное. Папочка, да еще дядя! А теперь дядя совсем переехал в Москву и живет недалеко от нас. Мы с ним подолгу разговариваем. Он знает столько интересного! Он прямо как целая библиотека. Вчера, например, рассказывал мне про политэкономию, про ученого Карла Маркса. Оказывается, этот Маркс сказал, что счастье — это борьба. Я согласен с ним, только вот еще не знаю, какая это борьба...

15 февраля 1917 года.

...Дядя открыл, наконец, свою тайну, он марксист, член РСДРП с 1903 года, большевик. Большевики борются именно за коммунизм. Теперь у меня есть цель — быть как дядя, революционер, и мне нет дела до гимназии.

3 марта 1917 года.

Ура! Произошла революция — свергли царя. Большевики вышли из подполья. Райком РСДРП на Пресне находится совсем рядом с нашим домом. Я туда

хожу каждый день. Может быть, и я могу чем-то помочь дяде Вине и другим большевикам. Читаю все газеты со статьями Ленина.

20 марта 1917 года.

Сегодня меня приняли в РСДРП. Даже не верится. Теперь и я буду бороться, а писать будет некогда! Ура! Большевик Тол-я-я-а-а!!!

7 июля 1917 года.

В Петрограде Временное правительство расстреляло мирных демонстрантов, а в Москве разгромили редакцию «Правды» (там работает дядя Виня), сбросили на ходу с трамвая нашего пресненского большевика Ивана Слесарева, а Мишку Дугачева избили на митинге.

Положение изменилось. Ленин говорит, что буржуазное Временное правительство показало, наконец, свое лицо. У нас, членов Союза молодежи, теперь еще больше дел. Ведь на плечи нашего поколения легла историческая задача. Если мы ее не выполним — будущее нам этого не простит.

8 ноября 1917 года[1].

Спал подряд два дня: делал революцию, неделю почти не ложился и вдобавок простудился. Итак, первая в мире социалистическая революция свершилась. Даже не верится, что вчера, при мне пробил час капиталистической собственности, что и я кое-что сделал для этого. Впрочем, великое, когда сам человек делает, не кажется ему великим.

...Была только одна минута, когда я почувствовал величие и смертельную силу момента. Это когда нас с Мишкой поставили под расстрел. (Это было в Кремле, когда белые захватили Кремль и учиняли расстрелы. — *И. П.)*

[1] Даты в дневнике даны по старому стилю.

21 мая 1918 года.

Когда-нибудь лет через пять, когда будет близок коммунизм и будет время писать, я засяду на много дней и опишу все, что сейчас происходит. Какое трудное время!

В общем, вулкан, на котором мы живем, продолжает действовать. И уж если жить в этом вулкане, то лучше в центре, на передовых позициях.

Просился много раз отправить меня на фронт, но пока не пускают...

...Это было вчера. Необыкновенный закат. Воробьевы горы. Сосна умчалась куда-то вверх. По стволу льются смолистые слезы. А иглы громко и задиристо топорщатся во все стороны.

Внизу стоим Рузя и я. Я спрашиваю, хочет ли она, чтобы мы вместе встречали утром солнце, вместе шагали под дождем в грязи.

Она медленно произносит, глядя на воду: «Да».

17 июля 1918 года.

Сейчас уезжаю. Мечтал на фронт, а отправили в Елабугу... за детьми.

Еще весной пресненских детей, чтобы спасти от голода, вывезли туда, а сейчас к Елабуге подходит Колчак, надо срочно эвакуировать. Страшно: от огромной неделимой России осталась, наверно, одна пятая часть.

И все-таки я счастлив! Здорово мне повезло: родился в этакое время!

3 августа 1918 года.

Вчера приехал, а сегодня опять уезжаю. Теперь уж это точно — в действующую армию. Неожиданно быстро, но тем лучше. На Восточный фронт просился — не пустили, еду на Север, в Котлас.

11 ноября 1918 года.

Завтра утром уезжаю на Южный фронт. На Севере ничего особенного не сделал. Командовал артиллерией парохода «Сильный», участвовал во многих реч-

ных боях, ездил по деревням, городишкам — агитировал.

Привез осколок снаряда, который чуть не сцапал мою жизнь. Англичане — гады: у них канонерки, и оружие, и даже газовые снаряды. А у нас баржи, переделанные под линкор, сапоги вместо валенок, голодные животы да храбрость. Она-то и выручает.

Ноябрь-декабрь 1918 года.

Еду, еду на Дон, в батькины места, в самое пекло. Надо почитать о казаках! Настроение твердое. Я дьявольски счастлив и даже войне сейчас рад: разве есть наслаждение больше, чем драться за идею, в которую веришь?! Мы летим в истории! Россия — вся в будущем. В борьбе за это будущее — огромное, невероятное счастье!

...Уже не первый месяц я на Южном фронте. Вчера в штабе решали: как быть, что делать? Калач совсем недавно был наш, теперь его захватил Мамонтов, а нам совершенно необходимо находиться в городе. Иначе Мамонтов может соединиться с восставшими у нас в тылу белоказаками. Командир говорит: метель, пурга, глаза слепит, красноармейцы не пойдут на город, потеряются в степи, наступать сейчас бессмысленно, да и у Мамонтова сил намного больше, чем у нас. Я с ним стал спорить (уважаю его очень, хоть он и военспец, бывший царский офицер, но соглашаться просто не могу). Пусть он командир, а мне — 19 лет, и я — комиссар, но, когда прав, не могу молчать. Стал его убеждать: именно потому, что мой план противоречит всем здравым доводам, надо его принять. Раз казаки не ожидают нападения в такое время, значит, надо выступать. Только так. Иначе днем нас разобьют.

Командир говорит:

— Молод еще, вот и говоришь. (Между прочим, мне здорово мешает мой возраст, как услышат, что мне 19 лет, несерьезно улыбаются.)

Я оказался прав. Добровольцев идти со мной на город оказалось более чем достаточно. Шли, взявшись за руки, чтобы не потеряться в ночной бушующей

тьме. Казалось, что идем не по земле, а по дну замерзшего моря. Ветер стаскивает даже привязанные шапки, а мою фуражечку сразу сорвал. К городу подошли — тут немного тише.

Сразу к штабу и по квартирам. Белые не успели даже штаны надеть, не только винтовки зарядить. Правда, штабисты скорее пришли в себя. Закрыли дверь, стали отстреливаться и пытались скрыться. Я одному, который полез через окно, выстрелил прямо в упор (стоя под окном). Он, мертвый, свалился на меня. Неприятно, но...

...Если бы не преданность, не героизм наших красноармейцев, конечно, с таким количеством сил мы бы не взяли город. Я только на это и рассчитывал, когда предлагал этот план.

12 января 1919 года.

Уже не первый месяц на Южном фронте. Наша восьмая армия наступает с трудом, с потерями, с болезнями, с плохим обмундированием и никуда-никуда не годным продснабжением. Но наступает.

29 июля 1919 года.

Я в Золотове. Из восьмой армии прибыл в штаб десятой и смотрю на Волгу.

Беспредельно тяжело оттого, что мы потеряли Донскую и Донбасскую области, оттого, что отступаем и отступаем, что фронт на юге вклинился огромной дугой на расположение наших войск, что с Востока прет Колчак, оттого, что республика наша задыхается в когтях голода, оттого, что здесь, под пулями, гибнет радость, оттого, что в таких муках начинается детство нашей социалистической республики. Добиваюсь, чтобы направили меня в казачью часть.

Вчера поступили сведения, что одна кавдивизия разбила две дивизии Деникина! Энтузиазм и энтузиазм! Только он и спасает.

31 июля 1919 года.

Сейчас получил назначение в часть (все-таки добился, чтобы в запас не посылали). Через полчаса будет лодка.

Уезжаю не простившись.

...Время такое.

В окно — синяя лодка у причала. Около нее стоит кто-то в шлеме, с винтовкой и саблей. А рядом девушка в платке, грубой куртке. Вот они протянули друг другу руки, пожали их, долго смотрят в глаза и... расходятся.

Суровое военное время.

И суровое синее прощание.

Вот так бы и я с Рузей простился, но ее нет, и я сделаю по-другому.

Подальше отсюда, на песчаной отмели, я напишу огромными буквами: «Я люблю тебя и Революцию! Прощай!»

Слова, записанные в дневнике: «Я люблю тебя и Революцию» — были знаменем его борьбы.

Я встретился с отцом на фронте в Воронеже в 1919 году в 8-й армии Южного фронта, где имел возможность провести вместе с ним несколько дней. При посещении воинских частей отец сливался с красноармейской массой, его беседы с солдатами носили всегда задушевный характер и касались всех сторон жизни.

Все произведения Серафимовича-писателя являются плодом упорного труда, изучения историй, характеров людей, их быта, социальных отношений, природы. В этом отношении показательно его лучшее произведение «Железный поток», которое он начал писать, когда еще не смолкли орудия гражданской войны. Он остановился на выборе этой темы не случайно. В статье «Из истории «Железного потока» он пишет:

«Материала на тему о гражданской войне у меня накопилось много. Мне рассказывали товарищи, приезжавшие из Сибири, поразительные картины, среди них более яркие и более трагические, чем те, которые описаны в «Железном потоке» [1].

Еще больше у него было личных ярких наблюдений из военных событий, в которых он сам принимал

---

[1] А. С. Серафимович. Собрание сочинений, т. 7. М., 1960, стр. 310.

участие. И при всем том отец взялся писать свое главное произведение — о походе таманцев, в котором он непосредственного участия не принимал. Читатели нередко спрашивали — почему? Почему его вдохновило именно это событие, а не те, не менее важные и значительные, которые он пережил лично? Еще до войны, с раннего детства, он исходил казачьи станицы пешком, изъездил на лошади, на велосипеде, на мотоцикле. Он не только в совершенстве знал типы, быт и жизнь казачьих станиц. Он глубоко понимал их социальный уклад, отношения между богатым и бедным казачеством, между казачеством и иногородними.

Он хорошо знал маршрут движения Таманской армии.

Страстный любитель путешествовать и жить в новых местах, он еще до войны жил в горных селениях, через которые потом прошла Таманская армия. А. С. Серафимович писал: «Не было еще Октябрьской революции, не было еще гражданской войны, не могло, следовательно, быть и самой основы «Железного потока», а весь его горный плацдарм, весь его фон, вся его природа уже давно ярко горели передо мной неотразимо влекущим видением. Могучий пейзаж водораздела Кавказского хребта огненно врезался в мой писательский мозг и велительно требовал воплощения» [1].

Поэтому, когда он узнал историю похода таманцев, в его творческом воображении сплавились воедино реальные факты с художественным домыслом, рождая незабываемые образы и картины «Железного потока».

Отец писал «Железный поток» два с половиной года. Это были годы напряженной работы. Он изучал мельчайшие подробности. Недоверие к первым впечатлениям заставило его многократно возвращаться к вопросам, которые уже имели достаточное освещение и были изучены.

К этому времени отцу выделили в бывшей гостинице «Националь» (тогда она именовалась «Первый дом Советов») дополнительно к квартире на Пресне комнату — номер 408 на 4-м этаже. Этот номер имел,

---

[1] А. С. Серафимович. Собрание сочинений, т. 7, М., 1960, стр. 303.

сколько я помню, 20 квадратных метров и ванную комнату с туалетом.

В «Национале» протекала «официальная» часть жизни отца. Здесь он, как правило, принимал и участников таманского похода, а над текстом «Железного потока» работал в квартире на Пресне, где к тому времени жила и его вторая жена Фекла Родионовна Белоусова.

Когда он писал «Железный поток», его стол в кабинете на Пресне стоял перед окном, а за его спиной шло непрерывное движение. Жена готовила, накрывала на стол, убирала. Приходили гости, которых она принимала, обедали, пили чай, разговаривали, но все это не мешало отцу. Он ничего не видел и не слышал, он упорно работал над текстом «Железного потока».

Многие месяцы в нашем номере 408 ежедневно бывали в одиночку и группами участники похода. Казалось, они всё рассказали, а отец сделал подробные записи в записных книжках. Но в следующие дни он просил еще раз повторить рассказ о том или ином событии из похода, слушал как будто в первый раз, задавал вопросы, а потом, заметив некоторую утомленность гостей, неожиданно весело затягивал кубанскую песню, и присутствующие, любители песни — кубанцы, подхватывали, и в комнате гремела лихая или грустная хоровая песня. Садились пить чай; и опять он неутомимо слушал, вытаскивал записную книжку, делал записи, а потом рассказывал что-нибудь смешное, обычно про себя: как попал впросак в том или другом из его многочисленных давних путешествий.

Я и то уже знал наизусть ряд эпизодов, а отец все еще продолжал беседовать: «отрабатывать» характеры людей, их мельчайшие поступки.

Повесть «Железный поток» отец рассматривал как часть будущего большого произведения под общим названием «Борьба». Вскоре «Железный поток» писатель развернул в самостоятельный роман.

Роман «Железный поток» памятен нашему поколению. Леонид Ильич Брежнев в речи, произнесенной 7 сентября 1974 года в г. Новороссийске, сказал:

«Из-под Новороссийска взял свое начало леген-

дарный «Железный поток» — широко известный поход Таманской армии» [1].

Многие, особенно участники похода, ждали описания продолжения похода, величественного и драматичного, совершенного Таманской армией через астраханские степи. Однако писатель этой цели перед собой не ставил. Он ставил перед собой новую трудную задачу: написать книгу о мирном труде социалистической республики, дать большое полотно, обобщив результаты великого труда Страны Советов с первых дней ее образования.

Были собраны материалы, скоплено огромное количество газетных вырезок, которые сохранились, были написаны яркие отрывки и картины, но всей работы отец закончить не успел.

Жизнь шла быстро вперед, каждый год становился новой яркой страницей развития социалистического отечества и был наполнен громадными историческими событиями, мимо которых художнику не пройти.

Годы коллективизации показали Серафимовичу, что его материал требовал нового угла зрения, пополнения и пересмотра.

Проходило время, он вновь пересматривал накопленный материал, упорно не выступал с произведениями более частного характера, отдавая все силы основной работе, собирая новые материалы, критиковал и дополнял написанное, старался охватить жизнь во всем ее объеме: деревню, город, армию, промышленность, культуру. Так, в напряженной работе, подкрадывалась старость, которую он долго не хотел замечать, продолжая работать и ездить по стране.

Семидесяти лет, к величайшей тревоге близких, отец уехал один на несколько дней на моторной лодке, не сказав куда.

Даже в старости писатель не расставался с мечтой путешествовать и мечту эту осуществлял с большим риском и смелостью.

В 1931 году мы с ним совершили интересную поездку на моторной лодке по Дону из станицы Усть-

---

[1] Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 5. М., Издательство политической литературы, 1976, стр. 125.

Медведицкой в Вешенскую, где жил и работал Михаил Шолохов.

Несмотря на длительное путешествие, отец возвратился бодрый и преисполненный сил. Вскоре он написал очерк «По донским степям».

Отец любил физический труд. Еще в ссылке он научился столярному ремеслу, имел высокую квалификацию столяра-краснодеревца и с удовольствием столярничал. В Новочеркасске в просторной застекленной комнате у нас была настоящая столярная мастерская с верстаком и множеством инструментов: они хранились в специальном шкафу, на стенных полках и были развешаны по стенам. Отец любил, чтобы пилы были острыми, а ножи, фуганок и рубанок — наточены, как бритвы. С любовью и гордостью осматривал он свой отличный инструмент, пробовал его на ноготь, на волос, раскладывал в строжайшем порядке. Здесь было все необходимое, включая самый тончайший инструмент для работы по дереву. Часто отец изготовлял ту или иную вещь для дома и при этом особенно тщательно отделывал дерево, готовил к полировке и полировал. Из вещей, изготовленных отцом, в семье сохранилась сейчас только одна резная полочка.

Последняя «столярная мастерская» была у нас в 1931—1932 годах на даче на станции Отдых. Был куплен верстак и инструмент, отец пригласил столяра и работал вместе с ним.

Но вот наступили тяжелые испытания — разразилась Великая Отечественная война. Отец эвакуировался из Москвы в город Серафимович (бывш. Усть-Медведицкая станица, Донской области). Он выехал вместе с женой, с двумя моими дочерьми, Искрой и Светланой, и редактором своих сочинений Г. Б. Нерадовым.

Недолго пришлось отцу жить на Дону. Вскоре, как только стал приближаться фронт, Нерадов уехал в Ташкент, а отец никак не мог поверить в то, что немцы подходят к станице, и не трогался с места. Он уехал только с последними отходящими нашими частями, предоставившими ему машину. Потом, по же-

лезной дороге и по воде, под неоднократными бомбежками (об этом у него написан рассказ «Ребенок», как он остался с внучкой вдвоем в глухой степи), он добрался до Ульяновска, где и поселился на некоторое время.

Жизнь в Ульяновске была очень тяжелой. Гостиницу не топили. Чтобы кормить детей, приходилось продавать свои немногочисленные вещи. В 1943 году он вернулся в Москву.

Несмотря на свой возраст, отец, как всегда, не мог оставаться в стороне от событий. Он, как обычно, переоценивал и свои, и даже наши силы. Ему казалось, что он обязан побывать на фронте, а мы мешаем этому. Он ходил по инстанциям, требовал, просил; ему всюду отказывали, он приходил снова. Бывали и такие случаи: чтобы избежать неприятного разговора с ним, начальник вызывал своего секретаря или своего помощника и долго, нудно отчитывал в присутствии отца за то, что секретарь якобы куда-то дел заявление, что не взял заявление под контроль, что он, секретарь, виноват во всех задержках. И когда отцу от утомления и непонятных препирательств хотелось закрыть глаза, чтобы на минуту отключиться от всего, хозяин кабинета вежливо говорил:

— Вы не беспокойтесь. Мы примем меры. Мы все исправим, мы все сделаем.

Отец перестал ходить, он понял, что на фронт его не пошлют.

И вдруг!

Группа писателей, собираясь на фронт, заехала к нему попрощаться.

В ту пору на Орловско-Курскую дугу стягивались огромные силы; приглашали туда и писателей, как будущих летописцев. Тогда никто из них, естественно, еще не знал о грандиозности предстоящих событий.

Гости были несколько удивлены и огорчены, когда отец, поприветствовав их, вдруг ушел в другую комнату. Он отсутствовал минут пятнадцать. Гости занервничали. Было похоже, что Серафимович не хотел с ними разговаривать. А время поджимало: ночью движение в Москве прекращается — военное положение.

Но вот Серафимович вышел. Он был на этот раз очень толстый: в валенках, в теплом пальто, теплой шапке.

— Так как же, вы едете? — спросил он. — На автомобиле?

— Да.

— И очень торопитесь?

— Да, нам надо срочно выезжать.

— Ну давайте, я вас провожу.

И вся группа вышла во двор. Серафимович подошел к машине.

— А как же вы подниметесь в кузов?

— А вот здесь есть лесенка. Мы по ней и влезем!

— Ах, как это хорошо! — сказал он и, не обращаясь ни к чьей помощи, проворно поднялся в кузов, сел и заявил: — А я еду с вами!

Все были потрясены.

— Как же так? — заговорили наперебой писатели. — Ведь уже вечер, скоро будет прекращено движение. Мы должны успеть вырваться из Москвы загодя! Давайте, дорогой Александр Серафимович, мы вас обнимем и уедем.

Но старик твердо стоял на своем. В его глазах светилось лукавство, глаза говорили:

«А ну-ка, что вы сделаете со мной?!»

Писатели посовещались и решили доставить ему удовольствие. Все уселись, и машина помчалась. Они сделали круг по Москве и обратились к Серафимовичу:

— Вы, наверное, устали. Давайте выйдем.

Но он почувствовал подвох:

— Нет, никуда я не выйду.

— Но ведь мы приехали!

— Куда приехали?

— К вам домой приехали. Мы вас покатали и приехали к вам домой!

Но отец был неумолим. А время шло. Если еще задержаться, удастся выехать только завтра утром, значит — нарушить приказ.

Делать было нечего. Расселись по местам, и машина двинулась вместе с Серафимовичем к заставе, а потом в направлении фронта, в район предстоящего сражения на Орловско-Курской дуге.

Отец торжествовал. А кое-кто из писателей был в смятении: как-то их примут на фронте?!

Путь был длительный. Не знаю, сколько часов они ехали, но вообще преодолеть расстояние до Орла менее чем за 15—16 часов в то время было нельзя.

По разговорам мне помнится, что первоначально они прибыли в штаб фронта. Волнение улеглось, так как их хорошо приняли, без упреков, а отца даже объявили старшиной отряда писателей. Ему в то время было на исходе 79 лет.

В воспоминаниях писателей упоминается, что все это происходило в штабе 3-й армии, у командующего 3-й армией, генерала Горбатова, будущего Героя Советского Союза.

Возможно, их не случайно направили к нему, так как в это время наиболее «тихим» местом на фронте была армия Горбатова. В ожесточенных сражениях она понесла потери. К тому времени уже был взят Орел, а 3-я армия продвигалась боевым резервом во втором эшелоне, сочетая это продвижение и с отдыхом, и с учебой, и с пополнением.

Однако и во втором эшелоне армия несла потери. Тут главенствующую роль играла не вражеская авиация, а наземные источники, в частности немецкие блиндажи, хорошо укрепленные, хорошо оборудованные, недосягаемые для артиллерии и авиации, но в которых вместе с бетоном был и металл, что затрудняло розыск мин замедленного действия, и некоторые из этих блиндажей взрывались в боевых порядках армии.

Отца встретили хорошо. Ему предложили хорошую комнату, прикрепили вестового, офицера, и сказали, что он может отдыхать, а офицер будет ему все рассказывать.

Но тут он опять взбунтовался:

— В первую империалистическую войну я был на Западном фронте в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей». Я тоже приехал в штаб армии, меня встретили, предложили хорошие комнаты, обслуживание и офицера, который должен был мне обо всем рассказывать. Русские войска в это время терпели крупное поражение, обстановка была тяжелая, а офицер мне врал о «победах». Не написав ни одной строчки,

я уехал в Москву. Прошу на меня не обижаться. Я очень люблю советских офицеров и знаю, что советский офицер будет говорить только чистую правду. И все-таки я должен быть среди солдат, в непосредственном районе боевых действий!

— Какой транспорт вы предпочитаете? Машину? — спросили отца.

Отец отрицательно покачал головой.

— Может быть, вы хотите полететь самолетом? Но это небезопасно.

Отец тоже отказался.

— Тогда что же вы хотите?

— Я хочу иноходца,— сказал неожиданно отец и увидел растерянные глаза.

Отец объяснил, что иноходец это верховой конь, на рыси которого можно чай пить,— так он идет спокойно и без тряски, что в любом возрасте на нем ехать приятно.

Офицеры развели руками и смущенно признались, что иноходца у них нет. Отец рассмеялся, сказал, что он шутит, и попросил, чтобы его повезли на машине непосредственно в боевые порядки дивизии.

Так и сделали.

Ко всеобщему удивлению, в Москву Серафимович вернулся бодрым и как будто помолодевшим на много лет. Тяготы фронтовой жизни его не утомили, наоборот, он был преисполнен радости, что оказался участником таких крупных событий, и его стало меньше беспокоить собственное здоровье.

...Последняя заметка отца была напечатана в газете «Молот» в Ростове-на-Дону 1 января 1949 года, за 19 дней до кончины.

Газета «Молот» попросила его что-нибудь написать к новому 1949 году, и он продиктовал мне заметку, в которой говорилось:

«Прошлый год был восемьдесят шестым годом в моей жизни. Многое я пережил, многое видел на своем веку.

Приятно и радостно сознавать, что в ушедшем в историю 1948 году наш народ сделал еще один большой шаг на пути к коммунизму...

В день нового года через газету «Молот» я обращаю свое слово, слово старого донского казака Курмоярской станицы, к моим дорогим землякам: работайте еще лучше, трудитесь много и хорошо, чтобы еще краше и богаче стала страна наша, наша великая Родина!

Александр Серафимович — лауреат Сталинской премии».

Он, который так мало дорожил своей жизнью, за несколько дней до смерти подозвал меня к себе и сказал: «Я умираю. Хотелось бы еще посмотреть жизнь!»

Скупые слезы покатились из его глаз.

Это был единственный раз, когда я увидел слезы человека, отдавшего всю свою жизнь народу. Отец умер в день своего рождения, 19 января 1949 года.

1959—1976

Рюрик Ивнев

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Вспоминаю первые дни и месяцы Великой Октябрьской революции. В то время я жил в Петрограде, но все же мы все хорошо знали, что происходило в Москве,— там наблюдался такой же, как и в Петрограде, раскол русской интеллигенции: петроградская буржуазная пресса всячески старалась опорочить ту, тогда небольшую группу интеллигенции, которая осмелилась возвысить свой голос против нападок на Советское правительство. Имена активно поддерживавших советскую власть теперь широко известны. В их числе были: Александр Блок, художники Альтман, Петров-Водкин, Всеволод Мейерхольд — бывший режиссер Александринского театра, поэтесса Лариса Рейснер, поэты Сергей Есенин и живший тогда в Москве Владимир Маяковский. В Москве в ту пору жил и один из самых крупных русских писателей старшего поколения Александр Серафимович.

Подавляющая часть интеллигенции «двух наших столиц», по выражению Луначарского, была на стороне буржуазии и принимала участие в травле тех, кто сразу стал на сторону большевиков.

В то время я был секретарем Луначарского. Помню, как Анатолий Васильевич во время приема посетителей в Зимнем дворце (в конце декабря 1917 года), едва я вошел в его кабинет, встретил меня такими взволнованными словами: «Вчера вечером я узнал, что московские писатели, вернее, группа

писателей из литературного кружка «Среда» объявила бойкот Серафимовичу за то, что он «работает с большевиками». Конечно, Серафимовичу от этого ни жарко, ни холодно, но меня возмущает такая наглость: ведь Серафимович один из самых талантливых писателей старшего поколения. Но что можно ожидать от тех, кто потерял голову от ненависти к советской власти. Ведь и мы сами испытывали это на себе. Но это не может уменьшить нашего возмущения, когда это касается других наших товарищей. Впрочем, так же случалось во времена французской революции: контрреволюционеры выливали ушаты грязи, особенно рьяно на наиболее талантливых людей, перешедших на сторону революции. Так что,— сказал Луначарский насмешливо,— своим бойкотом они не унизили, а возвысили, сами этого не понимая, имя нашего Серафимовича».

В начале марта 1918 года я был командирован Луначарским в Москву, куда переехало Советское правительство, в качестве секретаря-корреспондента. (Сам Луначарский оставался еще в Петрограде.) Петроград и вся Северная область были объявлены «Северной коммуной». В это время Серафимович находился на фронте. Вышло так, что наша встреча состоялась лишь в 1934 году, на Первом съезде Союза советских писателей.

Во время перерыва большой зал Дома Союзов был наполнен делегатами. Я стоял около окна. В это время мимо меня прошел девяностолетний старик — проживавший в России участник Парижской коммуны — Адриен Лежен.

Он шел в сопровождении пожилого спутника и все время уклонялся, когда тот заботливо пытался ему помочь...

Через несколько минут я заметил, как группа делегатов съезда окружила Серафимовича. Я невольно подумал: как же редко бывают в жизни такие совпадения, когда живые представители двух разных исторических эпох проходят мимо тебя, как на экране кинематографа...

Я вспомнил взволнованные слова Луначарского о травле Серафимовича и решил подойти к нему. Вы-

ждал, когда Серафимович освободится из кольца делегатов, подошел к нему и сказал: «Хочу с опозданием на четверть века рассказать вам, как реагировал А. В. Луначарский на бойкот, который был объявлен вам группой писателей кружка «Среды». Я — Рюрик Ивнев...»

Он ответил: «Ваше имя известно мне по статьям в «Известиях».

Мы отошли в сторону, продолжая разговор. «Вы знаете, что я против всяких «измов», в том числе — футуризма и имажинизма, это — ваш минус, но у вас был и плюс: это — стихи, которые я запомнил; они были опубликованы в большевистской газете «Звезда», кажется, в 1912 году, и второй плюс — ваши статьи в «Известиях» в 1918 году».

Говорил он это улыбаясь, как бы шутя. «Но я должен вам сказать,— продолжал он,— что о вас все это долгое время знал лишь понаслышке. Ведь вас долго не было в Москве. Попадались лишь на глаза ваши переводы стихов поэтов Закавказья. Знаю, что Есенин и вы порвали уже давно с имажинизмом. Все это понятно, но все же недостаточно, чтобы иметь полное представление о вашем творчестве».

Короче говоря, я понял, что Серафимович знал обо мне поверхностно, но, несмотря на это, чувствовал, что глаза его излучают доброту, но доброту не всепрощающую, а строгую и требовательную. Серафимович при всех обстоятельствах был откровенен. Ему была чужда дипломатическая изворотливость.

Своею внешностью он напомнил мне образ Тараса Бульбы, а еще более — одну старинную иллюстрацию к пушкинской «Полтаве».

При прощании он добавил: «Если у вас есть что-нибудь новое, хотя бы еще не опубликованное, принесите мне после окончания нашего съезда».

Я долго был под впечатлением этой поздней встречи с писателем старшего поколения.

Но обстоятельства сложились так, что вскоре я уехал с бригадой писателей на один из объектов бумажной промышленности, а затем — в Грузию.

К моим личным воспоминаниям о Серафимовиче я прибавлю, на мой взгляд, очень интересные эпизоды из жизни Серафимовича, рассказанные мне моим другом,

известным в свое время юристом Семеном Веньяминовичем Минцем. То, что он мне рассказал, было настолько значительно, что я тут же записал в моей «календарной тетради». Минц начал свой рассказ как истинный юрист:

— 15 августа 1948 года я, совместно с писателем Ильенковым Василием Павловичем, посетили Александра Серафимовича Серафимовича. Он временно жил на квартире своего сына И. А. Попова. Серафимовичу было в это время 85 лет, и он чувствовал себя неважно и хотел, чтобы опытным юристом-цивилистом было составлено завещание. По просьбе Союза писателей я охотно вместе с Ильенковым отправились к нему. Меня поставили в известность о семейных взаимоотношениях А. Серафимовича, и я составил проект завещания, которое было оформлено в нотариальной конторе.

Во время нашего свидания мы долго беседовали.

А. Серафимович лежал на диване после завтрака, которым его накормила жена сына; он был весел и шутил. После официальных разговоров я спросил Александра Серафимовича: «Кто был вашим любимым писателем?»

Он рассмеялся и сказал:

«...Кто мог быть моим любимым писателем? В наше время у всех был один любимый писатель — Лев Толстой. Да с кем бы его было можно сравнивать? А все писатели, что бы они ни написали, всегда думали об одном: что скажет Лев Николаевич, и скажет ли что-нибудь, и будет ли читать их произведения. — Помолчав, Серафимович продолжал: — Вот однажды мы сидели в редакции «Знание». Приходит А. М. Горький. Поговорили о том о сем, а потом он тихо добавил: «А знаете, Александр Серафимович, Лев Николаевич меня о вас расспрашивал».

Я страшно взволновался.

Горький улыбнулся: «Я еще не сказал вам самого главного: Лев Николаевич просил вас приехать к нему в Ясную Поляну. Поезжайте, не откладывайте! Он хочет с вами познакомиться».

Ну, где уж откладывать, тут же я и поехал.

В Ясной Поляне не так просто было повидать Льва Николаевича. Софья Андреевна меня к нему не допускала, сказала, что Лев Николаевич занят и ему, как

я понял, не до меня. Она меня видела первый раз, моих произведений не читала и обо мне не слыхала. Я хотел задержаться, подождать. Объяснял, что Лев Николаевич сам меня вызвал, но этому никто не поверил, и все от меня как-то отвернулись. Я уже потерял надежду повидать Льва Николаевича и печально побрел назад к станции. Но неизвестно, как возникает то, что мы называем счастьем. Навстречу, по дороге, шел Лев Николаевич. Он спросил меня, кто я и кого хочу видеть. Я назвался. Лев Николаевич даже обрадовался и вспомнил, что просил Горького прислать меня. Мы пошли с ним погулять. Лев Николаевич сказал, что читал мои рассказы. Похвалил их, но засмеялся и сказал:

«Да только крестьян вы рисуете как-то не так. Они у вас очень умные, разговорчивые, мало того, мыслящие, все с характерами.

Верно ли это, помните у меня? Мои крестьяне сказать ничего не могут, все «тае» да «тае», помните, как в «Плодах просвещения», да жалуются, что цыпленка некуда выпустить».

Я забыл все и вступил тут же в спор.

«А ведь в «Казаках», Лев Николаевич, у Вас не так, там ведь тоже люди с характером». Лев Николаевич возразил: «Так то казаки».

А я и говорю: «А у меня ведь только казаки и описаны». Лев Николаевич задумался, а потом сказал примирительно: «Ну это другое дело, по-видимому, это я не учел».

Долго тогда мы гуляли и беседовали.

Эту беседу я запомнил на всю жизнь. Мы вместе вернулись на веранду, С. А. пригласила меня к чаю, Л. Н. похвалил мои рассказы, и все отнеслись ко мне по-иному».

Вот этим рассказом со слов моего друга, адвоката Минца, мне захотелось дополнить мои личные воспоминания о Серафимовиче, потому что они обогащают наше представление об Александре Серафимовиче в 85-летнем возрасте.

1976

Петр Кузько

ОРГАНИЗАТОР И ДРУГ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Мне посчастливилось не только часто встречаться в 20-е годы с А. С. Серафимовичем — этим большим и талантливым русским писателем, революционером и общественным деятелем, но и работать с ним в одном учреждении около двух лет. В первые годы после Октябрьской революции мировая буржуазия жестоко обвиняла русский народ в вандализме и разрушении культурных ценностей, но фактически дело как раз происходило по-иному. Еще не успели остыть первые боевые дни революции, как уже в ноябре 1917 года в Петрограде ВЦИК сделал попытку собрать вокруг новой власти литературно-художественную интеллигенцию. Но, увы, из приглашенных в Смольный писателей, артистов и художников, живших в то время в Петрограде, пришло всего пять человек. Это были В. Маяковский, А. Блок, В. Мейерхольд, Р. Ивнев и Н. Альтман (Серафимович в то время жил в Москве).

Несмотря на первую неудачу, работа по собиранию и объединению литературно-художественной интеллигенции и по охране всех видов культурных ценностей прошлого интенсивно продолжалась. В области художественной литературы в этом направлении весьма много сделал в те первые годы народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, которому активно помогали В. Я. Брюсов и А. С. Серафимович. Партия большевиков проводила в литературе политику

укрепления и воспитания молодых пролетарских писателей, стремясь создать наиболее благоприятные условия для роста новых писательских кадров из среды рабочих и крестьян. Это важное дело было возложено вначале на только что созданные художественные журналы и на Художественный центр Наркомпроса. А в начале 1920 года — на Литературный отдел Наркомпроса — Лито.

Литературный отдел Наркомпроса был организован в конце 1919 года. Положение о нем было принято на заседании Коллегии 11 декабря, и эту дату можно считать днем рождения Лито. Из положения явствовало, что он должен оказывать поддержку живым литературным силам, литературно-художественным группам, союзам, клубам и кружкам в целях использования их в интересах литературного просвещения трудового народа. Другой главной задачей Лито было — выявлять скрытые в народе литературные дарования и содействовать их революционному развитию. В соответствии с этими задачами Литературный отдел был разбит на секции.

С первых же дней существования Лито и почти до конца 1922 года работа Серафимовича была органически связана с этим отделом.

В этой работе как раз и проявилось во всей силе внимание Серафимовича к творчеству молодых пролетарских и крестьянских писателей и забота об их бытовых и материальных нуждах, о чем хорошо помнят и поныне здравствующие питомцы Лито.

За все время своего короткого существования (около трех лет) Литературный отдел являлся всероссийским центром, вокруг которого объединялись лучшие тогдашние литературные силы, включая и старых представителей художественной литературы.

И вот в таком важном центре культуры и начал свою крупную организаторскую деятельность А. С. Серафимович — вначале как заведующий Литературно-издательским подотделом, а затем и как глава всего Лито.

В Литературном отделе соприкасались такие представители литературного мира, как В. Брюсов, А. Серафимович, В. Маяковский, С. Есенин, писатели М. Герасимов, В. Кириллов, Н. Ляшко, Ф. Гладков, В. Бах-

метьев и другие; театральные деятели В. Мейерхольд и А. Таиров, представители философии, музыки и других видов художественной культуры. Здесь можно было встретить и В. Качалова, и профессоров-литературоведов П. Сакулина и В. Фриче, и художника-скульптора Г. Якулова, и других.

Литературно-издательский подотдел Лито, во главе которого стоял А. Серафимович, сам не издавал книг, но литературная коллегия этого подотдела, оценивая поступавшие в него рукописи или книги для переиздания, сдавала их для издания в ОГИЗ.

Моя первая встреча с А. С. Серафимовичем произошла при следующих обстоятельствах. Узнав в 1920 году об организации Литературного отдела Наркомпроса, я, как бывший журналист, обратился к А. В. Луначарскому с просьбой возбудить ходатайство об откомандировании меня из войск внутренней охраны Республики (где я тогда служил) в распоряжение Наркомпроса. Это ходатайство было удовлетворено, и я был назначен в Лито на первое время управляющим делами, а затем ученым секретарем. Ближайшими соратниками А. В. Луначарского, официально возглавлявшего в то время Лито, были: его заместитель по Лито В. Я. Брюсов, А. С. Серафимович, В. М. Фриче, П. С. Коган, И. М. Касаткин и другие.

В. Я. Брюсов познакомил меня с А. С. Серафимовичем, чье имя для меня уже и тогда звучало очень авторитетно.

Александр Серафимович пытливо посмотрел мне в глаза и тут же начал дружески «исповедовать»: какое я имею отношение к литературе, давно ли ею занимаюсь и в какой области пишу.

Еще раз подтвердились слова, что мир наш тесен. В разговоре я упомянул, что толчком к началу моей литературной деятельности послужило заочное знакомство с профессором М. И. Туган-Барановским.

Живя в 1906 году в глубокой провинции и занимаясь репетиторством, я прочитал книгу М. И. Туган-Барановского «Очерки по новейшей истории политической экономии и социализма» и завел с ним полемическую переписку, результатом чего в одном из толстых петербургских журналов и появилась моя первая публицистическая статья.

— Э-э, батенька, да у нас, оказывается, с вами есть общий старый знакомый,— лукаво улыбнулся Александр Серафимович. — Ведь я, еще будучи студентом Петербургского университета, знавал вашего Тугана. Он и в студенческие годы был большим путаником в области политики. Здорово ему тогда доставалось от Александра Ульянова. Правда, Туган-Барановский был способным студентом, не то социал-демократ, не то либерал — царское правительство иногда и его преследовало. О том, что с ним случилось после Октября, вы, наверное, знаете[1]. А судя по тому, что вы сейчас с нами, надо думать, не успел он вас совратить с пути истинного.

Я, конечно, чувствовал себя несколько смущенно.

После ухода В. Я. Брюсова на работу в Главпрофобр 25 января 1921 года Серафимович был назначен заведующим Лито (в дальнейшем Лито был преобразован в Академический лито и еще позднее — в Институт художественной литературы и критики).

Обладая большими организаторскими способностями, Александр Серафимович очень не любил канцелярщины, администрирования и многого из того, что бывает связано с работой в государственном учреждении. Чтобы избавиться от этой стороны работы, Серафимович вскоре после назначения заведующим Лито утвердил своим заместителем по канцелярской и хозяйственной части своего старого друга писателя Н. И. Фалеева (псевдоним Чуж-Чуженин). Кроме того, он привлек к работе еще и своего родного брата — Вениамина Серафимовича Попова (Дубовского), литературного сотрудника «Правды», а также С. Г. Скитальца (Петрова), который, правда, вскоре уехал в Сибирь.

Погрузившись в работу Лито и придавая ей огромное значение, Александр Серафимович неустанно думал об ее улучшении.

В своей записке, озаглавленной «Лито», он отмечал, что «главная задача и первейшая — создать новую художественную литературу, а для этого открыть новые художественные силы и организовать их... Старые ли-

---

[1] М. И. Туган-Барановский после Октябрьской революции был министром финансов в правительстве Деникина на Украине. Умер в поезде во время бегства за границу в 1919 году.

тературные силы втягиваются в его воздействие. В провинции открыты молодые талантливые литераторы, художники и интеллигенты. Для их использования нужны пайки, жилище, хорошая оплата. Лито делает чрезвычайные усилия дать то, другое, третье. И, по-видимому, — справится с этим. Мало этого — надо организовать дело так, чтобы давать задания — не сплеча, а тонко, мягко, умело, индивидуализируя каждую литературно-художественную силу, для чего создается при Лито «Клуб литераторов»[1].

Уже в начале февраля 1920 года при Лито окончательно оформилась группа пролетарских писателей, вышедших из московского Пролеткульта. По предложению А. Серафимовича и за его подписью 23 июня 1921 года утверждается проект положения о Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП).

В эти начальные годы Октябрьской революции как в Москве, так и в Петрограде создаются различные литературные группировки, вроде «Литературного особняка», «Литературного звена», «Всероссийского союза поэтов» (во главе с Брюсовым), группы писателей — футуристов, неореалистов, имажинистов, ничевоков, космистов и др.

В то же время в Москве функционировал уже организовавшийся Дом печати, в котором группировались и членами которого состояли, кроме писателей, в основном журналисты Москвы. В 20-х годах Дом печати (во главе стоял Вяч. Полонский) играл большую связующую роль между писателями всех литературных направлений и организаций.

Как подлинному художнику-реалисту, Серафимовичу приходилось вести напряженнейшую борьбу за торжество и процветание молодой советской литературы реалистического направления. В этой борьбе и выявился подлинный облик Серафимовича, общественника и организатора, его искренняя преданность и любовь к рабочему классу, крестьянству и демократической интеллигенции. Одной из форм внимания к писателям из рабочей и крестьянской среды и из интеллигенции, преданной советской власти, и той, которая лояльно к этой власти относилась, была материальная

[1] Записка находится в ЦГАЛИ, фонд 457, ед. хр. 438.

помощь, оказываемая Лито Наркомпроса различным литературным организациям и отдельным писателям.

Удивительная душевная чуткость Серафимовича по отношению к молодым писателям особенно ярко выявилась при руководстве одним из основных литературных центров Советской России.

Хотя Серафимович и продолжал, работая в Лито, проявлять внимание к старым литературным кадрам, он все же был всем своим духовным строем всегда на стороне представителей новой литературы, ведя при этом самую жестокую борьбу с теми, кто мешал развитию новой, советской культуры.

Гонорары за литературные произведения были в те времена очень незначительны. Руководителям Лито — и Луначарскому, и Брюсову, и Серафимовичу — приходилось выискивать всевозможные средства, чтобы создать мало-мальски сносные условия для творческой работы писателей. Надо было «накормить» и новых пролетарских писателей, количество которых все более увеличивалось, и старых, пришедших к выводу о необходимости работать с советской властью.

Работа была очень многоплановой и огромной, но она оказалась как раз по плечу А. Серафимовичу.

Наркомпросом по предложению Луначарского была утверждена смета для удовлетворения нужд писателей. Был создан денежный фонд под общим наименованием «Фонд поощрения начинающих литераторов». По соглашению Лито с Луначарским в этот фонд входили и авансы по договорам, и непосредственная материальная помощь отдельным писателям, и оплата рецензий на рукописи, передаваемые Лито в ОГИЗ для издания, а также оплата премий по литературным конкурсам, организуемым Лито (премии назначались от 200 тысяч до одного миллиона рублей), оплата командировок и разъездов писателей по делам Лито. Оплата труда служащих Лито, в том числе и заведующего, была сравнительно небольшой для того времени и приблизительно для всех служащих одинаковой. Так, заведующий Лито Серафимович и ученый секретарь получали оклад по два с половиной миллиона рублей в месяц, а машинистка за переписку ведомостей и докладов — два миллиона.

Положение с печатанием рукописей было очень тяжелым. В отчете о деятельности Литературно-редакци-

онной коллегии Лито за время с 20 февраля по 15 июля 1921 года говорится, что «лучшие рукописи идут мимо Лито, а отсутствие возможности быть напечатанным и получить хоть сколько-нибудь удовлетворительное вознаграждение — отпугивает авторов». Но кадры старых писателей и созданные новые кадры пролетарских писателей нужно было сохранить во что бы то ни стало. Оплачивая из фонда начинающим писателям различные работы, Литературный отдел заключал также и договоры с авторами на еще не написанные книги, выдавая авансы. В этот период была оказана материальная помощь ряду писательских организаций, в том числе и коллективу «Кузницы» и Суриковскому кружку, а также отдельным писателям.

В начале 1922 года Лито был преобразован в Институт художественной литературы и критики и оказался в системе только что организованной Российской Академии художественных наук. Серафимовичу, стоявшему тогда во главе института, пришлось вести напряженную борьбу и с Художественным центром Наркомпроса и с президентом Академии — профессором П. С. Коганом. Дело в том, что при включении института в систему Академии положение с пайками пролетарских писателей и писателей-революционеров, группировавшихся в бывшем Лито, значительно ухудшилось, так как пайковые списки на писателей теперь входили в общий список пайков Академии. Серафимовичу приходилось отстаивать каждую пайковую единицу для писателей. Не отрицая права людей большой научной квалификации на академические пайки, Серафимович очень настойчиво продолжал защищать полноту пайковых списков бывшего Лито, добиваясь справедливого распределения академических пайков.

Серафимовичу пришлось пожаловаться наркому А. В. Луначарскому на Художественный центр Наркомпроса, который отнял у Лито и передал в Академию художественных наук ценную художественную библиотеку, в тот момент особенно нужную начинающим писателям из среды рабочих и крестьян. В своем письме Луначарскому Серафимович писал, что Академия художественных наук «могла бы пользоваться и университетской академической библиотекой, могущей вполне удовлетворить потребности Академии».

Александр Серафимович заботился не только о пайках для писателей, но и о создании условий для их творчества. Так, мне известен случай, когда Серафимович, желая дать возможность писателям творчески работать в более спокойной обстановке вне города, специально ездил к М. И. Калинину с просьбой отвести для писателей пустовавшую в Покровском-Стрешневе дачу, на что Михаил Иванович дал разрешение. Но оборудовать дачу не удалось, так как это было тогда не по силам Лито.

Небезынтересны также и факты, говорящие о больших симпатиях Серафимовича к писателям-реалистам и о его борьбе с реакционными литературными течениями. Немногие знают, что Александр Серафимович, работая в Лито, написал довольно много рецензий на поступавшие в Литературный отдел рукописи и на книги, которые намечались к переизданию. Я приведу только две из этих рецензий, которые являются также показательными и для эстетических взглядов Серафимовича. Одна — на сборник стихов В. Шершеневича «Лошадь как лошадь» и другая — на книгу А. Демидова «Жизнь Ивана», книгу, которая в то время пользовалась большим успехом у советского читателя.

Вот что пишет Серафимович о сборнике «Лошадь как лошадь»:

«В. Шершеневич изо всех сил старается выкарабкаться из своей бездарности ломанием языка, разными внешними фокусами. Бесконечно однообразно, утомительно, скучно. Совершенно неприемлемо к изданию. А. Серафимович. 30. IV. 20 г.».

И вот что мы читаем в рецензии о книге А. Демидова «Жизнь Ивана»:

«Здоровая, крепкая вещь, жизнь деревни встает с необыкновенной яркостью и вместе углубленно, просто, художественно, целомудренно.

Несмотря на богатейшую нашу литературу о деревне, о мужике, «Жизнь Ивана» дает яркую, своеобразную страницу, не пережевывая, а *по-своему*.

Необходимо издать в ближайшее время в первую очередь.

19 октября 1920 г. А. Серафимович»[1].

---

[1] Рецензии, в том числе приведенные, находятся в ЦГАЛИ, фонд 457, ед. хр. 171.

Комментарии, как говорят, излишни.

Серафимович был человеком очень принципиальным в своих высказываниях и в своих отношениях к писателям различных лагерей.

В те годы ко мне иногда заходил писатель, рецензент и поэт Д. И. Шепеленко. Его маленькие поэмки в прозе были по содержанию и по форме типично символистскими. Однажды, когда у меня был Серафимович, Дмитрий Иванович прочитал в его присутствии несколько своих поэмок. Александр Серафимович, и раньше встречавший его у меня, терпеливо прослушал их, с оттенком сожаления покачал головой и сказал:

— Смотрю я на Дмитрия Ивановича и очень печалюсь. Опоздал он появиться на свет, сильно опоздал. Вот чтобы ему родиться эдак лет на пятнадцать раньше, пожалуй, гремел бы тогда.

Развитию пролетарской литературы Александр Серафимович помогал не только в силу занимаемой должности заведующего Лито. Не впадая в сентиментальность, Серафимовича смело можно назвать отцом нового поколения пролетарских писателей. Как о родных детях, он заботился о литературном молодняке. И это хорошо известно всем писателям, соприкасавшимся с ним. Такую его заботу мне лично не раз приходилось наблюдать.

Особенно большое внимание уделял Серафимович тем писателям, в которых он видел талант, искренность в выражении чувств, остроту наблюдения и художественное мастерство.

Летом 1922 года на квартире писателя в доме № 5 в Трехгорном переулке состоялось чтение нескольких глав новой повести Серафимовича «Железный поток». Как помнится, на этом чтении присутствовали Ф. В. Гладков, Н. Н. Ляшко, И. М. Касаткин, П. Г. Низовой (Тупиков), А. С. Новиков-Прибой, А. Неверов, В. Вешнев, драматург Гандурин и еще несколько лиц, но кто — я уже забыл.

Радостный энтузиазм охватил всех нас при чтении глав этой замечательной книги. Опомнившись после первого впечатления, присутствующие начали бурно выражать свой восторг.

Серафимовича посещало всегда очень много народу — и писателей, и художников, и просто людей труда.

У него я познакомился с поэтом Дрожжиным. Другой раз застал у Серафимовича довольно хлопотливого человека небольшого роста. Это был тогда еще мало известный скульптор Эрзя.

Общительность и простота Александра Серафимовича в отношениях с людьми были удивительными. Несмотря на свою большую занятость, он очень любил встречаться с новыми людьми и посещать своих добрых знакомых в Москве и в Подмосковье.

Александр Серафимович любил людей, и люди любили его. Всех, кто с ним встречался, всегда глубоко трогали и радовали его приветливость, широкий демократизм и простота обращения.

При встречах с большими писателями мне часто приходилось слышать в начале разговора местоимения «я», «мы» и т. д. Так, например, любили говорить со своими посетителями Леонид Андреев, Андрей Белый... Серафимович всегда держался просто при встречах с людьми и первым долгом спрашивал:

— Ну как, батенька, поживаете?

Или:

— Ну что скажете, батенька, в свое оправдание?

И при этом начинал расспрашивать о жизни и работе встретившегося ему знакомого, не навязывая разговора о себе.

Выступая на фабриках и заводах, А. Серафимович говорил очень просто, но живо и образно. Аудитория слушала его всегда с неослабным вниманием. А когда задавались вопросы или подавались записочки, Александр Серафимович охотно отвечал на них, внимательно и пытливо вглядываясь в глаза и лица слушателей, как бы желая найти того, от кого подана записка.

Прямота его суждений и скромность были поразительны и говорили о том, что это был очень чуткий художник и хороший человек.

...Все, кто лично знал его, кто имел возможность беседовать с ним, кому он помогал и в творчестве и в бытовых нуждах, никогда не забудут этого прекраснейшего человека.

1959

К. Новицкий

ПИСАТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН

Впервые я встретился с А. С. Серафимовичем в Москве в годы первой мировой войны в помещении Литературно - художественного кружка на Большой Дмитровке (ныне ул. Пушкина). Здесь проходили заседания литературной группы «Среда», объединявшей крупных русских писателей, пользовавшихся тогда широкой известностью.

В этом же помещении Литературно-художественного кружка, кроме «Среды», ютились, как говорили в шутку, «на правах бедных родственников» «Общество деятелей периодической печати и литературы», объединявшее поэтов, беллетристов и журналистов, и существовавшая при этом обществе «Ссудо-сберегательная касса», известная среди членов общества под неофициальным названием «Касса взаимопомощи». Я входил тогда в состав совета «Общества деятелей периодической печати и литературы» и правления «Кассы взаимопомощи» в качестве товарища (заместителя) председателя правления «Кассы». Во главе совета общества стоял В. М. Фриче.

На почве общественной работы и литературных интересов у меня сложились добрые отношения с председателем дирекции Литературно-художественного кружка поэтом В. Я. Брюсовым, членами кружка «Среда» — Ю. А. Буниным, входившим вместе со мной в совет «Общества деятелей периодической печати и литературы», И. А. Буни-

ным, И. А. Белоусовым, а позже и с А. С. Серафимовичем.

До личной встречи с А. С. Серафимовичем я был знаком почти со всеми его напечатанными произведениями. У меня сложилось уже тогда твердое представление о нем как о писателе, глубоко преданном интересам трудового народа.

Первые мои встречи с Александром Серафимовичем подтвердили это представление о нем. И по своим, правда, тогда еще очень скупым высказываниям, и по своей внешности, по угловатой манере держаться,— скромный, несколько даже застенчивый, но очень ласковый в обращении с товарищами, Александр Серафимович производил действительно впечатление истинного демократа. Но он был не только демократом, но и активным борцом за освобождение трудящихся от капиталистического ига.

В дореволюционный период наши встречи были редки. Ближе познакомились мы друг с другом лишь в период Февральской революции 1917 года, когда А. С. Серафимович вошел в состав сотрудников «Известий Московского Совета рабочих депутатов». Главным редактором «Известий» был старый испытанный большевик, крупный партийный литератор, переводчик «Капитала» и исторических работ К. Маркса на русский язык — И. И. Скворцов-Степанов.

В состав постоянных сотрудников «Известий М. С. Р. Д.» входили — К. П. Новицкий (заведующий редакцией), М. Н. Покровский и В. М. Фриче, историк западноевропейской литературы, впоследствии академик, Н. Л. Мещеряков, Д. П. Боголепов, Д. Кузавков, социолог С. С. Кравцов, д-р В. Я. Канель, проф. В. Н. Сторожев, историк В. П. Волгин, впоследствии вице-президент Академии наук СССР, Р. П. Катанян, Н. Н. Овсянников. В «Известиях» печатали свои статьи М. С. Ольминский, А. В. Луначарский и Ем. Ярославский.

От фракции меньшевиков в состав редакции входил Б. Кабрик (С. Яковлев), от фракции эсеров — некая Лидия Арманд. Это были своего рода «внутренние цензоры», с которыми приходилось вести почти непрерывную борьбу за каждую статью большевистского автора,

не отвечавшую меньшевистско-эсеровской политико-экономической концепции. Нередко приходилось тратить много времени и сил, отстаивая тот или иной абзац статьи или ту или иную фразу. Особенно трудно было справляться и преодолевать неосновательные претензии представительницы партии эсеров Л. Арманд, страдавшей писательским зудом при отсутствии каких бы то ни было литературных данных. Она донимала нас не только своей наивной, невежественной критикой чужих статей, но и тем, что буквально забрасывала редакцию собственными, не менее наивными, бессодержательными статьями. Борьба редакции с «внутренними цензорами» почти всегда заканчивалась их поражением. Что же касается Л. Арманд, то эсеры вместо нее прислали нам в редакцию другого своего представителя — П. Грацианова, которого я знал по революционному подполью под фамилией Козлова. С ним работать было легче. Он мало писал и почти не участвовал в обсуждении руководящих статей. Но если он иногда решал воспользоваться в полной мере правами, предоставленными ему положением члена редакционной коллегии, и проявлял бо́льшую, чем обычно, активность, статьи большевистских авторов всегда удостаивались с его стороны одной и той же оценки, состоящей из пяти гласных и пяти согласных: «Декламация!»

Этим «критическим замечанием» исчерпывалась обычно вся премудрость нашего «внутреннего цензора». И «декламация», заранее намеченная в набор, сопровождаемая снисходительными улыбками остальных работников газеты, передавалась секретарю редакции Е. И. Равлиной для отправки в типографию.

Такова была обстановка в редакции «Известий М. С. Р. Д.», когда в состав сотрудников газеты вошел А. С. Серафимович. Он сразу присоединился к левому, революционному крылу редакции. Несмотря на присущую А. С. Серафимовичу сдержанность, в его оценке деятельности «внутренних цензоров» сквозили ирония и сарказм.

Первый очерк А. Серафимовича — «То, чего не простят» — появился в «Известиях М. С. Р. Д.» 19 апреля 1917 года.

Спустя месяц редакция получила от А. Серафимовича второй очерк, «Родное дитя» [1], подчеркивавший огромное значение рабочей печати в борьбе пролетариата за свое освобождение. На следующий день — 21 мая (3 июня) 1917 года — этот очерк был напечатан в № 65 «Известий М. С. Р. Д.». Наконец, третий очерк, написанный А. Серафимовичем в дооктябрьский период,— «Трещина» — появился в № 148 «Известий М. С. Р. Д.» от 27 августа (9 сентября) 1917 года.

Эти очерки, особенно «Родное дитя» и «Трещина», замечательны тем, что дают нам возможность правильно представить позицию писателя, его думы, чаяния и стремления в период буржуазно-демократической революции. Еще тогда А. С. Серафимович прекрасно видел и понимал, что революция уже на первом этапе своего развития расколола русское общество на два враждебных, непримиримых лагеря.

Лагерю врагов революции, объединившему самые разнородные элементы — от банкиров, фабрикантов, купцов, крупных адвокатов, профессоров до правых социалистов: меньшевиков и эсеров,— противостоял лагерь трудящихся — рабочих и крестьян, составлявших основную массу населения страны, лагерь борцов за новый мир, без эксплуататоров и эксплуатируемых, за мир, спаянный чувством солидарности и братства. И чем дальше шло развитие революции, тем шире и глубже становилась эта пропасть.

Симпатии А. С. Серафимовича были целиком на стороне второго лагеря, на стороне борцов за новый мир, за освобождение труда от векового наемного рабства.

В очерке «Родное дитя», отразившем мысль писателя о наличии в стране двух враждебных лагерей, А. С. Серафимович показывает, какую роль играет рабочая печать в борьбе за освобождение трудящихся и каково отношение к ней со стороны тех, кто примкнул к враждебному лагерю.

---

[1] В десятитомном Собрании сочинений А. Серафимовича этот очерк ошибочно отнесен к 1918 году, что нарушает принятый издательством хронологический принцип размещения произведений писателя, переносит содержание этого очерка в совершенно другую историческую обстановку, чем та, в которой он написан, искажая тем самым его значение. Поверхностный и неправильный комментарий к этому очерку еще более усугубляет путаницу. — *К. Н.*

Еще больший интерес в этом отношении представляет очерк «Трещина». Основная его мысль состоит в том, что «общенациональный порыв», о котором кричали во всю мощь своих голосовых связок трубадуры буржуазной печати, требуя «жертвенных настроений» от всех классов населения России, прошел уже на второй день Февральского переворота. К «жертвенным настроениям» оказались меньше всего способными как раз именно те классы и группы, которые больше всего к этому призывали, благосостояние которых росло на чужих жертвах, на эксплуатации чужого труда. Образовавшуюся трещину они все-таки старались замазать, чтобы «дыры не видать было». Но как это сделать?

«Лганьем!

И их газеты, их журналисты, их ученые, их писатели, их ораторы лганьем, клеветой, искажениями, невероятными сопоставлениями, умолчаниями, искусно ложным освещением событий стали засыпать роковую трещину.

В поте лица своего эти люди едят хлеб свой — за полгода всё оболгали.

И по-разному лгут соответственно своей специальности и натуре своей.

Иные цинично и нагло, в открытую: «с голого, мол, как со святого». Иные — тонко и заботливо, как кружево плетут, по-ученому. Иные — вдохновенно, ибо сами верят своему лганью. Иные — горько и смиренномудро, ибо — иудушки. Всяк по-своему, но все в одно.

...Шесть месяцев стараются обвить паутиной обмана и искажениями народный ум, шесть месяцев капает пот предательства с преступного клеветнического чела.

Но не засыпать вам, лгуны, рокового провала!»

Этот яркий революционный очерк А. Серафимовича, в котором он с неподражаемым сарказмом охарактеризовал галерею лгунов и предателей, в течение шести месяцев первого этапа революции клеветавших на народ и обманывавших его, наши «внутренние цензоры» встретили весьма кислой миной. И это вполне понятно. В числе персонажей красочной галереи они не могли не увидеть «смиренномудрых иудушек», подвизавшихся на страницах меньшевистской «Вперед», эсеровских «Труда» и «Земли и воли».

Зато среди рабочих и в большевистских организа-

циях Москвы «Трещина» пользовалась большим успехом.

В сентябре 1917 года в Московском Совете рабочих депутатов произошли крупные перемены.

В Совете сторонники партии В. И. Ленина завоевали решающее большинство. На посту председателя Совета меньшевика Л. М. Хинчука сменил большевик М. Н. Покровский. Естественно, перемены эти благоприятно отразились на дальнейшей деятельности «Известий М.С.Р.Д». Редакция освободилась от назойливых «внутренних цензоров». Стало возможным более широко и остро ставить и по-большевистски освещать на страницах газеты важнейшие проблемы, выдвигаемые развитием революции на путях к Октябрю. В связи с этим значительно расширился публицистический отдел газеты, увеличилось количество помещаемых в каждом номере статей на самые разнообразные политические и экономические темы.

После победы пролетарской революции, приблизительно в середине ноября 1917 года, И. И. Скворцов-Степанов внес предложение: организовать в редакции новый отдел — литературно-художественный — и поручить заведование им А. Серафимовичу. Встретив полную поддержку со стороны руководящих работников редакции и заручившись согласием писателя, И. И. Скворцов-Степанов написал следующее обращение к читателям газеты, напечатанное в «Известиях Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», № 217 (224), 29 ноября 1917 года:

«Чтобы удовлетворить естественную потребность читателя в художественном чтении и в то же время дать возможность всем, кто чувствует в себе искру художественного дарования, проявить ее, редакция «Известий М.С.Р. и С.Д.» организует литературно-художественный отдел. В этот отдел войдут очерки, рассказы, картинки из жизни, стихотворения.

Заведование отделом поручено *А. Серафимовичу*. Было бы желательно, чтобы товарищи рабочие, солдаты и крестьяне представляли свои произведения редакции, их освещение трудовой жизни будет особенно ценно.

Заведующий отделом принимает лично по вторникам от 5 до 7 час. вечера в редакции «Известий».

С этого дня в редакции был установлен порядок: весь литературно-художественный материал — стихи, очерки, рассказы — направлялся непосредственно А. С. Серафимовичу на одобрение и редактуру.

А. С. Серафимович стал теперь чаще бывать в редакции. По вторникам в часы приема к нему являлись рабочие, солдаты и служащие со своими произведениями. Он внимательно выслушивал посетителей, читал их произведения, критиковал их, одним советовал учиться, побольше читать Пушкина, Тургенева, Горького, трудиться не жалея сил, обогащать и совершенствовать свой язык, другим по-дружески рекомендовал бросить писательство и заняться более полезным для себя делом. Из доставленного ему как заведующему отделом материала А. Серафимович тщательно отбирал вещи, заслуживавшие внимания, исправлял их, редактировал и сдавал в набор. В газете стали появляться очерки, сценки и особенно много стихов. Писал для газеты и сам Серафимович. В этот период он напечатал в «Известиях М. С. Р. и С. Д.» очерки «Как он умер», «В чайной», «Сон».

Извещение о том, что А. Серафимович принял на себя заведование литературно-художественным отделом в «Известиях Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», дало повод писателям, группировавшимся вокруг кружка «Среда», к гнусным и злобным выступлениям против Серафимовича. 3 декабря 1917 года в помещении Литературно-художественного кружка состоялось, под председательством Ю. А. Бунина, заседание «Среды». Собралось человек шестьдесят беллетристов, поэтов, журналистов, артистов.

На этом заседании А. Серафимовичу поставили в вину, что он «принял на себя ведение литературно-художественного отдела в «Известиях Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» и тем самым «присоединился к теперешним захватчикам власти». Ему нет и не может быть места в «Среде». На собрании, однако, оказался лишь один человек, Ютанов, считавший «неудобным вносить политику в общество «Среда», которое ставит для себя исключительно художественные цели». Но его никто не поддержал.

В сознании своей правоты и исполненного долга писателя-гражданина, А. Серафимович гордо покинул

собрание. Этот факт получил большую огласку, и в редакцию «Известий М.С.Р. и С.Д» на имя А. С. Серафимовича стали поступать из разных концов страны приветствия.

Группа интеллигентов одного из полков действующей армии писала, что теперь, когда настала пора перейти от слов к делу, прежние защитники народа — мужика, рабочего. солдата — брезгливо отворачиваются от него и идут в ногу с разжалованным приставом, с попом без прихода и саботирующим чиновником.

«Да, гражданин Серафимович, пропасть между шатающейся, испуганной интеллигенцией и народом — рабочими, крестьянами и солдатами — вырыта. И писатели, которые так трогательно, так хорошо писали о бедном мужике, оказались по одну сторону этой пропасти, а мужичок — по другую...»

Бойцы приветствовали в своем письме писателя-гражданина, который не изменил народу и остался верным своим идеалам. «Мы приветствуем Вас, гражданин Серафимович, и гордимся стойкостью Вашей... Мы знаем, что народ даст Вам новых друзей и товарищей, светлых, могучих и смелых!»

Участники «собрания печатников-большевиков и сочувствующих идее народовластия» писали: «Собрание шлет горячий привет дорогому товарищу Серафимовичу, вставшему в ряды борцов за идею социализма. Верьте, дорогой товарищ, что имя Ваше не забудется ни нами, ни нашими потомками. Мы всегда с Вами, работайте и верьте, что рабочие оценят Ваш подвиг и всегда поддержат Вас».

В марте 1918 года Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское правительство переехали из Петрограда в Москву, куда перенесено было также издание «Правды» и «Известий ВЦИК». Приблизительно в апреле или в начале мая 1918 года «Социал-демократ» — орган Московского Комитета партии — слился с «Правдой», а вместо «Известий Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» с июня 1918 года стали выходить под редакцией Н. Н. Овсянникова, К. П. Новицкого и Р. П. Катаняна «Вечерние известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», продолжавшие традиции прежних «Известий Московского Совета рабочих и солдатских депу-

татов». А. Серафимович, привлеченный к этому времени к сотрудничеству в «Правде», продолжал поддерживать связь и с вечерней газетой Московского Совета. Частые поездки его на фронт и в прифронтовые районы страны сокращали наши встречи. Однако, когда А. Серафимович бывал в Москве, он всегда заходил к нам в редакцию, долго беседовал с нами, делился своими впечатлениями, восторгаясь выносливостью, мужеством, беззаветным героизмом Красной Армии. В самые критические моменты гражданской войны и иностранной интервенции он непоколебимо верил в несокрушимую силу и мощь народных масс и в конечную победу социализма.

В 1923 году рабочие и работницы «Трехгорной мануфактуры» решили отметить 60-летний юбилей писателя организацией торжественного заседания на фабрике.

Краснопресненский районный комитет партии поручил мне сделать на этом собрании доклад о творчестве А. Серафимовича.

Помещение клуба было заполнено рабочими и работницами «Трехгорки» до отказа. Собравшиеся стоя, очень дружно, продолжительными аплодисментами встретили писателя.

Встреча эта, носившая исключительно теплый, дружеский характер, глубоко взволновала А. Серафимовича.

Собрание закончилось горячими приветствиями рабочих и бурными овациями в честь писателя.

С тех пор прошло много лет. Светлый, незабываемый образ А. Серафимовича, писателя-коммуниста, навсегда сохранился в моей памяти.

А. С. Серафимович глубоко верил в победу коммунизма. Борьбу за коммунизм он считал основной целью писателя нашей эпохи. «Только тот писатель имеет значение,— говорил он в беседе со мной,— который идет в ногу с эпохой, который отражает жизнь и борьбу передового революционного класса, помогает ему строить новое, счастливое, коммунистическое общество».

1959

Ек. Пешкова

ИЗ ВСТРЕЧ С А. С. СЕРАФИМОВИЧЕМ



впервые встретилась я с Александром Серафимовичем, вероятно, в 1902 году. Не помню хорошенько, где была эта встреча. По-видимому, в Москве на «Среде», в квартире Николая Дмитриевича и Елены Андреевны Телешовых. В их гостеприимном доме зачастую собирались участники «Среды».

На «Среду» Александра Серафимовича привел Леонид Николаевич Андреев, с которым он часто встречался и дружил.

Приезжая из Нижнего в Москву, Алексей Максимович Горький непременно бывал на этих писательских собраниях, где кто-нибудь читал новое произведение, а товарищи высказывали о нем свое мнение. Вместе с Алексеем Максимовичем на собраниях приходилось бывать и мне — всегда было интересно и приятно наблюдать хорошую дружественную атмосферу, которая здесь царила.

Александр Серафимович не раз говорил, когда мы ближе познакомились, что «Среды» очень много дали ему.

Встречались мы с Александром Серафимовичем и в Ялте в 1905 году. Ялта была в то время тесно связана с Севастополем, где происходили, как известно, большие революционные события. В самой Ялте в тот период шла живая нелегальная работа.

С 1904 года по лето 1906-го я с нашими маленькими детьми Максимом и Катюшей жила в Ялте и кипела в этом бурном котле.

Серафимович находился здесь в течение первого полугодия 1905 года. Поселился он тогда в одной из улочек Дарсаны. Жил с женой, Ксенией Александровной, красивой казачкой; у них было двое славных озорников — Толя и Игорь.

Александр Серафимович был в курсе всех событий интересной жизни тех дней.

В это время в Ялте жил и работал, выпущенный под залог из Екатеринодарской тюрьмы, родной брат Александра Серафимовича — Вениамин Серафимович Попов, член РСДРП, с женой Марией Михайловной.

В конце марта 1905 года приехал сюда и Алексей Максимович, незадолго до этого освобожденный из Петропавловской крепости. Здоровье Горького в крепости резко ухудшилось, и ему необходимо было подлечиться в Крыму.

Хорошо помню, как вскоре после приезда Алексей Максимович читал в квартире Александра Серафимовича свой рассказ «Тюрьма». На чтении присутствовало человек 15—20 гостей, среди которых был произведен сбор денег на нужды революционного движения. Здесь же было принято решение устроить чтение в более широкой аудитории, что и было вскоре осуществлено.

Второй раз Алексей Максимович читал свой рассказ на даче Лутковских по Массандровской улице.

Эту просторную дачу на окраине Ялты за день до читки специально нанял Вениамин Серафимович. Там собралось очень много народу, якобы на новоселье. Это было 19 апреля 1905 года. Неожиданно в дом явился участковый пристав с городовыми и составил протокол. Было затеяно следственное дело, которое ничем не кончилось.

Очень трогательно, что Александр Серафимович, не желая подвергать Горького неприятностям, взял на себя «вину» за чтение. В протоколе пристав записал, что на этом собрании «множества лиц непривилегированного сословия» читал рукопись своего произведения Александр Серафимович Попов. Об Алексее Максимовиче пристав так бы ничего и не узнал, если бы сам Горький не внес в протокол уточнения.

На этом чтении я не была, но знаю о нем из достоверных источников.

Летом 1906 года мне пришлось уехать из Ялты, а в конце того же года я с сынишкой выехала за границу для встречи с Алексеем Максимовичем, который осенью 1906 года возвратился из поездки в Америку и обосновался в Италии, на Капри.

Вскоре я узнала, что и мне вернуться в Россию нельзя. Возвратились мы из эмиграции лишь к началу 1914 года.

Я поселилась в Москве, и до 1918 года Александр Серафимович очень часто бывал у меня в Машковом переулке (теперь улица Чаплыгина). Не раз он встречался тут с Алексеем Максимовичем, который жил тогда в Петрограде, но наезжал и в Москву.

После Октября жизнь стала такой интенсивной и все дни так были заполнены работой, что личные встречи почти прекратились. Изредка встречала Александра Серафимовича на вечерах в Союзе писателей.

Незадолго до кончины Александра Серафимовича увидела его на одном из вечеров в Клубе писателей уже больным. Заговорил он о старых годах, о том, как расцвела и шагнула вперед жизнь...

Эта встреча была последней.

1959

Иван Козлов

АВТОР «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Мое знакомство с творчеством Александра Серафимовича (Попова) произошло за много лет до нашего личного знакомства.

У меня был друг, юный большевик-гимназист Ваня Марков, убитый казаками на революционной демонстрации в Коломне в 1905 году.

Незадолго до своей гибели, в день моего вступления в партию, Ваня Марков подарил мне вырезки из ранних рассказов Серафимовича. Они были аккуратно подшиты в самодельный, красиво оформленный альбомчик.

Давая этот альбомчик, Ваня сказал: «Вот тебе на память. Делал для себя, но ради такого дня дарю тебе. Читай, друг, и помни — везде есть люди. И ты первым долгом всюду ищи человека. В самом последнем, самом забитом и жалком из людей всегда живет человек, надо только научиться видеть его».

Я много раз читал и перечитывал этот альбомчик, жадно, по нескольку раз вчитывался в позднейшие произведения Серафимовича.

В своих дореволюционных рассказах писатель неизменно изображал человека-труженика, задавленного скотскими условиями работы и жизни настолько, что в нем постепенно гасли все его духовные силы. И все же в нем, даже сведенном до степени вьючного животного, Серафимович отыскивал и мастерски показывал человеческое — негаснущее.

Александр Серафимович умел убедить читателя, что честный труженик при старом строе — всегда жертва общественной несправедливости. И у читателя пробуждалась жалость к этим труженикам, но это не была жалость бар, с брезгливой миной или сентиментальным сюсюканием бросавших гроши в протянутую руку. Нет, это была хорошая, настоящая человеческая жалость, рождающая ненависть к угнетателям и потребность бороться против них. Бороться за то, чтобы изменить старый строй, устранить глубочайшую общественную несправедливость и создать людям такие условия, когда человек может подняться во весь свой духовный рост... А как прекрасен человек, вставший во всю мощь своих духовных сил, и как он красив, свободный от всякого рабского повиновения!..

Я полюбил рассказы Серафимовича, как полюбил и его самого, познакомившись с ним спустя шестнадцать лет. Иногда использовал эти рассказы в своей пропагандистской работе, и они всегда находили живой отклик у читателя или слушателя.

В связи с этим мне вспоминается один эпизод, пожалуй положивший начало моей пропагандистской деятельности.

Скрывшись от царских карателей в декабре 1905 года из Коломны в Егорьевск (подмосковный промышленный городишко), я поступил в небольшую столярную мастерскую, где работал столяром. Всего нас тут работало не более десяти человек. Жили в мастерской, спали на верстаках или на полу, питались «хозяйскими харчами» — нехитрым варевом, приготовленным нашей стряпухой.

Из мастерской не выходили неделями. В субботу, попарившись в бане, столяры покупали водку, возвращались в мастерскую и пили до утра. Весь воскресный день спали. Проснувшись, к вечеру снова посылали за водкой и пили до утра понедельника. А в понедельник с тяжелой головой, хмурые, сердитые, приступали к работе. Часто, бывало, пропивались до исподнего, да так и работали месяцами. Все равно ведь ходить было некуда. Да и не было интереса к окружающей жизни.

Я и еще молодой столяр Петя были уже членами большевистской организации, существовавшей у нас

в Егорьевске нелегально. С субботы и до понедельника мы обычно уходили к своим друзьям.

Однажды я вернулся от них поздно ночью и долго не мог заснуть. Захотелось покурить. Полез за табаком в свой сундучок, где хранился мой немудрый скарб, и заметил, что там уже кто-то хозяйничал. Тщательно все проверив, я, к своему ужасу, обнаружил пропажу нескольких листочков из моего заветного альбомчика.

Всю ночь меня терзала обида. Ведь даже в страшные дни, спасаясь от карателей, я, не успев захватить с собой самого необходимого, подарок Вани не забыл. Огорчению моему не было предела. Наутро, едва столяры продрали с похмелья глаза, я набросился на них и стал допрашивать, кто это сделал? От волнения не мог найти подходящих слов.

Все очень удивились, они считали меня нежадным и покладистым парнем, а тут вдруг... и из-за чего?

— Что ты, парень, распетушился? Что мы, человека зарезали, что ли? Ну, захотелось покурить, а бумаги не было, вот и взяли. Не ахти какая ценность... Из-за двух листочков такой шум поднимать... — пробовал урезонить меня один из столяров.

— Да эти листочки мне дороже всего сундука! — ответил я ему.

Мое огорчение было так велико и искренне, что на мои ругательства никто не обиделся, и всем стало как-то неловко. А когда я объяснил, что это подарок убитого в прошлом году казаками друга, дядя Онисим попробовал меня даже утешить:

— У тебя, почитай, там все осталось, вот и храни на здоровье, уж больше рвать не будем. Ишь какая оплошка вышла! Кабы заране знато... Вот пошлем сейчас Семку купить газетку, приклей заместо энтих листочков, и дело с концом. Раз хороший человек был, что ж, береги, береги эту штуку-то...

А другой, тоже пожилой, столяр участливо спросил:

— Знать, божественное что-нибудь там написано, все, чай, про святых?

— Да не про святых там написано, а про нас с вами! — сердито ответил я.

— Да ну, про нас?

— А не врешь?

— Брешет, чай, кому охота про нас писать!

— Чего мне врать, почитайте — и сами увидите.

— Ишь ты, читальщиков каких нашел! — в свою очередь обозлились столяры.

Тут только я вспомнил, что все они были неграмотны.

— Ты бы нам почитал, грамотей!

— Небось опохмеляться будете, до чтения ли вам сейчас,— проворчал я с неулегшейся досадой.

— Не твоя забота. Опохмеляться потом, а сейчас попьем холодной воды и слушать будем. Читай, раз тут про нас написано! — тоном приказа пробурчал верзила Архип.

Дольше просить себя я не заставил и прочел им коротенький рассказ «Семишкура» из жизни шахтеров.

Старый шахтер Семишкура, проработав тридцать лет на шахте, не выдержал и ушел в родную деревню. Но деревня не приняла старика. Беден — никому не нужен. Он вернулся на шахту, где за тридцать лет работы не имел ни единого дня перерыва. Но его и здесь не приняли. В конторе происходит следующий разговор:

«— Тридцать годов...

— Не век же вековать.

— Куда же я?

— Куда знаешь.

...Долго было видно, как, делаясь все меньше и меньше, уходил по степи человек, судя по осунувшимся плечам, по согбенной спине, должно быть, старый, с котомкой».

Я кончил читать. Мои слушатели примолкли. Наконец самый молчаливый из них, Савелий, спросил:

— Куда же он теперь денется?

Все по-прежнему угрюмо молчали. Наконец кто-то заметил:

— Вот, всегда с нашим братом так. Выжмут все до капельки, а потом, как негодную мочалку, вон, на помойку.

— А где другое-то найдешь? Везде несправедливость.

— Э-э, чего захотел, справедли-и-ивости!.. Эта штука, брат, в толстых карманах попряталась...

— И из толстого кармана ее достать можно... — довольно робко заметил я.

Эта беседа, так неожиданно для меня сложившаяся, явилась моим первым испытанием как пропагандиста.

— Ну, чего там зря лясы точить. Не дело, пустое, парень, говоришь,— прикрикнул на меня дядя Онисим,— лучше почитай еще что-нибудь из твоих газеток.

И на этот раз я не заставил просить себя долго. Я прочел им еще один рассказ — «В бурю». В нем Серафимович рассказывает о нещадной эксплуатации маленького мальчика.

Когда я кончил читать, в углу послышались тихие и неясные всхлипывания. Плакал наш мальчик Сема.

— Ну, чего ты... Чего ты, глупый... несмышленый? — ласково спрашивали Сему столяры.

— Жа-а-алко, как он его бил-то? — сквозь рыдания лепетал мальчик.

— Ну, так что ж, что били, а тебя разве не бьют? Мальчиков всех бьют.

— Меня не так, его вере-о-овкой, рубцы-и-и на спине,— продолжал Сема, размазывая по щекам слезы грязным кулачонком.

— Ну, не тужи, вот подрастешь малость, и тебя будем бить сильнее, жалеем сейчас-то... — успокаивал кто-то Сему.

— Да замолчи ты, щенок, и без тебя нудно! — зло прикрикнул на него Иван Васильевич, молодой столяр, балагур и довольно ядовитый насмешник, доводивший всех до белого каления и вызывавший иногда злыми насмешками ссору между товарищами по работе.— Сказано тебе, будем больнее бить и тоже веревкой!

— Братцы, а за что же мы своего мальчонку-то бьем, а? — вдруг угрюмо спросил верзила Архип после долгого молчания.

— Эх ты, сиротиночка горькая... — сокрушенно молвил старик Онисим и как-то неловко провел заскорузлой рукой по белесым вихрам Семы.

— А на самом деле, за что? — обращаясь ко всем, повторил он вопрос Архипа. А потом укоризненно добавил: — А ты тоже, Иван Васильевич, собираешься бить еще больнее...

С тех пор Сему почти перестали колотить, и, если иногда кто-нибудь, забывшись, поднимал руку, сейчас же его останавливал укоризненный голос дяди Онисима.

Беседа и на этот раз как-то не наладилась. Столяры только спросили меня:

— Из каковских писатель-то будет? Ишь как об нас, простых, понимает...

Признаться, я толком не мог ответить на этот вопрос. Биографии Александра Серафимовича я тогда не знал.

Впоследствии они часто просили меня почитать. И часто у нас завязывались хорошие товарищеские беседы, которые я использовал в пропагандистских целях.

С самим автором, как я уже сказал, мне удалось познакомиться много позднее, в 1922 году, когда ему дали на просмотр мою пьесу «Подполье».

Это была моя первая проба пера. Никакого писательского опыта, тем более в области драматургии, у меня в то время не было. Систематического образования, полученного в каком-либо учебном заведении, я не имел. Да откуда же ему и быть у простого рабочего?

В 1913 году по отбытии каторги я был сослан в Сибирь на вечное поселение, откуда бежал за границу. Вернуться на родину мне удалось только в апреле 1917 года.

По возвращении я был послан на партийную работу на Украину, где и пробыл всю гражданскую войну, пройдя четыре подполья. Последнее мое подполье было в тылу у Деникина в Харькове, оно продолжалось полгода. После освобождения Харькова частями Красной Армии я, работая секретарем райкома партии, начал писать пьесу.

Из всех подполий, в которых мне приходилось бывать до этого, харьковское было самым страшным. Недаром в летописях революции оно названо «Кровавым подпольем». Вот этому и была посвящена моя первая литературная работа — пьеса «Подполье».

Она была написана, как говорится, единым духом, в один присест. Больше писалась сердцем... В 1920 году ее опубликовали. В пьесе не было ни вымышленных событий, ни вымышленных героев, а некоторые из героев живы и сейчас.

Эту особенность пьесы сразу подметил Александр Серафимович. Наша первая встреча состоялась в ок-

тябре 1922 года, на квартире у писателя, когда он пригласил меня к себе, чтобы вместе читать мою пьесу.

Можно себе представить, с каким волнением я переступал порог жилища писателя, чьи произведения давно любил, о ком часто думал и встреча с кем казалась мне неосуществимой мечтой.

«Каков-то он, мой незнакомый друг и учитель, с кем я часто мысленно беседовал и советовался? Как он примет меня и захочет ли выслушать?.. Но ведь сам же позвал...» — ободрял я себя.

— Александр Серафимович дома?.. — робко начал я, когда на мой нерешительный звонок открылась дверь квартиры.

Каково же было мое удивление: я оказался лицом к лицу с самим Серафимовичем, открывшим мне дверь. Я окончательно растерялся, увидев суровое лицо с испытующим, острым взглядом светлых глаз.

Он, видимо, меня ждал и очень приветливо пригласил пройти в гостиную, более чем скромно обставленную комнату.

Серафимович был не один. Он познакомил меня со своим гостем, женой и тещей.

— Посмотрел я твою пьесу. Давай вместе читать. Вот и мой товарищ тебя послушает,— забасил Серафимович с добродушной улыбкой, широким жестом приглашая сесть. Как только он улыбнулся и, согретые внутренним душевным теплом, приветливо засветились глаза, вся его суровость мигом исчезла. Передо мной было бесконечно доброе, простое лицо гостеприимного хозяина...

— Читай сам, а мы будем слушать,— сказал Серафимович.

Страшно волнуясь, выдавливая из себя с большим трудом слова, звучавшие непривычно глухо, я начал чтение. Но исключительное внимание, с каким умел слушать начинающих опытный, с большим именем, маститый писатель, меня приободрило, и я быстро овладел собой. Голос стал нормальным, и чтение пошло гладко. А вскоре от волнения не осталось и следа.

Чтение с перерывами заняло весь вечер. Мои слушатели (Серафимович и его гость, тоже писатель) подбодряли меня репликами: «так, так», «хорошо», «верно» и т. д. Эти реплики придавали мне уверенность, что я

написал стоящую вещь, хотя пьеса имела уйму недостатков.

Александр Серафимович очень требовательно, но тактично и в довольно мягкой форме делал свои замечания. А на основной недостаток он указал мне так: «В пьесе действующие лица много говорят, но мало действуют».

В перерывах Серафимович очень подробно расспрашивал меня, как я жил, где работал, где учился. Очень осторожно проверял мои знания. Узнав, что я учился в тюрьме, заметил: «Университет знатный прошел, да и учителя, видимо, на совесть поработали». Чтобы подбодрить меня и создать более интимную обстановку, располагающую к откровенности, Серафимович рассказывал, как он начал писать, как работал над своими вещами. Как много приходилось переделывать их, пока добивался удовлетворительных результатов.

— Ты знаешь, труд писателя очень тяжел и ответственен перед читателем — народом. Я ведь иной раз целые произведения переделываю по четыре, пять, а то и больше раз. Иногда отдельные места — по десятку раз. Потеешь, потеешь, да так, что аж пот с яйцо покатится.

Серафимович поделился со мной, как он отбирает материал, как композиционно строит произведение.

— Писателю очень легко потонуть в материале. Если материал тобой овладеет, а не ты им — тогда пиши пропало. Когда идешь за материалом, произведение получается хаотичным, теряет пропорции. У меня так было с моими первыми вещами. При выборе материала всегда нужно помнить о том, чтобы с наибольшей силой выявить основные мысли, идеи. При этом нужно соблюдать огромную экономию. Ничего лишнего. Не только лишний персонаж не должен фигурировать, но нельзя допускать лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, если они не нужны для продвижения всего повествования вперед.

Экономному расходованию материала и пропорциям в произведении Александр Серафимович уделял очень много внимания и неустанно мне об этом говорил:

— Это очень сложная штука и дается с большим трудом. А тебе, как начинающему писателю, следует

это постоянно иметь в виду. Вас, молодежь, надо все время наталкивать на это, иначе дело не пойдет. Ты, видимо, стихийно писал свою пьесу. Факты у тебя интересные, люди тоже. Все тебе хотелось использовать, вот и нагромоздил. В результате получилось мало действия, герои-то только и делают, что рассуждают. А ведь в пьесе особенно экономно надо использовать материал.

В общем, он дал положительную оценку моему первому литературному труду. В заключение, похлопав по плечу, сказал:

— Ничего, не робей, дело у тебя пойдет... пиши, пиши!

Учитывая его советы и критику, я переработал пьесу. Она потом была напечатана под названием «В волчьей пасти» и даже, в свое время, шла на сцене одного областного театра.

Позднее мною была написана повесть о пятом годе, которую я задумал, еще сидя в Мясницком участке. Она была опубликована в 1925 году под названием «Встряска». Эта повесть также нашла положительную оценку у Серафимовича. Приведу здесь его отзыв, напечатанный в декабре 1925 года в газете «Советская Сибирь»:

«Произведение тов. Козлова живо и правильно отражает эпоху 1905 года. Ценно тем, что дает зародышное образование будущего коммуниста, показывает, как он постепенно выковывается в рабочей, в революционной борьбе.

Написана простым, здоровым языком».

В дальнейших наших встречах Серафимович неустанно твердил о том, что надо учиться у больших мастеров.

— Читай внимательней Чехова. Посмотри, как он пишет. У него изумительная способность в двух-трех словах дать целую картину, чего не хватает нам. Но тут есть иная опасность: как бы в погоне за сжатостью не выкинуть существенное. Тут уж, брат, тебе должно подсказывать чутье художника, а это чутье тоже надо выработать. Тут тоже должны быть труд и тренировка. Изволь-ка дать такие черты описываемого, чтобы было очень экономно, живо и наглядно.

Потом он говорил о том, как работал над рассказом «На льдине».

— Теперь я совсем по-другому пишу. А тогда... Помню, я описывал море в рассказе «На льдине», чуть не помер с натуги. Я описывал, какая льдина, да какая она синяя, да как громоздится и т. д. Громоздил, громоздил, да так нагромоздил, что не знал, как и вылезти из-под этой груды. А теперь — нет. Теперь море описать — так не угодно ли дать две-три черточки, да такие, чтобы читатель сразу понял и запомнил, что это море.

Александр Серафимович учил, как отбирать слова. Здесь он был исключительно придирчив.

— Развить в себе чувство осязания слова, строки,— не раз говаривал он,— огромная задача, над разрешением которой бьются не только начинающие писатели, но и многие опытные мастера. Тут надо учиться и учиться у наших классиков, особенно у Л. Н. Толстого. У него было очень развито чувство ответственности за каждое слово, которое выходило из-под его пера.

Александр Серафимович и сам очень много учился у классиков.

— Пожалуй, самое трудное в моей литературной работе — учеба. У меня было и образование, и к литературной работе я был подготовлен лучше, чем ты, но как строить композицию, я научился очень поздно. Да и учиться-то не умел. Бывало, возьмешь произведение и увлечешься им. С захватывающим интересом следишь, как развертываются события, как развиваются отношения между героями, а вот как это все делается — и упускаешь из сферы своего внимания. Только восторгаешься: «Ах, как хорошо, как хорошо!» А почему хорошо — не знаешь. Жизнь произведения чувствуешь живо, а структуру его не видишь. А надо так: уж если взял произведение классика и хочешь почерпнуть из него полезное для себя, так научись владеть собой, не поддавайся блеску этого произведения и эмоциям, подходи к нему так, чтобы видеть, как оно построено.

Александр Серафимович часто повторял:

— Работать и работать над произведением! Хорошая вещь дается с большим трудом. Ты думаешь, легко мне писать? Самое страшное — самоуспокоенность. Хотя тебе и кажется, что хорошо написал, а все-таки

еще раз подумай: «А все ли хорошо?» Всегда можно найти лучшее слово, более удачный образ, что-нибудь добавить или сократить.

Он был к себе очень требователен и всегда жаловался, что пишет очень медленно.

Когда я впервые познакомился с писателем, он работал над новой повестью «Железный поток». Говорил, что работать приходится очень много, и всегда повторял свое любимое выражение: «Аж пот выступает с яйцо».

— ...Мне давно хотелось показать участие крестьянства в революции,— рассказывал он,— и я все время присматривался к событиям и людям деревни, которых можно было использовать для моей темы. Я себе очень ясно представлял в уме сюжет... Но облечь его в художественную форму, показать через конкретные факты и художественные образы, оказалось куда труднее, чем представлять. Ведь надо, чтобы читатель верил тебе и твоим героям, а это значит — показать правдиво.

У писателя уже было много накоплено материала, в разное время собранного. Он внимательно записывал рассказы партизан — участников гражданской войны в Сибири и на Урале. Многое наблюдал сам. Но все это не удовлетворяло его. Это были пока эпизоды, не обнимающие и не вмещающие в себя всего объема намеченного произведения. Дело не двигалось, пока Серафимович случайно в Москве не познакомился с товарищем Ковтюхом, бывшим командиром партизанского отряда, участвовавшего в Таманском походе. Эта встреча сыграла решающую роль в создании «Железного потока». В повести товарищ Ковтюх выведен под фамилией Кожух.

— Когда Ковтюх впервые рассказывал мне о своем отряде и его походе, я сразу понял — нашел! Нашел то, что так долго и тщательно искал. Но одного его рассказа мне тоже было мало.

Писатель разыскивает бывшего адъютанта Ковтюха — товарища Гладких. В «Железном потоке» он фигурирует под фамилией Приходько. Разыскал и некоторых участников похода, тщательно и подробно записав их рассказы.

— Мне ведь было мало рассказа одного Ковтюха,— подчеркивал Серафимович,— следовало как можно больше узнать подробностей, да и объективности больше, когда об одном и том же событии рассказывают несколько человек. Например, сам Ковтюх умолчал о том, как он драл партизан розгами, а его адъютант Гладких рассказал мне об этом.

В первых изданиях «Железного потока» эта сцена у Серафимовича была. «Когда партизаны стали грабить магазин, командир, застав их на месте, приказал им лечь и выдрал розгами. Ребята отнеслись к этому спокойно: мол, заслужили... Надели штаны и снова в бой».

— Мне потом посчастливилось найти записи, дневники, письма участников похода. Я использовал, конечно, и официальные материалы из печати... Вот так и составился материал для моего «Железного потока».

Александр Серафимович старался как можно глубже проникнуть в гущу жизни народных масс. Этому он учил и меня.

— Иначе невозможен правдивый показ событий и людей. Но нужно помнить и другое. Если ты описываешь даже и хорошо тобой изученные события, если хочешь быть хорошим художником, воздерживайся от простого фотографирования. Обязательно в художественном произведении нужны обобщения и вымысел. Никогда не бойся вводить в произведения вымышленные, собирательные типы, но делай это так, чтобы читатель верил каждому твоему слову. О читателе ни на минуту не забывай.

Серафимович учил, как показывать героев. Если по замыслу автора нужно сосредоточить внимание читателей на определенной черте или стороне героя, то всесторонне его можно и не показывать.

— Я ведь своего Кожуха не показывал в быту, не показывал в отношениях с близкими людьми. Мне нужен был вожак масс нового типа, народный герой.

И эта черта характера главного героя «Железного потока», Кожуха автором была разработана до предела выпукло и ярко. Такая особенность манеры письма Серафимовича сказывается и в обрисовке им других героев повести. В период работы над этой повестью Александр Серафимович сказал мне как-то:

— Я ведь пишу не роман. На это у меня, пожалуй, не хватит сил. У меня будет что-то вроде эпопеи [1], и поэтому я не буду разрабатывать персонажи со всеми психологическими подробностями. Я только буду оттенять ударные стороны их характеров.

Помню, как странно мне было слышать от него такое признание. Мне казалось, что автору рассказов, которые были верными спутниками и помощниками в моей пропагандистской работе,— все под силу и по плечу. Конечно, ему была свойственна исключительная скромность. Позднее, когда я раздумывал над этими словами, я понял, что он не брался развертывать свою повесть в роман не потому, что это было ему не по плечу, а потому, что события, которые он описывал, были еще слишком свежи, и писал он о них по горячим следам. Еще не успели отстояться они исторически. В этом, мне кажется, и была причина того, что автор остановился на повести.

Александр Серафимович как-то рассказал мне, что после выхода в свет повести «Железный поток» Ковтюх отвез несколько экземпляров этой книги уцелевшим участникам похода. Они прочли и спрашивают своего бывшего командира: «Ковтюх, а товарищ Серафимович в какой части у нас был?» Это говорит о том, что люди в повести были изучены глубоко, а сама повесть написана с большой художественной правдой.

Своему опыту работы над созданием «Железного потока» писатель придавал очень большое значение. В беседах со мной, начинающим писателем, он неизменно возвращался к этому. Может быть, оттого и засели у меня в голове так крепко его рассказы о создании «Железного потока».

Когда я учился в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова и был там секретарем партийной организации, Александр Серафимович очень живо и подробно интересовался моей учебой, товарищами, партийной работой, расспрашивал, кто учится из молодых писателей в институте, как совмещают практическую работу и партийную работу

---

[1] См. А. С. Серафимович. История создания «Железного потока». Собрание сочинений, т. IX. М., Гослитиздат, 1948, стр. 177.

со своей учебой. В первую очередь он интересовался писателями из рабочих. Эти вопросы его всегда очень волновали и интересовали. Я помню, он даже прочел серию лекций для рабочих-писателей. Присутствуя на некоторых из этих лекций, я убедился, что многое из того, чему он меня учил как писатель, легло в основу этих лекций.

Однажды я пригласил его поехать вместе с нами, группой студентов института, в волость, над которой шефствовал наш институт. Это было, кажется, весной или летом 1921 года. В одной из деревень этой волости устраивалась комсомольская свадьба. Это была первая комсомольская свадьба не только в волости, но даже и во всем уезде. Серафимович, несмотря на чрезмерную загрузку, охотно принял наше приглашение.

— Как же, как же! Первая комсомольская свадьба в деревне, обязательно поеду.

Приехали мы в деревню, пришли в семью жениха, а там полный разлад. Отец не соглашается на эту свадьбу и не желает присутствовать на ней.

— Какая такая комсомольская свадьба? Кто ее выдумал?

Артачится старик, не можем уговорить. Нам на помощь пришел Серафимович. Обращаясь к отцу жениха, он говорит:

— Молодежь по-новому женится, в этом ничего нет плохого. Они сейчас по-новому живут, пусть и по-новому венчаются. Зачем же тебе, старому, мешать им?

Поддавшись на увещевания нашего гостя, отец жениха дал согласие и даже сам остался на свадебном торжестве. Правда, сначала сидел в сторонке, все дичился, а потом, увлеченный молодежным весельем, подсел поближе, постепенно освоился и, не зная слов новых комсомольских песен, пытался подпевать молодежи. Веселье было полным. Молодежь особенно была довольна тем, что к ним приехал в гости такой известный писатель.

Вернувшись со свадьбы, Серафимович опубликовал в газете очерк, посвященный этой свадьбе, под названием «Глаза блестят».

Александр Серафимович был очень простым и доступным человеком. Молодые, начинающие литераторы

всегда находили в нем советчика, очень внимательного слушателя и читателя их произведений, несмотря на его исключительную занятость. Он был требовательным критиком, но его требовательность всегда сопровождалась ласковым поощрением и одобрением. Он не уставал возиться с нами, особенно начинающими писателями-рабочими и писателями, вышедшими из деревни.

По приглашению самого писателя в последующие годы я довольно часто бывал у него дома.

В домашней обстановке он был исключительно обаятелен. Простой, веселый, остроумный. Очень любил петь. Бывало, спрашивает:

— Ну, какие песни ты знаешь?

— «Потеряла я колечко»,— отвечаю.

— Ну вот и хорошо. Подожди, я тетрадь возьму и запишу.

Пели мы с ним много. Каждый раз, когда я приходил к нему, закончив деловые разговоры, мы начинали петь, а иногда встречу начинали с пения, а потом уже вели деловые разговоры. Бывало, скажет:

— Ну, давай запевай.

Я пел тенорком, а Серафимович вторил басом. Одновременно он записывал слова песни. Ни одной песни не оставлял незаписанной.

Голос у него был весьма посредственный, но пел он с большим увлечением и при этом сам себе дирижировал.

Неизменным нашим слушателем была теща Серафимовича, большая поклонница его пения.

Бывало, сидим с ним, поем, а теща, подперев рукой щеку, смотрит на него с умилением и восхищенно повторяет:

— Какой голос! Какой голос!

Ему, конечно, это льстит, но все же он с напускным равнодушием и некоторым задором говорит:

— Постой, теща, мы еще не так споем!

Серафимович расспрашивал меня о моих литературных делах и творческих замыслах. Он всегда находил нужным снова и снова напомнить о трудностях писательской работы и о большой ответственности писателя перед широкими массами читателей, перед всем народом.

— Пиши, пиши, не забрасывай литературы. Жизнь твоя богатая, материалу уйма. Пиши для простого читателя, для народа. Как бы и какой работой ни был занят, а для литературной — время найди. Это твой долг.

Он даже в письмах не забывал напомнить мне об этом. В одном из них в 1932 году он делает приписку:

«Как хорошо, что, несмотря на груду работы, не бросаете литературы».

В другом письме, приглашая меня в гости в свой родной город, он пишет:

«...Жду вас в г. Серафимович 1-го мая. Бот мой к этому времени будет отремонтирован, и я буду вас там ждать...

Дорогой мы с вами будем ловить рыбу. Вы будете таскать утей (ружье захватите. Теплой одежды захватите — в мае бывает холодно на воде ночами. Подушку, одеяло, сапоги, непромокаемый плащ — может быть дождь, грязь). Забирайте ваши литературные работы, будем писать. Ну, вот, будто все. Фекла Родионовна едет с нами, будет хозяйничать, чтобы нам не отрываться от литературной работы». Это письмо он писал мне в 1932 году.

И как радовался мой добрый друг и учитель, когда в 1947 году я пришел к нему после опубликования моей книги «В крымском подполье».

— Вот ты наконец и написал хорошую книгу. Поздравляю с большим успехом, прочитал ее с удовольствием.

Любимым выражением Александра Серафимовича было: «Идти вперед». Эти слова были его девизом. Об этом он мне напоминал при каждой встрече.

— Ну как, не забыл нашего девиза «Идти вперед»? Только вперед! А для этого надо много работать. Писатель должен выработать свой метод, свою технику, посредством которой он мог бы поддерживать непрерывный контакт с окружающей его жизнью и не только не отставать от жизни, но и быть впереди ее. Ведь наша жизнь сейчас такая интересная!

Серафимович очень любил жизнь во всех ее проявлениях. Любил жизнерадостных, веселых, энергичных людей и сам был таким.

Он всегда поражал меня своей обстоятельной осведомленностью относительно самых различных областей жизни. Все типичное, характерное никогда не ускользало из поля его зрения.

Как известно, Ленин высоко ценил Серафимовича как пролетарского писателя. Александр Серафимович был привлечен к самому тесному сотрудничеству в газете «Правда». В 1919—1920 годах он выезжал на фронт в качестве корреспондента газеты «Правда».

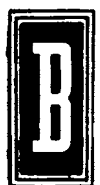
Он был активным коммунистом. Литературная работа не уводила его от жизни в тишь рабочего кабинета, а, наоборот, крепче связывала с жизнью, с массами, творящими эту жизнь. Вся его литературная деятельность — живой и поучительный пример того, как надо осуществлять ленинский принцип партийности в литературе.

Я всегда с чувством глубокой любви, уважением и признательностью вспоминаю об Александре Серафимовиче, которому очень многим обязан как писатель.

1957

Вл. Лидин

В ПЕРЕДЕЛКИНСКИХ АЛЛЕЯХ



ту зиму 1917 года догорало московское литературное объединение «Среда»; догорал и Литературно-художественный кружок, в помещении которого происходили ее собрания. Тишайшие миротворцы еще пытались сохранить в «Среде» дух далекого от политики литературного сообщества, где приятные люди читают друг другу свои рассказы и стихи, но за окнами, плотно прикрытыми штофными шторами, уже шумела Октябрьская революция...

На одну из «сред», все еще уединенных и мирных, на чтение кем-то своего неспешного рассказа, пришел человек с несколько татарского склада лицом, с большим лысым черепом; пенсне старомодно было пришпилено к лацкану его пиджака. Я узнал от соседа, что это писатель Серафимович.

Серафимович скромно сел где-то в стороне. Я скорее почувствовал, чем понял, что среди части литераторов произошло замешательство. Внезапно один из них — московский журналист в форме штабс-капитана, с красноватым, мясистым лицом — поднялся и, не попросив у председателя слова, сказал:

— Мне кажется странным, что среди нас присутствует человек, который сотрудничает в большевистской печати: это Серафимович. По-моему, ему здесь не место.

Наступила тишина, какой, вероятно, никогда еще не бывало на собраниях «Среды».

— Господа... — сказал было, молитвенно сложив руки, председатель.

Но тишина вдруг взорвалась: одни возмущались недопустимым выступлением журналиста, другие ему сочувствовали, но больше всего было тех, кто не желал ни возмущаться, ни сочувствовать, а хотел продолжать тишайшее чтение рассказов, из которых нельзя было сделать ни малейшего вывода, что в России произошла социалистическая революция...

Серафимович поднялся, выжидательно и несколько растерянно посмотрел на собрание, на сокрушенно потрясавшего руками в воздухе председателя и направился к выходу.

Не знаю, чем кончилось очередное собрание «Среды», — я ушел вместе с теми, кому было горько и стыдно и кто своим уходом хотел выразить отношение к случившемуся. Вероятно, кротко зазвенел колокольчик председателя, было высказано сожаление, что политические страсти ворвались в литературный, далекий от политики мир, и кто-нибудь прочитал мирный рассказ с передовым направлением.

Много лет спустя, гуляя с Александром Серафимовичем по улице дачного поселка, которая ныне носит его имя, — мы были соседями, — я вспомнил этот случай.

— Ничего, я был тогда уже травленый волк, — сказал Серафимович, — а что же можно было ожидать от людей, у которых почва уходила из-под ног... они тогда всё теряли, а я тогда все только находил.

Но Александр Серафимович все-таки не все забыл: он хорошо помнил, например, что, выражая ему сочувствие, выступил тогда с протестом московский литератор Владимир Павлович Ютанов, и к Ютанову на всю жизнь Серафимович сохранил сердечное расположение.

Впоследствии, дополняя для себя цельный образ Серафимовича, я всегда думал о том, как старый литератор в самые трудные и решающие годы надел на себя овеянную славой революции кожаную куртку и ушел куда-то на фронт, где решалась судьба страны: «Железный поток» рождался из личного познания.

В годы, когда мне пришлось ближе узнать Серафимовича, он уже быстро дряхлел. От его дачи дорога шла

в одну сторону под гору, и Александр Серафимович обычно очень быстро спускался по ней; труднее было возвращаться назад.

— Действует закон инерции, ничего не поделаешь,— сказал он мне как-то, когда я стал помогать ему подниматься в гору. — Надо только стараться, чтобы закон инерции никогда не действовал в творческой жизни, а то ведь под горку-то в литературе спуститься легко, а вот попробуй подняться...

Следует сказать, что в этом смысле путь Серафимовича был всегда в гору, даже в те годы, когда ему было уже трудно писать. Он сохранил в себе живой интерес ко всем явлениям жизни и в благодарной памяти никогда не забывал тех, кто так или иначе помог ему на его писательском пути. Как-то незадолго до смерти, преодолев трудность выхода из дома, Серафимович пришел в Клуб московских писателей, на вечер памяти китайского писателя и просветителя Лу Синя. Лу Синь переводил Серафимовича на китайский язык, и Серафимович чтил этого замечательного классика, основоположника молодой китайской литературы.

Не помню, по какому поводу понадобилась личная подпись Серафимовича. Я дал ему свою самопишущую ручку. Он долго нацеливался, прежде чем начать писать, и большими, трогательными буквами, немного походившими на детские, поставил свою подпись. Я только тогда понял, как трудно ему, вероятно, просидеть целый вечер за столом на собрании, но это была дань уважения Лу Синю, а когда речь шла об оценке достойного в литературе, Александр Серафимович не жалел ни времени, ни усилий.

Много раз, проходя мимо маленькой, скромной дачи Серафимовича, я вспоминаю его одинокую фигуру на дороге и строгий завет, что путь писателя должен быть всегда в гору. Для Серафимовича это была не метафора, а линия жизни.

1956

Ф. Гладков

А. С. СЕРАФИМОВИЧ



1922 году несколько писателей собрались на квартире Александра Серафимовича в Большом Трехгорном переулке. В этот вечер Александр Серафимович должен был читать только что законченную повесть — «Железный поток». Такие дружеские вечера он устраивал нередко в те годы. Тут были и старые и начинающие писатели. Живой, бодрый, веселый, гостеприимный, он умел как-то сразу войти в душу каждого и «взять за сердце» человека.

В те дни, когда только что собирались литературные силы и закладывались основы советской литературы, Александр Серафимович чутко интересовался успехами молодых литераторов, привлекал их к себе, возился с ними, умно и тонко руководил их работой, разбирал каждую строку, давал советы, указывал на причины неудач, предупреждал об опасностях и проникновенно подчеркивал удачные, яркие образы, особенности языка и восклицал возбужденно:

— Ах вы леший этакий! Да вам же только работать и работать! У вас же силищи — непочатый край...

Он брал за плечо какого-нибудь из молодых беллетристов и, лукаво улыбаясь, поощрительно покрикивал:

— Ну-у? Как, батюшка мой? Выкладывайте! Признавайтесь, что написали... Вы Неверова знаете? Вот, хай ему бес, пишет! Так и прет из него, так и прет!..

И каждый день молодые авторы шли к нему со своими литературными докуками, за ободряющим словом. Мне кажется, что ему очень сильно мешали работать и назойливо нарушали его покой. Даже больной, он никому не отказывал в дружеской участливой беседе и никого не забывал.

...В этот вечер собрались у него человек двенадцать беллетристов, среди которых был и А. С. Неверов. Он был уже известен как автор пьесы «Бабы» и ряда ярких рассказов.

Сначала Александр Серафимович попотчевал гостей вкуснейшим пирогом, выпили по стаканчику вина.

— Я — хитрый, хлопцы,— пошутил он. — Вас ведь, леших, сперва надо подпоить — обезоружить, чтобы не лаялись. Сухая ложка рот дерет.

За столом, как обычно, все чувствовали себя непринужденно, а Неверов был в большом ударе, не уступал ему и Новиков-Прибой. Но все-таки чувствовалось взволнованное ожидание. А Александр Серафимович как будто нарочно оттягивал чтение и даже пробовал запевать песню.

Читал он часа три, но времени не замечалось: все были с первой же страницы захвачены широкими картинами народного движения — доблестного отступления отрезанной Таманской армии с жителями станиц и хуторов по черноморской дороге, через горы, для соединения с Красной Армией. В этом бесконечном пути люди испытывают невероятные лишения, и кажется, что нет человеческих сил, чтобы выдержать муки голода, страшного изнурения, болезней, гибели детей... Поразительна выносливость, самоотверженность, вера русских людей в будущее и неугасимость духа. Вот Кожух, могучий, простой, грозный,— настоящий вожак, рожденный народом. Он живет у меня в памяти с тех пор, до иллюзии живой и самобытный. Он как будто теряется в этих бесчисленных толпах, которые сплошным потоком на много верст покрывают приморское шоссе, но в то же время он всегда на виду: он чувствуется и впереди, и в самой гуще, и в задних рядах. Он вовремя появляется там, где люди слабеют духом и начинают роптать, и веселой шуткой ободряет их. Люди смеются, хотя и льется кровь из потрескавшихся губ, потухающие глаза их загораются, им

уже не страшны ни голод, ни жажда, ни дальнейшие страдания, ни трагическая их, смертельная дорога. Как настоящий вожак, Кожух в нужный момент может крикнуть громовым голосом, и тысячи людей — бойцов и станичников — пылают энтузиазмом. Он заразительно хохочет, заливается хорошей песней, отпускает ядреные словечки, от которых люди крякают, как от доброго вина. Но он бывает и страшен в своем гневе против смутьянов и малодушных. Он знает свой путь, он видит свою цель, и этот людской поток верит в него и знает, что Кожух приведет их туда, куда надо. И какие бы преграды и опасности ни были на пути, все эти люди поборют всякие препятствия, сметут на своем пути все враждебные силы. Это были не обреченные люди,—нет, это была трудовая Россия, идущая на подвиги.

Повесть эта поразила нас своей величавой простотой и глубокой народностью. Мы восприняли ее тогда как подлинную поэму о революционном духе русского народа, о неистребимой его силе, самоотверженности и великом его назначении. Такой народ нельзя поработить и обезличить, такой народ, несмотря на бесконечные испытания, вынесет все, поборет все и сам будет торжествовать победу.

Когда Александр Серафимович окончил чтение, все долго молчали под сильным обаянием этой поэмы. Не было слов, чтобы выразить глубокое волнение. И это волнение было в глазах у каждого — все понимали друг друга в этом молчании. Казалось, что сказанное слово только нарушит наше глубокое чувство. По лукавой улыбке Александра Серафимовича видно было, что и он хорошо понимал смысл нашего безмолвия. Он поглядывал на нас добродушно и хитренько и как будто трунил над нами: «Ну, что? Проняло? То-то же!»

Лично мне было особенно интересно слушать эту повесть: я был непосредственным свидетелем движения «железного потока» через Новороссийск. Кубань, изменой предателя Сорокина, отдана была на кровавую расправу белогвардейщины. Новороссийск оставался единственным оплотом советской власти в крае. Моряки и тысячи пролетариев с оружием в руках готовы были драться до конца с бандами деникинцев. Еще не угасла боль от трагической гибели флота в Цемесской

бухте, слишком мучительна была ненависть к врагу у краснофлотцев. Но грозное и скорбное движение таманцев потрясло население Новороссийска. Душа омрачалась тревогой и тягостным предчувствием: белогвардейская контрреволюция уже приближалась к городу. Меньшевистско-эсеровские прохвосты наглели день ото дня. Слушая «Железный поток», я заново переживал огненные дни лета 1918 года.

Вышли мы от Серафимовича поздней ночью. Неверов никак не мог успокоиться и всю дорогу повторял со свойственной ему горячностью:

— Ну и старик! Ну и отчубучил! Прямо зависть берет, до чего хорошо. Слушал я, слушал, и сердце замирало. Да и теперь вот: в душе — бунт, прибой сил чувствуешь... Хочется писать ненасытно... жить ненасытно...

Александр Серафимович был для нас олицетворением лучших традиций русской литературы как беззаветного общественного служения и образцом личного поведения как человек и гражданин.

Он всегда привлекал к себе своей жизнерадостностью, каким-то юношеским любопытством к человеку. И каждый сразу чувствовал эту нелицемерную его пристальность. Никогда в нем не было ни тени самообольщения, ни своенравного желания показать свое величие или снисходительность как метра. Мне думается, что это один из самых постоянных и неизменяющихся характеров: каким он был, таким и останется до гроба. Это ясное постоянство — честность и любовь к людям. Ему интересен каждый человек, каждый его поступок, каждое его слово. И когда он встречает вас, кажется, что он хочет вас обнять — с добродушной настороженностью, с высоко поднятым лицом и пристальным, ожидающим взглядом. И всегда с игривой лукавинкой в глазах вскрикнет певуче:

— Ну-у, батюшка мой! Что? Как? Вот тут-то она ему и сказала...

И обязательно заставит высказать ему даже сокровенные мысли. Нет, не будет выпытывать, а дружеским участием и проникновенностью невольно вызовет потребность раскрыться перед ним как на духу. Он обладал особым уменьем слушать внимательно, вдумчиво, терпеливо. И если не был согласен или не одобрял слов

собеседника, с насмешливым упреком в глазах говорил:

— Ну нет, батюшка мой, вы здесь не правы. Самое трудное — это вскрыть смысл человеческих поступков. Понять человека — это значит строго отнестись к себе. Суд с пристрастием только губит художника. Взвинченность и нервность нетерпимы в творчестве. Это болезнь, если не порок.

На квартире в Трехгорном переулке я чаще всего заставал у него рабочих, красноармейцев, комсомольцев, студентов. Обычно он сидел на диванчике, а около него теснились гости и оживленно разговаривали с ним. Он, по обыкновению, живо расспрашивал их и очень внимательно слушал. Его простота, участливость и умение подойти к каждому пробуждали у людей сознание своей значительности как тружеников и гордость за свой труд, за творческие искания в технологии. Приходили они к нему не только для того, чтобы доложить ему о своих успехах, но нередко и гневно пожаловаться на «зажим», на бюрократическое бездушие, на всякие препоны в их начинаниях, на «глушение» инициативы. Они показывали ему свои неумелые чертежи, объясняли, что и как облегчает их труд и повышает его производительность. Александр Серафимович долго изучал с тем или другим рабочим их чертежи, соображал что-то, потирая ладонью бритую голову, и вдруг задорно вскрикивал:

— Вот тут-то она ему и сказала... Не ругать, а бить вас мало. Как же это так, батюшка мой? У вас же в руках неотразимое оружие. Завтра же мчитесь в МК или к Серго. В драку лезьте, не щадя сил, и победа будет на вашей стороне. Чего вы возитесь с этой вашей публикой? Да, может быть, они и вредители... А ежели что — ко мне бегите: я сам вмешаюсь в это дело...

С молодежью он сам молодел — озорно шутил, смеялся, вспоминал свои студенческие годы, весело рассказывал о забавных подвигах московских студентов, о проделках молодых рабочих в борьбе с полицией. Находил он забавные случаи даже в дни исторического декабрьского восстания на Пресне и отмечал трагические факты в дни своего «подполья», когда он вместе с рабочими семьями прятался в погребах. Молодежь

хохотала, смеялся и он. И неизменно взмахивал обеими руками и командовал:

— Дружным хором петь!! «Смело, братья, мы поспорим!!» А молодость не блекнет и в стариках.

И сам первый запевал дребезжащим баритоном какую-нибудь популярную песню, вроде «Вперед, заре навстречу!».

Наша многолетняя дружба была крепкой и сердечной. Меня влекло к нему не только потому, что он был «человек во всем значении слова», но и потому, что у нас было единомыслие во взглядах на цели и задачи социалистической литературы, а совместная борьба за творческий метод кровно сроднила нас навсегда. Впрочем, кое-когда он обрушивался на мой нервный темперамент и отечески усовещивал:

— Умерьте вы, батенька мой, свой бурный нрав. В душе у вас все кипит и бунтует. Это чудесно, но в художественном творчестве должна быть спокойная уравновешенность. Мудро сказал Чехов, что только тогда можно садиться к столу и браться за перо, когда все внутри перегорит и перебушует и становишься холодным как лед. Но вас, вероятно, исправит могила. У вас каждый образ, каждая фраза раскалены, рисунок — резкий, краски слишком ярки, черты характеров густо подчеркнуты. Все это беспокоит читателя. А надо бы побольше пушкинского бесстрастия. Писатель должен быть строгим и величавым, как судья, и хорошо владеть собою.

Я возражал ему и запальчиво ловил на противоречиях: как же согласовать его горячий, взволнованный «Железный поток» с призывом к пушкинскому бесстрастию? Я думаю, что он, Серафимович, вовсе не был холодным как лед, когда писал эту поэму.

Он смеялся и тер ладонью свою бритую голову.

— Ах, идол! Спугнул-таки старого воробья. Но ведь в этом и главный недостаток повести. Впрочем, надо считаться с временем: годы-то какие были, когда создавалась эта вещь,— огненные годы.

Я пылко доказывал ему, что наша литература — боевая, наступательная литература. Она должна бить верно, метко — так, чтобы каждый образ разрушал старое, создавая и утверждая новое. Типично не только то, что отстоялось, окаменело, а и те новые рождения,

которые вызваны революцией. Жизнь — не в пережитках, а в свежих, выбивающихся наружу, на солнце, родниках. Не только данное, но и желаемое должно быть преображено в «перл создания». Старое, отжившее тормозит наше движение вперед, и это старое надо уничтожать, истреблять средствами искусства, а новое, вызванное к жизни революцией, возвышать, ярко освещать, не боясь даже преувеличений, потому что ростки нового — это действительность завтрашнего дня, это подлинная наша реальная действительность. Без революционной романтики нет настоящего социалистического искусства. Наша эпоха — эпоха героическая, эпоха великих созидательных подвигов, достойная воплощения в ярких, больших и глубоких образах. Поэтому рисунок должен быть резким, мазки смелыми, образы волнующими, зовущими, возвышающими и в то же время разящими: все, что мешает творческому расцвету и размаху нашей жизни, нужно беспощадно заклеймить. Не боясь преувеличений, необходимо густо подчеркивать отрицательные явления. Надо воспитывать непримиримую ненависть к застою, к инертности, к карьеризму, к стяжательству, ко всем эгоистическим грехам. Александр Серафимович пристально следил за мною и, посмеиваясь, хлопал в ладоши.

— Сверкнула шашка раз и два — и покатилась голова! Да, сударь мой, верно: не чеховское теперь время. Нельзя сейчас мечтать, как его герои, о том, что жизнь будет когда-нибудь, этак через двести — триста лет, прекрасна. Эта жизнь уже — свершение. Она полна напряженной борьбы. Мы строим этот прекрасный мир в окружении свирепых врагов: надо быть бдительными, крепче держать оружие в руках. Надо в то же время воплощать будущее в настоящем, желаемое и неизбежное утверждать как данное. Тут художнику не обойтись без страсти, без своего действенного отношения к совершающемуся историческому процессу жизни.

И он раздумчиво заключил:

— Да, закон истории. Я жил и развивался в другой эпохе — в эпохе капиталистической. Многое впиталось от интеллигентских предрассудков конца прошлого столетия. Ведь я пережил и народнические иллюзии, и годы безвременья, и всякие уродства в литературных направлениях. Все это не проходило даром. Счастье

нашей молодежи в том, что она начала жить в эпоху революции и гигантской борьбы миров.

Потом встрепенется, глаза заискрятся, и весь загорится юношеским одушевлением. Нетерпеливо потрет ладонью свою голову и задорно вскрикнет:

— Знаете что, батюшка мой,— поедем-ка путешествовать! Возьмем лодку... движок у меня есть... Этак на месяц, на два. Вниз по Дону. А? Право, чудесно!..

И начнет рассказывать, как он плавал один в лодке по родному Дону, какие с ним забавные приключения происходили. Такие путешествия он совершал чуть ли не каждый год. Смотришь на него, бодрого, жадного до впечатлений, и думаешь: какой это большой жизнелюбец! И кажется, что в прошлом он никогда не болел, не слабел духом, а всегда отличался ядреным физическим здоровьем. Вероятно, он был когда-то богатырского сложения, как его сын Игорь, и, может быть, без особых усилий ломал подковы. Не поэтому ли у него такая неустанная потребность в движении? Помню наше совместное путешествие на машине в Горький. Он часто садился за руль, сменяя сына, Игоря Александровича. Машина плохо слушалась — капризничала, останавливалась, внезапно рвалась вперед,— но он упорно боролся с нею и добивался своего. Игорь Александрович нервничал и постоянно вмешивался. Александр Серафимович инстинктивно хватался за голову, тер ее ладонью и, смущенно посмеиваясь, вскрикивал:

— Ах ты, леший тебя возьми! Ну, погоди ж ты!.. Не мешай, Игорь!

По дороге нередко останавливались, он выходил из машины, чтобы размяться: размахивал руками, приседал, бегал вокруг машины. Во Владимире все почувствовали утомление, хотелось отдохнуть, выспаться за ночь. Но Александр Серафимович вдруг живо и вызывающе предложил:

— А знаете что, ребята... Какого лешего!.. Что мы будем валяться здесь: и номер паршивый, и с чаем плохо, и клопы слопают... Поедем в ночь!.. Как хорошо раненько влететь в Горький!.. Ока! Волга!..

И мы поехали в ночь.

Я не много знаю людей, которые так любили бы дружескую компанию и испытывали бы такую неустанную потребность чувствовать около себя людей.

Когда собирались у него друзья, непременно первый запевал песню. Пел он с наслаждением, самозабвенно. И очень был недоволен, если кто-нибудь молчал, сидел в сторонке.

— Пой, леший бодай тебя!.. Ну, дружно!.. — И размахивал руками, как дирижер.

А любил он именно русские — широкие, разливные — песни, особенно донские, казачьи.

Александр Серафимович был глубоко русским человеком и русского человека знал превосходно. В отличие от развинченных интеллигентов, от упадочных писателей 900-х годов, которые, в сущности, не имели никакого понятия о народе, хотя нередко клеветали на него, он всегда глубоко верил в творческие силы русского человека, в его таланты, в его великое будущее. Всю свою жизнь он шел с ним плечом к плечу и с юности связал с ним свою судьбу. Он был непосредственным свидетелем и участником русского общественного и рабочего движения. Про него можно сказать словами поэта: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» А сколько таких «роковых минут» было за эти годы! И на все эти события он отвечал яркими повестями и рассказами. Он был подлинным летописцем общественной борьбы минувшего полстолетия. И широкие рабочие массы любили и читали его. Когда праздновали его 60-летний юбилей, рабочие поднесли ему много подарков. Однажды он встретил меня в своей скромной квартирке на Трехгорном с блестящим паровозом в руках и с юношеской радостью сообщил:

— Вот-с, извольте полюбоваться, сударь мой! Рабочие депо преподнесли. Ну-с, беситесь от зависти! Вот тут-то она ему и сказала... Разведу пары и покачу, куда душа хочет.

Но глаза его были влажны от волнения.

Он чаще волновался от радости, чем от возмущения. Гнев его был спокойный. Но он был нетерпим к неправде, к лицемерию, двоедушию, к политиканству. Одно из его выступлений против некоторых, печальной памяти, руководителей РАППа навсегда останется у меня в памяти. Он, как обличитель, стоял перед ними, гневный, с болью в лице. Голос его дрожал, дрожали руки, но его слова хлестали этих людей в упор.

Он всею душой любил литературу — как выражение человеческого духа, как голос правды и совести, как проявление человеческого достоинства и благородства. С искусством нельзя играть, преступно делать его ареной карьеристских вожделений, политиканского шантажа, беспринципной борьбы. Литература — дело народное, дело священное. Она должна воспитывать и поднимать людей до высокого идеала. Творчество писателя — это и его личное поведение. Вот почему Александр Серафимович любовно и нежно относился всегда к начинающим и молодым писателям. Очень и очень многим он помог укрепиться, стать на ноги и выйти на большую дорогу. Я с благодарностью вспоминаю его дружескую помощь мне в первый год пребывания моего в Москве. Он сам приходил ко мне в подвал на Смоленском бульваре, терпеливо слушал мои рассказы и наставлял меня с отеческой лаской. Этой отеческой лаской он смягчал самые суровые свои оценки незрелых произведений многих литераторов, укреплял в них веру в свои силы и указывал пути к достижению художественного совершенства.

Подходил он к каждому как равный, как друг и соратник. Он охотно спорил, твердо отстаивая свою точку зрения, но никогда не показывал вида, что больше знает, чем молодой, неопытный автор. Он не подавлял своей личностью, своим авторитетом, а, наоборот, всегда старался возвысить человека, окрылить его, одушевить для новых замыслов, для новой, более трудной борьбы.

Александр Серафимович славно прожил свою жизнь — как неустанный борец за правду, за высокое реалистическое искусство, за великие идеалы человеческой свободы и счастья. Целомудренно-честный, благородный рыцарь, с любвеобильной душою, скромный, простой и милый, он являлся образцом писателя-подвижника и гражданина-творца.

1938—1955

Елизавета Ломтатидзе

ВРЕЗАЛОСЬ МНЕ В ПАМЯТЬ...

Общение мое с Александром Серафимовичем продолжалось очень долго. Человек он был замечательный. Отношения между нами сложились дружеские и теплые. Нужно ли говорить, как глубоко и искренне я уважала этого поистине необыкновенного и в то же время такого простого человека.

О встречах с Александром Серафимовичем я делала (для себя, конечно) подробные записи. К сожалению, в тяжелые годы моей жизни эти записи погибли. И сейчас приходится писать свои воспоминания только по памяти, строго отбирая, отбрасывая то, в чем не вполне уверена. Память-то, как известно, вещь ненадежная. Вот отсюда и неизбежное — отрывочность и, может быть, некоторая хаотичность этих набросков.

С 1905-го и примерно до начала 30-х годов Александр Серафимович жил в рабочем квартале Москвы, на Пресне, близ «Трехгорной мануфактуры».

Квартира была темноватая, сырая. Александр Серафимович часто жаловался на приступы малярии. На советы друзей, а также на настояния врачей — переменить квартиру, переехать в «Националь» или какой-нибудь другой благоустроенный Дом Советов — он всегда отвечал: «Трудно мне это сделать, привык к своему рабочему району, уеду — оторвусь, будет нехорошо». Он поддерживал прочные связи с

рабочими, особенно соседней «Трехгорки».

В этой квартире собирался наш литературный кружок, руководителем которого был Серафимович. Говоря по-современному, Серафимович был как бы нашим бригадиром.

Кружок Серафимовича отнюдь не носил характера современных литературных кружков. Это было скорее товарищеское окружение А. С. Серафимовича, объединение, где время от времени встречались молодые или начинающие литераторы, группировавшиеся вокруг большого мастера.

Александр Серафимович неоднократно читал собравшимся свои произведения. Какие именно, сейчас припомнить затрудняюсь. На эти читки я смотрела как на семинары для начинающих.

Здесь шли разговоры преимущественно, конечно, о литературе, о положении дел в писательских организациях того времени и о многом другом.

Крепко врезалось мне в память неоднократно высказывавшееся Серафимовичем суровое осуждение руководителей РАППа. Группа «авторитетных» рапповцев пустила гнусную клевету, что «Тихий Дон» (а тогда вышла только 1-я книга) написан не Шолоховым, а кем-то другим, что Шолохов присвоил себе чужой труд. Со злорадством говорили они: «Вот посмотрим, каково будет дальнейшее продолжение этого произведения». И ехидно добавляли, что, очевидно, второй книги не будет вовсе.

Сейчас у всякого эти слова могут вызвать лишь ироническую улыбку в адрес авторов клеветнического измышления. Но тогда они доставляли много огорчений и самому Шолохову, и всем тем, кому дорога была советская литература, ее будущее.

Александр Серафимович за Шолохова стоял горой. Он первый разглядел огромный талант, таившийся в этом скромном молодом человеке, и, уверенный в его большой литературной судьбе, выступал в его защиту и устно и печатно, беспощадно обрушиваясь на всех и всяческих клеветников и злопыхателей. Не будь Серафимовича, я уверена, что литературный путь Шолохова был бы весьма затруднен.

Кружок наш собирался нерегулярно, иногда бывали

длительные перерывы. Так продолжалось вплоть до Великой Отечественной войны.

Бывали в литературном кружке А. Караваева, А. Исбах, В. Билль-Белоцерковский, Г. Никифоров, З. Хацревин, Б. Лапин, С. Мстиславский и ряд других товарищей. Иногда присутствовал брат Серафимовича, работник «Правды» — Вениамин Дубовско́й.

Кто-нибудь из присутствующих, особенно часто Дубовской, от разговоров переходил к пению революционных песен. Александр Серафимович присоединялся к поющим и начинал дирижировать, он сразу преображался и как-то молодел.

Гостеприимный хозяин весело звал к столу, за которым хозяйничала его жена — Фекла Родионовна и ее мамаша, замечательная старушка, которую все любили и звали «бабушка».

Встречалась я с Александром Серафимовичем не только в его доме. Приходилось видеться и в редакции «Известий Московского Совета рабочих депутатов».

Редакция этой газеты в 1917 году помещалась на третьем этаже дома, ранее принадлежавшего генерал-губернатору (ныне здание Моссовета). В парадных комнатах находился исполком Моссовета, в котором я работала в качестве одного из секретарей. Бывая в редакции по делам, я заставала там и Александра Серафимовича.

Однажды я увидела его сильно взволнованным. Он принес в редакцию очерк, в котором рассказывал об инциденте в литературном кружке «Среда». Дело было в следующем. После Октябрьского переворота Серафимович стал штатным сотрудником «Известий Московского Совета». Это вызвало негодование части членов кружка. На ближайшем собрании «Среды» один из членов выступил с резкой речью по адресу Серафимовича, обвиняя его в том, что он «продался» большевикам, этим «немецким шпионам», что необходимо дать отпор «безответственным экспериментаторам», как они именовали большевиков. В заключение было предложено исключить Серафимовича из состава «Среды».

Александр Серафимович ушел, не вступая в прения

и дискуссии. Он предпочел ответ на эти непристойные выходки перенести на обсуждение пролетарских масс и опубликовал в «Известиях» очерк «В капле». Этот ответ Серафимовича на выпад буржуазных писателей встретил полное одобрение со стороны советской общественности, давно знавшей Серафимовича как писателя, искренне преданного рабочему делу.

Хочется сказать несколько слов о «Железном потоке». Это не только высокохудожественное произведение. Это, как говорил сам Александр Серафимович,— памятник борцам революции, победившим испытанных в военном деле царских генералов.

Созданию «Железного потока» предшествовала огромная работа по собиранию материала, накапливанию наблюдений и впечатлений на фронтах гражданской войны.

В тяжелые 1918 и 1919 годы Серафимович неделями исчезал из Москвы. Совсем немолодой, пятидесятипятилетний человек, в простой солдатской шинелишке, он ездил в битком набитых теплушках и на подножках вагонов, ночевал на станциях, запруженных в то время вшивыми, тифозными больными, мерз в окопах вместе с бойцами только что созданной Красной Армии, деля с ними немудрящую солдатскую трапезу, беседуя по душам, и все изучал, вникал, вглядывался, не пропуская хотя бы маленьких штрихов, могущих дополнить портреты воинов революции. Он внимательно знакомился с положением и в тылу. А возвращаясь в Москву, давал в «Правду» и «Известия» корреспонденции и очерки, в которых правдиво рассказывал о буднях нашей армии и тружеников тыла, говорил об их насущных нуждах и стоящих перед ними злободневных задачах, беспощадно разоблачал врагов революции.

Вся эта кипучая каждодневная деятельность Серафимовича и была той необходимой подготовительной работой, без которой невозможно было бы создание героической эпопеи «Железный поток».

Каждый раз по возвращении в Москву Серафимович шел к Марии Ильиничне Ульяновой, работавшей тогда секретарем редакции «Правды», рассказывал ей

о своих встречах на фронтах, о мыслях и настроениях бойцов. Мария Ильинична, в свою очередь, рассказывала об этом Владимиру Ильичу и затем передавала Серафимовичу одобрение и советы Ленина.

При разговорах Серафимовича с Марией Ильиничной мне никогда не приходилось быть, но знаю о них из рассказов самого Александра Серафимовича. Часто бывая в редакции «Известий», я неоднократно присутствовала при беседах Александра Серафимовича с членами редакции — Р. П. Катаняном, К. П. Новицким и ныне покойными Н. Л. Мещеряковым и Н. Н. Овсянниковым. Серафимович рассказывал им о беседах с Марией Ильиничной, об отношении Владимира Ильича к его журналистской и писательской работе и к замыслу его «Железного потока». Ленин знал об этом замысле, а в дальнейшем — о работе Серафимовича над эпопеей и очень интересовался ею. Можно сказать, что работа Серафимовича над «Железным потоком» проходила в обстановке большого внимания к ней и одобрения со стороны Владимира Ильича. Повторяю, об этом мне известно со слов Александра Серафимовича. А в правдивости его слов я никогда не сомневалась.

...Прошли годы, «Железный поток» завоевал миллионы читателей в нашей стране и перешагнул далеко за пределы советских рубежей. Для многих бойцов китайской Народно-революционной армии «Железный поток» стал необходимым пособием в гражданской войне.

Я помню, с какой радостью показал мне Серафимович экземпляр «Железного потока» на китайском языке. И позже, в 1947 году, когда Р. Катанян после долгого отсутствия вернулся в Москву, мы с ним пошли к Александру Серафимовичу. После первых разговоров и расспросов Александр Серафимович повел нас в свой кабинет, опять достал китайский перевод «Железного потока» и, ласково поглаживая книгу, показал ее Катаняну.

Александр Серафимович был очень загружен своей работой, но всегда много времени уделял молодым, начинающим литераторам. Неоднократно я бывала свидетельницей терпеливого его труда с неопытными, иногда не очень талантливыми писателями.

Помню, как я принесла ему мой первый рассказ. Рассказ был слабый, теперь я это твердо знаю. Александр Серафимович с удивительным терпением помогал мне переработать его, и получилось настолько лучше, что я сама не узнала своего детища. Мне стало стыдно: как это я не подумала о драгоценном времени Александра Серафимовича. Я сказала:

— Александр Серафимович! Мне очень неудобно, что я заставила вас потратить столько времени.

В ответ он добродушно засмеялся и стал уверять меня, что рассказ очень интересный и его стоит напечатать.

В 1918 году я стала работать инспектором труда. Это было время, когда очищали предприятия от хозяев и хозяйских холуев. Иногда я заходила в редакцию и, встречая там Александра Серафимовича и других товарищей, рассказывала им о борьбе, которую вела Инспекция труда за «советизацию» фабрик и предприятий Хамовнического района г. Москвы.

Александр Серафимович с большим интересом слушал эти рассказы и однажды посоветовал мне поподробнее написать о своей работе. Я послушалась его, и в результате появилась моя книжка «Записки инспектора труда».

Александр Серафимович всегда был чуток к окружающим его людям, к их нуждам и запросам, к их труду. Он не только не отказывал в помощи, но нередко сам предлагал ее, шел навстречу. Скольким молодым писателям он помогал не только советом, но и тем, что писал отзывы или предисловия к их произведениям. Эти предисловия большого писателя открывали дорогу произведениям молодых авторов к широкому читателю, способствовали их продвижению в издательствах и редакциях.

Такие предисловия не только оценивают произведения молодых авторов, они одновременно характеризуют и самого Александра Серафимовича. Вот поэтому — именно для характеристики Серафимовича — мне и хочется привести здесь часть небольшого

предисловия, написанного им к моим очеркам «Ряды борцов», основанным на письмах немецких рабкоров 1928—1934 годов и опубликованным в 1935 году. В этом предисловии Серафимович писал:

«Это счастливая мысль — дать кусок современной Германии в письмах немецких рабочих, в их интимных дневниках, в корреспонденциях рабкоров, в заметках, вырезках, в фотографических снимках.

В капле отражается мир...

...И как просты, искренни, подчас наивны эти письма, дневники, и именно оттого они и производят такое глубокое впечатление.

Этот метод документального освещения людей, событий жизни нужно возможно шире использовать».

На редкость скромный и обаятельный, Александр Серафимович готов был помочь каждому советскому человеку своим писательским или житейским опытом. На предприятиях, где он выступал, Серафимович привлекал сердца рабочих. А выступал он часто. Помню читательскую конференцию в Бауманском районе г. Москвы, в библиотеке имени Володарского. Библиотека была популярна в районе.

Получив согласие Александра Серафимовича на участие в читательской конференции, мы начали готовиться к ней. Для обсуждения был избран роман «Город в степи». В организационную комиссию вошли рабочие наиболее крупных предприятий района. Распределили темы. Каждый должен был выступить с подготовленным материалом.

Настал день конференции. Александр Серафимович приехал раньше времени. Такую уж имел он привычку. Приедет пораньше, посмотрит библиотеку, поговорит с рабочими. Ему нравилось знакомиться с читателем, особенно с молодежью. А она у нас бывала самая разнообразная: и рабочие от станка, и военные курсанты, и старшеклассники.

Конференция прошла с большим успехом. Были довольны все, в том числе и сам Серафимович. Часто, пожалуй, чаще всего рабочие на заводах, где он высту-

пал, спрашивали Серафимовича, как он стал писателем. Просто, задушевно он вспоминал далекие годы своей ссылки, свой первый рассказ «На льдине» и свои первые муки творчества.

В отзывах рабочих о его выступлениях не раз мы слышали и читали: «Какой замечательный писатель, как просто он говорит, все понимаем, до последнего слова».

1959

Рудольф Бершадский

ЧТО Я ЗАПОМНИЛ



Несколько встреч моих с А. С. Серафимовичем, которые, возможно, представляют интерес для читателя, относятся к 1927—1928 годам. Сейчас, спустя тридцать лет, я не посмею, конечно, поручиться, что в памяти отложилось каждое слово Александра Серафимовича и запечатлелся каждый его жест. Поэтому расскажу лишь о том, что запомнилось точно, а именно — о содержании его высказываний в беседах со мною.

Наряду со многими другими общественными обязанностями, Александр Серафимович выполнял тогда обязанности председателя президиума литературной консультации при правлении РАППа. Президиум консультации был сформирован из большого числа писателей с той целью, чтобы они постоянно направляли работу по консультированию начинающих авторов, а также (причем это прежде всего) сами читали наиболее интересные рукописи.

Я был приглашен в эту только создававшуюся консультацию на техническую, в общем, работу: на должность секретаря. Но в первый же день понял, что ограничиться одними техническими функциями — регистрацией поступающих рукописей и отсылкой отзывов на них авторам — не удастся. Обзвонив по телефону многих членов президиума консультации (которые в большинстве случаев, правда, только от меня узнали, что на них возложена еще одна «нагруз-

ка»), чтобы установить, какого жанра произведения кому из них желательнее получать для рецензирования,— я, к сожалению, убедился, что опереться не на кого: большинство так называемых членов президиума не было намерено даже слушать о том, чтобы читать какие-то самотечные рукописи.

В полной растерянности — что же мне в таком случае делать? — я решился на крайнюю меру: позвонить Александру Серафимовичу как председателю президиума консультации. Кое-как представился по телефону: так, мол, и так — я вот принят на службу секретарем литконсультации, но у меня возник ряд совершенно неразрешимых, с моей точки зрения, вопросов в связи с этой работой, и — «мне бы, товарищ Серафимович, очень нужно было встретиться с вами...».

Звонил я с трепетом. Еще в школе я прочел «Железный поток» — первой ставшую мне известной вещь Серафимовича — и долго ходил под ее впечатлением. Даже тогда, мальчишкой, я понял, что прочел классическое произведение, и наивный детский вопрос, смущавший, наверно, не одного меня: может ли кто-нибудь уже при жизни стать классиком? — оказался вдруг решенным: да, может.

И вот я подымаю трубку и звоню — кому же? Классику!

И слышу приветливый глуховатый голос:

— Очень хорошо, что позвонили. Но, досадно, я себя плохо чувствую и, наверно, еще с неделю не смогу к вам зайти. Может быть, вы бы ко мне зашли? Не затруднит это вас?

Я растерялся. «Не будет ли это мне трудно?!»

— Александр Серафимович, да хоть сейчас!

— И отлично. Адрес знаете? Через полчаса я буду свободен. Жду вас!

Я был на месте раньше чем через полчаса,— Александр Серафимович жил тогда в Первом доме Советов (гостиница «Националь»), а РАПП помещался в Доме Герцена, на Тверском бульваре, 25. Для молодых ног — не больше пятнадцати минут ходьбы. Но я бежал: а вдруг опоздаю!

Не помню сейчас ни этажа, на котором находилась комната Александра Серафимовича, ни номера ее, ни меблировки. Помню лишь, что Александр Серафимо-

вич, заметив мое смущение, сказал, что нам лучше будет побеседовать за чаем. И немедленно отправился разогревать на примусе чай. Теперь я понимаю: он хотел дать мне возможность освоиться.

Сам он и поил меня чаем, спросил, какой я предпочитаю — покрепче или послабее, и сам же положил сахару в стакан.

Постепенно я овладел собой и более или менее связно изложил свои затруднения по работе в консультации. Подробно рассказал и об ответах большинства писателей, выделенных в президиум консультации: что им, мол, некогда читать всякие самотечные рукописи.

Александр Серафимович сокрушенно покачал головой:

— Так и сказали?

— Что именно, Александр Серафимович?

— Ну, что не будут читать... Наотрез...

— Да, так.

Он сидел за столом напротив меня. Локти его лежали на столе, а кисти рук были подняты и пальцы сплетены между собой. Он разнял ладони, молча, сердито постучал кончиками пальцев одной руки о кончики пальцев другой; затем, сделав неуловимо короткий брезгливый жест — будто стряхнул что-то с па́льцев,— сказал:

— Какая короткая память у людей — уже забыли, как им самим помогали! Ну, и не нужно таких. С молодыми должны говорить люди живые, а эти не литературу любят, а только себя в ней. Вы Багрицкого привлеките. Знаете, как его молодежь любит! И он ее! Обязательно привлеките.

Я удивился: я думал, что мне положено привлекать к работе консультации РАППа только рапповцев, а Багрицкий членом РАППа тогда не был, и Александр Серафимович это, конечно, превосходно помнил. Я его так и спросил.

Он испытующе посмотрел на меня: а не разъеден ли я, как гнилое яблоко, червем, ядом сектантства, зазнайства, комчванства?

Но, должно быть оценив мою молодость, ответил значительно мягче, чем я ждал, когда перехватил этот взгляд:

— А разве вас не берет за сердце его «Дума про Опанаса»?

Еще бы! Это было одно из самых любимых моих произведений советских поэтов!

— Или, когда вы читаете ее, вам есть дело до того, рапповец Багрицкий или нет?

Мне стало стыдно. Александр Серафимович прекратил допрос.

— И любому молодому поэту тоже безразлично, состоит Эдуард Георгиевич (Александр Серафимович уважительно и веско назвал Багрицкого по имени-отчеству) в нашей рапповской организации или не состоит. Зато он великолепно чувствует, что Багрицкий любит поэзию и любит народ... И как любит!

...Разговор наш с Александром Серафимовичем продолжался еще долго. Серафимович подробнейшим образом, вплоть до того, что сам наметил, какие графы надо завести в регистрационном журнале, проинструктировал меня, как мне работать, согласился лично читать все рукописи, относительно оценки которых не будет единодушия у консультанта, у меня и у заместителя председателя президиума консультации — критика А. Селивановского (он как раз находился в ту пору в командировке, поэтому я и вынужден был обратиться со своими недоумениями непосредственно к Серафимовичу).

— А самое важное в вашей работе,— напутствовал меня Александр Серафимович,— не забывать, что за каждой строчкой, за каждым словом любой поступающей в консультацию рукописи стоит живой человек. Конечно, он чаще всего не умеет, до боли беспомощно не умеет выразить того, что его волнует. Но вы понимаете, как жжет его то, о чем он пишет, если, несмотря ни на что, он все-таки берется за перо! Не бойтесь написать такому человеку прямо: «Товарищ, вы еще очень неграмотны, вам надо учиться — вот тому-то, тому-то и тому-то в первую очередь; но не стесняйтесь, знания — дело наживное, была бы охота. Однако дело обязательное! Без грамоты вы никогда не сумеете писать так, чтобы ваши произведения волновали других!» Но когда будете отвечать таким образом, помните, что вам и самому надо еще многому учиться.

Я имею в виду, конечно, не лично вас, а вообще каждого, кто берется учить других.

Хотя Александр Серафимович говорил все это абсолютно искренне, словно размышляя вслух, а совсем не в назидание, — я густо покраснел. Еще бы! Мне, мальчишке, особенно следовало помнить, сколько надо учиться и учиться, прежде чем взять на себя смелость самому поучать кого-то!

Но, оказывается, он думал не обо мне, а о себе!

— Знаете, бывает ведь — да и нередко! — отвечаешь человеку: вот у вас то-то нескладно сказано и то-то... А сам себя ловишь в это время: ну, а ты-то точно знаешь, как то же самое сказать достаточно выразительно? И нередко конфузишься: ведь и у самого не выходит так, чтобы тебя это удовлетворило...

Я не верил своим ушам. Неужели и Серафимовича одолевают такие мысли?! Но я видел, как он замялся в этот момент, переживая то, о чем рассказывал... Нет, он не преувеличивал!

— Это очень, очень ответственное дело — литературная консультация. У нас теперь массы поднялись писать, то есть осмысливать свой жизненный опыт. Как же можно не интересоваться, что, да и как они пишут? Только жалеть можно такого литератора, который пренебрегает этим «самотеком»!

...Еще несколько раз бывал я у Александра Серафимовича по делам литературной консультации и всякий раз встречал то же замечательное внимание и чуткость к начинающим писателям и их нуждам. Это была забота не о «малых сих», а о великом народе, подымающемся к культуре. И всякий раз Александр Серафимович справлялся, работает ли в консультации Багрицкий.

Багрицкий работал.

1959

Анна Караваева

НАШ СТАРШИЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ

Летом 1927 года по вызову Госиздата я приехала в Москву — для серьезного, делового разговора.

Хотя в Госиздат я пришла точно к назначенному часу мне сразу стало ясно, что придется ждать довольно долго: товарищ (уж не помню, кто именно), которому был поручен этот важный для меня разговор, где-то задержался. Его уже ожидало около десятка посетителей, пришедших раньше меня,— и, значит, нужно было запастись терпением.

Кроме секретаря отдела Евгения Бывалова, «старого морского волка» и автора морских рассказов и повестей, с которым я уже встречалась в Москве, знакомых мне никого здесь не было.

Смутный говор в комнате вдруг затих, когда в приемную вошел кто-то и негромко поздоровался, сделав общий поклон. Ему приветливо ответили, назвав по имени: Александр Серафимович.

Стул рядом со мной пустовал. Александр Серафимович по-стариковски опустился на него, вытер платком большой лоб и поправил белоснежный воротничок на черной сатиновой блузе — «толстовке».

Вдруг я растерянно подумала: как же мне сейчас быть? Что Александр Серафимович меня еще не знает — это в порядке вещей. Но ведь я-то его давно знаю: его книги я читала с юных лет!.. Может быть, мне сейчас вот и сказать: «А ведь я вас, Александр Серафимович, давным-давно знаю и люблю ваши произведения!» А он, пожалуй, при

этом подумает: «Вот странная молодая особа — объявляет так, будто она одна читает Серафимовича!»

Из этого стесненного положения, сам того не подозревая, помог мне выбраться старик Евгений Бывалов. Его морщинистое нервное лицо выражало уже явное недовольство и беспокойство, и, как мне казалось, особенно было неловко ему перед Александром Серафимовичем. Склонившись над его плечом, Бывалов сначала хотя шепотком, но «по-моряцки» проклял жару и духоту, а потом, явно не одобряя создавшейся обстановки, начал уверять, что запоздавшее начальство все-таки обязательно появится: знает ведь, сколько у людей дел накапливается к приемному дню и как все ожидают его.

— Вот, например, эта молодая писательница,— и Бывалов мягко кивнул в мою сторону. — Вызвали ее для разговора по поводу издания ее собрания сочинений... Представляете, Александр Серафимович, как сердце ее горит и жаждет скорейшего разговора?

— Вполне, вполне представляю,— с доброй улыбкой сказал Александр Серафимович и повернулся ко мне. Из-под седых, густых бровей на меня ободряюще глянули пристальные глаза.

Бывалов тут же представил меня старому писателю и кратко рассказал.

— Вот как! Поздравляю от души и желаю успеха! — И крепко пожал мне руку, а потом, взглядом указав на меня, добавил как бы уже для Бывалова: — Вот, товарищ секретарь Госиздата, все чаще мы, старики, встречаемся с молодым поколением нашей литературы: все смелее и шире вступает оно в жизнь!

А потом Александр Серафимович с той же доброй и заботливой улыбкой спросил:

— Из чего составится ваше собрание сочинений?

Все сильнее смущаясь, я стала перечислять свои скромные труды. Печатаюсь всего пять лет — с весны 1922 года. Наша молодая семья живет в городе Барнауле, работаем в Советско-партийной школе (Совпартшколе). Мой муж — участник гражданской войны, закончил математический факультет, а я — петербургские Бестужевские курсы. Сделано еще совсем немного, а большой писатель с доброжелательным вниманием

интересуется моей работой, еще мало кому известной. Но какие-то минуты спустя я должна была признаться самой себе, что не учла кое-чего, пусть по молодости и неопытности,— даже очень не учла. Оказалось, что Александр Серафимович решительно со всеми моими вещами был знаком. Роман «Лесозавод» он прочел в издании издательства «Пролетарий», повесть «Двор» читал в журнале «Новый мир» за 1926 год, рассказы читал в журналах «Красная новь», «Звезда», «Красная нива». Знал он и журнал «Сибирские огни», где был напечатан первый роман «Золотой ключ». Вконец смущенная, я вслух поразилась его памятливости.

— Ну-ну!.. Да разве может быть иначе? — произнес он все так же негромко, но уже с нотками строгости в голосе. — Вы, молодежь, пожалуй, думаете, что старый писатель больше всего помнит прошлое и знает только свое поколение?.. Кстати говоря, некоторые имена недавнего прошлого нашей литературы, как известно, очутились по ту сторону баррикады... А молодая наша, послеоктябрьская литература у нас на глазах растет... И мы как старшие должны каждый настоящий талант привечать, помогать ему и знать, отлично знать произведения этой молодой литературы. Скажите, пожалуйста, будет ли настоящий кругозор у писателя, который замыкается в жизни только своего возраста, своего поколения?

Мне вспомнилось предисловие Александра Серафимовича к книжке Михаила Шолохова «Донские рассказы». Ни в одной книге мне еще не доводилось читать такого предисловия, где понимание природы таланта молодого писателя было бы выражено так поэтично и прозорливо. Да, замечательный русский писатель в высокой степени умел привлечь молодые силы советской литературы!

Впоследствии, уже много лет спустя, не раз я возвращалась в своей общественно-творческой практике к мыслям, зароненным в душу этой первой встречей с Александром Серафимовичем.

Вторая моя встреча с ним произошла в конце 1928 года, когда я с семьей уже переехала на жительство в Москву.

Боясь опоздать, я, новый член редколлегии журнала «Октябрь», пришла на заседание, что называется,

«с петухами» и сидела в комнате одна, просматривая материалы.

Александр Серафимович, войдя, приветливо поздоровался со мной.

Говорили, что Александр Серафимович прихварывает, а он появился в редакционной комнате такой бодрый, румяный с мороза, что приятно было смотреть. Глаза его сияли молодой, восторженной задумчивостью, которая, конечно, не сейчас возникнув, еще не оставила его.

— А я, знаете, зачитался...— объяснил он, подсаживаясь к столу.— Михаилом Шолоховым зачитался!.. Как здорово это получилось, что мы его напечатали, открыли год его «Тихим Доном»! Ох, даже подумать страшно, что такое эпохальное произведение могло бы залежаться где-то в тени, когда народ ждет именно такой эпопеи!.. Талантище-то... а?.. Донская станица, казачьи курени и базы, деревенские улицы... а сквозь все это видишь всю Россию! И люди, все эти старики, старухи, парни, молодицы... кажется, вот будто с самого детства их навидался, и все в них тебе знакомо... а вот поди ж ты — какое волшебство: сколько же нового, изумительного... и даже исто-ри-ческого открылось тебе в этих людях!.. И опять же, как бы сквозь этих людей видишь бытие всего народа...

Все так же радуясь и восторженно размышляя вслух, Александр Серафимович заговорил о том, как неповторимо Михаил Шолохов лепит характеры своих героев, как «естественно и доходчиво» вводит в глубины их внутреннего бытия, заставляя читателя «сопереживать вместе с ними». Язык шолоховских героев, живописный, точный, полный как бы непосредственного ощущения каждой личности, Александр Серафимович сравнивал с «хрустально-прозрачным родником, где вода поет, играет и утоляет жажду».

Когда началось заседание редколлегии, Александр Серафимович внимательно слушал всех и сам вносил предложения. А в лице его и во взгляде, как мне тогда казалось, все еще потаенно искрилась охватившая его широкая, светлая радость и гордость за талант молодого писателя, которого он сегодня назвал «восходящим светилом».

Не однажды случалось мне потом слышать на редколлегии высказывания нашего старшего товарища и руководителя журнала о разных произведениях прозы и поэзии. Их он тоже «привечал», неизменно поддерживая все, что было свежо, верно и самобытно. На добрые слова по адресу молодых авторов не скупился, а о слабостях и недостатках художественного выражения, как всегда, говорил убедительно, просто и всегда с пользой. Ни одно из этих суждений не шло в сравнение с той вдохновенной радостью, которую возбуждало в нем творчество Михаила Шолохова: создатель «Тихого Дона» и в его глазах, конечно, был вне сравнений, как «восходящее светило» молодой советской литературы. Так же восторженно, как и говорил о нем, писал Александр Серафимович в 1928 году на страницах газеты «Правда» о создателе этого эпохального романа.

В годы юности мне довелось прочесть очерк Александра Серафимовича «На Пресне». С первых же строк он захватил читателя своей суровой правдой. Хотя в памяти и вставали картины бурных дней революции 1905 года в моем родном городе Перми — митинги и демонстрации под красными знаменами,— но о событиях на Пресне я ничего не знала: еще «зелен» был жизненный опыт. И вот она, революционная Пресня, залитая кровью рабочих, женщин, детей,— рабочая Пресня, которую в декабре пятого года царские войска расстреливали из орудий, с ее мертвыми выбитыми окнами и немыми домами, с заревами пожаров,— с такой болью, ужасом и так выпукло представилась мне, будто я ее действительно видела.

Но кроме мрачных картин безмерных человеческих страданий в воображении юности встало и другое: героическая борьба рабочей Пресни в том неравном бою.

Когда в конце 20-х годов, уже живя в Москве, я бывала на Пресне, мне всегда казалось, что вновь узнаю эти как бы воочию давно виденные мною места.

Однажды в весенний теплый день приблизительно там, где теперь на Шмитовском проезде возвышается здание Краснопресненского райкома партии, я встретила Александра Серафимовича. Надвинув на лоб темную драповую кепку, он неспешной походкой шел, и глаза его любопытно и зорко поглядывали на солнце, на людей и строительную суету. В черном, наглухо

застегнутом пальто, из-под бархатного воротника которого ослепительно белел мягкий («серафимовический») воротничок рубашки, румяный от весеннего ветра, старый писатель выглядел даже молодцевато. Его здесь знали, многие приветливо здоровались с ним. Он жил тогда в Большом Трехгорном переулке, где мы, молодые литераторы, собирались в его небольшой уютной квартире. Мне давно хотелось рассказать ему обо всем, что было пережито над страницами его рассказа «На Пресне», но в общих, всегда оживленных писательских беседах как-то не удавалось поделиться с Александром Серафимовичем моими давними переживаниями. И вот, случайно встретясь в тот солнечный весенний день, я рассказала ему об этом.

— Да, много, много было пережито здесь,— сказал он задумчиво, хмуря седые брови. — Потому и помнить об этом надо, помнить крепче и новым поколениям эту память передать... Какие люди защищали Красную Пресню! Многие ли знают, что на баррикадах Красной Пресни дрался, например, Петр Заломов, тот самый Заломов, который явился прообразом рабочего-революционера Павла Власова из горьковского романа «Мать»...

В черные годы реакции делалось все, чтобы всякое воспоминание о той Пресне окончательно выветрилось из памяти народной. Но исторические документы, воспоминания участников восстания донесли ее героический образ до наших дней. И все-таки, как считал Александр Серафимович, еще мало сделано для того, чтобы напоминать новым поколениям о славной истории этой улицы. Вот, например, корпус «Трехгорной мануфактуры» им. Ф. Дзержинского (бывшая Прохоровка). В дни декабрьского восстания 1905 года на фабрике находился боевой штаб восстания. Во дворе фабрики, правда, увековечена память рабочих-борцов, расстрелянных царскими палачами. Но со стороны улицы нет никаких напоминаний — хотя бы самой скромной мемориальной доски. А где именно была построена первая баррикада? Где находилась баррикада, с которой дружинники вели последний бой за Пресню с озверевшими царскими войсками?.. Об этом тоже нет зримых воспоминаний!

Кроме мемориальной доски на старинном здании около краснопресненской пожарной части, других указателей нет. А как выразительно выглядели бы эти мемориальные доски на стенах новых домов! И не один москвич или приезжий, приостановясь, подумал бы с удовлетворением: «Вот он, зримый образ перемен!» Там, где когда-то стояли кварталы трухлявых, отсыревших домишек, где царские палачи Мин и Риман расстреливали революционных борцов, выросли благоустроенные жилые корпуса, раскинулись цветники, скверы...

Когда пойдешь в сторону Краснопресненской заставы и свернешь на широкое Звенигородское шоссе, городской пейзаж сразу меняется. По правой стороне шоссе до сих пор стоят кирпичные двухэтажные дома или почерневшие от времени одноэтажные деревянные домики.

В конце 20-х годов, когда приступали к реконструкции Москвы, может быть, впервые в истории великого города было с наивозможной точностью подсчитано, какое же именно досталось нам наследство от буржуазно-феодальной эпохи. Один академик архитектуры не без юмора рассказывал: множество московских стародворянских особняков, особенно ампирного стиля, числившихся каменными, на поверку оказались деревянными, трухлявыми, только искусно оштукатуренными. Оказалось также, что в Москве еще множество малоэтажных помещений, приспособленных для надобностей мелкого частного производства и ремесла, мелкой торговли. Крупные казенные здания, дворцы буржуазных воротил и дворянской знати возвышались, как отдельные матерые дубы среди мелколесья. Их окружали с разных сторон улочки, переулки, тупички и всюду низкие и просто низенькие домишки.

Помню, в начале реконструкции Москвы цифра этой средней высотности столицы поразила меня — всего полтора этажа!.. А что такое полтора этажа? Одноэтажный дом с мезонином, только и всего. Гигантская работа на десятки лет предстояла нескольким поколениям советских строителей, чтобы поднимать Москву ввысь. Эта работа имела не только специально архитектурное, а и самое жизненное содержание — в Москве не хватало жилья, и это было тяжелейшее наслед-

ство, оставленное нам прошлым. Да и до сих пор (в конце 50-х годов) оно еще ощущается: на Красной Пресне еще немало старых домов, где люди живут неудобно, скученно. В одной комнате иногда ютятся дедушка с бабушкой, их сыновья или дочери с детишками — три поколения. О жилищной нужде Красной Пресни до сих пор говорят на районных партийных конференциях, на совещаниях и собраниях. И каждый раз в таких случаях мне вспоминаются слова Александра Серафимовича о «больном вопросе» Красной Пресни, к которой он был «как к человеку привязан», отлично знал историю и население этой рабочей улицы и привык «душой болеть о ней».

— Пройдитесь,—говорил старый писатель,—по тихим московским переулкам, где сохранилось немало старинных особнячков и малоэтажных домов, опустите взгляды ваши вниз, на уровень уличного асфальта, или даже значительно ниже, в углубление, обложенное кирпичом,— и вы увидите непромываемо грязные окна подвалов и полуподвалов. Домовладельцы — те, кто строил эти домишки с полуподвальными квартирами,— старались выжимать деньги из каждого вершка своего частновладельческого участка. Это были самые дешевые квартиры, которые снимала городская беднота. Их было очень много — и до сих пор кое-где в старых домах они еще сохранились.

Как бы радовался Александр Серафимович теперь, когда невиданно бурно строится наша Москва! Постепенно сносятся старые обветшавшие дома. Вместе с ними безвозвратно исчезнут подвалы, полуподвалы, тесные неудобные квартиренки и все, что лишает людей многих простых и здоровых радостей культурного быта.

...Когда я сегодня прохожу по Звенигородскому шоссе, мне вспоминается весенний день в конце 20-х годов, задумчиво-оживленное лицо Александра Серафимовича, его короткие, но выразительные рассказы, связанные с Красной Пресней.

Хорошо помню тот день. Разговаривая, мы вышли на Звенигородское шоссе. Во двориках и в палисадниках хозяйки развешивали белье. Простыни и полотенца звучно хлестали на весеннем ветру. Ребятишки с криком шлепали по лужам, рыли канавки; собаки

вихрем носились за своими юными хозяевами. Около палисадника, где мы остановились, бойкий подросток, перекликаясь со стоящими внизу товарищами, прилаживал скворечню меж голых веток.

Жмурясь от солнца, Александр Серафимович некоторое время молча смотрел на эти обычные весенние картинки, а потом с мягкой усмешкой сказал:

— Чем-то деревню напоминает... Правда? А ведь здесь можно проложить прекрасную широкую улицу, обсадить ее липами и кленами... Да, да... здесь будет отличная улица... Много еще работы в Москве, но и до Красной Пресни и Звенигородского шоссе очередь дойдет,— повторил он, устремив взгляд, который бывает особенно зорок, когда человеку перевалило уже за половину седьмого десятка.

И вот теперь трассу Звенигородского шоссе я вижу на плане. Очередь дошла и до этой окраины Красной Пресни. На месте обветшавших домов, может быть почти вековой давности, здесь уже начали подниматься многоэтажные жилые корпуса. А потом здесь, конечно, появятся и деревья. Не их ли, эти зеленые навесы, видел в своем воображении большой советский писатель, когда задумчиво смотрел вдаль?

И я, признаюсь, тоже представляю себе, как, например, над Звенигородским шоссе зашелестят лапчатые листья кленов и как молодые липы, набрав цвет, будут медово благоухать.

В 1929 году театр МХАТ II заказал мне пьесу на сюжет моей повести «Двор». Дело было для меня неожиданное и новое. Хотя в театре меня уверяли, что в повести моей «все есть», работа моя над пьесой проходила напряженно, а порой и мучительно. Множество серьезных проблемных вопросов возникло передо мной, когда потребовалось повествовательный материал переливать в новую форму, для сцены. Особенно тревожил меня образ главного героя Степана Баюкова: в пьесе он, образно говоря, вылеплялся гораздо резче и острее, чем в повести. Пьеса уже стояла в производственном плане театра, нужно было поторапливаться, а мои сомнения и недовольство задерживали работу.

Однажды после заседания редколлегии я поделилась с Александром Серафимовичем своей заботой. Он сразу меня понял: да, да, посоветоваться с товарищами,

проверить свой замысел — очень важное и полезное дело.

— И знаете что? Я знаю, вы живете тесновато — так можно у меня собраться. Согласны?

Еще бы!.. В назначенный день, ближе к вечеру, я позвонила у знакомого подъезда. Мне почудилось, что лицо женщины, отворившей мне дверь, выразило удивление. Сняв пальто и посмотрев на часы, я ахнула про себя: еще с утра, волнуясь в ожидании обсуждения моей пьесы, я завела часы... на целый час вперед!

Подавленная тем, что меня так «угораздило», я, едва увидев Александра Серафимовича, начала извиняться перед ним за свое слишком поспешное появление. Он добродушно рассмеялся и сказал, что «авторская взволнованность» всегда вызывает в нем сочувствие и желание помочь, облегчить задачу.

— А этот час, право, не помешает, но будет даже полезен для дела... Вот увидите! — пообещал он, хитровато прищурив глаз.

Потом Александр Серафимович взял со стола сложенный вдвое и довольно плотно исписанный лист бумаги со своими замечаниями.

— На обсуждении, наверно, все товарищи захотят высказаться, и я, понятно, тоже выступлю. А сейчас я пока единственный оратор. Смогу более подробно и не торопясь высказать свои соображения. Только не будет ли вам скучно слушать?

— Что вы, Александр Серафимович! Я так счастлива и благодарна...

— Ну-с! — прервал он деловитым и ласковым голосом. — Приступим!

Потом я никак не могла себе простить, что не выпросила у Александра Серафимовича эти драгоценные для меня записи! Сколько раз я потом корила себя: ну, чего стеснялась, чего боялась? Ведь он бы преотлично понял, как бесконечно важно было молодому писателю навсегда оставить себе замечания большого мастера русской прозы.

Но позже я все-таки разобралась в своих тогдашних настроениях: я потому не посмела, что боялась в ответ на внимание и доверие ко мне с его стороны еще как бы в качестве литературного сувенира выпросить себе эти записи.

Вся обратившись в слух, я надеялась на крепкую память. Этот дружеский вечер, который сильно помог мне в работе, действительно долго помнился мне. Но... уж если камни и горы поддаются выветриванию, что говорить о нашей зыбкой памяти?

С чего именно начал Александр Серафимович, теперь уже не могу вспомнить, но каков был характер его критики, старшего, многоопытного мастера, это помнится. Сначала читал вслух реплику, а если находил ее удачной, повторял полностью, с серьезной и ободряющей улыбкой удовлетворения. При этом он часто дополнял свои замечания коротким и решительным движением руки, будто еще сильнее подчеркивая: вот этого и следует держаться. Но когда реплика ему не нравилась, он произносил недовольное «и да-а» или: «а вот тут, знаете, не дотянуто» — и сразу же кратко, но исчерпывающе конкретно доказывал, в чем именно эта недотянутость выразилась. Не забывал он отмечать и отдельные эпитеты, сравнения или несоответствие, например, смысловой тональности с речевой палитрой. Потом, как бы подводя итог, Александр Серафимович разъяснил, «в чем главная цель» его замечаний. Я тогда не знала, писал ли он пьесы, но об особенностях драматургии, видно, думал и говорил много раз.

— Драматургия — жанр исключительно емкий, стремительный. Наша советская драматургия особенно развивает в себе эти черты. Знаете, частенько, сидя в театре, я ловлю себя на мысли, что я не только зритель, но и наблюдатель. Очень интересно наблюдать, как от реплики к реплике обнажается пружина действия, как она разворачивается и вот, будто во всю длину, от конца до конца, даже как бы лентой, лежит перед вами (он плавными и точными движениями показал, как видоизменяется эта пружина) — все ясно, что к чему, кто с кем связан, кто от кого зависит... А потом наблюдаешь, как эта пружина действия начинает, напротив, сжиматься, как замыкается ее круг (он с силой, обеими руками обвел перед собой этот как бы даже зримо замыкающийся круг) — и дальше все, конец, точка!..

Потом он с совсем молодым увлечением заговорил о том, что нам, прозаикам, «есть чему поучиться у драматургии», и прежде всего — вот этой целеустремлен-

ности действия. Теперь ясно ли мне, что прежде всего в этом направлении он и развивал свои замечания?

Да, это мне было ясно, бесконечно интересно, однако ответа на главный, беспокоивший меня вопрос — о Степане Баюкове — я еще не получила. Александру Серафимовичу, по свойственной ему наблюдательности и чуткости, конечно, передавалось настроение собеседника.

Он усмехнулся с характерной своей мягкой и мудрой лукавинкой, которая мне, как и многим, очень нравилась и будто обнадеживала: знаю, понимаю, что вас волнует, но ведь не все сразу можно сказать.

Уж не помню, в связи с каким своим высказыванием Александр Серафимович наконец прямо перешел к волнующему меня вопросу.

— Вот вы беспокоитесь, не слишком ли резок и груб образ Степана Баюкова? Давайте разберемся в этом.

В качестве литературного примера Александр Серафимович вспомнил некоторые моменты своей работы над романом «Город в степи». Этот роман я читала еще в годы студенчества. Журнал «Современный мир», где в 1912 году был опубликован роман «Город в степи», пользовался немалой популярностью, особенно в среде оппозиционно настроенной демократической молодежи, так как там печатались произведения Максима Горького, В. Вересаева, Д. Бедного и других. Имя Александра Серафимовича, известное нам еще с самой ранней юности по горьковским сборникам «Знание», в годы реакции стало еще более известным и близким нам, молодежи, после опубликования романа «Город в степи». Первостепенно важно было, что на страницах популярного в свое время журнала «Русское богатство», редактором-издателем которого был В. Г. Короленко, появилась статья о романе «Город в степи». Эта статья главным образом и разъяснила художественное и общественное значение романа. Книжки журнала «Современный мир» за 1912 год и книжки журнала «Русское богатство» тогда, осенью 1913 года, когда я приехала в Петербург на Высшие женские курсы, передавались из рук в руки.

Помнился мне один из рефератов, экспромтом обсуждавшийся в нашей курсовой библиотеке, так назы-

ваемой «фундаменталке», посвященный этому роману.

Разговоры и споры на литературно-общественные и особенно злободневные темы среди курсисток вспыхивали постоянно и повсюду. Наши незрелые умы многого еще не могли тогда обобщить, но какие настроения, какую критику тогдашней действительности и какие призывы воплощали в себе произведения наших любимых и уважаемых писателей,— это мы понимали. Помнится мне, как, например, ненавистен был всем нам образ Захара Короедова, бывшего содержателя грязного трактира, потом крупного торговца, лесопромышленника, беспощадного в своей собственнической жадности и жажде накопительства. В образе Захарки Короедова мы видели звериный лик капиталистической собственности, в картинах полной безнаказанности его преступной наживы мы видели строй, который окружал нас.

Конечно, Александру Серафимовичу было отлично известно, как оценивали его роман В. Г. Короленко, А. М. Горький и все передовые люди русского общества тех лет. Но мне в тот зимний день 1929 года приятно было хотя бы кратко рассказать о своих мыслях и незабываемых впечатлениях, полученных много лет назад от его романа.

В ответ на этот мой краткий экскурс в прошлое Александр Серафимович раздумчиво, ласково улыбнулся и сказал, что вот сейчас мы как «товарищи, как представители двух поколений советской литературы» обратимся «к этому ненавистному Захарке Короедову»— уже для наших творческих целей. Александр Серафимович рассказал, как из непосредственных наблюдений и встреч родился у него образ Захарки Короедова, что прежде всего поражало художника в наблюдениях над подобными особами. Страшная, ненасытная жажда наживы, чтобы «намертво закрепить свою собственность», всячески расширять, раздувать эту собственность, «чтобы давить, давить ею всех неимущих». В «наращивании собственности» хищники-эксплуататоры видели «главную крепость жизни».

— Вот он, хищник, сбил себе одноэтажный дом, этакую каменную шкатулку,— и пошел наращивать этаж за этажом, а дальше второй и третий домина го-

товится. Дальше — больше, можно уже целый квартал отхватить под свою собственность, а там и в набережную сапог свой вонзить, можно и на реке подобно щуке разбойничать... можно и в лес свою лапу запустить, рубить его под корень... все, все было можно этой черной собственнической стихии!..

Александр Серафимович приостановился, шумно передохнул, обмахнул платком раскрасневшееся лицо и закончил все еще неровным от волнения голосом:

— Вы представляете себе, как я ненавидел эту страшную стихию!.. Великий Октябрь перерезал ей дорогу, но эта нечисть, как остатки заразы, то здесь, то там отравляет воздух... Мы будем бороться с этой подлой стихией, твердо, принципиально, непримиримо бороться! Будем разоблачать ее, преграждать ей путь к человеческой душе, например, таких в основе своей честных и революционных людей, как ваш Степан Баюков. А знаете...

Александр Серафимович, помедлив, усмехнулся и заговорил уже спокойнее. Он «не как-нибудь, просто к случаю» решил прочесть рукопись моей пьесы, а с осознанным интересом и пониманием: ведь и в скромных пределах крестьянского двора может разбушеваться темная собственническая стихия. Он считает, что пьеса идет по верному пути, и потому «резкого света бояться не следует». Он опять прочел вслух понравившиеся ему строки из разных мест пьесы, которые относились к Баюкову, и высказал мысль, которая запомнилась мне на всю жизнь неожиданным поворотом суждений:

«Жадные людишки, подобные Захарке Короедову, которые настолько «въелись» в собственническую мерзость, что давно потеряли всякую брезгливость к ней,— психологических мучений не знают. У них только одна забота: вырвать, схватить, проглотить. Натуры честные и сильные, не поддающиеся временным порывам собственничества, жадности и прочих чувств старого мира, страдают особенно мучительно. Вступая в противоречие с коренными основами своей натуры, «честной, доброй, сильной», они словно потрясены собой. Пусть бессознательно даже, но как они ужасаются жестокой перемене в собственном поведении, в характере, в чувствах.

Они потрясены собой и какое-то время беспомощны перед этим потрясением... И вот тут вступает уже современная тема... д-да!.. Девушка Липа воплощает ее в себе!.. Да, да, не бойтесь резких линий и красок — Баюков ваш задуман верно» [1].

Обсуждение моей пьесы «Двор» в тот вечер на квартире у Александра Серафимовича прошло прекрасно. Глубоко растроганная вниманием добрых и строгих товарищей моих, я возвращалась домой счастливая, обогащенная множеством новых, свежих мыслей.

«Да, это был один из счастливых вечеров этого года»,— думалось мне, и в воображении вновь и вновь появлялись дружеские лица, звучали голоса Александра Серафимовича, А. А. Фадеева и других товарищей. «В чем сила, красота и благородство искусства?» — думалось мне. Конечно, не в самом только творческом процессе осмысливания, поисков художественного выражения и, наконец, завершения,— нет, не только в этом. Искусство сильно и прекрасно еще и тем, что́ в нем есть всеобщего, всеохватывающего своим светом, объединяющего многие личности. Мне вспомнилось, как в ранней моей юности, читая вдохновенные статьи В. Г. Белинского, я задумывалась, как это выглядит в жизни — литература как всеобщее дело?

И вот я увидела и почувствовала, как это выглядит в жизни!

В последующие годы мне довелось несколько раз вместе с Александром Серафимовичем выступать на встречах с читателями и на читательских конференциях. Четверть века назад это общение писателей с читательскими массами являло собой не только широкий интерес к современной литературе. Это общение выражало также повсеместное развитие и углубление в народную жизнь процессов культурной революции. В начале 30-х годов на московских заводах и фабриках строились клубы, библиотеки — стационары и

[1] Об этом чрезвычайно для меня важном творческом разговоре с А. С. Серафимовичем, когда театр уже приступил к работе над пьесой, я рассказала А. И. Чебану, который играл Степана Баюкова. А. И. Чебан с большим интересом выслушал мое сообщение. Может быть, это уже было мной привнесенное впечатление, но мне часто казалось, что актер изображал на сцене «потрясенного собой» Степана Баюкова.

передвижки; открывалось множество курсов для разных заводских специальностей, филиалов институтов без отрыва от производства; на глазах у всех росла наша рабочая интеллигенция, любители музыки, литературы, театра.

Александр Серафимович на этих встречах чаще просто говорил, чем читал,— уже мешала слабость зрения. Читал он уже замедленно, по-стариковски, приближая книгу к глазам, зато беседовал непринужденно, доверительно-задумчиво, а взгляд его из-под седых нависших бровей в такие минуты казался сосредоточенно-сияющим, особенно если кто-то из слушателей обращался к нему с содержательным вопросом. Однажды в одном заводском клубе какой-то юноша задал вопрос: как становятся писателем, «сразу» или «постепенно»?

Кругом раздались смешки, но Александр Серафимович движением руки остановил их и сказал серьезным тоном, что, если даже кому бы и показалось, что он-де сразу стал писателем, это «был бы самообман». Ничто на свете не делается без подготовки. Условия жизни, характеры, знания и способности людей бесконечно разные, а значит, и подготовка, то есть развитие и формирование таланта, происходит у каждого по-своему, в свои сроки. Потом уже новые голоса спросили: а можно ли самому помогать таланту и что нужно делать для этого?

Александр Серафимович посмотрел в ту сторону внимательным взглядом старого деда, доброго, но и требовательного.

— Что надо делать? Прежде всего читать, много читать и думать.

Раздался новый голос откуда-то из уголка переполненного зала:

— Александр Сергеевич Пушкин тоже много читал?

— Очень много, всегда, всю жизнь. Его прекрасный гений всегда был воодушевлен огромными знаниями. Он, товарищи, был не только величайший писатель, но и великий читатель!

В зале на мгновение наступила тишина,— вдруг поднялась шумная волна рукоплесканий и разноголосые веселые вскрики полетели отовсюду: казалось, все

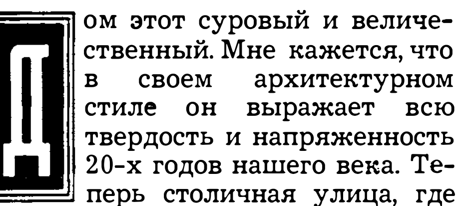
сначала изумились, а потом поняли и обрадовались каким-то неожиданным и значительным мыслям.

В другой раз (уже не помню, в студенческой или в заводской аудитории) Александр Серафимович рассказывал о Горьком. Алексея Максимовича уже не было в живых, и потому в рассказе старого писателя звучала печаль. Как зачинались сборники «Знание», как Горький собирал лучшие писательские силы русской литературы начала нашего столетия, как щедро и чутко заботился он о каждом авторе-знаньевце, как многогранна была его помощь и идейно-художественное влияние на писателей — обо всем этом Александр Серафимович рассказывал так задушевно, доходчиво и пластично, что, слушая его, я давала себе слово: обязательно записать сегодня же, как только приду домой... Но что-то помешало, и осталась далеко не совершенная «запись» воспоминаний. А сколько забывается — куда больше, чем помнится. Пока жив человек, которого мы любим и уважаем, все знаемое нами о нем представляется нам абсолютно защищенным от разрушительного действия так называемой дымки времени. А эта поэтическая дымка незаметно размывает и затемняет картины наших воспоминаний. Люди, которые заботятся, чтобы собрать эти воспоминания (как бы ни были они отрывочны и несовершенны), поступают правильно и стараются для будущих поколений. Как бы много теряли эти новые поколения нашего общества, если бы после минувшей эпохи остались им мертвые, белые поля безмолвия! Все созданное большим художником, верным сыном нашей советской Родины, продолжает свое бытие наравне с новыми поколениями, «как живой с живыми говоря»,— так ведь и создается история нашей родной литературы.

1959

Мария Ангарская

ДРУЖБА ОТЦОВ



Дом этот суровый и величественный. Мне кажется, что в своем архитектурном стиле он выражает всю твердость и напряженность 20-х годов нашего века. Теперь столичная улица, где стоит этот дом, носит имя А. С. Серафимовича. Тут прожил писатель последние годы своей жизни. Часто мне доводится бывать на этой улице, и каждый раз в моей памяти всплывает образ Александра Серафимовича. Ведь именно с ним связано столько хорошего давней поры моего детства. Это, прежде всего, рождественский праздник с таинственными, торжественными приготовлениями к нему! Со сказочным утром, когда в наш дом входила зеленая ветвистая красавица, пахнущая лесом, снегом. Сразу становилось весело, шумно, приходили мои трехлетние-четырехлетние сверстники. Все вместе, и взрослые и дети, начинали украшать елку разноцветными гирляндами, игрушками, орехами, хлопушками, потом вспыхивали свечи, и елка становилась волшебной! Прыгая вокруг нее, я ощущала такое безграничное счастье, которому, казалось, не будет конца.

Вот на эти рождественские праздники к нам обычно приезжал товарищ моего отца Александр Серафимович. Никто не мог придумать таких интересных игр, фантов, завести веселых хороводов, спеть песни, как Александр Серафимович. Причем он веселил не только нас, детей, но и сам радовался от души; искренне,

непосредственно. Лицо его сияло доброй улыбкой. Он так входил в роль Деда Мороза, что нас, детвору, было трудно от него оторвать. Александр Серафимович любил эти зимние праздники проводить в нашей семье.

Вот его письмо из Петербурга к моему отцу от *2/XII 1915 года.*

«Дорогой Николай Семенович!

Скоро святки, и я спешу напомнить о себе. Мне очень бы хотелось с недельку пожить в Москве, о чем я и раньше говорил Вам. Но прежде, чем окончательно решить, обращаюсь к Вам с запросом. Будете ли Вы в Москве на святках, между 24 и 31-ым декабря. Будете ли Вы вообще более или менее свободны и, наконец: смогу ли я, как и раньше, непосредственно катнуть к Вам, чтобы прямо с дороги выпить рюмку антоновки, если таковая еще у Вас осталась. И еще. Не сможете ли Вы заранее запастись билетами в Художественный театр или куда-либо, спектакля на три (но не на каждый день). Я думаю, что приезжать к Вам 24-го неудобно — предпраздничные хлопоты, а потому приеду 25-го. Жду от Вас скорого ответа, чтобы запастись железнодорожным билетом. Мой привет Лидии Осиповне.

Ваш А. Попов».

Отец мой, Николай Семенович Клестов-Ангарский, профессиональный революционер, один из активных участников трех революций. Редактор, издатель, литературный критик. В 1905 году за организацию восстания в Харькове был арестован и сослан в Туруханский край. Из пересыльной, омской тюрьмы ему удалось бежать.

Проживая на нелегальном положении в Москве под фамилией Масленникова, отец сумел организовать издание всех трех томов «Капитала» Маркса, в переводе известного большевика Скворцова-Степанова. Выпущено это произведение было Московским книгоиздательством, которым ведали представители парижских бумажных фабрик «Пализен» — купцы Блюменберги.

Несмотря на то что на «Капитал» был большой спрос, издание его затянулось на два года. Таким обра-

зом, надежды купцов на быстрый оборот их капитала не оправдались.

— А не можете ли вы, господин Масленников,— спросил Блюменберг моего отца,— организовать нам сборники вроде «Шиповника» или «Знания»? Мы хотим поместить капитал с нормальной прибылью.

Отец был несколько смущен таким предложением. У него в ту пору были связи и знакомства среди литераторов-марксистов, но в области издания художественной литературы он опыта еще не имел. Однако купцы настаивали.

— Пригласите к нам, если уж не можете Горького, то хотя бы Леонида Андреева.

— Но постойте, Густав Алексеевич, прежде чем обращаться к Леониду Андрееву, надо иметь представление, куда его приглашать? В сборники? Но ведь их еще нет, они даже не намечены. Затем, нужен редактор сборников,— старался объяснить отец.

— Зачем надо привлекать редактора? — недоумевали Блюменберги. — Разве редактор может исправлять сочинения Андреева или Горького? А привлекать авторов будете вы, как заведующий издательством.

Отец отправился к Леониду Андрееву, который принял его очень радушно и согласился дать рассказ в новый, только рождаемый сборник. Что касается редактора, то Леонид Николаевич предложил кандидатуру Бунина. Через несколько дней Леонид Андреев познакомил отца с Александром Серафимовичем. С первой же беседы у них возник внутренний контакт, взаимная симпатия. «Я, нелегальный,— вспоминал отец,— сразу почувствовал, что имею дело с человеком, близким по духу. Он был глубоко осведомлен о нашей работе большевиков, очень ею интересовался».

Идея создания новых сборников Серафимовичу понравилась. Он предложил свой небольшой рассказ «Дочь». А потом они все вместе долго совещались, как назвать эти сборники. Наконец остановились на названии, которое предложил Серафимович,— «Земля». Оно как нельзя лучше соответствовало направлению сборников, в которых было решено печатать только реалистические вещи. Отображение жизни отнюдь не должно быть вымышленным, декадентским, а лишь подлинным, земным!

Однако эти сборники недолго просуществовали. Отца вскоре арестовали и сослали на берега Ангары, где он и взял себе партийно-литературный псевдоним Ангарский.

В начале 1912 года, вернувшись из сибирской ссылки, отец вместе с В. Вересаевым организовал Товарищеское книгоиздательство писателей на паевых началах. Одним из первых вошел в это издательство Александр Серафимович. Здесь издавалось множество рассказов писателя, как отдельными книгами, так и в сборниках «Слово», которые были организованы при издательстве.

Привожу письмо Александра Серафимовича к моему отцу.

«2/VII 1913 года

Многоуважаемый Николай Семенович!

Посылаю посылкой еще 4 рассказа. Порядок такой: 1) Чибис, 2) По родным местам, а) Корень учения горек, б) Соседи, 3) Ночной дождь, 4) Паровоз № 314 Б, 5) Морской кот, 6) Любовь, 7) Холодная равнина, 8) Страшная ночь, 9) В мышином царстве.

В августовской книжке «Русского богатства» выйдет мой рассказ «Со зверями». Может, он поспеет в V том? Напишите, когда Вы приступите к печатанию? Мне бы хотелось пустить этот рассказ. Жму руку.

Ваш Алек. Попов».

Позволю себе привести еще одно письмо Александра Серафимовича.

«29/V 16 г. Геленджик, шоссе, дача Задык.

Дорогой Николай Семенович!

Видно, много мук Вы и Лидия Осиповна пережили с ребятишками, если мы с Толькой, уже, слава Богу, пожившие на свете, столько хлебнули.

В дороге тесно, душно, грязь. Из вагона выйти нельзя, сейчас же займут место. От Новороссийска до Геленджика душу на арбе вытрясли. Наконец, в Геленджике нашли самую отвратительную комнату и заплатили за нее несоразмерную цену. И все оттого,

что век живи, век учись, и непременно окажешься в дураках. Господи, как я понимаю Чехова. Он говорил: как чудесно летом лениться, ничего не делать, быть под солнцем, лежать на песке. А тут и песок, и солнце, а вместо этого надо сидеть и выдумывать. Работаю над рассказом, если вытанцуется, дам Вам в сборник. Но ведь над ним можно работать только в спокойном состоянии, а мои ресурсы подходят к концу. Через две недели не знаю, что буду делать, дороговизна бешеная. Да, Вы, дорогой Николай Семенович, не выкатывайте на меня с изумлением глаза. Ведь я всего-навсего взял в издательстве 400 рублей. И, как видите! Николай Семенович, милый, нельзя ли мне взять под розницу «Современного мира». Там у меня свыше 1,5 листов, стало быть 300 рублей. Голубчик, устройте, пожалуйста, а то мы с Толькой сдохнем с голоду. А он мальчишечка славный, да и я ничего себе. Загудел норд-ост, сухой, горячий. Я рад. Малярия, что ли, у меня? Всего корчит. Как искупаюсь, так мять начинает, сонливость, т-ра слегка подымается. Ну, я думаю все-таки ее перекупать, подлую, чуть поправлюсь, опять лезу в море. Корректуру отослал, а мне что-то новую не шлют.

Ну, будьте здоровы, отдыхайте, спеките в Коктебеле на солнце всю поганую, московскую накипь, от которой одурь берет, и приезжайте в Москву молодцом! Здоровым и веселым. Передайте привет Лидии Осиповне, как ребятишки? Привет им. Как Тренев, работает ли? Кланяйтесь ему. Крепко жму руку. Ваш Алек. Попов».

...В 1919 году отец редактировал журнал «Творчество», где печатались рассказы Серафимовича. В них писатель сумел показать, как меняется внутренний мир простого люда. Как в процессе жесточайшей борьбы на фронтах, невероятных потерь, лишений он расправляет плечи, из забитого, униженного становится свободным, сознательным человеком, преданным советской власти.

После журнала «Творчество» в 1923 году отец организовал издательство «Недра», стал его главным редактором и директором. В «Недрах» кроме книг выходили альманахи под тем же названием.

В это время Александр Серафимович заканчивал свою работу над «Железным потоком». Он часто

приходил к нам домой, почитать отдельные главы романа. Отец всегда ждал писателя с большим нетерпеньем, ибо с самого начала понял огромную силу и значительность этого произведения. У отца с Александром Серафимовичем были свои любимые шутки, выражения. Так, например, отец, встречая в передней дорогого гостя, спрашивал: «Ну, что вы скажете в свое оправдание, почему так долго не были?» Александр Серафимович улыбался и отвечал: «Вот тут-то, батюшка мой, она ему и сказала...»

Отец понимал, что все не так просто, что такая сложная вещь дается очень трудно и писатель, требовательный к себе, переписывает ее много раз! Потом Александр Серафимович и отец закрывались в кабинете, откуда доносились приглушенное чтение и реплики отца. «Ну и порадовали вы меня, вот эта вещá так вещá! Скажу вам по секрету, вы всех братьев писателей переплюнули. Очень хорош Кожух!» Но Александр Серафимович был самокритичен, он сомневался, не слишком ли лаконично выписан его герой, мало показан в быту. Ему хотелось дать образ Кожуха шире, полнее. Отец убеждал, что в данном случае не надо распыляться, доказывал, что Кожух хорош — как вожак масс. Отец считал, что преимущество вещи в ее целенаправленности, в ее постепенном развитии. Главная сила произведения в ярком показе перерождения темных масс в революционную армию.

Помню, как после одной из таких читок отец с Александром Серафимовичем перешли из кабинета в столовую пить чай. Обычно у нас на стол подавался самовар. Мать была на работе, а я, уже школьница, разливала чай. Александр Серафимович пристально смотрел, как я это делаю. Я покраснела, решив, что в чем-то оплошала. И вдруг Александр Серафимович, лукаво подмигнув, сказал: «Подари мне этот самовар!» Окончательно смутившись, я посмотрела на отца. Заметив мое полное недоумение, Александр Серафимович расхохотался. А потом сказал: «Знаешь, ваш самовар может в моем «Потоке» сыграть свою роль. Я его отдам в приданое своей Горпине». Тут же писатель взял листок бумаги и сделал какие-то пометки, а потом выправил все то, что относилось к его героине — бабе Горпине. Писатель показал через этот самовар, как

изменилось ее сознание. Помните, ведь в начале похода баба Горпина, забитая, ничего не понимающая, что происходит, больше всего жалела свой самовар, который достался ей по наследству. В конце же романа, где автор соединяет своих измученных людей с Красной Армией, Горпина кричит народу с трибуны: «Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна...» Вот так наш старый самовар, вместо металлолома, попал в «Железный поток».

В конце 1923 или в самом начале 1924 года Александр Серафимович закончил свой роман. Было решено прочесть его на редколлегии «Недр», которые часто проходили у нас дома. Так было и на этот раз. Отец был очень возбужден, он заранее готовился к этому вечеру, оповещал писателей, сообщал им, что будет прочитано выдающееся произведение. Собралось довольно много народу. Мне запомнились из присутствующих Тренев, Вересаев, Гладков, Никандров, Яковлев, Герасимов и другие. Довелось и мне быть на этом прочтении. Александр Серафимович читал с небольшими перерывами около четырех часов. Слушали с неослабевающим вниманием, а потом дружно аплодировали автору. Вересаев был человеком очень строгим, принципиальным и даже несколько педантичным, но тут он сказал:

— Александр Серафимович, поздравляю от всего сердца. Вам удалось написать такую вещь, что просто не придерешься. Вы сумели так художественно и так правдиво показать этот людской «поток», что его просто видишь.

Хвалили произведение почти все присутствующие. Были лишь отдельные, незначительные замечания. Запомнились мне и слова отца. Он сказал:

— В этом произведении виден не только талантливый художник, но и писатель-коммунист, преданный своему народу, хорошо знающий его психологию, верящий в его могущество, в его будущее. Скажу прямо, до сих пор у нас никто не показал, как формировалось, менялось мировоззрение крестьянства в революции. Серафимович — первый!

Тут же было решено давать «Железный поток» в ближайший номер «Недр».

В столовой уже ждал праздничный ужин, какой только было возможно сервировать по тем трудным временам, но бутылки с шампанским стояли на столе. Все выпили за успех Серафимовича, за рождение талантливого произведения, которому сулили долгую жизнь! Друг нашей семьи, знаменитая певица Валерия Владимировна Барсова, спела любимые песни Серафимовича. Запомнились: «Вот мчится тройка удалая», «Есть на Волге утес». Потом откуда-то появилась гитара. Все упросили Александра Серафимовича самого сыграть и спеть под гитару. Пел он русские песни с каким-то особым вдохновением. Пел он и в дуэте с Барсовой. А затем снова разговор вернулся к «Железному потоку». К литературе современной и будущей. Уже утренняя заря заглянула в окно, когда стали расходиться. Прощаясь, Александр Серафимович обратился к отцу: «Ну как, Николай Семенович, сегодня я, кажется, все сказал в свое оправдание!»—«Да уж оправдались, не придерешься! — вторил шутливому тону отец. А потом обнял за плечи друга и сказал: — Дорогой Александр Серафимович, ваш «Поток» будет жить всегда, он бессмертен!»

1976

Григорий Санников

БОЛЬШАЯ ДУША

Мое первое знакомство с Александром Серафимовичем Серафимовичем состоялось, так сказать, заочно, когда я был еще подростком, жил в глухом уездном городке и читал его рассказы в сборниках «Знание». Вот с тех пор запомнился и полюбился мне Серафимович.

В годы революции, находясь уже в Москве, я часто, начиная с февральских дней 1917 года, встречал в газетах имя Серафимовича и, читая его и о нем, искренне радовался, что он с нами, на стороне революции, большой писатель и вдохновенный борец за Советскую власть.

Вот почему, когда весной 1918 года я прочитал сообщение в газетах о выходе литературно-художественного журнала «Творчество» под редакцией Серафимовича, решил послать в этот журнал свои стихи. Отправил стихи по почте. Волнуюсь, жду. В очередном номере стихов не нашел. Огорчился. Но следующий выпуск был для меня праздником. Стихи напечатали. Первые стихи в журнале. Это меня ободрило, и, когда при московском Пролеткульте осенью 1918 года открылась Литературная студия для начинающих рабочих поэтов, я записался в студию. Позднее, уже в студии, подружившись с Василием Казиным, узнал от него, что и его первые стихи также были напечатаны Серафимовичем в том же 1918 году в журнале «Творчество».

Мои первые встречи с Александром Серафимовичем состоялись в начале 1921 года, когда он был назначен заведующим Литературным отделом (Лито) Наркомпроса. Надо сказать (об этом мало кто помнит), что создание Литературного отдела Наркомпроса относится к концу 1919 — началу 1920 года и его первым заведующим был нарком Луначарский.

По инициативе А. В. Луначарского в феврале 1920 года был создан подотдел пролетарской литературы, сотрудниками которого стала группа поэтов, порвавшая с Пролеткультом и начавшая, при поддержке Луначарского, издавать журнал «Кузница». После Луначарского в том же 1920 году некоторое время Лито возглавлял В. Я. Брюсов, который делал все, чтобы появились Литературные курсы, а затем создал Высший литературно-художественный институт.

С 1921 года заведование Лито было поручено Серафимовичу. Его первым делом было знакомство со всеми нами — сотрудниками Литературного отдела. Каждого он приглашал к себе в комнату и беседовал. Меня он встретил, приветливо улыбаясь (так, по-видимому, встречал каждого), протянул руку, крепко пожал мою и, обращаясь, как к старому знакомому, осведомился: «Ну, батенька, рассказывайте, как живете?» Он был пожилым человеком, уже поседевшим (лет под 60), в лице доброта и мягкость, глаза, несколько утомленные или чуть печальные, светились радушием. Его слова и в особенности тон, с которым он их произносил, создавали атмосферу простоты и сердечности. Не помню точно, о чем еще спрашивал меня Александр Серафимович,— по-видимому, осведомлялся: «Что пишете?», «Чем занимались раньше?» и т. п. «Ну вот и хорошо, будем вместе работать»,— заканчивал он беседу и снова приветливо, как давнему знакомому, жал руку. Через несколько дней я узнал, что Казина и меня, самых молодых из всей нашей «Кузницы», Александр Серафимович избрал к себе в Центральную литературную коллегию, а на меня возложил обязанности его заместителя по Лито Наркомпроса.

Так что-то около года работали мы вместе, пока по партийной мобилизации меня снова не забрали в Красную Армию. Много в Лито поступало рукопи-

сей на объявленный конкурс рассказа о революционных событиях. Обсуждали рукописи на Центральной литературной коллегии, одобренные направляли в Госиздат. Горячее участие в деятельности коллегии принимал Иван Михайлович Касаткин, к которому Александр Серафимович относился с большой симпатией и литературному вкусу которого очень доверял. Особенное внимание Серафимович уделял писателям из народа и пишущим о народе. Проводил длительные беседы с авторами, радел душой о молодых, отечески напутствовал.

Из литературных группировок 20-х годов Серафимович больше всего был расположен к «Кузнице». Внимательно относился к творчеству прозаиков «Кузницы», к работе Федора Гладкова, Александра Неверова, Новикова-Прибоя, Николая Ляшко, Владимира Бахметьева и других, с некоторыми «кузнецами» дружил, поддерживал выдвинутый в то время «Кузницей» метод революционного реализма. После опубликования «Железного потока», с 1924 года примкнул к «Кузнице», принимал участие в «Рабочем журнале», органе «Кузницы», и в составе этой группы в 1925 году вступил в РАПП. В РАППе многое не нравилось Серафимовичу, и он не раз упрекал руководящих товарищей за организационную суету, напоминая, что основным писательским делом является создание книг.

Из многочисленных встреч с Александром Серафимовичем хочется мне выделить встречу, связанную с поездкой на маневры Московского военного округа. Это было в лето 1936 года. Для участия в маневрах в качестве наблюдателей или, вернее сказать, военных корреспондентов президиумом Союза писателей была выделена группа в составе Серафимовича, Новикова-Прибоя, Всеволода Вишневского, Александра Исбаха, Павла Низового и меня. Серафимовичу было уже тогда за 70 лет. Но он молодо и энергично, по-корреспондентски разъезжал с нами по местам «боев», принимал участие «в обороне» и «в наступлении». Он был среди нас как бы нашим «генералом», Новиков-Прибой и Вишневский — его «полковниками», а Исбах — «начальником штаба». Запомнился мне такой эпизод: во время одного большого «сражения»

выехали мы на опушку леса, кругом стрельба, разумеется «холостыми» патронами. Смотрим: в стороне от нас церквушка с кладбищем, а у столба церковной ограды командир с биноклем в руках. Кому-то что-то кричит, командует,— должно быть, управляет «боем». Мы, оказавшись под перекрестным огнем, решили сделать перебежку к этому командиру, чтобы узнать: что к чему — кто «наступает», кто «обороняется», подбегаем и пытаемся укрыться за столбом возле него. «Куда вы? — кричит командир. — Что вам здесь нужно? Вы мертвые все!» — «Мертвые?» — опешив, переспрашивает Серафимович и тут же вполне серьезно добавляет: «Вот мы сами и прибежали на кладбище». — «Ну шут с вами,— говорит командир, улыбаясь,— стойте тут и не бегайте!»

Хочется сказать и о последней встрече с Александром Серафимовичем. Это было уже после Великой Отечественной войны. В 1948 году справляли мы в Центральном Доме литераторов 85-летие Серафимовича. Чествовали его, а затем за праздничным столом выпивали за его здоровье. Он плохо слышал, но всех узнавал; светлея лицом, улыбался старым знакомым. Рукопожатие его было по-прежнему крепким. Каждого выступавшего с приветствием или тостом награждал своими ласковыми словами: «спасибо, батенька», — словами, за которыми скрывалась большая душа большого писателя-человеколюбца.

1968

Александр Исбах

СТАРШОЙ

(Листки воспоминаний)

мя Александра Серафимовича Серафимовича мы, пресненские комсомольцы, впервые услыхали в связи с рассказами о его сыне Анатолии. Мы еще очень мало знали историю русской литературы. Но имя Толи Попова было овеяно славой в московской комсомольской организации. Он был участником Октябрьской революции в Москве, вожаком первых пресненских молодежных организаций. Комсомол послал его на фронт, и он героически погиб, защищая советскую власть.

Его отцу, писателю-коммунисту Серафимовичу, сам Ленин написал очень теплое, дружеское письмо, в котором, сожалея о гибели Анатолия, просил писателя не предаваться тяжелому настроению, говорил о том, как нужны всему рабочему классу его работа, его творчество.

Это письмо побудило нас принять на комсомольском бюро решение ознакомиться с творчеством писателя, которого так высоко оценил Ленин.

Мы коллективно прочитали рассказы «На льдине», «На Пресне», начали читать роман «Город в степи».

Рассказы понравились нам. Некоторые из нас пробовали сами писать стихи, очерки, рассказы. При газете «Рабочая Москва» создали мы рабкоровскую литературную группу «Рабочая весна» и мечтали пригласить Александра

Серафимовича руководить этой литературной группой. А вскоре при новом журнале «Молодая гвардия» было организовано объединение комсомольских писателей «Молодая гвардия». Входили в него тогда только начинающие писать Николай Богданов, Марк Колосов, Яков Шведов, Александр Жаров, Иван Молчанов, Георгий Шубин, Михаил Шолохов, Лазарь Лагин, Михаил Светлов, Валерия Герасимова, Борис Горбатов, Михаил Голодный, Александр Ясный, Илья Френкель, Иван Рахилло. Самым старшим среди нас был уже прославленный в комсомоле поэт Александр Безыменский.

...И вот однажды мы нагрянули на квартиру Серафимовича. А жил он на Пресне, недалеко от знаменитой фабрики Шмита, в самом центре старого рабочего района, района первых баррикад, описанных им в рассказе «На Пресне».

Большой Трехгорный переулок, дом 5. Маленький старенький домик во дворе... Мы вломились сюда весенним днем 1923 года, вломились незваными гостями и с того дня, обласканные гостеприимным хозяином, протоптали постоянную стежку-дорожку к дому нашего «старшого».

II

Сколько вечеров провели мы в этой маленькой, теплой, уютной квартире! Садились вокруг большого стола, под яркой лампой. На столе шумел самовар. Дмитрий Фурманов читал здесь главы из «Мятежа». Потом, позже, совсем юный гость из Донбасса Борис Горбатов читал стихи и первые зарисовки комсомольской жизни. Рабочий паренек с завода Гужон («Серп и молот») Яша Шведов застенчиво знакомил нас с главами из повести «На мартенах».

Потом, еще позже, Михаил Шолохов рассказывал земляку о своих творческих планах.

Читали стихи, рассказы, отрывки из «незаконченных» (многие так незаконченными и остались) повестей и даже романов, с жаром спорили. Начинались бесконечные литературные беседы. А старый, мудрый, добрый Александр Серафимович подводил итоги нашим спорам, рассказывал о Ленине и его старшем брате Александре, о боях на Пресне, о литературных

событиях 1905 года, делился воспоминаниями о Горьком, Короленко, Скитальце, Глебе Успенском, Леониде Андрееве. И в каждом слове Александра Серафимовича раскрывалась перед нами большая литературная жизнь, к самому началу которой подходили и мы, совершая свои первые шаги в литературе.

Здесь, в этой комнате на Пресне, читали свои произведения Юрий Либединский и Анна Караваева. Здесь обсуждалась первая книга Марка Колосова «Тринадцать», первый роман Михаила Платошкина «В дороге». Здесь часами спорили и о первом томе «Брусков», и о первых главах «Тихого Дона», и позже о книге Василия Ильенкова «Ведущая ось».

Александр Серафимович умел создать дружескую, товарищескую обстановку. Он любил молодежь. Любил и пошутить и посмеяться каждой нашей шутке и острому словцу. Лукаво прищурив глаз, он встречал каждого нового гостя, «церемонно» представлял своей жене Фекле Родионовне, приглашал к столу и начинал «допрашивать»:

— Ну, молодой человек, вижу, по глазам вижу, что сочинили вы что-то необычайное. Не секретничайте, батенька, не секретничайте... Что нового видели, что нового написали?

Он всегда внимательно выслушивал все, что рассказывали писатели-«молодогвардейцы» о жизни, о мыслях, думах и чаяниях молодого поколения. Он никогда не льстил молодым писателям. Его критика была творческой, она помогала жить и работать.

Сильно сердился Александр Серафимович, когда кто-нибудь из «молодых» брался описывать среду, незнакомую ему. А в первые годы революции иные рабкоры сочиняли «завлекательные» рассказы из жизни аристократии.

— Ну и откуда это у вас берется,— говорил Серафимович,— все это липа... Выдумка. Вокруг вас такая богатая, интересная жизнь... А вас... к «графьям» и «князьям» потянуло.

С огромным интересом относился он ко всякой новой рукописи о жизни рабочих: «Вот о чем писать надо... Вот что главное...» Поэтому так привлекали его рассказы Якова Шведова, роман Ильенкова «Ведущая ось».

Скажет свое слово, медленно, с расстановкой, опять прищурит глаз и спросит с этакой добродушной ехидцей:

— Ну, батенька, что вы скажете в свое оправдание?

Особенно близок Серафимовичу был Фурманов (так же полюбил он потом молодого Шолохова). В период работы над «Чапаевым» Дмитрий Андреевич еще не был знаком с Серафимовичем. Но, трудясь над «Мятежом», он не раз приходил в уютную квартиру на Пресне и читал отдельные главы. У них было много общих тем для разговоров. Ведь герой «Железного потока» Кожух (Епифан Ковтюх) был соратником Фурманова по знаменитому десанту в тыл Улагая.

Серафимович часто просил Фурманова подробнее рассказать о Ковтюхе, внимательно слушал Дмитрия Андреевича, и в чуть прищуренных глазах его то и дело вспыхивала острая лукавинка.

Мы, молодые, боялись проронить слово — так все это было захватывающе интересно. Вместе с Серафимовичем переносились мы на баррикады Пресни, вместе с Фурмановым и Ковтюхом по грудь в холодной воде переходили кубанские плавни.

Фурманов (он писал потом об этом в своих дневниках) раскрывал перед Серафимовичем всю свою душу, советовался с ним о творческих замыслах и планах.

— ...Материалу у меня,— рассказывал он,— эх, и материалу! Кажется, так вот сел бы — полвека прописал. Да и хватило бы. Я все записываю — все, что случится по пути интересного. И материалу скопилось. Теперь только вот и распределяю: это туда, это сюда, это тому в зубы дать, это этому. Надо уметь все оформить, организовать.

А Александр Серафимович оглаживал свою лысину, поправлял неизменный отложной белый воротничок, покачивал головой и приговаривал:

— Да, вам вот, молодежи, вольно думать о всяких планах, а мне куда уж — годы вышли, да и сил не хватает. — И вдруг, хлопнув Фурманова по плечу: — Я вот, старый дурак, ничего не записывал — все заново приходится теперь собирать. Все некогда казалось, да лень одна, а теперь куда уж...

Фурманов рассказывал о своих дневниках, а Серафимович жадно вслушивался и опять покряхтывал:

— Кабы не поясница моя, кабы не сердце... Уж этот мне атеросклероз... Надо будет этим летом легкие подправить.

Но мы понимаем, что старик хитрит. Понимал это прекрасно и Фурманов, записывая после таких бесед в свой дневник: «Выходило, места нет у него здорового. А все вот шумит, все вот волнуется, все в заботах: толчется в очередях у станционных касс; нюхает по вокзалам, на постоялых дворах, у фабричных ворот, на окраинах; бывает, и к себе зазывает рабочего, за бутылку пива усаживает, слушает, что тот ему говорит, а потом записывает...»

Мы, конечно, все наперебой старались убедить нашего старшого, что ему еще жить и жить. По крайней мере лет до ста. Но, признаться, никто из нас и думать тогда не мог, что Александр Серафимович переживет Фурманова на целую четверть века, что в восемьдесят лет этот несгибаемый старик будет трястись на грузовике по военным дорогам, по пути на фронт знаменитой Орловско-Курской дуги.

...«Мятеж» Фурманова очень понравился Серафимовичу с первой же читки.

— Это кусок революционной борьбы,— говорил он,— подлинный кусок, с мясом, с кровью, рассказанный просто, искренне, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно.

Особенно привлекала старого революционера Серафимовича идейная глубина, постоянная партийная направленность Фурманова.

Он написал к «Мятежу» предисловие, в котором, анализируя показанную Фурмановым обстановку в Семиречье, говорил:

«И всюду партия, наша РКП, проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих, незыблемых коммунистических положений,— и этим победила...»

Однако Александр Серафимович сделал Фурманову много критических замечаний, которые Дмитрий Андреевич принял с благодарностью.

Ранняя смерть Фурманова очень опечалила Александра Серафимовича. Обычно сдержанный в выражениях своих чувств, он сказал нам в минуту особой откровенности, что ему кажется, будто второй раз он теряет сына своего, Анатолия. Он напечатал в «Правде» статью, в которой рассказал сдержанно и страстно о своей любви к Фурманову, обо всем, что их роднило.

«Что нужно от большевика? Чтобы он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом.

Таким был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же: революционный борец, революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий...

...Я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты,— я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это — художник, художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих...»

...И как наказ ушедшего от нас Фурманова, как наказ нашего старшого, нашего вожака — к жизни, к борьбе, к творчеству звали нас последние слова некролога:

«...И он ушел. Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее трепещущую,— только в этом спасение художника!»

Это была наша программа. Эти слова мы начертали на творческих знаменах, в борьбе «со всяческою мертвечиной».

Этому учил нас весь многолетний творческий подвиг нашего правофлангового. Наше отношение к Александру Серафимовичу тогда уже прекрасно выразил сам Фурманов:

«Серафимович свою долгую жизнь — оттуда, из царского подполья, до наших победных дней, в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда, ни единого разу не сошел с боевого пути, никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе...»

Глубже познавать жизнь учил он нас всегда. Познавать ее во всей сложности, во всех противоречиях, во всех деталях.

Однажды он рассказал нам о том, как был в гостях у Ленина в Кремле, как пил с ним чай...

— И между прочим, из самовара,— хитро усмехнулся Александр Серафимович,— старенького, помятого самовара.

Ленин очень интересовался жизнью рабочих Лосиноостровского арсенала, о котором ему рассказывал гость. Расспрашивал об их заработке, работе, школах, досуге, настойчиво выуживал каждую мелочь и заразительно смеялся всяким смешным деталям. А потом задушевно и любовно говорил о великом будущем рабочего класса.

— Уметь по-ленински верить в мечту и по-ленински превращать мечту в действительность. Об этом я думаю всегда,— очень просто и доверительно сказал Александр Серафимович. — А вы?.. — И тут же тихо засмеялся, как бы разряжая напряженность минуты... А вы? Что вы скажете в свое оправдание?

Однажды мы нашли старика необычайно взволнованным.

— А знаете ли вы, хлопцы,— спросил он,— что Анри Барбюс вступил в коммунистическую партию?.. — Да вы, может быть, толком не знаете, кто такой Анри Барбюс? Наверно, не знаете...

И он рассказал нам о замечательном французском писателе, о его книге «Огонь», о его борьбе с реакцией.

— Я вот тоже не видел его никогда, а люблю, как брата. Вот и письмо ему послал, приветствую его вступление в партию. В нашем полку прибыло...

Когда кто-нибудь из нас возвращался из очередной поездки по стране, он долго с пристрастием допраши-

вал нас. Горбатова — о жизни Донбасса, меня — о делах Коломенского завода.

А потом, читая рукопись моего романа «Крушение», делал сердитые замечания на полях и говорил мне:

— А вот о старике Байкове вы рассказывали интереснее. А тут сфальшивили, надумали, приукрасили, батенька... А, сознайтесь, приукрасили?.. Ну, что вы скажете в свое оправдание?

О своей вере в молодую литературу он как-то хорошо и любовно написал в «Правде» в статье «Откуда повелись советские писатели».

«Разве читатели не повернули головы к «Разгрому» Фадеева? Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана, и засветилась степь? И разве за ними шеренгой не идут другие? И ведь это все комсомол, либо только что вышедшие из комсомола...»

Настоящим праздником был для нас вечер, когда Александр Серафимович прочел нам главы из «Железного потока». Особенно блестел ярко начищенный самовар, и стол был уставлен всякой снедью. Фекла Родионовна даже испекла замечательные пироги.

Вокруг стола сидели писатели старшего поколения: Федор Гладков, Александр Неверов, Алексей Силыч Новиков-Прибой... Мы, юнцы, скромно отступили на второй план. Белый отложной воротничок Александра Серафимовича был ослепителен.

Фекла Родионовна потчевала вином и пирогами.

Александр Серафимович, как всегда, хитро подмигнул нам, прищурил глаз:

— Я, братцы, хитрый... Вот подпою вас, хлопцы, чтобы подобрее были. А потом критикуйте...

Читал он хорошо, неторопливо, с выражением.

Чтение продолжалось до полуночи. И как же мы были горды за нашего старика, достигшего своей творческой вершины.

Старшие что-то говорили Серафимовичу, но мы, молодые, только пожали ему руку и выскользнули в ночь, во тьму Трехгорных переулков, взволнованные и переполненные картинами и образами народной эпопеи. Наши мысли и чувства лучше всего вы-

разил впоследствии Фурманов, написавший немедленно после выхода романа статью об этой «величественной эпопее», «образце непревзойденного мастерства».

III

В начале 20-х годов молодые пролетарские писатели, группирующиеся вокруг журналов «Октябрь» и «Молодая гвардия», вели ожесточенную борьбу с группой А. К. Воронского, возглавлявшего журнал «Красная новь» и скептически относившегося к творчеству Дмитрия Фурманова и других пролетарских писателей.

Происходили жаркие бои и на страницах печати и в клубных залах. Среди противников наших были солидные, имеющие большой опыт литераторы. А мы были совсем юны и по части теоретической весьма малоопытны. Зато отваги и комсомольского задора было у нас хоть отбавляй.

Из старых заслуженных деятелей литературы нас поддерживали А. С. Серафимович, М. С. Ольминский, П. Н. Лепешинский, Б. М. Волин.

Основные дискуссии происходили в Доме печати. Александр Серафимович восседал в президиуме среди комсомольцев, как патриарх. И часто, выступая с резкой задиристой речью, мы оглядывались на него, замечали его ободряющую улыбку, лукавый прищуренный глаз и снова, уже увереннее, бросались в бой.

Он был уже редактором журнала «Октябрь» и председателем Московской ассоциации пролетарских писателей. В 20-х годах в президиум МАППа входили Серафимович (председатель), Фадеев (заместитель председателя) и я (ответственный секретарь). Все текущие дела решали мы сами, с Фадеевым, чтобы понапрасну не беспокоить старика. Но как только намечалось какое-нибудь важное, принципиальное дело, без старшого мы не обходились.

Он присутствовал на всех мапповских творческих вечерах. Любил забраться куда-нибудь в угол, на диван, сидел, полузакрыв глаза. Иногда казалось, что он слушал, и слушал внимательно.

С какой-то страстной пытливостью «допрашивал» он каждого нового автора, приходившего из рабочих литературных кружков.

Мы издавали сборники литкружковцев «На подъеме». Здесь впервые напечатали свою повесть Яков Шведов («На мартенах»), свои рассказы К. Минаев, Н. Клязьминский, М. Платошкин, М. Эгарт, И. Семенцов, свои стихи С. Швецов, В. Гусев, Д. Самойлов, А. Тарасенков.

Серафимович формально не входил в редколлегию сборников, но почти все произведения предварительно читал и давал авторам советы.

Помню, как у него на квартире обсуждали мы предисловие Фадеева к третьему сборнику «На подъеме». Фадеев полемизировал с неправильными теориями редактора «Нового Лефа» Б. Кушнера, отстаивавшего принцип «молниеносности» творчества, скорости писания.

«Тенденция долго и кропотливо работать над литературными произведениями у авторов, принадлежащих к эксплуатирующим классам,— утверждал сей вульгаризатор,— часто являлась следствием барства, нежелания утомлять себя и взгляда на литературу, как на благородный спорт».

Александр Серафимович был не на шутку рассержен статьей Кушнера. Он посоветовал Фадееву в ответ горе-теоретику привести требование рабочих завода им. Калинина.

В те дни рабочие завода им. Калинина обратились к пролетарским писателям с призывом разносторонне осветить борьбу на фронте социалистического строительства, все стороны рабочей жизни и быта. Они требовали создания литературы, «содействующей социалистической переделке человека».

«Многие пролетарские писатели не связаны тесно с нашей борьбой и жизнью,— писали они.— От этого в некоторых произведениях рабочие изображаются либо как ходульные герои, либо как безликая масса, где нет живых людей, а какие-то придатки к машине,— в таких произведениях мы не узнаем себя».

— Вот,— говорил Александр Серафимович,— вот вам, батенька, прекрасная основа для статьи. Ближе

к жизни... Ближе и глубже... А? Что вы скажете в свое оправдание?

Именно в таком плане и было написано Фадеевым предисловие к сборнику «На подъеме», требующее от рабочих писателей не «скороспелок», а серьезных книг, зовущее идти по линии наибольшего сопротивления.

Предисловие мы утвердили единогласно.

— То-то же,— сказал Александр Серафимович, точно подводя итог споров с невидимым противником.

Очень увлекали Александра Серафимовича работа в журнале «Октябрь», воспитание молодых писателей.

Он входил во все детали работы, написал как-то даже сопроводительное письмо к проспекту журнала — о необходимости широкого распространения журнала в рабочих библиотеках и крестьянских избах-читальнях, выступал на многочисленных читательских конференциях.

Когда он выходил на сцену во главе молодых членов редколлегии, он был похож на заботливого отца, выводящего в свет своих сыновей, на старого воина, ведущего в бой своих молодых питомцев и соратников.

— Серафимович своих повел,— улыбались в публике.

Он любил разговаривать с читателями. Выезжал на конференции в Донбасс, в Тулу, делал доклады об итогах трехлетней работы журнала «Октябрь» в Доме Союзов, проводил беседу с соседями, рабочими «Трехгорки», опять выезжал в Горький, в Сормово, Харьков, в Луганск.

К произведениям, печатающимся в журнале «Октябрь», Серафимович подходил очень критически, строго, делал десятки замечаний. Но если уж принимал роман или повесть, он принципиально, по-боевому воевал со всеми нападками на произведение. Ни на какие компромиссы не шел, ненавидел двуличие, интриги, закулисную игру.

Он принял и напечатал в журнале роман Шолохова «Тихий Дон». Принял Шолохова в свое сердце и полюбил его навсегда. Напечатал в «Правде» статью о «Тихом Доне» с высокой оценкой романа. И когда появились клеветники, пытавшиеся опорочить роман Шолохова, Александр Серафимович дал им жестокий

отпор, опубликовав вместе с Фадеевым и Ставским в «Правде» резкое письмо против клеветнических наветов на «Тихий Дон». Всякое проявление интриганства глубоко огорчало, возмущало и как-то даже травмировало его.

— Вот ведь сколько осталось еще у нас гадости от старого мира,— говорил он нам возмущенно, потирая лысину. — И надо же эдакое придумать...

IV

В конце 1929 года в редакцию «Октября» прислал свой первый рассказ «Аноха» брянский писатель Василий Павлович Ильенков. Рассказ понравился нам. Ильенков хорошо знал рабочий быт, был близко связан с Бежецким паровозостроительным заводом, интересно писал о процессах, происходящих в жизни рабочего класса, о рабочем быте, культурном росте.

Вскоре мне пришлось с поэтом Эдуардом Багрицким выехать на завод «Красный Профинтерн». Мы побывали у Ильенкова, хорошо, задушевно поговорили о литературе, провели на заводе большой литературный вечер.

Как всегда, вернувшись в Москву, я явился с отчетом к Александру Серафимовичу.

— Ну, ну, батенька,— засуетился старик. — Выкладывайте... Что видели, что записали?.. Что можете сказать в свое оправдание?

Его интересовало все. И новые методы варки стали в мартенах, и ход социалистического соревнования, и вечер самодеятельности во Дворце культуры.

— Знал бы, что так интересно, поехал бы с вами,— сокрушался наш старшой. — А то засиделся я в столице. Жизни не вижу...

Это он-то жизни не видел, неугомонный, вечный путешественник.

— Надо бы мне с этим Ильенковым познакомиться. Интересный, видать, человек... И писатель... Несомненно, писатель. Какой он из себя? Седой, говорите? Уже седой. И в темных очках? Очень интересно.

Вскоре Ильенков приехал в Москву. В январе тридцатого года в журнале «Октябрь» была организована встреча с начинающими писателями. Ильенков

читал новый рассказ «Чмых». Рассказ этот по моему совету он заранее послал Серафимовичу. Читали свои произведения и другие молодые писатели. В заключение вечера выступил Серафимович. О рассказе Ильенкова, к моему изумлению, он не сказал ни слова.

Я задержался в редакции, и, когда собрался уходить, ни Серафимовича, ни Ильенкова уже не было.

Ильенков жил у меня. Вернулся домой он поздней ночью. Взволнованный, возбужденный.

— Загулял, Василий Павлович,— поддел его я, улыбаясь. — Седина в бороду — бес в ребро.

Он снял свои «мрачные» очки, и совсем молодые глаза его весело блеснули.

— Понимаешь, какое дело... Гулял, действительно гулял... По Тверскому бульвару... Со стариком... С Александром Серафимовичем. Ну, какой старик... Сколько интересного он мне о моем рассказе наговорил... А рассказ будто наизусть помнит. А потом все выпытывал, как и что. И какие планы, и как рабочие на заводе живут...

— А «что вы скажете в свое оправдание» говорил? — засмеялся я.

— Говорил. И конец рассказа, сказал, переделать. Я сначала спорил, а потом согласился. Убедил он меня. До сих пор его слова в ушах.

Был уже третий час ночи. Ильенков сел к столу, вынул рукопись, решительно зачеркнул последние страницы и стал лихорадочно писать.

Разбудил он меня рано утром и прочел новый вариант окончания рассказа.

Вскоре рассказ был опубликован.

Приближался XVI съезд партии. В литературе происходила ожесточенная борьба со всякими буржуазными влияниями, с левыми и правыми уклонистами.

На нашем творческом знамени было написано: глубокое проникновение в жизнь, правдивое отображение жизни в прозе и поэзии. Пролетарские писатели решили рапортовать съезду всеми своими лучшими произведениями, созданными за последние годы.

Мы подготовили большой творческий рапорт — сборник, в который вошли новые произведения А. Серафимовича, Ф. Панферова, А. Фадеева, Ю. Либединского, В. Киршона, В. Ильенкова, А. Исбаха, А. Сур-

кова, Л. Овалова, М. Платошкина, А. Караваевой, М. Чумандрина, В. Ставского, А. Жарова, Б. Иллеша, С. Швецова, Н. Богданова. Включены были в сборник и стихи только что вступивших в Ассоциацию пролетарских писателей В. Маяковского и Э. Багрицкого.

Сборник был проникнут духом современности, боевым духом партийности. Между рассказами и стихами были боевые, ударные лозунги, набранные жирными шрифтами.

Беспощадный удар
по правым оппортунистам в литературе,
по аллилуйщикам,
по примиренцам
и классовому
врагу!
За чистоту марксистско-ленинского оружия!

Сами заглавия напечатанных в сборнике произведений говорили о его боевом характере:

В. Маяковский, «Кулак»; Л. Овалов, «Ход сражения»; Э. Багрицкий, «Из книги «Победители»; В. Ставский, «Волк»; Н. Богданов, «Враг»; Ю. Либединский, «Первые дни в коммунизме» и т. д.

Серафимович дал для сборника очерк «Что я видел». Очерк был весь пропитан дыханием жизни, современности. Писатель рассказывал о том, что он видел в последнем своем путешествии по стране — он побывал на Тамбовщине, под Козловом.

Очерк был явно полемический, направленный против маловеров, против правых уклонистов, против классовых врагов.

Александр Серафимович, как вожак, как старшой, с высокой ораторской трибуны рапортовал XVI съезду о достижениях и недостатках пролетарской литературы.

Он стоял на трибуне съезда спокойный, неторопливый, как всегда. И только по неприметным движениям, которыми он оправлял свой знаменитый белый отложной воротничок, мы, его друзья и ученики, понимали, как сильно он волнуется.

«Писательская масса Федерации,— сказал Серафимович,— принимает широкое участие в социалистическом строительстве. Многие писатели рассеялись по заводам, колхозам, стройкам, чтобы непосредственно видеть, чтобы дать в творчестве жизнь».

И все же:

«Один из главных... провалов, недочетов — это отставание литературы от развивающегося строительства, от бегущей жизни».

Серафимович с горечью говорил и о внутренних наших недостатках, о групповщине, о беспринципной борьбе.

Он заверил съезд в том, что «писатели в меру их сил, умения и дарования будут участвовать в социалистической стройке, будут отдавать ей все силы».

Съезд дружными аплодисментами приветствовал автора «Железного потока», старейшего писателя страны.

V

И опять поиски нового материала, новых героев, путешествия по стране. Он приезжает на родину, в Усть-Медведицкую, собирает материал для задуманного романа о социалистическом строительстве в деревне. Он объезжает многие колхозы. Сюда, в Усть-Медведицкую, ранней осенью приезжает навестить его молодой Шолохов.

В ноябре 1930 года в городе Харькове, бывшем тогда столицей Украины, созывается вторая Всемирная конференция революционной литературы. Александр Серафимович возглавляет советскую делегацию.

Эта была первая большая литературная встреча прогрессивных литераторов мира. На ней присутствовало сто одиннадцать делегатов от четырех частей света — Европы, Азии, Африки и Америки, от двадцати двух стран.

Делая на конференции доклад мандатной комиссии, я отметил, что старейшим делегатом конференции является Александр Серафимович. Все делегаты стоя приветствовали писателя-революционера.

Александр Серафимович выступил на конференции от имени Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей.

Он был в своей обычной длинной черной блузе с белым отложным воротничком. Он внимательно оглядел зал, едва-едва улыбнулся своему старому другу итальянцу Джиованни Джерманетто, чуть заметно кивнул сидевшему в первом ряду Матэ Залке, остановил свой

взгляд на сидевших кустиком юных немецких антифашистах, приехавших приветствовать конференцию.

— Товарищи,— сказал Серафимович,— когда Ленин организовывал Коминтерн, к нему пробралась маленькая кучка товарищей. Некоторым из них пришлось ехать в трюме парохода, в угольной яме, рискуя быть открытыми. Матросы, чтобы их скрыть, засыпали их углем, оставляя дырочку для дыхания. А теперь Коминтерн потрясает весь земной шар, и потрясаемый им капиталистический мир дал глубокую трещину.

Три года назад за большим столом в Наркомпросе, в Москве, сиротливо сидело человек восемь — десять товарищей писателей, представляющих заграницу. А теперь я от имени ВОАППа приветствую революционных и пролетарских писателей двадцати двух стран.

Какие задачи стоят перед товарищами писателями? Огромные. Вот за Харьковом лежало пустопорожнее место, а через пять месяцев мы осматривали это место, и сказочно на пустыре, на глазах растет там изумительный завод.

Это, товарищи, не просто строится завод, это живой портрет того, что делается во всем Союзе, это отображение социалистического строительства.

Он замолчал, поправил воротничок и очень задушевно, как бы беседуя с друзьями, закончил:

— Так вот, задача революционного писателя — в живых красках бросить в массу пролетариев заграницы этот портрет, ибо никакими лекциями, никакими брошюрами не заменишь того, что видишь глазом, а художественная литература — это глаз, это непосредственное восприятие...

Вечером, после заседаний конференции, мы бродили по улицам Харькова и распевали, русские, украинские песни, марш Ведингского квартала, знаменитую антифашистскую «Аванти пополо».

Впереди всех шагал маленький, плотный Матэ Залка, рядом с ним высокий (выше Залки на полторы головы), худой немецкий писатель Людвиг Ренн, похожий на Дон Кихота. Они не знали еще тогда, что судьба соединит их через несколько лет на испанских полях, что Матэ Залка будет командиром Интернациональной бригады, а Людвиг Ренн начальником штаба.

Серафимович шагал вместе со всеми. Он подпевал и немецкой песне и итальянской и сам затягивал свою любимую: «Ой, да ты подуй, подуй, ветер низовый...»

Мы выступали в те дни на харьковских предприятиях. В одной из творческих выездных бригад, в которую посчастливилось попасть и мне, оказались Серафимович, Джерманетто, Матэ Залка и Эми Сяо.

Вел вечер молодой вихрастый комсомолец-токарь. Давая слово Джиованни Джерманетто, он объявил: «А сейчас выступит итальянский письменник Джерманенко...»

Многие в зале засмеялись. Улыбнулся и Джерманетто, а Серафимович весело, так, что услышали в зале, сказал:

— Ну, Джиованни, украинский народ вас уже на свой лад переделал... Значит, совсем своим считает...

...После окончания конференции мы поехали на Днепрострой.

Это была изумительная поездка. Мы опускались в котлованы, поднимались на леса стройки. Величественная панорама раскрывалась перед нами. И высоко на лесах, где-то рядом с французским поэтом Арагоном и немецкой писательницей Анной Зегерс, стоял Александр Серафимович — счастливыми глазами смотрел в заднепровские дали, и белоснежный воротничок его чуть трепетал на свежем днепровском ветру.

VI

Закончив роман «Радость», посвященный жизни Коломенского паровозостроительного завода, завода, с которым я был связан с юных дней, я отдал рукопись Александру Серафимовичу.

Роман был довольно толстый, и я не ожидал быстрого ответа. Однако Александр Серафимович позвонил мне уже через неделю.

— А ну-ка, молодой человек, являйтесь на суд и расправу.

Мы разговаривали целый вечер. Старик интересовался малейшими деталями, расспрашивал меня о людях, о машинах. Поля моего романа были исписаны его крупным почерком. Он не вмешивался в ход сюжета, но обращал мое внимание на отдельные безвкусные

выражения, на вычурность языка, на излишнюю чувствительность и слезливость. Он говорил мне о том, каких героев он видит в действии, в развитии, а какие остаются мертворожденными.

Я показал ему письмо инженера — крупнейшего конструктора завода Льва Сергеевича Лебедянского, создавшего позднее замечательную машину, паровоз марки «Л».

Инженер жаловался на то, что не успевает читать художественную литературу. «Очевидно, по неумению правильно ценить время, а может быть, из-за недостаточной работы наших втузов нет времени иметь тесную связь с вами — творцами душ — писателями. И лично я чувствую остро этот пробел, и думаю, что моя техника, техника заводских людей, поднялась бы на неизмеримо большую высоту, если бы было это знакомство...»

И дальше писал конструктор:

«Рапортую вам, что наш завод выполнил программу по паровозам. Но моя борьба за паровоз не окончена, и я получаю все время подзатыльники за допущенные ошибки, несмотря на то что машинисты благодарят за паровоз. Сейчас готовлю новый пассажирский паровоз».

— Это же, батенька мой, замечательно,— загорелся Серафимович. — Это же настоящая связь жизни с литературой... Умница он, ваш конструктор. А вот вы его в романе показать не сумели. В этом письме я его вижу больше, чем в романе. А что, батенька, если мы вместе поедем на этот ваш завод... Вот будет замечательно.

Тут же старик вспомнил о своем старом знакомом, бывшем коломенском рабочем Иване Козлове, которому он помогал в литературной работе [1].

...На Коломенский завод с нами поехал еще поэт Эдуард Багрицкий.

Поезд до Голутвина шел тогда три с половиной часа. В дороге я рассказал своим спутникам историю Коломенского завода, выросшего из кузницы, построенной при впадении Москвы-реки в Оку, в 1863 году.

---

[1] Иван Андреевич Козлов — профессиональный революционер, писатель, впоследствии автор книг «В крымском подполье», «Жизнь в борьбе» и др. См. его воспоминания в этом сборнике.

Серафимович засмеялся:

— Значит, мы, батенька, с вашим заводом ровесники. Здорово это получилось. Я-то с 1863 года превратился уже в эдакую историческую развалину, а завод-то наоборот — растет и крепнет. Ну-те, ну-те, рассказывайте дальше.

Он живо интересовался историей Маринкиной башни (здесь была заточена знаменитая Марина Мнишек), эпизодами борьбы с татарами. Но больше всего взволновали Серафимовича события пятого года, связанные с карательной экспедицией полковника Римана. Кое-что об этом было рассказано и в моем романе. Но теперь «на местности» все это представлялось убедительнее и живее.

— Так, так... А машиниста Ухтомского я помню. Да и о Римане достаточно понаслышан. Вот я там на полях добавил вам пару штришков. Для оживления.

Три с половиною часа прошли незаметно. На вокзале нас встречали представители литературного кружка.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— весело приветствовал их Серафимович — и сразу огорошил своей обычной шуткой: — Что вы скажете в свое оправдание?

Ребята предложили провести Серафимовича в дом приезжих отдохнуть, но он отмахнулся:

— Что вы, меня за старика считаете, что ли? Отдыхать можно в Москве. А сейчас — на завод, в цехи, к людям.

Он внимательно осмотрел памятную чугунную доску с именами рабочих-революционеров, расстрелянных Риманом.

— А вот, батенька,— сказал он мне укоризненно, — а цвета этой доски, ржавых пятен, выпуклых букв, запаха времени вы передать не сумели...

...Старик обошел главные цехи завода. Я познакомил его со знаменитым дизельщиком Вяткиным, родоначальником целого поколения дизельщиков, и знаменитым паровозником Георгием Ахтырским. Они были ровесниками Серафимовича, как и весь этот старый завод, где рядом со старинной задымленной кузницей вырос новый инструментальный цех и рядом со старым чугунолитейным цехом, в котором трудно было дышать от

дыма и пыли, возник светлый, просторный новодизельный, оснащенный новейшими замечательными машинами. Эти контрасты старого и нового очень заинтересовали Серафимовича. Он шагал из цеха в цех, вглядывался в лица молодых сталеваров, следил за процессами их труда, едва не попал в опоку, только что наполненную горячим металлом, едва не угодил под тяжелую болванку, переносимую краном. Лицо его, озаренное ярким отсветом плавки, было возбужденное и совсем молодое.

Я вспомнил, как несколько лет назад приехал к нам, на завод, старый коломенец, писатель Борис Пильняк и как удивился он, когда я предложил ему пройти в сталелитейный, посмотреть новый мартен.

— Зачем? — сказал Пильняк. — Это уже описано Куприным. Читали, юноша, такую книгу «Молох»? А мне это не нужно.

До встречи с читателями, которая была назначена в заводском театре, Серафимович беседовал с литкружковцами.

Литературный вечер в театре прошел прекрасно. Александр Серафимович рассказывал о том, как он работал над «Железным потоком». Эдуард Багрицкий читал «Весну». Было много вопросов о жизни, о литературе. Серафимовича не хотели отпускать. Только к концу вечера я вспомнил, что за целый день старик не отдохнул ни мгновения и, кажется, не собирался отдыхать.

Мы долго обменивались мнениями о проведенном дне, располагаясь ко сну в доме приезжих. За окном гудел только что родившийся новый паровоз. Днем кто-то в цехе приглашал Серафимовича ночью на тендер, принять участие в обкатке, и я еле уговорил его отказаться.

Услышав гудок, Серафимович вскочил с кровати, подошел к окну, вгляделся во тьму. Паровоз с подъездной заводской ветви выходил на большие пути. В жизнь.

Уже прощаясь, в Москве, он хитро посмотрел на меня и сказал:

— А роман дайте мне, батенька, еще дня на три... Я там кое-что почеркаю...

VII

Мне приходилось не раз выезжать с Александром Серафимовичем на заводы. Побывали мы (ездили тогда, помнится, с нами В. П. Ильенков, поэт Антал Гидаш и профессор П. Ф. Юдин) и на знаменитом Горьковском автомобильно-ремонтном в Сормове. И здесь наш старшой так же бродил по цехам, пытливо расспрашивал стариков и молодых об их работе, об опыте знаменитого горьковского кузнеца Бусыгина.

— Вот ведь,— говорил он нам,— путь русского рабочего класса — от сормовского рабочего Петра Заломова до сормовского рабочего Александра Бусыгина. Вот о чем нужно писать, молодые люди. Вот чего требует от нас народ. А мы часто драгоценное время по пустякам тратим, шумим попусту, в «вождей» играем, интригами занимаемся... Эх...

На большом заводском вечере он отвечал на сотни вопросов — о литературе, о морали, этике, быте. Помню, как пространно и задушевно, необычайно интересно и волнующе говорил он о Сергее Есенине. А вопросов о Есенине было множество. Серафимович говорил о Есенине с любовью и горечью. Как непохож был его ответ на стандартные «резолютивные» штампы иных унылых проработчиков. Он говорил об оригинальности и своеобразии есенинского таланта, об искренности поэта, о его противоречиях, о борьбе старого и нового в его творчестве, о тонкой лирике Есенина и об эпигонах, подымающих на щит худшие стороны его творчества, о так называемой есенинщине. Слушали Серафимовича напряженно, боясь пропустить слово. Он удивительно умел находить путь к сердцам человеческим.

В начале 30-х годов мы стали замечать, что старик наш все чаще хмурится, брюзжит. Он ушел из редколлегии журнала «Октябрь». Многое было ему не по душе в Ассоциации пролетарских писателей.

Внутри Российской ассоциации пролетарских писателей развернулась борьба против так называемого авербаховского руководства. Это руководство проводило внутри ассоциации вредную сектантскую линию, против которой в свое время боролся еще Дмитрий Фурманов.

Один из основных лозунгов — «Кто не союзник — тот враг» — механически отбрасывал во вражеский лагерь большое число талантливых советских писателей.

РАППом был объявлен «призыв ударников в ряды литературы». Благая мысль о пополнении советской литературы новыми кадрами из рядов рабочего класса была на практике извращена. В литературу «выдвигались» целыми списками. Было много шуму («Шумим»,— с горечью говорил Серафимович), а истинной работы с молодыми писателями не велось.

Среди писателей, выступивших внутри РАППа против этой вредной для развития литературы политики, были Серафимович, Ставский, Панферов, Ильенков, Горбатов, Галин, Я. Ильин, Платошкин, Черненко, Нович, Гидаш, автор этих строк. Резко критиковали рапповскую линию «Правда» и ЦК комсомола, философы Юдин, Митин.

Никогда не забыть, как дружески, заботливо выслушивал нас в редколлегии «Правды» Емельян Ярославский, не забыть его отеческой, истинно партийной помощи в нашей работе.

Заседания секретариата РАППа становились все более бурными и напряженными, совсем как в фурмановские времена 1925—1926 годов.

Руководители РАППа не хотели прислушиваться к партийным указаниям, они пытались травить всех своих противников.

Им было неудобно прямо «бить» старейшего пролетарского писателя Серафимовича, и они, обрушиваясь на все предложения Серафимовича, приписывали их «молодым».

Серафимович все это прекрасно понимал. Ему было уже почти 70 лет. Он работал над новым романом. Он объехал с сыном Игорем донские колхозы, написал для «Правды» цикл очерков «По донским степям». Нападки рапповского руководства раздражали его. Он перестал ходить на заседания секретариата. Но все же мелочная суматоха, травля инакомыслящих, друзей Серафимовича мешала ему работать, мешала она и всему развитию советской литературы.

Серафимович не мог молчать.

В 1931 году он жил на своей даче, на станции Отдых, неподалеку от Быкова.

Мы поехали к нему встретить Новый год. Не помню уже всех приглашенных. Помню только, что мы с Василием Павловичем Ильенковым запоздали и едва-едва не пропустили встречу Нового года. Было шумно и весело. Хозяин, веселый, совсем молодой, потребовал сразу выпить штрафной бокал. Мы без всякого сопротивления подчинились. Подняли полные бокалы. Залпом выпили. Громкий хохот всех собравшихся. Очередная шутка Александра Серафимовича — в бокалах была вода, щедро приправленная уксусом.

Веселая была эта ночь. Играли. Пели. Александр Серафимович запевал свою любимую «Ой, да ты подуй, подуй, ветер низовый», и, глядя на его раскрасневшееся лицо, не верилось, что ему — без двух лет семьдесят.

...Гости разъехались. Мы с Ильенковым задержались на даче. После завтрака Александр Серафимович увел нас к себе в кабинет. Его было не узнать. Он сразу постарел, казался раздраженным и угрюмым.

— Неладно у нас в литературе, хлопцы... Ой, неладно... Вот я набросал кое-что, так сказать, в порядке дневника. Хотите, прочту?..

Мы насторожились. А он вынул из стола несколько страниц, исписанных его широким, немного корявым почерком...

«...Конечно, отдельные разрозненные неполадки, промахи, даже провалы, если они осознаются, исправляются, нельзя ставить организации в непреходящую вину. Отдельные, разрозненные. Но, если эти ошибки, промахи, провалы непрерывно сцепляются в систему, горе организации!

Нельзя их ставить в непокрываемую вину РАППу, этой громадной ответственной организации пролетарских писателей, пока они разрозненны.

А они в РАППе, эти промахи, ошибки, глухие провалы, густо родятся и идут, друг за другом, как прибой, длинный, далеко разбегающимися валами, непрерывно возникая.

Кусок РАППа — Уральская областная ассоциация пролетарских писателей на самом лучшем счету. Член правления РАППа едет на Урал на ревизию и со слезами восторга докладывает на секретариате РАППа:

«Какой размах! Какая напряженная деятельность! Тьма ударников. Удивительные стеклянные пластинки с золотыми надписями в великолепном здании».

Не успел он сомкнуть восторженных уст, в дело вмешался Уральский обком партии, постановил: «Снять всю верхушку УралАППа. Одним выговор, другим — строгий, третьим с предупреждением». Оказывается, в УралАППе — черный развал: наглое очковтирательство, бесстыдная ложь, дутые ударники, на произвол судьбы брошенные пролетарские писатели, великолепные золотые надписи и двухсоттысячный бюджет. Одним словом, от великолепной деятельности УралАППа, вызвавшей восторженные слезы у большинства руководителей верхушки РАППа, остался тяжелый, мертвый, лживый пепел.

Да, грядут валы, широко разбегаясь, захватывая все новое. Неладно в Вотской области, Удмуртской АПП, в Баку, в Татарстане, неладно на Украине (Одессе)...

На Красной Пресне на заводах и фабриках были литературные кружки. Руководители в кружках от МАППа.

Молодежь фабрично-заводских литературных кружков, комсомольцы приступили к руководителям, чтобы те им рассказали о сущности дискуссии, в которой участвовал комсомол, «Комсомольская правда», РАПП, ЦО партии «Правда», и чем эта дискуссия кончилась.

Мапповцы, руководители кружков, заметались: расскажи всю правду, расскажи об ошибках РАППа, обнаруженных дискуссией, большинство руководителей РАППа не простит. Начни врать, молодежь азартно выведет на чистую воду. Что тут делать?!

Попробовали отмолчаться, молодежь покою не дает. Крепились, крепились и... разбежались, побросав на произвол судьбы кружки.

А комсомольцы бунтуют. Кто-то купил для них двести экземпляров брошюры (издание «Федерации») о дискуссии, ну, немного успокоились.

Проходит месяц, другой — никого. Кружки без руководителей стали дичать, стали разваливаться. На Трехгорке развалился. На «Большевике» развалился. На других развал.

На некоторых заводах кружки махнули рукой на МАПП и живут себе самостоятельной жизнью — пишут,

работают, критикуют друг друга. Так и тянулось. Красно-Пресненский райком наконец вмешался, потребовал от МАППа присыла в кружки руководителей, Ответили: «сейчас» — и ни с места. И на все требования было все то же «сейчас» — и ни с места. Кружки доживали свои дни.

Тогда райком назначил рабочего-ударника кружковца, тов. Такоева, временно заведовать кружками, чтобы предотвратить окончательный распад их во всем районе. А тов. Ильенкова наметили председателем районного литературного бюро.

Тов. Такоев выявился как деловой, энергичный, деятельный работник. Так его расценил и райком. МАПП — РАПП упорно саботировали тов. Такоева, просто не замечали, как будто он не существует в природе, как будто и весь Красно-Пресненский район не существует в природе.

Но когда увидели, что дело налаживается, что из развалин начинает потихоньку вставать жизнь, что в кружках снова потянуло к учебе, к творчеству, что тов. Такоев организовал отличное начинание — литературную эстафету, связав с социалистическим строительством, доведя ее до цехов заводов и фабрик,— когда это увидели, прилетели представители МАППа, РАППа и заявили, что МАПП отводит тов. Такоева при выборах в бюро, а тов. Ильенкова (чтобы сорвать его кандидатуру в председатели бюро) назначает в транспортную секцию. На место тов. Ильенкова и тов. Такоева ставят своих кандидатов. Но это не вышло, тогда тов. Авербах бросился хлопотать, чтобы тов. Такоева назначили редактором «Изобретателя».

Позвольте, что же это такое?! Полгода разваливать целый район, а когда партия взяла дело в свои руки и разрушенное стало восстанавливаться, МАПП — РАПП явились и привели своих кандидатов. Это уже грозно, это не отдельные ошибки, это уже непрерывно возникающая система».

Мы слушали не шелохнувшись. Да, все это было так. Наш старшой как бы подытожил все наши мысли и наблюдения, а мы-то думали, что он устранился от борьбы... Старик остановился, поднял на нас глаза, обличающие, грозные, заметив наше волнение, продолжал:

— «...Ни одна организация не может жить, если не умеет пополнять постоянно свои ряды новыми силами, не умеет притягивать к себе работников, наилучше их использовать.

Работал в РАППе, был членом секретариата тов. Безыменский. Оттолкнули, исключили из секретариата, злобно травили.

Был с ним тов. Билль-Белоцерковский — оттолкнули, заели.

Работал с ними Серафимович — поставили в невозможность совместно работать.

Тов. Волин, когда был назначен зав. Главлитом, открыто и искренне хотел работать с писательской массой. Собирал актив рапповского руководства, совместно обсуждали способы борьбы с проникновением буржуазных, чуждых, иной раз прямо враждебных произведений в советскую литературу — чего же лучше? Так нет, злобно и злостно накинулись, пока не поставили в невозможность совместной работы.

Оттерли Ставского, этого талантливого, искреннего писателя, художника-очеркиста, и теперь с пеной у рта травят.

Но наиболее гнусную травлю устроили тов. Ильенкову с выходом его «Ведущей оси».

А за этими писателями тянется целый ряд талантливых молодых пролетарских писателей, которых сумели оторвать от себя, которых при всяком удобном случае злобно рвут гнилым, ядовитым клыком.

Но руководящая верхушка РАППа не только сумела оттолкнуть от совместной работы отдельных пролетарских писателей, она ввязалась в борьбу с целыми организациями. Наконец, крупная ячейка Института литературы и языка при Комакадемии ЛИЯ, на совесть желавшая сработаться с РАПП, выносит осуждающее постановление за возмутительный скандал, дико устроенный большинством руководящей верхушки РАППа члену ЛИЯ.

Безудержная травля творческой группировки тов. Панферова продолжается по-прежнему вопреки указаниям партии.

...Грозность этого «оголения» отлично понимает руководящая верхушка РАППа и, теряя голову, ищет спасения в оголтелом терроре скандалов и брани.

Конечно, надо проходить мимо этих выкриков, брани,— молодость, горячность, в пылу борьбы,— но это до тех пор, пока это единичные, разрозненные выпады. А когда это сливается в систему, когда в этом ищут выхода, это — грозно.

Отношения с товарищами приняли у большинства руководящей верхушки РАППа тот характер нетерпимости, заносчивости, безапелляционной грубости, лжи, интриганства, лицемерия, неутомимой злобы против всякого, кто осмелится указать на ошибки руководства,— тот характер, который отталкивает массу товарищей, массу работников, целые организации.

Недаром на критическом совещании, созванном РАППом, председательствовавший тов. Фадеев горько плакался, что отсутствуют на совещании как раз те, кто должен был быть,— писатели и критики не идут.

Пролетарские писатели истосковались по работе, по напряженной работе вне интриг, борьбы, подвохов. Ведь назначение пролетписателя — творчество, пронизанное социалистическим строительством, а не мордобой.

Ударники литературы жалуются, что с ними шумно носятся, когда надо сделать парад, и совершенно забрасывают, когда нужна повседневная кропотливая работа.

Да, грозно...»

...Старик кончил. Мы долго сидели молча...

— Вот, хлопцы,— сказал Александр Серафимович. — Больше молчать невмоготу. Да к кому же обращаться, как не к партии? Партия всегда поддержит нас. Вот я об этом всем и напишу в Цека... Одобряете?

Старик написал письмо в ЦК. Вопросы работы РАППа не раз обсуждались на заседаниях Секретариата Центрального Комитета. Руководители партии резко критиковали рапповских руководителей, указывали на ошибки в работе Ассоциации пролетарских писателей. Однако указания партии в РАППе не выполнялись. Сама рапповская система уже изжила себя и мешала дальнейшему развитию литературы.

23 апреля 1932 года Центральный Комитет партии принял историческое решение «О перестройке литературно-художественных организаций».

Радостно встретил это решение наш старшой. Он писал впоследствии (в статье «Писатель должен шагать

вровень с эпохой»): «Это решение ЦК ВКП(б) является документом крупного исторического значения. РАПП была окостеневшей формой, в которую рьяные руководы старались загнать все многообразие литературной жизни, литературных интересов, литературного творчества. Рапповцы занимались не столько художественным творчеством, сколько болтовней и расправами со всеми, кто не признавал безраздельности рапповского владычества на литературном поприще. РАПП культивировала беспринципную групповщину. Произведения «своих» людей превозносились до небес, другие охаивались. Вместо товарищеской критики и помощи применялись дубинка и оглобля. Царствовали полнейший зажим самокритики, угодничество и подхалимство...»

Высоко оценивая мудрое партийное руководство, старый писатель-большевик еще и еще раз напоминал писателям об их основной задаче — помочь партии, народу своим творчеством, добиваясь высокой идейной насыщенности и художественного мастерства...

Как же ненавидел он болтунов и резонеров!

«У нас есть особая разновидность людей,— говорил он,— которые по профессиональному званию числятся писателями, но по фактической профессии они — резонеры. Одни из них легко взбегают, другие солидно, с величавой осанкой поднимаются на трибуну писательских съездов и собраний, каются в безделье и ошибках, дают клятвенные обещания по-деловому приняться за работу. Но проходят сроки, и клятва оказывается нарушенной.

Есть и другая категория членов Союза писателей: они довольно производительны, но творения их носят все следы подмены настоящих художественных ценностей мнимыми. Они изображают наших современников стандартными красками, не заботятся ни о психологической глубине разработки образа героя нашего времени, ни об оригинальности сюжета, ни о свежести авторского языка и языка описываемых ими людей...»

В день опубликования решения ЦК мы собрались на квартире Александра Серафимовича. Он уже давно оставил старый домик на Пресне и жил в Замоскворечье в Доме правительства, на улице, названной впоследствии его именем.

Много говорили в тот вечер о значении решения ЦК, о том, что свободнее стало дышать.

— Что прошло, то прошло,— сказал Серафимович. — Точно исцелились мы от злой лихорадки. А теперь давайте вперед смотреть, как работать будем. А ну — каковы ваши планы, молодые люди? Что вы скажете в свое оправдание?

Одним из результатов этого вечера было наше решение: подготовить коллективно большой сборник о современной жизни страны. Разъехались все по стройкам «прощупать жизнь своими руками», как говорил Панферов.

19 января 1933 года Александр Серафимович, в связи с 70-летием со дня рождения, был награжден орденом Ленина.

Накануне этого дня мы зашли к нему с В. П. Ильенковым и И. С. Новичем. Старик встретил нас, как всегда, какой-то шуткой, а потом очень серьезно сообщил:

— Звонили мне из правительства, спрашивали, какому городу хотел бы дать свое имя. А я даже растерялся. Не слишком ли, спрашиваю... Городу? Может быть, библиотеке там или институту, а то городу. Отвечают: не слишком. Ну, можно сказать, меня врасплох застали. Какой же это город моим именем окрестить? А потом словно откровение: Усть-Медведицкую. Так и брякнул: вот ежели можно — Усть-Медведицкую. Слышу, там у трубки совещаются, сомневаются. Усть-Медведицкая, говорят, не город, а только станица. Ну тут я даже рассердился: «Вы что же полагаете, что я продешевил? Ничего. Пусть станица. Она еще и городом будет». Так вот и сошлись на Усть-Медведицкой. А вы, хлопцы, может быть, тоже думаете, что продешевил старик? А? Что вы скажете в свое оправдание?..

...Постановлением Президиума ЦИК СССР станица Усть-Медведицкая была переименована в город Серафимович.

Имя Серафимовича было присвоено улице, где он жил. В день юбилея Александр Серафимович получил сотни приветствий: от ЦК партии, Совнаркома, редакции «Правды», ЦК комсомола, рабочих, колхозников, писателей, зарубежных друзей...

На юбилейном вечере в Колонном зале среди других ораторов выступил легендарный герой гражданской

войны — Кожух «Железного потока» и соратник Фурманова по «Красному десанту» — Епифан Ковтюх. Ковтюх говорил о прошлых боевых делах.

...Отвечая на приветствия, Серафимович особенно горячо говорил о партии. Он призывал писателей больше писать о жизни и работе коммунистов.

Кончил он свою речь, как всегда, шуткой:

— ...Здесь было требование от войсковых частей, чтобы я еще прожил семьдесят лет. Ну, товарищи, уступите, ну лет тридцать пять.

Вскоре вышел в свет под редакцией Ф. И. Панферова задуманный нами альманах «1933 год».

Альманах был боевым отчетом того творческого объединения писателей, которым руководил Александр Серафимович.

Это был коллективный рассказ о боях и победах, о первых тракторах, о первых автомашинах, об угле, руде и нефти, о бескрайних полях и о цветущих садах нашей родины, о людях, которые преобразуют лицо земли.

Александр Серафимович в очерке «Город-сад» рассказал о своем родном городе. Очерк был пропитан чудесным степным воздухом, ароматом задонских лесов и полей.

VIII

Александр Серафимович очень любил спорт. Физическую зарядку он делал до самого преклонного возраста. Донской казак, он любил быструю верховую езду, плавание. Обоих своих сыновей воспитал он крепкими, выносливыми, физически закаленными. У отца переняли они и любовь к физическому труду. Еще в годы ссылки Серафимович в совершенстве изучил столярное дело. И на Дону и в Москве он приспосабливал верстак, имел прекрасный набор столярных инструментов, многое мастерил сам, многому обучал детей. Инструменты Александр Серафимович всегда содержал в образцовом порядке.

— Человек проверяется, — говорил он, — тем, как содержит он свое оружие, свои орудия труда.

С коня он «пересел» на мотоцикл. Еще в 1913 году проделал в странствиях своих более тысячи километ-

ров на мотоцикле. А было ему тогда уже полсотни лет. В более поздние годы он пристрастился к речным походам «по тихому Дону» на мотоботе. Он любил рассказывать о своем «крейсере», о разных видах навесных моторов. Мотобот остался его «страстью» до самых последних лет жизни.

Опытный и бывалый военный корреспондент, любил он и военное дело, стрельбу. Выезжал в гости в красноармейские части, обучил стрельбе из малокалиберки своих сыновей. Сам Серафимович стрелял почти снайперски и очень этим гордился. На даче своей, на станции Отдых, в лесу, он не раз устраивал учебные стрельбы. Ружье содержал, как и столярные инструменты, в образцовом порядке. И горе было тому гостю, который после стрельбы забывал вычистить ружье. Ему уже не доверяли. И после чистки Александр Серафимович долго, прищурив глаз, проверял, достаточно ли блеску в канале ствола.

В 1936 году в Московском военном округе проводились войсковые маневры. В маневрах участвовало много частей. Предполагалось провести операцию с высадкой большого парашютного авиадесанта.

Маневры проводились близ города Вязники.

Союз писателей послал на маневры бригаду во главе со старым воякой Всеволодом Вишневским. В бригаду вошли писатели Серафимович, Новиков-Прибой, Санников, Низовой.

Александру Серафимовичу исполнилось семьдесят три года. Но он первый заявил о желании испытать все трудности войсковой жизни. А трудностей было немало. Маневры проходили под лозунгом: «На учебе, как на войне»... «Больше пота — меньше крови»...

На все время маневров Вишневский ввел в нашей бригаде обычную воинскую дисциплину. Подъем... Зарядка... Меня он назначил начальником штаба, и я был обязан каждое утро с картами в руках докладывать о наших маршрутах, дислокации частей, о характере предстоящих занятий. По вечерам после того или иного хода маневров Вишневский собирал всю бригаду, расспрашивал о впечатлениях, делал «тактический разбор».

Одних из нас Вишневский направил к «синим», других к «красным». Мы участвовали в «боях» как

противники и потом могли осветить ту или иную операцию с разных сторон. Осветить — это значило не только делать записи в своих походных дневниках или писать корреспонденции в центральные газеты. Это значило — участвовать и в дивизионных многотиражках, и в разных «боевых листках».

Я не раз видел, как Александр Серафимович, подостлав демисезонное пальтецо, расстегнув неизменно белоснежный свой воротничок, примостившись в лесу где-нибудь у пенька, писал корреспонденцию в «Боевой листок» полка. Он был точен и исполнителен, как всегда. К выполнению приказов нашего «командарма» Вишневского относился исключительно дисциплинированно.

Во время маневров попали мы и в авиадесантную дивизию.

Всеволод Вишневский просил, чтобы командование разрешило нам прыгать в составе парашютного десанта. Это было вполне в духе нашего командарма. Но этому категорически воспротивился настоящий командарм.

— Не хочу рисковать автором «Железного потока»,— сказал он. — Да и сомневаюсь, что автору «Цусимы» надлежит прыгать из самолета для впечатлений. Он — человек морской.

Всеволод Вишневский с сожалением согласился.

Но свидетелями операции с авиадесантом мы были. Это было действительно необычайное зрелище. Мы наблюдали его вместе с «посредниками» и командирами, среди которых находился народный комиссар Климент Ефремович Ворошилов. Я стоял неподалеку от Серафимовича и видел восхищенную улыбку на его лице. Он поймал мой взгляд, совсем озорно прищурил глаз, и загорелое, оживленное лицо его показалось мне совсем, совсем молодым.

Вдруг я увидел тень беспокойства на этом лице. Я взглянул вверх. Один из парашютов не распустился. Парашютист какие-то секунды камнем падал вниз. Сначала мы думали, что это фокус, прием высшего пилотажа, что он хочет показать выдержку. Но по тому, как тревожно дал какие-то распоряжения нарком, мы поняли, что это не фигура высшего пилотажа, а авария, чепе.

Какие-то командиры побежали на поле. С ними, конечно, увязался Вишневский. Послышалась сирена «санитарки». И все это молниеносно, в течение секунды.

Серафимович напряженно, сурово сдвинул брови.

И вдруг все ахнули. Падающий парашютист ухватился за стропы соседнего парашюта. Это было почти чудо. Под огромным голубым куполом спускались два парашютиста.

...Вскоре мы узнали, что все обошлось благополучно. Вишневский даже успел побеседовать с «героями дня».

Вечером, подробно рассказывая нам обо всей этой истории, командарм усмехнулся и сказал Вишневскому:

— В боевой обстановке всякое бывает... Мы — люди привычные. Но это, конечно, был редкий случай. А вы еще требовали, чтобы мы в такое дело включили наших дорогих гостей — Серафимовича и Новикова-Прибоя. А вдруг...

— Что же,— хитро улыбаясь, сказал Серафимович.— я человек гостеприимный, я бы Алексею Силычу половинку парашюта уступил...

...Вернувшись с маневров помолодевший, посвежевший, Александр Серафимович возбужденно рассказывал друзьям о своих впечатлениях. «Тактические учения,— говорил он,— дали мне большую творческую зарядку». Об этом он написал в «Литературную газету», назвав свою статью «Боевая зрелость». О наших замечательных воинах говорил он и на состоявшемся вскоре литературном вечере в помощь детям и женщинам героической Испании.

IX

Когда началась война, Александр Серафимович был в каком-то лекционном турне, на Смоленщине.

Несмотря на свои 78 лет, он был по-прежнему неугомонным. Уезжая на фронт, я не мог попрощаться с ним.

Из писем товарищей я узнал, что он долго жил в родном городе, потом, в связи с наступлением фашистов на Серафимовичский район, уехал в Сталинград, из Сталинграда в Ульяновск, писал очерки, выступал перед ранеными красноармейцами в госпиталях.

В день восьмидесятилетия он был награжден орденом Трудового Красного Знамени (орденами Ленина и «Знак Почета» он был награжден ранее). А через несколько месяцев за многолетние выдающиеся достижения в области литературы и искусства Александру Серафимовичу была присуждена Государственная премия первой степени. Свою премию он отдал на вооружение Красной Армии.

Весь наш коллектив писателей и военных журналистов из-под озера Ильмень послал Серафимовичу теплое поздравление.

А в августе дошло до нас еще одно удивительное известие. Впрочем, правду говоря, я не был столь удивлен. Я знал, что наш старшой способен на такие дела. Восьмидесятилетний старик сам отправился на фронт. Да еще на какой фронт! На знаменитую Орловско-Курскую дугу.

Вместе с молодыми писателями и военными корреспондентами он трясся в грузовиках по фронтовым дорогам, «спускался» в батальоны и роты, беседовал с бойцами, собирал материал для очерков «Коммунисты в бою», предназначавшихся для сборника «В боях за Орел». Приказом командарма гвардии генерал-полковника А. В. Горбатова за активное участие в издании сборника Серафимовичу была объявлена благодарность.

Товарищи, которые сопровождали Серафимовича в этой поездке, рассказывали мне потом, что он страшно сердился, когда ему хотели доставить бо́льшие удобства, чем другим. Он был верен себе, всей своей героической жизни борца-революционера.

А зимой 1943 года, получив очередной номер журнала «Красноармеец», мы прочли уже очерк Серафимовича из родного города, отвоеванного у фашистов: «На освобожденной земле».

И опять продолжается неугомонная жизнь. Работа над новой книгой, путешествия, лекции, беседы с читателями.

...Последний раз мы собрались у Серафимовича накануне его восьмидесятипятилетия...

— А ну-ка, батенька, не скромничайте, что нового видели, что нового готовите?.. Хорошо это вам, молодежи...

И опять рояль. Старые песни. Многих старых друзей уже нет на этой традиционной вечеринке у старшого. А он все такой же. Седые брови кустятся над озорными, молодыми глазами. Неизменный белый воротничок. Только морщины уже частой сеткой изрезали лоб, пергаментную, точно выдубленную кожу лица.

Выступая на собрании московских писателей, посвященном его восьмидесятипятилетию, Александр Серафимович сказал:

«С высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

— Друзья! А жизнь такая чудесная! Да как она вкусно пахнет...

...Мне выпало большое счастье, я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадаешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути...»

Он очень волновался, говорил с трудом. Окончив речь, он сел, полузакрыв глаза... Выступали другие ораторы, а в моих ушах все еще звучали последние слова старшого...

И мне казалось, что перед его полузакрытыми глазами проходит вся его замечательная жизнь, люди, которых встречал он на своем пути...

Мы собрались вскоре после его смерти на той же квартире у его сына Игоря... Мы говорили о живом Серафимовиче, о его большой, благородной жизни... И нам, конечно, было грустно, как ни старались мы бодриться. И все казалось — раскроется дверь, на пороге появится он, живой, веселый, глянет хитровато из-под седых бровей и скажет:

— А что же вы, хлопцы, приуныли... А ну, давайте споем... — И привычным жестом огладит белоснежный свой воротничок...

1959

Антал Гидаш

ВЕЧЕР У СЕРАФИМОВИЧА

Это было седьмого ноября, в десятую годовщину Октябрьской революции. Вечером у Серафимовича собрались московские пролетарские писатели вместе с иностранными революционными писателями, которые приехали на празднества в Москву и принимали участие в первом пленуме Международного бюро революционных писателей. Проходило оно под председательством Луначарского.

В гостеприимный дом Серафимовича гости приходили группками по нескольку человек. С Серафимовичем я встречался уже не раз, но всегда только на собраниях московских пролетарских писателей. «Старик» и дома был такой же, как обычно: не по возрасту алые губы; медлительная, спокойная речь; чуточку дрожащий голос, пробуждавший почтение к возрасту; внимательный ласковый взгляд... Во всем облике и манерах чувствовался старый русский революционер.

Серафимович сидел во главе стола в черной толстовке и в белой рубашке с отложным воротничком. Для каждого из гостей он находил нужные слова, а для тех, с кем не был знаком, даже много слов. Тихо, методично узнавал он имя и возраст собеседника, условия его жизни, планы, какие он написал произведения, где их издавал... Обо всем он расспрашивал так ласково и любовно, что несколько минут спустя собеседник чувствовал его своим лучшим другом и защитни-

ком, на которого он может положиться и в добрую и в лихую годину жизни и не разочаруется.

Рядом с Серафимовичем сидел очень молодой человек небольшого роста. Он сидел так скромно, что сперва мы даже не заметили его, а кто и заметил, мог подумать: наверное, какой-нибудь молодой родственник хозяина дома или его внук, случайно, из любопытства попавший в компанию писателей и молча, с интересом наблюдавший за ними.

Серафимович не пил, только подносил стакан к губам, но при этом произносил один тост за другим.

Вот он провозгласил здравицу в честь Советского Союза — родины трудящихся всего мира, в честь Красной Армии, международной пролетарской революции, освобождения колониальных народов, революционной литературы мира.

Под конец он обратился и к нам, венгерским пролетарским писателям. Произнес тост в честь венгерской пролетарской революции 1919 года.

— Вы, венгерцы, первые после нашего Октября подняли победоносное знамя пролетарской революции, причем в самом сердце Европы.

Серафимович говорил тихо, с расстановкой. Каждое слово его звучало отчетливо и решительно.

— Я подымаю бо́кал за новую венгерскую пролетарскую революцию.

Опять долгая пауза. Серафимович чуточку запрокинул голову,— казалось, он смотрит куда-то сквозь стенку комнаты.

— За замечательного венгерского революционера Белу Куна, с которым я лично встречался во время гражданской войны. Гордитесь им! Им и своей родиной! Венгерским народом! Венгерскими интернационалистами!

Мы стояли растроганные. А он подозвал нас к себе и минут десять разговаривал с нами. Потом мы расселись по своим местам. Тосты закончились.

Все веселей и веселей становилось за столом, где сидели тридцать писателей.

Толковали о том о сем, и после разных литературных вопросов речь зашла о физической силе. И тут вдруг кто-то крикнул — молодость-то брала свое: «Поборемся!»

Стол придвинули к стене. На полу расстелили старый ковер, и первым вышел на середину высокий Фадеев. Он никогда не был толстым, но тогда, в застегнутой до подбородка кавказской рубашке, был стройным, как дальневосточный кедр. Бела Иллеш предложил мне выйти бороться с Фадеевым. Я тоже слыл тогда сильным молодым человеком, играл в футбол, метал диск, летом занимался греблей на Москве-реке.

И вот мы взялись. Минут десять боролись, но тщетно. Вдруг я хлопнулся с размаху на пол, а Фадеев стоял надо мной и хохотал: «Ха-ха-ха! Сдаешься?» Потом помог мне встать. Стряхнул с меня пыль и расцеловал в утешение.

Я посмотрел на Серафимовича. Он сочувственно кивал мне головой. Но я заметил у него в глазах искорку гордого удовольствия, и эта искорка относилась не ко мне.

Помню, как Иоганнес Бехер боролся с Тарасовым-Родионовым, Вайскопф — с Матэ Залкой, а потом и другие. Причем все боролись с таким рвением, будто тут, на квартире у Серафимовича, собрались не писатели со всего мира, а профессиональные борцы.

Но вот и сражения постепенно пришли к концу. Раскрасневшиеся, поволокли мы обратно стол на середину комнаты. Снова уселись и начали петь.

Зазвучали русские народные песни. Серафимович затянул донскую. Потом пошли вперемежку старые и новые революционные песни: «Славное море, священный Байкал», и «Марш Буденного», и, наконец, излюбленная «Эх, Дуня, Дуня-я — комсомолочка моя». Перешли к революционным песням других народов. Спели французскую «Са ира», итальянскую «Аванти пополо», немецкую, венгерский «Будапештский марш» и другие. Американская писательница пропела песню о Джоне Брауне, и под конец на многих языках, но с единым чувством спели «Варшавянку» и «Интернационал». Пели так, что, казалось, вот-вот рухнет потолок.

Вдруг Серафимович постучал ножичком по рюмке и сказал:

— Рядом со мной сидит большой писатель. — И он повернулся к тому молодому человеку, который весь вечер просидел молча и у которого только по его сияющим глазам можно было понять, что ему хорошо

вместе с нами. — Он мой земляк, — сказал Серафимович. — Он тоже с Дона. Скоро выйдет в свет его роман, и тогда вы попомните мое слово. За большого писателя!

Серафимович чокнулся с молодым человеком. Тот встал, осушил бокал и, хотя все ждали, что он скажет что-нибудь, молча сел на место.

Грянуло громкое «ура».

— Да здравствует новый борец за пролетарскую литературу! — закричали мы все и снова запели.

...Было уже далеко за полночь, когда мы попрощались с гостеприимным хозяином.

...Молчаливый, скромный молодой человек, о котором с таким восторгом говорил Серафимович, был Шолохов. А роман, вышедший вскоре, — первый том «Тихого Дона».

...Так связалась в моей памяти встреча с Серафимовичем с десятой годовщиной Октября, с Шолоховым и «Тихим Доном», с Фадеевым, с Белой Куном и с чудесными революционными песнями народов мира.

Перевела с венгерского *Агнесса Кун.*

1959

Л. Горбатов

ОБАЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ



В 20-х годах, несмотря на гражданскую войну, разруху и голод, наши издательства выпускали сравнительно много книг. Особенно большими тиражами выходили произведения М. Горького, А. Серафимовича, Д. Бедного и В. Маяковского, которые с жадностью читали рабочие, деревенская беднота, передовая молодежь, все, кто встал под знамя Октября.

Книги в это время печатались на серой бумаге, очень бледными были буквы, неясными, подчас искаженными портреты авторов. Мой товарищ по школе Шурка Михайлов, увидев портрет Александра Серафимовича, предпосланный к одной из его книг, сказал мне с горечью о любимом им писателе: «Какой он, должно быть, нелюдимый и суровый человек!» Мое впечатление от портрета было такое же, и оно держалось многие годы, несмотря на то, что я успел повидать десятки новых (фотографических и художественных) изображений Серафимовича.

Но вот судьба или, лучше сказать, обстоятельства трижды сводят меня с Александром Серафимовичем, и поверхностное впечатление о нем рассеивается, как туман под действием солнечных лучей. Живой Серафимович, как выяснилось, был человеком общительным и очень располагающим к себе. Не думаю, что эти качества появились в нем лишь на последнем этапе его продолжительной и яркой жизни.

В июне 1932 года я приехал из Одессы в Москву, чтобы поступить на учебу в Московский университет. В один из дней июня, выйдя из здания ЦК ВЛКСМ, я увидел на рекламном щите огромный яркий плакат. Московская организация писателей сообщала, что в предстоящее воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького «видные советские писатели будут консультировать всех начинающих писателей по интересующим их вопросам».

Начало встречи было назначено на 5 часов вечера. Располагая некоторым количеством свободного времени, я пришел в Центральный парк на час раньше положенного. Вскоре я увидел, как какие-то мужчины и женщины стали торопливо устанавливать вдоль аллей столики с табличками, на которых я прочитал фамилии: «А. С. Серафимович», «Ю. Н. Либединский», «В. В. Казин» и другие.

Я не поверил выставленным табличкам. И именно поэтому я подошел к одному из тех, кто устанавливал столики, и спросил:

— Скажите, пожалуйста, неужели здесь будет Серафимович?

— Да, обязательно будет,— ответил он мне,— причем Серафимович придет минута в минуту. Человека аккуратнее его вы не сыщете во всей Москве...

Прошло минут пятнадцать или двадцать, и я увидел идущего по главной аллее походкой уже немолодого человека А. С. Серафимовича. Он был в светло-кремовом чесучовом костюме, на голове — плоская, сшитая из того же материала, что и костюм, кепка, в правой руке он держал довольно объемистую коричневую папку.

Поздоровавшись с работником ЦПКО, Александр Серафимович сел за стол и спокойно принялся просматривать чью-то рукопись. Я подошел к нему и поздоровался с ним.

— Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте! — негромко ответил Серафимович и тепло посмотрел мне в глаза.

— Александр Серафимович, не откажите в любезности, просмотрите мои стихи,— попросил я Серафимовича и протянул ему тетрадь, в которой содержалось

более двадцати стихотворений на самые разнообразные темы.

Серафимович пригласил меня присесть, спросил, как меня зовут, какая у меня фамилия, откуда я приехал, а затем стал читать про себя мои стихи. Не знаю, по какой причине, но скоро он приостановил свое чтение и сказал мне:

— Прочитайте вслух стихотворение «Через все рубежи»...

Я встал и, хотя у столика Серафимовича собралось уже около тридцати человек, прочитал довольно смело названное стихотворение.

В ту пору мне было двадцать лет. Мне льстило, что Серафимович обращался ко мне уважительно, как к взрослому. О прочитанном мною стихотворении он сказал буквально следующее:

— Это стихотворение наиболее удачное. С моей точки зрения. И прочли вы его неплохо. Другие ваши стихи не производят должного впечатления. Они незначительны по содержанию, не чувствуется в них и серьезной работы над словом, над образом. Вы должны помнить, что и стихи, и романы, и пьесы пишутся не для себя, а для читателей, для народа,—стало быть, они должны содержать в себе нечто такое, что обогащало бы других... Впрочем, в области поэзии я специалист небольшой. Где-то рядом со мной должен быть поэт Василий Казин. Покажите свои стихи ему, и советую вам, молодой человек, ко всему, что скажет Казин, отнестись самым серьезным образом.

Я поблагодарил Александра Серафимовича за то, что он прочитал мои стихи, и за откровенное высказывание о них. Сразу к В. Казину я не пошел, так как хотелось послушать разговор Александра Серафимовича с другими начинающими авторами, чьи рукописи он прочитал заблаговременно по поручению Комиссии по работе с начинающими авторами.

Одного автора Серафимович похвалил за то, что тот обратил внимание на «очень интересное явление в жизни рабочего человека»; другого, помнится мне, попросил освободить рассказ от лишних, отвлекающих внимание эпизодов. В тот памятный для меня день Александр Серафимович беседовал с начинающими авторами от 5 до 8 часов вечера. Он возвратил для

переработки более 10 рассказов, каждый из которых имел многочисленные и, я убежден, ценнейшие пометки создателя «Железного потока».

Расставаясь с начинающими авторами, Александр Серафимович произнес слова, которые вряд ли кто-нибудь смог забыть:

— Не будьте торопыгами... Пишите только о том, что хорошо знаете... Смелей пользуйтесь богатствами разговорного языка... Среди вас есть способные люди (слово «есть» Серафимович произнес как-то особенно нежно). Но они смогут стать писателями, если будут идти в ногу с народом, в ногу со своей страной... Без этого можно стать писакой, а не писателем...

* * *

Как только закончилась Великая Отечественная война, меня демобилизовали из рядов Советской Армии. В январе 1946 года я уже был в родном Сталинграде и приступил к прежней своей работе преподавателя в местном педагогическом институте. Здесь, в Сталинграде, я второй раз повстречался с Александром Серафимовичем.

В мае или июне 1946 года (не помню точно, в каком это было месяце) меня попросил зайти к себе в облисполком председатель Сталинградского облисполкома тов. И. М. Зименков. И облисполком и обком партии в это время находились еще в поселке Бекетовка.

Я приехал в облисполком в 2 часа дня. Сталинградское солнце грело уже так усердно, что все окна в здании пришлось занавесить плотными шторами. Работник облисполкома, сидевший в приемной председателя, торопливо пошел мне навстречу:

— Вам придется немного подождать. У товарища Зименкова писатель Серафимович.

Сообщение это не столько обрадовало, сколько встревожило меня. Сталинград лежал в руинах, люди жили в окопах и подвалах, были серьезные перебои с хлебом. «Кто ж,— подумал я с раздражением,— отпустил сюда престарелого писателя?»

Прошло минут десять, и я попросил доложить о своем приходе. И. М. Зименков пригласил меня в кабинет и представил Серафимовичу.

— Неужели уже начал работать педагогический институт? — удивленно спросил меня писатель.

— Да, начал, Александр Серафимович.

— Экие вы молодцы! Впрочем, иначе и не должно быть на героической земле Сталинграда. Молодцы! Право, молодцы!

В этот раз Серафимович показался мне очень похудевшим. В светлых глазах его отражалась усталость. Голос был тихий, как у перенесшего какое-то недомогание человека.

Из разговора Александра Серафимовича с И. М. Зименковым я понял, что писатель пришел сюда с серьезнейшими просьбами земляков, дома и усадьбы которых были разрушены во время оккупации. Чтобы несколько разрядить атмосферу невеселых разговоров о досках, стекле и кирпиче, я шутливо спросил писателя:

— Александр Серафимович! Память у вас хорошая?

— Нет, похвастать ею не могу...

— Лет пятнадцать назад я показывал вам в Москве свои стихи...

— Вот как! И что же я вам тогда сказал?

— Сказали, что они никуда не годятся...

Серафимович усмехнулся, укоризненно покачал головой:

— Не мог я сказать такие обидные слова начинающему автору... Вы что-то запамятовали...

Пока шел этот диалог, И. М. Зименков подписывал бумаги; затем он подошел к Серафимовичу и положил ему на плечо руку:

— Не только мы, вся страна будет помогать отстраивать город Серафимович. Можете быть уверенным в этом, дорогой Александр Серафимович!

Серафимович поблагодарил, пожал нам руки и направился к выходу. Вдоль коридора и лестницы собралось много людей, которые с большой симпатией вглядывались в лицо проходившего мимо них Александра Серафимовича. У машины, которая должна была доставить его на вокзал, я увидел большую группу школьников, вручавших любимому писателю несколько великолепных букетов весенних цветов.

* * *

В январе 1948 года я был в Москве в научной командировке. 14 января, в очень ранний час, в номере гостиницы «Балчуг», где я остановился, раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал знакомый голос поэта Михаила Луконина.

— Сегодня в Клубе писателей,— сказал мне Луконин,— состоится торжественное заседание, посвященное 85-летию А. С. Серафимовича. Мне хочется, чтобы на этом вечере присутствовали земляки Александра Серафимовича и в их числе вы...

В Клуб писателей я пришел вместе с Лукониным за час до начала торжественного заседания. Мы не ошиблись в своих расчетах. В главном зале и прилегающих к нему помещениях Литературный музей развернул исключительно богатую экспозицию под названием: «А. С. Серафимович — писатель, общественный деятель, патриот». На ней были представлены многочисленные издания произведений Серафимовича на русском и иностранных языках, фотоснимки разных периодов жизни писателя, отзывы о творчестве Серафимовича В. И. Ленина, таких писателей, как Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, М. Горький и другие. Знакомство с экспозицией вызвало у нас чувство гордости за выдающегося советского писателя, признанного классика социалистического реализма. Луконину неожиданно пришли на память слова великого английского поэта Мильтона о Шекспире, и он мечтательно произнес: «Вот честь достойней царского венца! Вот слава, что не ведает конца!»

Одним из первых пришел Александр Фадеев — высокий, стройный, элегантно одетый. Голова — совсем седая, а лицо молодое, улыбчивое. В ту пору он был генеральным секретарем Союза писателей, и на нем, видно, лежала ответственность за проведение юбилейного вечера. Фадеев внимательно осмотрел выставку, несколько раз извлекал из кармана авторучку и что-то записывал в небольшую книжицу. Я видел, как он любовно приподнял висевший над столом президиума портрет А. С. Серафимовича, чтобы он лучше был

виден публике. Фадеев распорядился о том, чтобы в зале дополнительно был включен свет. Подошел к микрофону и легко коснулся его пальцами, чтобы убедиться в исправности.

Вскоре зал заседаний стал заполняться, как заполняются водой шлюзы: быстро и большими группами людей. Появились Н. Телешов и Ф. Гладков, К. Федин и Ф. Панферов, Вс. Иванов и В. Катаев, И. Эренбург и Ю. Либединский, В. Лидин и В. Ильенков, Н. Погодин и Вс. Вишневский, А. Сурков и К. Симонов, В. Луговской и А. Твардовский. Среди присутствующих был один из ближайших помощников В. И. Ленина — В. Д. Бонч-Бруевич, бывший посол Советского Союза в Англии академик Майский, прославленный герой гражданской войны генерал-полковник Ока Городовиков.

Большой зал заседаний едва вместил всех пришедших на встречу с Серафимовичем. Я обратил внимание на то, что на вечер явились засвидетельствовать свою любовь и уважение к маститому художнику слова поэты, прозаики, драматурги и публицисты, принадлежавшие к самым разным поколениям. Это весьма показательный факт!

Семь часов вечера... В президиуме занимают места А. Фадеев, Ф. Гладков, К. Федин, Вс. Вишневский, А. Сурков, И. Эренбург, К. Симонов. Почти одновременно в противоположном конце зала заседаний открылась огромная узорчатая дверь и вошел А. С. Серафимович в сопровождении жены, сына и других членов его семьи. Все участники собрания встали со своих мест и, повернувшись к проходу, горячими аплодисментами приветствовали юбиляра.

Серафимовичу, как было сказано, исполнилось тогда 85 лет. Но он шел к столу президиума довольно быстро и легко. Тщательно выбритая голова, улыбка на лице, великолепно сидевший на нем синий костюм, выпущенный наружу белоснежный воротник рубашки придавали его облику особую привлекательность. Рядом со мной кто-то произнес:

— Настоящий казак!

Серафимович сел в правой стороне президиума, в непосредственной близости к трибуне. Так как все

продолжали стоять и аплодировать, то он вынужден был движением руки попросить всех сесть.

На юбилейном торжестве выступило более 10 ораторов. В. Д. Бонч-Бруевич говорил о большой любви к А. С. Серафимовичу В. И. Ленина; Н. Телешов воскресил несколько эпизодов из дореволюционного прошлого и показал моральную и политическую принципиальность Серафимовича; В. Ильенков привел много примеров заботливого отношения Серафимовича к молодым писателям; А. Сурков в своем выступлении подчеркнул широкое распространение произведений Серафимовича за рубежами Советского Союза и их огромную роль в пропаганде революционных идей.

А. С. Серафимович внимательно слушал всех, временами он поворачивался к выступающему лицом, затем снова устремлял взгляд в большой зал, где люди следили за каждым его движением. С Бонч-Бруевичем и Телешовым расцеловался, остальным ораторам тепло пожал руки.

Председательствовавший на вечере Вс. Вишневский предоставляет слово для ответа на приветствия «писателю Александру Серафимовичу Серафимовичу». Все встали и бурными, долго не смолкающими аплодисментами снова приветствовали патриарха советской литературы, автора бессмертного «Железного потока».

Серафимович подошел к микрофону. Внешне казалось, что он был совершенно спокоен. Когда же он стал говорить, то нельзя было не почувствовать его глубокого волнения.

— Дорогие товарищи писатели и гости сегодняшнего вечера! — начал свою речь Серафимович. — Я думаю, что вы чувствуете, как мне приятно и радостно находиться среди вас. В выступлениях товарищей по ремеслу и друзей много говорилось о каких-то особенно больших моих заслугах перед нашей славной литературой. Мне кажется, что они допустили преувеличения... — Серафимович останавливается на несколько секунд, собирается с мыслями и затем продолжает тихо и задумчиво: — Не думайте, что Серафимович прошел прямой и легкий путь. У него были удачи и были, к сожалению, срывы. И если я действительно сделал что-нибудь существенное для нашей литера-

туры, для нашего народа, то только благодаря тому, что всей душой уверовал в Ленина, в Коммунистическую партию и старался идти по указанному ими пути...

...Я безмерно счастлив, что, выйдя из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось увидеть нашу страну в могучем расцвете ее сил. И хочется мне сегодня по-стариковски сказать всем вам: жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша — необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь, еще более раздвигайте ее просторы!

В зале долго и бурно аплодируют. В наступление пошли фоторепортеры. Девушки-студентки преподносят юбиляру и членам его семьи большие букеты хризантем.

Вс. Вишневский обращается к присутствующим:

— Товарищи! Официальная часть вечера объявляется закрытой. Все, кто не смог из-за регламента нашего собрания приветствовать Александра Серафимовича, могут подойти и сделать это в личном порядке.

То, что произошло после этого объявления Вс. Вишневского, взволновало меня не меньше, чем все предыдущее. Стихийно возникла предлинная очередь и через несколько минут стала двигаться в одном направлении — к А. С. Серафимовичу. Серафимович поднялся и стал дружески пожимать руки большому числу писателей и гостей.

Подходит А. Фадеев. Он по-сыновьи обнимает Александра Серафимовича и крепко целует его.

Подходит И. Эренбург. Протягивает юбиляру руку. Серафимович пытается вспомнить, кто перед ним.

— Илья Эренбург, дорогой Александр Серафимович!

Юбиляр изумлен:

— Илья Эренбург? Сколько же лет мы не виделись с вами! — и заключает Эренбурга в свои объятия.

Подходит А. Твардовский. Серафимович долго не выпускает из своих натруженных жилистых рук руку поэта, пристально вглядывается в его молодое красивое лицо и говорит:

— Спасибо тебе, что пришел сюда. И за все другое спасибо тебе.

Вечер закончился концертом. Московские артисты читали отрывки из произведений Александра Серафи-

мовича, молодой талантливый пианист (фамилию, к сожалению, не запомнил) исполнил любимые Серафимовичем произведения Танеева и Рахманинова.

В перерыве между двумя отделениями концерта М. Луконин и я подошли к Александру Серафимовичу и поздравили его от имени жителей Сталинграда и Сталинградской области. Он трогательно поблагодарил нас и просил передать свои «наилучшие пожелания дорогим землякам», с которыми, как он сказал, «мне уже, наверное, не придется увидеться».

Я возвращался домой полный радостных чувств. Я был уверен, что все мы — писатели и многочисленные почитатели таланта Серафимовича — отметим еще не один его юбилей. Но, увы, вышло по-другому: ровно через год Серафимовича не стало.

Рабиндранат Тагор говорил о том, что человек, не признающий своего родства с обществом, с народом, живет в темнице. Серафимович никогда не жил в темнице. Он всегда был связан со своим народом тысячами нитей. Это оказывало благотворное влияние на его творчество и было главным источником его неподдельного и большого человеческого счастья.

1976

Максим Подобедов

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ

I

С Александром Серафимовичем я познакомился весной 1928 года, на Первом съезде пролетарских писателей. Этот съезд в те годы сыграл немаловажную роль в советской литературе. Он помог выявить и объединить писателей, выдвинувшихся из среды рабочих и крестьян после Октябрьской революции. Съезд сплотил молодых литераторов-коммунистов, ставших впоследствии организующим ядром Союза советских писателей. На нем была оформлена Ассоциация пролетарских писателей, т. е. избраны правление и секретариат.

В созыве и работе съезда Александр Серафимович играл руководящую роль. Правда, при открытии не обошлось без маленького курьеза. Александр Серафимович произнес небольшую вступительную речь, поздравил съехавшихся со всей страны с первым в истории съездом литераторов.

— Такого съезда нигде никогда не было за всю историю человечества,— сказал он. — И у нас он стал возможен только после Октября, при советской власти.

Затем объявил съезд открытым и... сел за пустующий пока стол президиума.

— А президиум, Александр Серафимович! — крикнул кто-то из зала.

Серафимович коснулся ладонью своей крупной наголо обритой го-

ловы, сконфуженно встал и пожал плечами. И засмеялся.

— Старею, товарищи! Рассеянным становлюсь. Ведь и список президиума у меня в кармане. Вот чудеса!

В зале легкое движение, негромкий смех.

Когда поутихло, Александр Серафимович огласил список. В нем были Афиногенов, Ермилов, Демьян Бедный, Сурков, Киршон, Либединский, Фадеев, Ставский, Серафимович, Селивановский, Жаров, Светлов, Чумандрин и другие.

Съезд происходил в небольшом зале. Присутствовало на нем человек двести пятьдесят вместе с гостями. Сколько было делегатов — не помню. С первого до последнего дня председательствовал Серафимович. А познакомился я с ним случайно.

Во время обеденного или какого-то другого перерыва сидим мы с Иваном Макаровым — рязанским писателем, автором нашумевших в свое время романа «Стальные ребра» и повести «Рейд Черного Жука» — на скамейке небольшого скверика. Вдруг видим: из помещения выходят Александр Серафимович и фотограф с аппаратом. Держа треногу под мышкой, фотограф семенил рядом и уговаривал:

— Александр Серафимович! Ну, пожалуйста!

Серафимович хмурился.

— Не надо меня снимать,— сердито отбивался он. — Я вас очень прошу. — Он остановился. — С какой стати я один буду столбом стоять, а вы щелкать. Смешно, ей-богу!

— Можно же не одного,— восклицает фотограф и тут же задерживает двух проходивших мимо молодых людей и усаживает их на нашу скамейку рядом с нами. — Вот вы и не один! — весело произносит он, устанавливая треногу. — Группа участников съезда и писатель Серафимович! Прошу, Александр Серафимович. Одна минута!

Серафимович подошел к нам, улыбаясь, пожал плечами.

— Никуда от него не денешься! — кивнул он на фотографа. — Такой настойчивый — прямо беда! И хитрый! Играет на моих коллективистских чувствах. Давайте познакомимся, раз такое дело.

Мы встали, по очереди пожали его теплую сухощавую руку. Каждый назвал свою фамилию, город, из которого прибыл, потом сели, поместив Серафимовича в середину.

Так появилась фотокарточка, на которой я был, кажется, рядом с Александром Серафимовичем. К сожалению, у меня она не сохранилась.

Когда фотограф покинул нас, Александр Серафимович минут десять — пятнадцать посидел с нами. Каждого расспрашивал, где и кем работает, давно ли пишет, что написал и где печатался.

Я сообщил, что являюсь рабкором «Гудка» и что в журнале «Рабкор-железнодорожник» опубликована моя поэма «Ленинец».

— Интересно. О ком же вы написали? — спросил Серафимович.

— О слесаре курских железнодорожных мастерских,— ответил я.

— Любопытно. У вас нет с собой этого экземпляра?

Я с готовностью вынул журнал из своего портфеля. Александр Серафимович перелистал, нашел поэму.

— Так вы, значит, товарищ Суровый? Я же кое-что читал ваше... Вырезки из курской газеты мне показывал товарищ Красильников. Он написал статью о ваших стихах. В «Октябре». Может, дадите мне журнальчик на время?

Я с удовольствием оставил экземпляр журнала в руках Серафимовича.

На съезде я не видался с Александром Серафимовичем. Обычно на заседания он приходил как раз к началу и появлялся за столом президиума из каких-то «задних» ходов. Я мог бы повидаться с ним во время перерывов, но стеснялся. Думал: «Ему не до меня сейчас».

Когда закончился съезд, Александр Серафимович из президиума вышел в зал, и тут я отважился и подошел к нему, окруженному группой литераторов. Он медленно продвигался по проходу, разговаривая. Я подключился к этой группе. Конечно, он не заметил меня. И только у самого выхода я приблизился к нему вплотную.

— Товарищ Суровый! — воскликнул вдруг Александр Серафимович. — Куда же вы, батенька, пропали?

Смотрел, смотрел я в зал — не мог найти вас! Зрение пошаливает, да и народу много. Ну, пойдемте, поговорить надо. Журнальчик-то ваш дома у меня... без него говорить трудно, да и плохо на улице вести литературные беседы. Поедемте-ка ко мне. У вас есть время?

Да если бы у меня и не было времени — разве я мог бы отказаться?

Дома у него мы сперва пили чай, которым нас угощала супруга Александра Серафимовича. Когда она вышла на кухню, Александр Серафимович подмигнул мне и, улыбаясь, сказал:

— Не мешало бы чего-нибудь покрепче чая, а? — И кивнул в сторону кухни: — Не дозволяет! Строга моя супружница!

Я искренне заверил, что не охотник до «крепкого».

— Да вам-то еще можно, вы молодой. Впрочем, если не охотник — это очень хорошо. В столице немало таких... чуть напечатается где-нибудь — и пошел куролесить. Может, знаете поэта Бориса Ковынева? Стихи у него есть неплохие. Способный хлопец. Но пьет! Скандалы устраивает. Есенину подражает, дурачок. Так, стало быть, вы не охотник... Ну и прекрасно. Зеленый змий плохой помощник в литературном деле. Даже такие талантливые писатели, как Помяловский и Решетников, наверно, больше бы и лучше написали, не заболей они слабостью к спиртному. И пожили бы подольше. Решетников, например, всего тридцать лет прожил, а Помяловский и того меньше. Таланты их только-только силу начали набирать. Пролетарским писателям надо знать и помнить об этом. Простите, — вдруг заулыбался он, — что это я вас агитирую! Давайте-ка поговорим о вашей поэме.

Он поднялся, пошел в свой кабинет (мы сидели в столовой), вернулся с журналом «Рабкор-железнодорожник». Садясь, сказал:

— Прочел вашу поэму... и не однажды. И знаете, батенька, вроде бы у вас что-то любопытное получилось. Конечно, полемика с Лермонтовым, в «посвящении», несколько наивна. Вы пишете:

Нет, нет! не нежным, ласковым мадоннам
Я посвящаю стих корявый свой.

Это что-то не то... Вообще, мне кажется, посвящение вряд ли нужно. А если вы без него не можете обойтись, то надо его сделать просто от себя, не путая сюда Михаила Юрьевича. Хотя он и посвящал мадоннам свои стихи, они у него получались отнюдь не хуже, чем у наших пролетарских поэтов. Но сам замысел поэмы хорош. Показать отношение к Владимиру Ильичу рядового рабочего — очень важно и нужно. И хорошо, что ваш Кувалдин после смерти Ильича вступает в партию. Получается, что поэма ваша о ленинском призыве. О нем писать надо. Насчет стиха — я мало могу сказать. Стихов никогда не писал. Можно посоветоваться с кем-либо из поэтов или критиков. Но вот что мне особенно не понравилось. Кое-где грубо и неправильно рассуждает ваш Кувалдин насчет Ленина. Правда, он простой рабочий, не очень грамотный, образование у него, наверное, не выше трех классов. И все же не мог он во всех недостатках и бедах винить Ленина. Не мог он и так думать:

Местком, ячейка, учпрофсож,
А кто хозяин — не поймешь.

Самый отсталый рабочий отлично понимал и понимает, что после Октябрьской революции хозяин у нас советская власть, сам народ. Тут вы неправду сказали о своем Кувалдине. Если доведется ему прочесть вашу поэму, он шибко обругает вас! И словечки подберет похлеще, чем вы ему приписываете. Так-то, батенька! Вы не се́рдитесь, что я вам прямо́ и грубовато говорю?

Я пожал плечами, чувствуя, что краснею от стыда: ведь это же у меня вышло политически неграмотно! У меня, который руководил кружками политграмоты!

— Нет, что вы, Александр Серафимович! — потерянно пробормотал я. — Как же можно сердиться? Вы же правы.

— Очень хорошо! Редко бывает, чтоб автор соглашался, когда его критикуешь. Особливо из столичных. Ну, если вы согласны, то вот что: вернетесь в Курск (я жил тогда в Курске) — поработайте над поэмой. Уберите посвящение или переделайте его. Лермонтовских мадонн оставьте в покое. Слова некоторые замените. Я тут подчеркнул. Но главное — переделайте все, что

Кувалдин поначалу думает о Ленине и о порядках на узле. Все это надо как-то иначе... Пусть он критикует, но надо, чтоб он был добрей и не винил в недостатках советские организации, а тем более самого Ленина. Как это сделать — вы уж сами подумайте. Когда доработаете — присылайте. Дадим в «Октябре». И фамилию слесарю другую надо. Почему если рабочий, то обязательно Кувалдин? Лучше попроще, без тенденции, например Касаткин. Вам ведь надо, чтоб она в размер стиха укладывалась.

Я, конечно, был рад и взволнован. Пообещал поэму переработать. Но в том же году пришел к выводу, что почти все сочиненное мною в стихах очень плохо, в том числе и несколько поэм, что работать над ними нет смысла. В следующем году при встрече я сказал об этом своем решении Серафимовичу. Он подумал, покачал головой.

— Жаль, конечно. А я ведь думал, доработаете... Есть в поэме вашей, как говорится, рациональное зерно.

— Но стих, стих слаб, Александр Серафимович! — возразил я. — И язык, вы же сами и отмечали, и говорили мне.

— По языку сторонний человек у любого квалифицированного поэта или прозаика может что-либо найти. И не так уж много я и заметил. Может, мои замечания подействовали так сильно на вас? — спросил он, пристально вглядываясь в меня небольшими серыми глазами.

Я стал уверять, что сам давно почувствовал свою несостоятельность в поэтическом мастерстве. Выслушав меня, он вздохнул.

— Ну, смотрите... вам видней. Я ведь чего испугался? Может, мое неквалифицированное вмешательство в вашу поэму охладило вас? Я же и тогда предупреждал: в стихах я мало смыслю. В редактировании журнала, например, по отделу поэзии исключительно полагаюсь на человека, опытного в этом деле.

— Да нет же, Александр Серафимович! Уверяю вас, что давно уже засомневался в своем праве писать стихи. И поэма «Ленинец» написана мной еще по лету двадцать четвертого года. После нее я за крупные вещи в стихах не брался.

— Ну, если так, то иное дело... Значит, совести моей можно не болеть?

Разумеется, совести его можно было не болеть. Я сказал правду, что стал сомневаться в своем праве писать стихи. Но все же до сих пор я благодарен обстоятельствам, внушившим мне написать поэму «Ленинец» и журналу «Рабкор-железнодорожник», опубликовавшему ее. Именно эта поэма стала причиной первого знакомства моего с Александром Серафимовичем, которое с годами становилось все более близким. Знакомство это в моей литературной деятельности играло немаловажную роль, а кое в чем и решающую.

II

С 1928 года, т. е. с года знакомства с Александром Серафимовичем, бывая в Москве, я, по его всегдашней просьбе, звонил ему по телефону, и он обычно приглашал зайти. С особой радостью заходил я к нему на квартиру. И эти посещения, беседы с ним были для меня не только своеобразными семинарами в смысле умственного обогащения — они каждый раз надолго создавали во мне какое-то особое, радостное настроение, заряжали бодростью и верой в себя и человека.

Обычно дверь квартиры открывала приветливая Фекла Родионовна.

— Кто там? — раздавался голос Александра Серафимовича из кабинета.

— Гость из Воронежа,— отвечала она, предлагая мне раздеться.

— Ах, из Воронежа! — восклицал Александр Серафимович и быстро шел в прихожую. — Здравствуйте, здравствуйте! Как там Воронеж?

— Живет, растет! — отвечал я.

— Варейкиса давно видели?

— Дня три назад. Приказал привет вам передать. И приглашает к себе, в Репное.

— За привет спасибо, а насчет приглашения подумаю. Некогда, знаете. За роман взялся.

— Вот у нас в Репном, в доме отдыха, и поработаете над ним.

— Ну нет! Не привык я в домах отдыха работать. В них — отдыхать надо.

Он вел меня в свой кабинет, усаживал на стул и начинал расспрашивать прежде всего о наших литературных делах. После создания у нас журнала «Подъем» (1931 г.) он следил за всем, что мы печатали. И нередко я получал, как редактор, такие советы, которые, безусловно, помогали мне, ибо редактор я был молодой и малоопытный. Иногда он говорил мне:

— А вот эту вещицу,— он называл автора,— вы поспешили напечатать. Надо было заставить его поработать и подумать. Она ведь не только по форме сыровата, но и по содержанию непродуманна.

Помню, однажды разговор зашел о каком-то рассказе Бориса Пескова. Александр Серафимович отметил, что это несомненно талантливый парень. Но рассказец все же «не того»...

— Говорил я ему, но он больше прислушивается к Завадовскому.

— Это который же Завадовский у вас там?

— Известный писатель. В «Земле и фабрике» у него вышло четыре книжки повестей и рассказов.

— Ах, этот! Знаю, знаю. Кое-что читал. Но у него с идеологией в некоторых произведениях не все благополучно. Помню его «Песнь седого волка». Содержание насквозь буржуазно. Вы не читали этой вещи?

— Не приходилось,— ответил я.

— Вы понимаете, чего он, этот Завадовский, умудрился написать? Один человек, вроде охотника, что ли... с какой-то тоски или еще почему, научился выть по-волчиному. И до того довылся, что волки стали принимать его за своего. А он тому и рад. То есть человек превратился, в сущности, в зверя, а писатель Завадовский как бы даже и сочувствует ему. У Джека Лондона есть повесть «Белый клык». В ней проводится мысль очеловечения волка, а тут, понимаете, совсем наоборот. И вроде бы даже Завадовский полемизирует с этим произведением Джека Лондона. Так что вы скажите товарищу Пескову... парень он молодой... чтобы с Завадовским был настороже.

— Вряд ли он примет от меня такой совет,— сказал я.— Человек он с высшим образованием, имеет свои взгляды на жизнь и литературу. Завадовский же в его глазах — крупный писатель, тогда как я, в сущности, лишь начинающий.

— Да, конечно, это дело сложное,— помолчав и подумав, проговорил Александр Серафимович. — Ну, в таком случае, когда приеду к вам, сам с ним побеседую. От рассказа-то его какой-то странный душок идет. Вполне возможно, что тот же Завадовский влияет на него. Кто он, Завадовский этот, в социальном отношении?

Я рассказал о Завадовском, что знал. Выслушав меня, Александр Серафимович воскликнул:

— Вот видите! Я же по этой его «Песне седого волка» понял, что это писал человек, или не знающий, что такое коммунизм, или не приемлющий его! Ну как можно восхищаться тем, что человек среди волков стал чувствовать себя лучше, нежели среди людей? Значит, он бывший эсер? Но против советской власти не боролся?

— Если бы боролся, вряд ли он ныне жил бы в Усмани. Нет, против советской власти он не боролся и в настоящее время, на мой взгляд, настроен по-советски.

— Что же! Такое вполне возможно. Политически он разоружился. Похоже, человек не глупый, увидел, что планы эсеров рухнули. Против народа идти не захотел. Но идеологически ему ведь тоже перестроиться нелегко. Тут ваша писательская организация и должна помочь ему. Только делать это надо очень, очень тонко. Не только без дубинки, но и без указующего перста. Да! Вижу, придется мне к вам поехать. Надо поговорить с Иосифом Михайловичем Варейкисом.

Не знаю, был ли такой разговор у Серафимовича с Варейкисом, только помню, что именно Варейкис посоветовал нам привлечь Завадовского к работе в журнале «Подъем».

III

Иногда при поездке в Москву я захватывал с собой какой-либо свой рассказ, чтобы показать Серафимовичу. Так было, например, с рассказом «Предревкома». Серафимович дал мне какой-то журнал, чтобы я посмотрел, а сам стал читать мой рассказ. Читал он пристально и внимательно, порой возвращаясь к прочитанным страницам. Я больше следил за ним, разу-

меется украдкой, чем читал журнал. И видел, как лицо Александра Серафимовича то становилось хмурым, то прояснялось, то короткие подстриженные усы его трогала легкая улыбка.

Закончив чтение, он сказал:

— Сдается мне, что вы маловато над своим «Предревкомом» работали. Ну, по совести скажите: сколько раз вы его переписали?

— Два раза, а потом перепечатал на машинке!

— Два раза! — взмахнув руками, ахнул Александр Серафимович. — Да за два раза ни Толстой, ни даже Чехов — а он умел быстро работать — не написали бы рассказа, пригодного для печати! Правда, говорят, «Егеря» Чехов написал сразу в купальне. Я плохо этому верю... Короче говоря, вам, по существу начинающему прозаику, надо усвоить мысль: переписывать не меньше семи, восьми раз... да от руки, а не на машинке... Кстати сказать, и Гоголь советовал переписывать до семи раз!

Я в то время, увы, еще не знал ничего о том, как работали Лев Толстой, Антон Чехов и как советовал работать Николай Васильевич Гоголь.

Не трудно представить, что́ я переживал, когда меня отчитывал Александр Серафимович. Но его урок, преподанный мне по поводу моего рассказа, зарядил меня на всю жизнь сознанием, что над своими произведениями надо трудиться, не щадя, как говорится, живота своего.

«Предревкома» я после доработал, и он был напечатан в журнале «Рост». Зато другие рассказы я уже никому никогда не показывал со второго или третьего варианта.

IV

Однажды, когда Александр Серафимович был в Воронеже, его пригласили в школу, что находилась недалеко от заставы, на Плехановской улице.

Александр Серафимович тотчас дал согласие. Я решил проводить его и сказал, что попрошу у редактора газеты Швера легковую машину.

— А далеко эта школа? — спросил Александр Серафимович.

— Километра два,— сказал кто-то из присутствовавших.

Александр Серафимович засмеялся.

— На два километра машину? Да вы что! Пешком дойду. Дайте только адрес школы. Город заодно посмотрю.

Я пошел провожать Александра Серафимовича, объяснив ему, что обязан сделать это по долгу представителя писательской организации, хотя дело было не только в «долге»: просто мне хотелось воспользоваться случаем лишний раз побыть с ним.

По пути Александр Серафимович настойчиво втолковывал мне, что по городу надо не ездить, а ходить пешком, особенно литераторам. Ну, что из машины или даже из трамвая можно увидеть?

— В Москве от моей квартиры до Дома Герцена, что на Тверском бульваре, я всегда пешком хожу,— говорил он. — Ехать надо только тогда, когда расстояние больше пяти-шести километров или когда пешком не поспеешь к сроку. Пешему хождению меня учил Алексей Максимович еще до революции. Обязательно, дескать, ходите пешком и по утрам гимнастику делайте. Иначе, мол, не писателем будете, а геморроидальным типом. И что же — он прав! Ни в одной профессии не приходится столько сидеть, сколько в нашей.

Когда мы вышли на Плехановскую, Серафимович спросил:

— Это какая же улица?

— Плехановская.

— Узнаю, ходил я по ней в 1909 году. Тогда она называлась Большой Московской. Приезжал с литературной лекцией. Декадентов громил: Мережковского, Зинаиду Гиппиус и других. А почему эту улицу Плехановской назвали?

Я ответил, что не знаю точно, когда и почему, но, кажется, вскоре после Февральской революции.

— Вас удивляет, что она так названа? — спросил я.

— Отчасти удивляет,— сказал Александр Серафимович.

— Почему же? Разве Георгий Валентинович не заслужил?

— Заслужить-то он заслужил. Первый марксист. Основатель «Освобождения труда»... Одно время в ногу

с Владимиром Ильичем шагал. Но в пятом году, вернее, в шестом что писал? «Не надо было браться за оружие!» А в семнадцатом призывал поддержать «демократическое» правительство Керенского. А какое же оно было «демократическое»? Смертную казнь ввело на фронте, заставляло измученный народ воевать с войсками Вильгельма за буржуйские интересы! Я-то все это отлично помню. Конечно, до полного предательства, как Бернштейн и Каутский, Георгий Валентинович не докатился, против Октябрьской революции открыто не выступил. Но все же улицу ему надо бы дать другую... поменьше! А эту бы назвать улицей Ленина! Ведь улицы Ленина в вашем городе нет! [1] Боюсь, что в первые годы революции влияние меньшевиков в вашем городе было сильней, чем влияние большевиков. Будь иначе — или эту, или проспект Революции назвали бы Ленинской. Впрочем, влияние меньшевиков и эсеров и в Петрограде до осени семнадцатого года было сильным.

Встреча в школе в тот раз прошла очень хорошо. Предполагалось, что выступать придется перед учащимися восьмых и девятых классов, но пришли ребята и шестых и седьмых. Всем хотелось посмотреть на писателя и послушать его. Теснота была невообразимая. Ученики сидели и стояли в проходах. Александр Серафимович прочел «У обрыва» и рассказал несколько эпизодов вооруженного восстания на Пресне в 1905 году, рассказал, как он, придя на квартиру к Горькому, увидел рабочих, получавших от писателя оружие для сражения на баррикадах. Возможно, на воспоминания о пятом годе его подтолкнул наш разговор о Плеханове, потому что Александр Серафимович не просто рассказывал случаи и эпизоды, а проводил мысль, что это было общенародное восстание, что оно явилось подготовкой к Октябрьской революции. Он, как бы полемизируя с Плехановым, отстаивал ленинский взгляд на революцию пятого года. Характерно, что если рассказ «У обрыва» он читал по книжке, принесенной им в кармане, то о событиях на Пресне просто рассказывал, не глядя в книжку, хотя в этой книжке

[1] Улицы Ленина в Воронеже не было до середины 30-х годов.

были и его рассказы о пресненских событиях и вообще о революции пятого года.

Рассказчиком он был изумительным. И голос его, обычно немного глуховатый, становился как-то звучней и веселей и жестикуляция оживленней. Очень естественно и картинно он передавал диалоги действующих лиц. В классе, где проходила встреча, была необычайная тишина, невзирая на явную перегруженность его юными слушателями. По окончании встречи ребята пошли провожать Александра Серафимовича.

V

В 1933 году, в конце августа или в начале сентября, Александр Серафимович из Усть-Медведицкой приехал по Дону в Воронеж на своей большой моторной лодке, похожей скорей на катер, потому что на ней была приличных размеров крытая каюта, в которой могло поместиться человек шесть.

Его встречали работники газеты, издательства и представители писательской организации. В числе этой группы были редактор газеты А. В. Швер, директор издательства В. А. Алексеев, О. К. Кретова, Л. А. Плоткин и я. Мы все взошли на катер и фотограф снял нас.

Потом мы с Ольгой Капитоновной Кретовой поехали с ним в Репное. Александру Серафимовичу шел уже семьдесят первый год. В наших глазах он был не просто пожилым человеком, а почтенным старцем, к здоровью которого следовало относиться бережно. Поэтому, приехав в Репное, мы начали уговаривать его отдохнуть с дороги. Но он и слушать не хотел.

— Давайте-ка мы с вами побродим по лесам и по лугам! Вот это и будет отдыхом. — И он повел нас. Шли мы медленно. Он расспрашивал о жизни и работе наших литераторов, о журнале «Подъем», кого из молодых мы считаем «обещающими» и как помогаем начинающим. Потом разговор пошел о литературе вообще. Серафимович выразил удовлетворение, что теперь, после постановления Центрального Комитета партии, отпадает разрозненность писателей.

— Взять вот вашу ЦЧО (Центральную Черноземную область). Были у вас тут и пролетарские, и крест-

янские писатели, и попутчики. Попутчики-то ведь тоже, наверно, были? — спросил он.

— Были,— ответил я. И, помолчав, добавил: — Крестьянским и пролетарским писателям нетрудно объединиться. А вот попутчики-то некоторые морщиться начнут и покряхтывать. Вроде Пильняка, например.

— Возможно, возможно,— сказал Александр Серафимович. — Писатели народ трудный... Каждый на свой салтык. Но думаю, что таких, которые до сих пор не поняли, что такое советский строй, совсем немного уж осталось. Год-то ведь не семнадцатый и не восемнадцатый. Теперь даже такой упрямый, как Леонид Андреев, и то, будь жив, понял бы, что к чему!

И он рассказал нам о своей многолетней дружбе с Леонидом Андреевым, о том, как спорил с ним по поводу тех произведений Андреева, которые по содержанию примыкали к декадентским.

— А однажды я ему и говорю: «Слушай, Леонид! Почитал бы ты Маркса». А он взял двумя руками со своего стола огромную толстенную книгу в деревянном переплете, покрытом кожей, и говорит: «Вот что нужно читать писателю!» И положил передо мной. Думаю, что же это за книга? Отвернул дощатую крышку, гляжу: Библия! И обомлел. Да ты, спрашиваю, всерьез или шутишь надо мной? «Нет, говорит, Лысогорушка (он меня Лысогором называл), не шучу, а всерьез. В ней, в этой книге, опыт веков!» Я и руками развел. Читал, говорю, я эту книгу, так какой же в ней опыт веков? Противоречивая путаница, смесь мистики с натурализмом, а в историческом плане невежественная брехня! Куда там! И слушать не стал. «Ничего, говорит, ты не понимаешь!» А я и тогда еще подумал: вот откуда у него богоборчество, вот откуда и «Жизнь Василия Фивейского», и «Сын человеческий», и прочее подобное! Вижу: отрывается человек от настоящей жизни, а помочь ничем не могу! Под конец, по-моему, он стал на весь мир смотреть сквозь библейскую паутину. И все правел, правел и до того докатился, что стал редактором кадетского издания. Я как узнал об этом, так сразу поехал к нему на дачу, в Финляндию. Это было в августе или сентябре семнадцатого года. Огромное, несуразно построенное по плану самого

Андреева бревенчатое здание. Обширнейший кабинет и длинный пустой стол с календарем и чернильницей, возле которой толстая ручка. По видимости рад он был мне. Начал угощать. Мнение мое и до того было ему известно. Но я снова стал журить его, зачем-де ему нужно это редакторство? Уважающий себя русский писатель даже сотрудничать в таком органе не может, а ты, мол, в редактора влез! Молчит, заводит другой разговор, то о своей бывшей жене, то еще о чем-нибудь. Накормил, напоил, ночевать оставил. А я чувствую — чужие мы с ним совсем стали. Не понимает он меня. Да что меня! Того, что творится в стране, не понимает, и втолковать ему невозможно. Остался ночевать. Думаю, поговорю еще утром. А когда он ушел — худо мне стало. Чувствую, не об чем толковать мне с ним и утром. Скорбно и неуютно вдруг почувствовал я себя в этом странном и пустом доме. Потихонечку оделся и, не попрощавшись, ушел. С той ночи я больше и не видался с ним. До сих пор иногда укоряю себя, что не смог повлиять на Леонида, перетянуть его на нашу сторону. А потом подумаю: да что я? Алексей Максимович не смог. И вроде полегче станет. Дескать, наверное, так тому уж и быть.

...Пробродили мы в тот раз по лугу и по лесу около двух часов. Разговор об Андрееве мне крепко врезался в память. Но о чем еще беседовали, увы, забыл. Зато ярко запомнилось, как мы пели песни. Сдается мне, что гуляли мы в тот раз вчетвером или даже впятером. Кроме меня и О. К. Кретовой с нами было и еще двое воронежских литераторов, один из них Борис Песков, а другого не помню.

Песни мы пели и советские и старинные. Особенно запомнилась песня, которую запевал Александр Серафимович:

Ой, да ты подуй, подуй, ветер низовый,
Ой, да ты надуй, надуй тучу грозную...
Тучу грозную, ох, да не порожнюю!

Пел Александр Серафимович с воодушевлением, слегка откидывая голову назад. Голос у него был не сильный, но приятный. Песню его мы спели несколько раз, пока не запомнили текст, ибо до того мы не знали

ее. И то, что мы довольно скоро «выучили» его песню, помню, доставило ему удовольствие. Расстались мы с ним в тот раз вечером, когда в доме отдыха вспыхнули огнями окна.

VI

В 1936 или в 1937 году журнал «Октябрь» опубликовал статью «Троцкистские последыши». К числу всякого рода последышей было отнесено около двадцати человек «авербаховцев», среди которых была упомянута и моя фамилия. В вину мне вменялось то, что якобы я травил великих писателей Максима Горького и Александра Серафимовича.

Я в то время работал ответственным редактором альманаха «Литературный Воронеж». Меня вызвал работник отдела агитации и пропаганды обкома партии Магазинер и спросил, читал ли я эту статью.

— Читал,— ответил я.

— И что же вы скажете?

Я пожал плечами:

— Что тут можно сказать? Облыжно все, в чем меня обвиняют.

— Как это облыжно?

— Попросту неверно. Ни авербаховцем, ни троцкистом я никогда не был.

— Ну, а насчет травли Горького и Серафимовича? — спросил Магазинер.

— Как бы я мог их травить, если они мои самые любимые писатели из современных?

— Стало быть, тоже «облыжно»,— недобро усмехнулся Магазинер. — Странно! Почему и зачем тогда появилась статья?

— Об этом надо спросить того, кто писал,— сказал я.

— Она без подписи.

— И редактор и редакция должны знать, почему и зачем.

— Редактор журнала Панферов. Неужели он так-таки ни с того ни с сего... — недоверчиво покачал головой Магазинер. — Вот что, товарищ Подобедов... Придется все-таки разобраться. Поручим мы это дело вашей парторганизации. И если окажется, что действительно обвинение «облыжно», как вы утверждаете, доложим Центральному Комитету.

Через день меня вызвал к себе секретарь партийной организации книгоиздательства, в которой я состоял, Мандрыкин. Он в повышенном тоне начал меня упрекать. Как я смел травить таких замечательных писателей!

— И тебе не стыдно? — кричал он. — Да за это знаешь что надо...

— А ты где-нибудь читал или слышал, как я травил их?

— Но не может же быть, чтоб журнал допустил публикацию непроверенного материала! — немного успокаиваясь, сказал Мандрыкин. — Пиши объяснение, товарищ Магазинер рекомендовал — разобрать на партсобрании.

А через два дня я получил из Усть-Медведицкой копию такой бумаги:

«Председателю Союза советских писателей тов. Ставскому,
Копия тов. Подобедову М.

В № 6 «Октября» в редакционной статье в ряд с авербаховцами, травившими Горького и меня, поставлена фамилия тов. Подобедова М. из Воронежа. Категорически возражаю. Наоборот, тов. Подобедов весной 29 года выступал со статьей «Довольно молчать», в которой ругал установившуюся практику замалчивания меня. И вообще тов. Подобедов не может быть смешан в одну кучу с троцкистами-авербаховцами по одному тому, что он один из тех прямых рядовых писателей-большевиков, которые пишут, трудятся и дают неплохие произведения. Зачислять его в свиту Авербаха несправедливо, неверно.

А. Серафимович»

Я не стал писать объяснение и понес этот документ, подписанный А. С. Серафимовичем, хотя это была копия, в обком партии.

Магазинер долго сидел молча, склонившись над справкой. Потом, подняв на меня глаза, спросил:

— Вы знакомы с Серафимовичем?

— Знаком,— ответил я.

— Но почему же вы мне раньше об этом не сказали?

— Не было повода и причин говорить.

Помолчав и подумав, Магазинер позвонил Мандрыкину и сообщил ему о письме Серафимовича.

— Да, да! Сам Серафимович прислал. Оказывается, он знает Подобедова. С повестки дня вопрос снять, никаких объяснений не требовать.

Я был рад и благодарен Александру Серафимовичу. Неизвестно, что могло быть бы со мной, не вступись он за меня.

Разумеется, при встрече я поблагодарил Александра Серафимовича, рассказав ему все, как оно было. Со своей доброй и открытой улыбкой он заметил:

— Не меня вам благодарить надо, Максим Михайлович, а товарища Магазинера... Похоже, неглупый член партии и культурный человек.

— Авторитет ваш спас меня,— настаивал я.

— Но, Максим Михайлович! Есть ведь в партаппаратах люди и такие, для которых авторитет литературный не много значит. И страдай товарищ Магазинер такой односторонностью, другая могла получиться картина. Фактов травли вами Горького и меня найти нельзя было ни в печати, ни в другом месте... Но в таком случае односторонний человек мог считать фактом саму статью.

— Но, Александр Серафимович,— возразил я ему,— вы не учитываете того, что авторитет ваш и в партии и в народе настолько велик, что даже и совсем малокультурный человек не может с ним не считаться. Так что спасли меня прежде всего вы, и я не в силах думать иначе и не благодарить вас.

— Ну хорошо,— сказал он.— Благодарность вашу принимаю... хотя ничего особенного я и не сделал, поступил, так, как должен в таких случаях поступать всякий коммунист. А насчет моего авторитета вы все-таки того... преувеличиваете.

Нет, я не преувеличивал. Скоро исполнится тридцать лет, как не стало выдающегося творца классического «Железного потока», а память о нем жива и свежа, и авторитет его в народе и партии по-прежнему высок и непререкаем, ибо зиждется он на творениях, в которые вложена гигантской силы любовь писателя к Коммунистической партии, к трудящемуся человеку.

VII

11 апреля 1944 года Александр Серафимович подарил мне свою книгу с авторской надписью.

— Примите книжицу мою, себя на суд вам отдаю. Это все, что смог сочинить более или менее путного ваш покорный слуга Александр Попов,— простодушно и грустновато улыбаясь, проговорил он, протягивая мне продолговатую объемистую книгу, на темной обложке которой значилось: «А. С. Серафимович. Сочинения».

Я поблагодарил, глянул в оглавление: кроме рассказов и очерков в ней были и «Город в степи», и «Железный поток», и «Семишкура», и «Галина», и «Пески», и другие хорошо известные широкому кругу читателей произведения. Потом, положив книгу на ладонь, как бы взвешивая, сказал:

— Книжица сия томов премногих тяжелей!

— Увы, не очень-то тяжела,— возразил Александр Серафимович.

— Так ведь тут же не больше четверти написанного вами!

— Четверть или больше — не считал. Главное, тут отобрано, что получше... И все равно среди лучшего немало недотянутого... И дотягивать теперь уже вроде некогда. Других учил, особенно в советское время, работайте, трудитесь! А сам?

Нахмурив белые, как вата, клочки своих густых бровей, Александр Серафимович махнул рукой.

Мне и раньше случалось выслушивать иеремиады Александра Серафимовича о том или ином его произведении. Теперь же он подвергал критике книгу, в которую вошло, в сущности, «избранное».

Я начал горячо доказывать, что он не прав, что произведения, вошедшие в эту книгу,— большое достижение не только автора, но всей русской советской литературы.

Александр Серафимович протянул ко мне руки и просящим тоном остановил меня:

— Не надо... так не надо, Максим Михайлович!

— А «Железный поток»! «Город в степи»... это же на века!

Александр Серафимович неожиданно засмеялся:

— Эк вы, батенька, хватили! На века от нас, от моего поколения, останется один Горький... ну, может, еще Куприн, где-то сбоку. О тех, кто помоложе,— помолчу. О них рановато. Лет через двадцать прояснится, кто чего стоит. Вы, бог даст, доживете, а меня уж не будет. Впрочем, об умерших советских можно и теперь уж сказать. Фурманов, Островский Николай останутся.

— А Маяковский?

— Маяковский — это бесспорно. Этот сам писал: «Я к вам приду в коммунистическое далеко». А разговор его с Пушкиным помните? «После смерти нам стоять почти что рядом».

— А Демьян Бедный... как вы на него смотрите?

— Хорошо смотрю. Да и как мне плохо смотреть на него? С давних пор он спутник мой в литературе и политический соратник. Я помню его не только по «Правде», а и по маленькой дореволюционной газетке «Копейка», в которой он подписывался «Демьян Бедный Мужик Вредный». Да-а! — протянул Александр Серафимович. — Для буржуазии он действительно был «мужик вредный», да и для самодержавия. Но для народа — верный друг и защитник. Не знаю, как будет с его произведениями в веках, а на революцию, на гражданскую войну ни один из поэтов так не поработал, как Демьян. И в эту войну немало хороших стихов им написано. И все же, Максим Михайлович, не сравнить Бедного с Маяковским. Бедный — талант и большой. А Маяковский — гений. Силища в нем страшная. Вы не читали его стихов об Америке? Кто так смог бы и кто сейчас сможет? Хорошо, с подъемом пишут наши поэты, замечательные стихи созданы ими, а до Маяковского не того... не дотягивают все же... Ему бы теперь было пятьдесят лет. Представляете, как гремел бы его голос во время войны! На весь мир! Именно, как колокол на башне вечевой! А почему вы меня о Демьяне спросили?

— Сдается мне, что в нашей критике Демьяна Бедного недооценивают. Хотелось узнать, как вы к нему относитесь.

— Вот, вот! — оживился Александр Серафимович. — Именно недооценивают! Согласен с вами. А помоему, зря недооценивают. Разумеется, мы с вами не

судьи. Чему в литературе жить и чему забытым быть, решают время и народ! Однако, думаю, и мы имеем право «свое суждение иметь».

...Вопрос о Льве Толстом, наверно, был для Александра Серафимовича волнующим и сложным. В этот раз спустя некоторое время он заговорил о нем:

— Граф этот — страшенной, дьявольской силы писатель... и труженик! Читали вы «Хаджи-Мурата»? Вот, батенька, повесть! А труда сколько! Сдается мне, что думал Лев Николаевич над этим произведением очень долго, пожалуй, с первых дней своего знакомства с Кавказом... Это — начало пятидесятых годов. А написал, верней, закончил, когда самому ему было уже под восемьдесят. Вы были когда-нибудь в Хамовническом толстовском доме-музее?

— Был, — ответил я.

— Видали там старинный сундук, окованный жестяными полосами?

— Видал.

— Так вот этот сундук битком набит материалами и черновиками «Хаджи-Мурата». Говорят, черновики есть такие, что чуть ли не сто раз правлены и переписаны. Вот это, батенька, труд! Беспрецедентный в мировой литературе. Зато и повесть получилась! Невиданный и неслыханный шедевр! Вот в ней действительно вся Россия показана, от царя до мужика... Грешный человек, может, я и не прав, но считаю ее не хуже «Войны и мира». Он же в этой повести почти большевиком становится. Проклинает царизм и воспевает освободительную борьбу кавказских народов. И ни капельки от духа непротивленчества! И все это на каких-нибудь семи авторских листах! Художественно повесть — это Казбек, даже Эверест литературного мастерства. Да если бы у Льва Николаевича ничего больше не было — одна эта повесть дает ему право на жилплощадь в пантеоне бессмертных!

И долго мы еще говорили о литературе, о классиках, о советских писателях. Обо всем, конечно, не расскажешь, да всего и не вспомнишь. В памяти ведь остается всегда прежде всего самое интересное и самое яркое. Очень похвально Александр Серафимович отзывался о «Разгроме» и «Последнем из удэге» Александра Фадеева, о «Людях из захолустья» Александра

Малышкина. Поражало доскональное знание Александром Серафимовичем множества произведений советских писателей. Видно было, что он пристально следил за всем литературным процессом в стране, причем не только по столичным изданиям, а и по областным.

* * *

Вот и все, что я смог пока написать в своих воспоминаниях о писателе А. С. Серафимовиче, с которым на протяжении долгого времени мне посчастливилось видеться десятки раз и в общественной и в домашней обстановке. Но все ли это, что между нами было говорено, что нами совместно перечувствовано, передумано? Разумеется, не все, а лишь часть. Об остальном предстоит еще написать.

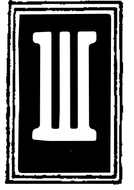
Александр Серафимович, вероятно, видел во мне не только литератора, а и бывшего рабочего, т. е. человека из «низов», и всячески старался поддержать меня и в литературно-творческих делах, и в редакторской работе, и в организационной деятельности как секретаря писательской организации. Он постоянно стремился «разжечь» во мне жажду знаний и в литературе и в политике, и особенно помочь в овладении марксизмом-ленинизмом. Делал он это и просто и тонко. Я никогда не чувствовал и не замечал, что, в сущности, он «ведет» меня «вперед и выше». Лишь много времени спустя после его смерти, вспоминая о наших встречах и беседах, размышляя над ними, я понял, что все-таки я был «ведóм». При жизни же его мне казалось, что между нами нет ни «ведóмого», ни «ведущего», что беседы наши всегда проходили на «равных». Такое представление создавалось, очевидно, потому, что Александр Серафимович был не только выдающимся писателем, но и недюжинным партийным пропагандистом и агитатором.

1976

Яков Шведов

О ПАМЯТНОМ, ЗАВЕТНОМ И ДОРОГОМ

I



ел трудный 1923 год. Это было необычайное время, время становления и собирания молодой советской литературы. Со всех губерний, из Сибири, с Дальнего Востока, Украины, из Средней Азии в Москву приезжали поэты и писатели. Столичные улицы центра ярко пестрели в те дни от красочных афиш литературных вечеров различных групп и направлений. Были афиши биокосмистов, неокосмистов, просто космистов, неоклассиков, комфутов и многих других «ничевоков».

В ту пору литературные группы в Москве возникали чуть ли не каждый день. При каждой редакции уездной газеты было свое писательское объединение или ассоциация. С фабрик, с заводов, из воинских частей в литературные студии Пролеткульта приходили новые люди — безусые юнцы и пожилые, еще не снявшие боевой шинели и буденновского крылатого шлема. Много было видено и пережито ими за эти годы: в огненной купели родилась новая власть, они боролись за нее, творили революцию на местах. Об этом они и хотели рассказать в своих первых стихах, поэмах, повестях и романах.

При газете «Рабочая Москва», предшественнице нынешней «Московской правды», которую редактировал тогда большевик-ленинец Борис Волин, работало свое литобъединение «Рабочая весна». Каж-

дое воскресенье в газете появлялась полоса, а иногда сразу две со стихами и рассказами рабочих авторов. И каждую неделю, по воскресеньям, со всех столичных районов сюда, в небольшой клуб при газете «Рабочая Москва», приходили начинающие, чтобы прочитать на творческом собеседовании свои произведения, услышать дружеский совет.

... Воспоминания о талантливом советском писателе, друге и наставнике молодых литераторов Александре Серафимовиче нельзя, сегодня просто даже невозможно давать в отрыве от литературного быта тех дней. Жили тогда писатели дружно, но голодно. Трижды дружнее, трижды беднее и голоднее жили молодые писатели, ведь в то время совершенно не было никаких фондов помощи молодым. Ютились молодые литераторы где попало, у многих не было постоянного жилья.

Я помню, что в комсомольской газете «Юношеская правда», как только уходили сотрудники редакции, бухгалтерии, к их столам сразу устремлялись начинающие поэты, критики, прозаики. Одни тут же садились за машинки и переписывали свои стихи, рассказы или статьи. Другие, у кого были деньги, приносили незатейливую снедь и хлеб. Ужинали все вместе за столом в редакторском кабинете. Потом начиналось чтение. А утром работникам редакции приходилось будить молодых литераторов, приехавших в Москву за славой, объяснять, что, мол, столы нужны, так как начался рабочий день.

... Поздней осенью 1923 года я впервые решился вынести свои стихи на суд «Рабочей весны». Старый поэт-критик Г. Перекати-Поле (Г. Кальмансон) сумел убедить меня, что пора мне где-то выступить со стихами. У нас в Рогожско-Симоновском районе, районе сталеваров и автомобилестроителей, одно время выходила своя районная газета «Рабочая слободка». Я поместил в ней несколько стихотворений, что утвердило за мной в районе и в комсомольском клубе славу стихотворца. В то время меня знали как активного рабкора да еще по стихам Безыменского «Весенняя прелюдия», где одна из строф была посвящена мне, «юному паяльщику с завода Гужон, таскающему гужом стихотворные строчки».

Я нес на обсуждение свою поэму в четыреста строк «Не приду». Работая в цехе, я жадно вглядывался в заводскую жизнь и видел, что к нам в цеха стало все больше приходить деревенских пареньков. В поэме я и попытался показать пути-дороги такого паренька, который находит на заводе свое призвание, светлую долю и новых друзей. Напрасно мать зовет его в трогательных письмах в деревню. Дорога́ герою мать, от нее он не отказывается, пусть приезжает она и посмотрит на завод, который усыновил его. Он отрекается лишь от старой деревни, не придет больше туда. Ну, а если возвратится, то лишь затем, чтобы повернуть деревенскую жизнь на новый лад. Вот вкратце и все содержание поэмы «Не приду».

... В зале много рабочих писателей. Я вижу пытливые глаза «рядового большевика» (так он себя называл сам) Бондарева, весовщика со станции Курская-Товарная. Пристально всматриваюсь в лица. Взгляд невольно задерживается на пожилом, лысом, широкоплечем человеке. Кто он? Он как будто знаком и незнаком мне. Где же я видел его и когда? Напрягаю память, но не могу вспомнить. В его глазах — запоминающаяся зоркость. Белый отложной воротничок рубашки плотно прилегает к коротким лацканам блузы, похожей одновременно и на командирскую гимнастерку и на рубашку-толстовку. Люди, вижу по всему, обращаются к нему с уважением. И все же я где-то раньше встречал этого человека...

Меня начинают торопить: пора читать. А я никак не могу — не по себе. Мои глаза так и тянутся к этому человеку.

Не помню, как начал и как кончил свое первое литературное выступление в кругу рабочих авторов. Все было в каком-то тумане. В зале из-за тусклого света слились вместе лица слушателей, виден был только блеск их глаз. Слышу, как гудит кровь в висках. Как никогда, сейчас мне так нужно участие, ободрение.

Началось обсуждение поэмы. Так почему же я никак не могу расслышать, о чем говорит выступающий? Какая-то глухота на мгновение поразила меня. И вдруг сразу исчезла: я услышал ободряющий голос человека

в блузе с белым отложным воротником. Он жестами дает мне понять, чтобы я не волновался. Он, кажется, говорит, что все, все будет хорошо!

Становится сразу как-то легко. Положительную оценку поэме дает поэт-критик Перекати-Поле. Слепой, он специально приехал сюда, чтобы сказать обо мне свое доброе слово. Рабочий поэт с Благуши Милин (М. Ильин) горячо и крепко жмет руку. Стою взволнованный неожиданным успехом.

Кончилось обсуждение. Учащенно бьется сердце. Медленно расходятся из клуба авторы. Иван Рахилло — член группы «Рабочая весна», только что приехавший с Кубани в Москву на учебу, идет наперерез толпе, чтобы поздравить меня.

Нас, рогожцев, много. Они спрашивают меня — домой пойдем пешком или поедем в трамвае? Конечно, все вместе, ведь нам по пути! А пешком или в трамвае — это не так важно. Главное, что все вместе!

Ко мне неторопливой походкой приближается человек, казавшийся мне знакомым и незнакомым, тот самый, который подбодрил меня во время читки. Он просит присесть и заботливо спрашивает, где и кем я работаю, давно ли пишу, сколько времени работал над поэмой. Голос его певучий, трогательный. В речи нет торопливости и нет московского «аканья», чувствуется даже некоторая медлительность. Он хочет разузнать обо мне все: кто мои родители и где сейчас они, как они относятся к моим литературным делам, учусь ли я.

Отвечаю быстро и подробно. Сообщаю, что сейчас стало жить легче, расформирован чоновский отряд (часть особого назначения), в котором я был бойцом. Чувствую, что говорю несвязно. А тут еще товарищи ждут. Не уходят. А он глядит на меня ласково, по-отцовски, точь-в-точь как старый мастер, мой непосредственный цеховой начальник. Да они и по возрасту, наверное, ровесники, есть что-то общее у них в словах и в поступках.

— Да вы не смущайтесь! Когда читали, смущались, оно понятно. А сейчас с чего, а? Было бы хорошо, очень даже хорошо, если бы зашли со стихами в журнал «Безбожник у станка». Его редакция отсюда недалеко —

в Козьмодемьянском переулке [1]. Там есть товарищ Дубовской. А редактор Мария Михайловна Костеловская. Будет хорошо, если вы этим двум товарищам сдадите свою поэму. А я завтра позвоню туда — к ним. Так что к вашему приходу они будут все знать. Хорошо, если вместе с поэмой прихватите несколько стихотворений. Вы скажете, что я направил вас. Думаю, что поэма будет им ко двору, к месту. Вас там встретят хорошо. А главное, не робейте, как сегодня. Ни к чему. Там затевают издавать новый журнал «У станка».

Невольно отмечаю, что этот пожилой человек с добрыми глазами влюблен в слово «хорошо». Но произносит он каждый раз это слово как-то по-новому. Оно звучит то как подтверждение, то как согласие, а порой и как вопрос.

Медленно и неторопливо он надевает меховой полушубок. Бюро группы «Рабочая весна» окружает его. Надо спешить, друзья рогожцы, наверное, устали ждать.

Заснеженная, полуосвещенная Большая Дмитровка, ныне Пушкинская. Со скрежетом проносятся под уклон трамвайные составы. Падает мелкий, сухой снежок. Иду с товарищами к остановке и мысленно все еще продолжаю беседовать с этим человеком. И вдруг с отчаянием вспоминаю, что не спросил у него фамилию. Как же я пойду к Дубовскому и Костеловской?! Он, наверное, еще не ушел из клуба. Может быть, у выхода застану его. Найду, извинюсь и спрошу фамилию.

В это время Бондарев кладет мне руку на плечо:

— О чем ты говорил с Серафимовичем?

Бормочу что-то в ответ несуразное. Возвращаться мне теперь уже не нужно. Вот почему этот человек показался мне знакомым, я где-то видел уже прежде его портрет. Неужели со мной, и так внимательно, разговаривал писатель Серафимович?!

Я с детских лет знал рассказы Серафимовича из жизни простых людей, среди которых я жил и живу сейчас. Совсем недавно прочитал его роман «Город в степи». А может быть, Бондарев подшутил, со мной

---

[1] Сегодня этого переулка не существует, он являлся началом Столешникова.

разговаривал совсем не писатель Серафимович?! Конечно, подшутил!

Признанные писатели, так казалось мне в то время, не ходят на рабочие литературные объединения.

Когда я поступал в Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ), меня экзаменовал В. Я. Брюсов. Брюсов был со мной строг и несколько официален. Его, кажется, по-настоящему заинтересовало лишь то обстоятельство, что вот рабочий паренек пишет стихи и учится в новой советской школе со странным названием «фабзавуч». Ему, Брюсову, любившему не только поэзию, но и математику, наверное, хотелось узнать, как преподают там алгебру. Он сам написал мне на доске несколько примеров по математике, и, когда я правильно решил их, только тогда он вежливо и несколько сухо попросил прочитать стихи, выслушав их, сказал бесстрастно, что я с сегодняшнего дня — студент ВЛХИ.

А Серафимович со мной говорил сердечно и ласково. Мне было так не по себе, когда меня экзаменовал Брюсов, и почему мне было так легко разговаривать с писателем Серафимовичем?

— Так о чем же побеседовали с Серафимовичем-то? — снова спросил старый рабочий.

И как раз в это время подошел трамвай до заставы. Наша ватага шумно ввалилась в холодный вагон. Пассажиров, кроме нас, почти не было. Нимало не смущаясь, мы завели разговор на темы, волновавшие нас. В пути мне многое стало ясным. Есть решение МК партии об издании журнала «У станка». Его авторским активом должны стать рабочие писатели Москвы, Петрограда, Иванова и других крупнейших промышленных центров.

В журнале будет принимать участие и Александр Серафимович. Двое наших рогожцев уже зачислены в штат журнала. Художник — Дмитрий Моор. И послезавтра в редакции первое совещание писательского актива.

— Ты просто отстал от жизни, — упрекнул Бондарев. — А раз Серафимович велел тебе туда зайти, не бойся, заходи! Рекомендую.

...В ту ночь я не ложился спать. Я вспомнил все замечания о поэме товарищей из группы «Рабочая

весна». Слова, как ящерицы, по выражению Эдуарда Багрицкого, вывертывались, ускользали от меня.

Я искал их, но не находил. Утром, собираясь на завод, я взял рукопись поэмы с собой, чтобы подумать над ней во время обеденного перерыва.

Пиджачишко был драный, по дороге я потерял рукопись. Потеря не повергла меня в отчаяние. Я знал поэму наизусть, и восстановить ее не представляло для меня особого труда.

В завкоме на разбитой пишущей машинке я переписал поэму и несколько стихотворений и вовремя успел явиться в редакцию будущего журнала «У станка».

...На первом этаже — вороха шинелей, ватников, пиджаков. Со второго — льется яркий свет. Слышится оживленный разговор и смех. По скрипучей деревянной лестнице подымаюсь на второй этаж. Там идет полным ходом чаепитие и обсуждение поступивших материалов. Есть и знакомые — наши рогожцы.

За столом — Серафимович, такой знакомый и родной. Рядом, слева, сидит человек чуть моложе его, но так похожий на Серафимовича. Если у первого все крупнее, резче, то у второго при общем сходстве все как-то мельче и мягче: мельче морщинки, мягче глаза.

Потихоньку расспрашиваю Бондарева о тех, кого не знаю, кого вижу сегодня в первый раз. Человек, который похож на Серафимовича, — его родной брат. Он коммунист, литератор. Есть у него и свои книги. Пишет под псевдонимом: Дубовской. Эта пожилая, склонная к полноте женщина — редактор журнала «Безбожник у станка» Мария Михайловна Костеловская. Она же и редактор будущего нового журнала «У станка». А этот — с озорноватыми зелеными глазами — известнейший художник Дмитрий Стахиевич Моор (Орлов). Около него — молодые художники Александр Дейнека, Мечислав Доброковский, все они приглашены работать в будущем журнале.

Стол буквально ломится от бутербродов. Мария Костеловская радушно угощает нас. Милые девушки — экспедиторы журнала — все время подливают горячий и крепкий чай.

Серафимович что-то сказал Дубовскому. Тот попросил меня прочитать поэму «Не приду». Читаю по памяти. А потом слово предоставили Серафимовичу. Он

положил на стол узловатые кулаки, по-своему, по-серафимовически, озабоченно поглядел на нас и стал рассказывать о некоторых особенностях писательского ремесла. Он говорил о самом сокровенном, о своей юности на Донщине, о скитаньях и муках, принятых в чиновничьем самодержавном Санкт-Петербурге. Поведал, как жил некоторое время в недорогой гостинице без копейки денег, но зато с большим запасом сахара и дописывал там один из своих рассказов.

— Вызываю, бывало, коридорного. Прошу принести самоварчик с заваркой, но без сахару. Он, коридорный-то, будто и догадывается, что я без средств к существованию, но молчит. И я молчу. Налью полстакана чаю. Засыпаю его сахаром. Вот и пью такой раствор. На пятый день такой чай стал хуже касторки. А чтобы коридорный не думал ничего, я много сахара в стакане оставлял. Пусть знает наших! У кого нет денег, не будет чай пить внакладку да еще столько оставлять. Вот так и дождался ответа из редакции. Благо, что ответ-то пришел положительный, а то было бы мне нехорошо. Расплатился я с хозяином и коридорному на чай дал. Месяца два потом не мог я на сладкий чай глядеть, так он мне в те дни надоел. Жилось прогрессивным писателям тогда в Питере тяжело. Конечно, Арцыбашеву, Вербицкой и им подобным хорошо было. Выслуживались они перед хозяевами, капиталистами разными. Были в Питере и рабочие писатели, но никто из буржуазных издателей не печатал их. Не выгодно. Никто с ними и не считался и всерьез не принимал. Да! Так они поближе к рабочим газетам норовили быть. А в тюрьме редкий из них не посидел.

Простые слова писателя полны настоящей, а не мнимой значимости. Он говорил нам, что человек, взявшийся за перо, должен уметь обращаться со словом. Он должен находить не просто слово, а слово, полное большой и проникновенной теплоты.

Он упоминает о пламени костра, согревающего человека лишь до той поры, пока он стоит перед ним. У писателя, человека искусства, должно быть другое тепло, внутреннее. И как бы ни был талантлив и одарен писатель, художник или артист, он обязан учиться.

Серафимович спрашивает нас, учимся ли мы и как вообще живем.

Остывает чай, но нам не до него! Никто до этого так не разговаривал с нами. А Моор, лукаво поблескивая глазами, показывает художникам, Костеловской и Дубовскому свои шаржи на участников этого вечера — рабочих писателей.

Ни гордость, ни высокомерие, ни заносчивость, повидимому, не знакомы Серафимовичу. Он обращается с нами как с равными, не выпячивая своего «я».

Он, прошедший большую жизнь, дает советы нам, начинающим, чтобы мы не повторили некоторые ошибки, столь присущие молодости. Он хочет, от всей души желает, чтобы начало нашего литературного пути стало более солнечным и теплым. И неторопливо, приятно округляя слова, Серафимович передает накопленный им за годы труда опыт, вводит нас в свою творческую мастерскую. Он говорит, как писал рассказ «Заяц», как собирал материал, что послужило толчком к написанию этого произведения, что в рассказе ему не удалось.

Мы окружаем писателя. Много у нас к нему вопросов. Стараемся задавать их не вперебой, но не получается. Он записывает их. А пишет он медленно, словно лепит букву к буквочке. И если какая-нибудь из них получается нечеткой, недописанной, писатель поправляет ее. Вот так и во время речи. Серафимович медленно, но до предельности четко доносит каждую фразу.

Подошел Дубовской и стал раздавать рукописи, не принятые по тем или иным причинам редакцией. Он говорит, чтобы мы не вздумали бросить их в печку, — во многих произведениях есть хорошее зерно, надо только суметь отмести шелуху. На полях каждой рукописи — замечания, сделанные Серафимовичем. Он говорит нам, что после переработки некоторые рукописи все же будут использованы во втором номере журнала «У станка».

Я несколько задержался в гостеприимной редакции.

Александр Серафимович спрашивает меня, буквально допытывается — почему я бросил «Брюсовку». Ничего не утаивая, говорю ему, что мне, проучившемуся всего лишь три года в церковноприходской школе да два года в высшем начальном училище (это что-то вроде школы-семилетки), ученику фабзавуча, очень трудно учиться в Брюсовке. А кроме всего,

в фабзавуче я комсомольский староста, редактирую газету «Паяльник», рабкор заводской газеты, а главное — то, о чем говорит профессура в Брюсовке на лекциях, недоступно еще моему пониманию: сказывается недостаточное общее развитие — нельзя перешагнуть сразу через три-четыре ступени. Мне надобно на вторую подыматься, то есть на рабфак идти, а я сразу в институт, на четвертую, а может, даже на пятую или шестую, — и без разгона.

Александр Серафимович улыбается:

— Это правильно. Хорошо и правильно. А учиться все же надо. Всем надо учиться. А вам, как говорится, в первую очередь. И не вздумайте откладывать! Если что вдруг не станет клеиться, обращайтесь ко мне. И приходите по воскресеньям ко мне домой на Красную Пресню. Хорошо?

Распростившись, я вышел на улицу. Мела колючая и звонкая поземка. Я запахнул полы своего пиджачка на «рыбьем» меху. Шел навстречу ветру, не ощущая его холодного дыхания.

Как хорошо жить на свете в девятнадцать лет! Кажется, что могу своротить горы. Хорошо быть молодым, и хорошо, что поэма и стихи будут помещены в настоящем журнале.

Вероятно, коллективу журнала «У станка» предстоит еще большая борьба. А план смелый: сделать интересный журнал руками рабочих писателей и поэтов. Но без борьбы нет и движения вперед.

На стенах Политехнического музея ветер треплет пестрые крикливые афиши биокосмистов. Быстрая ходьба согрела меня. Вспомнились слова Серафимовича о внутреннем тепле.

Я шел по безлюдным московским улицам. И невольно думал: как хорошо, что у нас, начинающих рабочих писателей, есть сердечный и умный друг-наставник Александр Серафимович!

Ветер кинул под ноги простыни-афиши с фамилиями поэтов-«ничевоков».

II

С большим опозданием вышел первый номер журнала «У станка». Хорошо оформили номер М. Добровский, А. Дейнека под руководством Д. С. Моора.

Александр Серафимович изрядно поработал над рассказами рабочих авторов, но об этом в журнале не упоминалось.

В «Правде» появилась большая статья о журнале. Было много сказано хорошего и о моей поэме «Не приду». Отмечалась положительно работа всей редакции. Но вскоре в одном из критических ежемесячников появилась и другая, в которой всех руководителей журнала назвали мнимыми рабочелюбцами. Автор утверждал, что такой журнал не нужен рабочему, что он непомерно дорог, что редакция портит рабочих авторов, выплачивая им высокий гонорар (а он, кстати, был скромным).

Но ничто не могло омрачить нашего праздника. И мы, рогожцы, решили отметить день выхода первого номера «У станка» товарищеской вечеринкой у Бондарева.

Когда мы еще раз просмотрели весь журнал, то оказалось, что больше половины литературного материала принадлежит нам, рогожцам. Да и во второй номер взято немало наших стихов и рассказов. Правда, идут слухи, что второй номер «У станка» выйдет не скоро, а может, не выйдет совсем, но мы не верили в это.

Будет или не будет существовать дальше журнал, мы не должны складывать своего оружия. Журнал дал нам путевку в литературу, мы постараемся оправдать ее. И в этот день мы решили организовать у нас, в Рогожско-Симоновском районе, литературный кружок. Секретарь райкома партии, старый большевик, в прошлом рабочий московской чаеразвески, Степан Захаров всячески помогал нам в организации кружка, очень нас поддерживал. Вскоре он и сам написал автобиографическую книгу «Путь рабочего», в которой простыми словами рассказал о своей жизни, как он, паренек с чаеразвески, умевший лихо пить водку, огреть острым словцом, а подчас и кулаком мастера-живоглота, стал большевиком и как рабочие большевики помогли ему в этом становлении, в поисках пути в партию.

Свой кружок мы назвали «Вагранкой». Как вагранка плавит чугун, так и мы в своей «Вагранке» будем плавить слово.

И самым дорогим гостем на первом нашем «ваграночном» совещании был Александр Серафимович.

Приняли мы его сердечно. Много он сделал для нас в «Рабочей весне» и «У станка». Мы ждали, что скажет он нам в день рождения рабочего литобъединения. Мы, члены бюро, по-хорошему уже знакомы с ним, он наш верный друг и учитель, но сегодня пришло много рабкоров и юнкоров. Пришли старые рабочие. Мы сами оповестили, что будет писатель Серафимович. А многие из них за всю свою жизнь не видели живого настоящего писателя. Ну, пусть увидят!

Свою повесть читал Михаил Платошкин с завода «Динамо». В районной газете «Рабочая слободка» когда-то у него были напечатаны стихи о родном заводе «Динамо». В новой работе молодой автор воскрешал далекие голодные годы, когда рабочие, наши отцы и матери, бросали семьи и уезжали за хлебом. Было заметно, что Миша волнуется. Капельки пота ползли к подбородку.

Александр Серафимович после читки признался, что эта повесть молодого автора захватила его, подсел к Платошкину поближе и стал ласково уговаривать не волноваться, а главное, не спешить при чтении.

Он сказал, что путь, выбранный Платошкиным, правильный, что у него есть все задатки, и если он будет работать, а главное учиться, то может стать хорошим писателем, что люди у него показаны многогранно и выглядят в повести живыми.

Позднее Серафимович отредактировал эту повесть М. Платошкина, помог автору устроиться на учебу и подготовил для издательства «Московский рабочий» его новый роман о буднях и делах комсомольцев — «В дороге». А судьба героини романа работницы Пани горячо волновала тогда комсомольскую молодежь, немало дискуссий и обсуждений было проведено в Москве по этому произведению рабочего автора. Трудясь уже после войны над повестью о начальнике цеха (она оказалась последней работой М. Платошкина: он умер в конце 1958 года), Платошкин не раз вспоминал теплым словом учителя и старшего товарища Серафимовича.

Кружок «Вагранка» рос и развивался. В издательстве «Московский рабочий» вышел его первый альманах.

Люди разных профессий приходили на субботник собеседования. Со всех концов Москвы приезжали на «Вагранку» пишущие.

Ф. Березовский, Ф. Гладков, А. Тарасов-Родионов и другие писатели были в те годы творческими руководителями «Вагранки».

Два раза посетил «Вагранку» Эдуард Багрицкий. Он принимал горячее участие в разборе произведений рабочих авторов. Бывал, и не раз, Алексей Сурков, живший тогда в нашем районе, в Дангауэровке; заходил Александр Фадеев. Но кто бы ни приходил как гость в кружок, кто бы ни руководил им, никогда Серафимович не оставлял без внимания «Вагранку».

... Вскоре по типу «Вагранки» возникли и другие литературные кружки: в Замоскворечье — «Искра», которым долго руководил тогда еще молодой писатель Юрий Либединский; в Сокольническом районе — «Закал». Существовал кружок и на Красной Пресне. А во Фрунзенском, тогдашнем Хамовническом, «Антенна».

И Серафимович всегда находил время приходить в тот или другой кружок, чтобы помочь начинающим. Он не жалел для нас, рабочих писателей, своего сердечного тепла. Он много сделал, чтобы душами и думами молодых рабочих писателей не завладели какие-нибудь ничевоки, не свернули на ложный путь.

III

Александр Серафимович не ограничивал свою работу посещением кружка, этаким «хождением к рабочим авторам». Он читал первые книги рабочих писателей, рекомендовал их издательству. Помню, я прочитал ему стихи «Сломка дома». Он тотчас попросил меня дать один экземпляр ему и сказал, что покажет его Марии Ильиничне Ульяновой. И вскоре это стихотворение было помещено на страницах «Правды». Он познакомил меня и с первым редактором «Комсомольской правда» Тарасом Костровым.

На квартире Серафимовича на Красной Пресне часто собирались писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Октябрь». А иногда он собирал группу молодых писателей, чьи произведения были приняты журналом, и вел у себя дома настоящие занятия по пи-

сательскому мастерству, говорил о долге и о месте литератора в наши дни.

Случайно с опозданием я узнал, что такая встреча молодых только что состоялась. Серафимович сожалел, что не могли оповестить меня. А как это огорчило меня! Я не мог понять: «Как это не могли найти?! Просто не захотели!» Расстроенный, я не пошел даже на рабфак. Долго ходил в тот вечер по московским бульварам. Одно утешало, что Серафимович все-таки не забыл обо мне. Он, вероятно, видел мои стихи и очерки на страницах последующих номеров журнала «У станка» (журнал перестал выходить после 4-го номера) и в «Октябре», к которому он имел теперь самое близкое отношение. Но Исбах, рассказавший об этой встрече, утешил, что скоро будет новая встреча, о которой мне дадут знать.

И действительно, на этот раз меня «разыскали».

Заведующая редакцией «Октября» Е. Гракова заранее сказала мне, какого числа, в котором часу должна произойти новая встреча у Серафимовича и что меня там будут ждать.

... И вот я иду по переулкам Красной Пресни. Иду и вспоминаю маленькие, но выразительные рассказы Серафимовича о дружинниках — героях боев на баррикадах 1905 года.

Невольно сдерживаю шаги и останавливаюсь на холодной каменной площадке. Вспоминаю начало 20-х годов, нашу торжествующую и бедную юность, чоновские отряды и походы в чащи Измайловского леса, который в то время еще называли Измайловским Зверинцем. Сто граммов хлеба пополам со жмыхами, винтовку на плечо — и пошли в путь комсомольцы на выполнение самых обычных, а подчас и сверхтрудных заданий. Ничего, справлялись!

Гляжу на щербатые ступени лестницы. А сколько раз тут подымался и сбегал вниз красивый и ладный, с крупными чертами лица и светлым пушком над верхней губой Анатолий Попов, которого в те годы друзья запросто окликали «товарищ Тола»! И мы, комсомольцы самого начала 20-х годов, не успевшие по своим годам быть на фронте, старались походить на товарища Толю.

Еще в 1917 году, в дни вооруженного Октябрьского восстания, Анатолий Попов и его младший брат Игорь были дерзкими разведчиками в рабочих отрядах. Иногда их сопровождал угловатый пресненский мальчишка из рабочей семьи Петя Воробьев [1], или Воробушек. Вскоре после Великой Октябрьской победы Анатолий изучает военное дело. Он узнал все законы ведения орудийного боя.

Вспоминаю, что по ступеням неширокой этой лестницы шел курьер с письмом Владимира Ильича Ленина, только что узнавшего от М. И. Ульяновой о героической гибели старшего сына писателя Александра Серафимовича.

И для нас, московских комсомольцев, Анатолий Попов стал образцом комсомольской чести и доблести.

Звоню. Дверь мне открывает Михаил Платошкин. Прохожу в большую комнату, где уже собрались Борис Горбатов, Николай Богданов, Марк Колосов, Анатолий Кудрейко и другие. От их веселых молодых голосов, кажется, повеселела скромная и тихая квартира Серафимовича.

Серафимович шутит:

— Совсем наш Яша зарабфачился. А может, и зазнался? Вы говорите, что не зазнался! Это хорошо, но нехорошо забывать старых друзей. А особенно такого старого, как я.

Серафимович в хорошем настроении.

— Прошу, прошу всех опоздавших и неопоздавших за стол.

Выпили по бокалу донского вина, предложенного любезно хозяином. Об отказе нельзя было и подумать.

Стихи читает Анатолий Кудрейко. А Серафимович пройдется по комнате и обязательно шепнет что-нибудь то одному, то другому.

— Нет, — говорит он, когда поэт закончил чтение поэмы о Шандоре Петефи, — что бы вы ни думали, а ему надо писать прозу. Хочу верить, что будет у него превосходная проза. Вот Платошкин. Тоже начинал со стихов. Хорошо, что бросил. Проза — это великое дело. Люблю прозаиков! И Горбатов перестал писать стихи.

---

[1] Петр Яковлевич Воробьев умер в 1974 году в Калининградской области.

Правильно поступил. Проза-то у него отличная получается.

Румянощекая хозяйка, ладная и крепкая, подает нам чай и ставит на стол горы домашних пирожков. Видно, в этом доме знают, что еще нелегко порой живется молодым писателям.

Серафимович подходит к поэту Долину и чуть ли не силой тянет к столу, усаживает, сам садится около и говорит о его стихах,— интересуется, а нет ли какой возможности переиздать его книгу стихов. Он выслушивает его объяснения, говорит что-то Колосову и, не обращаясь на этот раз ни к кому, с сокрушением говорит:

— Нет глазу, нет досмотра. А хороший глаз ой как нужен!

И, видя, что мы притихли, замолкли, он молодо и весело кричит:

— Хорошего вина прислали мне с Дона! А ну-ка еще по рюмке донского. Выпьем, чтобы ваши стихи, песни, романы и повести были еще краше, еще лучше.

Кудрейко спрашивает у хозяина:

— Александр Серафимович! Я слышал, что Шолохов написал хороший роман. Вы его читали? Если читали, то как расцениваете?

Серафимович задумывается.

— Это не так просто. А откуда вы знаете, что Шолохов роман написал? В таком случае применим старые, дореволюционные военные звания. А если прибегнуть к ним, то в данном случае я вроде рядового в литературе или что-то около вахмистра, а Шолохов уже генерал.

И вдруг его голос дрогнул, в нем нет уже ласковости, в нем слышится медь.

— А почему же это вы, молодые люди, нигде не бываете? Не странствуете, не скитаетесь? Стыдно вам, очень стыдно должно быть! Скажете, что материальных возможностей нет. Не поверю! Ни за что не поверю! Попросите в любом журнале немного денег вперед, ручаюсь, что не откажут, и уходите куда только ваши глаза глядят. Вы ребята хорошие, крепкие. Вот мне рассказывали, как «молодогвардейцы» решили на лодке пуститься в плаванье по Москве-реке и Оке до Волги. Проехали немного, перессорились и вернулись обратно. Только один из них доплыл все же до

Нижнего. Вы бы к плотогонам в кашевары нанялись. В какую-нибудь экспедицию устроились бы. Хорошие поездки ох как вам нужны!

Мы пытаемся возражать Серафимовичу. Журналы нас не посылают, не верят в наши силы. И с денежными средствами в самих редакциях не густо! И в экспедицию на короткий срок трудно наняться. Им, участникам экспедиции, «летники» не нужны. Мы рассказываем писателю, как некоторые из нас ходили к Краснохолмскому мосту на Москву-реку грузить и разгружать баржи. Прошедшей зимой кое-кто из нас ходил в Большой театр, но не слушать оперу, а колоть для котельной дрова. Мы издали свой альманах в издательстве «Молодая гвардия» и добились, что издательство всю чистую прибыль вручило бюро группы на повседневные расходы и на самую минимальную помощь отдельным товарищам, как, например, на дорогу в санаторий по болезни.

Серафимович как-то даже растерялся: наш натиск был резким и неожиданным.

— А я вот этого-то и не знал, — признался он. — Немножко, значит, отстал от жизни. Это нехорошо для меня. Очень нехорошо. Хотел было вас «пощунять», а пришлось самому быть на положении «щуняемого».

Он располагается на диване, раскидывает руки по спинке и мечтательно рассказывает о том, как в юности пешком ходил по градам и весям Белоруссии.

— Забыть не могу одну встречу. Было дело к вечеру. Подхожу к деревне. Совсем стемнело. У околицы, на отшибе, заметил хатку. Почти по стреху в землю ушла. Рамы тряпками заткнуты. А на завалинке сидит хозяин, волосы копной. И сам-то мужичок такой маленький, что и на мужичка-то не похож. Так себе, одним словом, мужичонка. И бородка, и усы у него какие-то ненастоящие. Стало мне зябко. По лугам роса этакая стелется. Холодком от болотищ потянуло. Вижу, достал тот самый мужичок свирель-самоделку и заиграл, да так громко, что я и не поверил вначале, что это он играет. Откуда только сила взялась? А потом запел. И опять я было не поверил, что у такой крохи сильный голос. Не голос, а голосище!

Серафимович чуть приподнялся с дивана, повел плечами, будто собираясь войти в воображаемый круг

с пляской, закрыл глаза и запел: «Чего мне не пети, чего мне тужити!»

— Гляжу на этого мужичка-моховичка, а его-то нет: сидит на завалинке орел, а не поболотник-кулик. Откуда у него только такая мощь взялась! И лицо стало красивое, человеческое; бороденка и усы — тоже настоящими. И идет все к его лицу. Хозяин передо мной, да и только! Хорошо, что же будет дальше! Гляжу и дивлюсь: я заплаток на его штанах и рубахе не вижу. Вот так меня песня захватила.

Вот вам, молодые поэты, надо песни писать. Хорошие песни. «Кирпичики»-то надоели. А откуда «Кирпичики»-то? Музыка из старинного вальса «Две собачки» или «Три собачки». Дело не в собачках, а в том, что к этой музыке новые слова, как говорится, присобачили, то есть приспособили. А песню нельзя, товарищи, приспосабливать! У песни вся сила в ее душе. Если вздумается написать песню, не приноравливайтесь, она этого не терпит. Пойте в стихах-песнях от чистого сердца. В том-то и сила многих хороших революционных песен, что от души, как призыв, они писались. Пусть меня осудят, но я люблю многие песни, созданные Суриковым и его последователями. Можно спорить о «суриковщине», но Суриков хорошо знал, что положить в основу песни. И его ученики секретом этим располагали. В старое время в городишке Верхнеудинске жил учитель Дмитрий Давыдов. Написал книгу стихов. Назвал он свой сборник, кажется, так или что-то близко к этому: «Думы ссыльного на Байкале». Забылись и книга и автор. А одно произведение из книги осталось. И долго будут петь стихи Дмитрия Давыдова про славное море, священный Байкал. Тут Саянов в одном журнале писал, что поэту Дмитрию Давыдову за эту песню надо бы памятник на берегу Байкала поставить. Я согласен с Саяновым: за песню, если полюбил ее народ, надо автору ставить памятник. Забылись все стихи Садовникова. А его песня «Из-за острова на стрежень» живет и будет жить. Хорошая песня никогда не пропадет.

В смущении он укорил себя:

— Опять о другом начал. А про белоруса-то так и не кончил было. Спел мужичонка песню до конца, начал другую, как мальчишка-пастушонок табун стережет.

Ему холодно. От росы он продрог, перезяб! А все люди спят, и нет никому никакого дела до нищего пастушка, берегущего в холодную ночь чужую скотину.

Серафимович зябко повел плечами. И нам стало холодно, будто у нас ноги, как у того мальчишки-пастушка, промокли от осенней росы.

— А я стою как околдованный,— продолжает Серафимович. — И боязно, и жалко мне очарование, навеянное песней, нарушить. Велика сила у песни. И только когда кончил мужичок, я подошел к нему и попросился ночевать. Интересный, глубоко одаренный, поэтический народ — белорусы. И Янка Купала у них славный поэт. Любят его по-хорошему с давних пор в народе-то! Чудесно я прожил, славно прогостил некоторое время у мужичка-моховичка. Уходите, друзья, летом в дорогу. Собирайте материалы. Все может потом пригодиться. Ох, как пригодится в дальнейшем-то!

IV

Не раз я потом встречал Серафимовича в домашней обстановке, то среди молодых литераторов, то в группе писателей журнала «Октябрь».

На его квартире я познакомился, а после и подружился с одним из первых пролетарских поэтов Николаем Гавриловичем Полетаевым. Он всегда был как будто спокоен, в разговоре никогда не повышал голоса. Говорил как-то приглушенно, но простого человека он прославлял во всю силу своего дарования.

Там я встретился с прозаиком Бусыгиным — веселым, жизнерадостным ростовчанином, автором повести из эпохи гражданской войны «Закалялась сталь», с поэтом Макаром Пасынком — в прошлом рабочим с грозненских нефтепромыслов. Там я увидел и Михаила Юрина, приехавшего из Баку в Москву.

Частыми гостями у Серафимовича были молодой, статный и уверенный Федор Панферов, юный, со свежим девическим лицом Александр Исбах, позднее встречал всегда озабоченного делами и своей болезнью Василия Ильенкова, только что перебравшегося из Брянска в Москву. А до этого, на одной из бесед, встретил писателя Дмитрия Фурманова, в прошлом комиссара 25-й дивизии у Чапаева. Фурманов работал

в то время редактором в одном из государственных издательств и учился в МГУ.

На квартире Серафимовича беседа всегда шла за столом, за чаепитием.

Помню, как хорошо рассказывал Серафимович на одной из бесед о своем современнике писателе Леониде Андрееве. Ловко, лишь штрихами и деталями, он нарисовал нам литературный портрет друга своей юности.

И когда после бесед мы расходились от Серафимовича, каждый из нас чувствовал себя внутренне обогащенным, а многие сожалели, что беседа так рано кончилась.

А какое там рано!

...Работая над песнями по совету Серафимовича, помещая стихи в различных газетах и журналах тех лет, не прерывая связи с заводом, где прошла моя юность, я постепенно накопил много материала для лирической хроники в прозе, которую назвал «На мартенах».

Собрал также много материала из жизни старой рабочей окраины. Писал чаще всего лишь во время студенческих каникул. Бывало, как светлого дня, ждешь начала занятий и того дня, когда снова войдешь в тишину аудиторий или в шумные коридоры рабфака искусств, где тебя окружат друзья, только что вернувшиеся изо всех уголков страны.

За время каникул я с маху написал повесть о старой окраине — «Юр-Базар». Переписав раза два-три, я отнес ее в «Октябрь». Редактировали ее Михаил Лузгин и Александр Фадеев.

Повесть была принята с небольшими исправлениями в тексте. Фадеев написал мне большое письмо об этой повести. Но мне хотелось, чтобы, помимо Фадеева, ее прочитал и Серафимович. Ведь это он подбил меня на ее написание, это он говорил мне, что я должен засесть за книгу прозы. Но в то же время мне не хотелось и злоупотреблять добротой и любовью занятого и много работающего писателя.

Пришел как-то в редакцию «Октября». А. Ступникер — тогдашний секретарь — сказал мне, что Серафимович очень хочет поговорить о моей новой прозаической работе. Назвал день и час, назначенный мне Серафимовичем, и добавил, что журнал «Октябрь» будет

проводить в тот же самый день свой творческий вечер в клубе «Трехгорки», и ты — есть такое решение — должен выступить на том вечере.

— Так что прямо от Серафимовича и приходи. Его квартира ведь почти рядом с клубом.

Я выбрал на этот раз путь на Красную Пресню самый дальний. Пошел пешком. По дороге настойчиво думал, что скажет старый наставник об этой книге. Книга-хроника «На мартенах» ему не понравилась. А может быть, и эта повесть не заслуживает внимания. Может, зря ту хронику приняли в альманах «На подъеме»?

Входную дверь открыл мне Серафимович. Он пожурил за опоздание и несколько торжественно ввел меня в большую комнату, где обычно проходили у него все литературные встречи.

— У меня сегодня дорогой гость, — почти шепотом сказал он, — Шолохов. Так что вряд ли состоится наш разговор. Наказание за опоздание!

Я поздоровался с Шолоховым. Серафимович был несколько удивлен. Он, наверно, не предполагал, что мы уже давно знакомы друг с другом. А мы встречались не раз в «Журнале крестьянской молодежи» у Василия Кудашева, Николая Одоева. В журнале «Комсомолия» был дружеский шарж молодых Кукрыниксов на Шолохова с поэтической подписью Александра Безыменского: «Писателем ты станешь сразу...»

— Знакомы, — кратко подтвердил Шолохов.

— Еще по группе «Молодая гвардия», — добавил я. — Шолохов — старейший молодогвардеец. — А затем обратился к Шолохову: — Долго тебя не было видно в Москве.

— И правильно, что он не приезжал в Москву. Сидел человек на Дону, в станице, и работал, — перебил Серафимович. И, обращаясь ко мне, сказал: — Теперь я вижу, что нынче у нас не будет разговора. Конечно, «Юр-Базар» лучше, чем хроника «На мартенах». Я читал письмо Фадеева к тебе. С его отзывом согласен. Правильные замечания делает он по рукописи. Надо суметь выправить. Я вмешиваться не буду. Пометил кое-что в оригинале. Сделаны мои пометки синим карандашом. Если что на пользу, учти. Обидно, что и в этой работе еще мало стройности в композиции. Зато

много торопливости и недоработок. Над словом мало поработал. Такое у меня создалось впечатление при читке. Но в целом вещь все же интересная. Садись за обработку и сдавай. Фадеев прав, надо печатать в «Октябре». А на «Трехгорке»-то сегодня будь. Обязательно приходи.

Не прощаясь, покидаю квартиру. Вот и ладный двухэтажный особняк — клуб «Трехгорки». Раньше тут жил хозяин фабрики.

Слушатели сходились неторопливо. На сцене, где собирались писатели — участники вечера, было полутемно и холодно. Выступал секретарь журнала. Он говорил о новых целях, задачах и направлении журнала «Октябрь». Выступали рабочие «Трехгорки» со своей оценкой литературных произведений, печатавшихся в «Октябре». Потом начались выступления писателей. Николай Полетаев прочитал стихи о рабочей окраине.

Потом слово предоставили Шолохову. Он мастерски, вдохновенно, я бы сказал, с огоньком прочитал страницы из романа «Тихий Дон». Это, как помнится мне, было первым выступлением Михаила Шолохова с читкой «Тихого Дона».

Александр Серафимович во время чтения не сводил с Шолохова восхищенных глаз, он показался мне в тот вечер помолодевшим и боевитым.

Это была предпоследняя встреча с Серафимовичем на Красной Пресне. Вскоре он переехал в более удобную квартиру на Всехсвятской (ныне улице Серафимовича).

Но традиции литературных встреч в квартире на Красной Пресне не были позабыты и там. Правда, они стали носить несколько иной характер. И люди были другие, и беседы стали иными.

Все чаще там разгорались литературные споры. Заходил на квартиру к Серафимовичу и секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев, и другие работники ЦК комсомола. Бывало и так, что после длительных споров на квартире у Серафимовича переходили к Косареву. Читали стихи. Спорили о новых произведениях.

Как-то пригласили Серафимовича, Ильенкова и меня на литературный вечер в Дом старых большевиков возле Мясницких, ныне Кировских ворот. Василий Ильенков восторгался внутренней отделкой дома,

который до революции принадлежал известному чайному торговцу Высоцкому. Не помню, но в каком-то своем произведении Ильенков описал этот дом.

Серафимович, когда мы вышли на улицу, лукаво сказал:

— Русский мужичок чай пил, а Высоцкий богател и богател. Вот какую махину отгрохал. С башенками, что твой замок!

Ильенков, у которого при этом пронизывающем до костей ветре особо давала знать о себе старая болезнь, был хмур и неразговорчив. Серафимович предложил идти до улицы Горького, где жили Ильенков и я, пешком. Ильенков отказался, сослался на нездоровье и поспешил распроститься.

Мы шли по узкой Мясницкой улице. Прохожих было немного, улица казалась пустой. Шли мы, разные по возрасту люди, разговаривая о книгах и о стихах. Серафимович что-то отрицательное сказал о поэзии. Я очень любил, да и люблю сейчас, стихи Омара Хайяма. Тогда я знал «Рубайят» — небольшую книгу стихов этого непревзойденного мастера песенной мудрости — почти всю наизусть. Я начал читать ему хайямовские четверостишия. Серафимович насторожился. На площади Дзержинского он неторопливо, как всегда, сказал:

— А знаете, очень хорошо! Должен признаться, что впервые слышу это имя. Саади, Гафиз, а вот об Омаре Хайяме впервые услыхал. Нуте-ка, прочтите еще раз стихотворение о наградах-то.

Я выполнил его просьбу. И очень был изумлен, когда Серафимович повторил этот стих.

Читая стихи, преодолевая резкий ветер, мы дошли до дома, где жил Серафимович. Он предложил мне зайти. В комнате, в тепле, за чашкой чая, Серафимович вдруг стал выговаривать мне за все промахи, которые он заметил в моем большом очерке «Поиски отечества».

— Как же это у вас получается? Значит, вы лично знали английского металлиста Томаса Хорна? Это верно, что, когда он находился в Англии, узнал, что награжден в России орденом Трудового Знамени?

Я сказал, что знал этого англичанина-листопрокатчика много лет. Только я изменил его фамилию. В жизни он не Хорн, а Монгер.

— На это вы имели право. А вот на что вы не имели никакого права, об этом скажу. Когда пишете о русском рабочем Логунове, он у вас полнокровный, живой. Как дойдет дело до Хорна, то он у вас восковая фигура. Надо было бы как-нибудь его оживить. Подумайте. Издавать-то, наверное, отдельной книгой будете? Вот после журнального варианта поработайте над образом рабочего-англичанина. Книга-то заслуживает внимания.

Я поблагодарил Серафимовича за совет. Время было позднее, надо было уходить. Серафимович подошел к простому секционному книжному шкафу, их в комнате было пять, достал новое издание «Железного потока», присел к краешку стола и очень медленно, как никогда, что-то стал писать на чистом листе в книге.

«Яше Шведову, который растет, с пожеланием еще большего и упорного роста.

А. Серафимович

7/I. 33 Москва».

В прихожей он вручил мне книгу.

— На память о сегодняшнем вечере. Старайся писать лучше, чем это делаю я. При случае лучше добиться переиздания хорошей старой книги, чем выпускать новую, но недоработанную.

Я сказал, что издательства не переиздают моих прежних вещей.

— Напрасно. «Обида» — неплохая книга. А вот мой сосед Сергей Малашкин хвалил твою работу «Повесть о волчьем братстве». Я позвоню в издательство «Советская литература». Должны переиздать. «Молодая гвардия» выпустила эту повесть прескверно.

Серафимович свое слово сдержал. Он настоял на переиздании этой книги, и «Повесть о волчьем братстве» вышла в издательстве «Советская литература» к XVI съезду Коммунистической партии.

Помню, как происходило на этой квартире обсуждение киносценария, сделанного по роману А. Серафимовича «Город в степи». Пришло много киноработников. В квартире стоял шум.

Доклад делал критик Нерадов. Мне лично доклад не понравился, он был слишком общим, многословным

и малоинтересным. Нерадов хотел помочь киноработникам лучше понять произведение, но осталось это у него только в намерении. Доклад, насколько помнится мне, был построен на похвале Серафимовичу. Киноработники еле сдерживали негодование. Яков Ильин — из «Комсомольской правды», автор романа «Большой конвейер»,— тактично сумел примирить их и перевести разговор в деловое русло.

... С 1937 года я отошел от журнала «Октябрь». Очень долго писал для кинофабрики сценарий, который был принят, а потом по неизвестным причинам отклонен. Я в то время написал ряд песен: «Качка», «Орленок», «Отъезд партизан». Я полюбил работу над песней по-настоящему. Серафимович редко тогда бывал в Москве, и встречи прекратились.

Но однажды я увидел его в Переделкине, в дачном городке писателей. Серафимович строил в то время небольшой дом. Он только что вернулся из поездки на юг России с литературными выступлениями, вернулся усталый и несколько огорченный. И в первый же день добрался до Переделкина, поглядеть, как идет отделка дома.

Тогда-то и произошла наша последняя встреча. День был солнечный, но ветреный. Шумели деревья.

Сидя на крыльце еще не достроенной дачи, мы вспоминали о литературных встречах в квартире на Красной Пресне.

— Хорошее было время, а? — спросил он меня и одарил щедрой улыбкой.

— Интересное и чудесное,— ответил я. — Многие мои товарищи, рабочие писатели, не забудут его никогда. Не забудут, как широко были открыты там двери для них. А разве только двери? Ваше сердце было всегда открыто. А журнал «У станка»? Такое, Александр Серафимович, не забывается.

... Да, такое не забывается! И никогда не забудется светлый образ нашего доброго учителя и наставника Александра Серафимовича.

1959—1976

Вениамин Жак

КАКОЙ ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ НАРОД!

Виделся я с Александром Серафимовичем Серафимовичем мало: раза три-четыре. Были это обычные так называемые «творческие встречи» выдающегося писателя с литературной молодежью, встречи, лишенные большой интимности и теплоты непосредственного сердечного общения.

Прошло с тех пор лет двадцать пять — тридцать, записи утрачены, память потускнела, и понятно, что с опаской остаюсь я сейчас наедине с чистым листом бумаги: как бы не «навспоминать» такого, чего вовсе и не было, и как бы не упустить самое важное!

И все же, если эти странички смогут добавить несколько штрихов и помогут ясней понять хоть некоторые черты характера такого крупного, своеобразного писателя и человека, каким был А. С. Серафимович, я обязан их написать.

* * *

Читая книги каждого известного автора, глядя на его портреты, мы невольно создаем в воображении свой облик его, *свой* (и зачастую мало похожий на реальный) образ полюбившегося нам писателя.

Но Александр Серафимович Серафимович вошел в мою жизнь настолько просто и естественно, точно я всегда знал, что он именно вот такой.

В 1929 году, служа в Грозном в 82-м стрелковом полку, я принимал довольно активное участие в

литературной жизни города и в руководстве Грозненской ассоциацией пролетарских писателей, не слишком благозвучно именовавшейся ГрАППом.

Была вторая половина сентября — самое удачливое время для литераторов и литераторш ГрАППа, время, когда пишется легко и много и безоглядно верится, что написанное тобой если и не совсем гениально, то уж наверняка превосходно!

Пыльное, ветреное и знойное грозненское лето ушло, а осень все еще не решалась заявить о себе желтизной листьев и надоедливой слякотью. И мы все еще по-летнему щедро транжирили свое время. В эти сентябрьские дни мы, грапповцы, виделись чуть ли не ежедневно в редакции газеты, центральной библиотеке или в театре.

Как-то в субботу вечером мне в казарму принесли записку: редактор «Грозненского рабочего» сообщал, что в город приехал Серафимович.

«Собирай свою литературную армию,— писал редактор,— товарищ Серафимович согласен посмотреть на вас и послушать, что вы пишете».

Мы пустили в ход все средства связи — от телефона до неутомимых солдатских ног, и на другой день часов в 11 утра в читальном зале городской библиотеки весь наш литактив с трепетом поджидал появления Серафимовича.

Были здесь и красноармейские поэты, журналисты, драматурги, и молодые рабочие с Новых промыслов, и библиотекари, и учителя. Собралось человек пятнадцать-двадцать. Не успели мы, бюро ГрАППа, договориться, как нам получше встретить знатного гостя, а он уже появился сам, без гонцов и провожатых.

И едва через порог библиотеки перешагнул этот мускулистый пожилой человек, с поблескивающей на солнце головой, смуглым и в то же время каким-то удивительно светлым лицом и с широким белоснежным отложным воротником легкой летней рубашки, как у меня сразу возникло ощущение, будто я его давно и очень хорошо знаю.

В двадцать пятом — двадцать восьмом годах, работая в библиотечном коллекторе Ростова, я сотни раз держал в руках книги Александра Серафимовича с его портретами на обложке. И сейчас мне казалось вполне

естественным, что этот человек, улыбаясь, идет мимо стеллажей и стоек, будто он только что неторопливо сошел со страниц собственной книги.

Мы уселись за длинным и узким столом. Поэты вытащили листки со своими стихами, прозаики — смятые, скрученные от волнения в трубку ученические тетрадки. Началось чтение. Вещи были сырые и серые. Каждому хотелось почитать побольше, и я с тревогой поглядывал на нашего гостя: не «зачитают» ли его до потери сознания? Но он ласково улыбался, кивал, брал листки и тетрадки с прочитанными произведениями, внимательно просматривал их. Наконец, когда закончилось чтение, Александр Серафимович вздохнул с укоризной:

— Что ж, пробуйте, — это неплохо. Только пишете вы пока не о том и не так. Вот я, старый уже, а к вам в Грозный приехал, чтобы посмотреть на промысла и знаменитых ваших нефтяников. А вы, живя рядом, о Грозном почти не пишете.

Молодой тихоголосый человек, в толстых очках и с профессионально раскрытым блокнотом, спросил Александра Серафимовича, не собирается ли он сам что-нибудь написать и о Грозном.

Серафимович, не отвечая, продолжал развивать свою мысль. Но молодого человека не так-то легко было смутить — вновь и вновь негромко, но настойчиво забрасывал он писателя вопросами. Эта бестактность показалась нам смешной, мы заулыбались. Гость заметил улыбки, повернулся к атакующему его журналисту и сказал, подставляя загорелое ухо:

— Говорите погромче, я недослышу.

Только тут поняли мы, что этот большой писатель, чтоб не смущать нас, молодежь, вежливо, терпеливо слушал нашу невнятную скороговорку, не слыша, может быть, и половины, а затем внимательно просматривал наши сочинения, выискивая в них хотя бы пылинку неподдельного золота.

Это маленькое, трогательное и смешное недоразумение внезапно сблизило всех присутствовавших, и Александр Серафимович уже крепко взял разговор в свои руки и упорно гнул его в одну сторону:

— Вот вы, должно быть, не только свое пишете, но иногда и чужие книжки читаете? — спросил он.

Мы сидели в библиотеке и поэтому, несколько кривя душой, дружно закричали, что читаем куда больше, чем пишем. Кажется, писатель нам не очень поверил, но все же добродушно покивал головой:

— Здорово, прекрасно. И кто же, по вашему мнению, сейчас у нас в республике самый талантливый, самый большой писатель?

Мы называли всех без особого разбора: Горького, Бибика, Бабеля, Либединского, Гумилевского и Пантелеймона Романова, Фадеева, Новикова-Прибоя, Алексея Толстого и конечно же самого автора легендарного «Железного потока».

Серафимович, усмехаясь, заметил:

— Кое-кого вы зря назвали, а в общем все правильно. Но только, если не считать Горького, есть один у нас среди писателей первейший писатель, как орел — один царь среди прочей птицы...

Кто-то нетерпеливо подсказал:

— Алексей Толстой?

— Да нет,— поморщился Александр Серафимович,— Толстой, конечно, хорошо пишет, но не о нем речь. Орел, а точнее, пока орленок — это Шолохов, Михаил. Вот перед кем широко дорога лежит — орлиный глаз, и у крыльев размах орлиный.

Серафимович заговорил о мудрости шолоховского слова, которое несет в себе и запах времени, и характер человека, и бездонную глубину поэтической недосказанности — художественного подтекста.

Мы, его слушатели, не всё смогли понять и оценить в то сентябрьское воскресенье двадцать девятого года. Многое открывалось нам с годами, когда, взрослея, мы за свое открытие принимали те мысли, которыми с такой щедростью делился с нами старый взыскательный мастер со спокойным широким лицом.

* * *

Он был очень щедр. Об этом не раз рассказывали многие писетели, которым он протянул дружескую руку, помог сделать первые шаги. Но мне хочется упомянуть об одном из тех, кто не успел сам поблагодарить своего старшего друга и учителя.

В 1934 году в Ростове вышла книга члена нашей, тогда Азово-Черноморской краевой писательской организации ростовчанина Павла Моренца «Смех под штыком». Автор, активный участник революционного движения в тылу у белых, ярко рассказал о работе ростовского большевистского подполья и борьбе красных партизан против деникинцев. П. Моренец вскоре после выхода своей книги погиб, и его роман с тех пор ни разу не переиздавался. А между тем А. Серафимович с сердечным творческим сочувствием относился к литературной работе П. Моренца,— он написал теплое, взволнованное предисловие к этому роману. Поскольку предисловие, очевидно, так же прочно забыто, как и сама книга Павла Моренца, мне кажется нелишним напомнить нашему сегодняшнему читателю эти строки Серафимовича.

«Оглянешься, и вдруг блеснет белизна шоссе, и море, и горы встанут, и сложные человеческие отношения, полные трагизма или молодого смеха, радости, и смерть по пятам сторожит, и пошлое своекорыстие, и беспредельный в своей простоте героизм,— вот книга Моренца «Смех под штыком».

Написано искренне, правдиво, художественно, убедительно. Язык крепкий, сжатый, выразительный. Фигуры живые, индивидуальные, несмотря на свою многочисленность.

Тема, время, обстановка взяты в высшей степени интересно. Это — первая большая яркая вещь, широко и правдиво развертывающая картины крестьянской партизанской борьбы. И страшно ценны — *картины подпольной работы в тылу белых* в гражданскую войну. Это впервые,— в нашей литературе этого еще не было.

Книга ценная. Читается с неослабевающим интересом.

А. Серафимович».

* * *

В мае 1936 года приехал Александр Серафимович в Ростов.

В те времена профсоюзы считали своим кровным делом воспитание молодых литераторов, выходящих

из самой гущи рабочего класса, и создание «Истории фабрик и заводов». Уже несколько лет в Ростове работал Кабинет рабочего автора Профиздата. Кабинет систематически проводил литконсультации, творческие вечера, литературную учебу молодежи и встречи с писателями.

Ясно, что литкружковцы Ростова, узнав о приезде Серафимовича, не могли упустить такого счастливого случая и попросили писателя прийти к ним на встречу. Не мог и Серафимович отказать «рабочему классу».

И вот в понедельник, 18 мая, в Кабинете рабочего автора, собрались литкружковцы Сельмаша, «Красного Аксая», Дома медработника и уже профессиональные писатели, члены и кандидаты недавно организованного ССП СССР. Были здесь А. П. Оленич-Гнененко, Г. М. Кац, Д. И. Петров (Бирюк), М. А. Никулин, С. Н. Жданов, А. В. Софронов, литературоведы и критики А. М. Линин, Н. П. Переплетчикова, И. А. Браиловский, М. Н. Незнамов, журналисты Маринкин (Николай Мар), Семен Липшиц и другие.

Выглядел Александр Серафимович в этот приезд очень утомленным. Прошло со времени нашей встречи в Грозном всего семь лет, а было такое впечатление, будто постарел он лет на двадцать. И все же был он все так же внимателен к молодежи, заботлив, горяч, остроумен.

Многих участников той встречи уже нет среди нас, а те, кто живы, не сумели сохранить записи его задушевной беседы. И это очень обидно. Помнится, с большой страстью говорил Александр Серафимович о взыскательности художника, о требовательности к себе, об ответственности перед читателем, народом, об учебе у классиков, серьезной, умело организованной учебе. Это он подчеркивал особенно настойчиво. Поразило нас, что он себя отнес к ученикам Тургенева: это так не вязалось с нашими представлениями о его писательской манере!

В тот же день А. Серафимович выехал в Таганрог. Он побывал в Литературном музее Чехова и в домике писателя, оставил запись в книге посетителей, был в Таганрогском Доме пионеров, фотографировался с ребятами, бродил по огромному, зацветающему и тихому Таганрогскому парку культуры и отдыха.

Спустя несколько дней, накануне открытия Ростовского Дворца пионеров, Александр Серафимович снова приехал в Ростов и отправился в гости к ребятам.

Хотя официальное открытие Дворца было назначено на субботу, 23 мая, но уже в пятницу работали и спортивный зал, и комната октябрят, полная игрушек (она помещалась внизу, там, где теперь расположена библиотека Дворца). Ходил по рельсам маленький, но совсем настоящий трамвай, плавали в аквариумах зеркальные карпы, работали мастерские, лаборатории, кабинеты, начиная от кинофотоателье и до комнаты юных моряков с настоящим трапом и пестрыми флагами морского кода.

Все в деталях осмотрел Александр Серафимович и по крутой лестнице взобрался на верхний этаж, где тогда размещалась библиотека Дворца. Он обошел книгохранилище и читальню, поговорил с библиотекарями и первыми активистами-ребятами. С заразительной непосредственностью радовался:

— Ну и уймища же книг у вас, ребята! Когда вы только их перечитаете?

На другое утро газета «Молот» поместила широкий, чуть ли не на всю полосу, снимок — автор «Железного потока» среди пионеров Ростова.

23 мая опять пришел Александр Серафимович во Дворец пионеров. Было в этот день у ребят много знатных гостей: Ю. А. Завадский и академик архитектор В. А. Щуко, партийные, комсомольские, пионерские работники, командиры и бойцы Красной Армии, передовые рабочие заводов, учителя, художники, артисты, писатели.

Всех радушно встречали молодые хозяева, но, пожалуй, самая сердечная встреча у ребят произошла с Александром Серафимовичем. Еще в вестибюле к нему подбежали малыши-октябрята с огромными букетами цветов. Он взял цветы в охапку, но малыши протягивали ему все новые и новые. Александру Серафимовичу не хотелось огорчать ребят, но и взять букеты в руки он уже не мог:

— Куда же я их дену? — озадаченно спросил писатель.

— А вы их не девайте,— ответили малыши. — Мы их сами за вами понесем.

И Александр Серафимович до самого президиума шел в центре живой, движущейся цветочной клумбы.

Много поживший и переживший писатель сидел в президиуме самого молодого собрания и вглядывался острыми, не затуманенными старостью глазами в цветущий красными галстуками зал. Как замер этот зал, когда Александр Серафимович подошел к трибуне!

— Если бы вы только могли себе представить, если б вы только видели,— говорил писатель,— как живется ребятам там, где нет еще советской власти! Не в дворцах собираются, не в книгах роются, а в мусорных ящиках, ища среди отбросов корку хлеба. Нет, ребята, вы не понимаете, какой вы счастливый народ, какое это счастье жить в стране победившего труда...

* * *

Когда я открываю книги Серафимовича, с живописной яркостью возникают передо мной его крупные, крепкие руки землепашца, землекопа, труженика. Яснее понимаешь, каким ежедневным, будничным подвигом труда была вся жизнь писателя, откуда пришло к нему то удивительно бережливое, уважительное отношение к честному, добротному труду каждого, как бы мал и «несмышлен» еще этот «каждый» ни был.

1959

И. Черкасов

ШТРИХИ ПОРТРЕТА

В октябрьские дни 1927 года на собрании студентов института им. Плеханова, посвященном десятилетию Октябрьской революции, я рассказал о том, как волгари боролись с белогвардейцами в 1918 году. Стенографическая запись оказалась довольно большой, но требовала, конечно, значительной доработки и пополнений. Группа студентов, заинтересовавшись моими воспоминаниями, хотела обработать их и передать в печать. Я в то время не имел никакого представления, как пишутся и издаются книги, и совершенно правильно считал себя неспособным для такой работы. В таком виде, в каком были мои воспоминания, ни одно издательство их не примет.

— Если не примут, мы пойдем к товарищу Серафимовичу, и он нам поможет! — предложили студенты.

Провести в жизнь это предложение взялся студент Ерецкий. Уже через день он мне сообщил:

— Завтра в два часа дня иди в гостиницу на пятый этаж. Тебя примет Серафимович. Не забудь захватить с собой весь материал, записанный на собрании.

Я принял это заявление Ерецкого за шутку, — хочет, мол, «разыграть» простака из провинции. Но Ерецкий заверил меня честным словом, что Серафимович действительно будет меня ждать в два часа.

На другой день, поскрипывая протезом, я подошел к двери

номера (не помню, какого) и робко постучал. Меня смущала и старая солдатская шинель, и тяжесть протеза, и непривычная тихая пустота коридора. И главное, конечно, необычайность моего визита к такому большому писателю. Женский голос из-за двери предложил мне:

— Войдите!

Я открыл дверь, вошел в номер и увидел за столом пожилого человека с крупной шишковатой и совершенно лысой головой. А под большими кустами седых бровей внимательные и очень зоркие глаза. Я неуверенно остановился у двери, а большеголовый человек встал и пошел мне навстречу:

— Вы Черкасов? Проходите, садитесь вот сюда...

И поставил стул рядом со своим. Он заметил мое смущение, и мне показалось, что в глазах его засветилась усмешка — дружеская, ободряющая.

— Как вас зовут?

— Зовут Иваном, а по отцу Трифонович,— несмело ответил я.

— Значит — русский Иван... и с Волги. Откуда?

— Из Хвалынска.

— Та-ак, известный городок. Еще Мельников-Печерский о нем писал, там у вас самые святые скиты были...

— Только недавно два монастыря закрыли...

Так неожиданно очень просто началась наша беседа. Уже через несколько минут я забыл о своих страхах, почувствовал себя как дома. Исчезли робость и связанность движений. Я говорил самым простецким волжским говором, не стесняя себя формой выражений и не затрудняясь подбором очень «умных» слов. По глазам и напряженной позе Серафимовича я видел, что мой рассказ его очень заинтересовал. Во время нашей беседы зашел в номер фотокорреспондент журнала «30 дней», но мы его заметили только после вспышки магния.

— Вот как! — удивился Александр Серафимович. — Вот как разговорились, даже такого важного посетителя не заметили. Интересный материал! Пишите! Обязательно пишите!

Несмотря на то что я уже окончил рабфак, всякая писанина меня еще очень пугала.

— Какой я писатель! — возражал я. — Четыре года назад только расписываться умел. Не сумею.

— Э-эх, сбросить бы мне с плеч годков десяток, я бы стал писать о «железном потоке» на Волге... А сейчас не смогу... Пишите сами.

— Пробовал, ничего не выходит.

— Пишите, как рассказывали...

Поняв, однако, что мой отказ вызван серьезными причинами, Александр Серафимович сказал мне:

— Хорошо, я порекомендую вам помощника. Он тоже еще молод, он также участник гражданской войны и ваш земляк — саратовский. Писатель молодой, но способный... Он вас лучше чем кто-либо поймет, и вы с ним подружитесь! — сказал мне Серафимович.

И не ошибся. Работа над книгой слила нас воедино, спаяла крепкой, нерасторжимой дружбой. И мы частенько добрым словом вспоминали нашего общего друга, учителя, большого писателя и простого человека.

О том, как начиналась наша книга «Повесть о простых людях» (первоначально заголовок — «Борьба за Волгу»), Александр Серафимович рассказал в 1927 году в журнале «30 дней» (№ 5).

Сначала мой соавтор размахнулся написать роман, чтобы оставить себе право на художественные вымыслы и домыслы. Меня, Ивана Черкасова, он превратил в Назара Неволю. Один кусок недопеченного романа он даже напечатал в журнале «На вахте». Но по мере ознакомления с материалом, с событиями и людьми вымыслы и домыслы бледнели перед фактами жизни. Работа над романом затруднялась. Жизнь протестовала против вымыслов. Тогда мы обратились за помощью к своему литературному пестуну Александру Серафимовичу. Он выслушал нас и посоветовал:

— А зачем вам что-то выдумывать? Пишите так, как было, без выдумок. Не надо никакого Назара Неволи! Пусть будет русский Иван. Да, вот именно — Иван! И лучше этого вы ничего не придумаете, и не надо придумывать.

Этому доброму совету мы и последовали и остались ему верны. В книге нет вымысла и нет выдуманных имен. Все имена и все факты точны, многократно нами проверены. И благодаря этому совету книга перестала

быть книгой двух авторов. Фактически у нее десятки авторов, подлинных участников исторических событий на Волге.

Для первого издания книги в Москве, в 1933 году, Александр Серафимович написал предисловие.

После издания книги моя дружба с Александром Серафимовичем из года в год крепла и росла. Меня покорили его душевная простота, большевистская правдивость и принципиальность, его скромность в быту.

Вспоминаются две встречи.

Однажды он пригласил меня с женой к себе на квартиру в новом доме, известном под названием «Дом правительства».

Принимать и угощать гостей Серафимович очень любил. Когда все закусили, а кое-кто и основательно подвыпил, Александр Серафимович сказал:

— А ну, молодежь, поддержите меня, старика!

И запел казацкую песню, да с таким огоньком и молодым задором, что все присутствующие дружно поддержали 70-летнего запевалу.

Вторая подобная же встреча состоялась у меня на квартире. Александр Серафимович пришел вместе с Феклой Родионовной. В этот раз Александр Серафимович удивил всю нашу заводскую молодежь не только песнями, но и пляской.

Физически дряхлея, Александр Серафимович сохранял юношескую свежесть души, любовь к жизни...

Мне посчастливилось принимать участие и в его юбилейных торжествах. В день 65-летия, когда чествование проводилось в Доме Союзов, я от имени рабочего коллектива завода «Шарикоподшипник» № 2 преподнес Александру Серафимовичу чернильный прибор из набора шарикоподшипников весом... в 15 килограммов! Этот подарок вызвал шумное и веселое оживление во всем зале.

Александра Серафимовича уже нет среди нас. Для будущих поколений останутся его произведения, а я считаю себя счастливым, что в жизни моей довелось встретиться с таким писателем и простым, душевным человеком.

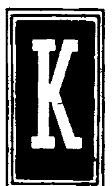
1961

Иван Рахилло

ЛЕТОПИСЕЦ ВЕЛИКОГО ВРЕМЕНИ

(Из записей разных лет)

Первая встреча в «Рабочей весне»


огда я прохожу по Москве улицей Серафимовича, проезжаю просторными магистралями Красной Пресни или проношусь в самолете над донскими степями, над бывшей станицей Усть-Медведицкой — ныне городом Серафимовичем, мне всегда вспоминается писатель, человек, горячо мечтавший о будущем, о том будущем, которое сегодня стало настоящим.

...В скромной суконной толстовке с белоснежным отложным воротником, оттенявшим и без того густой, шафранный загар его стариковской шеи, он неторопливо поднимался по булыжной мостовой Красной Пресни, обходя деревянные ограждения строек новых домов рабочего городка. Его радовали и эти новые дома из красного кирпича, и первые пассажирские автобусы, только что появившиеся на улицах Москвы, и молодой сквер, заложенный напротив клуба «Трехгорной мануфактуры». Потирая от удовольствия ладонью гладкую свою, сверкающую лысину, он задерживался возле студенток-папиросниц в новых фуражках «Моссельпрома» с позолоченной окантовкой и широкими козырьками. А первая оцинкованная урна, установленная у ворот Зоологического сада, привела его в настоящий восторг — это была убедительная примета нового!

Не спеша двигался он по улицам Москвы, никем не узнанный,

незаметный, ничем не выделяясь из толпы, зорким глазом художника выхватывая и запоминая все новое, впервые увиденное, не упуская и явлений старой уходящей жизни.

А мимо, по узкой скособоченной Тверской, сплошь увешанной кричащими вывесками частников, молодецки ярясь и обгоняя первые канареечные такси фирмы «Рено», пускали стрелой своих породистых рысаков, с летящими по воздуху серебристыми сетками, последние хозяева прославленных извозчичьих выездов. За зеркальными витринами ресторана «Люкс», бывшего Филиппова, цыгане под залихватский стон гитар пели хором с одиннадцати утра до трех часов ночи.

Зажимая под рукою папку со своей еще не опубликованной рукописью, старый писатель шел в гости к начинающим поэтам и писателям «Рабочей весны». От самого дома в Большом Трехгорном переулке и до дверей редакции сопровождали мы его с поэтом Николаем Кузнецовым, рассказывая по дороге о жизни нашей «Рабочей весны», о новых произведениях молодых писателей.

С глубокой серьезностью, насупив брови, слушал Александр Серафимович стихи Кузнецова, где воспевались заводские огни, комсомольская верность дружбе и первая радиобашня, поднятая над Замоскворечьем. В расстегнутой косоворотке, в откинутой на затылок кепке, с толстыми наивными губами и чистым открытым взглядом по-юношески сияющих глаз, Кузнецов сохранял в своем обличье все черты простого деревенского паренька. Шагая по мостовой, он читал:

Нашей работы упорной
Что может быть бесшабашней!
Когда нас душили за горло —
Мы строили радиобашни...

По строгому сосредоточенному молчанию Серафимовича сразу нельзя было определить: нравятся ему стихи или нет. Но вот будто солнечным светом озарилось его доброе отцовское лицо, с нескрываемым удивлением разглядывает он Кузнецова.

— А ей-богу же замечательно! — хвалит он негромко. — Вы же, батенька, самый настоящий талант. Да это же просто расчудесно!

Кузнецов по-девичьи заливается краской смущения, он не привык к похвале, но как он счастлив!

В небольшом подвальном помещении с выгнутыми потолками жарко и душно. Нас встречают друзья: широколицый и широкоплечий плотник и поэт Иван Валяло, приехавший в Москву с грозненских нефтепромыслов поэт Макар Пасынок, фабричная работница Ксения Быкова, поэт новой деревни Иван Доронин, самарский учитель Алексей Волжский, фабзаучник с завода «Гужон» Яков Шведов и другие. На встречу со старым писателем собрались представители рабочей окраины — литейщики, строители, типографы, красноармейцы, студенты рабфаков, участники гражданской войны.

Пока расставляют скамьи, гость, приблизив к глазам газету, задумчиво рассматривает портрет Ильича: прошло пять лет со дня покушения на Ленина. Опубликован его последний снимок: Ильич в Горках. В больничной коляске, похудевший, опершись подбородком на руку, он грустно глядит в даль. Другая рука у него парализована...

Лицо Серафимовича скорбно. О чем думает он? У старика на фронте погиб сын. Ленин прислал ему письмо, полное глубочайшей задушевности, с выражением искреннего сочувствия по поводу постигшего горя. Не это ли вспомнилось ему сейчас?

Медленно перевернув страницу, Серафимович читает хронику о последних международных событиях. Брови его насуплены. Беда. В результате страшного землетрясения совершенно разрушена столица Японии Токио и многие другие японские города. Погибло около трех миллионов человек. Всюду полыхают пожары. Для оказания помощи пострадавшему населению к берегам Японии из Владивостока отправлен советский пароход с продовольствием и медикаментами.

Видно, как писатель принимает близко к сердцу чужое человеческое горе. Он молча глядит в полуовальное окошко под потолком, там видны ноги столпившихся прохожих: как раз над окном вывешена свежая газета. По обуви можно определить, что у газеты собрался рабочий люд.

Серафимович неторопливо развязывает свою папку и начинает беседу о нелегком и беспокойном труде

писателя. Около трех лет потратил он на свою новую книгу. Немало поездил, собирая материалы к ней и записывая устные рассказы участников тех героических событий. И как ни странно, писать повесть начал с последней, заключительной сцены. Случается же такое! А написав ее, тогда лишь приступил к началу.

Старый писатель откровенно делится с нами, начинающими, своими сомнениями и радостями, и это его доверие подкупает. Мы с жадностью слушаем и ловим каждое его слово.

А он уже начинает читать нам свою новую повесть из времен гражданской войны, о беспримерном переходе Таманской армии с Черноморского побережья по горным непроходимым тропам и дорогам на Кубань.

Драматическая эпопея многотысячного человеческого потока, с героическими боями прорвавшегося из вражеского кольца на соединение с Красной Армией, нарисованная рукой опытного мастера, захватывает нас с первого же эпизода. Глуховатый, с донским произношением голос писателя, мне кажется, как нельзя более соответствует написанному. И будто дохнуло сюда, в подвал, степным ветром, потянуло горьковатым дымком походных кизячных костров. В одном из полков Таманской армии служил бойцом и мой старший брат, Филипп. Вместе с этой армией пришлось тогда и мне, четырнадцатилетнему хлопцу, отступать из Армавира через Невинку на Минеральные Воды. Мимо задумчивых тополей с редеющей листвой потянулись повозки с ранеными бойцами, женщинами и детьми, прошли рваные, голые, босые солдатские фигуры. Выкованы из почернелого железа их исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки.

И вместе с другими увидел я Кожуха, почернелого до самых костей, исхудалого до самых костей, оборванного, в разбитых опорках. Поднявшись на мажару, он обращается со словом поддержки к бойцам и беженцам. Он говорит о преодоленных трудностях, об оставленных в ущельях детях, о погибших под пулями молодых героях и о той великой цели, ради которой принесены эти жертвы. И я воочью увидел расхристанную бабу Горпину, и ее старика, и всю толпу, замершую вокруг повозки.

Более двух часов слушали мы чтение повести, и ни один человек не вышел из комнаты, не закурил, не кашлянул, так велико было впечатление от «Железного потока», впервые прочитанного нам на «Рабочей весне».

Потом говорили: слова шли от души, от благодарного сердца, были и отдельные дружеские замечания. В своем заключительном слове Серафимович сердечно поблагодарил всех выступающих. Он разговаривал с молодыми начинающими писателями как равный с равными, ничем не возвышая себя, не подавляя своим авторитетом. Великая скромность была в его характере, и она учила нас, тогда еще совсем молодых, как надо работать и относиться с уважением к людям. Тесной гурьбой провожали мы Александра Серафимовича, благодарные ему за встречу, за доверие, оказанное «Рабочей весне».

В Малеевке двадцатых годов

Какое это очарование — проснувшись ранним утром, еще затемно, пройти в морозные сени, и спросонья брызнуть в лицо свежей колодезной водой! Наш общий умывальник в сенях, вода из колодца подается на чердак дома, где установлен большой бак, оттуда по трубе вода и поступает в умывальник.

В сенях морозец, из-под двери поддувает, на гвозде ночничок, стекло закопчено, и я не сразу обнаруживаю, что за мной в очередь кто-то уже ожидает. С полотенцем через плечо. Стоит молча. Вглядываюсь, Серафимович! Неловко, что заставил его ждать...

Но Александр Серафимович, заметив мое смущение, успокаивает глуховатым своим голосом:

— Раненько поднимаетесь, батенька, это хорошо! Стою, наблюдаю за вами, и никак не могу определить — почему вы, будто бы и без надобности, завертываете кран? Намыливаете лицо, шею, а воду — закрываете?

Он с выжидающим любопытством глядит на меня своими глубоко посаженными, такими зоркими глазами. Ведь и высмотрел! Первым обнаружил эту мою «тайну» с краном во время умывания. Не знаю, как и признаться ему в этом...

— Ну, ну,— подбадривает старый писатель,— я никуда не спешу.

Он ждет. Смущенно вытираюсь полотенцем.

— Да это просто так, Александр Серафимович...

— Э, батенька, я старый воробей, просто так ничего на свете не бывает! А все же любопытно...

Никогда не думал, что кто-либо заметит эту странность. Но как ему рассказать? Не покажется ли ему сентиментальной эта история?

Дело в том, что у нас в Малеевке, на конюшне, стояло четыре лошади: Кобчик, Гнедко, Одуванчик и слепая кобыла Ночка, благородных кровей, когда-то бравшая призы на бегах.

Наш ленивый кучер Вася, он же истопник и водопроводчик, приспособил ослепшую Ночку качать воду на чердак дома. По кругу, уложенному из ветхих замшелых бревен, впряженная Ночка волочила за собой тяжелую оглоблю колодезного насоса. В настиле круга не хватало нескольких бревен, и бедная Ночка, боясь попасть ногой в прогнившую расщелину, от нервного напряжения быстро покрывалась испариной.

И каждый раз, отвертывая кран, я вспоминал, что эту льющуюся на руки воду должна была поднимать в верхний бак слепая лошадь, и кран тотчас же мною закрывался. Мне неизменно представлялась слепая Ночка, вся от страха покрытая мыльной пеной, как она осторожно, на ощупь, выбирает бревно, боясь сломать или повредить себе ноги.

Бревна на круг в конце концов были уложены, но рефлекс и воспоминание о Ночке остались на всю жизнь!

Я как-то стеснялся кому-либо рассказывать об этом, но Серафимовичу поведал.

Прослушав мою историю, за которую я уже внутренне ругал себя, Александр Серафимович помолчал, а потом сказал:

— Нет, батенька, в этой истории заложен глубокий смысл. А писатель, художник обязательно должен в каждом таком жизненном эпизоде искать свой смысл. А смысл этот не простой. Он свидетельствует о том, что вы принадлежите к тому поколению, которое на своем горбу познало, что такое подневольный труд. А познав его тяжесть, пожалели другое существо. Ло-

щадь. Мое и ваше поколение как раз и воспитывалось на таких вот повседневных и малозаметных жизненных эпизодах. А из них выковывается характер человека. Его отношение к действительности. Складывается государственное мышление, рождая в человеке черты нового, бережливого отношения ко всему на земле. Вот, дорогой мой, о чем свидетельствует этот ваш незаметный случай! И художнику, писателю всегда необходимо поразмышлять над всем, что ему встречается в жизни, над самим собой, над своими чувствами и переживаниями: они у каждого человека имеются. А запас таких наблюдений всегда потом пригодится вам, когда сядете за свой рабочий стол, поверьте мне, старику...

По привычке поглаживая ладонью лысую голову, Серафимович снова замолчал, вперив свой задумчивый взгляд в пол.

— Силюсь и не могу припомнить — где мы впервые познакомились? Почему-то представляю вас в военной форме.

Так оно и было при нашей первой встрече на «Рабочей весне». На мне действительно тогда была красноармейская шинель. Я только что демобилизовался из пограничных войск. А служил я во Владикавказе, куда Александр Серафимович и приезжал в двадцать первом году. Он устраивал встречу с молодыми и начинающими. Но мне не удалось побывать на ней, был в карауле.

— Ах, вон как,— обрадовался Серафимович,— выходит, мы и земляки еще! С кем же вы там дружили?

Я назвал Пантюхова, безногого матроса, редактора газеты «Горская правда», он нас печатал и поддерживал. Знал Петра Николаевича Лермонтова, командира полка, правнучатого племянника великого поэта.

— Значит, вы и с Петром Николаевичем знакомы?

— В двадцатом году под Невинкой вместе от белых банд поезд с делегатами Коминтерна отбивали. Как раз недалеко от тех мест, где закончился поход бойцов вашего «Железного потока».

— Дивлюсь, немало вы повидали! Теперь все это надо написать. Да не спеша. Вдумчиво. Привлечь к тому ж и дополнительные материалы. Участников разыскать. Они помогут вам шире увидеть и осмыслить,

понять те события. О гражданской войне еще далеко не все сказано...

Тот задушевный разговор при мигающем ночничке в малеевской умывальне с Александром Серафимовичем и натолкнул потом на повесть.

Через год я сдал ту повесть в издательство и назвал ее «Первые грозы».

На вершине жизни

Литературная общественность столицы широко отмечает торжественный юбилей старейшины советской литературы и летописца великого времени. Восемьдесят пять, возраст почтенный! Вершина жизни.

По своей врожденной скромности юбиляр несколько неловко чувствует себя в этом роскошном бархатном кресле с резными подлокотниками, весь вечер надо сидеть неподвижно и выслушивать бесконечные речи своих друзей и почитателей. Не очень привычно.

Записываю вечер на пленку для передачи по Центральному радио. Открывая торжественное заседание, Всеволод Вишневский поклоном приветствует юбиляра.

— Позвольте нашему вечеру предпослать несколько слов! — говорит он голосом высоким и праздничным. — Александр Серафимович в ранней своей юности вступил на революционный путь. Он примкнул к той прогрессивной, передовой революционной группе писателей, которая объединилась вокруг «Знания» — издательства, в которое вкладывал свою душу Алексей Максимович Горький. Произведения Серафимовича обратили на себя всеобщее внимание. Прекрасную оценку дал им Короленко. На полях одного из рассказов Александра Серафимовича Лев Толстой поставил отметку — пять с плюсом!

Литературная Москва бурно салютует этой высокой и заслуженной оценке. Выступают друзья, писатели, спутники по жизни и соратники по работе, читатели и поклонники — приветствуют, вспоминают прошлое, памятное, светлое, незабываемое.

Писатель Всеволод Иванов рассказывает о том, как поздним летом сорок третьего года, вскоре после взя-

тия Орла нашими войсками, возникла идея написать книгу «В боях за Орел».

— Эта книга вышла в тысяча девятьсот сорок четвертом году. В ней напечатана статья Александра Серафимовича «Это — не чудо!». Он ездил с нами на фронт. Чудо не чудо, но поездка его на фронт — это граничило с чудом! Прямо из Москвы, на грузовике, восьмидесятилетний писатель рядом с шофером, под обстрелом вражеских самолетов едет на передовые позиции, живет в блиндаже, подвергает опасности свою жизнь...

«Какую же богатырскую силу духа нужно было иметь, чтобы выдержать все эти испытания!» — думалось мне в тот вечер, когда я слушал и записывал эти живые свидетельства неутомимой деятельности юбиляра.

Да, так старый писатель изучал фронтовую действительность. Он всегда был с народом на главных направлениях, там, где свершались подвиги. Так же, как и младший его земляк Михаил Шолохов, с первых дней войны отбывший на фронт. Много повидали народного горя оба писателя в те дни. Но видели они и радости наших побед.

И словно в ответ на это со всех концов страны радостной стаей летят в этот зал почтовые голуби — приветственные телеграммы друзей. И самая первая и дорогая из них — с берегов тихого Дона.

«Дорогой Александр Серафимович!

По-сыновьи крепко обнимаю Вас, как и миллионы Ваших читателей. Всегда думаю о Вашей жизни с любовью, теплотой, благодарностью.

Шолохов».

Крылатым вихрем аплодисментов встречено это послание, с выражением признательности и горячей любви. А телеграммы все летят и летят, их на столе уже целая белоснежная гора.

Юбиляр взволнован. Опираясь о стол полусогнутыми ладонями, он говорит о счастье, выпавшем ему на долю, о счастье бойца за коммунизм. И голос его, чудится, помолодел.

Вечер закончился поздно. Поддерживая под руку, провожаю Александра Серафимовича вниз по лестнице. Лестница крутая, неудобная. Александр Серафимович утомился: может быть, ему лучше домой, отдохнуть?

— Да что вы, милый друже, как же можно! — отмахивается он. — Где ж это видано? А казацкую чарку с друзьями кто поднимать будет? Есть еще порох в пороховницах и не гнется казацкая сила!

И глаза Серафимовича из-под седых кустастых бровей, как у Тараса Бульбы, озорно блеснули неугасимой удалью.

Наставник молодых

Георгий Филиппович Байдуков, прославленный Герой Советского Союза и сподвижник Чкалова во всех его рекордных перелетах, дарит мне с автографом только что вышедшую из печати его новую книгу «Чкалов», изданную в серии «Жизнь замечательных людей».

За широким — во всю стену — окном его кабинета — весенний Сивцев-Вражек. Мы дружим издавна. Еще рабочим подростком Егор Байдуков мечтал о литературной профессии. По зову сердца. Но жизнь и обстоятельства времени заставили его стать летчиком. Выдающийся мастер техники пилотажа, Байдуков стал неустрашимым поэтом неба — любых, самых опасных и дерзких испытаний, смелым хозяином любых бурь, гроз и пространств. Не зря Чкалов так любил и уважал его.

В Великую Отечественную войну имя Байдукова не раз упоминалось в победных сводках Верховного Главнокомандования. Генерал-полковник авиации, Георгий Филиппович Байдуков и доныне на боевом посту. И, несмотря на загруженность по службе и отсутствие свободного времени, по ночам и ранними утрами продолжает по тому же непреодолимому зову сердца увлеченно писать, неустанно работать над новыми произведениями.

А в письменном столе, в самом дальнем его углу, как напоминание о долге перед своим сердцем, лежит его членский билет Союза советских писателей, за

подписями Леонида Соболева и Петра Павленко. Номер билета — 1212.

— А вручал его мне лично Александр Серафимович, — вспоминает Байдуков те далекие времена. — Торжественно. На заседании всего состава Правления Союза писателей. Принимали нас вместе с Водопьяновым.

Оказывается, литературным наставником его был Серафимович?! А нельзя ли об этом поподробнее?

— Разумеется, его имя мне было хорошо известно. «Железный поток» — одна из самых любимых моих книг. Знал я и другие его произведения. Мне очень повезло! Александр Серафимович был моим духовным наставником. Человек большой культуры и с немалым жизненным опытом, он искренне радовался тому, что я, молодой человек, по специальности военный летчик, так горячо влюблен в литературу. Встречались мы много раз. И он всегда с глубокой заинтересованностью расспрашивал: что я читаю и что читал раньше? Помню, как обеспокоился, узнав, что я до сих пор не прочел такие книги, как «Человек и природа», «Брак и семья», и многие другие, о которых я тогда не имел никакого представления! Он помог мне составить список книг, которые просто необходимо было знать молодому писателю. Это были книги о жанрах и стилях литературы, о построении сюжета. Александр Серафимович рекомендовал побольше читать классическую литературу, зорче приглядываться к жизни, увеличивать свой запас слов. Он расширял мой кругозор. Говорил, что писатель — это учитель жизни, педагог, он должен много знать, быть образованным человеком.

Мне его советы были вдвойне полезны: я был офицер, командир, а командир — он и есть педагог, постоянный наставник своих подчиненных, да по вопросам не только литературным, а по всем жизненным вопросам.

Серафимович внимательно прочитал мои рукописи, подготовленные к печати. Похвалил. Отметил литературные задатки. «Талант, — добавил он, — это непрерывный труд!» И это именно Серафимович весной тридцать восьмого года побеспокоился об издании моего сборника рассказов в издательстве «Художественная

литература». В этом сборнике он особо отметил рассказ «Охотники», где выведены образы старого бывалого охотника и начинающего подростка. По его совету я рассказ подсократил, он стал короче,. стремительней. Александр Серафимович никогда не правил чужие произведения, он лишь подсказывал, разбирал, указывал на недостатки. Мы сами правили свои рукописи, и это помогало нашему совершенствованию.

Десять лет отдал я своей последней книге о Чкалове. Много труда и подготовительной работы потребовала она. Но это был мой святой долг, и я его выполнил!

И не познакомься в тридцать шестом году с Александром Серафимовичем, возможно бы я не имел в себе столь долгодействующего творческого заряда, чтобы в таком позднем возрасте осилить сложную тему — жизнь Чкалова, со всеми ее перипетиями и подвижничеством.

Вот почему я всегда с глубочайшей благодарностью вспоминаю своего «крестного» отца по писательскому делу, милейшего человека и прекрасного мастера, каким был Александр Серафимович, вспоминаю добрым словом за его бескорыстие и любовь к простым, незаметным людям, за светлый его талант и удивительную книгу «Железный поток»!

Потомок великого поэта

Курьерский поезд «Кавказ» мчит нас с Петром Николаевичем Лермонтовым по кубанским степям, мимо станций и полустанков, знакомых еще по годам гражданской войны: Гулькевичи, Армавир, Коноково, Невинка... Где-то в стороне остаются станицы — Урюпинская, Бесскорбная, Преградная, где полк Петра Николаевича участвовал в разгроме белых банд. Вспомнили, как в Белореченской впервые повстречались таманцы после их перехода через Кавказский хребет.

— Не так давно я снова перечитал «Железный поток», — говорит, закуривая, Петр Николаевич. — Молодежь о тех суровых и грозных годах знает лишь понаслышке. А нам все это пришлось испытать на деле. Кубань, Терек, Дагестан, какая же в те годы была там

сложная обстановка! Читаешь, и самому не верится, что принимал участие в тех сабельных схватках...

Может быть, это и так, но те четырнадцать боевых наград, украшающих грудь старого командира, свидетельствуют о том, что все Лермонтовы всегда с беззаветной храбростью сражались с врагами на поле брани.

— В те далекие годы Серафимович бывал у меня на Полянке, — вспоминает Петр Николаевич. — Он жил тогда около Болота, на Всехсвятской улице, переименованной потом в улицу его имени. С большой дотошностью и пристрастием выспрашивал он у меня о всех событиях гражданской войны на Кубани. И особенно о боях с белыми, в которых мне пришлось участвовать лично. Меня поражала тогда эта его доскональность. Все ему было важно, всякая пустяковина. Кое-что из рассказанного мною получило потом отражение в его книгах. Мой полк участвовал в разгроме казачьих банд генерала Фостикова. Пришлось проходить и по тем местам, где в восемнадцатом году повстречался с таманцами. У Белореченской. Раздетые, разутые, худые, загорелые. Я был хорошо знаком с Ковтюхом. Серафимович верно нарисовал его в образе Кожуха, героя «Железного потока». Книге, по-моему, суждена долгая жизнь. Ее будут читать многие поколения молодежи. Будут читать и удивляться нашему времени, нашей тревожной жизни. Александр Серафимович всегда держал свое перо на верном прицеле! Был настоящим бойцом...

«Отличнейший писатель!»

Бывая на далеких окраинах страны, в рабочих дворцах и клубах, на пограничных заставах, в библиотеках, институтах и школах, я знаю, с каким неизменным интересом читаются книги Серафимовича.

Одним из первых молодого Серафимовича приветствовал Глеб Успенский. «Отличнейший писатель!» — так определил он появившийся талант.

«Прекрасный язык, образный, сжатый и сильный, яркие и свежие описания». Это определение Короленко.

Зная о том, как окрыляют молодого писателя такие дружеские поддержки старших, как помогают ему в работе над рукописью, Серафимович потом и сам немало времени и внимания отдал молодым талантам. Он первым сумел разглядеть и угадать глубокие дарования и Фурманова, и Шолохова, и многих других одаренных писателей. Ему была свойственна вечная озабоченность творческими и жизненными судьбами начинающих писателей. Он глубоко любил литературу.

1976

Алексей Бибик

ДРУЖЕСКАЯ РУКА

Немало я встречал на своем веку людей высокой одаренности и душевной красоты; среди них память бережно хранит образ Александра Серафимовича — писателя, которого широко знает вся Советская страна.

Весьма важно и дорого, когда произведения писателя тесно сливаются с его нравственным обликом. Тогда читатель проникается доверием к искренности написанного. В такой счастливой гармонии находились произведения Александра Серафимовича с его личностью, поскольку ее черты проявлялись и в общественной и в частной жизни. Душевная мягкость и принципиальная, бескомпромиссная твердость революционера — вот что, мне кажется, было в основе его характера.

Искренность писателя отлично чувствовали передовые рабочие эпохи первой революции, чувствуется она и теперь, и я уверен, что и новые поколения считают писателя Серафимовича «своим», так же, как считали и мы. Поэтому и труд его, и образ его долго-долго еще будет жить в сердцах миллионов советских людей.

Как писателя Александра Серафимовича знал я задолго до встречи с ним. А встреча была случайной — на дороге между Новороссийском и Геленджиком, в донельзя переполненном автобусе, если не ошибаюсь — в 1927 году.

В те времена дорогу на этом участке Черноморского побережья никак нельзя было назвать упоря-

доченной. Автобус шел, спотыкаясь и кренясь подобно пьяному. Пассажиров, особенно стоячих, швыряло из стороны в сторону, друг на друга — похоже было на какой-то шуточный вальс.

Среди этих «вальсирующих» я и увидел Александра Серафимовича. Узнал, хотя раньше видел его только на фотографическом снимке в группе с другими известными в то время писателями.

Судя по тому, что Александру Серафимовичу готовы были уступить свои «сидячие» места два или три пассажира, его опознали и другие. Любезные предложения он столь же любезно отклонял.

Выглядел он этаким крепким казачиной, и казалось вполне естественным, что его сопровождает пригожая и крепкая — под стать ему — еще молодая, станичного типа, женщина.

На нее «вальс», видимо, начинал уже действовать, но она крепилась и тоже отказывалась занять место.

Все же, как ни забавлялась нами машина, чудный день апреля или мая, чудесное побережье, то скрывавшее от взора ширь Черного моря, то вдруг открывавшее все его великолепие, заражали особой бодростью, желанием общения.

Продвинувшись поближе к Александру Серафимовичу, я поздоровался.

— Добрый день, Александр Серафимович! Вальсируем?

— Да, знаете, долго ли выдержу?!

— Выдержите! Серафимович должен выдержать!

Александр Серафимович добродушно засмеялся:

— Я-то еще ничего, а вот моя жена...

Обернувшись к своей спутнице, спросил заботливо:

— Ты как? Может, остановимся?

Бледность ее лица была подозрительной, но она все же стойко ответила:

— Вот еще! Дотянем... как-нибудь.

— То-то, смотри.

Снова повернувшись ко мне, Александр Серафимович спросил:

— Вы, значит, знаете меня?

— Было бы странно не знать «своего» писателя!

— Гм... приятно слышать. А, простите, вы сами кто?

— Как вам сказать, Александр Серафимович,— я чуть замялся. — По роду-племени я — разукраинившийся украинец, по профессии — металлист... токарь по металлу. Но и тут «разметаллился».

— Это как же так? — видимо, заинтересовался Александр Серафимович. — Сейчас-то вы чем занимаетесь?

— Чем придется. Променял вот станок на рейсфедер. Конструктор по машиностроению.

— Не плохо, — одобрил Александр Серафимович.— Сейчас это очень-очень важно. Скажите, а вы... не пробовали писать? Ну, хотя бы о рабочих: вы же их хорошо знаете!

Когда я ставлю себя рядом с большим писателем, мною овладевает странное чувство. Не приниженности и самоумаления, нет! Ненужной скромности? Тоже нет! Но в больших людях есть нечто повелевающее воздать им должное. Все же я признался:

— Пробую, Александр Серафимович.

— Ну и как? Получается?

— Да вот... может, читали — «К широкой дороге»?

— Ну-ну? — Любопытство Александра Серафимовича сразу удесятерилось. — Так это ваша работа? Читал, читал.

Обернулся к жене:

— Знаешь, Фекла Родионовна, с нами едет автор книги, помнишь, о рабочих, о пятом году? Знакомься!

Автобус въезжал в Геленджик.

Прощаясь, Александр Серафимович до боли сжал мою руку:

— Пишите, совершенствуйтесь! Вам есть о чем рассказать.

... Вторая встреча произошла через семь лет, на Первом съезде писателей.

Моя ошибочная ориентация в период первой мировой войны на долгое время сделала мое имя весьма уязвимым. Тяготясь этой уязвимостью, я посетовал на нее Александру Серафимовичу.

Вскоре, чуть ли не на другой же день, он отправился в ЦК ВКП(б), а еще через день сообщил о результатах «разведки». Оказалось, что опасения мои неосновательны: я пользуюсь надлежащим доверием, от меня ждут плодотворной работы.

О непрочности моего положения знали, разумеется, многие писатели, но только у Серафимовича достало желания и мужества проявить человеческое участие в моей судьбе.

И еще раз Александр Серафимович порадовал меня своим доверием.

В 1947 году справедливость в отношении меня была восстановлена, я снова вступил в жизнь полноправным членом советского общества. Но был момент жуткой бесприютности. И в этот момент Александр Серафимович еще раз протянул мне дружескую руку: предложил поселиться на его даче в Переделкине.

А ведь я ему был «ни сват и ни брат»!..

Я умышленно воздерживаюсь от оценки его литературного творчества. Прежде всего потому, что оно уже давно получило высокую оценку. Мне кажется важным сейчас помочь восстановить облик этого большого писателя, хотя бы по частям, хотя бы сообщением известных мне фактов.

В свете сказанного отмечу еще одну черту характера этого незаурядного человека.

Известно, что А. М. Горький обладал редкостной притягательностью для начинающих писателей. Вряд ли кто другой из наших писателей имел столь щедрую переписку не только с начинающими, но и зрелыми писателями.

Почти такой же притягательной силой обладал и Александр Серафимович. К нему тянулись Н. Ляшко, А. Новиков-Прибой, Артем Веселый и многие другие. Можно сказать, например, что общение с ним оказало благотворное влияние на стиль А. Веселого — крепкий, своеобразный, но в ранний период перегибчатый. Думаю, что не бесплодно было общение с Александром Серафимовичем и такого мастера, как Михаил Шолохов.

И еще отрадно отметить, что советскому писателю А. С. Серафимовичу были чужды подхалимство и зависть.

Да будет память о нем светла!

1959

Юрий Либединский

О ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

Впервые имя Александра Серафимовича Серафимовича услышал я в годы своей юности, еще до революции, когда жил в родной семье, в Челябинске.

Шли первые месяцы первой мировой войны. У моих товарищей по реальному училищу, трех братьев Силиных, умерла мать — фельдшерица Пелагея Семеновна Силина. Работая в беженском бараке, она заразилась тифом. Муж ее в это время был уже на далеком Кавказском фронте. И вот тогда к осиротевшим племянникам приехала сестра Пелагеи Семеновны — Анна Семеновна Машицкая.

Свои густые темно-каштановые волосы она гладко зачесывала назад, открывая большой лоб, как в то время было совсем не модно. Ее крупные карие глаза глядели прямо и смело. В них светились ум и непобедимая жизнерадостность. От своих хлопцев, как она называла племянников, Анна Семеновна требовала безусловного подчинения и сердилась, когда они не слушались ее. Но была отходчива и, нашумев и накричав, тут же начинала смеяться, забавно высунув кончик языка. Она завела дежурство по дому, распределила между мальчиками хозяйственные заботы. Анна Семеновна всегда была чем-то занята: то вертела ручку швейной машины, то, нависая всей своей большой фигурой над столом, кроила что-то и попутно вела разговоры с любимым

племянником, моим сверстником и другом Сергеем, и со мной...

Анна Семеновна Машицкая была первой большевичкой, с которой я познакомился. От нее впервые услышал я, что людей надо делить не на добрых и злых и даже не на богатых и бедных, а по-другому — на тех, кто производит своим трудом все ценности мира, а получает лишь столько, чтобы не умереть с голоду, и тех, кто владеет фабриками и заводами, рудниками и землями. У нее первой я узнал великое понятие разделения на классы, на тех, кто владеет орудиями и средствами производства и присваивает прибавочную стоимость, и на тех, кто в обществе, где все основано на купле и продаже, может продавать только свои руки.

Но не только на такие политические темы, в прямом смысле этого слова, вела с нами беседы Анна Семеновна. Она смолоду несколько раз сидела в тюрьме, была в ссылке за политическую деятельность и не скрывала от нас сурового характера тех испытаний, которые могут выпасть на долю всякого, кто вступит на путь борьбы за народ, много рассказывала о пережитом. От ее рассказов веяло жизнерадостностью, в них революционеры рисовались лучшими людьми человечества.

Однажды, рассказывая о своих товарищах по ссылке, она с какой-то особенной теплотой заговорила об одном еще совсем молодом человеке из ссыльных студентов — страстном охотнике и рыболове.

— Впрочем, кое-что о себе он и сам написал... О писателе Серафимовиче вы что-нибудь слышали?

— Да! — ответили мы. — Как же! Конечно. И читали его.

— Так вот это он и есть, Александр Серафимович Попов. Ничего не боялся — ни половодья, ни хищных зверей, ни начальства. А вот девушек побаивался... — сказала она и насмешливо и грустно. И потом добавила со смешком: — Он за мной ухаживал...

Мы с Сергеем были большие любители чтения, о современных писателях знали многое, но все больше из книжек, а тут нам рассказывают о живом писателе, милом, мужественном и застенчивом юноше, верном товарище, убежденном марксисте. Таким Анна Семе-

новна нарисовала нам своего товарища по ссылке. И мы почувствовали себя сродни ему и старались у Анны Семеновны узнать о нем побольше. Как и где он писал?

— Вот об этом я мало что знаю. О том, что он пишет, вообще мало кто знал, кроме меня. Говорить об этом он не любил, писал потихоньку. Об очередной удаче на охоте он рассказывал так, что заслушаешься, а если кто начинал его спрашивать, о чем он пишет, вся его словоохотливость пропадала...

Анна Семеновна неожиданно уехала из Челябинска — ей угрожал арест. За несколько месяцев до Февральской революции она погибла на Миньярском заводе — спускалась в подпол, и тяжелая доска ударила ее по голове. А может, все это было и не так, и история с доской — это только официальная версия.

... Прошли годы гражданской войны. Я жил в Москве. И вот меня вместе с некоторыми другими молодыми писателями (среди нас был тогда и Дмитрий Андреевич Фурманов) пригласил к себе тот маститый писатель, о котором я впервые услышал от Анны Семеновны. Александр Серафимович пригласил нас, чтобы прочесть главы из «Железного потока».

Если в «Бронепоезде» Всеволода Иванова и в «Падении Даира» Александра Малышкина тема гражданской войны утверждалась романтически, то «Железный поток», подобно «Чапаеву», поднял эту тему на уровень эпоса. Что-то былинное слышалось нам в этом произведении, и мы сказали об этом автору. Он просил нас, не стесняясь, говорить о том, что нам не понравилось, и с большим вниманием выслушивал нас, поглядывая своими небольшими зоркими глазами внимательно и добродушно. Что-то в этих взглядах казалось мне похожим на то, как глядела на нас с Сергеем его давняя приятельница. И когда мы перешли к чаепитию, я, осилив свою робость, спросил, не помнит ли он Анну Семеновну Машицкую. И сразу же он весь встрепенулся, в глазах его блеснула какая-то молодая искра.

— А где она? — спросил он.

Я рассказал ему то, что узнал о случайной гибели Анны Семеновны. Он поник своей большой чудесной головой. У кого-то из героев «Тараса Бульбы», может

быть у самого Тараса, была, наверное, такая голова —, большая, округлая, правильной формы. Я видел, что, назвав ее имя, вызвал в памяти Александра Серафимовича милый образ девушки, может быть, воспоминания о первой любви, что весть о ее смерти его взволновала, опечалила, и не стал больше продолжать разговора.

Знакомство наше с Серафимовичем произошло в бурные годы литературной борьбы. Мы, молодые писатели, пришедшие из политотделов и комсомола, изо всей разворошенной революцией и по-новому, по-советскому устраивающейся русской жизни того времени, вели борьбу за новые пути развития советской литературы, за то, что мы принесли в нее и что нам казалось правильным. В этой борьбе мы по молодости и недостаточной культурности совершали ошибки. И Александр Серафимович, который поддерживал нас в том правильном и партийном, что мы делали, как старший товарищ указывал нам на наши ошибки.

Насколько мне помнится, первые наши встречи происходили в одном из Домов Советов, кажется в бывшей гостинице «Националь», где А. С. Серафимович проживал. Но наиболее памятны мне встречи на Красной Пресне, где Александр Серафимович жил по-семейному, уютно.

Он приглашал нас к себе, и всегда бывало, что, помимо внешнего повода — дня рождения или другого какого-либо семейного праздника, при встрече обнаруживалась серьезная причина, требующая разговора, — обсуждение какого-либо политического или творческого вопроса.

Его очень волновала наша рознь с группой старейших пролетарских писателей «Кузницы», и он много сделал, чтобы примирить нас и соединить усилия разных писательских группировок в литературе. В частности, при его помощи наладилась наша совместная работа в журнале «Октябрь», и он на первых порах особенно бережно следил за этим журналом.

Это было время, когда года не проходило, чтобы не появилось новое имя в молодой советской литературе. Александр Серафимович встречал каждого молодого писателя с любовью и вниманием. Но однажды, когда мы пришли к нему, на лице у него было выражение

особенно радостное, праздничное. Молодые искры сверкали в глазах. Он ходил по комнате и говорил возбужденно:

— Вот это силища! Вот это реализм! Представьте, молодой казачок из Вешенской создал такую эпопею народной жизни, достиг такой глубины в изображении характера, показал такую глубочайшую трагедию, что, ей-богу, всех нас опередит! Пока это только первая часть, но размах уже виден. Вот это вам для «Октября»!

Так оно и стало. Речь шла о «Тихом Доне» Шолохова, который впоследствии был напечатан в журнале «Октябрь».

После серьезного разговора Александр Серафимович сажал нас за стол, и тут уже мы попадали в гостеприимные руки его супруги.

Кормили в этом доме до отвала, одно блюдо вкуснее другого.

Александр Серафимович то поднимал тосты, по большей части шутливые, то рассказывал какую-нибудь веселую историю.

У Александра Серафимовича была совсем особенная манера обхождения с людьми. Он был шутлив, ласков, и в то же время во взгляде его глаз было что-то исключавшее какую бы то ни было возможность фамильярности, амикошонства. Некоторым казалось, что это — суровость, а между тем он был очень добр.

Я в один из самых трудных моментов своей жизни, во время дискуссии по поводу моей повести «Рождение героя», ощутил поддержку его доброй руки, о чем никогда не забуду.

Вскоре после смерти Александра Серафимовича я встретился с одним моим другом. Заговорили о «старике», как мы называли Серафимовича, о застенчивой, какой-то конфузливой доброте его. И друг мой рассказал, как он однажды попал в трудное материальное положение, усугублявшееся тем, что ему неудобно было обратиться за помощью в общественные организации.

— И вот,— рассказывал он,— однажды утром я услышал из своей комнаты, что кто-то, как мне показалось, скребется во входную дверь нашей квартиры. Я ждал звонка, звонка не последовало. Я встал,

открыл дверь — никого. Вышел в наш длинный коридор, в который выходили двери других квартир, и увидел быстро удалявшуюся характерную фигуру Александра Серафимовича. Он насколько мог быстро шел, словно за ним кто-то гнался. Какое-то чувство не дало мне окликнуть его. Я быстро вернулся и заглянул в почтовый ящик, висевший на дверях моей квартиры. Там лежал конверт. Адрес на конверте надписан не был. В конверте была сумма денег, которая по тем временам меня вполне устраивала. Когда обстоятельства мои поправились и я захотел вернуть Александру Серафимовичу свой долг, он сказал: «Ничего этого не было!» — и попытался взглянуть мне в глаза, но, смутившись, отвел их в сторону.

В 1928 году я переехал в Ленинград, и встречи наши с Александром Серафимовичем прекратились. Но тем более памятна мне одна встреча, когда Александр Серафимович, возвращаясь из Парижа, остановился в Ленинграде и захотел рассказать о своих впечатлениях от поездки некоторым ленинградским писателям. Мы собрались в кабинете тогдашнего директора ЛенотГИЗа. Насколько я помню, при этой беседе присутствовали писатели Слонимский, Федин и Чумандрин. Рассказ был живой, интересный. Александр Серафимович любил посмеяться и не боялся самого себя представить в смешном положении.

— Понадобилось, значит, нам купить иголку,— говорил он, весело поглядывая на свою супругу.— Я запамятовал, как по-французски иголка. Заглянул в словарь, слово показалось мне знакомым. В окно вижу, что на той стороне улицы есть соответствующий магазинчик. Я перешел улицу, вошел, поздоровался и назвал нужный мне предмет. Меня переспросили, я еще раз повторил возможно раздельнее. Меня спросили, кто я такой. Я показал на гостиницу.

— О, этранжер![1] — и меня спросили о национальности.

Я был в полном недоумении, однако учтиво назвался.

— Русский?

И тогда они, словно уяснив себе что-то, перегляну-

---

[1] L'étranger — иностранец (*франц.*).

лись, о чем-то оживленно заговорили, добродушнейшим образом похлопали меня по плечу, подвели ко мне шустрого мальчонку и знаками пояснили, чтобы я следовал за ним. Я был в полном недоумении. В магазинчике продавались пуговицы, нитки и прочая галантерея, здесь должны быть и иголки. Но со мной обошлись настолько дружелюбно, что я решил не перечить и покорно пошел за мальчонкой, который едва ли не бегом, однако не забывая оглядываться на меня, все шел и шел, сворачивая в какие-то улицы, пересекая их. Неужели иголки в Париже продаются только в специализированном магазине? И вот наконец мальчик остановился. Мы были возле магазина, помещавшегося в подвале. На пороге его стояли чучела различных зверей — медведей, оленей. Мальчишка побежал по лестнице, я в состоянии крайнего недоумения последовал за ним. Магазин был сумрачный, висевшие и стоявшие повсюду чучела зверей придавали ему диковинный вид. Мальчик быстро объяснил приказчику, что мне нужно, приказчик с изумлением взглянул на меня и позвал хозяина, тот так же предупредительно вежливо переспросил меня, я, несколько смущенный, назвал по-французски иголку. Меня опять переспросили, поговорили между собой. Хозяин, так же как и в первом магазине, ободряюще похлопал меня по плечу и сказал что-то приказчику. Хозяин развлекал меня, показывая действительно интересные чучела австралийских животных, но мне было не до кенгуру и не до утконосов. Я не понимал, что со мной происходит. И вдруг являются несколько приказчиков и несут... что бы вы думали? Чучело великолепного орла, широко распластавшего крылья! Я видел, до какой степени люди эти горды, что показывают мне это чудо. Как ни плохо знал я французский язык, а понял из того, что они мне твердили, указывая на орла, что он не какой-нибудь, а самый настоящий русский, с Кавказа. Впрочем, я и сам видел, что это мой земляк. Такой иногда залетает к нам на Дон и может при случае утащить ягненка. Меня спросили, нравится ли мне этот орел? Что я мог ответить? Орел мне нравился, и я сказал роковое «вуй» [1]. Мне выписали чек на

[1] Oui — да.

несколько десятков франков, я покорно уплатил. Мальчишка взял орла, и мы, возбуждая восторженное и любопытное внимание всего Парижа, пошли в гостиницу, причем на расспросы любопытных мальчик называл меня и говорил: русский... Войдя в номер, я, не отвечая на удивленные расспросы жены, кинулся к словарю. И что же! Оказывается, вместо «легий» [1], что значит иголка, я упорно произносил соседнее слово «легль» [2], что значит — орел!

Так-то, друзья мои! Обращение со словарем не терпит торопливости, а то можно себе такое на голову накачать, что будет пострашнее орла! — добродушно похохатывая, говорил он. — А французы-то! Что за любезная нация! Потребовался русскому орел, не может его натура без орла, — значит, хоть из-под земли, но достань ему орла!

Мы задавали Александру Серафимовичу вопросы, и кто-то спросил его о том, как живет в Париже Бунин. Мы знали, что Серафимовича связывала когда-то с Буниным самая сердечная дружба.

— Бунин?

Глаза Александра Серафимовича блеснули примерно так же, как тогда, когда я назвал Анну Семеновну Машицкую. Но что-то, видно, затруднило его, он в замешательстве погладил свою большую голову, задумался, потом вдруг весело ухмыльнулся и сказал:

— Конечно, очень мне хотелось встретиться с моим давним другом, но что станешь делать! После революции мы разошлись, он ушел в проклятый стан врагов, к белым. Пойти к нему, как коммунист и советский человек, я не мог. А узнать, как он живет, очень хотелось. Вот я и послал к нему одного человека, тоже русского, которого Иван Алексеевич хорошо знал, с поручением подробно расспросить Бунина обо всем. И он, вернувшись, мне все рассказал.

И Александр Серафимович, время от времени поглаживая голову, так ярко и выразительно рассказал о том, как их общий друг, взволнованный, поднялся по лестнице, дрожащей рукой нажал на кнопку звонка и увидел знакомую, такую же сухощавую, но несколько,

---

[1] L'aiguille — иголка.
[2] L'aigle — орел.

пожалуй, ссутулившуюся фигуру Ивана Алексеевича, который всматривался в темноту прихожей и потом, разглядев, кто пришел, кинулся в объятия...

— Ведь как-никак — человек из России! — пояснил нам Александр Серафимович.

Короче говоря, мы поняли, что человек, которого послал к Бунину Александр Серафимович, был сам Александр Серафимович.

— Мой друг увидел на столе Ивана Алексеевича маленький портрет Сталина. И на заданный им вопрос Иван Алексеевич ответил: «Это великий человек моей родины». И вообще должен сказать, что Бунин уже многое понял, не все, конечно, но прежнее озлобление уже схлынуло с его души. Я убежден, что он скоро к нам вернется. Я верю, что всякий настоящий писатель-реалист,— а Бунин настоящий реалист: в группе «Знание» он среди нас был самым последовательным реалистом,— не может не прийти к нам! — взволнованно говорил Александр Серафимович.

...Шли годы, десятилетия, они накладывали свою жесткую печать на внешний облик Александра Серафимовича. Но душевная свежесть и молодость, которые я ощутил в рассказах Анны Семеновны Машицкой о молодом ссыльном студенте, благородство и доброта, которые я почувствовал в Александре Серафимовиче при личном знакомстве и общении,— эти качества остались в нем до самой смерти. Таким мы его запомнили навсегда.

1959

Александр Филатов

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕХ — «ВАЛЬЦОВКА»



первые я увидел его в конце 1929 года. В это время на московском металлургическом заводе «Серп и молот» организовался небольшой литературный кружок, содружество рабкоров и читателей, пробующих свои силы в творчестве. Молодые рабочие назвали свой кружок «Вальцовкой» и так объясняли смысл этого названия: «В цехах вальцуем металл, а здесь будем вальцовать слово...»

На углу заставы Ильича, в просторном читальном зале, собирались по средам рабочие прозаики и поэты. Каждая такая «среда» была полна неожиданностей, интересных и горячих споров, незабываемых встреч. И каждый, кто хотя бы раз побывал на занятиях «Вальцовки», с нетерпением ждал следующей среды, заранее просил сменщика по мартену, прокатному стану или станку дать ему возможность отработать в этот день в цехе вместо вечерней смены в ночной или утренней.

На учете в партийных ячейках цехов завода состояли в то время старейшие русские писатели-коммунисты В. М. Бахметьев, Н. Н. Ляшко и А. И. Тарасов-Родионов. Вот они-то и сделали заводской литературный кружок своеобразным факультетом образования и просвещения, творческим цехом приобщения к растущей культуре своей огромной страны. Я был в то время воспитанником пионерской коммуны — дома детей-сирот, над которым

шефствовал завод «Серп и молот». Здесь я начал писать стихи.

Узнав, что на родном заводе организовался литературный кружок, ребята-коммунары охотно отпускали меня на его занятия и даже частенько напоминали:

— Саша, завтра среда!..

В читальном зале уютно и светло, «Вальцовка» уже почти в сборе.

Среди собравшихся много новичков. Прихожу аккуратно к началу. Вижу, за столом, рядом с Н. Н. Ляшко и А. И. Тарасовым-Родионовым, сидит пожилой человек в длинной светло-серой блузе с белым мягким воротником. Смотрю и думаю: «До чего же знакомое лицо! Где-то видел, а где именно — не помню». И вдруг, словно угадывая мои мысли, кто-то полушепотом:

— Писатель Серафимович у нас в гостях!..

Да, это был действительно он — автор знаменитого «Железного потока»!

Александр Серафимович Серафимович провел с нами более чем трехчасовую беседу, во время которой рассказал о героях прекрасных произведений: «Доменная печь» Н. Ляшко, «Цемент» Ф. Гладкова, «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева — и высоко оценил их. Говорил он негромко, мягко, свободно и с такой увлеченностью, задушевностью, как будто герои этих произведений были созданием его собственного сердца. С особой, я бы сказал, с отцовской нежностью он познакомил нас с творчеством тогда еще весьма молодого М. Шолохова.

— Читали?! — задал он вопрос собравшимся.

— Не всё и не все!.. — последовал честный ответ рабочих.

Александр Серафимович рассердился:

— Стыжусь за вас!.. Орла нужно замечать по полету. Могучие крылья расправляет. В лазурные высоты поднимется скоро!..

Как не вспомнить теперь эти удивительно пророческие предсказания!

На заводе в это время шла борьба за первую пятилетку, которая поставила своей первостепенной задачей восстановление после разрухи кузнечных горнов, строгальных и токарных станков, обновление вагранок, ремонт прокатных станов и мартеновских печей.

Необходимо было сделать все это в кратчайшие сроки. Зачинателем соревнования на заводе стал листопрокатный цех, а героем соревнования красногвардеец Арсений Гладышев. Мы хотели обо всем этом рассказать Александру Серафимовичу, но услышали от него одно только слово:

— Знаю!..

— А вы знаете, что нашему первому ударнику Арсению Гладышеву вручен орден Трудового Красного Знамени за номером два?

— Знаю!..

Мы поняли, что Александр Серафимович перед тем, как побывать на занятиях «Вальцовки», был широко осведомлен о производственной и духовной жизни завода. Знал он и о том, что одновременно с борьбой за металл на заводе развернулась деятельная борьба за грамотность рабочих. Молодежь, окончив смену у мартенов, шла на учебу в вечерние рабфаки, на курсы мастеров, в школы по повышению квалификации. Не потому ли, продолжая с нами беседу, он метко заметил:

— Ваша «Вальцовка» — тоже прекрасные курсы. Потому я и приехал к вам. Верю, что при наличии способностей и постоянной любви к книге кружок ваш в будущем станет литературным цехом завода. У вас хорошая заводская газета «Мартеновка», множество цеховых стенных газет. Считайте за большую честь быть их творцами, постоянными рабкорами. У нас нет печати «большой» и «малой». Она у нас вся — ленинская!..

Мы слушали старого большевика и диву давались: «Кто же к кому в гости пришел — он к нам или мы к нему? Ведь он знал о нас больше, чем мы сами о себе».

Беседа затянулась допоздна. Собравшиеся тесным кольцом обступили писателя и стали задавать ему множество вопросов. Мне пришла пора уходить: ведь на груди у меня пионерский галстук, а в коммуне — строгий режим.

Руководитель «Вальцовки» А. И. Тарасов-Родионов заметил мое беспокойство и, перед тем как разрешить уйти с занятия, взял меня за руку, подвел к Серафимовичу и, улыбаясь, пояснил:

— Стихи пишет. Живет в заводской коммуне пионеров. Скоро кончает школу, желает стать писателем, а куда пойти учиться дальше, не знает.

— Как не знает? — блеснул добрыми глазами Александр Серафимович. — Если желает стать писателем, имеет дарование, дорога одна — на завод! — И, заметив мое удивление, еще тверже и увереннее подтвердил: — На завод!.. Настоящих моряков в море воспитывают!..

Глаза его заметно потеплели. Он привстал со стула и уже обратился ко всем:

— Показ жизни рабочего класса — тема неисчерпаемая... Океанская!.. Завод — это корабль, которому плыть в будущее... На заводе молодых рабочих-писателей должны интересовать не «грохот станков» и не «дым высоких труб», а широкие горизонты, цели строительства нового общества, рождающие новые песни труда!

Больше А. Серафимович не бывал у нас на «Вальцовке», но мы никогда не забывали о встрече с дорогим писателем. Помнили его советы и многие свои «среды» посвящали изучению жизни и творчества певца нашей эпохи.

Мы знали, что народный писатель жестоко преследовался самодержавием, его ссылали далеко на Север и в дни своей ссылки в тундре он работал над рассказами.

Мы знали его произведения «Под землей», «Стрелочник», «На Пресне». Не раз перечитывали «Железный поток» и видели, как глубоко любил он рабочий класс и как сам прекрасно представлял его широкие горизонты...

В 1933 году страна отмечала семидесятилетие выдающегося писателя-большевика. Отмечала широко и любовно.

«Вальцовка» внимательно следила за подготовкой к юбилею и заранее поручила мне, тогдашнему начинающему поэту, написать стихотворение, посвященное юбиляру.

— Ты теперь наш рабочий, токарь-серпомолотовец, — говорили мне участники «Вальцовки». — Мы помним, по чьему совету ты влился в коллектив

металлургов. И уж кому-кому, как не тебе, сказать доброе слово своему первому наставнику.

Я выполнил поручение товарищей, написал стихотворение и вскоре уже сидел в президиуме вечера.

А. С. Серафимович был растроган теплом и лаской москвичей. Пожимал руки, принимал цветы, подарки, адреса и без конца благодарил, благодарил... Я видел, как он вытирал слезы, видел, как мелькал на его длинной блузе характерный и неизменный белый воротничок. А когда мне дали слово, я приветствовал любимого писателя от имени рабочих «Серпа и молота» стихами. Стихи эти, конечно, ученические, но я не хочу их изменять и приведу в таком виде, в каком читал.

...Пережил ты тяжкие годины —
В ссылку к тундрам выгнал тебя враг.
Ты писал про северные льдины,
Уходя украдкой на чердак.

Труден путь от «Льдины» до «Потока».
Труден он, но славен и велик.
Потому и ценим так высоко
Мы тебя, писатель-большевик!

...Шло время, я продолжал работать на заводе и одновременно учился в вечернем институте журналистики. У станка любовно обрабатывал детали, а в стихах — строки...

Вскоре в моей жизни произошло незабываемое событие, которое еще ярче подтвердило мудрый совет Александра Серафимовича Серафимовича.

...Однажды перед началом утренней смены, вижу, подходит к моему станку старый кадровый мастер Кузьмич и протягивает газету «Рабочая Москва» (ныне «Московская правда»):

— Вот, читай!

Развертываю газету и вижу на второй странице свое стихотворение «Шаль». Через некоторое время в той же газете была напечатана моя «Песня сталеваров», а затем лирическое стихотворение «Сирень». Я не посылал своих стихов А. М. Горькому. Рука бы не поднялась. Сердце бы не осмелилось!.. Но он их прочел. Прочел и даже пригласил на беседу:

— Вы должны прочитать океан книг, юный поэт, океан!.. Мы пошлем вас учиться в Литературный институт, но продолжайте работать в цехе. Работа на заводе — высокая честь и прекрасная школа!..

«Боже мой, какое совпадение,— подумал я. — Ведь почти то же самое говорил мне пять лет назад А. С. Серафимович».

Какая великая любовь к рабочему классу! Какая удивительная вера в красоту и силу его духа!

В 1934 году я не был профессиональным писателем, и все же меня, токаря-комсомольца «Серпа и молота», по инициативе А. М. Горького (а может быть, и при поддержке А. С. Серафимовича) «Вальцовка» делегировала на Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Я был самым молодым делегатом этого исторического съезда и наверняка самым любопытным...

Съезд провел двадцать шесть заседаний, и на каждое из них я являлся аккуратно, как в цех на работу. Я слушал выступления всех ораторов, постоянно вел записи и систематически публиковал «Записки делегата» в своей родной заводской газете «Мартеновка».

Много говорилось на съезде о литературной молодежи, о литкружковцах. Сказал о нас и А. С. Серафимович. Сказал любовно, заботливо и масштабно: «Миллионы корреспондентов в нашей советской печати — рабочие, колхозники и тысячи, десятки тысяч литкружковцев — несут нам на смену художественную литературу»,— и, далее углубляя свою мысль, А. С. Серафимович задал съезду вопрос и сам с трибуны прекрасно ответил на него: «Откуда же такая громадная сила в нашей художественной советской литературе? Только от одного — от того страшного напряжения, направленности к одной цели, от того громадного внутреннего единства художественного творчества, которое несет в себе советская литература. Эта направленность одна — на постройку социалистического общества» [1].

В этих словах — все существо классика пролетарской литературы. И мне теперь хорошо понятен его

---

[1] «Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1934 г. Стенографический отчет». М., «Художественная литература», 1934. Заседание восьмое, стр. 211.

глубокий интерес к литературным кружкам трудового народа.

После окончания работы писательского съезда многие его участники выступали на крупнейших предприятиях Москвы и Подмосковья.

Меня, как делегата съезда, включили в бригаду писателей, которая должна была провести ряд творческих встреч с ткачами города Орехово-Зуево. Какова же была моя радость, когда я узнал, что поеду в знаменитый город с А. С. Серафимовичем и Матэ Залкой.

— А где же наш бригадир? — пожимая мне руку, задал вопрос будущий легендарный генерал Лукач.

Я не успел ответить, как из машины вышел А. С. Серафимович.

И вот мы вместе. Я во все глаза гляжу на «бригадира». Хорошо понимаю, что это неудобно, даже некультурно, но глаза не подчиняются...

Всю дорогу в вагоне и в часы общения в гостинице мне хотелось сказать: «Дорогой мой старший друг и наставник, ведь я ваш ученик. Ведь это вы наставили меня на путь истинный... Ведь это вам я обязан своим скромным творческим успехом и своим «делегатством». Помните ли вы меня?..»

А он, словно угадав мои мысли, спросил:

— Вы с «Серпа и молота»?

— Да, Александр Серафимович!..

— Народ у вас золотой... В огне дивные дива творит.

А после того как я прочел ему свои новые стихи, заметил:

— Настоящее произведение — большое дерево, а это пока первые ростки. Зеленые, сочные, но первые!..

В поездке к орехово-зуевским ткачам мне часто приходилось быть свидетелем бесед А. С. Серафимовича с Матэ Залкой. В купе вагона, да и в номере гостиницы, они сидели друг против друга. Александр Серафимович в своей «форменной» серой блузе с белым воротником, Матэ Залка в белом кителе, с орденом боевого Красного Знамени. Был он очень моложав, плотного телосложения, с правильным овалом лица, с веселыми карими глазами. В развороте плеч и слегка приподнятой голове, да и во всей осанке угадывалась подтянутость военного человека.

— Да, — обратился Матэ Залка к своему собеседнику, — железный поток революции смел с российской земли всю самодержавную нечисть, а вот до моей многострадальной Венгрии еще не докатился... Фашистский режим Хорти приговорил меня заочно к смертной казни, разлучил с дочерью и как огня боится моих книг.

Александр Серафимович, хорошо понимая раздумья венгерского писателя-коммуниста, отвечал:

— Но ведь поток-то не иссяк, он еще только набирает силы, ускоряет разбег, расширяет размах своих огненных волн. Потому-то Хорти и боится ваших книг. Знаете, какой заряд они содержат в себе!..

Взгляд А. Серафимовича был очень ласков и добр, когда он смотрел на Матэ, а предоставляя ему слово, он характеризовал его как писателя-бойца, интернационалиста и убежденно говорил, что пламень его настоящих и будущих книг дойдет до рабочих многих стран, и в первую очередь до рабочих его родины — Венгрии, которая обязательно будет свободной. И еще раз повторял:

— Обязательно!

Текстильщики горячо аплодировали этому.

Александр Серафимович Серафимович никогда не порывал творческой сердечной связи с «Серпом и молотом», следил за ростом творцов металла и особенно в годы Великой Отечественной войны интересовался, как помогают «серпомолотовцы» своей сталью героям действующей Советской Армии. Здоровье писателя не позволяло бывать у мартенов и прокатных станов, но вопрос: «Как идут дела на заводе?» — приходил от него и по телефону и в письмах. Он хотел знать все в деталях и даже собирался написать о нашем труде во имя Победы.

В начале октября 1944 года Александр Серафимович позвонил в партийный комитет завода, извинился, что не может приехать сам, и сказал, что хотел бы встретиться у себя на квартире с кем-либо из мастеров-сталеваров. Партком поручил сталевару Кириллу Федоровичу Чиркову поехать к писателю и передать ему рабочий привет от всего многотысячного коллектива московских металлургов.

Партийный комитет не случайно послал к писателю-классику именно Чиркова. Кирилл Федорович свыше пятнадцати лет варил сталь. И не просто варил. Он был одним из зачинателей стахановского движения в горячих цехах страны, не покидая вахты у мартена, успешно закончил вечерний Литературный институт, написал ряд больших статей, а потом и книгу о скоростном сталеварении. В эти грозные годы вахта у мартена была для него фронтовой линией огня. В горячей, почти беспрерывной работе сталевар получил травму. По инвалидности К. Ф. Чирков имел право и даже был обязан перейти на более легкую работу, но он не покинул мартена. И во имя победы над врагом значительно повысил выпуск плавок.

Радушно, тепло встретил Александр Серафимович знатного сталевара. Почти в трехчасовой беседе Кирилл Федорович подробно рассказал о делах и людях завода, нарисовал ему яркую картину трудовых успехов своих товарищей, чему великий писатель был несказанно рад. Вспомнил Александр Серафимович и о своем «подопечном»:

— А где сейчас тот поэт, которого «Вальцовка» делегировала на Первый Всесоюзный съезд?

— На фронте!.. Недавно с Прикарпатья письмо от него получил.

— Значит, на месте! — порадовался мой наставник.

Большим приветом ответил автор знаменитого «Железного потока» на привет творцов потоков высококачественной стали, а посланцу завода вручил книгу рассказов «В родных местах», выпущенную Военно-Морским издательством в 1944 году, с надписью: «Т. Чиркову Кириллу Федоровичу. А. Серафимович. Москва, 5 октября 1944 г.».

Так А. С. Серафимович вошел в историю нашего завода и стал родным человеком всем труженикам заставы Ильича.

1976

Владимир Шмерлинг

СЕРАФИМОВИЧ И МИЧУРИН

Летом 1929 года я приехал в родной мне Козлов — к Ивану Владимировичу Мичурину. Прошло больше десяти лет, как мы не виделись. Я хорошо знал Ивана Владимировича с самых ранних лет детства, но он не узнал меня. Я показал ему «бумагу», выданную мне редакцией журнала «Октябрь», с обычной просьбой «оказать содействие в работе», и лишь только потом напомнил, как в детстве любил забираться к нему на колени, а он обучал меня счету по мятным лепешкам.

Только тут Иван Владимирович узнал меня и улыбнулся. Особенно обрадовался он тому, что журнал «Октябрь» редактирует Александр Серафимович Серафимович.

Оказывается, Серафимович за несколько дней до моего приезда был гостем Мичурина. Недавняя встреча с Серафимовичем произвела на Мичурина большое впечатление. Об Александре Серафимовиче вспоминали в питомнике по самым разным поводам.

На столе у Ивана Владимировича лежало несколько книг Серафимовича. Мичурин вновь перечитывал «Железный поток» и знакомился с другими произведениями писателя.

Показывая мне одно из карликовых растений, Мичурин лукаво улыбнулся и сказал:

— Даже Александр Серафимович замешкался, когда я спросил его, что это за «фрукт».

Не всем своим собеседникам Мичурин сразу открывался. Многих он испытывал и взглядом и вопросами.

Иван Владимирович не скрывал, что Серафимович ему сразу пришелся по душе.

— Читаю я его и удивляюсь: до чего хорошо жизнь знает!

Иван Владимирович начал расспрашивать о Серафимовиче и посмотрел на меня с сожалением, даже с досадой, когда я признался, что мне еще не пришлось не только познакомиться, но даже видеть писателя.

Когда я пришел к Ивану Владимировичу попрощаться, он сказал мне:

— А с Серафимовичем обязательно познакомься и передай от меня поклон. Я ему своего лекарства пузырек налил. Интересно знать, помогло ли оно? А кроме того, все, что напишешь обо мне, обязательно покажи Александру Серафимовичу. Мало ли что тебе может на ум взбрести, а он чепуху не пропустит.

И вот я закончил свою первую книгу о величайшем ученом и садоводе. Помню, с каким волнением понес я рукопись на Красную Пресню, где рядом с «Трехгорной мануфактурой» жил тогда А. С. Серафимович.

Я пришел в ранний утренний час. Мне открыла дверь женщина и без долгих расспросов доложила Александру Серафимовичу, что его спрашивает молодой человек.

Помню, как Серафимович поднял на меня свои вопрошающие глаза и первым делом предложил сесть. Меня сразу успокоил его певучий и ровный голос. Он положил мою рукопись перед собой на стол, задумчиво и многозначительно прочитал название «Человек на грядке», а потом сказал:

— Очень хорошо, что вы написали о Мичурине; давно уже о нем написать следовало, обязательно прочту.

Затем Александр Серафимович спросил, сколько мне лет и что заставило меня написать эту книгу.

Я ответил, что мне идет уже 21-й год, что я два раза печатался в «Октябре», а о Мичурине написал потому, что знал его с детства и эти впечатления привлекли меня к замечательному земляку.

— Ну, тогда все понятно,— одобрительно сказал Александр Серафимович.

Первая наша беседа была короткой, и я был очень поражен, когда Александр Серафимович сказал, что он сейчас оденется и пойдет вместе со мной.

Было чудесное мартовское солнечное утро. Александр Серафимович чуть щурился от солнца, потом замедлил шаг и, еще больше сощурив свои глаза, както очень задушевно произнес:

— С удовольствием опять бы побывал в саду у Мичурина. Удивительный старик!

Мы шли недолго, а Александр Серафимович то и дело отвечал на приветствия многих и многих прохожих.

По всему было видно, что его хорошо знают и уважают на Красной Пресне.

Александр Серафимович дошел со мной до трамвайной остановки и помахал мне рукой, когда я провожал его взглядом с подножки трамвая № 16.

Не прошло и нескольких дней, как мне позвонили и передали, что Александр Серафимович просит зайти.

И вот я снова в небольшом домике, в кабинете, где так много книг и исписанных бумаг. На видном месте на письменном столе — моя рукопись.

Александр Серафимович поднялся мне навстречу:

— Прочитал, прочитал. Обязательно напечатаем. Самое главное, что здесь не только агрономия, но и образ человека. Да, он такой, и слова его, и привычки.

Когда я высказал опасение, что Ивану Владимировичу может не понравиться то, что кое-где я называю его стариком и привожу такие его слова, как «дурачья штука», Александр Серафимович сказал:

— Нет, это надо оставить. Ведь такие книжки надо писать не для того, чтобы угодить даже самому великому человеку, а для того. чтобы показать, как простой, самый реальный человек творит свое прекрасное дело.

И тут же Александр Серафимович начал вспоминать о Мичурине со многими подробностями. Я вдруг почувствовал в его речи паузы и расстановку слов, характерные для Мичурина.

Александру Серафимовичу очень запомнилось, как Иван Владимирович при нем кормил воробьев, называл их «бездельниками» и тут же говорил, какую они приносят пользу; как он то ворчал, то ласково разговаривал со своими лохматыми желтыми собачонками, сопровождавшими его по саду.

Александр Серафимович вспомнил и о лекарстве, которым снабдил его Мичурин. Оказывается, это лекарство Александр Серафимович взял не для себя, а для кого-то из своих близких. Он не сомневался, что это лекарство — настой из тибетской травы, — конечно, принесет пользу, если только больной будет соблюдать строгий режим и правила приема, о которых ему несколько раз и так настойчиво повторял Мичурин. И сказал, что очень бы ему хотелось послать Мичурину в подарок «Толковый словарь русского языка» Вл. Даля. Иван Владимирович жаловался ему, что в Козлове он не может достать книг, в которых очень нуждается. Александр Серафимович попросил меня, если я найду такой словарь у букинистов, сразу же сообщить ему об этом.

Мы разговаривали о многом и разном. Потом писатель взял мою рукопись и начал говорить о том, что следовало бы в ней изменить и поправить. В конце беседы он сказал:

— А вот то, что Иван Владимирович пишет стихи, признаюсь, даже не предполагал. А это так и должно быть. Большой человек во всем талантлив. Стихи эти мне очень понравились, особенно те, которые написаны гекзаметром.

Серафимович перелистал страницы рукописи, нашел стихи и медленно, вдумываясь в каждое слово, прочитал:

А впереди, в безмерном горизонте,
Лежит дальнейший путь к пределу совершенства.

Мои очерки о Мичурине Серафимович передал в «Октябрь», где они были напечатаны в 5, 6 и 7-й книгах за 1930 год.

Очерки были приняты к изданию и Государственным издательством художественной литературы. Но тогда еще в художественной очерковой литературе было мало книг на темы науки. И в издательстве наш-

лись работники, которые настаивали на устранении из рукописи всего того, что относится к Мичурину как к человеку, предлагая оставить только описание его научных и практических достижений. Когда Александр Серафимович узнал об этом, он возмутился и сообщил о своем мнении в издательство.

Книга моя вышла в 1931 году с предисловием А. С. Серафимовича.

Мне кажется, что в немногих словах этого предисловия А. С. Серафимович очень полно и выразительно охарактеризовал всю ценность работ Мичурина.

«Быть может, ни в чем так ярко не сказалась прогнившая бездарность буржуазно-царского строя, как в судьбе Ивана Владимировича Мичурина»,— писал А. С. Серафимович. Говоря о работах И. В. Мичурина в советское время, писатель подчеркнул то, что особенно поразило его во время посещения питомника: «Вокруг И. В. Мичурина зреют и наливаются молодые силы. Как это прекрасно: удивительный старик бросает семена не только в почву, но и в умы!»

И после выхода «Югосевера» я продолжал работать над этой темой, опубликовал в журнале «Молодая гвардия» повесть «Мичурин», вышедшую в 1934 году в Издательстве писателей в Ленинграде. Опять при выпуске этой книги возникли препятствия, на этот раз от меня потребовали, чтобы я убрал всю научную часть, как не имеющую отношения к художественной литературе.

При встрече я рассказал об этом А. С. Серафимовичу. Александр Серафимович рассмеялся, а потом сказал, что автор обязан настойчиво отстаивать то, в чем убежден; что, какую бы ответственность ни несли редакторы и издательство, над всем первенствует ответственность автора.

И в последующих встречах, когда Александр Серафимович с интересом расспрашивал меня о поездках по стране, он обязательно очень сердечно вспоминал «удивительного старика» и его помощников.

В последний раз видел я Александра Серафимовича в 1947 году, встретившись с ним около кинотеатра «Ударник», на улице имени А. С. Серафимовича.

Мы отошли в сторону, и я рассказывал Александру Серафимовичу о том, что видел в послевоенном

Сталинграде, о том, как в городе чутко и заботливо относятся к маленьким сталинградцам, потерявшим в Отечественную войну отцов и матерей. Александр Серафимович очень взволновался, когда разговор зашел на эту тему.

— Да, я об этом хорошо знаю. Вам следует побывать и у нас, в Усть-Медведицкой: там много детских домов для детей Сталинграда.

Характерно, что Александр Серафимович назвал город Серафимович бывшим названием. Прост и скромен в большом и в малом был этот человек, так много сделавший для процветания советской литературы.

Через несколько лет после этой встречи, когда А. С. Серафимовича уже не было в живых, мне довелось побывать в городе Серафимовиче.

Я шел к дому, видному издалека, в котором размещался музей А. С. Серафимовича, и думал о том, что именем Мичурина и Серафимовича уже названы улицы и города, на их трудах воспитываются поколения и как знаменательно, что эти два человека так тянулись друг к другу.

Здесь, в городе, носящем имя писателя, я как бы снова, еще раз встретился с Александром Серафимовичем.

Я ощутил это, когда проходил по светлым залам музея, где любовно показана его большая жизнь и замечательное творчество. Но особенно явственно я ощутил это, когда слушал простые рассказы земляков писателя. Среди них были и те, кто заботился о детях, оставшихся без родителей в Великую Отечественную войну. Воспитатели, няни, библиотекари рассказывали о том, как часто приходил Александр Серафимович в детдом на Республиканскую улицу, подолгу беседовал с ними, помогал всем, чем только мог. При его активном содействии для воспитанников детдома были открыты двухэтажный Дом культуры и прекрасная детская библиотека. И во всех этих рассказах о многообразной деятельности А. С. Серафимовича во имя счастья детей звучало единодушное признание: дети по-настоящему любили Александра Серафимовича. Он был для них родным человеком.

1959

В. Саянов

В МАЛЕЕВКЕ


имой 1927 или 1928 года — не помню точно — жил я в Доме творчества писателей, в Малеевке,— назывался он тогда, кажется, иначе. Там подобралась хорошая компания, и много времени мы проводили в разговорах и длительнейших дискуссиях, которые начинались обыкновенно за вечерним чаем, а заканчивались уже за полночь. Эти дискуссии нельзя было назвать обычными спорами, мы и в Доме творчества вели их с удивительной обстоятельностью, словно и здесь продолжалась работа рапповской организации. Все же это было хорошее время, все мы были очень молоды, и каждый из нас мечтал создать великую книгу. Впрочем, никаких честолюбивых замыслов у нас не было, и мы мечтали совершить творческий подвиг только для того, чтобы укрепить авторитет РАПП, в котором хороших писателей тогда было маловато. О личной же славе мы не думали, ведь в то время даже к спортивным рекордам относились презрительно... Не помышляли мы и о больших гонорарах,— писателей, зарабатывавших много денег, мы не уважали и считали их шкурниками.

Засиделись мы однажды за чайным столом допоздна, слушая рассказ товарища о его встрече с одним известным литератором.

— Понимаете, прихожу в издательство и встречаю экивока. Хотел с ним побеседовать о проделках Панаита Истрати, а он руками замахал и сразу к директору. «Мне,

говорит, пятьсот рублей нужно, как раз пятисот рублей не хватает, чтобы купить картину Рокотова. А картина дивная, на ней один аристократ изображен с отвисшими по-собачьи щеками,— сразу чувствуется, что художник презирал дворянство... Редкость исключительная».

— Вот шкурник-то,— негодовали мы.— Зачем ему эта картина, что он с нею будет делать? Любоваться один? Но он сам говорит, что это социально сильная картина. Ей место в музее, ее народ будет смотреть. А уж если завелись у него лишние деньги, мог бы внести их в фонд МОПРа — там нужна помощь большая, ведь на Яве, говорят, голландцы много революционеров бросили в тюрьму...

При нашей беседе присутствовал высокий старик с умным, усталым лицом, с огромной лысиной, наблюдательный и зоркий. Мы все уважали его и немного побаивались. Это был Александр Серафимович Серафимович. Он жил тогда в Малеевке с сыном и его женой.

Александр Серафимович не принимал участия в наших беседах, но иногда, по блеску его глаз, внимательных и суровых, мы чувствовали, что он прислушивается к нашим бестолковым спорам. Обычно он не вмешивался в них и на правах старшего не учил уму-разуму. Но на этот раз он вдруг спросил рассказчика:

— Как вы назвали этого рвача? Экивоком? Очень глупо и, главное, совсем не смешно...

Кто-то из нас принялся горячо защищать определение, данное товарищем. Объяснение было довольно путаное,— филологами мы были плохими и хороших доводов не находили.

— Понимаете, Александр Серафимович, у таких людей всегда сотни уверток, они никогда не говорят «нет» и «да». Черт их знает, что у них на уме...

Александр Серафимович развел руками и улыбнулся:

— Впрочем, если вам нравится, незачем от этого слова отказываться... Пройдет время, и сами убедитесь, что тут оно не к месту...

Помню, как внимательно слушал однажды Александр Серафимович наши споры о будущем Германии.

Германия идет к социалистической революции быстрыми шагами. Сообщения о жизни немецкого народа мы читали в иностранной хронике газет в первую очередь. Забастовки, митинги, демонстрации... Как это походило на жизнь дореволюционной России... Конечно же Германия кипела в те дни, но процессы, происходившие в немецком народе, были гораздо сложнее, чем казалось иным из нас. Я был в числе немногих, считавших, что до решающего поворота в Германии еще очень далеко, что без военного поражения революция там победить не сможет.

— Значит, через десять лет, в 1938 году, германская революция еще не победит?

— Думаю, что нет. Нам еще придется и повоевать с немцами...

— Ты типичный правый оппортунист, — горячо крикнул мне кто-то. — А я убежден, что через десять лет мы будем встречать Первое мая в социалистической Германии!..

— Правым оппортунистом вы его зря назвали, — вмешался в спор Александр Серафимович. — Он небось тоже хочет поскорее поехать в революционный Берлин. Но ведь исполнение желаний не всегда зависит от нас самих...

Однажды за чаем мы решили провести «вечер воспоминаний».

— А что вспоминать будем? — спросил архангельский уроженец Шубин, молодой и талантливый прозаик, теперь, к сожалению, забытый, — вот и я сейчас не могу вспомнить его имя.

— Расскажем что-нибудь из поры детства, — предложил я. — Вспомним один какой-нибудь интересный случай. Их ведь у каждого из нас было немало...

Все согласились с моим предложением, и я первым начал рассказывать.

События детства еще свежи были в памяти, воспоминание о каждом происшествии недавней поры обогащалось множеством подробностей, и рассказ о детских годах становился повествованием о старой Сибири. Перед мысленным взором моим проходили десятки интересных людей, которых привелось видеть в пору детства, и вновь оживали в моем рассказе картины

праздничных гуляний, когда приискатели, которым неожиданно «подфартнуло», появлялись перед товарищами в плисовых шароварах и канаусовых рубашках, и рекой лилась водка, и праздничное застолье неизбежно заканчивалось пьяной дракой. А рядом с этим приходили на память героические дни Ленской забастовки, воскресали образы строгих, трезвых шахтеров, вспоминались люди, бесстрашно вставшие на борьбу,— доблестно отстаивали они свои человеческие права.

Кто-то зашелся кашлем во время моего рассказа, я оглянулся и обмер от удивления: среди моих слушателей находился Александр Серафимович. Сын его в тот день уехал в Москву, и он оставался один в Доме творчества.

— Зашел на огонек,— сказал он, покашливая.— Устал сидеть за письменным столом...

Конечно, я сразу оборвал рассказ,— ведь не автору же «Города в степи» и «Железного потока» слушать мои воспоминания о шахтерской Лене.

Минут через десять все мы разошлись по своим комнатам, ушел вслед за нами и Александр Серафимович.

Как-то ночью я проснулся и решил пойти погулять. Ночь была звездная, холодная, снег пел и поскрипывал под ногами, словно я шел по шатким деревянным мосткам. Часа через два, возвращаясь домой, я увидел свет, горевший в окне комнаты, которую занимал Серафимович. «Что делает сейчас старик?— подумал я.— Работает? Или мучит его бессонница? Или читает какую-нибудь новую рукопись?» У меня в комнате лежал «Железный поток», и в который раз уже я начал перечитывать эту удивительную повесть. Она мне всегда казалась частью большой жизни самого Серафимовича, а о возрасте у всех нас было тогда странное представление: человека сорока лет мы уже считали стариком. Что же тут говорить об Александре Серафимовиче, которому шел седьмой десяток...

С того дня, когда я рассказывал о своих детских годах, наши вечерние беседы прекратились, и после чая мы стали сразу же расходиться по своим комнатам,— близился к концу срок нашего пребывания в Малеевке, а написано за месяц было еще маловато.

Перед отъездом из Малеевки я опоздал к вечернему чаю и пришел в столовую, когда все уже разошлись, кроме Шубина. Он поджидал меня с бутылкой водки, которую запрещено было распивать в Доме творчества. Но, понятно, невозможно было расставаться, не промочив горла, и Шубин разлил содержимое бутылки по стаканам.

Только выпили мы и обменялись несколькими фразами, дверь распахнулась и Александр Серафимович вошел в комнату. Он внимательно посмотрел на меня и тихим своим голосом спросил:

— Опять убежите, едва появляюсь я?

— Что вы, Александр Серафимович, — возразил я, — наоборот, я очень рад поговорить с вами. Я ведь сегодня снова перечитал «Железный поток». Да и вы, кажется, долго не спали, — ночью, возвращаясь с прогулки, я видел в вашем окне огонек... Работали вы?

Александр Серафимович развел руками и тихо сказал:

— Ничего удивительного нет... Писатель должен всегда работать.

Он помолчал, взял стакан остывшего чая и улыбнулся снова:

— Что сейчас делаете?

— Стихи пишу...

— А проза вас интересует?

Я обидчиво ответил:

— Если хорошая. Но стихи все-таки выше: ведь их сам Пушкин писал...

Он помолчал, размешивая ложкой сахар в стакане. Молчали и мы с Шубиным.

— А я считаю, что сейчас слишком много стихов пишут, — тихо сказал Александр Серафимович. — Пушкин-то вам, молодым поэтам, не указ. Ведь и вы, кажется, Лефом увлекаетесь...

— Это уже прошло у него, — важно заметил Шубин. — Это было на первом этапе его творчества, а на нынешнем этапе он от Лефов отошел, изучает классиков.

— Экие вы важные, — строго сказал Серафимович, — у вас и творчество есть, и даже разные его этапы... А я хоть старик, о себе столь напыщенно не думаю...

Так серьезно были сказаны эти слова, что мы невольно рассмеялись, и я примирительно сказал:

— Насчет этапов моего творчества, конечно, говорить еще рановато. Это Шубин по дружбе сказал, чтоб меня подбодрить...

— А ведь могли бы быть уже и этапы творчества,— сказал Александр Серафимович, — если бы вы меньше времени отдавали стихам и занялись прозой. Вот о Лене вы интересно рассказывали, это и надо записать, как вспомнится, больше внимания обращая на простых людей, которых видели, и меньше увлекаясь собственными переживаниями... Настоящий писатель больше всего интересуется людьми, их чувствами, их борьбой. А о себе он всегда рассказать успеет, это никуда не уйдет. Как и стихи, — добавил он, усмехнувшись... — Только смотрите, чтобы не получилось у вас так называемой поэтической прозы. Ею многие увлекаются, а для чего она пишется — не понять...

Уезжая из Малеевки, я вспомнил об этом разговоре со смешанным чувством удивления и восторга, — ведь Александр Серафимович словно в душу мою заглянул в тот вечер, ведь как раз и в Малеевку я приехал тогда, чтобы работать над своей первой повестью, хотя и скрывал это от товарищей.

1927—1929 годы были переломными в моей творческой биографии. Именно в эту пору зародились у меня обширные планы стихотворных и прозаических работ, которым я отдал десятилетия своей жизни. Огромную роль в осуществлении этих замыслов сыграло знакомство с Алексеем Максимовичем Горьким, некоторые подробности работы которого над «Жизнью Клима Самгина» я наблюдал на ее важнейшем этапе. Но слова Александра Серафимовича были первым могучим толчком к раскрытию главного в моем внутреннем мире, и доныне я ему благодарен за это...

1958

В. Билль-Белоцерковский

ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА

В Великом океане нас, пассажиров-реэмигрантов, возвращавшихся в Россию в семнадцатом году, в период Февральской революции, обогнал пароход, на котором среди пассажиров находилась группа представителей «Армии спасения». Эта ханжеская организация также направлялась в Россию якобы ради благочестивых целей «помощи русскому народу», на самом же деле помогать российской контрреволюции. Зная истинную роль этой «Армии спасения» еще будучи в США, я решил немедля, после Октябрьской революции, разоблачить ее деятельность у нас. С этой целью, как мне посоветовали товарищи, я написал обличительную статью.

Весной 1918 года я принес ее в редакцию «Правды». Статью прочитал и одобрил заведующий литературным отделом. Это был пожилой человек с вдумчивым взглядом добрых, я бы сказал, кротких глаз. Просто, тепло и задушевно разъяснил он мне, как полезно было бы дать нашим рабочим правдивые рассказы из жизни зарубежного пролетариата. Другими словами, он поощрил, поддержал мое намерение писать художественные рассказы. Это был Александр Серафимович. Я ушел под обаянием этого исключительно скромного человека, по-настоящему светлой личности. Таким он был в 1918 году, таким он был и в последующие годы, всегда.

Прошло много лет, — я не стану рассказывать о его всем известной

литературной деятельности, но я не могу не вспомнить о том впечатлении, которое произвела в дни революции его знаменитая статья «По ту сторону баррикады». Это был грозный упрек тем писателям, кто в момент величайшего события в истории человечества дрогнул, или не понял, или не хотел понять значения революции и остался по ту сторону баррикады вместе с черной реакцией. Участники гражданской войны также никогда не забудут его вдохновенные статьи с фронта. Всю свою жизнь, весь свой талант писателя он посвятил борьбе трудящихся за освобождение от гнета капитализма, за победу пролетарской социалистической революции, за построение коммунизма. Кроткий, чуткий, глубоко демократичный, он превращался в могучего революционного борца, когда сталкивался с чуждыми и враждебными делу партии людьми, под какой бы искусной маской они ни скрывали свое настоящее лицо. Он бесстрашно срывал эти маски. Таким я помню его в совместной борьбе с теми писателями из руководства РАППа, которые показали себя чуждыми и вредными для советской литературы. Старый, больной, Серафимович всегда находил силы помочь и поделиться своим опытом не только с литераторами, но и с людьми различных профессий и возрастов.

Л. Н. Толстой ценил в писателе два качества — художественную простоту и искренность, и не потому ли, применяя к оценке писателя пятибалльную систему, он оценил рассказ А. Серафимовича «Пески» на пять с плюсом. Можно с уверенностью сказать, что эти качества являлись не только следствием его таланта, но и отражением его души.

Я неоднократно говорил и писал, что, если молодому писателю потребуется положительный образ коммуниста, жизнь А. С. Серафимовича может послужить ему прекрасным примером.

1959

Федор Кравченко

ГИМН ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВУ



В 30-е годы я жил и работал в Харькове. И у меня было горячее желание познакомиться с Александром Серафимовичем, произведедения которого я читал давно, еще в ту пору, когда библиотека помещика Давыдова перешла в руки народа и я, чернорабочий каменского сахарного завода, впервые получил доступ даже к сборникам «Знание», которые издавались при участии Максима Горького.

Однако кое-кто из моих знакомых предостерегал меня, что автор знаменитого «Железного потока» «уже глубокий старик», что незачем его «беспокоить», навязывать ему еще одно «знакомство»...

Мне были дороги его рассказы и роман «Город в степи», а после того, как прочитал эпопею «Железный поток», сердце мое наполнилось такой горячей любовью к Серафимовичу, что меня «страх обуял»: умрет, думаю, как Владимир Короленко, и никогда моя мечта не осуществится... (Дело в том, что я в детстве был пленен произведениями Короленко, знал, что он живет «совсем недалеко» — в Полтаве, куда можно даже пешком добраться. Однако попал я в Полтаву лишь через семь лет после того, как Владимира Галактионовича не стало...)

Харьковские друзья, узнав, что я, уезжая в Москву, намерен познакомиться с автором «Железного потока», искренне потешались надо мной. Дескать, Александр Серафимович с нетерпением ждет

украинского «письменника» с его книжками пародий и рассказов о рабочих-сахарниках...

А между тем — не все это знали — у меня уже был счастливый «прецедент»: в Полтаве, где мне пришлось одно время работать в газете «Більшовик Полтавщины», я сблизился с человеком, который в дальнейшем стал не только моим покровителем, но и большим другом. Это был Новиков-Прибой, который как-то приехал в Полтаву с П. Низовым и А. Перегудовым. Не буду сейчас подробно рассказывать о том, с каким успехом Алексей Силыч выступал в Доме Красной Армии, где мы и познакомились (об этом я написал отдельно), — скажу только, что с этим знаменитым автором морских рассказов мы, полтавские литераторы, быстро подружились и мне лично он сказал, что моя мечта вполне осуществима, ибо Александр Серафимович любит молодежь и вообще очень доступен...

Нужно ли говорить о том, что смущал меня лишь возраст любимого писателя. Семьдесят лет! (Да еще, как говорят на Украине, возможно, даже и «с гаком»...)

Всего каких-нибудь восемь-девять лет прошло с тех пор, как Владимир Сосюра опубликовал в харьковском журнале «Знання» первое мое стихотворение «На заводі». А сколько лет кануло в вечность после того, как в русской печати появился рассказ Александра Серафимовича «На заводе»? (Я, кстати сказать, не заимствовал это название у русского пролетарского писателя,— совпадение названий произошло, как видно, потому, что завод с детства стал моей родной стихией...)

Да, вряд ли меня примет старик Серафимович. Но ведь Новиков-Прибой обещал меня с ним познакомить!

И все же, отправляясь в Москву, я призадумался:

«Обещал познакомить...» А смогу ли я, прежде всего, встретиться там, в Москве, с Новиковым-Прибоем? В Полтаве ему было приятно общаться с «литературной молодежью» весьма популярного во всем мире украинского города. Но ведь в Москве он трудится над своими новыми произведениями. И там его осаждают сотни, если не тысячи, молодых московских писателей...

* * *

Но молодость не только смела, а и дерзка! Я вез в своем чемодане несколько книжек, в том числе и сборник рассказов «Перемога», который весьма положительно оценил в рецензии, опубликованной в украинской литературной газете, Натан Рыбак. Этот мой сборник был посвящен «Неоспіваним пролетарям цукроварень». Теперь, когда я мог подарить пролетарскому писателю свою книжку о пролетариях-сахарниках, мне казалось, что были все основания для того, чтобы моя давнишняя мечта осуществилась. И мне очень повезло тогда.

Не так уж трудно оказалось разыскать Алексея Силыча в Большом Кисловском переулке. И оказалось, что он даже «рассердился бы», если бы я прошел мимо его дома...

Стоило мне заговорить об Александре Серафимовиче, как мой добрейший хозяин необыкновенно оживился, словно речь шла о самом родном человеке:

— Хотите взглянуть на автора «Железного потока»? — воскликнул, щуря глаза, Алексей Силыч. — Те, кто хочет хотя бы посмотреть на него, выстраиваются в длинную-длинную очередь... И разве вам недостаточно глядеть на меня?

Алексей Силыч умел шутить. В его обществе было приятно, легко; помнится, он меня как-то поразил тем, что прыгнул с зеленого пригорка в речку, как озорной мальчишка. И тогда его милая супруга — Мария Людвиговна — воскликнула, заметив не только восхищение, но и удивление на моем лице: «Прыгает, как лягушка. Правда?» Я был сконфужен и потому торопливо возразил: «Как матрос!»

В то время, когда я посетил Алексея Силыча в его квартире впервые, мы больше всего говорили о Серафимовиче. И говорили о нем именно потому, что я, хотя и робел, но признался Алексею Силычу, что с детских лет мечтаю о встрече с замечательным пролетарским писателем...

— То, что вы тоже заводской, имеет, конечно, значение, — продолжал шутить Алексей Силыч. — Но умеете ли вы петь?

— Петь?

— Да, петь. Не в церковном хоре, конечно, а с друзьями? И не обязательно... после рюмочки.

Я вспомнил, как Александр Перегудов предупреждал меня еще в Полтаве:

«Если хотите подружиться с Алексеем Силычем, непременно научитесь петь «Раскинулось море широко...». Он не станет вести с вами деловой разговор, пока вы не споете эту любимую его песню».

Шутки шутками, но в дальнейшем я убедился, что Алексей Силыч, сев с друзьями за стол, начинал с песни «Раскинулось море широко». Но ведь сейчас речь шла о семидесятилетнем Серафимовиче!..

— Александр Серафимович до сих пор любит петь песни,— как бы по секрету сообщил мне Алексей Силыч.— Запомните: как только разговор заходит в тупик, он сразу же, как полковой запевала: «Смело, товарищи, в ногу!» Или что-либо еще — боевое, веселое! И дело пойдет!..

— Наверное, он и украинские песни любит?

— Обожает, как и вашу украинскую мову.

Я не собирался петь песни в присутствии Серафимовича, но этот шутливый разговор с Новиковым-Прибоем как-то воодушевил меня, настроил, я бы сказал, по-боевому. Когда Алексей Силыч, позвонив кому-то по телефону, сказал, что автор «Железного потока» нынче будет в писательском клубе, я готов был подпрыгнуть от радости...

И наконец знакомство с Серафимовичем, который прежде всего поразил меня молодым блеском, я бы сказал, очень любознательных глаз, состоялось.

* * *

Произошло это в то время, когда маленький и уютный писательский клуб посещали крупные деятели литературы и искусства. (Чего мы не наблюдаем, к сожалению, теперь...)

Сидели мы в так называемом «дубовом зале» и, не обращая внимания на других посетителей, беседовали о замечательных переменах в литературном мире, происшедших после слияния разных писательских организаций и групп в единый союз...

— Ох этот РАПП...— почему-то вздохнул Серафимович, когда Новиков-Прибой заговорил о тех, от кого и ему, писателю-моряку, «доставалось на орехи»...

Я ловил каждое слово. Ведь передо мной, кудрявым молодым украинцем, сидели те, кого можно было назвать гордостью новой России. Оба были весьма скромно одеты и, честно говоря, ничем не отличались от самых обыкновенных советских служащих.

Алексей Силыч не очень смущал меня, так как еще в Полтаве я убедился, что это простой, душевный, отзывчивый человек.

Когда он смотрел на меня синеватыми искорками глаз, теребя по привычке усы, я почему-то вспоминал своего доброго, такого же голубоглазого отца. А вот Серафимович хотя и улыбался, но был очень суров. И мне казалось, что Алексей Силыч просто «навязал» ему знакомство с «залетным» украинцем, который к тому же держал на коленях свои, недавно вышедшие из печати, книги...

С чего начать? Подарить Александру Серафимовичу собственные сочинения или затеять разговор о Филиппе Капельгородском — авторе романа «Шурган», в котором изображена та же ситуация, что и в «Железном потоке»?

Больше всего тревожило меня, что Серафимович уже стар, хотя глаза его еще ярко светились и «стариковские морщины» отнюдь не искажали умное, энергичное лицо.

Заготовленная мною фраза: «Вас, Олександре Серафимовичу, вітає літературна Україна» — могла показаться нарочитой, нелепой, хотя я уже знал, что этот живой русский классик любит украинскую речь, лучше всего свидетельствовали об этом и яркие диалоги в «Железном потоке».

Все еще смущаясь, я больше разговаривал с Алексеем Силычем. Мне, например, хотелось выяснить, где сейчас его друг — Александр Владимирович Перегудов, который тоже приезжал в Полтаву.

Александр Серафимович неожиданно спросил меня:

— То вы з Полтавы?

Он умышленно заговорил, как те герои «Железного потока», предки которых, безусловно, покоились где-

нибудь под Полтавой или Чигирином; я ответил по-украински; Александр Серафимович рассмеялся:

— Э, я так... по-литературному не смогу. Я по-простому балакаю!..

Через минуту разговор наш оживился, и Александр Серафимович вскоре заявил, вызвав добрую улыбку на лице Новикова-Прибоя:

— Мы ж с вами одного козацкого роду! Я, правда, до сих пор козак. А вы, наверное, видриклысь вид своих предкив? Европейцем стали? Небось одним Мопассаном увлекаетесь и Тараса Шевченко забулы?

Я сказал, что Тараса Шевченко очень люблю. И что с увлечением читаю не только француза Мопассана, но и прекрасного нашего прозаика Михайла Коцюбинского.

— Чудовый був пысьменник,— задумчиво произнес Серафимович. И заговорил по-русски: — Мне о нем Алексей Максимович рассказывал. Вы же, наверное, знаете, что ваш Коцюбинский дружил с Максимом Горьким?

— Очень хорошо знаю...

— Какая замечательная дружба была! И как переживал Алексей Максимович, узнав, что его друг Михайло Михайлович умер еще таким молодым...

Лицо Серафимовича стало суровым. Он не теребил, как Новиков-Прибой, свои седые усы, а как-то лишь прикасался пальцами к ним, словно проверял: не слишком ли они щетинятся?

Я подумал, что самое время начать разговор о полтавчанине Филиппе Капельгородском, который не раз и не два внушал мне, что нам, молодым украинцам, «есть у кого учиться», ибо Михайло Коцюбинский — крупнейший мастер украинской прозы.

Однако Новиков-Прибой увел нас, так сказать, в сторону от чисто литературных разговоров.

— Слышал я об этом человеке,— сказал Алексей Силыч.— И, кажется, именно от Алексея Максимовича. Добрейший был человек!

— Добрейший? — Александр Серафимович прищурил свои умные, с украинской хитринкой, глаза.— Но Коцюбинский, как и Максим Горький, был добрым по отношению *к своим*. И какими же беспощадными они были по отношению к врагам! Какими беспощад-

ными! — повторил Александр Серафимович, напустив на свое грубоватое лицо такую суровость, что я подумал: «Нет смысла говорить о романе Капельгородского. Еще и впрямь подумает, что какой-то провинциальный писатель решил «потягаться» с «Железным потоком»... Не удастся мне, как видно, выполнить просьбу полтавчанина, написавшего книгу о той же Таманской армии...»

Серафимович между тем продолжал с едва сдерживаемой горячностью:

— Вот ведь какая проблема возникает, товарищи: доброта и доброжелательство! Много, очень много я думал о том. Есть добрые люди. Верно? Они добры даже по отношению к врагам... Человека укусила гадюка. Тут он видит, что ее, гадюку, хотят убить. И доброе сердце его сжалось... Готов пожалеть змею! Да, да, товарищи, бывают и такие добряки!

— Я сам добрый, — улыбнулся Новиков-Прибой.

Серафимович продолжал:

— Добрыми рождаются. Но ведь и злых хватает! Часто можно услышать о том, что надо, дескать, добрее быть! Можно ли добрым стать? Сомневаюсь! Вернее, готов категорически утверждать, что сделать злого человека добрым просто невозможно. Но вот чего добиваться надо: *доброжелательства!* Наш советский человек просто обязан воспитать в себе это качество. Быть доброжелательным! И конечно же доброжелательным по отношению к своим! Как это важно! Как надо бороться нам всем за это!

Новиков-Прибой вздохнул:

— Иной начальник и в наше время не умеет быть добрым потому, что родился злюкой. Но он обязан проявлять доброжелательство по отношению к людям! Обязан! Так я вас понял, Александр Серафимович?

— Совершенно верно! Ведь и при коммунизме будут всякие. Но самый свирепый начальник *обязан* быть доброжелательным по отношению к своим подчиненным...

— Доброжелательными должны быть и писатели,— лукаво уточнил Новиков-Прибой.

— Безусловно,— согласился Серафимович. И обратился ко мне: — Вы, молодой человек, не случайно же притащили с собой свои книжки? Хотите, как видно,

чтобы я... продвинул вас в какое-нибудь русское издательство? Например, в «Молодую гвардию»? Или хотя бы... чтобы я, как литературный консультант, познакомился с вами? Небось слышали, что в РАППе я ведал литературной консультацией. Житья мне тогда не было от вас, молодых! — с веселым смехом добавил Александр Серафимович.

Я сказал:

— Рад буду подарить вам, Александр Серафимович, свою книгу пародий и эпиграмм... Она недавно из печати вышла...

— Вы пародист?

— И эпиграммы хлесткие сочиняет, — похвалил меня Алексей Силыч. — Но он и прозаик! Роман, потолще вашего «Железного потока», издал!

Серафимовича не заинтересовал мой «роман»,— он весьма убежденно заговорил о том, что на Украине, как и в других республиках, должны появиться «свои Архангельские» — авторы пародий и эпиграмм. И если в моем лице он имеет «такового», то это весьма и весьма примечательно. Поскольку же он, Серафимович, понимает по-украински, то ему, естественно, интересно послушать «украинского Александра Архангельского»...

Я показал свою книгу с очень смешными, нарисованными Борисом Фридкиным, профилями на обложке [1]. Александр Серафимович полистал ее, а Новиков-Прибой сказал, что видел эту книжку еще в Полтаве. И вдруг «глубокий старик» Серафимович начал сам читать, правда с некоторым акцентом, по-украински:

Воскрес Гомер і бачить: перед ним
З своїми творами стоїть Максим.
Та прочитав
неокласичний твір
Гомер
І знов з нудьги помер...

— На кого это? — спросил Серафимович, так как над эпиграммой редактор, блюдя осторожность, поставил загадочное: «М. Р — ському».

---

[1] Книга эта вышла в 1932 году под псевдонимом Теодор Орисио.

— Рыльскому, — ответил за меня Новиков-Прибой, которому я ту же эпиграмму читал в Полтаве.

Александр Серафимович признался, что он слышал об украинском поэте Максиме Рыльском, но стихи его не читал.

— Так он неоклассик? — засмеялся помолодевший вдруг старик.

Мне как-то легко стало в обществе двух пожилых, очень известных в стране писателей, когда Серафимович, смеясь, заговорил о новом Парнасе, неомузах и «оборудованных», как мотоциклы, моторами нео-Пегасах...

* * *

Только теперь, когда мне тоже исполнилось семьдесят, я по-настоящему понимаю настроение весьма пожилого Александра Серафимовича. Ведь я и сам становлюсь молодым, общаясь с начинающими литераторами, особенно с начинающими юмористами. Я и сам до сих пор пишу пародии, шутки, эпиграммы. И, черт возьми, мне порой даже странным кажется, что вот уже позади и 70-летие со дня рождения, и 50-летие литературной деятельности.

Однако в то время мне поначалу казалось, что «старик» прикидывается молодым. Ведь как-то в Переделкине Корней Чуковский, который тоже очень любил украинскую речь, заставлял меня читать украинские пародии и, хохоча, подпрыгивал от удовольствия, стараясь казаться молодым...

Но Александр Серафимович был искренним. Все еще смеясь, он вдруг спросил: не досталось ли мне «на орехи», когда «неоклассик» прочитал такую, посвященную ему, эпиграмму?

— Он пивником, то есть петушком, обозвал меня, — сказал я, вспомнив о своей встрече с Максимом Рыльским в харьковском литературном клубе имени Блакитного. — Крупный, известный поэт заявил, что пора ему призадуматься, раз уж его такие «пивники» начали клевать!.. Он очень добрый. И отнесся ко мне, молодому сатирику, доброжелательно. Даже расцеловал меня за эту эпиграмму.

Теперь, уже вполне освоившись и вспомнив о Филиппе Капельгородском, я, как говорится, пошел напрямик.

— Известный наш писатель, прозаик и сатирик, Пылып Капельгородский написал роман о том же походе Таманской армии. Написал по-украински... Вам, вероятно, трудно было бы прочитать его?

— Прочитать? — Глаза Серафимовича лукаво заблестели. — Ваш романист, конечно, мечтает об издании его романа на русском языке?

— Я тоже так полагаю, — сказал Новиков-Прибой и подмигнул мне: смелее, дескать, раскрывай свой «подтекст»...

Я сконфузился. Ведь получилось, что я вроде бы хочу добиться перевода романа «Шурган», стараясь вовлечь в это дело Серафимовича, автора знаменитого «Железного потока». Уж если Александр Серафимович пожелает увидеть роман «Шурган» на русском языке, вряд ли издатели откажутся от перевода...

Видя, что я замялся, Серафимович заговорил с большой душевностью о том, что надо поддерживать любого литератора, который пишет о народе и для народа. Он не сказал прямо, что готов поддержать Капельгородского в Москве, но дал понять, что к нему, Серафимовичу, если будет необходимость, можно всегда обратиться. Тут же Александр Серафимович добавил:

— Название романа удачное. Шурган — это страшная буря, которая хорошо знакома всем, кто подолгу бывал в Ставропольском крае. И как же достается от нее местным жителям!..

Вскоре Александр Серафимович, сославшись на усталость, уехал. Мы с Алексеем Силычем пошли пешком в сторону Большого Кисловского переулка. И Алексей Силыч, помнится, долго еще говорил об исключительном доброжелательстве Серафимовича.

— Это надо уметь развить в себе, — говорил Новиков-Прибой, обходя маленькие лужицы на тротуаре, возникшие после дождя, который прошел, пока мы сидели в клубе. — И ведь какой он еще любознательный! Какой общительный! До сих пор путешествовать любит. Ищет хороших людей! В ногу с молодежью любит шагать! — Алексей Силыч неожиданно рассмеялся. — И не только шагать, — на мотоцикле, еще недавно, молодых... велосипедистов обгонял!

— На мотоцикле?

Новиков-Прибой приостановился:

— Удивляетесь? Он — казак, лошадей до сих пор обожает. Но очень нравились ему и прогулки на мотоцикле. Да что там прогулки — целые путешествия! И водный транспорт ему по душе!

— Как и вам, — пошутил я.

— Я большие корабли люблю,— признался Алексей Силыч,— а он... моторные лодки. И между прочим, это тот случай, когда уместно сказать: не обязательно только большому кораблю — большое плавание. Александр Серафимович совершал большие путешествия на маленькой моторной лодке. — Алексей Силыч снова остановился, пристально посмотрел на меня при свете фонаря. — Драгоценен его опыт работы над литературными произведениями. Как долго и старательно он изучал поход Таманской армии. Я был у него как-то, когда он беседовал с участниками того похода. Александр Серафимович готов был по нескольку раз слушать один и тот же рассказ участника событий. Вслушивался в каждое слово. И в душу проникал...

Алексей Силыч не говорил, что мне надо непременно учиться у таких, как Александр Серафимович, но я понимал, что это, так сказать, дружеское «наставление».

У него, Новикова-Прибоя, писателя-мариниста, я ничему, мол, не научусь, а Серафимович многому может научить. Ведь я не только сатирик, но и прозаик. К тому же — выходец из рабочей среды...

Нельзя не сказать и о том, что Новиков-Прибой в дальнейшем (когда я, закончив в Москве киноакадемию, был направлен на киностудию «Мосфильм» в качестве редактора) дружески помогал мне. Это он както привел меня в редакцию журнала «Краснофлотец» и познакомил с милейшим Александром Макаровым, ответственным секретарем редакции, сказав ему в шутливой форме, что я... начинающий маринист.

Это он, Алексей Силыч Новиков-Прибой, писал вместе со мной киносценарий «Настоящие моряки». (Этот сценарий был принят Одесской киностудией, но война помешала его «реализации».)

Мы встречались в Большом Кисловском, на даче — в Тарасовке, ездили в Одессу и Ленинград, где Алексей

Силыч знакомил меня со своими старыми друзьями — моряками. В журнале «Краснофлотец» появились мои рассказы, и А. Макаров шутя «докладывал» Алексею Силычу, что новый маринист «зреет».

* * *

Нас разлучила война. В 1944 году Алексей Силыч скончался.

В апреле 1945 года, когда я работал в газете «Московский железнодорожник», куда меня во время войны направил военкомат, мне стало известно, что Александр Серафимович выступает в кунцевском клубе «Заветы Ильича». Свыше десяти лет я его не видел, хотя, с легкой руки Новикова-Прибоя, стал одновременно и русским писателем. (Как раз в апреле 1945 года вышла из печати вторая моя написанная по-русски повесть «Семья Наливайко».) И вдруг мне захотелось послушать старика. И хотя бы издали увидеть его.

Была на всякий случай заготовлена фраза: «Нас Новиков-Прибой познакомил». Но она не понадобилась. Когда я подошел к окруженному людьми Александру Серафимовичу и не очень громко сказал, обращаясь к нему: «Вітає вас Україна», он посмотрел на меня пристально, хотя глаза, как говорится, уже были «не те», и улыбнулся:

— И я вас витаю!

Я назвал свою фамилию. Он вспомнил, что мы встречались не только в клубе писателей, но и у Новикова-Прибоя. И вдруг ошеломил меня вопросом:

— А где же «Шурган»?

Я с грустью поведал о том, что внезапно налетевший «шурган» смял самого Капельгородского (он умер в 1942 году). Александр Серафимович пророчески заверил меня, что хорошая, нужная книга не затеряется при любых обстоятельствах. И роман все же вскоре перевели и издали в Москве.

Мы не смогли продолжать разговор, так как автора «Железного потока» осаждали читатели и почитатели...

Больше мне не пришлось его увидеть, но и эта последняя встреча вызвала в моей душе радостное волнение. Я понял, что Александр Серафимович и в таком преклонном возрасте остался весьма внимательным к

людям, доброжелательным и очень скромным человеком, хотя слава его распространилась по всему свету.

Да, он был исключительно доброжелателен, *но к своим!* Врагов он до последнего своего вздоха ненавидел...

* * *

Как-то завязался у меня дружеский разговор с Рудольфом Бершадским, с которым я познакомился, когда работал в редакции основанного Максимом Горьким литературно-художественного альманаха. Как только я сказал, что меня Новиков-Прибой в свое время познакомил с автором «Железного потока», Бершадский оживился:

— Я имел счастье общаться с Александром Серафимовичем, когда он ведал консультацией для молодых при РАППе...

— При РАППе?

— Да, дорогой. И я могу подтвердить, что обычно весьма строгий, даже суровый автор «Железного потока» умел, как никто, быть доброжелательным. Он требовал, чтобы даже злые от рождения проявляли доброжелательство там, где оно уместно, где люди в нем нуждаются... Это должно стать у нас, в Советской стране, нравственным законом!

Рудольф неожиданно улыбнулся:

— Я знаю, Федор, не только твои повести, но и песню «Прощание», которую ты создал в содружестве с Тихоном Хренниковым. Ты и в этом жанре не новичок. Напиши гимн!

— Гимн?

— Да, «гимн доброжелательству». И посвяти его Александру Серафимовичу. Писателю. И Человеку с большой буквы!

Случилось так, что я вот, на склоне лет, решил все же предложить читателям свои воспоминания об Александре Серафимовиче.

Пусть же они прозвучат как гимн его доброжелательству!

1976

Л. Батъ

СТАРЕЙШИЙ

Он встретил меня пением «Марсельезы». Да, да, он стоял в небольшой передней, приземистый, седой, восьмидесятичетырехлетний человек, с высоко вскинутой правой рукой, и пел чуть надтреснутым голосом: «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé».

Так приветствовал представителя журнала, издававшегося на французском языке, старый русский писатель, один из самых ярких зачинателей советской литературы, революционный деятель, зажигавший своим словом красноармейскую массу, автор суровой, беспощадно правдивой книги «Железный поток».

История сохранила фотографию 1920 года, на которой изображен Александр Серафимович, выступающий перед красноармейцами. Так и чувствуется по выражению лица, что его согнутая в локте рука сейчас взметнется в призывном жесте, вот почти совсем как тридцать лет спустя, когда он пел при мне «Марсельезу», сразу создав атмосферу естественности и простоты.

Мы вошли в его кабинет, поражавший спартанской скупостью обстановки. Письменный стол, дватри стула и, конечно, шкафы с книгами. Никаких украшений. И только на одной стене небольшой, написанный масляными красками портрет жены писателя — Феклы Родионовны — и поодаль от него фотография: у постели страшно худого человека с изможденным

лицом сидит Серафимович и любовно глядит на него. Это он в гостях у Николая Островского.

Серафимович перехватил мой внимательный взгляд на фотографию и подвел меня к ней. Было что-то символическое в том, что она единственная, кроме портрета жены, украшала его кабинет. Видимо, какое-то глубокое чувство соединяло Александра Серафимовича с этим мужественным, волевым человеком. «Милый, милый», — ласково, как бы про себя, сказал Серафимович, и я подумала, что его чувство можно назвать отцовским.

— Вот это был человек! — продолжал Серафимович, когда мы отошли уже от фотографии. — Поразительно, как билась жизнь в этом недвижном теле. Я посетил его, когда он жил еще в Сочи. Живое лицо, даже глаза живые, а на самом деле они — мертвые. Тягостно было это сознавать. Но он не унывал, интересовался всем, жадно расспрашивал, обожал литературу. Ему читали все новое. К нему толпами ходила молодежь, и он удивительно умел обращаться с ней. Каждого приласкает, объяснит, что нужно, даст совет... Многие сначала робели, не знали, как себя вести, как говорить с ним, а потом чувствовали, что все естественно, все просто, и расставались с ним друзьями навек. Это потому, что Островский беседовал без назиданий, без учительства, а весело, понятно...

«Вот, вот, — думаю я, — без назидания, без учительства — это основа и самого Серафимовича». И, как бы читая мои мысли, он подхватил:

— Так нужно и в литературе, мораль должна вытекать органически, как и ведущая идея произведения. Незачем писателю приклеивать свои выводы; читатель сам их сделает... Если, конечно, написать как надо.

У Серафимовича в глазах смешинка.

Эта встреча с Островским как бы дала камертон всему нашему разговору.

Я почти не задавала вопросов, Серафимович сам охотно и щедро рассказывал о себе. Его биография известна, но одно дело прочитать ее в книге, другое — услышать из собственных уст.

С юных лет проникся он идеалами, навсегда связавшими его с революцией. Составление и распростра-

нение революционных прокламаций в Петербурге в студенческие годы послужило причиной его ареста и высылки в маленький городишко Мезень Архангельской губернии. Там и началась его литературная деятельность.

Он рассказал мне об этом подробно и красочно, с короткими паузами. Его много видевшие глаза помолодели от потока воспоминаний.

— Новый писатель родился,— объявили мне товарищи, когда пришел номер газеты с рассказами.

И путь его был выбран навсегда.

Передо мной возник образ ссыльного студента, застенчивого, скромного, смущающегося своих товарищей по ссылке.

Скромность, желание быть незаметным сопутствовали ему всегда. Он уже был известным писателем, а все старался оставаться в тени. Не стремился в литературные круги, мало с кем из известных писателей был знаком.

В день встречи со мной Серафимович, видимо, был склонен вспоминать забавные случаи из своей жизни и рассказал о том, как побывал в первый раз у Горького на одной из литературных встреч. В этот день читал сам Горький.

— Не помню, что именно, так как много раз слушал после этого его чтение и все смешалось. Но, кажется, «Дети солнца». А вот что хорошо запомнилось — обстановка. За большим столом сидело человек двадцать. Никто ни на кого не обращал внимания, но, видимо, все хорошо знали друг друга. Горький читал своим глуховатым голосом, напирая на букву «о». Так длилось, должно быть, час. Наконец Горький умолк, словно поставил точку, и объявил перерыв минут на десять. И тут произошло удивительное: он вышел из-за стола на не заставленное мебелью место и начал приседать и делать другие гимнастические упражнения. Никто не обратил на это ни малейшего внимания, а я смотрел во все глаза и наконец не выдержал, спросил соседа, что это значит? Тот изумленно поглядел на меня — «новичок, мол» — и равнодушно ответил: «А он всегда так — посидит час-полтора на месте и мускулы разминает...»

Эта маленькая подробность еще больше обогатила представление о Горьком, приблизила его, как приближало и все, что рассказывал Серафимович: и начало века, и конец прошлого; заставило острее почувствовать — вот передо мной писатель, с которым связано более полувека русской литературы.

Разговор зашел о реализме.

— Реализм — правда жизни, — сказал Серафимович, — все остальное выдумка, игра... Символисты здорово недолюбливали меня, особенно поэты. — Вспоминая об отшумевших литературных драках, Серафимович улыбался не без лукавства, и лицо его от улыбки подобрело.

— А вы знаете, — сказал он несколько неожиданно, — с годами я начинаю любить поэзию. Когда-то я был равнодушен к стихам, а теперь нет-нет да и потянет почитать, и схватят они за сердце... Но предпочитаю все же Лермонтова, Пушкина...

Серафимовичу было пятьдесят четыре года, когда произошла Октябрьская революция. Но он был в расцвете творческих, да и физических сил. Неутомимо разъезжал по фронтам гражданской войны в качестве корреспондента газеты «Правда». И в результате бесчисленных наблюдений, глубокого знания народной жизни возникло замечательное произведение, посвященное знаменитому Таманскому походу на Кубани, когда Таманская армия и массы крестьянской бедноты, окруженные контрреволюционными частями и немецкими оккупантами, двинулись на соединение с главными силами Красной Армии.

Я вспомнила, с каким захватывающим интересом и волнением читала эту книгу, как только она вышла в свет. Я помню даже ее обложку. В 20-х годах у многих художников наблюдалась тенденция вычурно оформлять книги, но эта обложка была сурова и проста до предела. На серовато-белом фоне — чугунно-черными, тяжелыми, как бы литыми буквами — «Железный поток».

— Я не участвовал в этом походе, — говорит Серафимович, — но, как рассказывали мне очевидцы и участники, у всех них было ощущение неразрывности с той громадой, которая зовется теперь Советской страной.

Серафимович произнес эти слова медленно, тихо, без аффектации, которой боялся пуще всего. Он не терпел громких фраз, эффектных выражений, любил юмор, шутку...

Конечно, разговор у нас шел главным образом о литературе, и я не выдержала, задала на первый взгляд стандартный вопрос: «Кто вам особенно близок по духу из классиков?» Ответ на него многое приоткрыл в Серафимовиче.

— Меня считают учеником Толстого. И я думаю, что все русские писатели чему-нибудь да учатся у него. Выше его нет! — И, помолчав, сказал: — А я люблю не одного его. Гоголя! (Серафимович восторженно причмокнул.) Чехова! Сколько ни читаешь его, каждый раз находишь новые детали! Они где-то прячутся и вдруг объявляются. А вот у французов — очень люблю Мопассана. Вы знаете,— продолжал Серафимович, согнув руку в локте и как бы подставляя ее невидимому спутнику,— у Мопассана есть что-то общее с нашим реализмом — беспощадная, полная правда.

Конечно, можно было предвидеть, что из русских писателей-современников ему ближе всего был Шолохов. И как охотно заговорил он о нем!

— Мы с ним давно связаны. Удивительно у него живые люди, ребятишки... Даже лошади живые...

Серафимович вспомнил, как в 20-х годах из станицы Вешенской к нему в станицу Усть-Медведицкую (ныне переименована в город Серафимович), за сто километров, приезжал молодой Шолохов, рассказывал о литературных замыслах.

Серафимович пристально следил за современной литературой.

— Здорово поработали наши писатели во время войны! «Дни и ночи» Симонова — хорошая, правдивая книга. А Твардовский, Исаковский — настоящие народные поэты. Как развернулись, какие слова нашли, доходящие до сердца народного.

... Читал Серафимович лишь после своего неизменно большого рабочего дня. Он не знал «прогулов», писал ежедневно по нескольку часов. В то время он заканчивал повесть «Колхозные поля». Ему, знавшему страшный быт старого крестьянства, особенно хотелось показать огромные изменения, перестроившие в

советское время всю жизнь этого крестьянства на новый лад.

— Одновременно пишу свои воспоминания. Но делаю это не в обычной форме, от первого лица, а нечто вроде повести, в третьем лице, — для большей свободы изложения. Тема этой повести — «жизнь писателя». Хочется рассказать, как на практике формировались взгляды и направления советского писателя, прожившего добрую половину жизни при старом строе; рассказать о его борьбе в то время, о его задачах сегодня... Но довольно о книгах, о планах, — перебил себя Серафимович, — лучше пойдем кофе пить и поговорим о живых людях.

Мы перешли в столовую, где уже вкусно пахло кофе, и гостеприимная Фекла Родионовна пригласила к столу. Мы пили кофе из граненых стаканов, ели сдобные булочки... А Серафимович оживленно, остроумно рассказывал тысячу занимательных историй: и о своем детстве, и о том, какой он незадачливый охотник («в жизни подстрелил одну утку, да и то нечаянно»), и о встречах с разнообразнейшими людьми, и о своих путешествиях. Жадность к жизни, к миру вызывала в нем постоянно дух беспокойства, «стремление к перемене мест». Он много путешествовал по родной стране, бывал и за границей — в 1935 году махнул в Париж.

— Хотел посмотреть, как живут во Франции рабочие, интеллигенция, хотел побродить по этому чудному городу...

Вдруг Серафимович расхохотался:

— Хотите, расскажу, какой забавный случай со мной там произошел, пустячок, анекдот, но смешно.

Конечно, я хотела, и он, посмеиваясь, рассказал, как, плохо зная французский язык, говорил вместо «aiguille» (иголка) «aigle» (орел)... А ему надо было пуговицу пришить...

— Спутал малость! Отсюда вывод — надо знать иностранные языки, — закончил шутливо-назидательно Серафимович.

...Мне не пришлось больше бывать у него. Наша встреча состоялась в сентябре 1947 года, примерно за полтора года до его кончины, все это время он прихварывал, часто лежал в больнице.

В памяти навсегда остался живой и яркий образ человека, в котором ощущалось такое доброжелательство, такое умение проникнуть в психологию другого, что, соприкоснувшись с ним, наверное, каждому, как и мне, хотелось стать лучше, деятельнее, благороднее, проще.

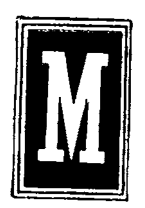
Он жил на улице, носящей его имя. Эта честь выпадает при жизни людям, имеющим большие заслуги перед родиной, перед революцией.

Александр Серафимович был из их числа.

1976

В. Ильенков

ЛИТЕРАТУРА — ПОДВИГ



не вспоминается весенний вечер 1930 года. Я шел по Тверскому бульвару в редакцию журнала «Октябрь» на встречу начинающих литераторов с автором «Железного потока». Я шел и думал: «Какой он, этот человек, увидевший железный поток революции, поток жизни, побеждающий смерть?»

Я видел тысячи оборванных, истощенных голодом, изнывающих от жажды людей «Железного потока». Я слышал детский плач и материнский счастливый смех, от которого «все светлеет кругом», и грохот рвущихся немецких снарядов, и стон умирающих, и поющий старенький граммофон, и громкий истерический хохот... А впереди тысяч — самый сильный, вожак, он идет, сомкнув каменные челюсти, суровый, бесстрашный, чистый сердцем...

Таким представлялся мне и сам автор «Железного потока». С волнением я ожидал его появления. Я волновался еще и потому, что несколько дней назад послал Александру Серафимовичу свой рассказ и сегодня должен был услышать приговор мастера.

Герой моего расказа — вор, одинокий искатель своего счастья, всеми презираемый и жалкий. Но поток новой жизни увлекает за собой и этого, казалось бы, безнадежного человека. Первый раз в жизни он совершает благородный поступок, но гибнет при этом. И мне нравилось, что своей красивой смертью искупает свою вину перед людьми, умирает как человек.

... И вот в комнату вошел Александр Серафимович. Не знаю почему, прежде всего в глаза мне бросился белый отложной воротник рубашки, выпущенный поверх черного пиджака. Я не мог оторвать глаз от этой белой — какой-то необыкновенной белизны — полоски. Я подумал, что, вероятно, вот такого цвета снег у Полярного круга. Потом мне вспомнились цветущие вишневые сады в станицах по Дону — вешний белый цвет, зовущий к жизни и счастью.

Кто-то прочитал рассказ. Началось обсуждение... Говорил и Александр Серафимович, но о моем рассказе ни слова.

С собрания мы уходили вместе. Пошли по Тверскому бульвару.

— Вы должны переписать конец рассказа, — сказал мне Александр Серафимович. — Ваш герой не должен умирать.

— Но тогда от рассказа ничего не останется. Весь эффект именно в концовке. Он умирает, и эта красивая смерть как бы смывает с него позор... Ничего не останется, если это выбросить, — защищал я свое «творение», казавшееся мне прекрасным.

— Останется главное — жизнь, — сказал Александр Серафимович. — А вы это — самое главное — принесли в жертву ради эффектного финала. Литература должна утверждать жизнь и воспевать ее торжество над смертью.

Александр Серафимович остановился, постоял, с ласковой усмешкой посмотрел на меня и шутливо-строгим тоном спросил:

— Что вы скажете в свое оправдание?

Я молчал. Мне нечего было сказать в свое оправдание.

Было около полуночи, когда мы расстались на перекрестке. Александр Серафимович зашагал по тротуару, а я все еще стоял, огорошенный такой простой истиной, и долго еще в сумраке видел что-то белое, вспыхивающее в тусклом свете уличных фонарей.

... Как-то спросил я у Александра Серафимовича, долго ли он писал свой чудесный «Железный поток».

— Писал я медленно, трудно, — сказал Александр Серафимович. — Писал, зачеркивал, переписывал. Много пришлось поработать. Людей у меня в «Железном потоке» много, и всех нужно было пропустить через свое сердце... Да, долго работал. Что ж, литература — ведь это подвиг.

... Отыскивая истоки классического «Железного потока», исследователь должен от 1924 года, когда вышла из печати эта книга, идти в глубь истории — в девятнадцатый век.

... Год тысяча восемьсот восемьдесят седьмой. Студент Петербургского университета Александр Серафимович Попов, придя на лекции 1 марта, узнает, что было покушение на жизнь царя Александра III и что в связи с этим арестован студент Александр Ильич Ульянов.

Александру Серафимовичу поручено написать прокламации. Ночь. Глухая, непроглядная ночь окутала столицу России. Все живое забилось в щели, объятое ужасом перед страшной силой самодержавия. Лишь немногие — смелые, сильные своей верой в торжество разума — продолжали борьбу и в эту глухую ночь. Студент Александр Попов писал свое первое литературное произведение — прокламацию, призывая к борьбе против царя. Так начал свою литературную деятельность писатель Серафимович. И эта прокламация была первой страницей его «Железного потока».

... Все тот же тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год.

По пыльной дороге телега несется,
А в ней по бокам два жандарма сидят...

Они везут петербургского студента Александра Серафимовича Попова в царскую ссылку, в город Мезень, о котором сами жители говорили: «Наш город в трех верстах от преисподней».

... Трещит мороз. Глухая ночь опустилась над Мезенью, над Россией. Но не спит писатель Серафимович. Он ходит из угла в угол своей тесной конуры, похлопывает руками по бедрам, делает гимнастику, чтобы согреться, потом садится к столу и пишет. О чем? О себе? О том, что ему холодно? Нет. Он пишет об

охотнике-поморе, которого унесло на льдине в открытое море.

«...На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер кружит порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней... Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем...»

Вот она — Россия. Это студента Александра Серафимовича Попова унесло на льдине в открытое суровое и страшное море жизни. И страшней, чем заполярный холод, тоска одиночества.

«... Бывало, как навалится тоска, пойдешь в мастерскую, схватишь пилу — и в размашку... Визжит рубанок, кучерявится пахучая стружка, стучат киянки, пахнет разогретым клеем, и один за одним вырастают стулья, столы, шкапы, шкатулки, и забудешься, и на душе посветлеет, а в морозные окна смотрит угрюмая приполярная ночь, и гулко, как выстрелы, лопаются толстые бревна в стенах, раздираемые морозом...»

И снова к столу, снова поскрипывает перо при тусклом свете коптилки...

Так создавалась русская великая литература. Труд русского литератора Серафимовича был подвигом. Перо в его руках было оружием в неравной борьбе против зла и насилия, освященного капиталистическим строем.

Могучая, обаятельная сила нашей литературы рождена этой неукротимой ненавистью русских литераторов к рабству и угнетению, честным и благородным служением своему народу. Но только сильные духом и чистые сердцем могли пройти не сгибаясь этой дорогой подвига — из царской Мезени к коммунизму. И впереди — всегда впереди — шел и продолжает идти Александр Серафимович — гордость советской литературы.

...Год тысяча девятьсот тридцать четвертый. Мы едем в город Горький. В маленьком газике самого первого выпуска, с брезентовым верхом, холодно; в лицо

нам дует резкий ветер, нас подкидывает на выбоинах шоссе. На моей обязанности — держать за ручку дверь, которая все время открывается. Александр Серафимович держит на коленях отлетевшее в дороге ветровое переднее стекло. Мы часто останавливаемся, накачиваем шины, прочищаем какие-то трубочки. Но мы все довольны: мы едем, черт возьми, на своей первой советской автомашине!

Но больше всех радуется Александр Серафимович: он любит машину, быстрое движение; ему доставляет удовольствие копаться в моторе, выяснять причины бесконечных неполадок, накачивать шины. Ему хочется самому сесть за руль. И он садится.

Автомобиль фыркает, дергает, бросается вбок, но постепенно успокаивается и тихо катится по шоссе. Я смотрю на широкую спину, на сильные, спокойные руки, сжимающие руль, и подсчитываю: сколько же лет нашему водителю? Неужели семьдесят второй пошел?! Неужели ему не холодно?

Мы отчаянно промерзли. Остановили машину и принялись разводить костер возле шоссе. Мы с наслаждением протягивали к огню свои застывшие руки.

Александр Серафимович в это время ходил по шоссе, на ветру.

— Что же вы не идете к огню? — спросил я.

— Не имею привычки греться у костра и вам, батенька, не советую. Вот вы возле костра согреетесь, а сядете в машину и скоро остынете еще больше, да еще и простудитесь. Нужно прежде всего в самом себе разбудить источник тепла — двигаться, усилить кровообращение, и тогда вам будет тепло без костра. Нужно своим огнем жить, батенька, а не заемным! — сказал Александр Серафимович и еще быстрей зашагал по шоссе, похлопывая руками себя по бедрам, как это делают в мороз извозчики.

Не извилистыми, окольными дорогами идет по земле Александр Серафимович — он идет своей, прямой дорогой борьбы. Началась она у Полярного круга, в стране снегов и мертвой тишины. Холодно, очень холодно было писателю Серафимовичу в ссыльной Архангельской губернии. Где-то горели костры, манили к себе, и многие малодушные грелись у этих чужих костров заемным теплом, а писатель Серафимович не

пошел к кострам. Он ходил из угла в угол по тесной конуре своей ссылки, согреваясь своим огнем — огнем ненависти к злой, темной силе старого мира, огнем любви к своему народу.

...Один из участников Таманского похода, описанного в «Железном потоке», прочитав книгу, спросил:

— А в каком полку служил Серафимович?

Этот читатель был уверен, что только непосредственный участник Таманского похода мог рассказать о нем с такой правдивостью, с таким глубоким проникновением в чувства и мысли тружеников, поднявшихся на борьбу за свободную жизнь.

Главным действующим лицом всех произведений Серафимовича является правда жизни. Он постигает ее не по книгам. Он шел по ее горячим следам, неутомимо шагая по необъятным просторам родной земли; он видел страшное лицо этой правды, озаренное чудесным светом северного сияния; он бродил по донским степям, благоухающим, плодородным, сказочно богатым, и видел голодных и нищих тружеников, вынужденных продавать дочерей своих, чтобы купить кусок хлеба; он спускался в мрачное подземелье угольных шахт — преисподнюю капиталистического мира — и видел там тружеников, прикованных к тачкам цепью нужды, черных от угольной пыли и горя; он шел в дыму орудий по полям империалистической войны и видел этих же тружеников, гибнущих за интересы банкиров, фабрикантов и помещиков; он выходил на улицы городов, перегороженные баррикадами, и видел тружеников, поднявшихся с оружием в руках на борьбу против угнетателей...

Шел тысяча девятьсот сорок третий год. Помню: сидим мы и говорим о войне. Вдруг Александр Серафимович спросил:

— Можно ли бесшумно передвинуть танк под носом у неприятеля?

Все мы пришли к единодушному мнению, что это невозможно. В самом деле: заурчит мотор, загремят гусеницы.

— А я вот написал рассказ о том, как наши бойцы бесшумно передвинули танк и увезли его из-под носа у немцев. Стало быть, я наврал, — сказал Александр

Серафимович. — Вернее, мне наврал один танкист, а я поверил ему.

Кто-то из присутствующих сказал:

— На войне все может случиться. Читатель поверит вам. Литература вообще не может жить без вымысла.

— Вымысел не должен искажать правду жизни,— сказал Александр Серафимович. — Ведь если технически невозможно передвинуть танк без шума, то, как бы я ни убеждал читателя в этом,— может быть, мне и удалось бы убедить его, — танкисты не поверят мне. Они-то уж знают, можно или нельзя это сделать. Вот они прочитают мой рассказ и скажут: «Это неправда». И уж потом они не поверят ни мне, ни вам, если мы даже расскажем чистую правду... Нет, рассказ я печатать не стану до тех пор, пока не уверюсь сам, что так могло быть. В Москве есть заводы, где ремонтируют танки. Вот я поеду на завод и там все проверю.

На другой день мы поехали на один из заводов. Огромный двор был заставлен разбитыми танками. У некоторых на толстой стальной броне зияли дыры величиной в ладонь, круглые, аккуратно вырезанные термическими снарядами; другие были в рваных ранах, без башен; третьи — с оторванными наполовину стволами орудий; четвертые — без гусениц.

В сопровождении инженера мы шли по этому кладбищу танков, а к воротам завода с грохотом и звоном уже двигались отремонтированные танки, торопясь на фронт. Может быть, среди них был и тот танк, который наши отважные танкисты увели из-под носа врага.

Инженер объяснял, а восьмидесятилетний писатель заглядывал своими зоркими глазами в нутро танка, ощупывая руками его холодную, окрашенную в цвет зимних полей толстую броню, качал головой и задавал вопрос за вопросом. Потом мы сидели в кабинете инженера, и он набрасывал на бумагу карандашом схему механизмов танка. Объяснил, что нужно сделать, чтобы без шума передвинуть танк. Он сказал, что танкист не наврал писателю, но забыл лишь оговориться, что танк был старой системы, которая позволяла вручную передвинуть танк без всякого шума, для чего нужно было сначала вывернуть свечи в моторе, чтобы предотвратить компрессию, потом включить задний ход и заводным ключом поворачивать вал мотора.

— Теперь можно напечатать рассказ,— сказал Александр Серафимович, когда мы вышли из ворот завода. Он улыбался, видимо довольный тем, что рассказ оказался правдивым. — Я назову рассказ «Веселый день»...

Это был действительно веселый день в жизни писателя. Он отослал рассказ в редакцию одной из газет. Оттуда вскоре позвонили и сказали, что рассказ не может быть напечатан, потому что «танк нельзя передвинуть без шума». Тогда Александр Серафимович извлек из кармана схему, начерченную инженером, и прочитал заведующему отделом газеты лекцию о том, как бесшумно передвигать танк под носом у врага. Рассказ был напечатан.

Этот рассказ был написан в тяжелые дни войны, однако весь он проникнут светлым чувством радости за наших советских людей, которые оказались умней, сильней и находчивей, чем думал враг.

Продолжая неутомимо шагать по своей родной земле, Александр Серафимович видит тружеников Советской России в расцвете их сил и талантов, раскованных Великой социалистической революцией. Он видит народ свой, нашедший счастье.

Думается мне, что и сам он счастливейший из людей.

Его «Железный поток» читают миллионы советских людей, творящих новую жизнь.

Все ширится грозный, неотвратимый поток миллионов, железный поток народов, устремившихся к коммунизму. И поистине счастлив тот, кто стоял у его далеких истоков, помогал ему пробиться сквозь чудовищную толщу плотины капитализма, кто приветствовал торжествующий весенний поток Октябрьской революции, кто сегодня вместе с миллионами советских людей вступает в радостный мир коммунизма.

1948

Аркадий Первенцев

ДРУГ И УЧИТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ

Мне посчастливилось познакомиться и лично узнать Александра Серафимовича Серафимовича в 1937 году, в Москве. Когда люди моего литературного поколения вступали в литературу, Серафимович был прославленным на весь мир писателем, прародителем советской литературы. Рядом с А. М. Горьким стояло имя Серафимовича, чудесного друга и учителя, всей своей жизнью завоевавшего право учить и пестовать подрастающую в литературе молодежь.

Вся его жизнь была наукой формирования молодой патриотической смены, все его произведения были учебниками, весь пыл его великого сердца был источником энергии.

В моей памяти таким остался Серафимович. Можно было на него смотреть, только смотреть — и уходить от него облученным каким-то живительным светом, верить, дерзать, смело идти против трудностей и побеждать их. Он не был говоруном, этаким всезнающим поучителем, способным в любую минуту разверзаться каскадным водопадом пустых и холодных слов. Серафимович был скуп на слово, бережно подходил с оценками, внимательно и долго приглядывался не к цвету ваших глаз, а к вашему творчеству. Он много читал и, отложив прочитанное, узнавал, а кто же это написал, откуда появился новый человек в литературе. А не нужно ли ему помочь, ободрить, направить?

«А что вы пишете дальше? Расскажите»,— обычно спрашивал Серафимович и, мягко смотря своими мудрыми глазами, с этакой милейшей лукавинкой, выслушивал вас, не перебивая, не эпатируя скоропалительными советами, не подавляя своим величием.

Мне приходилось слышать в свое время, что Серафимович слишком добр к молодым и у него легко заслужить похвалу. Ему, мол, что — похвалил и пошел дальше, а нам практически надо все делать, читать править, издавать...

Нельзя было без возмущения слышать подобные слова.

Вспомним, как он влюбленно и пророчески увидел молодого Михаила Шолохова, как поддержал его. Да, Серафимович был тот самый беркут, который учит летать детенышей возле своего могучего крыла, тот беркут, о котором говорил позже М. А. Шолохов, выступая на съезде писателей Казахстана.

С какой любовью всегда говорили о Серафимовиче Аркадий Гайдар, А. С. Макаренко. Само существование Серафимовича, само его бытие для нас, его современников, было убеждающим примером высокого служения своему народу, понимания его радостей и печалей, его мужества и величайшего разума.

«Ближе к народу! Не гнушайтесь никакой маленькой работой. Из подручных вырастают мастера,— говорил Серафимович. — Как оторвался писатель от народа, так погиб. Сколько их на нашем веку сгорело, мотыльков! Летели на огонь, да не на тот...»

Серафимович отечески следил за литературой. Он был требовательным критиком и терпеть не мог всякого трюкачества и приспособленчества. Он сам воспевал победителей, людей, прошедших через страшные трудности, через огонь и воду, но победивших. Он верил в великие силы народа, значение коллективной воли партии, призвавшей к организованной борьбе и победам.

Серафимович отдал революции самое дорогое — своего сына. Серафимович знал, что свобода достается кровью и страданиями, и всегда призывал беречь завоеванную свободу и не опошлять безделками литера-

туры революционного подвига. «Помните, кто ваш читатель,— говорил он,— берегите самих себя. Народ не обманешь. Его какой-то фальшивой статеечкой о той или иной книжке не проведешь».

Трудно представить волнение, когда вдруг перед тобой, молодым человеком, начинающим литератором, вдруг предстал живой, любимый тобой писатель. Впервые Серафимовича я увидел в редакции журнала «Октябрь». Тогда она помещалась в Гослитиздате, в Большом Черкасском переулке. Серафимович был близок «Октябрю». Представьте, я не могу вспомнить, что мне говорил Серафимович, какие давал советы. Я сидел перед ним, завороженный его умными, лукавыми, смеющимися глазами, смотрел на белый широкий ворот его рубахи, выпущенный поверх темной куртки, и не мог вымолвить почти ни одного слова. Разговор шел о моем романе «Кочубей».

— Да вы что же, там были, что ли?— удивленно спрашивал он. А мне большего и не нужно. Я смотрел на человека, создавшего «Железный поток», на человека, больше всех помогшего мне не предварительным советом, не нравоучениями, а своим литературным примером, и думал: «Как же так... Может быть, он ошибся? Может быть, кого другого вызвали? Да что же я такое сделал, чтобы со мной разговаривал *сам* Серафимович?»

Вероятно, со стороны я производил смешное впечатление. Но я знаю, что Серафимович не осудил меня и запомнил.

Мой первый литературный учитель, Николай Огнев, человек, много сделавший для меня, наряду с Панферовым, Ильенковым и другими, посоветовался с Серафимовичем. По прочтении моей рукописи Огнев, как мне показалось, несколько опасался оценок Серафимовича, так как слишком близок был материал «Железного потока» и «Кочубея». Но эти тревоги оказались напрасны. Серафимович был человеком кристальной души, слишком большим писателем, чтобы опасаться за свое первородство.

— Прочитал несколько страниц вашей повести Серафимовичу, нравится ему,— радостно объявил мне Огнев.

Это было еще до встречи с Серафимовичем. Мне даже не верилось, чтобы страницы, написанные моей неопытной рукой, стали известны такому прославленному писателю.

В свое время, в преддверии двадцатилетия Октябрьской революции, меня вызвали в журнал «Литературный критик» и попросили написать статью о «Железном потоке». Журнал решил напечатать ряд статей о выдающихся, этапных произведениях советской литературы, в том числе и о «Железном потоке».

Можно без труда представить, какая это была для меня высокая честь. Конечно, я сознавал, как трудно сделать такую статью. Никогда мной не писались критические статьи. А тут сразу о таком произведении, о таком писателе! Я жил тогда во Всехсвятском, на окраине города. До самого Всехсвятского я шел пешком, не замечая расстояния, не видя прохожих, трамваев, почти машинально переходя улицы. Мне хотелось обратиться к Серафимовичу, получить у него какие-то сведения, чтобы сказать что-то новое о его повести, о которой писалось не раз, об этом классическом произведении пролетарской литературы. И я не посмел беспокоить писателя, хотя уже лично знал его. С упоением отдался своей работе над статьей и, закончив ее, еще долго ходил с горячей головой. Статья мной была названа «Книга победившего народа». В то время были обстоятельства, связанные с судьбой одного из литературных прототипов «Железного потока», и профессиональные критики воздерживались от выступления по книге, тем более в юбилейные дни двадцатилетия советской власти.

Помню, тогда я внимательно перечитал всего Серафимовича. Передо мной встал город в степи, почему-то я олицетворял этот город с родным мне железнодорожным центром Кубани, Тихорецком; развернулись события на Красной Пресне. Мне стало яснее, откуда вырастал автор эпопеи о легендарном походе таманцев, откуда такая изумительная вера в простой народ, такое абсолютное признание его непобедимой мощи.

Мне представлялись глаза писателя, скульптурно вылепленные черты его лица. Откуда-то из глубины

веков вставали эти мужественные, незабываемые черты героев, пришедших к нам от легенды, от древнегреческого мифа. Лицо Серафимовича было чрезвычайно мужественным, волевым, необычным. И в то же время это был земной, милый, обаятельный человек.

Серафимович отмечал в узком кругу день своего 75-летия. Кто бы мог думать, что я неожиданно получу телеграмму, приглашающую меня «пожаловать в гости к Серафимовичу». У меня не было телефона. В то время я писал «Над Кубанью» и, не имея сносной жилплощади, частенько выезжал из Москвы, находя места, где можно было пристроиться к какому-нибудь столу и писать. Видимо, Серафимовичу сказали об этом. Была получена и вторая телеграмма, более подробно объясняющая причину приглашения в гости.

С большим трепетом я подъехал к Дому правительства у реки Москвы, на улице, позже названной именем Серафимовича. Постояв у черной кнопки звонка квартиры писателя, проверил по телеграмме номер квартиры. Юбилеи несут с собой много шума. В квартире было тихо. В ответ на мой робкий звонок я услышал шуршание шагов в коридоре, и вдруг в открытой двери появился сам хозяин дома. Серафимович узнал меня, полуобнял и сказал ласково и с некоторым упреком:

— Ну, что же вы прячетесь? Я и не надеялся вас разыскать. Ильенков посоветовал послать вторую телеграмму. Проходите, проходите, мы вас ждем...

Александр Серафимович старался, видимо, подбодрить меня, запнувшегося у дверей. В длинном коридоре было мало света.

— Кстати, будут все свои. Из молодых я никого, кроме вас, не пригласил.

И он добро и задушевно пожал мне вторично руку своими мягкими, теплыми ладонями и с каким-то глубоким, серьезным чувством, сразу насупив брови, похвалил «Кочубея», видимо не рассчитывая больше выгадать время для таких разговоров.

— О нем много небылиц писали, порочили его. А ведь настоящий он был человек. Не красили вы его, а вышел красивый.

Запомнились только две комнаты в квартире Серафимовича: столовая, где накрывали длинный стол к

ужину, и вторая комната — кабинет, куда надо было проходить через столовую. Серафимович вначале представил меня своим домашним, а потом провел в кабинет, откуда слышались голоса. Там я увидел Макаренко в его неизменной черной гимнастерке (в ней он потом лежал в гробу); Панферова, Ильенкова, Новича, седого высокого Скитальца и еще какого-то человека с седыми длинными волосами, в черной блузе, пришедшего в гости с девочкой, любопытно оглядывавшей всех нас своими черненькими умными глазенками и встряхивающей косичками. Девочка пришла со скрипкой. На грифе была привязана ленточка бантиком.

Серафимович был очень оживлен, шутил, смеялся, рассказывал. На столе лежали альбомы с фотографиями. Скиталец что-то показывал в альбоме, говорил о Горьком, кажется, о Куприне. Мне трудно вспомнить сейчас содержание разговора. Я наблюдал за хозяином дома и, кажется, был поглощен только этим. Какая простота! Какое отсутствие рисовки, наигранного глубокомыслия, ни одной бездушной фразы. Вот где истинное-то величие!

Кто-то напомнил хозяину о солидной дате его юбилея.

— Нет, нет, ошибка,— сказал Серафимович,— сегодня мы празднуем и пьем за здоровье молодого, сорокасемилетнего человека.

За столом было оживленно, шумно. Произносили тосты. Были тосты и литературные, за процветание советской литературы, за правду в ней, за народ. Вспомнили Михаила Шолохова, которого разгадал Серафимович своим зорким взором. Макаренко был чем-то расстроен и всячески пытался навести себя на мажорный тон. Кажется, в то время на него уже нападали стервятники. Для меня Макаренко был так же дорог как писатель, как человек и как первый написавший рецензию на мою первую книгу.

В этот вечер играла на скрипке девочка, пришедшая с неизвестным мне стариком, каким-то давним знакомым Александра Серафимовича. Игра на скрипке произвела на меня огромнейшее впечатление. Не помню, что именно она играла. Но мне представились степи Кубани, развернутые знамена, скачущая кон-

ница. На следующий день, рано поутру, я вскочил с кровати и набросал свои впечатления от музыки, которые потом полностью вошли в роман «Над Кубанью», в переживания Сеньки Мостового при обороне города Екатеринодара от корниловцев. Тогда же я записал подробности вечера. К сожалению, записки погибли во время войны.

...Перед войной мне пришлось работать в правлении Литфонда. Председателем правления был И. А. Новиков, членами А. Яковлев, В. Лидин, Джек Алтаузен и другие. К нам иногда заходил Серафимович. Литфонд строил ему дачу в Переделкине и, как положено для этой организации, тянул строительство, превышал заранее намеченную смету, что нервировало Серафимовича.

— Хочу свежим воздухом подышать, оттягивают,— жаловался он со своей обычной усмешечкой.

Наши тогдашние литфондовские руководители, честнейшие и милейшие Оськин и Алеша Овчинников, клялись Серафимовичу в том, что все будет сделано.

— Может быть, я там еще кое-что напишу,— подшучивал Серафимович.

Наконец домик был отстроен. Его нельзя было назвать дачей, какие строили тогда в городке писателей. Это была крепко сколоченная бревенчатая изба с неоштукатуренными стенами, с большими окнами кабинета, выходившими на цветочную клумбу, разбитую перед фасадной частью.

Серафимович показывал комнаты, говорил о качестве и цене леса, рассказывал, где что будет поставлено, куда он разместит книги. Утомившись, он присел в кресло, задумался, и по лицу его проскользнула какая-то горькая дума.

— Пойдемте чайку попьем,— пригласил он, встряхнувшись от своих мыслей,— расскажите, что же новенького в литературе, что написали или пишут молодые. Теперь присылайте сюда молодежь, места для разговора хватит, и рукописи есть где положить...

Надвигалась вплотную война. Серафимович чувствовал ее, несмотря на различные дипломатические разрядки международного положения. Тучи сгущались в грозовые.

— Побьет наш народ фашистов,— полуутверждающе, полувопросительно говорил он и ждал от нас ответа, как от людей, больше его имевших возможность бывать в разных местах страны и наблюдать ее жизнь.

— В случае чего попрошу меня призвать в армию...

Пожалуй, встреча на даче была последней перед войной. В 1942 году я лежал раненный в Сталинграде, в госпитале, в бывшей поликлинике водников. Меня навещал мой друг, сталинградский писатель Михаил Лобачев. От него я узнавал, как дела на фронте, кто из писателей проезжал через Сталинград. Война была основным в нашей жизни, и мы говорили о войне. Приближались армии Паулюса и Готта. В госпитале я услыхал, что Серафимовича захватила война в его родном городе и он вынужден был отступать в таких же условиях, как и все.

Потом меня везли в Куйбышев, на речном пароходе. Все было забито матросами и пехотой, перебрасываемой к Камышину. Налетел противник. Горели баржи и пароходы... Взрывались мины, пущенные в Волгу с самолетов врага. Тяжелое было время. Бойцы, собравшиеся на палубе возле моего окна, говорили о Серафимовиче, кто-то его видел на Дону, рассказывали трагическую историю гибели матери М. Шолохова от фашистской бомбы...

— Побьем фашистов,— звучало с палубы через окно, освещенное заревами недалеких пожарищ...

Позже я видел Александра Серафимовича в Москве. Он выступал в Доме литераторов. Стоял у стола, освещенный лампами, под щелканье фотоаппаратов, стоял, опершись полусогнутыми пальцами о стол, в своей курточке с белоснежным воротом, оттенявшим его смугловатую кожу, и говорил о победе, о несгибаемой воле миллионов, о партии, возглавившей борьбу.

В коридоре я встретил его и подал руку. Он поднял на меня глаза, покачал головой:

— Вас-то тоже чуть-чуть не прикончили, а? Слыхал, слыхал. Заезжайте в гости...

Не удалось.

Встречаю Ильенкова.

— Плох наш Александр Серафимович. Лежит в Кремлевке.

А через некоторое время узнаю о смерти Серафимовича, человека, писателя и друга. Мы хоронили его на Новодевичьем. Было холодно. А он лежал в своем неизменном костюме, белый воротник, сжатые губы, массивная, отяжелевшая голова, похожая на скульптуры древних мыслителей, философов, героев, таких, какими их после представляли благодарные потомки.

1959

Константин Коничев

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ



1924 году редакция вологодской газеты «Красный Север» командировала меня как селькора на совещание рабкоров и селькоров «Правды». На совещание ехал еще, кроме меня, секретарь редакции губернской газеты А. В. Евсеев.

В Москве, на третий или четвертый день совещания, Евсеев тихо сказал:

— Обрати внимание: рядом с тобой сидит Серафимович...

— Какой Царяфимович? — не расслышав, переспросил я громче, чем следует.

— Да ты потише,— шепнул Евсеев. — Разве Серафимовича не знаешь? Дореволюционный писатель и автор нового романа «Железный поток».

— Не знаю. Не читал... — Все же с любопытством я поглядел на соседа.

Писатель Александр Серафимович — бритоголовый, с седыми бровями и подстриженными усами — поглядел на меня, деревенского парня, и, добродушно улыбаясь, проговорил, будто прочел по складам:

— Да, да, Царяфимович...

Он был одет в поношенное драповое пальто; на жилистой шее — цветной мягкий шарф.

Помню, я, немного смутившись, робко сказал:

— В нашей волостной библиотеке пока еще нет вашего «Потока».

— Получите, почитаете...

В эту самую минуту поднялся

председательствующий и внес предложение избрать в президиум присутствующего на совещании пролетарского писателя Серафимовича.

В голубом зале Дома Союзов рванулись аплодисменты.

«Хлопают,— значит, люди знают этого писателя, а я еще не дорос, почитать не удосужился...» — подумал я с обидой на самого себя; однако я был доволен, что мне посчастливилось парой слов перекинуться с живым, настоящим писателем, и тут же представил, как я вернусь в деревню, в избу-читальню, и расскажу мужикам о нем, о его книгах и, конечно, не премину похвастаться: «С этим писателем в Москве я лично познакомился...»

Ему предоставили слово.

Серафимович говорил о своей работе в газете «Правда» — о том, как в восемнадцатом году с сестрой В. И. Ленина — Марией Ильиничной Ульяновой — он ходил на заводы и фабрики Москвы вербовать первых рабкоров.

— А вот теперь передо мной на совещании двести передовых представителей от десятитысячной рабсельковорской рати!.. — сказал он, заключая этими словами свое выступление.

С тех пор, разумеется, с должным вниманием я читал и перечитывал книги Серафимовича и, как избач-селькор, пропагандировал их среди деревенских читателей.

...Спустя годы в Архангельском областном архиве я просматривал «Дело Архангельского губернатора о высылке Александра Серафимовича Попова». Из дела видно, что 26 июня 1887 года Архангельский губернатор получил следующий документ из Петербурга: «На основании постановления особого совещания, бывшего студента Петербургского университета, сына есаула, Александра Серафимовича Попова, обвиняемого в политической неблагонадежности, господин министр внутренних дел постановил водворить на жительство в Архангельскую губернию под особый надзор полиции на 5 лет, считая срок надзора с 11 июня 1887 года...»

— В Мезень!.. Ни дна ему там, ни покрышки! — решает архангельский губернатор. И студент Александр Попов, заподозренный в революционной деятельности

и связях с Александром Ульяновым, направляется в чахлую, цинготную, глухую Мезень, за Полярный круг, где летом не заходит солнце, а зимой незаметны сумрачные короткие дни — сплошная студеная ночь...

...Слякотная, негостеприимная Мезень — городок, основанный в 1500 году,—имела в 1887 году ветряную мельницу, салотопку, овчинный завод и кузницу с общим количеством работающих по найму 14 пролетариев!.. Кроме того, в мезенской глухомани торчали три деревянные церкви. За частоколом ограды находилась тюрьма, и, разумеется, в городке был кабак...

В обывательских избах проживали ссыльные. Среди них известный в истории революционного движения организатор Орехово-Зуевской стачки рабочий Петр Анисимович Моисеенко. С ним сразу же сблизился Александр Серафимович Попов. Полицейские надзиратели доносили исправнику, что у Моисеенко и Попова есть два сундука книг и что эти ссыльные поют революционные песни...

Заканчивается дело сообщением о переводе ссыльно-политического Александра Серафимовича Попова на родину, в Область Войска Донского, под надзор полиции «до остатного срока», и справкой из министерства внутренних дел о том, что «отобранная при обыске книга сочинений Лассаля возвращена ему быть не может, так как принадлежит к числу запрещенных...».

Прошло с тех пор более полувека. Талантливый писатель многое сделал за этот срок.

Через 52 года после ссылки на север писатель решил побывать в Архангельске. Он приехал 14 февраля 1941 года. Осматривал изменившийся город, ездил на заводы, посещал вузы. Однажды, проходя по проспекту Павлина Виноградова, он спросил меня, показывая на двухэтажный покосившийся дом:

— Подвал есть тут?

— Есть. Там архивы хранятся.

— А полвека назад там клопов было — прямо ужас!..

Оказывается, несмотря на соседство новых домов, построенных за последние годы, писатель узнал то самое здание, где он отсиживался под арестом у жандармов в ожидании отправки в ссылку в Мезень.

— Сколько теперь населения в Архангельске? — спросил Серафимович.

— Триста тысяч.

— А в ту пору, я помню, было около пятнадцати. В двадцать раз вырос Архангельск. Разве узнаешь его?! А вот этот дом я запомнил. Сильны были впечатления первых дней ссылки в места не столь отдаленные...

В номере гостиницы я рассказал Серафимовичу, что описанный в первом его рассказе мезенский зверобой Сорока умер в 1930 году.

— Вот как! Крепок был, долгонько жил,— удивился Серафимович.

Я в ту пору был ответственным секретарем Архангельского отделения Союза писателей. С Александром Серафимовичем встречался ежедневно, пока он гостил в Архангельске. Несколько раз бывал с ним на собраниях читателей.

Он настойчиво просил меня прочитать что-нибудь. Видно, ему хотелось иметь представление о моем творчестве. Я стеснялся. И все же однажды решился: прочитал отрывок из книги о пограничнике Андрее Коробицыне и из «Деревенской повести», над которой я тогда работал. Серафимович внимательно и терпеливо слушал, а потом сказал по поводу очерка о Коробицыне:

— Просто рассказано. И верится. Такое, сидя в Москве или бегая там же по заседаниям, не написать. Вы знаете материал. Чувствуется, что Коробицын — ваш земляк и сверстник. Хорош парень!..

Выслушав несколько глав из «Деревенской повести», Александр Серафимович отозвался также одобрительно и поощрительно:

— Э-э, дорогой собрат по перу, вот это добро. Пишите, пишите. И ничего не выдумывайте. Получится интересный человеческий документ из быта вологодской деревни. Читатели будут довольны. Вы бытовик и пишете, сначала удостоверившись, так ли это было. Неплохая традиция. Писатели и читатели бывают разные. Будьте сами собой. Найдите себя и упрочьтесь. Нет таких писателей, даже самых наилучших, чтобы каждому грамотному понравиться. Да и плохо бы это было. Стандартизация!..

Тогда же А. С. Серафимович подарил мне три свои книги с дарственными надписями. На однотомнике, бережно мною хранимом, старческим почерком выведено: «Конст. Ив. Коничеву, товарищу по литературной работе, чтоб не забывал. А. Серафимович. 19 февраля 1941 г.».

Такое не забывается!..

В Архангельске писатель выступал с воспоминаниями перед многочисленными аудиториями читателей — рабочих, студентов, служащих. Он не читал своих произведений, а только рассказывал о встречах с писателями. О Короленко он говорил:

— Громаднейший талант и честнейшей души человек. Невольно вначале я подражал ему, а потом понял: копия всегда хуже оригинала. Надо писать по своему умению и развивать это умение.

В ссылке Александр Серафимович пытливо изучал жизнь мезенских поморов-зверобоев. И под впечатлением личных наблюдений за промыслом, под вой пурги, в тесном чердачном помещении он пишет первый удачный рассказ «На льдине».

Вспоминая, как он входил в писательскую среду, Серафимович рассказывал:

— Пригласили меня на вечеринку к Леониду Андрееву. Стеснялся, думаю — как да что... А Леонид Николаевич — чудеснейший товарищ, искренний. Был и Горький, тут я с ним впервые встретился. Подошел ко мне, протянул руку, отрекомендовался: «Горький из Нижнего Новгорода» — и повел меня знакомить с писателями, а на вечеринке их было много. Слышу, и меня признали писателем... — Серафимович помолчал, что-то припоминая или же нащупывая нить оборвавшегося разговора, и продолжал: — Андреев был очень талантлив, но писал упадочные вещи. Раздвоенный был... Куприн мне казался расшатанным богемой... Но смелый человек. «Поединок» — его самая сильная повесть. Удивляюсь, как цензура не зарезала. Без таланта, честности и смелости такую книгу не написать. Но в личном быту — это был анархист и невыносимый человек. Знал я Шмелева; замечательная повесть у него есть «Человек из ресторана».

Многие писатели конца прошлого и начала этого

века были выходцами из мелкой буржуазии, колебались между буржуазией и рабочими, не чувствовали под собой устойчивой почвы. Горький отбирал лучших и группировал вокруг издательства «Знание»...

Из современных писателей с большой отцовской любовью и восхищением Александр Серафимович говорил о М. Шолохове:

— Хорош земляк, хорош казак!.. А ведь начинал нелегко. Его первую книгу «Тихий Дон» вредители в литературе даже читать не хотели!.. Клеветой, сплетнями человека намеревались с ног сбить. Другой бы расстроился, упал духом. Нет... Не таков Шолохов. Преодолел преграды. Пошел казак в гору!..

Однажды во время нашего разговора вошел в номер гостиницы подтянутый, стройный офицер из Дома Красной Армии. Он пригласил автора «Железного потока» на вечер встречи с офицерским составом. Серафимович не спеша стал собираться. Глядя на офицера, говорил:

— Хороши у нас молодцы в армии. Да, хороши... Придется им повоевать, придется... Фашизм навяжет нам войну. — И вдруг не по-стариковски бодро тряхнул головой, сказал: — А Гитлера-то все-таки наши бойцы повесят!.. Вы его повесите, вы!..

Это было сказано за четыре месяца до нападения на нас гитлеровской Германии.

1958

Николай Филатов

В СОВХОЗЕ «ЗЕНДИКОВО»

В трех километрах от старинного города Подмосковья Каширы расположены угодья совхоза «Зендиково».

Он был создан в начале 20-х годов по одному из декретов В. И. Ленина об организации показательных хозяйств.

Перед войной это был богатый совхоз, как говорят в народе, «полная чаша», а для Подмосковья — вообще крупное сельскохозяйственное социалистическое предприятие. В совхозе, на разных его участках, работало более тысячи человек: механизаторы, полеводы, животноводы.

Но вот пришел грозный 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Во время немецко-фашистской оккупации совхоз был разграблен и разрушен.

В декабре 1941 года решением ЦК нашей партии я был назначен начальником политотдела совхоза «Зендиково».

С волнением и огромной радостью я ехал на работу. Надо сказать, что коллектив совхоза глубоко и правильно понял большие задачи нашей партии.

Мы с успехом справились в 1942 году с весенними и осенними севами, с уборкой кормов и сена и зерновых культур, подъемом зяби. Совхоз перевыполнил свои социалистические обязательства и государственный план по сдаче государству мяса, хлеба, меда, а главное, мы восстановили наше свиноводство.

Слава о работе совхоза перешагнула границы Каширского района.

И вот тогда-то, а точнее 4 февраля 1943 года, к нам в качестве специального корреспондента «Известий» приехал писатель Александр Серафимович Серафимович (Попов).

Я был, признаться, удивлен, что такой большой человек в нашей советской литературе едет к нам в качестве простого корреспондента, правда, центральной газеты «Известия».

Впоследствии я узнал, что Серафимович в течение 1942 года усиленно просил о посылке его в качестве спецкорреспондента на фронт. Но ему в этом было отказано из-за его преклонного возраста. Тогда Александр Серафимович добился личного приема у товарища Сталина, который с ним беседовал, выслушал внимательно его просьбу. Но и он отказал Александру Серафимовичу в командировке на фронт по той же причине и тут же дал совет поехать корреспондентом на трудовой фронт, подчеркнув, что победа ковалась и тружениками трудового фронта. Первый секретарь МК партии тов. Щербаков направил Александра Серафимовича в один из совхозов, договорившись с редактором газеты «Известия», чтобы тов. Серафимовича командировали в качестве специального корреспондента в совхоз «Зендиково».

Александр Серафимович был уже не молод — ему шел 81-й год. И, несмотря на возраст, он с первых дней своего пребывания в совхозе самым активным образом включился в жизнь нашего коллектива. Вот он на току среди женщин, где готовятся семена для весеннего сева, интересуется работой механических мастерских, беседует со слесарями и трактористами, ремонтирующими тракторы, плуги и всю сельскохозяйственную технику к весеннему севу и к уборочной кампании.

А днем я его застал на свиноферме в беседе со свинарками. Он стремился вникнуть в их работу. Завтра он уже на пасеке и ведет задушевную беседу с пасечником Василием Савельевичем Кишкиным, который рассказывает Александру Серафимовичу, как он ухаживает за зимующими пчелами и как каждую весну

развозит ульи на поля совхоза для лучшего опыления растений.

Двадцать пять дней Александр Серафимович пробыл в совхозе в качестве спецкорреспондента «Известий».

За это время мы провели два партийных и одно комсомольское собрание, на которых Александр Серафимович хорошо и тепло рассказывал о своей встрече с Владимиром Ильичем Лениным, о письме Владимира Ильича к нему, о своих встречах с Алексеем Максимовичем Горьким, с Владимиром Маяковским.

10 февраля 1943 года к нам пришло радостное известие — за ударную работу, за перевыполнение всех главных показателей в работе и государственных заданий в 1942 году нам было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР и премия в 100 тысяч рублей. Мы были единственным совхозом в системе Наркомата мясной и молочной промышленности, получившим эту награду.

Вместе с нами радовался этой награде коллективу совхоза и Александр Серафимович, который за время пребывания у нас стал совсем нашенским, зендиковским. Это он, Серафимович, подсказал нам, чтобы присужденную нам премию в 100 тысяч рублей внести в фонд обороны. И мы, по единодушному решению коллектива совхоза, внесли ее в Государственный фонд обороны, а через некоторое время получили телеграмму Председателя Государственного Комитета Обороны, в которой он горячо благодарил коллектив за этот патриотический поступок.

Следует сказать, что в конце 1942 года Александру Серафимовичу, за его творчество, была присуждена Сталинская премия, которой он очень и очень гордился. Несмотря на стесненные материальные обстоятельства, Александр Серафимович всю премию также внес в Государственный фонд обороны СССР, поступив как истинный сын своей Родины.

В ответ Александр Серафимович получил дружеское письмо Председателя Совнаркома и Генерального секретаря ЦК партии Иосифа Виссарионовича Сталина следующего содержания:

«Писателю тов. А. С. Серафимовичу.

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Александр Серафимович, за Вашу заботу о вооружении Красной Армии.

И. Сталин».

Ко дню вручения переходящего Красного знамени ГКО мы провели в совхозе большую работу, душой которой был Александр Серафимович. Мы выпустили большую стенную газету, рассказали об итогах нашей работы, о наших лучших людях, о нашей награде — переходящем Красном знамени ГКО, о больших задачах, стоящих перед коллективом совхоза. Эту газету, по существу, мы выпустили под руководством Александра Серафимовича, в которой он выступил с большой хорошей статьей.

Первым делом организовали общий митинг. Одним из главных ораторов был Александр Серафимович, а затем и во всех трех отделениях — на животноводческих фермах, в механических мастерских и у полеводов. Александр Серафимович поздравил нас с высокой наградой, пожелал успеха в борьбе за урожай 1943 года, хорошей работы животноводческим фермам. Было видно, что беседы с колхозниками не прошли даром. Они дали писателю немалые знания и наших дел, и наших недостатков.

И вот настало 24 февраля. К нам в совхоз приехали секретарь Московского областного комитета партии, секретарь Каширского городского комитета партии, заместитель наркома мясной и молочной промышленности и многие другие.

Были речи, поздравления...

По тогдашней традиции знамя ГКО нам вручили три офицера — гвардии капитаны.

С большой и взволнованной речью ко всем собравшимся снова обратился Александр Серафимович. Это было и горячее поздравление большевика, и анализ наших дум и дел, и призыв к дальнейшей борьбе за победу.

28 февраля 1943 года Александр Серафимович уехал от нас в Москву, с честью выполнив задание редакции «Известий» как ее специальный корреспондент. А 3 марта в газете «Известия» был опубликован очерк

Александра Серафимовича «Творчество». Именно этим большим и емким словом назвал он наш скромный труд во имя Победы над врагом.

И после того как Александр Серафимович уехал, в течение всего 1943 года, он был с нами тесно связан и живо интересовался жизнью и работой совхоза.

Теперь на месте совхоза широко развернула свои цехи Каширская птицефабрика имени 50-летия Октябрьской революции, ее работники в наши дни с честью следуют боевым традициям своих отцов и матерей — работников совхоза «Зендиково» героических военных лет.

Далеко ушло то трудное и славное героическое время, но встречи с большим человеком и другом, старым большевиком и прекрасным советским писателем Александром Серафимовичем Серафимовичем продолжают жить в моем сердце и будут жить до конца моих дней.

1976

Виктор Петров

ЮБИЛЕЙ

Лето 1929 года. Серафимович приехал!

Эта весть ветром пронеслась по зеленым улицам станицы Усть-Медведицкой.

По обычаям, установившимся, очевидно, давно, в первые дни по приезде Серафимовича руководители районных организаций и учреждений, группами и в одиночку, приходят к писателю и ведут с ним нескончаемые разговоры о том, что нового произошло за истекший год, какой урожай предполагается в этом году, как живут люди вообще.

С Александром Серафимовичем я встретился в редакции районной газеты. Я пришел сюда как заведующий культпропотделом райкома, а Серафимович — с письмом казака с хутора Большого, который жаловался на некоторых представителей хуторских властей. Мы познакомились. Тот же, что на портрете. Бритые щеки, усы щеточками, суровые брови и тот же белоснежный воротничок, выпущенный поверх темной тужурки.

Александра Серафимовича интересовало все: и как учатся коммунисты, и как работают школы, и хватает ли учителей. Как строится культурно-массовая работа в хуторах, втянута ли в нее интеллигенция, читают ли казаки газету.

— Читают, читают,— вмешался в разговор редактор,— и особенно когда про них написано.

Из широкой папки он вынул газету и, кивнув в мою сторону, положил перед Серафимовичем.

Это был номер, в котором месяца полтора назад был напечатан мой очерк.

— Так вы пишете? — радостно удивился Александр Серафимович и как-то не то строго, не то ласково посмотрел на меня своими пристальными серыми глазами.

«Сказать,— подумал я,— пишу и, что называется, болен этим?» И сказал бы, да редактора постеснялся.

Понял ли мое смущение Серафимович, только он вдруг как-то молодо и легко повернулся к редактору, попросил у него разрешения унести газету с собой и протянул мне руку:

— Товарищ Петров, а вы заходите ко мне. На Дон с вами прогуляемся.

В тот же день вечером я пришел к нему.

Мы сидели под старой грушей, разделенные круглым столом. Я рассказывал Александру Серафимовичу о том, как живут сейчас казаки. О чем говорят, о чем мечтают. О появившихся товариществах по совместной обработке земли, о супрягах, возникших в ряде хуторов района, как люди относятся к новым формам трудового содружества, как кулаки организуют свои «ТОЗы».

Медленно поглаживая розовую лысину, Александр Серафимович сидит, облокотившись на стол, слушает.

И вдруг брови взлетают вверх. Он восторженно и громко восклицает:

— Ведь это же страшно интересно!.. Виктор Иванович, да вы, голубчик, напишите об этом.

И я написал, а через несколько дней прочитал Александру Серафимовичу написанное.

Он долго сидел в задумчивости, а затем решительно махнул рукой:

— Нет! Не то! Когда вы рассказывали, у вас получалось прекрасно. А вот написали, вышло не то. Скучно. Понимаете? Читать не будут.

Он помолчал и заговорил вновь:

— И знаете, в чем дело? Вы списываете. Бесстрастно списываете людей, а так нельзя. Уж если вы хотите рассказать о них правду, так вы из своей шкуры вылезьте, а в их — влезьте.

Я молчал. Да и что можно было сказать?

Александр Серафимович прошелся у стола раз, другой, чуть сутулясь.

— Зря это вы от первого лица написали. Очень трудная форма живописи словом. Большие мастера и те старались писать от третьего лица.

Он еще раз прошелся, а потом сел со мной рядом и тихо, словно бы по секрету, заговорил:

— Знаете что, Виктор Иванович? Возьмитесь-ка вы писать заново. Только попроще, язык не выкручивайте, красивых слов не надо. Побрякушки!.. А так, как люди говорят, простые люди. Вот этими словами и напишите. Толстого почитайте. У него все просто — и слова самые обыкновенные, и «что» и «который» в любой строчке, а как же здорово у него получалось.

— Так ведь то — Толстой,— неуверенно попытался я возразить. — Толстой — это гений.

— Ну и что же? — живо откликнулся Александр Серафимович. — Гений, превосходно. А прародитель-то гениальности — труд! Без труда, батенька, не выловишь рыбки из пруда. — И он усмехнулся. — Гений, а «Анну Каренину» не то семь, не то десять раз переписывал. Перепишите-ка вы свой рассказ девять раз.

Разбор чистописи

Сидим за тем же столиком под грушей, и такой же, как две недели назад, погожий вечер бредет по садику.

Александр Серафимович в белой рубашке, без пиджака и потому кажется более широким в плечах. Глубокие морщины прорезали загорелые на донском солнце лоб, щеки, на которых сквозь загар просвечивает такой хороший, почти юношеский румянец.

В руках у него пачка моих рукописей. Он внимательно и осторожно рассматривает каждую тетрадь и откладывает одну вправо, другую влево.

Рукописи разложены.

Облокотившись на стол, он смотрит мне в лицо, смотрит прямо, пристально.

— Нуте-с, батенька... — и его левая рука легла на рукописи слева. — Это никуда не годится. Чистопись! Гладко, причесано, прилизано, расписано по всем литературным канонам. Ни к чему не придерешься.

А знаете ли, что такие конфеточные рассказы я до революции лет за двадцать читал.

Он подумал, провел рукой по макушке и вдруг ткнул пальцем в рукописи:

— В этих ваших рассказах духа времени нет. Понимаете? Революция, гражданская война, строительство новой жизни. Старое ведь рухнуло, в пыль рассыпалось. А ваши герои не знают, что делают. Скучают, мучаются. Это что же такое? Им работать надо, строить советское государство. И влюбляться, конечно, надо, и ревновать надо, но все это не так, как у вас. — Давайте считать все это пробой пера. Испытанием способностей. А вот... — и Александр Серафимович осторожно опустил руку на правую стопку рукописей.

В стопочке было два рассказа — «Мотька» и «Фекла Мазаная».

— Это очень хорошие костяки. Скажу даже, что и мясо на этих костяках наросло. Хорошее мясо, а вот кожи-то и нет. И знаете, читается интересно, и веришь, что это так и иначе быть не может. То есть хорошо. Но только до какого-то момента. А потом вы как начнете рассуждать, да расписывать, да уговаривать читателя, ну и оставляете своих героев без кожи. И не только без кожи, а и без души. Нет... Вы уж пишите так, чтобы читатель без ваших уговоров вас понимал. Он, читатель-то, с головой, думать хочет. Почему вы не даете ему думать?

Новая эпоха

Дописывать и писать рассказы не позволили время и работа. На Дону, как и по всей стране, началась новая эпоха.

Осень 1929-го и зима 1930 года для каждого коммуниста были своеобразным фронтом, на котором ежечасно и ежедневно разыгрывались десятки сражений между новым стремлением, рожденным дальнейшим развитием пролетарской революции, — стремлением крестьянской бедноты и трудового казачества перестроить индивидуальное хозяйство в коллективное, социалистическое — и старым, заскорузлым индивидуализмом, который на Дону среди казаков проявился с особой силой.

Кулачество двинуло против колхозов все: антисоветскую пропаганду, провокации, убийство из-за угла, организацию восстаний.

Коммунисты стояли в центре борьбы против всего, что мешало проведению в жизнь исторического постановления XV партийного съезда, гласившего, что «в настоящий период задача объединения и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве основной задачи в деревне».

Для меня, как и для всех коммунистов, дни смешались с ночами. Утром проводишь собрание граждан в хуторе Большом, а вечером — в Горбатовом. На несколько часов заглянешь в район, подпишешь бумаги, проведешь заседание, дашь задание инструкторам — и опять скачешь в какой-нибудь хутор. Рассказываешь, доказываешь, убеждаешь, уговариваешь до хрипоты в горле, вступаешь в спор с каким-нибудь подкулачником...

...В один из золотых дней осени в Усть-Медведицкой было созвано собрание районного партийного актива. На повестке дня стоял вопрос о ходе коллективизации сельского хозяйства в районе. Пришел на это собрание и Александр Серафимович. Он сидел в первом ряду и, внимательно слушая доклад и выступления товарищей, время от времени склонялся к записной книжечке, лежавшей у него на колене, и неторопливо записывал.

Но вот он поднял руку, кивнул председателю и коснулся груди рукой. Председатель качнул головой и, когда очередной выступающий закончил речь, громче и внушительнее, чем обычно, объявил:

— Слово предоставляется Серафимо́вичу Александру Серафимовичу.

Медленно поднялся к трибуне и, положив руки на края, как бы потянулся вперед. Откидывая чуть-чуть голову, он обвел глазами собрание и поднял руку над трибуной. Каменно-суровое лицо тронула улыбка, седые нависшие брови дрогнули.

— Трудно. Тем более трудно здесь, на Дону. Казаки с особыми традициями, с особыми нравами и бытом. Трудно, тяжеловато. Но, кажется, на то мы и большевики, чтобы преодолеть все и всяческие трудности.

В наших руках ленинская программа действий — постановление XV съезда партии. Оно, как гигантский факел, освещает нам дорогу вперед, к социализму. Социализм должен быть и будет построен!..

Александр Серафимович говорил воодушевляюще, и его голос в просторном зале для меня звучал неожиданно сильно.

Когда он кончил говорить, я невольно подумал о своеобразном ораторском искусстве Серафимовича и поразившем меня сравнении постановления XV съезда партии с гигантским факелом, освещающим трудящимся дорогу к социализму...

Александр Серафимович засобирался в Москву. Перед отъездом я зашел к нему. Разговорились. Вспомнил я его речь и поразившее меня сравнение постановления съезда с гигантским факелом. Он наморщил лоб, подумал, а потом живо спросил:

— Понравилось? — и усмехнулся.

Торопливо достав из нагрудного кармана записную книжечку, он тут же записал в ней что-то.

Юбилей

19 января 1933 года Александру Серафимовичу исполнилось 70 лет.

Было известно, что эта дата в многотрудной жизни писателя будет отмечена и писательской общественностью и нашей прессой. Но никогда не думал Александр Серафимович, что его юбилей выльется в торжественное празднование, что его будет приветствовать вся Советская страна.

Дней за семь до 19 января начались его встречи с читателями. Каждый день он уезжал на какой-нибудь завод или в учебное заведение. Иногда у него было два, а то три выезда в день в разные концы столицы. Домой он приезжал усталый, но радостный, с подарками и адресами. На Трехгорке ему подарили скатерть, ткачихи подарили, сами выткали. На заводе «Шарикоподшипник» преподнесли Александру Серафимовичу чернильный прибор, сделанный из шарикоподшипников разного размера. Повернешь один под-

шипник в какой-нибудь части — все подшипники поворачиваются, сколько их ни есть на приборе.

Все это было приятно и Александру Серафимовичу и всем близким его.

А вот она и нежданная радость. Радость большая, от которой слезы застилают глаза даже людям, прожившим 70 лет на свете.

20 января сначала радио, а затем газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» известили мир:

«ЦК ВКП(б) горячо приветствует пролетарского писателя товарища Серафимовича А. С. в день его семидесятилетия. Коммунистическая партия высоко ценит товарища Серафимовича как пролетарского писателя-революционера, творца классического произведения «Железный поток».

ЦК ВКП(б) желает товарищу Серафимовичу здоровья и сил на дело служения рабочему классу, на дело полного торжества социализма».

Вслед за приветствием ЦК ВКП(б) было опубликовано постановление правительства о награждении Александра Серафимовича орденом Ленина «за его литературные заслуги перед рабочим классом и трудящимися массами Союза ССР». Станица Усть-Медведицкая была переименована в город Серафимович.

«Правда» приветствовала Александра Серафимовича как автора произведений, которые читают миллионы, как писателя, который всю жизнь служил делу пролетарской революции, как непосредственного участника революционных боев, создателя пролетарского эпоса, как постоянного сотрудника «Правды».

Вся вторая полоса газеты «Правда» под шапкой «Страна Советов приветствует своего писателя» была заполнена приветствиями трудящихся Александру Серафимовичу. Здесь были письма от рабочих Ленинграда, Москвы, Киева, Иванова. Здесь были письма от писателей братских республик, от читателей, друзей по подполью и соратников по перу.

Все это было неожиданно и впечатляюще. Александр Серафимович этот и все последующие дни был тороплив в движениях, волнение его не оставляло, он брал себя в руки, встряхивался, распрямлялся и ходил, ходил.

Как-то по-иному легли морщины на его широком лбу, когда читал письмо Мариэтты Шагинян.

Хорошо, душевно написала она.

«Дорогой Александр Серафимович! В этот день мне хочется вернуть вам старый невыплаченный долг. Я за него вас никогда не благодарила и счастлива, что донесла память и благодарность до такого большого праздника, как ваш юбилей.

Дело было на третьем году революции. Дело было — недоброй памяти — во дни саботажа, критики и недоброжелательства. Знаете ли вы, какой огромной поддержкой для тех из нас, кто принял Октябрь, была в эти дни ваша прямая и прочная репутация большевистского писателя? В ответ на клевету, иронию, размагничивание у многих из нас на языке был один-единственный аргумент: «А Серафимович?», «А Блок?»

Вы служили нам доказательством — и стали доказательством правоты того прямого, неразрывного идейного пути писателя с Октябрем, которым так заслуженно гордимся, и так прекрасен ваш юбилей!

Мариэтта Шагинян»[1]

А приветствие рабочих бригад завода «Шарикоподшипник» взволновало Александра Серафимовича особенно сильно.

Вот оно, это приветствие:

«Дорогой Александр Серафимович! Мы, рабочие бригад Зеликсона, Куприна и Юдина завода «Шарикоподшипник», приветствуем тебя в день твоего 70-летия.

Твой «Железный поток» — самая художественная, самая правдивая и убедительная книга, какую мы читали.

Читая «Железный поток», мы ясно представляли себе путь и борьбу Таманской армии. Перед нами живыми встают участники «железного потока», их победа и их поражение.

«Железный поток», «Зарева» и другие твои произведения и их герои заражают нас энтузиазмом и пафосом, воодушевляют нас на дальнейшую борьбу. Нарисованные тобой образы мы будем помнить всегда —

---

[1] «Правда», 20 января 1933 г.

одних с ненавистью и проклятием, других с любовью. Твои произведения останутся памятником и историческими документами эпохи.

Твори еще, дорогой Александр Серафимович, а мы поднажмем и дадим еще более мощный, чем до сих пор, железный поток высококачественных советских шарикоподшипников» [1].

Письма писателя

Лето 1933 года разъединило нас.

Я был командирован на работу в деревню в качестве начальника политотдела совхоза. Оставив Александру Серафимовичу свой рассказ «Мотька», я выехал из Москвы в Воронежскую область, в Панинский район, Октябрьский свеклосовхоз.

Литературную работу пришлось отложить и вновь заняться беглыми заметками в дневниках.

Изредка перебрасывались письмами с Александром Серафимовичем. Я собирался нагрянуть в Москву, он в совхоз — поглядеть меня начальником политотдела, но из этих мечтаний ничего не вышло. Я даже не мог повидаться с Александром Серафимовичем в конце 1933 года, когда он был в Воронеже. Позже воронежские писатели рассказывали мне, как близко и внимательно он интересовался работой каждого из них, как собирал воронежских литераторов у себя и приходил к ним на собрания, как прямо и строго говорил о сильных и слабых сторонах их творчества. «Идите к рабочим,— призывал он воронежцев,— проводите среди них читательские конференции, прислушивайтесь к их голосу. Если вы сумеете втянуть в работу рабочие массы, ваш журнал будет еще лучше и крепче» [2]. Уезжая, Серафимович подарил воронежским литераторам моторную лодку, на которой он приплыл в Воронеж из Ростова.

Несостоявшееся свидание было возмещено несколькими большими письмами, которые я сберег как дорогие документы моих творческих отношений с выдаю-

---

[1] «Правда», 20 января 1933 г.
[2] Газета «Коммуна», 28 октября 1933 г.

щимся писателем страны, как дорогое учебное пособие для меня, молодого литератора.

Вот одно из этих писем:

«Дорогой Виктор Иванович, ведь вот только собрался писать Вам. Не сердитесь, милый.

Знаете, почему не писал? Не хотел писать Вам письмо с пустыми руками — ни дальнейшей работы над нашей вещью, ни устройства Вашего «Мотьки»...

В сборнике «Старый большевик» № 2 помещено несколько отрывков из нашего романа [1].

«Мотьку» при всех усилиях никуда не мог пристроить — не берут. Пробовал в разных местах. Я внимательно перечитал. Вот какие недостатки:

1. Все завалено диалогом. А диалог вещь не безразличная. Необходимо большое чувство меры его употребления. Каждая лишняя реплика отяжеляет, растягивает вещь, делает ее скучной. Сжатость — вот непреложный закон литературного творчества. Это относится и к диалогу и повествованию.

2. Язык диалога, конечно, народный, но это подчеркивание особенности народной речи, особенностей чисто внешних («тады», «што» и пр.). Оно верно, так говорят, но и тут нужен выбор и чувство меры. Посмотрите, у Толстого ведь нет этого назойливого сгущенного народного говора, а мужики у него живые. Дело не во внешних ухищрениях речи, а в убежденной внутренней перестройке человека.

Язык и диалог у вас не скажешь, что ни к черту не годится. Есть и живые места, и остроумные, но в целом нет устремленности к одной цели, а если есть, так передано наивно...

Вы очень неровны и в том материале, который даете.

Какой же вывод? Если хотите писать, Вы должны учиться. Учиться и учиться. Начинайте с азов. Надо написать небольшой, сжатый, экономичный рассказ, в котором думать над каждой фразой, над каждым положением, над каждым мазком. Нужно ли, для чего

---

[1] В этом сборнике, а также в журнале «Октябрь» за 1934 год были помещены отрывки из романа за подписью А. Серафимовича и В. Петрова под названием «Лавина творчества», с указанием, что они совместно работают над романом.

нужно? Учиться лучше по Чехову. Но надо уметь и учиться. Ведь Вы безумно быстро пишете. Чудовищно. Где уж тут обдумывать, мучиться, по-всякому переделывать, десять раз одно и то же переписывать,— несетесь, как на перекладных. Тут уж не до работы. Если хотите действительно творчески работать, беритесь за несложный, за маленький рассказ и грызите его до положения риз. Иначе ничего не выйдет,— будете только обманывать себя.

Жму руку.

Ваш А. Серафимович

29 декабря 1933 года».

Получив это письмо, в котором сурово и прямо ставится требование учиться и учиться, начинать с азов, я загрустил. Загрустил и написал Александру Серафимовичу такое тихое, безразличное письмо, что-де мне уже 31 год, что учиться, пожалуй, поздно и прочее и прочее. Недели через две я получил ответ:

«Вы вот что: нос на квинту не вешайте! Но много надо думать над вещью, много работать. Не неситесь во весь карьер по страницам. Каждую фразу надо обдумать. Каждый образ. Язык — приглядывайтесь к Чехову, к Толстому. День и ночь без оглядки нельзя писать. По-моему, возьмите что-нибудь из теперешней жизни — ведь уйма материала.

Жму руку. Привет.

Ваш А. Серафимович»

И, как бы желая поддержать во мне творческий огонек, недели через две он присылает мне коротенькую записочку:

«Дорогой Виктор Иванович! Посылаю Вам «Октябрь» с нашими отрывками. На днях зайду в ГИХЛ, возьму расчет, вышлю вам.

Ничего не пишу. Очень худо себя чувствую. Надо уехать во что бы то ни стало.

Крепко жму руку.

Ваш А. Серафимович»

Весной 1934 года я был в Москве на совещании и на несколько часов заглянул к Александру Серафимовичу. Посмотрел, что делается с нашим романом. Прочитав все, что написано им, я еще раз убедился, что если и могу претендовать на участие в создании книги, то только в качестве наблюдателя большой работы и, в лучшем случае, в качестве поставщика сырого материала, что с успехом мог бы сделать каждый.

Я откровенно высказал это Александру Серафимовичу. Он ухмыльнулся, сдвинул нависшие брови.

— А это мы посмотрим, дорогой Виктор Иванович!

И мы расстались до лета 1937 года, когда я привез Александру Серафимовичу рассказ «Линия жизни» и первые главы романа, которому суждено было появиться потом на свет под названием «Борьба». А неделю спустя мы плыли с ним в лодке, пересекая Дон. Он сидел на корме. Когда стремя Дона было перерезано и лодка пошла к берегу, Александр Серафимович наклонился, зачерпнул в ладонь воды, обрызгал меня и рассмеялся:

— В рыцари мечом посвящают, а в писатели — донской водой!.. Ведь написали вы, батенька, настоящую вещь.

И, помолчав, продолжал, как бы укоряя меня:

— Вот, говорил я вам, берите темы из современной жизни. Ругать за них будут. Ничего. Прислушайтесь — кто ругает, как ругает. Найдутся такие, которым подай форму, лишь бы, как говорят, пуговицы блестели. Это чиновники литературные, это люди как голыши донские. Серый, а блестит, думаешь — гранит, разломишь, самое многое — известняк.

Примерно через неделю он говорил со мной о романе:

— У вас, знаете ли, что-то большое затевается. По теме очень острое. Внутрипартийная борьба еще не показывалась в наших произведениях... Но пока еще ничего не скажешь. Работа черновая. Пишите. Когда закончите, непременно пришлите или привезите мне.

Оценка

Не виделись мы два с лишним года. Но роман, над которым я работал, интересовал Александра Серафимовича. Посылал я ему его главами и частями. А когда он был напечатан в альманахе «Литературный Воронеж», немедленно же послал альманах. Недели через две я получил от него письмо, в котором он поздравил меня и обещал предисловие, на случай, если роман будет издаваться книжкой.

Предисловие он не задержал.

Дав роману положительную оценку, Александр Серафимович при встрече со мной в 1940 году строго поучал:

— Не зазнавайтесь, батенька, книгу вы написали, это правильно, коммунисты в ней действуют, хорошие герои. Деревню нашу колхозную хорошо вы представили. Борьбу с врагами народа советские люди ведут отчаянную и побеждают. Всю нашу жизнь современную вы дали ярко, правдиво. А вот с языком у вас так-таки нелады до сих пор. И манеры пока еще у вас своей писательской нет. По-прежнему вы неровно пишете. Десяток страниц читаешь — великолепно, а потом — хлоп, словно другой человек писал. Переиздавать будете — каждую строчку пересмотрите, а еще лучше, если сядете да от первого до последнего слова заново перепишете.

Мне было приятно слушать все это. И даже в этом немного ворчливом тоне, которым беседовал со мной Александр Серафимович, сказывался требовательный и взыскательный учитель. Такой учитель, который хотел, чтобы его ученик смог что-то сделать в жизни.

Как с глазу на глаз говорил о моем романе Александр Серафимович, так же высказывался он и при обсуждении романа на заседании областной комиссии Союза советских писателей.

Перед отъездом из Москвы я зашел проститься к нему. Проговорили мы часа четыре о Воронеже. Он вспоминал приезд свой в наш город, расспрашивал, как живут и работают воронежские литераторы, называя их по фамилиям.

Прощаясь, Александр Серафимович строго наказывал:

— О нынешнем человеке пишите, о хорошем человеке, который переступает вчерашнее. Описывайте лучшие, прогрессивные черты в нынешнем человеке. Не беспокойтесь, что у него в хвосте старые перья, перья вылетят, вы на них не обращайте внимания, не в них дело. Дело в новом сознании, которое приобретает советский человек, дело в том, как он осознает настоящее, как он будущее видит. Вот этот элемент будущего умейте найти. На первых порах, может быть, вы это сделаете не совсем умело. Ничего. Критиковать вас будут, что рисуете каких-то чистых людей, не слушайте этих критиков, гните свою линию. Писать о подлинном советском человеке — благородная работа, новая. А раз новая, то и писать будете по-новому. А все новое в штыки встречают; так вы тоже штыком обзапасайтесь. В случае чего — колите по-русски, ошибки не будет.

Город Воронеж и город Серафимович

Шел июнь 1941 года. Пора сборов на Дон.

И вдруг — война.

Потянулись дни, месяцы. Редкие, но верные сведения доходили до меня в виде открытки с кратким, ласковым вопросом Александра Серафимовича: «Дорогой Виктор Иванович! Где Вы?» В 1941 году такая открытка пришла в декабре. В июне 1942-го — из Серафимовича. «Приезжайте»,— писал он. Но поехать не удалось. 4 июля гитлеровцы подошли к стенам Воронежа, и мы вынуждены были оставить город.

«Где Серафимович?» Не раз я задавал этот вопрос и себе и литераторам, попадающимся мне на путях эвакуации и войны.

И вдруг получаю письмо от писателя Николая Задонского. «Серафимович,— пишет он,— в Ульяновске». Значит, жив старик! Позже я читаю его короткие, но яркие очерки в газетах «Красная звезда», «Правда», «Известия», «Труд» и удивляюсь: «Да что ж это, неужели старик был на фронте?»

Трудно поверить, но это было так. Воронежский поэт Михаил Евгеньевич Аметистов встретил Александра Серафимовича на фронте в горбатовских войсках, после взятия Орла...

И только в 1946 году я вновь обнял Александра Серафимовича.

За годы войны он постарел. Но по-прежнему кипела в нем страстная жажда деятельности, тяга к общению с народом. Он бывал в учреждениях, всем интересовался, ходил в кинотеатр своего городка, был на выпускном вечере окончивших десятилетку. Не пропускал ни одного концерта в Доме социалистической культуры. Всегда у него посетители, гости.

И хоть притупился слух, хоть немного затуманился взор, а по-прежнему он занимательный и оригинальный рассказчик.

— Чуть-чуть было к немцам не угодил,— рассказывает он. — Что ж, думаю, от Москвы их погнали зимой в сорок первом; а в сорок втором летом собрался я, да и сюда — в Серафимович. Только приехал, а немцы — вот они. Удар по среднему Дону, который они наносили, пришелся чуть не по самому городу. Ну, ребята хорошие выручили, из-под огня вывезли. На таком автобусе, Виктор Иванович, везли, что дорога гудела. А на фронт я с писательской бригадой попал. Мне там палатку в лесу поставили и ухаживали, как за барышней. Но я — хитрый; чуть народ поредеет, я сейчас же и удираю туда, где пушки гремят. Народ-то там, а я что же — на фронт лесом любоваться приехал?..

Под седыми бровями по-молодому загораются глаза, стан выпрямляется, расправляются плечи, и перед вами тот же Александр Серафимович, что и десять и пятнадцать лет назад.

— Народ — это сила! — говорил он.

Близко общаясь с людьми, он как бы набирался этой могучей силы, обеспечивающей ему долголетие.

Закончив рассказ о себе, он потребовал, чтобы ему было выложено все. Так и заявил:

— Ну-ка выкладывайте, как жили. В армии были? Воевали? Нет? Что за войну написали? А как Воронеж?

Рассказываю вечер, другой, третий. Стараюсь как можно ярче нарисовать ему картину разрушенного Воронежа.

— Руины, коробки, пустоглазые здания, лучшие взорваны, город надо строить заново.

Клонит голову, хмурится и зябко передергивает плечами:

— Вандалы, ах вандалы! Какой красивый город!

Но, выслушав, что воронежцы дали клятву восстановить родной Воронеж из руин и пепла пожарищ, что эту клятву они написали на десятках и сотнях разрушенных зданий, что они строят город и что город живет, в нем есть свет и вода, ходят трамваи, работают заводы,— он восхищенно восклицает:

— Молодцы! Вот что значит — советские люди! И, прищуриваясь, говорит: — А Серафимович тоже строится, вы видели?

Да, я видел город, я прошел по всем его улицам. Хоть и недолго продержались немцы в городке, но гнусные следы их пребывания заметны с первого же взгляда. Вот здесь, утопая в зелени, стоял белый особнячок с причудливыми колоннами и башенками по углам крыш. Теперь здесь пустырь. А вот — проваленная крыша и покосившиеся рамы, без стекол, в треснувшей и накренившейся стене двухэтажного дома. Раньше здесь помещался детский сад. Веселый, шумный поток жизни вливался и выливался из этого здания. А вот — груда битого кирпича и обгорелые трубы. Немцы выжгли здесь полквартала...

За три года много сделано в городке. Как и в былые времена, прибрались и побелились сотни домиков и зданий. Вновь кутает их зелень. Работают школы, библиотеки, кино, электростанция, телефон.

— Страшно пострадали колхозы,— рассказывает Александр Серафимович. — Немцы разрушали с дьявольским сладострастием. Разрушали конюшни, воловни, телятники, птицефермы. А отступая, угоняли людей и жгли хутора. Когда немцев вышибли, начали возвращаться люди на родную сторонушку. Ни куреней, ни колхозных построек, ни скота — пустыня.

Александр Серафимович встряхивается, кладет руки на стол.

— Знаете, что говорили? Надо не меньше десятилетия, чтобы восстановить нормальную жизнь... — И он тихо рассмеялся, постучав по широкому лбу. — Это мы так говорили, я, вы, еще кто-нибудь. А народ по-своему думал. Народ, он, Виктор Иванович, могучий творец прекрасных идей и прекрасных дел. Едва сбросив

с плеч горе да беду, он развернул богатырские плечи: «А ну, коммунисты, заходи наперед! Давай!..» И что же, ведь подняли хозяйство. Не в десять, а в два года подняли, и вновь на бывших пепелищах поднялись хутора, отстроились конюшни, воловни. Только вот с садами плоховато. Но и сады вырастут.

Он думает некоторое время, глядя куда-то мимо меня, и тихо, мечтательно произносит:

— Вырастут. Неузнаваемо переменились люди.

И после паузы произносит так же тихо, так же мечтательно:

— Что ж, ведь к коммунизму шагают.

Последняя встреча

В ноябре 1947 года я последний раз видел Александра Серафимовича. Болезнь изменила его, немного выцвел на щеках румянец.

На лбу появились новые морщины. Седые брови отяжелели и уж не строго, а хмуро нависли над ввалившимися глазами. Но через несколько минут это впечатление рассеялось. Белоснежный воротничок делал его таким же, каким он запомнился с первых встреч. Мы сидим на диване бок о бок, говорим о литературе вообще, о воронежской в частности. Вспоминаем о красоте Дона и городке Серафимович. В разговорах свободно уходим в прошлое и возвращаемся в настоящее. Вспоминаем первые годы коллективизации на Дону, его выступления на партийном активе, полные веры в то, что трудности будут преодолены и социализм построен...

— Построили, Виктор Иванович. И еще многое построят наши люди.

Огромная вера в трудовой народ горела, никогда не затухая, в душе этого замечательного человека.

Откинувшись на спинку дивана, он говорил, что советские люди строят уже коммунизм, что они его непременно построят. И как бы хотелось об этом если уж не написать, то прочитать что-нибудь такое хорошее, чтобы до слез взволновало.

Надо было уезжать, и я простился с Александром Серафимовичем.

В дороге думал: неужели он спел последнюю, как говорят, «лебединую песню»?..

Нет, мы услышали его еще раз.

Это была его речь, подводившая итоги большой, трудной и красивой жизни человека, писателя, борца. Она прозвучала могучим гимном людям, шагающим в коммунизм. Александр Серафимович произнес ее 14 января 1948 года на собрании московских писателей в связи с его восьмидесятипятилетием.

«...Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что, выйдя из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось увидеть нашу страну в могучем расцвете ее сил!»

1949

Василий Гришаев

ЗАДАЧА — УЧИТЬСЯ...

Начало зимы 1933 года. После работы, по пригласительной открытке, еду на улицу Воровского в Клуб писателей. Спрашиваю у дежурной, где состоится встреча с Серафимовичем.

— А разве сегодня вечер Серафимовича? — удивленно спросила она. Предъявляю ей открытку.

— Ах, это... — спохватилась она, что-то вспомнив. — Пройдите направо, в каминную.

Там встретила другая женщина.

— Серафимович сейчас приедет. Подождите здесь.

В каминной, просторном помещении черного дуба, было несколько столиков, но за ними никто не сидел, все прохаживались из угла в угол, тихо меж собою беседуя. Я встал в сторонке,— знакомых никого. Прошло минуты две-три, и та же распорядительница вводит сюда Серафимовича и еще кого-то, похожего на таежного лесоруба, с густою темной шевелюрой. Подводит их ко мне, познакомила. Этот коренастый человек, оказывается, Феоктист Березовский. Рядом с камином, поближе к окну, стоял маленький столик, она и усадила нас за него. Серафимович и Березовский сели рядом, лицом к камину, а меня усадили напротив. Женщина ушла, и началась у нас беседа. Я насилу понял, что это никакой не вечер Серафимовича,— оба они были приглашены на встречу со мной одним. Это я понял особенно из того, что приехавший чуть позже Ваня Меньшиков уселся с кем-то

у противоположной стены тоже один на один, и беседа у них шла такая же интимная и тихая, как и у нас.

Это была какая-то особенная пора работы старших писателей с нами, молодыми.

Сложными и не каждому понятными были тогда взаимоотношения Горького и Серафимовича, но оба они понимали, какое им место принадлежит в нашей революционной жизни, и оба со всей ответственностью и страстью работали над созданием Союза писателей из разрозненных групп и над воспитанием кадров советской литературы, самой передовой в мире. Серафимович всемерно помогал в этом Горькому, первым заметил великого Шолохова, руководил журналом, редактировал книги. И мы, молодежь, тянулись к нему как к первейшему писателю и учителю. Коммунист и революционер, он был для нас наивысшим авторитетом. Его «Железный поток» мы изучали в школах, с этой книгой вступали в жизнь, она осталась нашим учителем и спутником навсегда. Мы счастливы были и гордились тем, что великие мастера нашей литературы — наши современники и что они работают с нами, ведут нас по жизни. Тогда, например, во Всесоюзном объединении рабочих авторов нас были десятки, и каждый имел опытного учителя. Сейчас многое из этого забывается, мы мало об этом говорим и пишем, а некоторые и просто не придают этому значения, будто призыв ударников в литературу ничего не дал. Спорить с ними — напрасный труд, но, если бы Горький, Серафимович, Всеволод Иванов, Леонов, Паустовский, Шагинян, Федин, Новиков-Прибой, Багрицкий, Светлов, Гусев, Касаткин и многие другие не видели, с кем они имеют дело, никогда бы они с этой молодежью работать не стали. Тем более что Горький и Серафимович привлекали к этой работе писателей только на сугубо добровольных началах. И сейчас мы, кому довелось выжить в минувшей войне, вспоминаем с особой благодарностью о наших учителях в литературе как о людях заботливых и требовательных, много давших нам на первых шагах нашей литературной работы. Эта работа их с нами имеет большое историческое и прин-

ципиальное значение и для наших дней, и для будущего. Этот опыт бесценен, нельзя о нем забывать никому и никогда.

Тут я обязан сказать и о нашей большой благодарности своим учителям. Да, первым этим учителям своим благодарны и Александр Авдеенко, и Семен Бабаевский. А разве не были благодарны им Иван Меньшиков и Николай Томан? Да и сами учителя счастливы, что они работали с такими учениками. Поговорите-ка об этом хотя бы с Мариэттой Сергеевной Шагинян — и она скажет вам, какой радостью наполняла ее работа, например, с Иваном Меньшиковым и Николаем Томаном. Да и то сказать, настоящая работа и дружба учителей с учениками никогда не была и не будет бесплодной. Это касается не только литературы, скажем кстати.

Ну, а от Горького и Серафимовича на нас веяло огнем само́й нашей великой революции, не говоря уж об их литературном авторитете. Их революционность усиливала их влияние на нас, поднимала как бы над самими собой. Это ведь и правда, что каждый из них горячо желал поднять нас, молодежь, до своего понимания социальных явлений, понимания жизни и задач литературы, ответственности за все происходящее в мире, за преображение нашей жизни, активного участия в ней, упорства в постижении литературного мастерства. Серафимович делал это с удивительным отцовским спокойствием, хотя и по одному «Железному потоку» мы знали, какою беспокойною была его душа.

... В тот вечер это его спокойствие было мне особенно заметным. Уж человек в годах, казалось бы — с убывающими силами, он должен бы в такой пасмурный, трудный вечер испытывать тягость и от самой этой поездки, и от того, чтобы отдать целый вечер беседе с безвестным рабочим парнем. Признаюсь, и меня эта встреча озадачила, я никак еще не мог поверить, что он и Березовский приехали сюда только ради меня одного. Я все поглядывал на дверь, не войдет ли еще кто из нашего брата, но больше вообще в эту комнату не вошел никто, кроме буфетчицы, принесшей на занятые маленькие столики чай с бутербродами. Вот еще какая предусмотрительность и забота устроителей этих встреч!

За чаепитием разговор стал еще более непринужденным. Правда, мне хотелось больше слушать Серафимовича и Березовского, а получалось наоборот — они больше расспрашивали меня, интересовались моей жизнью и работой. Но именно эта-то неназидательность и покорила меня совершенно, я отвечал на их вопросы охотно и подробно. Особенно Серафимовича интересовало мое место в жизни. Старый коммунист, революционер-подпольщик, человек, судьбою которого был озабочен сам Ленин, он не мог не ставить на первое место в молодом литераторе его участие в борьбе своего народа за преобразование общества, в борьбе за социализм, как мы тогда говорили. Он был доволен тем, что я — в числе вожаков комсомола автозавода, уж два года как в партии, варюсь, так сказать, в горячем рабочем котле.

— А как у вас, у комсомольского актива, с Лихачевым? Дружно живете?

Мы на заводе знали, что Лихачев в большой дружбе с Горьким, а значит, и вообще с писателями, поэтому на этот вопрос Серафимовича ответить мне было легко.

— С Лихачевым живем хорошо. Он помогает нам, мы ему. Решительно во всем. Другого мы себе и не мыслим. Интересуется он и своими литераторами, и заводским театром рабочей молодежи. Есть у нас и свой Трам. Заводских поэтов и писателей всех знает в лицо: Александра Салова, Георгия Баранова, Сережу Любушкина. Да и всех других.

— А как интересуются партком и директор лично вашей судьбой? Вот вы уж, как мне сказали, начинаете печататься.

— Со мной дело несколько сложней, чем с другими. Когда встал вопрос о переводе меня из цеха в комитет комсомола, а я уходить из цеха не хотел. Лихачев понял меня и поддержал. Правда, у нас с ним было разное отношение к моему будущему. Я не хотел уходить из цеха по таким причинам: меня увлекла профессия обмотчика, мне хорошо было в своем рабочем коллективе, и я все больше познавал то, о чем мне писать. А комсомольской работы мне и так по горло хватало. Я с первых месяцев работы на заводе был членом бюро и секретарем цеховой ячейки, членом ко-

митета комсомола завода, заодно редактировал молодежную страницу заводской многотиражки. У нас в цехе было много всяких начинаний, в которых я был не последним. Наша бригада электриков-обмотчиков имела для завода неслыханно большое значение, мы «лечили» все электрические машины, а нас была всего маленькая горстка. Вот наши цеховые руководители и встали против того, чтобы брать меня из цеха. Сначала спросили, хочу ли я сам уходить из цеха, и решение мое одобрили. Начальник цеха Савватеев, инженер Коган, мастер Титов сказали Лихачеву, что я нужен цеху позарез, что из меня надо готовить инженера, судя по моим успехам в технике. Лихачев и сказал секретарю парткома, что из меня надо готовить инженера. Благо, что при заводе у нас — филиал автомеханического института имени Ломоносова. Но прошло некоторое время, и нам сообщили, что партком все же решил взять меня из цеха в комитет комсомола.

— Понятно,— тихо заметил Серафимович. — И как у вас с ним взаимоотношения теперь? Он ведь человек характера крутого.

— У нас, комсомольцев, отношения с ним никогда не менялись. Он любит нас, мы его.

— А неприятности в вашей дружбе были?

— Бывали, конечно. Сталкивались. Но Лихачев никогда не упорствует, если мы доказываем ему нашу правоту.

— Говорят, он трудно признает свои ошибки.

— А кто их признает легко? Но тогда тем упорнее наступаем мы.

— Расскажите-ка о каком-нибудь характерном случае.

Пришлось рассказать. А рассказывая о заводе, я и забыл, зачем эта наша встреча, но Серафимович ниточки разговора из рук не выпускал.

— Это все очень важно для вашей литературной работы. Вам есть о чем писать. Теперь ваша задача — учиться. Литератору нужна серьезная учеба. Как у вас с продолжением образования?

— В тридцатом году комитет комсомола дал мне путевку в Коммунистический институт журналистики. Я сам тогда на учебу еще и не просился, но пришла путевка на завод — и ее дали мне. Обрадовался, сдал

вступительные экзамены, был принят, а учиться не пришлось ни одного дня. Развертывалась реконструкция завода, мы все очень были нужны, особенно партийный и комсомольский актив. Через год опять пришла на завод путевка в КИЖ, и снова решили дать ее мне. Но тут я и до КИЖа доехать не успел,— в парткоме сказали, что я еще молод и в вуз поступить успею, а на заводе вон какие дела разворачиваются, нужен каждый человек.

— А как с самообразованием? — спросил Березовский.

— У меня есть шесть выпусков «Готовься в вуз», по ним и занимаюсь. Да еще в философском семинаре. Это при райкоме. И конечно, много читаю.

— Без настойчивой учебы писателем не станете,— заметил Серафимович. — Или станете плохим писателем. Это надо иметь в виду. Я — старый человек, а учиться не перестаю. И сама жизнь этого требует. Мы учились и в подполье, и в ссылке, а вам ли сейчас не учиться?

Разговор затянулся, но конца ему еще не было видно. Я и слушал их, и отвечал на их вопросы охотно, беседа мне казалась интересной и важной. Даже смотреть на них обоих было поучительно — оба были просто и чисто одеты, держались просто, с достоинством, что мне всегда в старших нравилось. Так, как одевался Серафимович, больше не одевался никто,— черная толстовка с выпущенным поверх ее воротника белым воротничком рубашки. Этот воротничок был всегда идеально чист. Других его портретов я и не знал. И вообще весь он был предельно аккуратен, нетороплив в движениях, разговаривал тихо, и если Березовский не спускал с меня глаз, то Серафимович, наоборот, в глаза мне заглядывал редко, стараясь меня не смущать, и как бы весь уходил в себя.

Время шло, и я окончательно понял, для чего им нужна была эта встреча со мной. Они хотели сами убедиться в том, что же это за молодежь идет в литературу, кто будет заменять их. Всю беседу вел Серафимович, Березовский больше молчал и слушал, изредка задавая вопросы и подавая реплики.

— А кто ваш отец? — спросил Серафимович.

— У меня его нет, Александр Серафимович. Он в девятнадцатом году по партийной разверстке был взят на колчаковский фронт, там и погиб.

Он вздрогнул, словно я причинил этим ему страшную боль. Почему? Видимо, он вспомнил тут своего сына Анатолия, тоже погибшего в гражданскую войну.

— Вот и будьте достойны во всем своего отца,— совсем тихо заметил он. — Вам есть с кого брать пример в жизни.

— Я об этом никогда не забываю, Александр Серафимович. Нам и мать об отце всегда напоминает.

— Нам было бы обидно, если бы наша молодежь о нас забыла...

Эта его грустинка была единственным отклонением от его невозмутимого спокойствия за всю нашу беседу.

— Сказывали мне еще, что вы у кого-то из писателей в бригаде?

— Да. По поэзии — у Эдуарда Багрицкого, а по прозе у Мариэтты Сергеевны Шагинян и Ивана Михайловича Касаткина.

— Хорошие учителя,— заметил Березовский.

— И как они вас учат? Где встречаетесь?

— Они приглашают меня к себе. Бываю у них вечерами или в выходные дни. Один мой рассказ о заводе они одобрили в печать. Скоро он выйдет.

— А очерки пишете?

— Нет, не пишу... — И тут я чистосердечно признался: — Боюсь писать очерки. Ведь это значит писать о живых людях. А вдруг где-то я впаду в неточность или причиню боль человеку. Особенно стариков трогать жалко. Молодежь-то — ладно, не обидится.

— А в рассказах у вас что — все выдумка?

— Нет, все точно. Выдуманные только фамилии и имена. Тут мне легче оправдаться, если, например, мастер, о котором мой первый рассказ, при встрече выразит мне свою обиду.

— А может быть, он и не обидится, если сам — толковый и хороший человек?

— Наверно... Но ведь никто не знает, как он грустил и тосковал, мучился, когда ушел на пенсию, а я знаю — вот и выдал его. Но мы-то, молодежь, и уговорили его вернуться обратно на завод, пока силы есть. А он теперь и орден получил.

— Вот такая литература и нужна,— снова вставил Березовский. — А суждения ваши насчет очерка хоть и понятны, но не убедительны. Конечно, тут каждый автор должен для себя решать все так, как ему это представляется возможным. Вы вот так, другой — иначе.

— Да. Вот мой товарищ, Николай Михайлов с «Серпа и молота», пишет только о действительных людях.

— Это мы знаем,— сказал Серафимович. Наверно, он уж был знаком с Михайловым, как мне это тогда показалось.

— А вон Ваня Меньшиков тоже больше склонен к рассказам.

Они оглянулись, — Ваня сидел к нам спиною, не видел нас и не слышал.

— А с ним кто работает?

— Тоже Мариэтта Сергеевна Шагинян.

Беседа наша закончилась поздно. В напутствие мне Александр Серафимович сказал просто:

— Ну, желаю успеха. Жизненно вы на верном пути. Это избавит вас от ошибок и срывов в литературной работе. И не спешите печататься. Главное — научитесь хорошо писать. Работайте до пота. Жизнь дает вам добротный материал. И слушайте ваших учителей. Это всегда необходимо.

Мы тепло распрощались, и я уехал, отблагодарив их за встречу...

Вот уж сколько лет прошло с той встречи, а я помню ее во всех подробностях и всякий раз, вспоминая о ней, благодарю Серафимовича за то, что он в самой начальной поре моей литературной работы не счел зазорным повидать меня и дать мне свое учительское, отцовское напутствие, окрылить своим добрым отношением и направить на ту дорогу, по которой шел и сам.

Такое никогда не может забыться. И было страшно тяжело услышать весть о его смерти.

Мы прощались с ним как с полководцем в жизни и в литературе. Прощались, клянясь, что никогда с ним не расстанемся, он вечно будет в наших сердцах. Он был нам верным и добрым учителем, наставником, другом и отцом.

1976

Халид Ошаев

В ГОРАХ ЧЕЧНИ

В августе 1929 года А. С. Серафимович был приглашен Чеченским областным исполкомом провести месяц-два в недавно открытом доме отдыха в горном селении Шатой, бывшем царском укреплении (ныне село Советское).

Работал я в то время заведующим облоно Чеченской автономной области. Исполком часто посылал работников в аулы для проведения массовых кампаний. «Моими» постоянными районами были самые отдаленные: Шароевский, Итум-Калинский, Галанчошский. Однажды, возвращаясь из командировки на границу горной Чечни и Хевсуретии, я заехал в Шатой, чтобы познакомиться с отдыхающим там Александром Серафимовичем.

Раньше мне приходилось видеть его, но знаком с ним не был. Лет восемь назад он приезжал на учредительный съезд Советов Горской республики в город Владикавказ. Одетый в костюм цвета хаки, в гимнастерку с отложным воротником, с ремнями через плечи, поддерживавшими широкий офицерский пояс, в высоко зашнурованных английских ботинках, Александр Серафимович производил впечатление еще молодого, крепкого человека. Александр Серафимович выступил на съезде с горячим приветствием к делегатам-горцам.

В Шатое Александру Серафимовичу и жене его Фекле

Родионовне был отведен уютный флигелек, расположенный в старом яблоневом саду.

Встретил меня Александр Серафимович очень радушно и тепло. Мое смущение перед большим писателем прошло тотчас же после первых слов его. Мне показалось, что я близко знаю его уже десяток лет. В живых глазах, в хитроватом прищуре их, угадывался человек с юмором.

— Откуда едете? — спросил он меня, когда я снял с плеча карабин и поставил его в углу веранды.

— Из командировки в высокогорную Чечню,— ответил я. (Что я работал в облоно, он уже знал.)

В глазах Александра Серафимовича засветились веселые блики.

— И что же вы, каждый раз, когда едете обследовать школы, берете эти причиндалы? — спросил он меня, улыбнувшись и указывая на патронташ, опоясывавший меня, и карабин.

— Шайки небольшие здесь в горах пошаливают, Александр Серафимович,— с некоторым смущением ответил я. — С винтовкой как-то спокойнее. А школ в том районе, куда я ездил, никогда и в помине не было. Ездил я на границу Грузии. Мирить хевсур и чеченцев.

Надо сказать, что в те далекие годы среди горских племен все еще живы были дикие обычаи старины — вражда и кровная месть между разными племенами и даже аулами.

И вот меня направили улаживать отношения между враждовавшими хевсурами и чеченцами, которых по названию ущелья Малхистан называли малхистинцами.

Я рассказал Александру Серафимовичу о причинах возникшего конфликта.

— Хевсуры? Кто это? Народ?

— Хевсуры — грузинское племя. Очень воинственное. Живут они на самой границе с Чечней, в двух-трех аулах. Главный аул их — Шатиль. Недавно у них произошла стычка с не менее воинственным чеченским племенем — малхистинцами.

— О, это для меня, донца, очень интересно. Давайте присядем здесь,— сказал он, усаживаясь на диван. —

Рассказывайте самым подробным образом. Что там произошло?

Александр Серафимович вынул из бокового кармана френча толстую, перетянутую резинкой записную книжку, достал карандаш и приготовился слушать. Польщенный вниманием большого человека, я с большой охотой стал рассказывать.

— Две недели назад между хевсурами, залегшими на самой тропе, ведущей из Малхистана в Шатиль, и малхистинцами, гнавшими скот на пастбищную гору Халика, произошла перестрелка. С обеих сторон были раненые. Но сначала надо рассказать вам об ущелье Малхистан, или, как чаще говорят чеченцы — Малхиста. По-чеченски слово это обозначает «край солнца». Такое название ущелье получило потому, что жители его в прошлом поклонялись солнцу — «Малх». Пролегает ущелье с запада на восток, параллельно Главному Кавказскому хребту.

— И много народу в этом ущелье живет?

— Во всем ущелье в двенадцати поселениях проживает около полутора тысяч душ. Обычай кровной мести в Малхистане еще в большой силе. Несколько лет назад мне пришлось проводить здесь выборы в сельсовет, в ауле Сахано. Всего предстояло выбрать одиннадцать человек. И верите, Александр Серафимович, намечать кандидатов пришлось не по каким-нибудь деловым качествам, а по признаку: может ли член сельсовета ходить в Сахано на заседания без риска быть подстреленным кровниками. Все аулы во взаимных кровных счетах. Разобраться в них — черт ногу сломит. Желая унизить какую-нибудь фамилию, малхистинцы говорят: «Кто они такие? Кого они убили? Кто у них убит?» Возможно, что само мрачное ущелье Малхистана накладывает отпечаток на суровые нравы малхистинцев. Когда попадаете в Малхистан, вам кажется, что вы попали на луну. Кругом серые скалы из осыпающегося сланца и мергелистого камня. Где-то там, в поднебесье, или внизу, во мгле ущелья, как молчаливые часовые, высятся старинные башни. На вершинах окрестных гор альпийские луга. С краю поселений, как заплатки, лежат лоскутки полей, где жители сеют ячмень или рожь. На северных склонах кое-где рощицы чахлых березок. И кругом

необыкновенная тишина лунного ландшафта. Вы когда-нибудь слушали, Александр Серафимович, тишину?

— Как можно слышать тишину? — засмеялся писатель.

— А вот в Малхистане, где-нибудь на горе, можно слышать первозданную тишину. Ни полета птиц, ни лая собак, ни говора людей, ни мычания коров, ни дуновения ветра. Полная тишина! И кажется, что ее слышишь. Но я отвлекся. До революции Малхистан, как и соседнее, столь же дикое ущелье Маэсты, входил в состав Тионетского уезда Грузии. В 1920 году малхистинцы пожелали войти в состав Чеченской области и выделились из Грузии.

На границе между последним малхистинским селом Джарего и хевсурским — Шатиль была сооружена из камней высокая пирамида, отмечавшая границу между Грузией и Чечней.

К селу Джарего непосредственно примыкала пастбищная гора Халика. На одной части ее малхистинцы, главным образом джареговцы, исстари выпасали своих овец. Каждая семья за выпас платила шатильцам по одной овце в год. Так продолжалось и после присоединения малхистинцев к Чечне. Но через шесть-семь лет до малхистинцев дополз слух, что существует советский закон, по которому земли, поля и пастбища, находившиеся в фактическом пользовании, переходят к тем, кто ими пользовался. На этом основании малхистинцы прекратили дачу натуральной аренды.

В этом году хевсуры решили отстоять свое право. Собрались с оружием в руках и прогнали малхистинцев. Малхистинцы не остались в долгу. Собрались на тропе и открыли перестрелку. Подняли тревогу по всему ущелью. На время спора с хевсурами объявили даже «вето» на совершение кровных счетов между собой.

— Интересно, — заметил Александр Серафимович. — Значит, перед общей опасностью для племени внутренние распри откладывались?

— Да. Эта традиция была, впрочем, у всех чеченских племен.

— А откуда же у них оружие?

— Да какой же он хевсур, если не имеет винтовки? Или малхистинец без ружья? У чеченцев есть даже

поговорка: «Джигитует ловко, как аккинец, стреляет метко, как малхистинец». На этот счет у чеченцев есть шуточный рассказ. Правда, подчеркивает он номинальную приверженность малхистинцев к исламу. У малхистинца Габиса в один день от холеры умерли два брата. Третий лежал уже без сознания. Габис выскочил из сакли с винтовкой. Поднял лицо к небу и закричал:

«Эй, ты! Именующий себя аллахом! Ты что, решил у меня всех братьев умертвить? Если ты мужчина, покажи мне на твоей щеке место в рубль площадью. Не буду я Габис, сын Батуко, если с первого выстрела не собью тебя с неба!»

Александр Серафимович долго смеялся шутке. Записал ее и попросил продолжать.

— Когда в Грозном было получено сообщение о происшедшей стычке и о том, что на дороге у границы с Грузией залегли вооруженные люди, Чеченский исполком срочно попросил ЦИК Грузинской ССР прислать представителей. Приехали двое, и я выехал с ними. Процедура установления мира продолжалась два дня.

Когда я кончил свой рассказ, Александр Серафимович встал, опустил записную книжку в карман и сказал:

— Решено. Едем с вами.

— Куда? — спросил я.

— В Малхистан. Я хочу побывать там.

Я испугался. В душе ругнул себя.

— Александр Серафимович, это же очень трудно сделать. Ведь от Итум-Кале верхом надо ехать туда три дня. А это при вашем возрасте...

Александр Серафимович подбоченился и, смеясь, спросил меня:

— Та хиба ж я не козак?

Довод был неопровержим. Но как с ним ехать? А писатель был неумолим:

— Едем завтра же. Живут же там люди?

Он прошел со мной в свой рабочий кабинетик, где ему был установлен телефон, и связался с секретарем обкома партии Гургеном Булатом. Долго говорил. Видно, товарищ Булат отговаривал его от рискованной поездки. Под конец разговора писатель передал мне трубку.

— Ошаев,— услышал я в трубке,— ты знаешь, кто такой Серафимович?

— Знаю.

— Поезжай, но береги его. Знаешь, какие туда дороги? Если хоть волос с головы его упадет — судить тебя будем...

Мне сделалось не по себе. И зачем мне нужно было все это рассказывать?

Правда, глубоко в душе у меня теплился огонек надежды, что вот он, знаменитый писатель, напишет о нашем народе повесть. Не такую, может быть, великую, как «Железный поток», но все же славящую нас на всю Россию.

Фекла Родионовна пригласила нас к столу. Устроили обед на веранде. И надо сказать, ел я совсем без аппетита. Заботила предстоящая поездка.

На другой день в райисполкоме нам дали тачанку до Итум-Кале. Дальше колесной дороги не было. Договорился с начальником милиции Мусаевым, что он даст мне трех милиционеров в качестве проводников из числа тех, что только что вернулись со мной из поездки. Попросил начальника, чтобы милиционеры были без формы и Александр Серафимович не догадался бы, кто эти проводники. Четвертым я решил взять милиционера-малхистинца из Итум-Кале, которого я давно знал как расторопного.

Мы поехали. Дорога на Итум-Кале, во многих местах проложенная по карнизу отвесной скалы, поразила Александра Серафимовича.

— Да тут вся дорога «пронеси господи»... — сказал он.

В Ушкалойском ущелье — в мрачной теснине — мы остановились. Александр Серафимович долго смотрел на боевую башню, прилепившуюся к скале на правом берегу реки Чанти-Аргун. Доступа к ней совершенно не было.

— Есть ли об этой башне какие-нибудь легенды? — спросил меня писатель.

— Есть,— ответил я. — Там ниже от нее была еще вторая башня. От нее виднеются еще остатки фундамента. Легенда такая:

«Жили в этих башнях семь братьев и сестра. С двух сторон, от дороги, через бушующий Аргун к подно-

жиям башен были перекинуты два моста. Обойти их путники не могли,— другой дороги здесь не было. Путники переходили через один мост, проходили по кромке берега мимо башен и по другому мосту снова переходили на этот берег. С каждого путника за переход через мост братья брали плату: наконечник стрелы. пулю, заряд пороха, руно шерсти,— кто что мог дать.

Однажды братья собрались в этой башне. Сказали сестре:

— Пойди зачерпни кувшин воды из Аргуна.

— О, я боюсь,— ответила сестра.

— Как? До воды же два шага. И нас семеро братьев у тебя. И луна ярко светит. Иди набери воды!

Сестра вышла из башни и стала набирать воду. Вдруг на нее набросились ожидавшие ее люди и потащили через мост. Сестра кричала, звала братьев на помощь, но из-за шума реки они ее не услышали.

И крикнула, говорят, сестра:

— О ты, буйный Аргун! Хоть ты скажи моим братьям, что луна мне не помогла!»

Александр Серафимович тут же записал легенду, и мы поехали дальше.

В Итум-Кале Серафимович побывал в районных учреждениях, поговорил со стариками об их житье-бытье, побывал в маленькой двухклассной школе. Перед вечером, окруженный гурьбой ребятишек, он прошел на реку, бросать камешки. Участвовал с ними в состязании: кто больше «блинов» выбьет плоским камешком по поверхности воды. Радовался и громко смеялся, когда одним камнем выбил десять «блинов».

Солнце уходило за вершины окрестных гор, когда мы прошли в верхнюю часть аула, чтобы осмотреть вблизи единственную боевую башню, высившуюся в селе. Была она невысока — всего метров десять. Верхняя часть ее, вместе с пирамидальной кровлей, уже давно обрушилась.

— Кладка изумительная. Даже мастера нашего времени позавидуют. Ведь это простой тесаный булыжный камень,— сказал Александр Серафимович. — А известно, какому князю она принадлежала?

— Это же родовая башня, Александр Серафимович. А князей у чеченцев вообще никогда не было.

— Как не было? Были же сословия?

— Не было. Не доросли чеченцы до феодальной формации. Феодализм только начал складываться в междоусобной борьбе родовой знати. Как вы думаете, Александр Серафимович, могло ли быть в этом итумкалинском горшочке, со всех сторон окруженном горами, четырнадцать князей? Ведь здесь, в Итум-Кале, перед окончанием Кавказской войны было четырнадцать боевых башен.

— Четырнадцать! — удивился Александр Серафимович. — Куда же они делись?

— Вы видите на той стороне реки, на утесе, остатки каменной стены? Это бывшее царское укрепление Евдокимовское. При царе это село именовалось Евдокимовским. При постройке укрепления тринадцать башен были взорваны, и камень пошел на постройку стен укрепления. Взорваны они были по приказанию генерала Евдокимова.

— Но ведь это же варварство! Разрушить такие чудесные архитектурные памятники. Это ни в какие ворота не лезет, — покачал головой Александр Серафимович.

— Генерала просили не разрушать. Но он будто бы сказал: «Пока высятся эти башни, воинственный дух жителей не иссякнет. Нужен камень. А потому приказываю взорвать!»

Находился будто бы генерал Евдокимов на постое у владельцев этой башни, и женщины на коленях упросили его не трогать ее. Генерал смилостивился и эту оставил. Но дорога, вырубленная в скале, которую вы назвали «пронеси господи», была проложена русскими саперами по приказу того же Евдокимова. А она — в сто раз ценнее тринадцати старых башен.

На следующий день мы выбрали для Александра Серафимовича крепкую, но смирную горскую лошадь и в сопровождении четырех конных проводников отправились в глубь гор, по тропе, вившейся по берегу Чанти-Аргуна. Кавалькаду возглавлял молчаливый, но боевой проводник — малхистинец Хачуко Ичаев.

В полдень прибыли к местечку Кирды Баунишка — острому мысу, образовавшемуся при впадении речки Терлой-Ахк в Аргун.

Мыс этот — как ладонь, поставленная на ребро. Высота его метров полтораста, длина — сто двадцать, сто тридцать метров. На самом краю мыса, одна рядом с другой, высились пять боевых башен. Две из них обрушились — торчало только по одной стене. Подступ к башням был возможен только с западной стороны, по крутой и узкой тропе.

Александр Серафимович прошел к самому краю отвесного мыса, уселся у подножья башни, записал что-то в книжечку, долго любовался окрестностями горы и наконец поднялся.

— Интересное место,— сказал он задумчиво.

Поехали дальше. Аул Шунди, в котором нам предстояло ночевать, был расположен в пяти километрах от Кирды Баунишка. Писатель ехал молча. Видно, он был под впечатлением от необычного места поселения людей.

В аул Шунди мы прибыли после полудня. Остановились у Магомета Несибова, одного из четырех братьев, живших в этом селении. По происхождению они были осетинами. Предок их много лет назад бежал из Осетии от кровной мести и поселился здесь.

Самого хозяина дома не было. Встретил нас его брат Исбах Несибов, огромный детина с грубыми чертами лица, совсем не оправдывающими его имя — исбахи по-чеченски значит «изящный», «художественный». Проводников Исбах увел к себе.

Хозяйка Магомета Несибова, знавшая меня, поставила самовар, быстро состряпала блины и подала их в большой миске, обильно полив маслом.

И только мы с Александром Серафимовичем уселись за трапезу, вошел хозяин Магомет Несибов. На лице у него красовалась четырехугольная черная тряпочка, тесемочки которой были завязаны за ушами.

Смотрю — у Александра Серафимовича блин застрял в горле. Я сразу понял, в чем дело, и сказал:

— Не беспокойтесь, Александр Серафимович, нос у него отрублен кинжалом во время драки.

Писатель с облегчением проглотил блин. В комнате никто не знал по-русски, и я ему рассказал историю нашего гостеприимного хозяина. Нос был отрублен жителем соседнего села Кий в драке из-за невесты, похищенной, с ее согласия, племянником Несибова.

Я объяснил Александру Серафимовичу, что этот случай явился причиной материального благосостояния Несибова, потому что виновник, нанесший увечье, заплатил ему половину стоимости крови человека по адату (цена крови при примирении — 63 коровы).

Хотя по местным обычаям неприлично спрашивать гостя, кто он такой, пока он не пробудет в доме трех суток, хозяин все же не выдержал и поинтересовался, кто этот русский.

Узнав, что гость пишет книги, хозяин преисполнился к нему особым уважением, собственноручно снял с него сапоги, взбил четыре подушки и усадил на них гостя.

Александр Серафимович рассмеялся:

— Я сижу, как Чингисхан!

Для нас зарезали барана. Но это было еще не все. Хозяин решил угостить гостя особо почетным блюдом — мучной кашей, сваренной на молоке («шюри-те худар»). Хозяин заставил Александра Серафимовича съесть несколько ложек каши из своих рук, что, вероятно, судя по его настойчивости, имело какое-то символическое значение.

На второй день Магомет Несибов мобилизовал полдюжины племянников для наших проводов, хотя с нами было и так уже четверо проводников.

Мы с трудом вернули Несибовых с полдороги. Хозяин же вернуться наотрез отказался и проводил нас до селения Кий.

В селении Кий остановились у бывшего сподвижника знаменитого абрека Зелимхана — Такия Тагилева. До вечера Серафимович и здесь побывал в школе, поговорил с жителями.

Вечером послушать московского гостя собралось много людей.

На следующий день — это было 16 сентября 1929 года — мы направились в Малхистан. Предстояла самая тяжелая часть пути. Чтобы попасть в аул Икличи, нужно было перевалить через высокий хребет Кори-Лам. У подножия крутой горы косари косили сено — второй укос.

Такий Тагилев, провожавший нас, предупредительно приспособил к седлу лошади Александра Серафимо-

вича захваченный из дома нагрудник, чтобы на крутизне оно не сползало назад.

Я и четверо проводников спешились. Двое из них стали к стременам лошади Александра Серафимовича, пустив своих лошадей вперед. Два других и я, чтобы облегчить себе подъем, взялись за хвосты лошадей. Подгоняя животных плетками, пошли сзади них. Тропа была едва заметна, так как малхистинцы обычно ездили в Кий в объезд горы Кори-Лам.

Часа через три достигли перевала и пошли по колено в снегу. Обледенелый снег проваливался под ногами лошадей, и они двигались с большим трудом.

Александр Серафимович чувствовал себя бодро и шутил:

— Шо ты балакаешь? Чи я не козак?

После полудня начали спуск в долину Басти-Ами, лежащую высоко над уровнем моря. Вся она была покрыта сплошным ковром альпийских трав и цветов. Особенно много росло здесь ромашки с большими лепестками, всех цветов радуги. (Впрочем, кажется, растение это именуют поповником.)

Посреди долины бежал ручеек с хрустально-чистой водой. Кругом — ни одного деревца, ни одного кустика. На южном склоне Кори-Лама — маленький аульчик с тем же названием — Басти-Ами. Жители его главным образом занимаются пчеловодством.

Мы восторгались красотой долины, а молчаливый малхистинец Хачуко Ичаев только заметил:

— Да. На свете бывают красивые места, — и тут же добавил, что пользы людям от красоты этой мало.

Мы сели у ручья, достали из переметных сум мясо и лепешки.

Перед Александром Серафимовичем положили баранью голову и грудину — самое почетное угощение у горцев.

Один из проводников поднес Серафимовичу полстакана водки. Тот засмеялся и сказал:

— Ну как тут не выпить? Хорошо, что жена далеко.

Выпил, крякнул и с аппетитом стал закусывать.

Пустую бутылку поставили метрах в двухстах и решили пострелять в нее из моего карабина. Александр Серафимович выразил живейшее желание состязаться. Я подмигнул проводникам и сказал им по-чеченски:

— Мажьте!

Стреляли по очереди и все мазали. Со второго выстрела Александр Серафимович разнес бутылку. Радости его не было предела. И несколько лет спустя, в Москве, когда я приходил к нему в дом у Каменного моста, он хвалился перед гостями:

— Вот. Живой свидетель! Обстрелял я всех горцев — природных стрелков.

Солнце в долине сияло ослепительно, но духоты не чувствовалось. Александр Серафимович разделся до пояса, снял сапоги, опустил ноги в ледяной ручей и, болтая ими, говорил:

— Какая благодать! Я чувствую: вся московская шкура с меня слезла.

Уже солнце склонялось к вершинам гор, а Александр Серафимович не хотел одеваться и ехать дальше.

— Ах, как хорошо! — восхищался он и предложил здесь ночевать. С трудом удалось отговорить его. Мы сказали, что ночью долину сплошь заполняет туман.

Чтобы попасть в ущелье Малхистан, нам оставалось перевалить еще один невысокий хребет. Под вечер спустились в малхистинский аул Икличи, где в одной из старинных боевых башен жила вдова Муцольгова с сыном-подростком и красивой дочерью. Я здесь бывал и раньше. Менять хозяина у горцев не принято, и мы стали гостями у вдовы. Двух проводников Хачуко Ичаев увел с собой в Сахано, в свой аул.

Башня Муцольговых высилась над бездонной кручей. Обычно чеченские боевые башни строились в четыре этажа и представляли собой слегка сужающуюся кверху усеченную четырехгранную пирамиду, имеющую основание пять метров на пять. Высота башни — двенадцать — пятнадцать метров. Нижний этаж башни был отведен для скота.

Чтобы не подниматься в жилую часть по внутренней лестнице, снаружи к стенам башни с трех сторон приладили толстые колья-кронштейны и на них прикрепили ведущие в средний этаж хворостяные плетни, которые и служили лестницей. Перил никаких. При каждом шаге плетенки пружинили и качались, вися у одной стены над пропастью. Мальчик, сын вдовы, сбегал по ней бегом.

Я предложил Александру Серафимовичу подняться в башню.

— Ну, знаешь, я хотя боевой казак, но такими лифтами пользоваться не привык,— сказал он мне, однако смело пошел за мной наверх.

Хозяйка встретила нас необыкновенно радушно. Через пять минут проводник свежевал зарезанного барана.

Дочь оказывала Серафимовичу все знаки внимания. А он, став у дверей башни, не отводил глаз от вечерней панорамы Главного Кавказского хребта.

После обильного ужина Муцольгова созвала девушек и под звуки трехструнной балалайки, на которой играл паренек из аула, они в нашу честь устроили танцы.

Рано утром Александр Серафимович с сыном Муцольговой спустился из башни. Окруженный толпой ребятишек, он затеял с ними стрельбу из лука. Лук этот имеет две тетивы, расчлененные в верхней части коротенькой палочкой. В средней части к тетивам прикреплен ремешок, куда вкладываются камешки-кругляшки. Горские ребятишки пользуются такими луками, как городские рогаткой.

После завтрака мы с Серафимовичем и проводником поехали в место слияния речки Миши-хи с Аргуном. На высоком мысу, образовавшемся при слиянии рек, находится древнее поселение Цай-Пхеда, что по-чеченски означает «поселение божеств». На мысу расположено до семидесяти надземных могильников — склепов, заполненных человеческими костями. Именуют склепы «малх-каш», что в переводе на русский язык означает «солнечная могила». Форма их напоминает двускатную брезентовую палатку.

Мыс этот, как и Кирды Баунишка, доступен только с одной стороны. В старину высокая стена преграждала доступ к поселению с этой стороны.

У ворот, в стене, когда-то ограждавшей мыс, высилась хорошо сохранившаяся боевая башня, сложенная из сланцевого плиточного камня. Мы прошли к ней. На фасадной стороне, высоко вверху, во время кладки башни были оставлены квадратные отверстия. Все вместе они составляли изображение креста или человеческой фигуры с развернутыми в сторону руками.

На замковом камне входа в башню был ясно выгравирован крест.

— Ведь это кресты? — спросил Александр Серафимович.

— Да, кресты. Лет шестьсот назад, до монгольского нашествия, чеченцы были христианами.

Александр Серафимович долго осматривал мертвый город.

— Надо полагать, эти склепы фамильные? — спросил писатель.

— И фамильные, и родовые,— пояснил я. — Есть ли свой склеп или нет — с этим малхистинцы очень считались. Так, если они не хотели отдать замуж свою девицу за худородного, они говорили:

«Кто они такие? У него нет ни тайпа (рода), ни туккума (племени), ни могилы, чтобы похоронить».

Александр Серафимович задумчиво сидел на камне и что-то записывал.

— Да,— сказал он, вставая,— Малхистан и эта поездка навсегда останутся у меня в памяти.

Дальше мы решили идти до Икличи пешком. Отпустили проводника с лошадьми и не торопясь пошли. Поднялись на гору. Александр Серафимович остановился, осматривая местность и панораму Главного хребта.

— Здесь необыкновенная тишина, и ее можно слышать,— сказал он.

До самого аула Икличи мы шли, разговаривая о литературе. Подробностей беседы я не помню. Запомнил лишь одно. Александр Серафимович из русских писателей ставил очень высоко М. Пришвина и К. Паустовского. Очень тепло отозвался он о книге «Лесозавод» А. Караваевой.

Помню, я спросил его: кто был прототипом Кожуха из «Железного потока»?

— Как? Вы не знаете этого? Это Ковтюх. Северокавказский военный работник.

И вторую ночь мы провели у вдовы Муцольговой. Я посоветовался с проводниками. Ехать обратно в Итум-Кале берегом Аргуна было гораздо ближе, чем через Кори-Лам, но, когда я дней десять назад возвращался из Шатиля этой дорогой, местами она была размыта дождями.

Проводники убеждали меня, что нет никакой опасности ехать берегом русла Аргуна.

На следующий день, утром, распрощавшись с хозяйкой и ее дочерью, мы выехали из Икличи, намереваясь к ночи прибыть в Итум-Кале. Александр Серафимович был бодр и, против моего опасения, оказался ездоком выносливым, несмотря на почтенные годы. Мы поехали по тропинке, вьющейся по левому берегу Аргуна. Местами дорога проходила по прибрежному лесочку.

В опасных местах мы заставляли Александра Серафимовича сойти с лошади. Впереди ехал Хачуко Ичаев, за ним мы с Александром Серафимовичем, а позади нас двигались проводники.

У каменной осыпи Хачуко спешился, подобрал несколько камней и дал по одному мне и проводникам.

— Для чего он камни роздал? — спросил писатель.

— А вот сейчас увидите,— ответил я, улыбаясь.

Вскоре мы подъехали к роднику. В десяти шагах от него находился холмик из камней, метра в полтора вышиной. Каждый из проводников и я бросили на эту кучу свои камни. Писатель с недоумением посмотрел на меня.

— Видите ли, Александр Серафимович, это «куча проклятия». По-чеченски — карлаг. Много лет тому назад кто-то совершил вероломство: на этом месте убил своего гостя. С тех пор каждый проезжающий или проходящий здесь бросает на кучу свой камень и произносит проклятие.

Хачуко было тронул коня, но Александр Серафимович остановил его.

— А жив ли этот человек?

Я этого не знал и спросил у Хачуко. Тот ответил, что убийство было совершено еще до его рождения. Слышал он, что убийца покинул Малхистан и ушел с семьей неизвестно куда, в первый же год, когда начали набрасывать карлаг.

— Вот это замечательный обычай. И только убийцам набрасывается такая куча?

— Не только. Проклятию подвергаются люди и за какой-нибудь антиобщественный, позорный поступок. Срубить, например, грушевое дерево у нас считается большим грехом. Вот недалеко от моего села Старые

Атаги на поле росла груша. Один чеченец ночью срубил ее и увез. Около пня стали бросать «камни проклятия». Несколько раз чеченец увозил камни, приезжая для этой цели ночью. Но куча росла снова. Общее презрение и бойкот вынудили его уехать из Чечни навсегда. Бросают камни и те, кто совсем не знает, кому и за что сооружается карлаг.

— А почему Хачуко мне не дал камня?

— Вероятно, не знал, как вы на это посмотрите.

Хачуко, видно, понял. Вмиг соскочил с лошади и принялся искать камень. Но поблизости от кучи все видно, были подобраны. Через несколько минут он принес небольшой камушек и подал его писателю.

С совершенно серьезным видом Александр Серафимович бросил свой камень в общую кучу. Проводникам это очень понравилось.

Поехали дальше. Но писатель продолжал спрашивать:

— Обычай этот, видно, мусульманский?

— Нет. Слово «карлаг»— специфический термин, этимология его неясна. И возможно, что символически этот акт обозначает забрасывание преступника камнями. Есть у нас еще другой обычай: преданье анафеме путем выстрелов. Где-нибудь на собрании решают предать человека проклятию за антиобщественный поступок. Вечером в ауле, с криками «да будет проклята твоя семья», кто-нибудь производит выстрел. И село начинает греметь выстрелами. Стрельбу подхватывают другие аулы — догадываются, в чем дело.

В последний раз такую стрельбу я слышал зимой 1919 года. Какой-то русский житель города Грозного на линейке приехал по своим делам в село Алхазурово. Он сделал свои дела, переночевал у хозяина и утром поехал домой. Хозяин поехал за гостем следом, убил его и завладел лошадью и линейкой. На следующий вечер в Алхазурове поднялась стрельба. Она перекинулась в другие аулы. Поддержало и мое село. От села к селу, пальба докатилась, говорят, до границ Дагестана. В ту же ночь хозяин с семьей бежал в неизвестном направлении. Сейчас этого обычая уже нет.

Александр Серафимович долгое время ехал в задумчивости.

Потом сказал:

— Когда-нибудь этот обычай я опишу в рассказе.

После полудня мы приехали к местечку Басхой и остановились на берегу реки.

На противоположном берегу чернел вход в пещеру. Я сказал, что из нее вытекает чудесный нарзанный родник. И надо же было мне сказать!

Александр Серафимович сразу загорелся побывать в ней. Я стал отговаривать его. Река была здесь не глубокая, но неслась с бешеной силой и ревом.

— Что он говорит? — спросил Хачуко. Я объяснил.

— Перейти можно. Я посмотрю, — сказал он и направил лошадь в воду.

И тут случилось неожиданное. Александр Серафимович ударил коня плетью и погнал вслед за Хачуко.

В паническом страхе, истошным голосом я закричал, чтобы он вернулся. Но он невозмутимо продолжал свой путь.

Я крикнул проводникам, чтобы они задержались левее старика, чтобы помочь ему, в случае падения с лошади. А опасность эта была реальная: по дну бурной реки с глухим стуком, словно чугунные ядра, катились камни.

Наконец все благополучно добрались до берега, остановились и спешились. Я испытывал сложные чувства: и страх, и восхищение стариком, и недовольство его опрометчивым поступком. Обут Александр Серафимович был в простые солдатские сапоги. В правый набралась вода. Сняли и вылили воду. Я накинулся на Хачуко: зачем он полез в воду?

— Да я же посмотреть хотел, — сказал он смущенно.

Один из проводников заметил:

— Валлахи, биллахи, этот старик — настоящий «конах».

Это была высшая чеченская похвала. «Конах» — означает «бесстрашный, вежливый и благородный человек».

Стреножив коней и оставив их пастись, мы вскарабкались наверх в пещеру.

Чистый, как слеза, нарзанный родник течет здесь в русле из ржавчины. Вода изумительная, с газом, бьющим в нос. Выпив стакан, Александр Серафимович отставил его в сторону и сказал:

— Хоть раз в жизни попью нарзан прямо из ладоней! — и принялся пить из пригоршней.

Потом он сел у входа в пещеру, на камень, долго что-то записывал и снова, сделав несколько глотков, садился писать.

Нам предстояло проехать еще восемнадцать километров. Боясь, что нас застанет ночь в дороге, я упрашивал Александра Серафимовича ехать.

— Да разве можно себе представить такую красоту? — говорил он, любуясь нависшими скалами и горами, покрытыми хвойным лесом.

Бодрые и голодные как волки, мы уже ночью прибыли в Итум-Кале. После сытного ужина Александр Серафимович хватился:

— Ай-ай-ай! Книжечку в пещере забыл! Да как же это я?

Я сказал, что утром пошлем проводника и он ее найдет. Но Александр Серафимович беспокоился:

— А вдруг пропадет? У меня же там трехмесячные записи! Пропало все!

Я позвал Хачуко Ичаева и спросил у него, может ли он доставить книжку из пещеры к утру. Ичаев согласился.

Взяв у нашего хозяина свежую лошадь, он отправился в Басхой. На заре он доставил книжку. Александр Серафимович дал Ичаеву пятьдесят рублей, что очень поразило молчаливого проводника. Поразила его не самая щедрость гостя, его заинтересовало, что же заключается в книжечке, раз за нее вознаграждают так щедро!

Проводник долго отказывался от подарка, но наконец принял, чтобы окончить неприятный разговор.

К полудню мы вернулись в Шатой. Александр Серафимович тепло распрощался со мной, дал свой московский адрес и взял с меня обещание бывать у него. Я уехал в Грозный.

Года через два мне несколько раз пришлось бывать у Александра Серафимовича в Москве.

И каждый раз, когда мы с писателем Арсановым бывали у него на квартире у Каменного моста, он весело покрикивал:

— Женка! Дай-ка кавказцам заветного! Да что это за бокалы? Дай самого крупного калибру им!

И шутливо-сокрушенным тоном говорил:

— А женка моя держит меня на «декохте». Смотрите, разве это бокал? Это же наперсток на ножке!

Однажды мне пришлось побывать у него и на даче, под Москвой. Он отвел меня в сад и там предложил состязаться в стрельбе из малокалиберки. Чтобы доставить ему радость, я повторил маневр, примененный в горной долине. Довольный, он пришел в дом и заявил жене:

— Женка! Видишь? На двадцать очков лучше настоящего кавказца стреляю!

Стрелял он из малокалиберки действительно неплохо.

Александр Серафимович был прост и бесхитростен, как всякий действительно большой человек. Невзирая на свои годы, он предпринял трудное путешествие в горы, потому что им двигала огромная любовь к людям труда.

1959—1976

Михаил Давыдов

ДЕДУШКА

Давно это было. Я жил тогда в казачьем хуторе Подольховском, неподалеку от станицы Усть-Медведицкой. Бегал в школу во второй класс. Однажды вечером я принес из тощей школьной библиотеки рассказ Серафимовича «Сцепщик». На желтенькой обложке — сгорбившийся мужичок. Ест рыбу. Отец, посмотрев на рисунок, сказал:

— Где же это видано, чтобы рыбу ели с хвоста? Чудно!

Он презрительно фыркнул и стал высмеивать художника и вообще всех горожан, не знающих деревенской жизни.

— А про что книжка-то?

— Не знаю, папаня. Хочешь, я тебе почитаю?

Отец был неграмотен. Для него, как и для многих других казаков, «писатель» и «писарь» было одно и то же. Меня же отец к книгам приохочивал и даже по вечерам керосина не жалел.

— Валяй! — сказал он, усаживаясь на дубовый комель.

Я старался изо всех сил. Страницы книги словно ожили, зашевелились. Описание степи взволновало нас. Было такое ощущение, будто наша маленькая комнатушка наполнилась запахом чабреца и полыни и еще чем-то неуловимым. И казалось нам, что в синеве неба белеют пушистые облака и парят могучие беркуты. И были тут и тоска, и нежность, и задумчивая ласковость. Но больше всего — печали и горя.

Горькая участь железнодорожного сцепщика, которого несправедливо обидели и унизили, тронула отца. Но он остался недоволен концом рассказа. Зачем Макар пошел в кабак и пропил сапоги? Уж лучше бы он сдачи дал начальнику.

Удивительное дело, Александр Серафимович, известный в стране и за границей, тогда не был известен у себя дома. Из наших хуторских казаков никто в ту пору не слышал этого имени. А ведь писатель каждое лето два раза проезжал через наше местечко.

Два года спустя, в конце августа, меня и еще троих хуторских мальчишек отец повез в станицу. Радость и счастье сияли на наших лицах. Мы были приняты в школу второй ступени. В тот же день мы пришли к двухэтажному белому зданию, в котором учился Саша Попов — ныне известный писатель Александр Серафимович.

Чернобородый сторож, показавший нам помещение, сказал:

— Мы с Александром Серафимовичем вместе рыбку ловили летом. Недавно он уехал в Москву, а мне подарил снасть под стерлядочку.

... Кто-то из русских писателей сказал, что, когда познакомишься с человеком, всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в первый раз. Александра Серафимовича я видел несколько раз. Но всегда передо мною встает одна и та же картина.

Жаркое лето. Нас распустили на каникулы. В воскресный июльский день мы с одноклассником Сашей Фединым отправились купаться. Прошли по центральной улице, свернули в переулок и быстро начали спускаться по булыжной мостовой под угорье, к Дону. Вдруг Саша толкнул меня локтем.

— Гляди, — шепотом сказал он, — Серафимович идет. И Мария Федоровна с ним.

Впереди, навстречу нам, неторопливо поднимался по мостовой полный человек в легкой летней рубашке с широким белоснежным отложным воротником. Большая бритая голова, высокий морщинистый лоб, бронзовое от загара, скуластое лицо, густые брови, тронутые сединой усы щеточками. Он слегка поддерживал за локоть нашу учительницу литературы Марию Федоровну и, глядя ей в лицо, о чем-то оживленно

рассказывал. Мы с другом поклонились. Серафимович, прищурив глаза и пристально посмотрев на нас, босоногих, ласково кивнул нам и улыбнулся. Человеком, поднимающимся в гору, запомнил я известного земляка.

Тихий Дон был нашим вторым домом. Весной и летом мы прямо с отвесных гор спускались на пристань. У родителей Саши была старенькая, видавшая виды лодка. На ней мы отправлялись в заветные места. Забирались в густые заросли ивняка, сооружали из камыша и прутьев шалаш и жили здесь, как робинзоны. Один раз вошли в русло Медведицы и поднялись вверх. Лучшего уголка, чем этот, пожалуй, не сыскать на всей реке. Лесные чащи, камышовые заросли, глубокие чёрные озера. Вода в них была чистая и очень холодная. Она прогревалась только сверху.

За излучиной, на песчаной косе, мы увидели рыбака. Он был в длинных трусах, майке и в соломенной шляпе с широкими полями. Рядом несколько удилищ, приподнятых на рогулях, и на приколе покачивалась надувная резиновая лодка. По ней-то мы и узнали ее хозяина. Такая лодка в нашей станице была только одна, и принадлежала она Александру Серафимовичу.

— Не будем рыбу пугать, — сказал Саша и хотел повернуть лодку обратно. Но Александр Серафимович уже увидел нас, снял шляпу и приветливо помахал ею. Мне очень хотелось познакомиться с писателем поближе и рассказать ему, как я читал его рассказ своему отцу. Я уговорил друга грести вперед. Через несколько минут мы робко и неуверенно выпрыгнули на берег.

— Рыбак рыбака видит издалека, — шутливо встретил нас Серафимович. — Ну, как, дружки, рыбки много наловили? Показывайте. А клев нынче великолепный, особенно на окуньков. Я не успевал их подсекать. Порыбачил бы еще, но дела дома ждут. Пора собираться.

Писатель глубоко вздохнул и посмотрел на противоположный берег. Там стояли три задумчивые вербы, низко склонившиеся над водой.

— Всегда здесь рыбалю, — сказал он. — Люблю это место. Мальчонкой часто сюда забирался. А эти вербы приметой служили.

В воде на шпагате вздрагивали светлые окуни, темнея поперечными полосками и ярко краснея брюшными плавниками; зеленоватые ерши с согнутыми набок хвостами уже не шевелились. Разглядывая улов, мы восторженно отзывались о способностях рыбака. Он благосклонно принял нашу похвалу, но свои заслуги не переоценивал.

— Вот подождите еще немножко. Подучусь, тогда буду с вами соревноваться. Я вам покажу, где раки зимуют, — добродушно-лукавым тоном говорил он.

Но, видимо, наша похвала была ему приятна. Он весь сиял от удовольствия и, хитровато подмигнув нам, добавил:

— Великолепная ушица будет.

Мы предложили Серафимовичу сесть в нашу посудину. Он покосился на лодку, оценивая ее критическим взглядом, кивнул в знак согласия.

— Плавать еще не разучился. В случае кораблекрушения могу махнуть через Дон.

Выпустив воздух из резиновой лодки, мы перенесли ее вместе с рыболовными снастями в нашу посудину.

Течение здесь было быстрое, и лодка, управляемая одним рулевым веслом, плавно неслась к Дону. Писатель любовался живописными берегами Медведицы и то и дело обращал наше внимание на какой-нибудь красивый уголок, на солнечные блики в густой листве, на синие тени, которые перед заходом солнца быстро сползали с вершины белой горы. Навстречу бежали слегка сверкающие заводи, молодые топольки с чуть трепещущими листочками, желтые бугорчатые островки, поросшие ивняком. Серафимович живо отзывался на всю эту красоту, радовался каждому звуку.

— Скажи, тезка, — слегка глуховатым голосом обратился писатель к моему дружку, — живешь ты на какой улице? На Донской. На самом низу. Знаю, знаю. У вас там полая вода подходит к самому дому. Прямо со двора можно отправляться в дальнее плавание. Когда-то мальчонкой я мечтал о таком путешествии. В Южную Америку хотел пробраться. С индейцами подружиться. И маршрут составил, и карту приготовил, и деньги копил. Сначала по Дону в Азовское море, оттуда в Черное и океаном все дальше и дальше.

Тогда я запоем читал, прямо глотал Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, Густава Эмара. Слышали про таких?

Нам стыдно было признаться, что мы не прочитали ни одной книжки этих писателей. Серафимович, заметив наше смущение, сказал:

— Вчера я был в станичной библиотеке. У меня там встреча была с читателями. После осмотрел книги. Нашел одну, которую читал в детстве. И книги этих писателей есть. Читайте!

— Ну а путешествие? — нетерпеливо спросил Саша.

— Сорвалось, дружок. Корабля подходящего не нашлось. Да и деньжонок маловато накопил. Рубля два, что ли.

Некоторое время Александр Серафимович сидел задумчивый и грустный. О чем он думал? Может быть, вспоминал те далекие годы, когда вот так же, как и мы, босоногий, со своими однокашниками бегал на Дон, забирался в Монастырский лес, пропадал в степи, мечтал о заморских странах.

— Ну а у вас, друзья мои, какие думки? — ласково спросил он. — Вот ты, тезка, кем хочешь стать?

Острые, поставленные близко к переносью серые глаза писателя смотрели пристально и внимательно.

— Моряком!

— А почему не капитаном?

— Капитаном трудно. У меня по арифметике тройка.

Узнав о том, что я с хутора, Серафимович поднял на меня вопрошающие глаза и засыпал вопросами. Есть ли на хуторе библиотека, изба-читальня? Посещают ли их казаки? Расспросил об учителях. Некоторых из них он знал лично и поддерживал с ними знакомство. Спросил, сколько учеников с нашего хутора учится в станице. Почему нет ни одной девочки?

Когда я ответил на все вопросы, писатель неожиданно спросил:

— А скажи-ка, мой дружок, как поживает ваша Англичанка?

Этот вопрос меня немало удивил и привел в замешательство. Откуда Серафимовичу стало известно про нашу Англичанку и почему он ее назвал так. Ведь настоящее имя ее было Анюта, а «Англичанка» — клич-

ка, прозвище, которое ей дали казаки за бойкий нрав и острый язычок. Оказывается, он хорошо знал тетку Анюту и встречался с ней на хуторе и в станице. Я рассказал, как мы воровали яблоки у нее в саду и как она потом на нас выпустила из ульев пчел. Тогда пчелы нас здорово искусали. Серафимович оживился и весело смеялся.

— Ну, а с уроков убегаете? — лукаво подмигнув нам, спросил он.

И, не дождавшись ответа, продолжал:

— Когда в гимназии учился, убегал тоже. С закона божьего. Весной придем вон на ту гору, — писатель протянул руку к высокой белеющей горе, — сядем на ранцы и катимся вниз до самого Дона. Только камушки шуршат да пыль столбом поднимается...

Тихий певучий голос писателя сливался с дремотным шепотом невидимо бегущей воды. Мы слушали затаив дыхание. Синие сумерки укутывали реку. Бакены замигали призывными огоньками. Лодка тихо неслась вниз. На середине Дон бурлил и крутился воронками.

Зачерпнув пригоршнями, Серафимович напился, смочил лицо и чисто выбритую голову. Похвалил воду.

После непродолжительного молчания спросил:

— А книжки любите читать?

— Любим! — в один голос ответили мы.

— «Детство» Максима Горького читали?

Ни я, ни мой товарищ книг Горького не читали. Имя этого писателя я услышал впервые весной на уроке географии. Ее преподавал Константин Михайлович Успенский, любимец всей школы.

Когда учитель, уже немолодой, но стройный и подтянутый, в костюме из черного сукна, входил в класс, мы всегда почтительно приветствовали его. Добрые, ласковые глаза тихо улыбались из-под золотого пенсне. Густая длинная борода и огромная шевелюра превращали его для нас в доброго волшебника из чудесной сказки. Мы затихали на сорок пять минут и слушали вдохновенный рассказ.

В моей памяти сохранился рассказ Успенского об Италии. Этот человек знал очень много. Поправляя пенсне двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь стекла в класс и говорил о Венеции и лагунах, Везу-

вии и Помпее, римлянах и Колизее, об островах и заливах. Он подходил к шкафу, снимал с полочки бутылочку, запечатанную сургучом. В бутылке была зеленоватая жидкость. Он говорил:

— Это вода из Неаполитанского залива. На южном берегу этого залива есть небольшой городок. Название это звучит как музыка. Это — Сорренто. В нем живет Максим Горький, большой писатель земли русской. Если кто-нибудь из вас захочет написать ему письмо, вот его адрес.

Учитель крупно и размашисто написал по-итальянски адрес писателя на доске.

Мой рассказ взволновал Серафимовича.

Вечером мы причалили возле будки бакенщика, давнишнего дружка Серафимовича. Здесь писатель оставил надувную лодку и рыболовные снасти. Рыбу мы сложили в сапетку. По каменистой тропинке медленно поднимались в гору. По пути несколько раз отдыхали. Серафимович страдал одышкой. В станице уже зажигались огни. Мы проводили Александра Серафимовича до самого дома.

— Спасибо, друзья мои, — сказал он, тяжело дыша, — завтра утром приходите ко мне. Не раньше десяти. Я что-нибудь для вас приготовлю.

Проснулись рано. То и дело поглядываем на ходики. Наконец наступило наше время. Идем. Вот и знакомый дом. Стучим. На порог выходит полная пожилая женщина, приглашает в прихожую.

— Давайте знакомиться. Фекла Родионовна. Садитесь.

Она вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с пакетами.

— Александр Серафимович просил извиниться перед вами, — говорит она певуче. — Он уехал в колхоз. А это вам гостинцы от него. А сейчас будем чай пить.

Но нам уже было не до чая; хотелось поскорее очутиться на улице и узнать, что же там, в этих больших конвертах?

Сашка сказал:

— Большое спасибо. Мы уже позавтракали и чай попили.

Но Фекла Родионовна была неумолима. Она усадила нас за стол, на котором поблескивали самовар и

чайная посуда, белая фарфоровая ваза с красной клубникой. Видя нашу стеснительность, Фекла Родионовна сама положила в чашку сахар, подвинула тарелку с белым хлебом и вазу с клубникой. Мы выпили по две чашки и ушли.

Но до дома мы не добрались. Сгорая от нетерпения и любопытства, зашли в ботанический сад и вскрыли пакеты. Тут были книжечки писателя «Лесная жизнь», «В бурю», «На белой горе», «Маленький шахтер» и «Детство» Горького. И рыболовные крючки всех размеров. Серебристые блесны, красно-голубые поплавки, лески.

В жаркие летние дни на берегу Дона бывает многолюдно и шумно. Взрослые и дети приходят сюда отдохнуть и освежиться. Крикливые, неугомонные ребятишки здесь чувствуют себя вольготно. Они с утра до вечера то бултыхаются в воде, то кувыркаются на песке. Купаются тут и детдомовцы. Но они всегда держатся особняком. Нет-нет да кто-нибудь из станичников бросит на них косой, недружелюбный взгляд.

Один раз мы (это Саша и я) встретили писателя на пляже. Не успел он раздеться, как к нему прискакала его любимица из детдома, черноглазая Наташа.

— Дедушка, а кто эти вилюшки нарисовал? — спросила она, показывая на зигзагообразные линии под водой.

Подошли еще дети. Окружили. Все сразу загомонили.

— Расскажите, расскажите нам. Ну, пожалуйста.

— Хорошо, так уж и быть. Только сначала найдите мне ракушку. Но смотрите, чтобы она была как черепаха, большая-пребольшущая.

Дети бросились в реку. Уже через минуту у ног Серафимовича выросла горка ракушек. Писатель выбрал самую крупную ракушку, положил ее себе на ладонь и начал рассказывать.

— В этом зеленом домике-теремке живет прекрасная принцесса Ракушка-Моллюска. Однажды в подводном царстве познакомилась она с усатым принцем Раком. Стали они жить-поживать да добра наживать. Но счастье их длилось недолго. Попался Рак на удочку рыбаку. И осталась Ракушка-Моллюска одна-оди-

нешенька. Долго искала она своего дружка принца. Трудно, ах как трудно пришлось ей, бедняжке. Ножка-то у нее одна! Тихонько-тихонечко передвигалась она. Все дно донское украсила вилюшками, но дружочка своего так и не нашла. Да и как найти? Тот рыбак принес его домой и сварил в кастрюльке. А дочка рыбака, такая вот козявочка-малявочка, ела и приговаривала: «Ах, как сладка рачья лапка!»

Дети облегченно рассмеялись и опять закричали:

— Дедушка, расскажи еще сказку!

Из-под седых нависших бровей писатель посмотрел на ребят тепло и приветливо.

— Друзья мои, — сказал он, — теперь уж не сказку, а быль извольте послушать.

И ловко открыл ножичком ракушку, показал «замок» — зубцы и выемку, при помощи которых соединяются обе створки, крепкий мускулистый тяж.

— А вот без этого, — Серафимович показал на слой молочного цвета с отливом всех цветов радуги, — было бы трудно носить платье. Это перламутр. Из него делаются украшения и пуговицы. Скоро и в нашей станице построят фабрику по изготовлению перламутровых пуговиц. Тогда вместе сходим на экскурсию. В наших северных реках имеются ракушки-жемчужницы. В их раковинах изредка попадается жемчуг. Его добывают для драгоценных украшений.

Потом писатель рассказал, как ракушка откладывает свою икру на нижних листьях кувшинки. Зародыши моллюсков, вылупившиеся из икры, прикрепляются к рыбам и путешествуют вместе с ними по рекам и озерам.

— Все вы видели ворону, — продолжал Серафимович. — Она большая охотница до этих моллюсков. Ворона поднимает ракушку высоко в воздух а потом бросает ее на камни. Раковина разбивается, а хитрая птица тогда устраивает пир. Вот какая лакомка эта ворона! И совсем неправильно ее считают глупой.

О животном и растительном мире писатель рассказывал с воодушевлением. В то незабываемое лето многим детям посчастливилось часто бывать рядом с писателем. Но всему приходит конец. Оканчивался и его отдых. Ему надо было возвращаться в Москву. Накануне отъезда Серафимович пришел в детдом. После

обеда все дети и воспитатели вместе с ним гурьбой отправились к Дону. Здесь произошла трогательная сценка, а фоном для нее была чудесная природа. Солнце закатывалось в тишине. Лучи его ярко полыхали в багряной листве лесов. Тростники, стоявшие у воды, отливали золотом.

— Милая речка, ты купала и загорала нас. Спасибо, большое спасибо тебе, — тихо сказала Наташа и грустно помахала рукой. — И ты, дедушка, не забывай нас. Возвращайся из Москвы скорее.

Девочка обвила ручонками дедушкину шею и горячо поцеловала. Серафимович был растроган, глаза его увлажнились.

Прошел год. Мы отдыхали в пионерском лагере. Дача, в которой поселились, находилась недалеко от дома Серафимовича. Во дворе писателя был вишневый садик. Ветви с крупными ягодами, налившимися густым темно-красным соком, свисали за ограду и так и манили к себе.

В нашем отряде были и девочки, и среди них — Надя Воронкова. Маленькая да удаленькая, она верховодила всеми своими подругами. Проказливая и озорная, она могла смело соревноваться с любым мальчишкой. Однажды во время «мертвого» часа Надя потихоньку поднялась с постели и, выпрыгнув через окно, выбежала на улицу, по которой лишь изредка проходили люди и еще реже, громыхая, проезжала телега. Подкралась Надя к садику писателя, перемахнула через ограду, влезла на вишневое дерево и начала лакомиться. Но, обрывая ягоды, торопясь и нервничая, не заметила, как хрустнула веточка, за ней другая, третья. В это время Серафимович работал в своем кабинете. Сквозь тюлевую занавеску он все видел, но девочке ничего не сказал.

На другой день в полдень Надя опять незаметно подошла к изгороди. Оглянулась и вздрогнула. На крыльце, щуря глаза и улыбаясь, стоял дедушка с бритой головой, в белой рубахе, в мягких чувяках. Девочке хотелось бы провалиться сквозь землю, но улыбающийся человек с приветливыми глазами уже шел к ней навстречу.

— Ну, дружочек, давай знакомиться, — сказал он, протягивая руку. — Я дедушка Серафимович.

Надино сердечко так и екнуло. Самые неприятные мысли полезли в голову. Вот сейчас он возьмет ее за руку, отведет в лагерь и про все расскажет. Бежать надо из лагеря. Стыд и позор!

Дедушка действительно взял ее за руку и повел, но к себе в дом. В прихожей их встретила женщина.

— Фекола, — сказал писатель, — у нас гостья. Приготовь нам, пожалуйста, угощение. И вишен побольше принеси.

Обо всем расспросил Надю Серафимович, а когда узнал, что ее отец делает тракторы, воскликнул:

— Непременно разыщу его, когда буду на тракторном заводе! И ты, дружочек, не забывай меня. Приходи в гости не стесняясь.

На дачу Надя вернулась после полдника. Сразу бросилась в постель и заплакала. Прибежала воспитательница, начала утешать, но девочка все никак не могла успокоиться. Когда же наконец Надя наплакалась, она обо всем рассказала воспитательнице.

— Пусть привяжут меня к кровати, — клялась она, — если я пойду куда-нибудь без разрешения.

Каждое лето Надя Воронкова приезжала в лагерь. И всегда Серафимович встречал ее как старого друга — приветливо, ласково. Никогда он и вида не показывал, что ему известна ее проделка.

Несколько лет спустя, когда я жил на тракторном заводе в Сталинграде, Серафимович встретился в Доме культуры имени Горького с рабочими. На этой встрече мне побывать не пришлось. Но вскоре после этого я увиделся с ним. В разговоре я упомянул Надю Воронкову. Оказалось, он помнит ее хорошо! Вот что он рассказал мне:

— После моего выступления посыпались записки. Одна из них примерно следующего содержания: «...не уезжайте, не повидав меня. Я буду ожидать вас в фойе. Надя Воронкова». Когда я очутился в указанном месте, ко мне подошла симпатичная девушка. Я, конечно, ни за что бы ее не узнал, если бы она меня не предупредила. Поедемте к нам, говорит, у нас все в сборе: и папа, и мама, и родственники. Без вас мне не велели показываться. Поймите, не мог я поехать. Еще одна встреча была назначена. Объяснил ей. Она то сияла, а то сразу сникла, потухла. До сих пор жалею...

Летом 1933 года пионерский лагерь тракторозаводцев, расположенный в живописном уголке Дона, торжественно принимал у себя Александра Серафимовича. На эту встречу были приглашены и усть-медведицкие пионеры. В лагере был свой литературный кружок. Ребята много читали, заучивали наизусть. Робко и неумело пытались писать сами стихи, басни, рассказы. Между писателем и детьми сразу же установилась непринужденность и теплая, душевная искренность.

Серафимович выразил желание послушать ребят. И вот один за другим читают свои произведения мальчики и девочки. Писатель слушает их внимательно, сосредоточенно, с таким видом, как будто перед ним и в самом деле мастера. А ребята волнуются, спотыкаются, торопятся, проглатывают слова. Серафимович не обращает внимания на их замешательство, он одобрительно покачивает головой, ласково улыбается.

К столу подходит смуглый подросток чет четырнадцати.

— Я прочту свой рассказ «В донских песках», — бойко объявляет он.

Серафимович настораживается, он даже немного вытягивает шею. Мальчик читал о том, как в гражданскую войну в донских песках встретились два небольших отряда — красные и белые. Между ними произошла жестокая битва. В живых у белых остался один воин и у красных тоже один. Белогвардеец выстрелил последним патроном в красноармейца, но промахнулся. Тогда он пришпорил своего коня — начал отступать. Вдогонку ему красноармеец посылает тоже свою последнюю пулю. И этой пулей была ранена лошадь беляка. Белогвардеец швырнул винтовку в кусты и побежал. Бежать по песку было трудно, и он вскоре залег в хворост. Боязнь погони заставляет его подняться и бежать снова. А так как он был не здешний житель, то заблудился. Всю ночь он кружился на одном и том же месте. Песок скрипит у него под ногами, ему же кажется, что это преследует его неприятель. Он даже боялся оглянуться. А через некоторое время нашли его скелет, обглоданный волками.

— Великолепно, — сказал Серафимович юному автору, — психология есть. Только над языком надо еще

поработать. И название нужно другое. Вы затеяли великолепное дело, — продолжал он, — выпускаете тут рукописный альманах. Некоторые из вас мечтают стать писателями, это очень похвально. Но вы должны твердо помнить, что тому, кто стремится к этой цели, надо учиться не только писать, но и читать книги. А для вас написано очень много книг, и читать их надо с пользой для себя, а не ради развлечения. Спросил я тут у вашего кружковца, какие книги он любит читать, а он отвечает: про шпионов и сыщиков. Остерегайтесь таких книжек. От них только вред юному уму. В истории русской литературы, начиная от Пушкина и Льва Толстого, кончая Горьким и Александром Грином, нет такого писателя, который бы не писал для детей. Вот книги этих писателей и нужно читать в первую очередь. Главное — надо уметь понимать книгу. Но это не значит просто уловить, о чем в ней идет речь, и уметь передать ее содержание. Понять книгу — это значит понять характер, чувства и переживания героев, уметь оценить их поступки. Это значит понять мысль автора, уяснить себе, зачем написана книга, что писатель хотел сказать ею, чему научить. Согласны ли вы с тем, что автор хочет вам внушить? Правдиво ли показаны в книге жизнь и характеры людей? Надо уметь читать для того, чтобы знать, как делается художественное произведение. Невероятно трудное и мучительное искусство писать хорошие книги. Не все становятся писателями, а вот внимательными, вдумчивыми читателями должны быть все. И пусть замечательные герои лучших из лучших книг станут для вас образцом для подражания.

Писатель должен быть человеком больших знаний, он должен учиться всю жизнь. Мне в нынешнем году стукнуло семьдесят лет, но я не бросаю учиться. Когда в пионерском лагере меня принимали в почетные пионеры, я с гордостью вместе со всеми произносил слова торжественного обещания: «Я буду учиться, учиться и учиться». Всю жизнь я учился и буду продолжать учиться до самой смерти.

Умеете ли вы пользоваться словарем? К чему это я клоню? Если бы каждое слово своих произведений вы проверяли по словарю, то избавились бы от разных

нелепостей. Много лишних, ненужных слов, и совсем не по назначению употребляете их. И пишете вы пока не о том, о чем надо писать. Живете вы в чудесном лагере. Вокруг вас прекрасная природа. А ведь никто из вас об этом не написал. Писать нужно только о том, что хорошо знаешь. Например, возьмите свой только один прожитый день, пусть даже и не самый интересный. И опишите его, свои мысли. Уверяю вас: получится интереснее того, что вы тут написали. Вы научитесь осмысливать свой маленький жизненный опыт. А это очень важно для будущего писателя...

Позже Серафимович рассказал о том, как он написал свой первый рассказ «На льдине».

Прошло три года.

В 1936 году я окончил среднюю школу и отослал документы в учительский институт. В конце июня я поехал в родной хутор, чтобы отдохнуть немножко, набраться новых сил для вступительных экзаменов. Экзамены тогда, независимо от факультета, сдавали по всем предметам.

Однажды вечером кто-то из моих друзей сообщил мне, что приехал Серафимович и будет читать в городе лекции о литературе. На другой день ранним утром я отправился в город. Вот уже почти три года я не встречался с Серафимовичем. Мне очень хотелось выяснить его мнение относительно профессии, которую я себе выбрал, и послушать лекции.

Вхожу в дом. Серафимович работает в своем кабинете. Знаю, в это время его никто не смеет беспокоить. Добрая, милая Фекла Родионовна, как всегда, была радушна и гостеприимна. Она усадила меня за стол и напоила чаем.

После обеда Серафимович отдыхал в садике. Тут же была и Фекла Родионовна.

— Смотри, Фекола, какой казачище выдюжил! — пожимая мою руку, басовито говорил Серафимович.— Теперь, батенька, после Горького, я самый богатый писатель в мире. В своем городе живу. Забот полон рот. Мостим улицы, озеленяем, строим электростанцию, водопровод и все, что ни дадут, принимаем. Вот ведь как складно получается. На склоне лет заговорил стихами. Ай да Серафимович! Вспоминаю муку ужасную. Как-то давным-давно понадобились мне для рас-

сказа две строки зарифмованные. Батюшки мои, сколько я поту пролил, но так ничего путного и не придумал. Нет, что ни говори, а прозой писать легче. Стихи под силу богам...

Видя, что Серафимович настроен на лирический лад, я спросил его, кого из современных поэтов он считает первым.

— Лучшего поэта, чем Есенин, я не знаю. Ты, юноша, удивлен? Да, да, Есенин. Знаю, в школе вам говорили по-другому. Но придет время, я надеюсь дожить, и Есенина будут изучать в школе, как изучают Пушкина.

Он глубоко вздохнул и прочитал очень просто, но тепло и душевно:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Умолк. Быть может, рождались новые образы. Быть может, беспокойные мысли о городе опять одолевали. Потом словно очнулся:

— А как идут твои дела, дончак? Как поживаешь на новом месте? Что нового на хуторе? Рассказывай.

Я рассказал. Поделился своей заветной мечтой быть в учительском институте. Мой выбор писатель одобрил. Он сказал:

— Всегда у истоков каждого молодого дарования стоит учитель. От учителя зависит многое, кем будет его питомец. Он может стать и Власом-лоботрясом и Маяковским.

После непродолжительного молчания он вдруг спросил:

— А как поживает ваша Англичанка? Помнишь, Фекола, старушку пасечника?

— Скрипит.

Мгновенно брови Серафимовича взлетели вверх. Он нахмурился и сказал с укоризной:

— И как вы, молодой человек, так неуважительно можете говорить о людях! Она ведь вечная труженица. Горб нажила. В тяжелые времена жить приходилось. А вы — «скрипит»...

Последнее слово Серафимович произнес с такой язвительной интонацией, что мне стало не по себе. Тетка

Анюта свои годы действительно прожила в постоянном труде. Радостей видела мало. Большое хозяйство и дети отнимали здоровье и силы.

Серафимович вспомнил, как, проезжая со станицы Себряково через наш хутор, он остановился испить родниковой водички у куреня тетки Анюты. Муж ее в округе был известным пасечником. В тот день он выбирал первый весенний взяток, и тетка Анюта принесла на деревянном подносе сотовый мед.

— Спросила, кто мы. Откуда едем, — говорил Серафимович. — А после стала про свою жизнь рассказывать. И знаете, это целая повесть. Обворожила всех нас. Мы остановились на минутку, а пробыли полдня. На прощанье я решил подарить ей свою книжку. А она не берет. «Ох, болезный ты мой, — говорит, — книжкой-то сыт не будешь. Зачем она мне? Разве что вот сыну моему на раскурку пригодится. А то, нечистый, из священного писания козьи ножки крутит». Чудесная старушка! Буду возвращаться в Москву — обязательно ее повидаю.

Еще раньше писатель провел в городе три литературных вечера. Один был посвящен Максиму Горькому, второй — творчеству советских писателей и третий — поездке за границу. Я спросил, будет ли он выступать сегодня.

— Обязательно! — ответил Серафимович с присущим ему задором. — Пригласили студенты из школы механизации. Милости прошу быть.

Задолго до начала вечера к городскому саду хлынули люди. Молодежь приехала на грузовиках из окрестных хуторов. Всех желающих Дом культуры вместить не смог.

Восемь часов вечера. На сцену выходит Александр Серафимович. На одно мгновенье наступает тишина. Мощная волна рукоплесканий проносится по залу. Земляки приветствуют любимого писателя стоя. Писатель низко кланяется и, волнуясь, подходит к трибуне.

Почти два часа Серафимович делился своими впечатлениями о поездке по Франции. Он говорил просто, доходчиво. Меткие казачьи выражения украшали его речь. От начала и до конца весь рассказ был ярким, живым, образным. Его слушали жадно, внимательно.

Задавали множество вопросов. Хорошо помню, как один казак-бородач из первого ряда встал и, опираясь на костыль, спросил:

— А война будет?

Серафимович рассказал, как в Париже на вечере у рабочих автомобильного завода к нему подошел старый рабочий и сказал, что французские рабочие с русскими воевать не будут. Они хотят мира и дружбы.

— Но если нам навяжут войну, мы будем воевать! — закончил Серафимович.

Рассказ Серафимовича произвел на меня тогда сильное впечатление. Он знал силу слова и умел им великолепно пользоваться.

Серафимович любил детей, и они любили его. Особенно много маленьких друзей было у него в 30-е годы, когда на Дон приезжали в пионерские лагеря тысячи ребятишек. Я уж не говорю о детском доме, где почти каждый третий был его «крестником». Дети любили беседы с дедушкой, делились своими радостями и печалями, поверяли ему свои тайны, мечты и надежды. Для каждого маленького человека умел он найти нужные, ободряющие слова. А дети раскрывали перед ним свою душу. И он по-детски радовался, когда ему удавалось оставить добрый след в жизни маленьких друзей.

1968

Вся жизнь Александра Серафимовича, точно так же как и его творчество, была глубоко революционна. Он честно служил прогрессу, революции, нашей Коммунистической партии до конца своих дней.

М. Шолохов

Н. Моисеев

РАДОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА

Первое знакомство

В начале июня 1933 года А. С. Серафимович приехал в станицу Усть-Медведицкую, к тому времени переименованную в город Серафимович. Райком ВКП(б) и райисполком в честь писателя устроили обед, на котором присутствовал и я. В ту пору я был председателем колхоза «Власть труда».

Выступая на обеде, А. С. Серафимович пожелал нашим колхозникам успешного выполнения своего обязательства — первыми в районе стать зажиточными.

Прощаясь, Серафимович сказал:

— Познакомьте меня с вашим колхозом.

Я с радостью согласился, и мы условились в ближайшие два-три дня вместе поехать в поле.

Через три дня с кучером Григорием ранним утром заехали за писателем.

Хлебные массивы нашего колхоза начинались в двенадцати километрах от станицы. Когда мы поднялись на возвышенность, называвшуюся Пирамидами, перед нами открылось омытое утренней росой широкое пшеничное поле.

— Пшеничка-то как густо устлалася! — сказал кучер. — Кубыть, зеленым сукном все покрыто...

Сидевший впереди меня Серафимович воскликнул:

— О це пейзаж!..

Помолчав немного, он неторопливо заговорил:

— Мопассан где-то написал, что красоты природы так же бередят душу человека, как и хорошая музыка... Какое точное сравнение!

Кучер заметил:

— Вот погодите, недельки через две тут такая музыка играть зачнет, что и чертяке тошно станет!

— Что же тут будет? — заинтересовался Серафимович.

— Известно что: уборка! Как загудят трактора, а за ними молотилки, да веялки, да лобогрейки затрещат!.. А пылищу-то они поднимут! Ни дыхнуть, ни взглянуть!

— Чем дальше, тем лучше и легче будет жить наш мужичок, — сказал Серафимович.

Мы подъехали к участку поспевающего ячменя. Ячмень был густым и чистым, без сорняков. Крупные колосья пригнулись низко к земле и поблескивали на солнце каплями росы.

Серафимович слез с дрожек, сорвал один колос и стал разминать его на ладони. Вместо зерен из колоса в морщинистую пригоршню его руки стекал густой, похожий на сметану сок.

— Ячменьком-то не зазорно и похвалиться! — сказал кучер. — Кӧлос-то! Почесть с воробья вырос!..

— Да, ячмень хорош! — согласился Серафимович. — Сколько думаете взять с гектара?

— Пудиков поболе шестидесяти соберем, поди, — ответил кучер. (Для тех мест и по тогдашнему агротехническому уровню такой урожай считался неплохим.)

Мы тронулись дальше, направляясь к Ольшанской балке, где расположился бригадный стан. Серафимович обратился ко мне:

— К уборке-то подготавливаетесь?

— Мы уже готовы.

— Ой ли?

— Вот сейчас приедем в бригаду — и убедитесь.

— Непременно проверю! Все дочиста проверю!

Тут в разговор вступил кучер Григорий:

— С одним делом у нас негоже, товарищ Серафимович!

— С каким же это делом?

— Да тракторов у нас дюже мало. В нашем отряде всего три, да и те никудышные. Один, американец, отработался. Обошел он этой весной три борозды и застрял на загоне на веки вечные. Трактористы гутарят: отпахался. А два СТЗ тоже поизносились: один — в борозде, другой — в ремонте. Вот бычки у нас все тягают... Никакой им отдышки. Загоним скотину!

— Я понимаю вас, но помочь в этом трудно...

— А коли вам трудно помощь дать, то откель ее ждать. Вы человек почтенный, заслуженный. Вас и в Москве слухают...

— Москва и без нас знает, что тракторов-то у нас нехватка. Да где их взять? Подождать надо, вот заводы построят...

Мы подъезжали к бригадному стану рядом с большаком. Еще издали Серафимович завидел уборочный инвентарь, стройными рядами стоявший на другой стороне дороги.

— Полевая артиллерия, — шутливо заметил я.

И действительно, уборочные машины расположились, как расчеты артиллерии: в первом ряду — лобогрейки, в затылок им — конные грабли, за граблями — громоздкие арбы, а за ними — подводы с ящиками для транспортировки зерна. Они стояли так, что ни одна машина не мешала выезду другой.

— Давайте с этой выставки и начнем осмотр, — с улыбкой предложил Серафимович.

Около «выставки» нас встретил бригадир полеводческой бригады. Я представил его писателю:

— Познакомьтесь. Дмитрий Иванович Казанков.

Пожимая ему руку, Серафимович спросил:

— Готовы к уборке?

— Готовы.

— Все готово?

— Все.

— Прекрасно. А все же мы посмотрим.

— А мы не боимся. Проверяйте, пожалуйста.

Отвечая на вопросы Серафимовича о готовности бригады к косовице хлебов, бригадир рассказывал:

— Полной спелости массивов ждать не станем. Сначала будем скашивать подоспевшие кулиги. За поспеванием клеток доглядаю я. Все машины и инвентарь на ходу. Имеем к ним запчасти. Вся сбруя отремонтирована, подогнана и смазана. На горячую пору для скота забронирован скирд отборного сена. Вон видите — у Рубежной балки сметанный стог? Это наша бронь. Хватит вполне. Тягло и машины за людьми закреплены...

— А о людях-то позаботились? — вставил Серафимович.

— А как же! Имеем на бригаду десятидневный запас муки, крупы и овощей. Будет мясо, молоко и рыба свежая...

— А рыбку где же возьмете?

— А у нас своя... Игнат! — вдруг позвал бригадир стоявшего поодаль молодого колхозника. — Зараз скачи к пруду и представь сюда парочку карасей! Живо!..

— Товарищ бригадир, ну зачем гонять парня? — укоризненно сказал Серафимович. — Ведь я же вам верю!

— А этого мы не знаем, — спокойно ответил Казанков. — Ну что ж, приступите к проверке? С чего же начнете? С лобогреек? Пожалуйста!.. — И Казанков повел нас к инвентарю.

Не успели мы осмотреть и половины инвентаря, как к нам верхом на гнедом коне подскакал Игнат. Он подал бригадиру ведро, и Казанков тут же вывалил его содержимое на платформу лобогрейки. Четыре отливающих на солнце золотом крупных карася судорожно забились на досках жатки, обитых жестью.

— Чем же ты выудил их, паря? — спросил Серафимович Игната. — Неужто руками?

— Нет, у нас сачок близочко у пруда схоронен.

— А много в пруду рыбы?

— На всю область хватит! — ответил, смеясь, Игнат и погнал коня на выпас.

Как ни придирчив был Серафимович, никаких изъянов в ремонте инвентаря не нашлось.

Записав что-то в блокноте, он обратился к бригадиру:

— Я доволен! Мне осталось лишь кое о чем спросить вас... Во-первых, кто подал вам мысль так расставить в поле инвентарь?

— Колхозное правление.

— Это дало какую-нибудь пользу?

— А как же! Когда порядок, легче работается...

— И еще один вопрос: скажите, в какой срок вы думаете выполнить бригадный план хлебосдачи?

— В какой прикажет правление, в такой и выполним.

— Ну, а если оно прикажет вам управиться, допустим, в десять дней? Управитесь?

— Управимся и за десять! — твердо ответил бригадир.

— Тяжеленько, поди, будет?

— Еще бы!

Серафимович вытер платком потную шею и, немного подумав, снова спросил Казанкова:

— Интересно, а как вы думаете организовать работу бригады при жестких сроках косовицы и хлебосдачи?

— Днем будем косить, сгребать, копнить и скирдовать, а в ночь — молотить, веять и отвозить зерно на элеватор...

— И все это одними и теми же людьми?

— А где же мы других возьмем?

— Но согласятся ли люди на столь изнурительный труд?

— Согласятся! — уверенно ответил бригадир. — На то и страдная пора. Колхозники знают, что один день год кормит...

Покидая бригаду, Серафимович прочувствованно сказал Казанкову:

— Желаю вам, Дмитрий Иванович, больших-пребольших успехов в уборке! Я частенько буду заглядывать в вашу бригаду. Учиться у вас есть чему. Простите, что я сегодня оторвал вас от дела! Ничего не попишешь, мы, старики, ревнивы и придиристы к вам, молодым.

— Это вы извиняйте меня, Александр Серафимыч!

Может, что и не так сказал. А к нам вы почаще заглядывайте. Милости просим.

Не отъехали мы от стана и километра, как завидели Казанкова, верхом на лошади рысившего от стана к Ольшанской балке.

— Это куда-же его понесло? — спросил Серафимович.

— Помогать пастуху лошадей гнать к Дону, — ответил кучер. — Митрий такой порядок завел, штоб каждый полдник кони купались. А один пастух со всем табуном не управится. Разбегутся кони, хлеба на корню потравят, а как до люцерны доберутся — обожраться могут.

Час спустя мы въехали на окраину города и остановились у дома Серафимовича. Прощаясь, он сказал:

— После всего виденного сегодня у меня возникло много вопросов к тебе. Побеседовать бы нам надобно.

— Я всегда к вашим услугам, Александр Серафимович!

— Давай завтра встретимся? Приходи ко мне вечерком, часиков в семь-восемь. Сможешь?..

С глазу на глаз

И вот я впервые в доме Серафимовича. Хозяина я застал за ремонтом лодочного подвесного мотора.

— А-а-а, станичник!.. Милости просим! Проходи, садись. Погоди трошки, я уберу эту обузу...

Он снял со стола мотор, опустил его на пол у стены под книжной полкой, затем вышел из кабинета, вымыл руки и, вернувшись, пододвинул кресло и сел напротив меня.

— Сегодня в поле был?

— Только сейчас оттуда.

— Что делал?

— Проверял строительство культстана.

Серафимович нахмурился.

— Что же ты мне его вчера не показал?

— Обязательно покажу, когда он будет полностью готов. Примерно через недельку.

— Что же у тебя будет на этом стане?

— Всё! — лаконично ответил я.

— Как это «всё»?

— Вот когда он будет готов, тогда и увидите. Говорят, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать...

— Ну хорошо! Уговорил. Смиряюсь и жду, — сказал с улыбкой Серафимович и затем спросил: — Ну, как добрый урожай настроил твоих колхозников?

— По-моему, эту тему вчера исчерпал кучер Гришка...

— Да-а-а, — протянул Серафимович. — Философ он отменный...

А накануне дорóгой был такой случай. Посмотрев ячмень, мы тронулись дальше. Писатель слегка хлопнул кучера по плечу и сказал:

— Не робь, Гриша! С таким урожаем скоро зажиточным станешь!

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, разлюбезный вы наш Серафимыч! — ответил кучер. — Колхозникам уж четвертую годину сулят житуху распрекрасную, а за стол садимся, правой рукой ложку берем, а в левой — и подержать-то нечего. Давненько мы хлебушка-то не видим. Один борщ трескаем. А в борще-то крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.

...Серафимович поднялся, подошел к столу, поворошил лежавшие на нем газеты.

— А твой Гришка не пессимист?

— Нет, он верит в хорошее будущее. Но измучен тяжелой нуждой, а голодное брюхо ко всему глухо. Возраст нашего колхоза — три года. И все эти годы были таким лихолетьем...

И я стал говорить о суховеях, засухах и, наоборот, чрезмерной дождливости, падеже скота от эпизоотий и т. д.

Серафимович снова сел в кресло.

— Да, картина мрачная, тяжелая... Беды навалились не только на наш колхоз, но и на многие другие. Стихия никого не щадит. А где стихия — там и горе... Понадеемся, что все это — в прошлом. Но и на прошлое надо оглядываться. Нас губит беспечность: «Авось пройдет!» Скажите-ка мне, товарищ председатель, вы застрахованы от дождей в теперешнее лето? Не застрахованы? Но можно ли что-нибудь сделать,

чтобы предотвратить ту беду, которую приносят дожди в уборку?

— На мой взгляд, можно...

— Так что же надо сделать?

— Построить крытые тока.

— А вы строите?

— Мы бы построили, да у нас нет ни леса, ни денег.

Серафимович сказал иронически:

— «Мы бы построили»!.. А лес вы искать пробовали? Денег достать пытались? Скажи уж лучше прямо, не кривя душой: «Ничего мы не искали, ничего не доставали, надеясь опять на авось».

Писатель поднялся и стал расхаживать по кабинету.

— Вчера я видел, какое богатство прет в ваши закрома. Так неужели вы опять потеряете все, что так дорого вам досталось?

Я молчал. Немного подумав, Серафимович спросил:

— Если я завтра достану вам лес, вы успеете до уборки с навесом?

— Успеем, — твердо ответил я.

— Вот это гоже! Так завтра, в десять утра, прошу пожаловать ко мне... О-бя-за-тель-но!

— Хорошо. Только чем же я буду платить за лес? Где возьму денег?

— А я подскажу.

— Где?

— В ломбарде!.. Чего ржешь! Я — всерьез! Заложи жену свою, вот тебе и денежки! За нее много дадут. А когда потребуется — выкупишь...

На другой день ровно в десять часов я был у Серафимовича. Он заговорил сразу строгим, деловым тоном:

— Райлесхоз выделил вам в займище большую деляну строительного леса. Управляющий Госбанком Кананыхин изыскал возможность дать колхозу краткосрочную ссуду на оплату этой деляны. Теперь все козыри в твоих руках. Дерзай, паря!.. Помни уговор: навес должен быть построен до уборки! Подведешь — стащу с тебя штанишки и отстегаю за милую душу! Не глядя, что я старик...

Вскоре на центральном току возвышался огромный навес, покрытый старой соломой. Колхозный хлеб был застрахован от капризов природы.

В страдную пору

Знойным июльским днем катили мы с А. С. Серафимовичем по большаку. Справа от большака лобогрейки докашивали остатки ржи, ячменя и овса. Слева, на огромном пшеничном загоне, впервые косил комбайн.

Как ни тяжел труд хлебороба в страдную пору, но есть в этой поре особенная отрада. Колхозник знает, что уборка — это последний в году тяжелый упруг, и он охотно впрягается в него. Своя ноша не тянет.

Я радовался, глядя на дружную работу косарей. Говорят, разделенная радость — двойная радость, и я поделился ею с Александром Серафимовичем. Он сказал:

— Колхозному правлению сейчас нужно крепче держать вожжи в руках, но командовать людьми не горлом, а умом. Колхозник — это хозяин и потому не терпит, когда ему приказывают. Совета он послушает, а от команды на дыбки встанет, заартачится. Работающим людям харчи сытные нужны и отдых покойный в меру. Создайте им эти условия — и они покажут себя!

И тут снова вмешался наш кучер:

— А ваша задача, почтенный Александр Серафимыч, дать нам трактора!

— Да что ты, сват, прилипаешь ко мне? — вскипел писатель. — Бубнит без умолку: «дай трактора!» да «дай трактора!» Что ты думаешь, трактора-то у меня за пазухой, что ли?..

И завязался отчаянный спор. Серафимович доказывал, что в распределении тракторов должен быть строгий порядок. Гришка же был того мнения, что раз наш колхоз не получает тракторы, то это злонамеренные проделки. К счастью, спор был недолог: мы приехали на культстан.

Это был большой деревянный дом с железной кровлей. В двух просторных залах стояли койки с посте-

лями для колхозников, а в третьей был оборудован красный уголок.

За большим столом сидел пастух и просматривал картинки в журнале. При появлении Серафимовича он вскочил по-солдатски и замер, руки по швам.

— Познакомьтесь, Александр Серафимович: пастух Василий Алексеевич Сушков — дважды георгиевский кавалер! — представил я.

— Рад познакомиться с героем! — сказал писатель, пожимая руку смутившемуся пастуху. — Ты что, взаправду герой?

— Никакой я не герой вовсе!.. И кресты мне нацепили зазря...

— Как так «зазря»? А ну-кась, давай разберемся! Поведай нам, мил человек, как тебе первого Егория навесили! Садись, дружок, рядышком.

Серафимович мягко взял за плечи Сушкова, усадил его и уселся рядом с ним на диван.

— Ну-с, рассказывай, а мы послушаем. Не стесняйся!

Сушков долго отнекивался, но все же уступил:

— То дело так, стало быть, приключилось. В германскую войну я служил в казачьей сотне. И вот как-то близочко к вечеру хорунжий наладил меня доставить наиважнейший пакет с бумагами до штаба нашей дивизии, который стоял верстах, поди, в семи от нас.

— А почему это именно тебя послали? — спросил Серафимович.

— Да у меня ж самый быстрый конь в полку был! Вот почему. Ну вот, значит. Доскакать до штаба семь верст — раз плюнуть. Но по пути с версту надо было скакать рядышком с передовой немцев, окромя дорожки не было. Одним словом, оседлал я коня и командировался. Попервам трусил я по-над железной дорогой, обочь высоченной насыпи. Немец меня за насыпью доглядеть не мог, и все было честь по чести. Но вот мост через речку показался, и пристала мне пора через насыпь переваливать, иначе я в окопы немца угожу. Тут мое сердечко-то и заколотилось: предстоит мне страх великий! Ну, хошь не хошь, а пересечь насыпь надобно! Перекрестился я, грешный, и махнул через нее во весь дух! Как до половины на-

сыпи я доскакал, тут и засек меня немец-перец, да как зачнет из всех пушек палить, ажник земля, горемычная, ходуном заходила! От страсти такой у меня в кишках ломота зачалась, а конь мой, сердешный, словно в лихоманке затрясся. Видит моя животная — дело швах, закусил удила и стебанул стрелой на другую сторону насыпи. Скотине тоже ведь подыхать нежелательно! А я за гриву вцепился, словно клещ липучий, и низко пригнулся к луке седла, штоб разрывным воздухом меня с коня не сшибло. От страха и глаза зажмурил: «Неси, мол, меня, конек любезный, хучь в ад, хучь в рай, все одно, только поспешай!» А мерин мой был что птица небесная! И на рысь широк, и в намет приемист, а вскачь — все одно что ветер! Потому и кличка была ему дана — Вихорь. Ну вот, значит, как хватит Вихорь с насыпи да как понесет! А я зажмуркой и недогляжу куда. Вдруг мой мерин сразу: стоп! Глядь, а мы под мостом так стоим, что снаряд нас взять не могет. Ну, положил я Вихоря на землю, сам к нему притулился и, путаясь, молюсь: «Сохрани и помилуй, господи, грешного раба твоего Василия от ворога-супостата и смертыньки без покаяния!»

— Василий Алексеевич, неужто ты в бога веришь? — перебил рассказчика Серафимович.

— Отродясь не веровал!

— А зачем же молился?

— Вот чудак человек!.. Так-то ж не я, а страх молился! Ведь оно как, бывалоча, на позиции: кто от страху богу молится, а кто всех богов и боженят непотребными словами поносит. А ты думаешь, как?.. А теперь слухай сюда! Попалили немцы-поганцы еще трошки и умолкли. Порешили, знать, что меня укокали. А тут уж и темь наступила. Выбрались мы с Вихорем потихоньку из-под моста-спасителя — и айда через лес в штаб, куда доскакали без приключениев. А опосля мне ни за что ни про что Георгия — бац!..

Тут Серафимович решительно возразил:

— Как это — «ни за что»? Ведь ты выполнил боевое задание? Выполнил! Пакет в штаб доставил? Доставил! Жизнью своей жертвовал? Жертвовал! Нет, дорогой, ты Егория заслужил!

Сушков с усмешкой покачал головой:

— Гляжу я на тебя и дивуюсь: старик ты вроде бы при годах и человек, кубыть, образованный, а не понял ни шиша. Кто меня с насыпи уволок?

— Вихорь, — отвечал Серафимович.

— Правильно! А кто к мосту меня примчал?

— Вихорь!

— Кто смекнул под мостом схорониться?

— Тоже Вихорь!

— То-то и оно-то, друг мой, товарищ!.. Выходит, значит, конь везде меня от смерти спасал, а я только болтался на нем зажмуркой, словно куль с овсом. За что же мне Георгия? Конь героем был! А коли так — ему и крест!

— Уж коли ты прав в этом, то почему ж Егория коню не отдал? Отдал бы ему по заслугам — и шабаш! — сказал Серафимович.

Тут Сушков слегка смутился, но не растерялся:

— А что? И отдал бы!.. — И затем грустно добавил: — Если бы коняку не убило подо мной в троицын день...

Сушков глубоко вздохнул, вынул из кармана кисет и стал крутить цигарку.

Немного помолчали. Потом Серафимович спросил:

— Что поделываешь сейчас в колхозе, Василий Алексеевич?

— У меня завсегда одна работа — скотину стерегу.

— С кем пасешь?

— Один. Людей в колхозе мало, да и нет таких, чтоб я им скотиняку доверял. Скотиняку надо знать и любить, как дите свое малое, — она бессловесная, не пожалится, коли ей плохо...

— Трудно, поди, одному?

— Трудненько бывает, особливо ночью, когда скотина по балкам разбредется. А в наших балках волков — тьма! Надысь они у меня мерина доброго загубили, подлюки! Ну погоди, я им!.. — Сушков погрозил кулаком. — Уже один выводок волчиный я весь дочиста порешил, а как разнюхаю, где хоронятся остальные,— и тех порешу!.. Но не успею, поди... угонят меня... — закончил он неожиданно.

— Куда же тебя угонят?

— В тюрьму, вот куда! Следователь сказал, годика три мне пришпандорят...

— За что ж на тебя напасть такая?

— Больно уж мне гутарить про это неохота... Извиняйте. Председатель вам расскажет, он знает весь мой шухор-мухор... Да и некогли мне, время скотину поить. — И Сушков направился к двери, по-видимому расстроенный воспоминаниями о своем «шухоре-мухоре».

Серафимович спросил:

— Скажи, что стряслось с Сушковым?

И я рассказал.

Сушков души не чаял в своей смазливой и шустрой сорокалетней жене Куле. Акулина Герасимовна уважала его за заботливость и чуткость, но выше этого ее чувства к мужу не поднимались. Внешность Сушкова была неказиста. Его скуластое, калмыковатое лицо почернело, а кожа на нем потрескалась от палящего солнца и степных ветров. Грузное туловище подпирали короткие кривые ноги. Пастух с ранней весны до поздней осени был в степи со скотиной. И вот однажды весной Сушков нежданно прискакал раннею зарею домой за уздечкой и застал свою Кулю в объятиях станичного донжуана. Донжуану этот случай стоил нескольких ребер и зубов. На любимую жену рука у Сушкова не поднялась, и он выместил остатки злобы на мебели, порубив ее топором.

Так возникло уголовное дело на Сушкова, затеянное его соперником.

Внимательно выслушав меня, Серафимович сказал:

— Да-а-а... Судить, значит, будут. А за что? Уголовным кодексом предусмотрена суровая кара за нанесение телесных повреждений. И это правильно! Но почему о моральных ранах в кодексе ни слова, хотя они порой бывают намного тяжелее телесных повреждений. Почему так? Ась?

Я и Гришка молчали, полагая, что Серафимович думает вслух.

Забегу немного вперед, чтобы поведать о развязке печального дела Сушкова.

Вскоре на пленуме райкома партии я повстречал районного прокурора. Он спросил:

— Скажи, твой пастух Сушков не родня Серафимовичу?

— Откуда у тебя такое предположение?

— Люди говорят!

— Не всякому слуху верь!

— Прямо скажу, я удивился горячности, с какой отнесся старик к судьбе этого пастуха. И добился своего! Позавчера ко мне явился потерпевший и взял свое заявление обратно. Я понял, конечно, откуда подул на него ветерок! Если бы не Серафимович — каяться бы Сушкову годика два-три...

Кстати скажу, что случай с Сушковым — не единичен. Были случаи куда серьезнее, когда жизнь оклеветанных людей держалась на волоске. Серафимович бросал все, летел в Москву и там отстаивал их.

Мы продолжали осмотр культстана. Серафимовичу понравились кухня и поварихи, порядок, чистота.

Позади кухни была у нас новая ремонтная мастерская. Серафимович спросил:

— А нужна ли вам эта мастерская?

— Как кислород для дыхания! — ответил я.

— Но ведь вас обслуживает МТС?

— Фомихинская МТС от нас в тридцати километрах. Разумно ли волочить в такую даль трактора на ремонт? К тому же с этой мастерской мы ввели для трактористов незыблемый закон: вёдро — паши, пасмурно — чини! И простоев в бригаде не стало.

Из мастерской мы зашли в душевую. Проверяя, есть ли вода, Александр Серафимович повернул кран, и тут же из водораспылителей на него хлынули потоки холодной воды.

— О-о-ох! — тяжко и звучно выдохнул Серафимович и выбежал из душевой.

Я быстро закрыл кран и вышел за ним. Серафимович захохотал и сквозь смех заговорил отрывисто, мешая русский с украинским:

— Ой, як же я злякався, хай мене бис! И поделом: не спросясь броду, не лезь в воду... А если бы кипятком ошпарило? Облез бы!

На мачте культстана поднялся сигнал «на обед».

Косари уже пригнали взмыленных лошадей с загонов, сдали их пастуху, искупались в душевой и рассаживались обедать. Обед был хорош: повариха начала

расходовать уборочную «бронь» из отпущенной государством продовольственной ссуды. Серафимович сел за общий стол и с аппетитом принялся за еду. Он распотешил всех своим рассказом о конфузе в душевой.

Передать буквально речь Серафимовича — дело немыслимое. Непримиримый враг красивых слов и выспренних фраз, он горячо любил простонародный русский говор. Он хранил в памяти во всей их первозданной свежести меткую образность и поговорки народа. Подчеркивая все это выразительной жестикуляцией. Серафимович был понятен и интересен любому слушателю.

Как-то много времени спустя мы вели с Серафимовичем в его кабинете разговор на литературные темы. Я спросил:

— Не скажете ли вы, Александр Серафимович, за что именно поставил вам Лев Толстой высшую оценку, пять с плюсом, прочтя рассказ «Пески»?

— За простоту сюжета и чистоту языка, — ответил он.

Да, Серафимович был удивительно прост как в литературе, так и в жизни. Его простота была естественной, как у человека, жизнь которого кровно связана с народом и посвящена служению ему...

Литературные беседы

В один из летних вечеров я застал Серафимовича занятым распаковкой посылки из Рима с авторскими экземплярами роскошно изданного на итальянском языке «Железного потока».

Я спросил:

— Скажите, пожалуйста, Александр Серафимович, лично вам приходилось быть на краю гибели?

— А что? — вскинул он на меня удивленные глаза.

— Видите ли, когда я читал «Железный поток», меня поразила глубокая правдивость, с которой вы описали последние, предсмертные чувства и мысли погибающего человека, и я подумал, что вам, по-видимому, приходилось умирать...

Слегка улыбаясь, Серафимович ответил:

— Умирать мне, слава богу, не приходилось пока, но со смертью я встречался. В русско-германскую

войну я был санитаром, а в гражданскую — фронтовым корреспондентом «Правды». А на войне — как на войне, всякое бывает... Между прочим, твоя мысль верна: книга тогда подлинно реалистична, когда ее содержание связано с жизненным опытом самого автора. Даже Лев Толстой едва ли смог бы с такой правдивостью и художественной силой написать батальные сцены в «Войне и мире», не будь он участником Крымской войны, что тебе известно по «Севастопольским рассказам»...

Однажды Александр Серафимович задумал направить меня на литературную стезю. Поводом к этому явился такой случай.

Ранней осенью тридцать шестого года мы возвращались домой из Фомихинской МТС. На полпути наш кучер решил напоить лошадей, и мы завернули в тракторный отряд, поднимавший зябь на полях колхоза «День урожая». На стану был лишь один бригадир отряда, Михаил Меркулов. Познакомив его с Серафимовичем, я сказал:

— Вот вам чудесный материал для повести.

И я коротко поведал писателю, что отец бригадира, Герасим Меркулов, в гражданскую войну воевал у белых и, когда была разгромлена армия Врангеля, бежал во Францию. Три года назад между отцом и сыном Меркуловыми завязалась переписка. Михаил охотно давал мне читать письма своего отца. В последнем отец писал:

«Ты, сынок, извещаешь, что ваш колхоз получил новые трактора. Ну, а у нас нет таких стальных коней, и на бычках мы отлично управляемся. А вот за стол мы без бутылки вина не садимся. Так-то, сынок, мы при бычках живем-поживаем! А вы што там трескаете? Мякину, поди, с желудями? Ну ничего, потерпи трошки. Скоро мы на своих волах к вам грянем и всех стальных коней ваших порушим. И захватим бутылочку винца нашего вам отведать. Скусное винцо! Выпьешь, только ноги обнищаешь, а разум и чудок не похилится, а дюжее работает...»

После этого письма «скусное винцо» недолго держало Герасима во Франции. Измотавшись в труде на эксплуататора и замучившись в тоске по родине, он

вернулся в свой хутор. Скоро он стал первым хлеборобом.

— Напишите, Александр Серафимович, повесть о Герасиме и назовите ее «Блудный сын»!

— Что ж, название хорошее! Вот ты сам и напиши такую повесть,— сказал он мне.

— Я — написать? Вы шутите, наверное?

— Нисколечко! Не сумеешь, что ли? В газетах-то вон какие тары-бары разводишь! И каждое лыко в строку! Не паникуй, совладаешь и с повестью. А где трудно будет — скажи мне, помогу. Мне эта повесть скорее не под силу, нежели тебе. Не забудь, я восьмой десяток размениваю, отдохнуть пора. Ты же почти в три раза моложе. Вот и дерзай!

У меня не хватило мужества отказаться.

Я вскоре забыл об этом случае, но Серафимович о нем не забыл. При каждой встрече он спрашивал меня:

— Ну, а как твой «Блудный сын»? Выигрывается?

— Медленно и плохо,—врал я, не написав еще ни одной строчки.

— Медленно — это не беда! Говорят, скорость нужна только при ловле блох. А в повести она вредна, пожалуй.

Я обещал Серафимовичу зайти к нему с «Блудным сыном» сперва через неделю, потом через три дня. Но слово свое сдержать не смог: я еще не садился за эту повесть и не знал даже, с чего ее начинать.

И вот одним хмурым осенним днем я случайно встретил на улице писателя. Он поздоровался и строго заметил:

— Я не люблю, когда меня обманывают! Последний раз скажи: когда придешь?

— Завтра, после обеда.

— Если и завтра тебя не будет, я не стану с тобой разговаривать и здороваться! — И он пошел прочь.

Я бросил все, уединился дома и впрягся в работу, памятуя, что не боги горшки обжигают. Писал я повесть сразу набело, к рассвету следующего дня она была готова. По объему она была невелика и уместилась в ученической тетради. Утром я прочел ее и остался доволен.

...Серафимович встретил меня, усадил против себя, откинул на спинку кресла голову и приказал:

— Читай!

Я быстро прочел тетрадку.

Серафимович долго молчал, как бы собираясь с мыслями, и затем спросил:

— Скажи, а твой герой Герасим в бога верит?

— Я, Александр Серафимович, признаться, об этом не подумал...

— Как так «не подумал»? Я, читатель, подумал, а ты, писатель, не подумал? — возбужденно проговорил он и затем, щадя, по-видимому, мое самолюбие, мягко продолжал: — А вообще говоря, в твоей повести есть кое-что... Вот окрестишь ее героя в какую-нибудь веру, и она пойдет. Пусть он верит хотя бы в черта! Но верить во что-то Герасиму надо обязательно.

Мне стало ясно, что экзамена я не выдержал.

Уже осенью как-то Серафимович спросил:

— Ну что же, окрестил ты своего блудного сына в какую-нибудь веру?

— Пытался, Александр Серафимович, но ничего не выходит.

— А ты, любезный, что же хочешь, без труда? Тяп-ляп — и корапь? Так, что ли? Ты ахнул бы, если б узнал, сколько я бумаги попортил полвека назад на свой первый рассказ «На льдине»! В нем-то триста строк, а ведь я писал его целый год! К тому же и скрывал я от друзей свои занятия литературой, боялся — засмеют. Заберусь, бывало, в Мезени тайком на чердак дома, где я жил с такими же ссыльными, как сам, и строчу. Боязливо входил в литературу. А тебе-то чего пугаться? Сюжет повести у тебя за пазухой, весь материал — в кармане, а живешь ты в той же среде, о которой пишешь. Знай работай, да не трусь!

— Работы я не боюсь, конечно. Но поймите, Александр Серафимович, сейчас в колхозе у меня времени даже на дело не хватает... — сказал я и осекся.

Серафимович, слегка нахмурившись, перебил меня:

— Так выходит, по-твоему, что я пятьдесят лет не делом занимался, а дурака гонял, что ли? Бумагу переводил?

— Александр Серафимович, вы меня неверно поняли! — начал было я вывертываться, но он снова перебил меня:

— Нет, молодой человек, я верно понял вас! Благодарствую!

Расстались мы холодновато, но моя обмолвка не испортила наших взаимоотношений, и они остались прежними.

Лицом к проблемам

При каждой нашей встрече с Серафимовичем кучер Гришка кстати и некстати раскалывал любой разговор своей «тракторной проблемой»:

— Можа, подкинете нам к зяби парочку СТЗ? А коль гусеничный подвернется, то зараз и одного хватило бы... Надысь я глядел, как в колхозе «День урожая» ЧТЗ с паханиной расправляется. Раз загон окружит — и пожалте вам два гектара! Это — по крепи. А на выпашь его наладить — он и все пять отмахает! А борозду-то словно по линейке резает, прямехонько!

Помолчав немного, он заговорил снова, вкрадчиво обращаясь к Серафимовичу:

— Подкинете парочку? А? Мы бы тогда всем миром в ноженьки ваши поклонились с благодарствием!

— Вот назола! Где же я возьму трактора?

— Коли зараз нет, то пообещайте хуть вскоростях...

— Я не разбрасываюсь пустыми обещаниями, — холодно ответил Серафимович.

Гришка не ожидал такого сурового отказа и потому потерял самообладание:

— Вы не в правах так гутарить!

— Это почему? — удивился писатель.

— Вы — ярый коммунист и должны слухать, што надобно крестьянству, и ублаготворять его завсегда!

Густые серебряные брови Серафимовича насупились.

Я смущенно молчал. Правду говоря, мне нравилась Гришкина целеустремленность, но меня крайне смущало его панибратство в обращении со старым, большим и заслуженным человеком. Как-то однажды я попросил Гришку быть более сдержанным и тактичным с Серафимовичем. На это он ответил:

— Обидится, говоришь? А нехай! Пойми же ты, Никитич, что у меня нет ни-че-го! Чего же мне бояться?

Серафимович с возрастающим интересом относился к вопросам механизации сельского хозяйства района. Он зачастил в райисполком, глубоко вникал в статистику и вот что поведал мне однажды.

Средние расчеты показали, что на долю тракторного парка приходится лишь пятнадцать процентов всей обрабатываемой в районе земли.

При полном отсутствии средств механизации, с помощью лишь рабочего скота каждый колхозник обрабатывает тридцать три гектара. Кроме того, он выращивает четырнадцать голов колхозного скота да плюс — личное хозяйство.

Крайне низкий уровень механизации полевых работ, непосильная нагрузка на тягло пагубно отразились на плодородии земли. Элементарные правила агротехники были забыты, а отсюда — истощение почвы и низкая урожайность.

— Все спасение в тракторах,— заметил я, выслушав Серафимовича.

— И в людях! — добавил писатель. — Обе проблемы тесно связаны и их нельзя решать раздельно!

— Но где же взять людей?

— Искать надо! — сказал старик. — Ищите да обрящете!.. Недавно я советовался в райкоме партии. Все сошлись на том, что в нашем районе должна быть вторая МТС.

— Но это дело долгое! Одно строительство усадьбы...

— Зачем же заново строить усадьбу МТС, когда есть готовая!

— Где?

— А в Усть-Хопре! Там преогромная церковь, а кадры и жилье — под боком, население Усть-Хоперской большое... Это место и географически удобно для северной зоны нашего района. Лучше не придумаешь...

Вскоре после этой беседы непредвиденное обстоятельство ускорило решение тракторной проблемы.

Как-то в полдень я ехал полем на культстан и заметил кавалькаду легковых автомобилей, мчащихся нам навстречу. Впереди несся роскошный американский «форд», а за ним — наши газики.

— Какое-то начальство скачет,— сказал Гришка и, съехав с дороги, придержал лошадей.

Поравнявшись с нами, «форд» остановился. Из машины спросили:

— Скажите, где поля колхоза «Власть труда»?

— Вы проезжаете по ним,— ответил я.

— А вы — не из этого колхоза?

— Из него самого.

— А где нам найти вашего председателя?

Я шутливо ответил вопросом:

— А разве я не похож на него? — и тут же смутился: из машины вышел секретарь Нижне-Волжского крайкома партии Иосиф Михайлович Варейкис.

Он подошел к нам, пожал мне руку и спросил:

— Вы узнали меня?

— Только по автомашине, а с портретами вы несхожи...

— В чем же эта несхожесть?

— На портретах вы — брюнет, а в действительности... — И я запнулся.

— Ну-ну,— понукал меня Варейкис,— говорите же смело: рыжий! Так ведь?.. — Он пожал плечами и сказал: — Ну-с, отпустите своего кучера и садитесь со мной, покажите свой урожай!

Объехав посевы, мы направились на культстан.

Варейкис внимательно осмотрел жилые и хозяйственные постройки. На стане было безлюдно. Большинство колхозников работали на полях. Вскоре наступил обед. Сидя за общим столом, Варейкис оживленно беседовал с колхозниками, интересуясь их жизнью и работой.

Пробыв в колхозе с полдня, Варейкис уехал в райцентр. Перед отъездом он сказал мне:

— Через два часа будьте в райкоме партии, выступите с докладом на пленуме. Больше говорите о том, что у вас нового, полезного для других.

...Когда я начал докладывать, в зал вошел немного запоздавший Серафимович. Он сел в заднем ряду и принялся вытирать платком вспотевшую лысину.

С обобщающими выводами по моему докладу выступил Варейкис:

— Я немного слышал о колхозе «Власть труда» и решил сам познакомиться с его делами. Теперь я имею

основание заявить, что дела в колхозе намного лучше, чем это обрисовал докладчик. Зачем же преуменьшать то лучшее, что рождает наша жизнь и что должно быть достоянием всех?

Варейкис рассказал о делах нашего колхоза. Закончив выступление, он сел в президиуме и, попросив меня вновь подняться на трибуну, спросил:

— В чем сейчас особенно острая нужда в колхозе?

— Колхозу нужно полвагона махорки и пять бочек соленой сельди,— ответил я.

— А трактора вам не надобны, значит? — подал Серафимович реплику из зала. Боже мой, сколько в этой реплике было затаенной иронии и сарказма!

— Я умолчал об этом потому, что трактора — дело далекой перспективы...

— Почему это «далекой»? — перебил меня Варейкис. — Приблизить эту перспективу — в наших силах!

— Чем скорее вы приблизите ее, тем больше наш район будет благодарен вам, Иосиф Михайлович! — сказал я.

— Однако вернемся к вашим просьбам, товарищ председатель. Зачем вам табак?

Я пояснил:

— Он нужен для укрепления трудовой дисциплины. Дело в том, Иосиф Михайлович, что в торговых точках нашего района давно не стало курева, и колхозники, бросив работу, целыми днями бродят по хуторам в поисках этого зелья.

— А что будете делать с селедкой?

— Вкупе с молодой картошкой селедка хорошо разнообразит общественное питание в поле. К тому же она намного сократит убой скота. В масштабе района это большое дело.

— Постараемся выполнить ваши просьбы,— твердым тоном заявил Варейкис.

— Иосиф Михайлович,— обратился из зала Серафимович,— а о тракторах-то забыли? Когда же мы их получим?

— Об этом еще надо подумать,— уклончиво ответил Варейкис.

Незадолго до окончания пленума Серафимович, утомленный духотой, ушел домой.

После заседания Варейкис поехал к Серафимовичу на окраину городка.

Позже Серафимович рассказывал:

— Попервах и погладиться не давался! У нас, дескать, план Совнаркома, фонд, лимит, график и прочие рогатки, через которые, мол, не перепрянешь! А я ему: «Вы же сами заявили на пленуме райкома, что приблизить срок снабжения тракторами — в ваших силах! Вот и покажите свою силу!» Часа два вздорили. А когда я, по горячке, выпалил: «Полечу в Москву хлопотать, чтоб с Усть-Медведицы мое имя сняли», — так что тут бы-ы-ло! Святых выноси!.. А прощаясь, отмяк: «Сделаю все, что смогу». Пообещал, что будет к этой осени у нас новая МТС, пришлет машинно-дорожную станцию, посодействует в материалах, деньгах... Но опасаюсь я: не забыл бы! Ведь у него районов-то много, и о всех надо заботиться... Вот и решил я махнуть завтра с Гаврилой Денисычем Жигулиным (в ту пору секретарем райкома ВКП(б)) в Сталинград, напомнить Иосифу Михайловичу хотя бы.

Не много времени прошло после этого, а машинно-дорожная станция уже прокладывала грейдер от Перелаза до Серафимовича и одновременно начала асфальтировать тротуары нашего города. А осенью этого же года новые тракторы только что организованной Усть-Хоперской МТС приступили к вспашке зяби в северной зоне района.

В заботах о людях

Холодным ноябрьским днем тридцать третьего года А. С. Серафимович появился на сельскохозяйственной выставке Ново-Деревенского района Рязанской области. Он приехал для отбора и вербовки людей в свой район на Дону.

Выбор места для поисков оказался удачным. Сельскохозяйственная выставка — это парад колхозных побед.

Передовики выставки определились сразу, и в авангарде их — колхоз «Крестьянин» села Ново-Сергиевское. Познакомившись с Серафимовичем на выставке, колхозники пригласили его к себе, в Ново-Сергиевское.

Все село привалило в клуб на встречу с писателем. Серафимович рассказал, как он жил, как живет теперь, и поделился своими планами на будущее. Говоря об условиях жизни донцов и рязанцев, писатель особенно подчеркнул то, что на Дону много земли, но мало людей, тогда как на Рязанщине, наоборот, много людей, но мало земли. Эта встреча уже кончалась, когда на сцену вышел председатель сельсовета Кирилл Алексеевич Полозов и предложил собравшимся ознаменовать встречу с писателем переименованием колхоза: вместо названия «Крестьянин» дать колхозу имя Серафимовича. Шумными аплодисментами одобрения ответили колхозники на предложение Полозова.

Не в характере Серафимовича было оставаться в долгу перед людьми. Приехав домой, в Москву, он отправил в село Ново-Сергиевское вагон с инструментом и запчастями к сельхозинвентарю, а заодно послал в дар колхозникам и библиотеку.

Вскоре писатель заручился в Москве правительственным разрешением на вербовку на Рязанщине переселенцев в Серафимовичский район, затем из города Серафимовича в Ново-Деревенский район прибыли уполномоченные райисполкома и, завербовав несколько семей, отправили их на Дон специальным железнодорожным эшелоном.

В первых числах февраля тридцать четвертого года со станции Себряково по заснеженному шляху отправилась в Серафимович первая колонна грузовых автомашин с семьями переселенцев...

С той поры, как станица Усть-Медведицкая стала именоваться городом Серафимовичем, жизнь и деятельность старого писателя круто изменились. По его образному выражению, ему пришлось «сменить перо на чапиги» [1].

Хотя и медленно, но уже навсегда входила новизна во все поры деревенской жизни. Эта новизна не могла удержаться без материальной помощи и роста культуры. И чем глубже вникал Серафимович в дебри неустроенных еще дел района, тем больше чувствовал себя в ответе за них.

---

[1] Чапиги — направляющие ручки конного плуга.

Давно пора подхлестнуть дело озеленения города. Нужно наладить регулярное автобусное сообщение между Серафимовичем и железнодорожной станцией. Срочно необходимо изыскать деньги на перестройку Дома культуры. МТС давно ждет пополнения ее автотранспортом. Просят помочь в оборудовании склада горючего на усадьбе вновь организованной Усть-Хоперской МТС. Помещения детских домов стали тесны, надо подыскать большие здания...

Говорят, что положение обязывает. И вот теперь первый гражданин города, добровольно возложивший на себя обязанности его шефа, стал смотреть на все через призму потребностей своего района. Прочтет, к примеру, в газетах, что пущен Саратовский завод комбайнов,— и тут же начинает «бить челом», где следует; вскоре Серафимовичский район одним из первых в крае накануне уборки получает комбайны. Только что заработал Челябинский тракторный завод, а Серафимович уже стучится в двери различных ведомств края и центра и не успокоится до тех пор, пока колхозные поля не огласит глухой рокот гусеничных богатырей.

Всенародной задачей того времени было выполнение первого пятилетнего плана. Пятилетка поглощала почти все материально-технические запасы страны, и потому в большую моду вошли два слова: «дефицит» и «лимит». Дефицитным тогда было почти все.

Много сил и времени пришлось потратить на поиски мощного двигателя, необходимого для вновь строящейся районной электростанции. Только с помощью наркома коммунального хозяйства такой двигатель был все же разыскан где-то в Мурманске и доставлен в Серафимович... Все больше и больше углубляясь в районные проблемы, Серафимович не мог уже выкроить время на свою литературную работу и положил в «долгий ящик» черновую рукопись романа «Борьба».

... Летом, незадолго до уборки, нежданно и негаданно прилетел из Москвы самолет и приземлился прямо на пахоте, неподалеку от культстана. Это в гости к нам пожаловали представители ЦК ВКП(б) и Наркомзема СССР и с ними журналист центральной «Крестьянской газеты». Они ознакомились с положением дел в колхозе и после этого созвали на культстане совещание

председателей колхозов и передовых бригадиров края. На этот сбор по обмену опытом явился и А. С. Серафимович. Докладов о готовности колхоза к уборке было два: мой и бригадира Д. И. Казанкова. После доклада Казанкова первым выступил Серафимович. В начале своей речи он сказал:

— Слушал я доклад Дмитрия Ивановича и диву давался: какие же кадры у нас растут расчудесные! Кем был бы Казанков при царской власти? Да никем! Просто Митькой-казачишкой, замызганным и бедным. До последнего воздыхания ковырялся бы он в земле на своей десятине, собирал бы по былочке хлебушко тощий и не выбрался бы из тяжелой нужды никогда! Но пришла наша власть, и повернула она жизнь Дмитрия на новый путь. И что же мы видим сегодня? Стоит он перед вами, всех нас уму-разуму поучает, словно профессор колхозных наук. И есть чему поучиться у Дмитрия Ивановича! Все в его деле бригадирском ладно и крепко сшито! Кто же растил и пестовал эти таланты народные? Наша мудрая партия! Спасибо ей за кадры такие!..

И надо было видеть его в это время, чтобы почувствовать всю силу его радости за человека.

1968

О. Кретова

«ПОХИЩЕНИЕ» СЕРАФИМОВИЧА

В середине сентября 1939 года я приехала из Воронежа в Москву, чтобы повидаться со своими двумя сестрами.

Средняя из нас — Наташа, биолог по специальности, работала на маленькой научно-исследовательской станции, изучала домовой гриб, названный так за свое агрессивное свойство — разрушать древесину.

У Наташи мы и собрались. Жила она на территории станции, занимала комнату в двухэтажном домике, который в те времена еще никому не приходило в голову называть иностранным словом коттедж.

Младшая сестра — Вера училась на географическом факультете Московского университета. Перешла на второй курс, но только завтра — 18 сентября — ей исполнялось 18 лет. Умостившись на диване, мы обсуждали, как отметить этот день, чтобы он остался памятным на долгие годы (а вышло — на всю жизнь!).

Решили позвать гостей. Наташе это было просто, сослуживцы рядом; Вера тоже не затруднялась, она успела обзавестись подругами и товарищами, сокурсниками. Но кого пригласить мне? Знакомые у меня были только в среде литераторов. Я задумалась, подыскивая возможную кандидатуру.

И тут Наташа, как о чем-то совсем простом, доступном, сказала:

— А ты пригласи Серафимовича.

Я слегка опешила. Его-то я и мысленно не посмела назвать.

Между тем Наташа настаивала:

— Он дружит с вами, воронежцами. Вы бываете у него дома. Может, ему самому захочется встретиться с молодежью.

Сестры смотрели на меня. Наташа уже чуть-чуть задорно, словно поджигая на «авантюру». Вера — испуганная и опьяненная, будто у нее закружилась голова в предчувствии осуществления несбыточного.

И мне сразу захотелось сделать ей и ее юным друзьям этот бесценный подарок.

Условились: никакого многолюдства. Он, мы и трое верных друзей. Ничем Александру Серафимовичу не докучать, не приставать с вопросами и расспросами. Даже не фотографироваться. Пусть все будет так, как удобно и хорошо ему. Чтобы он полностью отдыхал. «Вот только отпустят ли домашние? Что ж, попытка не пытка. Наберусь храбрости!»

С Серафимовичем мы, воронежские молодые писатели, подружились при таких обстоятельствах. В Воронеж переехал из Усть-Медведицкой Виктор Иванович Петров. Там он был на партийной работе, хорошо знал деревню и, решив попытать счастья в литературе, послал свои первые творческие опыты Александру Серафимовичу. Тот живо заинтересовался молодым автором, строго и доброжелательно критиковал его дневниковые наброски, редактировал их. Возникла даже мысль писать роман сообща. Было написано несколько глав и опубликовано в Москве, в журнале «Октябрь». Но потом Серафимович, видно, решил, что не полезно водить даже талантливого автора «на помочах», следует предоставить ему возможность проявить себя самостоятельно.

Соавторство распалось, но содружество осталось прочным. Позднее Александр Серафимович Серафимович написал предисловие к роману Виктора Петрова. Когда Серафимович приезжал в Воронеж, земляки не могли наговориться. Именно Петров ввел и нас, своих новых товарищей, в дом одного из старейшин литературы.

...Итак, часа через два после разговора с сестрами я звонила в квартиру Серафимовича на улице, уже носившей его имя (дом № 2, в Замоскворечье, близ кинотеатра «Ударник»).

Открыл дверь сам Александр Серафимович. К моему удивлению, он был в полном одиночестве. Ни подруги его старости Феклы Родионовны, которую он ласково называл Фекола (ее мы любили, было в ней столько теплоты, душевности, все такое русское, начиная от имени и отчества до морщинок-лучиков, до трудовых крестьянских рук), ни сына Игоря, ни внучки Искры, ни невестки — рослой, рыжеволосой Саши (ее я почему-то побаивалась, и профессия ее казалась не женской — режиссер).

Повел меня Серафимович не в свой кабинет, как обычно, а в большую комнату, в гостиную, что ли. Была в ней еще летняя нагота, когда гардины и портьеры сняты, чтобы не пылились. Но бросались в глаза незнакомые и даже странные предметы: высокая тренога с плоской подушкой наверху и тут же, рядом, что-то громоздкое, бесформенное, укутанное грубым полотном.

Выслушав меня, Александр Серафимович искренне развеселился:

— А что,— говорил он, потирая руки,— вот возьму и удеру! Ей-богу, удеру! Все на даче, а меня засадили тут как рака-отшельника. Да еще соседей, вон в том доме, в сомнение ввожу. Небось думают: «Не того старик...», — он выразительно повинтил пальцем у своего правого виска. — Еще слух пустят «крутится, мол, каждый день вокруг собственной оси».

Я ничего не понимала. Почему «не того»? Вокруг чего и зачем крутится?

А все обстояло очень просто. Союзом писателей или еще кем-то был заказан скульптору бюст Серафимовича. Заказ был срочный. Домашние Александра Серафимовича еще оставались на даче, а ему пришлось возвратиться в город. Ежедневно к нему приходила женщина-скульптор, усаживала его на треногу и время от времени поворачивала, чтобы изменить освещение, найти лучший ракурс.

Жителям соседнего дома ни скульптор, ни глиняная глыба не были видны, а лишь возвышавшийся на треноге знаменитый писатель, принимающий то одну, то другую позу.

Скорее всего, никто этого не наблюдал специально и ничего предосудительного не думал, но

Серафимовичу «до чертиков» надоело позирование, вот у него и разыгралась фантазия. Надоело и вынужденное домашнее заключение.

Он обрадовался возможности вырваться.

— Только бы «мои» не нагрянули...— шептал он мне уже как заговорщик.— Пусть эти ваши студенты завтра прямо с утра сюда приедут, а то сам я, может, не найду...

Надо ли говорить, что Вера и трое ее сокурсников заявились к Александру Серафимовичу в девять часов утра (раньше все же не решились) и к двенадцати благополучно доставили его на двадцать первый километр Щелковского шоссе, в коттедж.

Серафимович был, как всегда и всюду, самим собой — естественный, приветливый; очень просто одет; разумеется, поверх темной блузы блистал белизной отложной воротничок. Ни раньше, ни позже я ни у кого не догадалась спросить, почему Александр Серафимович не носит сорочек с галстуком. Сама убежденно считала, что галстуки (как и женский высокий каблук) — большое неудобство, нелепая условность. Серафимович, мол, понял это давно и навечно.

Немного о нас, остальных участниках компании. Мне было уже тридцать шесть лет. Успела поработать и сельской учительницей, и в редакциях газет, и в литературных организациях. В 1934 году, как сама считаю, «авансом» приняли меня в Союз писателей. Теперь, на склоне лет, думаю: «Сколько еще надо сделать, чтобы этот щедрый аванс оправдать!»

Наташе было тридцать. Когда училась в университете, она еще ходила с косой. Толстая коса ниже пояса. Глаза большие, серые. И вот этакая, почти тургеневская девушка входит, бывало, с рюкзаком в беспечальную квартиру, предъявляет документ, вытаскивает из рюкзака ломик, отщепляет кусок доски где-нибудь на кухне или даже плитку паркета в комнате и берет древесину на анализ. А спустя какой-то срок объявляет ошеломленным хозяевам: «Квартира заражена домовым грибом. Готовьтесь к переселению. Тут будем жечь...»

О Вере скажу позднее. А сейчас о ее друзьях. Я уже видела их раньше и немного знала. Это девят-

надцатилетние: Володя Ставицкий, долговязый, худущий как жердь, в очках, всегда веселый, неунывающий; Вова Бодрин, невысокий, круглоголовый, миловидный, и Саушкина Ира — несказанная прелесть!

Невооруженным глазом было заметно, что оба мальчика неравнодушны к ней, к Ире. Но Вера ничуть не ревнует, принимает это как должное и сама влюблена в свою обаятельную подружку.

У Веры ее подстриженные светлые волосы падали на лоб, на шею легкими прядями. Со своей угловатой, несложившейся фигурой выглядела она не старше чем на пятнадцать; считала себя гадким утенком, которому никогда не стать лебедем. Чувств ее еще никто не затронул, и весь пыл души, всю кипучую энергию она отдавала комсомольской работе, учебе и спорту.

Когда все вошли в дом, Серафимович поздоровался со мной, познакомился с Наташей. Увидев накрытый стол, сразу догадался, как приятно будет хозяйке, если ее хлопоты оценят.

— Вот это правильно, это с дороги всегда кстати,— забасил он, потирая руки.

Угощение было скромное: неизбежные сыр, колбаса из магазина, но кое-что и домашнего приготовления,— кажется, бульон с пирожками, жаренные в сметане грибы собственного сбора, винегрет, салаты.

Серафимович не захотел быть свадебным генералом: сел не в кресло, а на стул между студентами. Тут произошла небольшая суматоха — к Александру Серафимовичу придвинули поближе овощные блюда (я предупредила Наташу, что он на диете). Заметив эту предосторожность, гость наш погрозил шутливо хозяйке пальцем.

— Неужели и тут запреты? — ворчал он, грустно усмехаясь. — А может, позволите разок нарушить?

Я что-то сказала в том смысле, что мы чувствуем себя в ответе за его здоровье, но, конечно, ему самому лучше знать...

— Ей-ей, ничего не случится,— заверил он, накалывая вилкой кусочек ветчины.

В центре стола торжественно возвышалась бутылка красного вина. Александр Серафимович взглянул на нее одобрительно. Вероятно, отчасти потому, что она

все-таки была, но, пожалуй, еще более потому, что была одна, в единственном числе!

Не помню и не буду придумывать, как ели, как «пили». Расскажу, что мы пели.

К сожалению, никто, кроме меня, не смог поддержать любимую Серафимовичем «Ты подуй, подуй, ветер низовый». И я-то узнала эту чудесную народную песню только от него, когда бродили в осеннем лесу под Воронежем вместе с Максимом Подобедовым и Борисом Песковым в 1933 году.

Никто, кроме Александра Серафимовича, меня и Наташи, не знал ни мотива, ни слов песен «Нелюдимо наше море» и «Из страны, страны далекой». (Ах, с каким чувством певали их мои родители и брат мамы — дядя Ваня, статистик и поэт, проведший в 1905 году шесть месяцев в тюремной камере за свои «крамольные» цифры!)

Правда, «Славное море, священный Байкал» студенты подхватили довольно дружно, да еще, пожалуй, «Варяга». И «Коробушку», тут я запевала, в то время звонкоголосая.

Хотелось нам с Наташей поднять из забвения старинные песни, думали, это будет приятно Серафимовичу, всколыхнет воспоминания. А того недодумали мы, что старших в нашей компании меньшинство, а у нового поколения другие песни. Александр Серафимович понял это раньше всех и решительно перешел на советский репертуар.

Очень здорово прозвучала «Катюша». Вслед за ней и песни гражданской войны, и снова — лирические, и шуточные. Дирижировал больше Серафимович, иногда — я. Володя Ставицкий аккомпанировал на невесть откуда взявшейся гитаре или просто выбивал в такт дробь и хлопал руками.

Даже «Через тумбу-тумбу — раз!..» исполнили.

Это я все пишу залпом о песнях; можно подумать, что мы с одной бутылки так распелись. Нет, песня в тот день сопутствовала нам всюду, и в квартире и в большой прогулке по лесам и полям.

В застолье же нашем произошел забавный эпизод, давший толчок к экскурсу в биологическую науку.

Когда готовились поднять бокалы, Серафимович с искренним удивлением обнаружил возле своего при-

бора стройную мензурку. Изучающе повертел ее, обвел взглядом компанию и установил, что у всех в руках нечто подобное. (Рюмок в Наташином буфете начисто не было. И надобность в них не ощущалась.)

Александр Серафимович от души расхохотался.

— Это что же такое: химию в быт? — вопрошал он.

Опередив немного смутившуюся Наташу, я коротенько рассказала о тургеневской девушке с ломиком, о ее научной работе здесь. Даже о том, что домик, где мы сидим, не простой, а опытный, ему сделаны «прививки», а потом произведено искусственное заражение.

Серафимович тут же спросил Наташу:

— Нельзя ли побывать у вас в лаборатории? Я ведь дачу построил. Интересно взглянуть на чудовище, которое будет ее пожирать.

Зная от меня о ненасытной любознательности Серафимовича, Наташа предвидела, что у него, как всюду на заводах, в колхозах, возникнет желание посмотреть и на то, чем здесь занимается наука. А станция была, как условно называют, «почтовый ящик номер...». Поэтому еще накануне Наташа запаслась у начальства пропуском для предполагаемого гостя. Только для него одного. Студентам могли не дать, а я уже видела подобное.

Вдвоем с Серафимовичем они и побывали в лаборатории. Но это немного погодя. Сначала мы еще за столом читали стихи и беседовали.

На стихи нас вызвал Александр Серафимович. Утверждал, что не может быть, чтобы никто из присутствующих не был грешен. Студенты переглядывались, отнекивались, отрицали виновность. Весь этот разговор был пронизан шутками, и я «предала» Наташу, процитировав кусочек ее признания, что в нашей семье из всех многочисленных сестер и братьев

Один лишь стихов не писал,
Который ушел на тот свет,
Когда еще грудь сосал.

Тут уж Серафимович настойчиво потребовал от Наташи — выдать лирику. И она прочитала стихотворение своих студенческих лет, оговорив, что оно подра-

жательное, написано в тональности известного романса «Мы сидели с тобой у заснувшей реки».

Заканчивались стихи сожалением дипломированного специалиста о том, что больше «он» «ее» уже никогда не встречает, и грустью о несбывшемся.

Александр Серафимович лукаво поглядывал на двух Владимиров.

— Так-то, молодые люди, примите предостережение.

Все смеялись.

К случаю я рассказала, как в 1928 году начинала работать в крестьянской газете «Новая деревня». Направил меня туда обком комсомола. Приняли на должность литературного правщика. Обрабатывала заметки селькоров, зачастую малограмотных, чтобы их можно было напечатать. Однажды пришел в редакцию седовласый человек, застенчивый и воодушевленный, вручил мне свою «поэму».

Вот ее начальные строки:

Луна зажглася над полями,
В тот час бог рабства — капитал,
Свистя змеиными крылами,
Над Эс-Эс-Эром пролетал.

Не зная, что делать, я понесла рукопись редактору Гавриилу Сергеевичу Окулову. Редактор спросил: «Почему же вы не дали автору консультацию?» Я пролепетала: «Не умею, не смогу». Он строго сказал: «Это входит в ваши обязанности. Должны,— значит, сможете!»

— Ну и как? Туго пришлось? — посочувствовал Александр Серафимович.

— Куда же было деваться? Вооружилась журналом «Литературная учеба», что сама узнавала, то и объясняла своим подопечным.

— А ведь он был прав, ваш редактор,— задумчиво произнес Александр Серафимович,— многое мы одолели потому, что самой революцией были обязаны суметь и смочь!

Серафимович был в отличном расположении духа.

— Так и быть, хорошие мои,— заговорил он несколько минут спустя,— вам признаюсь: я в младые

годы стихов не писал, так теперь начал ими грешить. Вот недавно сочинил... Хотите, прочитаю?

Еще бы мы не хотели! Мы затаили дыхание.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.. —

мягко, проникновенно полились знакомые строки. И... оборвались.

Обведя взглядом посерьезневшие лица озадаченных слушателей, наш гость виновато потупился.

— Тьфу, память стариковская! Это ведь не я, это один *молодой* поэт написал. Не верите? В самом деле, юноша. Моложе нашей именинницы. Всего семнадцать ему было тогда...

И захохотал, довольный, что розыгрыш удался.

После я проверяла по собранию сочинений, когда же написан «Парус»? В 1832 году. Поразительно!

И я задумалась: была ли шутка Серафимовича просто шуткой? Не хотел ли он иносказательно намекнуть собравшимся «птенцам», на какие взлеты способна молодость?

Мы знали о многочисленных путях-дорогах Серафимовича по родной стране и о его не такой давней заграничной поездке, но, как заранее условились, ни о чем не расспрашивали.

Он рассказывал сам, что в тот момент всплывало в памяти. Из зарубежных впечатлений о беспросветной бедности крестьян в Польше. Об Австрии, как там регулируют нищенство. Просить подаяние разрешается только раз в неделю, кажется в субботу, и в строго определенных местах — возле храма своего прихода. Клянчить запрещено. Просьба должна быть безмолвной. Нищие усаживаются по обочинам улицы, ставят перед собой на землю кто старую шляпу, кто банку или коробку. Выходя из храма, благополучные обыватели бросают незадачливым братьям мелкие монеты. Не всем, конечно, подряд. Одни — самым убогим, другие — своим постоянным клиентам — наиболее «приличным», благообразным.

Тот, кому ничего не перепало, обречен до следующей субботы уповать на милость всевышнего... А пока добывать пропитание, обшаривая где-нибудь в толпе карманы зазевавшихся простофиль.

Почему именно это явление привлекло внимание Серафимовича, повсеместно ли он его наблюдал или в каком-то одном городе, мы не полюбопытствовали. Все казалось понятным: социальные болезни капиталистического общества, одна порождает другую,— безработица, нищенство, преступность.

Воспринимали это как «экзотику», отошедшую в нашей стране в прошлое. Нам такое не грозит! Право на труд закреплено Советской Конституцией! Значит, вымрут и пережитки и болезни, порожденные классовым неравенством.

А вот «экзотика» нравов и обычаев Франции очень развеселила всех нас.

Александр Серафимович с большой живостью воспроизвел картинки, как идут двое по разным сторонам улицы, увидят друг друга и, невзирая на мчащийся транспорт, бросаются наперерез машинам, обнимаются, целуются.

— У нас так не принято. Только на вокзале можно поцеловать своих близких принародно. У нас парень с девушкой под руку ходят. А там он ухватит ее за загривок, прижмет к себе и ведет. Да не где-нибудь в уединенном месте, а прямо в центре Парижа. Они одни во всем мире. Они счастливы. Они никого не замечают вокруг. А если их видят? Ну и пусть! Большинство не придает значения. А если кто позавидует — на здоровье! Пусть скорее ищет свое счастье.

Говорил об этом Александр Серафимович чуть-чуть удивляясь, но без тени осуждения, скорее даже улыбчиво, благожелательно. Видел экспансивность, темпераментность, непосредственность.

Когда мне теперь, много лет спустя, случается в беседе с молодежью вспомнить этот рассказ Александра Серафимовича, наши мальчики и девочки откровенно «ржут» (их словечко); раздаются возгласы: «За загривок! Ох, здорово подметил писатель!»; «Ну, теперь и у нас в точности такая мода»; «И вполне приличная»; «Поглядел бы он на «отдельные парочки» на проспекте Революции или Кольцовском сквере. Интересно, что сказал бы?»

И мне приходится со всей прямотой ответить:

— Сказал бы: скверно себя ведут, пошло, цинично. Оскорбительно для женской чести и недостойно муж-

чины. Одно дело, когда непосредственность чувств, их раскованность — черта национального характера. Совсем другое, если это «мода». Мы не ханжи, но любовь — это страна, принадлежащая только двоим, а посторонним вход туда запрещен. Иначе не любовь, а профанация, если не сказать резче...

Твердо уверена: именно так думал и сказал бы Серафимович.

В 20-е годы у нас, у комсомолии, была «строгая любовь». В тридцатые, может, чуть вольнее, но сужу по таким ребятам, как Вова и Володя, по Ирочке и Вере, никому из них не взбрело бы в голову афишировать свои симпатии, а тем более чувства, выставлять их напоказ: скорее сквозь землю провалились бы.

Александр Серафимович смотрел на них с нежностью. А они на него, и мы с Наташей тоже,— с обожанием и восхищением.

Тут у нас был очередной песенный взрыв.

Потом Серафимович сказал, что у него есть привычка — прежде чем посетить неведомый край, сначала, елико возможно, ознакомиться с ним заочно. Чтобы, прибыв, куда собрался, не быть круглым невеждой, не пялить глаза бездумно, а понимать, что к чему. Сейчас таким неведомым краем была для него наука о грибах-разрушителях, и он просил Наташу прочитать нам на эту тему ну хотя бы пятиминутную лекцию.

Он, видимо, испытывал некоторую неловкость перед молодежью, что привилегия посетить лабораторию предоставлена ему одному, потирал лысину.

— Вы уж нас, друзья, извините. Мы с Натальей Капитоновной отлучимся на недолгий срок. А сейчас послушаем ее все вместе. Ладно?

Наташа коротенько перечислила основные виды агрессоров:

1. Настоящий домовый гриб, так называемый плачущий, потому что на его грибнице и плодовом теле выступают капли —«слезы». 2. Белый домовый гриб. 3. Пленчатый и 4. Шахтный. (Привела и латинские названия, я их опускаю.)

Любой гриб из этих видов может скрытно обосноваться на чердаке, в подполье, на стенах под штукатуркой и при благоприятных условиях за полгода мо-

жет превратить в сплошную труху балку толщиной в четверть метра.

Лаборатория защиты древесины испытывает различные антисептики, ищет наиболее активные, способные нейтрализовать домовый гриб — обезвредить врага.

Наташа сказала еще, что в современном градостроительстве на первое место выходят железо и бетон, так что вроде бы поле деятельности защитников древесины суживается. Но это лишь на первый взгляд. Ведь остаются уникальные памятники деревянного зодчества, дома-музеи, миллионы крестьянских изб и, наконец, пригородные дачи.

Наташа выразительно посмотрела на Александра Серафимовича.

Он рассмеялся:

— Да, да, мы, беспардонные горожане, возводим себе дачные терема, а об их здоровье у нас голова не болит. Спасибо, наука взяла на себя заботу. Ну что ж, Наталья Капитоновна, двинулись в ваше царство микологии.

Они ушли. Девочки стали убирать со стола, мыть посуду. Мальчики играли в шахматы, но невнимательно, то и дело теряли фигуры.

Все были в приподнятом настроении, перебрасывались короткими фразами. Один из Владимиров: «Силен старичина». Второй: «Нашел старика, он моложе нас с тобой». Кто-то из девочек: «Совсем свой, будто отец». Опять Володя, не то Вова: «А похоже, рисковый. Думается, не только мудростью живет, а и безумствами тоже. Благородными, конечно, безумствами... Ольга Капитоновна, расскажите о нем что-нибудь такое, о чем нет в книжках».

Я стала припоминать эпизоды богатой и радостями и бедами жизни Серафимовича. Но они были известны. И вдруг вспомнилось смешное, нелепое безрассудство, о котором он когда-то рассказывал нам с Подобедовым в Репном. Мы тогда не верили ему, думали, что разыгрывает, а он заверял: «Ей-богу, правда!» Это — как он от малярии лечился.

«Забрала однажды осенью меня проклятая ведьма, трясет и трясет. Ни акрихин, ни хинин, никакие лекарства не помогают. Ладно, думаю, сатана липучая, найду на тебя управу: буду клин клином вышибать. Пошел

на реку (дело в деревне было), там уже закраины льдом подернулись. Бултых в «кипятковую» воду! Выскочил — весь огнем горю и скорей в хату под тулуп, да чаю с малиной, с липовым цветом. Вроде — отпустила.

На другой день снова трясет. Я опять на реку, опять таким же манером... И так до трех раз. Отстала ведьма, утопил в проруби».

Мы с Подобедовым взмолились: «Александр Серафимович, зачем вы нас потчуете сказками?» Он сердится: «Говорю вам — правда. Клин клином — это исстари практикуют».

Мы всерьез испугались: «Не вздумайте повторить при случае. Это же ваш богатырский организм все переборол: и туберкулез и малярию. А ледяные окунания только угробить могут. Варварский способ! Простите нас, вы же сами отлично понимаете, что это не народная медицина, это — суеверие, невежество».

Уперся Серафимович, твердит свое: «Клин — клином! Когда нет другого выхода — риск оправдан».

Так мы и остались в недоумении: дразнил он нас с неколебимо серьезным видом или настолько искусно вышучивал, что почти сам в ту минуту верил в чудодейственное средство.

Два Владимира и Вера с Ирочкой были в восторге:

— Силен, силен!

Возвратились Наташа с Александром Серафимовичем минут через сорок. Осмотрел он лабораторию, где Наташа каждый день исследовала под микроскопом культуры домовых грибов, зарисовывала препараты, фотографировала их под микроскопом, поинтересовался камерой, где находятся «чистые культуры». В термостатной видел огромный остекленный шкаф с полками, обогреваемыми электричеством, с рядами больших колб, заткнутых ватными пробками, со слоем увлажненных опилок на дне, поверх которых уложены кубики древесины, пропитанной антисептиками, и контрольные образцы.

Еще стояли в термостате пробирки с питательной средой, в которых чистые культуры размножались, образуя грибницы в виде толстых серых или тонких черных и коричневых шнуров.

Странное, казалось мне, брезгливое чувство не покидало Александра Серафимовича, когда он делился с нами впечатлениями от этих зловредных шнуров.

— Вроде бы дрянь, мразь ничтожная, а какая в ней скрытая опасность!

Помолчал, сцепив пальцы рук.

— А ведь так и в человечестве... Таятся подспудные враждебные силы, накапливают разрушительный потенциал и могут взорваться внезапно. Надо взращивать зерна мира, создавать здоровую среду. А если придется отстаивать советский дом... Ведь это на вашу долю выпадет, дорогие вы мои друзья.

И поперхнулся, будто спазма сдавила горло.

Только что закончились боевые события на Халхин-Голе, получившие впоследствии название «необъявленной войны». Красная Армия по-братски самоотверженно и бескорыстно помогла Народно-революционной армии Монголии вышвырнуть захватчиков-самураев с монгольской земли.

Нависали черные тучи и над нашими советскими границами. Кто знал, откуда и когда может грянуть гром...

Теперь думаю, как жаль, что после Великой Отечественной войны я не напомнила Александру Серафимовичу о его встрече с группой молодежи в Подмосковье, не рассказала ему, что юноши и девушки, которых он одарил своей отцовской добротой, оправдали его надежды. Все они прошли славными и грозными дорогами войны, защищали родную страну, освобождали от коричневой фашистской нечисти Польшу, Венгрию, громили врага в самом его логове.

Будь Серафимович с нами сегодня, можно было бы добавить, что судьба хранит эту дружную по сей день четверку. Все они географы.

Все это теперь.

...А тогда?

Стряхнув минутную озабоченность, Александр Серафимович уже снова захороводил молодежь, потянул всех нас на обещанную прогулку.

Ах, как было чудесно бродить в золотом березнячке, и среди молодых зеленых елочек, и по луговинам, где под скупым сентябрьским теплом скромно пестрели последние осенние цветы.

Ира и Вера вплели себе в волосы веточки рябины с рдеющими ягодами. Самую пышную ветку преподнесли Александру Серафимовичу.

Шли мы все вместе, окружив Серафимовича. Студенты все стеснялись, как бы не обременить его, поэтому больше помалкивали и только слушали наш разговор да неотрывно смотрели во все глаза.

Александр Серафимович рассказывал о своих путешествиях на моторных лодках и на катере по Дону, спросил у меня, построена ли в Павловске, как он советовал, детская речная флотилия. Огорчился, что, видимо, нет, так как иначе уж газеты об этом не промолчали бы.

— Долго раскачиваются. Не держат обещания,— досадовал Серафимович. — Ведь там какие богатые возможности: и река дивная, и свои судостроительные мастерские. А призывники уходят служить на морской флот и не могут как следует шлюпкой управлять. Не годится это! Надо напомнить комсомолу!

Мы всё брели и брели, полной грудью вдыхая лесной воздух, и мнилось, ведет нас сама дорога или тропинка, сама открывает нам за каждым поворотом новую неповторимую красоту. А вела-то нас, оказывается, Наташа, и к точно намеченной, ей одной известной цели.

Внезапно деревья расступились, и перед нами возникло такое чудо, что вздох восхищения вырвался сразу у всех, один, общий. И чувство светлой, безграничной радости охватило сердца.

Что же это распростерлось перед нами: лесное озеро? Нет, небесно-голубое, оно не отражало ни облаков, ни берегов. И не просвечивал в нем подводный мир.

Вдали оно чуть розовело, подернутое легкой дымкой, а ближе и во всю ширь было чистым, ясным, словно покрытое голубой эмалью или глазурью, но не застывшей, а волшебно-живой.

Мы стояли зачарованные.

Незабудки! Наконец-то мы разглядели их у себя под ногами.

— Бывает же такое на свете... прямо сказка,— очень тихо шепнул Александр Серафимович. Поднял глаза на нас.

Я не знаю, не помню, какого цвета были всегда глаза у Серафимовича, но могу поручиться: в те минуты они были голубые-голубые. И очень счастливые.

Никто не сорвал ни одного цветка. Нельзя, невозможно было даже коснуться их. Словно это разрушило бы сказку.

В обратный путь пошли молчаливые, задумчивые, боясь расплескать то колдовское, загадочно-прекрасное, что нес каждый в себе.

Только с полдороги начали понемногу спускаться из страны грез в обыденный мир. Спящие царевны очнулись, стали снова резвыми девочками; заколдованные принцы — веселыми ребятами. Зазвенел смех, полились песни.

Поиграли и в прятки между деревьев, и венки себе сплели девочки из поздних ромашек. Отпал внутренний запрет, эти цветы можно было рвать.

Когда студенты затевали беготню и мы, старшие, оставались одни, Серафимович спрашивал меня и Наташу о них. Чем они живут, чем дышат.

Он, оказывается, обратил внимание и молчаливо удивился, что среди подарков имениннице была «детская» книга — «Приключения Гекльберри Финна». О чем это говорит? Об уровне интересов? Или хотел поддразнить свою сокурсницу Вова Бодрин?

— Конечно, поддразнить! Она ведь отчаянный сорванец, наша Вера.

— Не наговаривайте на сестренку! Такая скромница...

— Точно, скромница. И это отлично уживается с бесшабашностью.

Я рассказала Александру Серафимовичу, что Вера еще в Воронеже, ученицей десятого класса, окончила спортивную кавалерийскую школу. (Я только раз видела, как лошадка ее через голову швырнула, а до сих пор, как представлю, сердце замирает. А она тогда только отряхнулась и — снова в седло.) В Москве Вера тренировалась в манеже, у нее диплом «Ворошиловского всадника II ступени».

— Ого! Ну, такие «сорванцы» нам нужны. А знаете, я в давние годы своим сыновьям купил лошадь. Они без седла по степи скакали...

Александр Серафимович начал бодро, а закончил — и сник... Мы поняли — вспомнил сына Анатолия, погибшего в гражданскую войну.

Я уже бранила себя в душе, что невольно разбудила в нем печаль.

Хорошо, что подошла молодежь.

...У Наташи отдохнули, попили чаю.

Ни о каких такси мы тогда не помышляли, да и негде было бы взять, если бы явилась такая идея. Пошли на шоссе к остановке рейсового автобуса. Оба Владимира и Вера с Ирой проводили Александра Серафимовича до дома.

Возвратившись, Вера рассказала. Автобус был полон. Они стояли. Стоял и Серафимович, держась за поручень.

И вдруг — его узнали. Все вскочили с мест. Наперебой предлагали Александру Серафимовичу сесть. Каждый хотел уступить ему именно свое место.

Серафимович застеснялся; сел на первое, ближайшее.

Пассажиры продолжали стоять. Так и ехали стоя.

Александр Серафимович застеснялся еще больше. Ворчал смущенно-шутливо:

— Что ж, я теперь тридцать шесть билетов покупать должен? А мне и одного достаточно. — Вытянул из кармана блузы и предъявил — депутатский.

Люди смеялись. Теснились вокруг любимого писателя, садиться не хотелось.

Прощаясь со студентами, Александр Серафимович пригласил их приехать к нему завтра, обещал подготовить и подарить всем свою книгу.

Каждый получил «Железный поток», только что выпущенный Сталинградским издательством. Получили и я и мои сестры. Все с автографами.

Дарственная надпись Наташе гласила:

«*Уважаемой Наталье Капитоновне,*
показавшей мне чудовище, которое
будет пожирать мою дачу.

Старый гриб

Серафимович».

А Наташа, Наталья Капитоновна, осталась верна своей специальности — микробиологии. После Отечественной войны до своего пенсионного возраста и семь лет сверх того работала в Научно-исследовательском институте имени Карбышева. Правда, уже не по домовому грибу.

Книга в войну погибла.

Верина книга сохранилась. На титульном листе ее написано:

«Верочке
(? Капитоновне!)
Жучковой,
чтоб помнила.

А. Серафимович.

19/IX 39 Москва».

(Знаки вопроса и восклицания — шутка. Александр Серафимович хотел сказать, что не уверен, следует ли ее, восемнадцатилетнюю, величать по отчеству.)

Недавно Вера прислала мне в Воронеж эту книгу переснять автограф.

Перечитываю «Железный поток» — и вдруг на 50-й странице: «А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза».

Бог мой! Но ведь когда я писала о поголубевших от незабудок глазах Серафимовича, я писала то, что сама видела. Я совсем не помнила этих строк. Значит, отложился образ где-то в сознании. И хранится всю жизнь.

1976

П. И. Топорков

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

Выполняя обязанности председателя Серафимовичского городского Совета депутатов трудящихся, я часто встречался с Александром Серафимовичем.

Много лет прошло с последней встречи с ним, но светлый образ пролетарского писателя не тускнеет в памяти.

За свою душевную простоту, за беззаветное служение народу, за заботу о его благосостоянии Александр Серафимович пользовался огромным уважением и любовью всех наших граждан. Горожане и хуторяне называли его не иначе как наш Серафимович, наш депутат, наш писатель. И действительно, он не только своими произведениями, увековечившими его память в народе, но и своей общественной деятельностью был крепко связан с ним, жил в народе и для народа.

С большим вниманием, с энтузиазмом он вместе с нами разбирал тот или иной проект по благоустройству города. Шла ли речь об электростанции или восстановлении водопровода, об улучшении улиц или реконструкции жилых зданий — он прежде всего интересовался, а что это даст населению, много ли народу будет обслужено, а уже потом интересовался и другими деталями.

С Александром Серафимовичем мне пришлось познакомиться в 1942 году, в очень напряженной обстановке. К району со стороны Ростовской области приближались фашистские войска, их десант

был уже у хутора Большого. Писатель в это время жил в городе, на даче. Тревожная обстановка, приближение фронта вызывали необходимость подготовки города к эвакуации. Секретарь райкома партии тов. Заворухин долго уговаривал Александра Серафимовича эвакуироваться. Писатель, не желавший покидать город (как он говорил — «буду уезжать со всем народом»), дал согласие на выезд только до Михайловки (ст. Себряково). Мы подобрали ему хорошую машину, погрузили имущество, библиотеку и после прощания с ним и пожеланий счастливого пути проводили его до Себряково, куда он и прибыл благополучно.

Более близкое и короткое знакомство с Александром Серафимовичем у меня началось с 1946 года. Его письмо, в котором он выразил желание немного отдохнуть в родном городе, вызвало большую радость всего населения города. Надо было видеть, с каким энтузиазмом взялись рабочие за приведение в порядок и ремонт дома Серафимовича.

Этот дом был основательно испорчен немецкими оккупантами, разрушены были все надворные постройки и изгородь, вырублен фруктовый сад.

Много изобретательности и выдумки приложили строители при ремонте, так как материалы — доски, бревна, кирпич, краски — в этот период (после оккупации) трудно было достать.

Глубокое уважение и любовь к своему Серафимовичу руководили рабочими, и дом был готов задолго до прибытия писателя.

Вместе с Серафимовичем приехали его супруга Фекла Родионовна и внучка Светлана.

На второй день я посетил Александра Серафимовича по некоторым делам. Несмотря на ранний час, писатель уже беседовал с двумя очень пожилыми колхозниками из сельхозартели им. Комсомола. Один из них жаловался на своего председателя колхоза, который пьянствовал в последнее время.

Спокойно, с улыбкой выслушав своих ранних посетителей, Александр Серафимович пообещал крепко поговорить с их председателем и секретарем райкома партии и пригласил их позавтракать с ним. Несмотря на их отказ, он все-таки усадил их за стол. Более полутора часов провели казаки у писателя.

Подобное гостеприимство Александра Серафимовича было обычным, редко кто из его посетителей не сидел гостем вместе с ним за столом.

Большим радушием и гостеприимством отличалась и Фекла Родионовна, спутница великого писателя. Почти ежедневно к ней приходили десятки женщин. Для всех она находила ласковое слово, живое сочувствие и сердечное отношение.

Как-то группа рабочих, 12—15 человек, заканчивала работу во дворе дачи. Александр Серафимович, поблагодарив их за посадку деревьев, пригласил за стол. Ссылаясь на то, что они в грязной рабочей одежде, рабочие стали было отказываться.

— Да что же вы за казаки, что отказываетесь от угощения? — шутливо упрекнул их Александр Серафимович.

— У нас и хохлы есть, — так же шутливо ответил кто-то из рабочих.

— Ну, хохлы — родные братья казакам. В сторону все церемонии! — И Александр Серафимович увел всех к столу.

Далеко за полночь засиделись коммунальники, ведя сердечные, простые разговоры со своим «стариком», пели казачьи и украинские песни.

Запомнилась еще одна черта писателя — его забота о здоровье трудящихся. Он очень интересовался работой городской поликлиники и не раз обращал наше внимание на усиление профилактической работы среди населения. Он очень отрицательно относился к курению. Разговаривая с человеком, он обычно задавал вопрос — не курит ли собеседник. И если он был курящим, Александр Серафимович принимался сердито упрекать его и даже пугать: что, дескать, ты стремишься раньше уйти из такой прекрасной жизни? Зачем травишь себя? Заботишься о своей преждевременной смерти?

Особенно он любил детей. Они тоже любили его. В первом спецдетдоме Александр Серафимович был частым гостем. Иногда его, вместе с внучкой Светланой, можно было видеть и в корпусах, и в пионерских комнатах — окруженного детьми, жадно, с сияющими глазами и радостными улыбками следящими за каж-

дым словом своего дедушки — так дети его называли. Он многое сделал для детдомов города в наведении в них порядка: добился значительного улучшения снабжения их продуктами, помог организовать шефство одной воинской части над этими спецдетдомами.

Летом он часто прогуливался по городу или по берегу Дона, окруженный детворой. К вечеру, с букетами цветов, Александр Серафимович в сопровождении детей возвращался к себе. Он ни в чем им не отказывал, и они его беззаветно любили. Однажды ребята ухитрились даже «похитить» своего дедушку. В середине одного жаркого августовского дня Фекла Родионовна позвонила мне по телефону, тревожась, что Александр Серафимович ушел с утра из дома и его до сих пор нет. Не у меня ли он задержался?

Оказалось, что дети уговорили Александра Серафимовича покатать их по Дону на катере. Много было потом веселых разговоров об этой поездке, о рыбалке с дедушкой, его рассказах о старине, о героях Красной Армии.

Александр Серафимович страстно любил реку, ее величавое течение, рыбную ловлю. Еще до войны им был приобретен и специально оборудован катер-моторлодка. В годы войны и оккупации эта лодка обветшала. В 1946 году, по просьбе писателя, ее восстановили, вновь покрасили и спустили на воду. Но, к сожалению, только два или три раза пришлось Серафимовичу проехать по Дону. Ухудшившееся состояние здоровья лишило его любимого удовольствия.

Александр Серафимович любил кино, очень интересовался новыми фильмами. «Вы меня почаще беспокойте новинками,— обращался он к заведующей Валентине Николаевне при посещении кинотеатра,— нельзя по телефону, так записочку присылайте, да содержание не забудьте сказать»,— просил он. После сеанса обязательно благодарил за показ картины, а иногда и сетовал на то, что картина неудачна. Он очень радовался расширению киносети в районе. «Обязательно добейтесь, чтобы кино было в каждом хуторе».

Перед вторым своим приездом в город, в 1947 году,— это было его последнее посещение,— он прислал нам

письмо, в котором убедительно просил подготовить ему квартирку в две-три комнаты, вместо большой дачи. «Нам хочется пожить в более тесном кругу и поуютнее, а дачу используйте для других целей — или музей краеведческий, или библиотеку там устройте»,— советовал он.

Выбрали небольшой домик, оборудовали кабинет, спальню и столовую. Вскоре приехал и Александр Серафимович. Домиком и двором с садиком, выходившим на крутой берег Дона, он остался очень доволен. Прекрасный воздух, обилие зелени, тишина создавали хорошие условия для отдыха, столь необходимые для здоровья писателя. Но ему недолго пришлось спокойно отдыхать. Примерно через месяц приехали первые гости из Москвы — сноха с внучкой Светланой, через некоторое время секретарь и другие лица. И Александр Серафимович снова перебрался на свою бывшую дачу.

В любое время двери дома Александра Серафимовича были открыты для всех. Он внимательно выслушивал посетителя и, если требовалась какая-либо помощь, тут же звонил по телефону, прося горсовет или райисполком разобраться в жалобе или просьбе посетителя.

Александр Серафимович принимал активное участие в районных мероприятиях,— будь то митинг, собрание граждан, совещание — он всегда находил для этого время.

Вот, например, 23 июня 1946 года в Доме культуры проводилось собрание горожан. Писатель был очень оживлен, до начала собрания весело беседовал с молодежью, шутил. После решения основных вопросов повестки дня он попросил слово.

Не спеша, по-стариковски, писатель подошел к трибуне. В начале своей речи он сердечно поблагодарил граждан за приветствие и пожелал всем присутствующим всего наилучшего.

«Вот вы сегодня решали сами очень большие дела в жизни города — о его бюджете, благоустройстве, а ведь раньше это было недоступно простому народу» — так начал свое выступление Александр Серафимович.

Затем он рассказал о том, как правила дворянская и купеческая верхушка в окружной Усть-Медведицкой станице, как недоступно было образование для простого казака и иногородних, о революционных волнениях в станице в 1905 году и затем очень горячо призвал граждан города к усилению работы по благоустройству.

«Ведь теперь все в ваших руках — и капиталы, и техника, и власть своя — народная. Так давайте сделаем наш город хорошим, замечательно благоустроенным, сделаем его городом-садом. Вы уже много сделали по его озеленению, но надо, чтобы на каждой улице, в каждом дворе были фруктовые деревья: яблони, вишни, груши — украшали быт нашего замечательного советского человека. Надо сделать так, чтобы в наших парках, которые, к слову сказать, еще не особенно густы, чтобы и там было обилие фруктовых деревьев. Что может быть лучше цветущего фруктового сада?»

Этот призыв писателя нашел самый живой отклик в сердце каждого жителя города. Только в 1947 году в городе было посажено около пяти тысяч фруктовых деревьев.

Второй случай, вспоминающийся мне, также характерен для Александра Серафимовича — неутомимого энтузиаста и заботливого хозяина города.

Однажды, возле Горбачевской площади, недалеко от дачи Серафимовича, началась работа по восстановлению дороги, разрушенной во время оккупации. Как-то незаметно в самой гуще народа оказался и Александр Серафимович. С большим усилием он взмахивал тяжелой лопатой и насыпал в тачку землю. Еле-еле удалось отнять у него лопату — при его тяжелой болезни он подвергал себя большому риску. Его окружили, уговаривали, а он долго сердился, что не дали и ему поработать в бригаде. Но ребята заверили, что «причитающаяся на его долю работа» в десятки раз уже перевыполнена. И действительно, эта бригада вместо трех дней выполнила свое задание за один вечер.

Александр Серафимович являлся бессменным депутатом городского Совета депутатов трудящихся. И на этом большом посту он, несмотря на преклонный возраст и тяжелый недуг, был одним из активнейших деятелей. Во время своего пребывания в городе он не

пропустил ни одной сессии городского Совета и часто участвовал в заседаниях исполкома горсовета.

На одной из сессий горсовета депутатов трудящихся города, 12 июня 1946 года, обсуждались два вопроса — о бюджете и о дальнейшем развитии черкасовского движения [1].

Александр Серафимович очень интересовался ходом восстановительных работ в городе. К слову сказать, после оккупации городское хозяйство и около 90 процентов коммунальных домов были полностью разрушены, и их восстановление требовало не только больших затрат и материалов, но и очень большого количества рабочих и квалифицированных специалистов. Были восстановлены и сданы в эксплуатацию ГЭС и водопровод, свыше 70 процентов жилых домов отремонтированы и заселены трудящимися города. Особую радость Александра Серафимовича вызвало решение о посадке осенью этого года четырех тысяч фруктовых деревьев и сообщение П. К. Федоровой — директора спецдетдома — о закладке на пустыре двух гектаров фруктового сада для детей. Очень радовался Александр Серафимович успехам черкасовских бригад, самоотверженно трудившихся после работы на восстановлении города. Большинство рабочих и служащих, а также и домохозяйки к середине года уже перевыполнили взятые обязательства — отработать на восстановительных работах по 50 часов.

Приветствуя и горячо одобряя все это, Александр Серафимович призывал не опускать руки из-за отсутствия строительных и других материалов. Куда только он не обращался с просьбами об отпуске средств и материалов для города. Посылались письма в Сталинградский облисполком, различные министерства, в Совет Министров.

Очень большую помощь оказал Александр Серафимович в восстановлении городского транспорта. При его помощи горсовет получил семь автомашин для нужд коммунального хозяйства, что позволило более успешно вести восстановление города.

---

[1] Движение энтузиастов, работавших по восстановлению города в свободное от работы время. Инициатором был Черкасов, именем которого и было названо движение.

Долгое время мы не могли наладить работу органов связи. Плохо было с телефоном, не всегда своевременно доставлялась почта, маломощный радиоузел не мог обслужить даже третьей части города. При активном участии Александра Серафимовича в городе в очень короткий срок была установлена полуавтоматическая телефонная станция, мощный радиоузел, что позволило радиофицировать и город и ближайшие колхозы. Первая полученная автомашина обеспечила своевременную доставку почты. Как-то заведующий городским коммунальным отделом К. А. Полянский поделился своей думкой, что-де неплохо было бы заполучить для города такой же мост, какой был построен в Калаче для съемок кинофильма «Оборона Сталинграда», хотя бы трофейный, из непригодных для Советской Армии.

С этой мыслью мы пришли к Серафимовичу. Как всегда спокойно выслушав и улыбнувшись, он шутливо спросил:

— А выйдет ли из этого что-нибудь?

Мы ответили:

— Мост выйдет, Александр Серафимович, и люди не будут так страдать из-за переправы.

— Ну, если выйдет, давайте хлопотать! — И тут же составил письма с просьбой об отпуске одного из трофейных, негодных для армии понтонных мостов. Посланные в Москву представители побывали в соответствующих учреждениях и добились получения понтонного моста. Но Александру Серафимовичу уже не пришлось порадоваться новому приобретению города — его уже не стало.

Вспоминается последнее посещение и проводы Александра Серафимовича. Это было в конце октября 1947 года.

Вечером у него на даче собралось много районных и городских работников, представителей учреждений и просто знакомых писателя. Как всегда, Александр Серафимович и Фекла Родионовна радушно всех пригласили к столу. После ужина Александр Серафимович попросил всех спеть любимые казачьи песни. Он особенно любил песню о дубе и березке, которую с душой исполнила П. К. Федорова.

Прощальная беседа затянулась далеко за полночь, и, заметив крайнее утомление Александра Серафимовича, несмотря на его просьбы не уходить, мы разошлись, еще раз сердечно пожелав радушным хозяевам доброго здоровья на многие годы. Наутро Александр Серафимович, уже навсегда, покинул свой родной город...

1959

Константин Симонов

ЧИСТОТА И НРАВСТВЕННОЕ ВЕЛИЧИЕ

Я в то время был еще совсем молодым писателем, и мне не довелось в предвоенные годы встречаться и беседовать с Серафимовичем. Единственно, что отчетливо сохранилось в моей памяти,— это совместная поездка с Александром Серафимовичем в сентябре или начале октября 1943 года в Третью армию, которой командовал тогда Александр Васильевич Горбатов. После освобождения ею Орла армия стояла, помнится, юго-западнее Орла, главным образом, во всяком случае если говорить о большинстве ее частей и соединений,— во втором эшелоне. Армия отдыхала и пополнялась.

Армейская газета Третьей армии проявила хорошую инициативу и, воспользовавшись этим затишьем, организовала поездку в армию группы московских писателей, главным образом известных, немолодых, не входивших во время войны в число военных корреспондентов. В этой группе, насколько мне не изменяет память, были Константин Александрович Федин, Всеволод Вячеславович Иванов, Борис Леонидович Пастернак и Александр Серафимович Серафимович, к тому времени шагнувший уже в такой возраст, что, казалось бы, для него не могло быть и речи о поездке на фронт.

Однако он с охотой откликнулся на первый же разговор об этом, очень захотел поехать и настоял на своем.

Поездка писателей в Третью армию, как мне кажется, продолжалась что-то около двух недель или десятка дней. Так случилось, что я тоже участвовал в этой поездке первые три-четыре дня, после чего уехал выполнять другое задание редакции «Красной звезды», в которой работал.

Ехали мы из Москвы на машине, на «додж $^3/_4$». Возможно, с нами шла еще и «эмка» или «виллис»; не помню, сидел ли Александр Серафимович в кабине «доджа» или ехал в «эмке» или «виллисе». Во всяком случае, ехали вместе. Ехали через Карачев, потом свернули на фронтовые дороги.

Помню то состояние глубокого уважения к Александру Серафимовичу, в котором я тогда находился. Мне было двадцать семь лет, и я испытывал молодое изумление перед этим человеком, казавшимся мне тогда таким бесконечно старым по возрасту, что у меня в голове как-то не сочеталось понятие — Серафимович и понятие — фронтовая поездка.

Однако все так и было: Серафимович совершал фронтовую поездку, может быть вспоминая в эти дни свое участие в гражданской войне, на которой он был военным корреспондентом — тоже уже в далеко не молодом возрасте.

Помимо живого, доброго, страстного интереса ко всему, что видел Серафимович в армии, у него была еще одна постоянная забота: не дать своим спутникам почувствовать его возраст, не позволить им, в силу этого возраста, что-то сократить в нашей программе, или отменить, или устроить лишний отдых или привал, или раньше устроиться на ночлег, или позже встать для того, чтобы заниматься делами.

Помню, что на вопросы, как он себя чувствует, он неизменно отвечал одним словом: «Великолепно». Надо было видеть при этом его торжествующую улыбку. Он и в самом деле хорошо себя чувствовал в эту поездку и очень радовался этому.

Когда же его спрашивали, не надо ли сделать привал, не хочет ли он отдохнуть, не стоит ли отложить следующий переезд до следующего дня, — он неизменно отвечал кратко и решительно: «Ни в коем случае». Всегда одной и той же формулой, при всей его доброте звучавшей в его устах достаточно категорически.

Не могу через столько лет припомнить всех подробностей первых трех-четырех дней этой поездки. Могу только сказать, что мы все, люди разных возрастов, темпераментов, литературных вкусов, все, кто участвовал в этой поездке, испытывали дружное чувство восхищения перед Серафимовичем. И что гораздо важней — это чувство восхищения и какого-то восторженного удивления испытывали солдаты и офицеры в тех частях, где выступал в эти дни Серафимович, где он бывал.

В этом глубоком старике была какая-то удивительная чистота и нравственное величие, которое с особенной остротой ощущают воюющие люди.

1976

Михаил Аметистов

НА ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ



Батальон капитана Будняцкого после ночного марша к передовым позициям остановился на привал. Уже светлело небо, когда солдаты вповалку легли на сентябрьскую росную траву по склону лесного оврага. Втиснулся и я между замполитом и связистом — утро было прохладное, хотелось согреться. Задремывая, услышал шум подъезжавшей машины. Она остановилась неподалеку. Приподнявшись на локте, я увидел, как с переднего сиденья «виллиса» медленно сходит невысокий человек в пилотке, в шинели внакидку и так же медленно идет к спящим, сопровождаемый штабным майором, которого я знал. Майор что-то тихо сказал часовому, тот вытянулся, и приезжие молча прошли мимо меня.

Что-то очень знакомое было в наружности весьма пожилого человека в солдатской шинели без погон, в его калмыковатом лице, в белых встопорщенных усах... Батюшки, да ведь это же Александр Серафимович Серафимович! Откуда?! Почему здесь? Вскочив, я подошел к идущим, довольно громко поздоровался. Писатель коротко глянул на меня и приложил палец к губам, другой рукой указывая на спящих солдат. Осторожно шаркая по траве, он продолжал идти, иногда останавливаясь,— вглядывался в лица лежавших, задерживал взгляд на покрытых каплями росы касках. Я было хотел разбудить командира батальона, но майор тихо сказал: «Не надо, он просил

никого не беспокоить» — и глазами указал на Серафимовича.

А он все той же медленной старческой походкой проходил вдоль спящих и снова останавливался, и взгляд его был добрым и озабоченным. Как хотелось мне узнать, о чем думает этот человек, известный всей стране по его роману «Железный поток», по публицистике, по речам на различных форумах, а мне к тому же известный по довоенным встречам в Воронеже, откуда я ушел на фронт в редакцию армейской газеты Третьей армии «Боевое знамя».

Только когда мы поднялись к машине, я назвался Александру Серафимовичу, и он, видимо припомнив, стал расспрашивать о воронежцах — писателях Максиме Подобедове, Ольге Кретовой, Викторе Петрове и других. Мало что мог я сказать, кроме того, что они были в эвакуации, а теперь, вероятно, вернулись в родной город. Связи были потеряны в первые годы войны, восстанавливались медленно.

— Всех разбросала война,— вздохнув, заметил писатель,— но она же и соберет! Для этого и идут вот эти славные ребятки — И он снова окинул медленным и теплым взглядом отдыхавший внизу батальон...

Для меня появление Александра Серафимовича в зоне действий нашей армии было неожиданностью. Мы, журналисты солдатской газеты, уже несколько недель были оторваны от штаба и политотдела армии, шли вместе с наступающими частями, передавая корреспонденции «с оказией», порой даже не знали, где дислоцируется редакция. Тем более не знали армейских новостей, в частности и того, что на фронт прибыла группа видных писателей. Возглавлял группу Александр Серафимович. Вместе с ним приехали из Москвы Константин Федин, Всеволод Иванов, Петр Скосырев, поэты Борис Пастернак и Павел Антокольский. Приглашение командарма гвардии генерал-лейтенанта Александра Васильевича Горбатова и Военного совета передал литераторам майор Семен Трегуб, в то время сотрудник нашей газеты. За писателями был послан «додж», и они проделали на нем путь от столицы по освобожденным нашей армией местам Орловщины. Ехали тогда, когда, как говорится, еще не остыл пепел деревень, сожженных отступающими гитлеровцами,

Наши гости встречали по дороге советских людей, вызволенных солдатами уже далеко от их родных мест и возвращавшихся на пепелища. Проезжали по местам, одни названия которых вызывали душевный трепет: Красивая Меча, Чернь, Бежин Луг, Спасское-Лутовиново, Мценск... Ехали по тургеневским, лесковским, бунинским местам.

И всюду, где проходил «додж», виднелись следы ожесточенных боев — воронки от авиационных бомб и артиллерийских снарядов, совершенно фантастические клубки колючей проволоки, черные громады сожженных немецких и наших танков, развороченные брустверы вражеских окопов и красные звезды скромных обелисков на могилах наших погибших солдат.

Здесь прошло Орловское сражение — часть великой битвы на Курской дуге. События развивались так, что в центре наступательных боев начиная с 12 июля оказалась наша Третья армия. Долго мы стояли в обороне по извилистой и неширокой реке Зуше, вплотную подойдя к древнему Мценску, вернее, к его развалинам, отвлекая на себя немалые силы противника. И когда гитлеровские танковые армады выдохлись на Курской дуге, когда наши войска превратили их в железный лом, пришел черед наступать и Третьей армии.

Прорыв обороны на Орловском направлении был совершен в районе села с удивительно русским, притягивающим к себе названием Вяжи Завершье и прилегающих к нему деревень Измайлово и других. Ожесточенные бои продолжались на всех водных рубежах перед Орлом. Небольшие речушки Олешня, Оптуха и солидная Ока служили немцам как преграды, усиленные мощными оборонительными сооружениями. Чтобы их преодолеть, потребовалось искусство и опыт командиров всех степеней и беззаветное геройство солдат. Перед Орлом немцы не бежали, а пятились и каждый шаг назад делали под жесточайшим нашим напором. Так продолжалось до 5 августа, когда по приказу генерала Горбатова Орел был взят в клещи и немцы буквально выдавлены из него. Первыми ворвались в город солдаты полка майора Плотникова из дивизии полковника Кустова. Эта дивизия получила звание Орловской.

К слову сказать, вспомнился мне любопытный эпизод, случившийся в первые часы после освобождения старинного русского города и о котором я рассказал Александру Серафимовичу, а он с интересом и хорошей улыбкой выслушал.

Уж не помню, кто из моих дивизионных друзей одолжил мне «виллис», и, маневрируя в нем среди бесчисленных солдатских колонн, танков, артиллерийских упряжек, разыскивал я на орловских улицах дивизию Кустова. Наконец увидел полковника. Он сидел на деревянном крылечке одноэтажного дома, был запылен, видимо, очень устал, крупными глотками пил из фляги холодную воду, принесенную ординарцем.

А над головой полковника Кустова я вдруг увидел грубо намалеванную вывеску — сапог с кривоватым голенищем и надпись: «Сапожных дел мастер Кустов». Охнув от неожиданности, я показал полковнику на вывеску. Кустов глянул, чуть усмехнулся и сказал:

— Это самое большее, что «новый порядок» мог дать русскому человеку.

И, помолчав, добавил:

— Они хотели все возвратить «на круги своя», как говорили пифагорейцы. — Он невесело рассмеялся и добавил с каким-то ожесточением: — Я в молодости портновским подмастерьем был, ходил по деревням, старье мужикам перешивал. Да ведь это когда было — при царе Горохе... А они... куда они полезли? — с изумлением заключил он и, вытащив портсигар, закурил.

А Александр Серафимович после этого рассказа стал говорить, каких необыкновенных людей встречал на фронтовых дорогах. Его интересовало все: образовательный ценз солдат и офицеров, их довоенное житье-бытье, отношения между командирами и рядовыми, братство людей разных национальностей; особенно внимательно слушал он рассказы о стойкости и боевом порыве солдат, находя подтверждение своим мыслям о чисто национальных чертах русских людей в солдатских шинелях.

Почему я уверенно говорю о мыслях писателя? Потому, что они нашли свое выражение в публицистическом очерке Серафимовича, опубликованном в сборнике «В боях за Орел», посвященном людям армии генерала Горбатова и выпущенном в свет Политиздатом в 1944 го-

ду тиражом — «по военному времени» — всего пять тысяч экземпляров. В наши дни эта книга стала библиографической редкостью, и я позволю себе процитировать несколько строк из очерка Серафимовича «Это не чудо».

Размышляя над тем, как могла Красная Армия после тяжкого сорок первого года набраться сил для мощных наступательных операций, писатель остро полемизировал с буржуазной печатью, объявившей победы наши в 1943 году «чудом». «Нет, не чудо! — писал Александр Серафимович. — Это вытекает из всего внутреннего строя русского солдата. Если русские солдаты умели замечательно драться за Россию, в которой их чудовищно эксплоатировали заводчики, помещики, плутократы, и этого солдата нужно было не только «убить», но и «повалить» (речь идет о знаменитой фразе Фридриха II. — *М. А.*), то как же возросла после революции эта неохватимая народная сила!..»

И он искал признаки этой «неохватимой народной силы» в разговорах с солдатами, и молодыми и пожилыми (а таких было немало), особенно обращая внимание на связь и единство поколений. Что поражало меня, так это душевная открытость его и тех, с кем он общался. Люди раскрывались перед этим старцем, прикладывавшим руку с рупором к уху, причем старались говорить внятно, ясно, чтобы излишне не затруднять писателя.

Как-то на опушке леса увидел я Серафимовича, окруженного группой молодых солдат, и услышал короткий диалог. Пробиваясь поближе к писателю, лихой артиллерист небрежно спросил:

— Это что за старикан?

И услышал в ответ насмешливое:

— Дубина ты! Это же «Железный поток»!

— Да ну?! — изумленно протянул лихой и, ожесточенно расталкивая односумов, стал протискиваться поближе...

«Железный поток» знали все: и те, кто прочел его в двадцатых годах, тотчас же по выходе в свет, и те, кто в предвоенные годы «проходил» роман в средней школе. Приездом Александра Серафимовича воспользовались политработники. На одном из малых привалов слышал я короткую безыскусственную беседу

ротного политрука. Он говорил о Таманской армии, о ее нечеловеческом упорстве в том, воспетом писателем походе и, по мере своих сил, «увязывал» историю с нашей фронтовой действительностью, рассказывая о сегодняшних и вчерашних подвигах сидевших перед ним солдат. И резюмировал:

— Вот вчера был у нас писатель, который написал «Железный поток». Видели вы его и слышали. Так он же писал о таманцах — голых, босых, но с железной верой в сердцах. А мы имеем все для победы: и танки, и орудия, и обувку, и одежу (и, поскольку раздалась команда «подъем», закончил),— так вперед, на освобождение наших братьев и сестер!

Быть может, теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, такая беседа покажется наивной. Но как не вспомнить знаменитое «Певец во стане русских воинов»?!

Он был одинаков в беседах с солдатами и генералами. На обеде, устроенном Военным советом армии для гостей-писателей, к Серафимовичу подошел генерал Еремин, заместитель командующего по тылу. Генерал шутливо попросил разрешения «доложить», что в 1917 году рабочим парнем он был у Серафимовича дома на Красной Пресне и что дружил со старшим сыном писателя. Александр Серафимович полуобнял Еремина, всмотрелся в его лицо и тихо сказал:

— Я всегда знал. что мой старший умел выбирать друзей.

Особенно внимательно он присматривался к командарму Александру Васильевичу Горбатову, который, несмотря на предельную занятость, находил время для задушевных бесед с гостем. Крестьянский сын, солдат-гусар времени империалистической войны, георгиевский кавалер, а теперь полководец, одержавший блистательную победу под Орлом, и пролетарский писатель явно нравились друг другу, подружились. Дружба эта продолжалась и в Москве до самой смерти Александра Серафимовича.

Что еще сказать о тех далеких днях? Армия с боями вошла в истерзанную врагом Белоруссию, писатели, приобретшие множество друзей, вернулись в Москву и не остались в долгу перед фронтовиками: книга «В боях за Орел», о которой упоминалось, хранит на своих стра-

ницах живые впечатления литераторов, побывавших в действующих частях, она — свидетель их преклонения перед героизмом советских воинов. Часть тиража была прислана к нам на фронт. Военный совет армии награждал этой книгой участников боев за Орел. Как драгоценную реликвию храню ее и я. И еще: напоминает этот сборник мне о встречах с писателем, которого я искренне любил.

1976

Солнце победы всходит! Тыл и фронт едины в этой борьбе.

А. С. Серафимович (1942 г.)

Е. Востоков

НА ФРОНТЕ

Александр Серафимович прибыл с группой писателей на Орловско-Курскую дугу... Если бы я не увидел его своими глазами среди бойцов нашего фронта, не поверил бы. Ведь в это время писателю было почти 80 лет. Приезд его в эти дни жарких боев в войска, а потом в Орел, после того как он был освобожден нашей армией,— еще одно свидетельство такой нераздельности жизни писателя с жизнью и борьбой народа, такой слитности с его судьбами, которые могут быть присущи только закаленным бойцам нашей партии.

Мне говорили, что, когда Серафимович приехал, уставший после длинной и трудной дороги, он не захотел отдыхать и отказался наотрез от «персонального» блиндажа и тех скромных удобств, которые заботливые политработники способны были создать для известного писателя в условиях боевой обстановки. И вот когда я увидел его среди солдат и командиров, возбужденного, с пытливым взглядом, я испытал чувство радостного волнения.

Простой, живой разговор, теплое пожатие рук солдатам, только что вышедшим из боя, и умение опытного агитатора сказать свое ободряющее отеческое слово, выразить искреннее удивление мужеством наших воинов и дать совет — бе-

речь себя в бою — все это я помню до сих пор. А сегодня, спустя уже более тридцати лет после этой встречи, мне подумалось, что ведь вот у нас в армии существует прекрасная традиция зачислять навечно в строй тех солдат, матросов, кто совершил воинский подвиг. Жизнь таких героев как бы продолжается после их смерти, их имена выкликают на перекличках, их койки с портретами остаются в казарме, а их мужество и патриотизм воспитывают, вдохновляют на подвиги живых. Эта традиция закреплена законом, но она, к сожалению, не распространяется на писателей. Что касается таких, как Серафимович, то, подобно Н. Островскому, Д. Фурманову, он, самой его подвижнической жизнью, навечно остался в нашем боевом строю. И когда мы спрашиваем о любимых писателях у солдат, то Серафимовича «выкликают» одним из первых.

«Железный поток» продолжает свою жизнь, он ширится и охватывает своим революционным горячим дыханием все бо́льшие и бо́льшие массы нашей молодежи, воюющей, учащейся, строящей.

Приезд на фронт был для Серафимовича привычным выполнением гражданского долга. Он любил «военное дело», говорил мне Александр Исбах, был метким стрелком, снайпером. «Железный поток» сначала его самого захватил в жизни. В огне гражданской войны нашел он своих героев, прежде чем воплотить их образы в романе. Он писал Кожуха, кажется, не пером, а штыком, сердцем своим, таким, каким представлял себя, если бы сам был на его месте, в невероятно жестоком и романтическом водовороте событий.

Вероятно, поэтому Кожух и его соратники продолжали воевать с нами плечом к плечу в войне против гитлеровцев.

Помню, как комиссар батальона Николай Никонов в дни зимнего Курского наступления, когда мы совершали под огнем противника тяжелый переход, на привале читал бойцам наизусть отрывки из «Железного потока». И пусть вокруг нас расстилалось белоснежное покрывало и наши лица и руки жег не знойный ветер донских степей, а морозная вьюга,— с нами была та же неудержимость и большевистское бесстрашие, что владели героями «Железного потока», они так нужны были нам тогда...

Мы читали как поучительные для нас уроки жизни корреспонденции А. Серафимовича в «Красной звезде» с Донского фронта и из областей Северного Кавказа, после освобождения их от фашистов,— «Веселый день», «На хуторе», «На Дону».

Когда после войны мне довелось рыться в Государственном архиве, я встретил на страницах газеты Сталинградского фронта «Красная Армия» статью А. Серафимовича «Отстоим Дон и Волгу! Отстоим Русь-матушку!» (от 12 июля 1942 г.). Я не мог без волнения читать строки, оживившие в памяти ту силу уверенности в победе, которую все мы, как и автор статьи, испытывали в тяжелейшей обстановке кровопролитных оборонительных боев. Писатель, сам служивший когда-то в армии, бывавший не раз на наших маневрах в 1933—1936 годах, глубоко знал психологию солдата, близко к сердцу принимал его чувства и мысли. Он хорошо понимал, что в этой обстановке не общими фразами, а конкретным указанием на реальные возможности для достижения победы над врагом можно морально поддержать солдат. Вот эти мудрые, отеческие слова: «Натиск немецких орд разобьется о две грозные для них линии — донскую и волжскую. Порукой этому являются и водные рубежи, выгодные для обороны, и подготовленность нашего командования к обороне в этом месте, и то, наконец, что за время этого наступления враг уже понес огромные потери в людях и технике. Но самым главным залогом успеха является дух героической Красной Армии, отстаивающей родную землю и уверенной в победе над фашистами... В бой, товарищи! Победа будет за нами!» (№ 205 за 1942 г.). Другую свою статью он закончил призывом: «К оружию, донцы! Смерть фашистам!» (газ. «Красная Армия», № 209 за 1942 г.).

А разве можно забыть нам, фронтовикам, очерк Серафимовича «На освобожденной земле», опубликованный зимой 1943 года в моем родном журнале «Красноармеец», в котором уже много лет мне приходится работать членом редколлегии!

Работа писателя Серафимовича — это большая школа для наших молодых прозаиков, публицистов.

Мне не только как политработнику, но и как художнику хотелось бы еще сказать о том огромном

влиянии, которое оказал опыт Серафимовича, писателя-баталиста, на наше изобразительное искусство. Ведь именно «Железный поток» толкнул многих художников нескольких поколений на создание живописных произведений о Таманском походе. Таковы полотна К. Савицкого, П. Соколова-Скаля и А. Кокорина, запечатлевшие эту героическую эпопею.

Судьба особенно близко свела меня, уже после Великой Отечественной войны, с Павлом Петровичем Соколовым-Скаля. Мне кажется, что революционный пафос его большой эпической картины «Таманский поход» особенно сродни живописи словом Серафимовича. Как свидетельствовал сам художник, создавая эту картину, он все время возвращался к литературным образам «Железного потока». «Я считаю — и в этом меня не переубедишь,— говорил он,— что А. Серафимович в литературе — это то же, что Греков в живописи,— они баталисты настоящие, каких не знала и не могла знать дореволюционная армия».

В самом деле, грековская донская степь, его образы красноармейцев, эпические и простые, овеянные зноем раскаленного воздуха, и те герои, что встают перед нами со страниц «Железного потока», созданы верными бойцами революции, вдохновлены ею.

В 1947 году Кокорин иллюстрировал роман «Железный поток», а в 1950 году написал станковую картину «Таманский поход». В 1967 году он вновь выступил как иллюстратор издания романа, приуроченного к пятидесятилетию советской власти.

Недавно, вспоминая с А. В. Кокориным о его работе над «Железным потоком», мы вновь ощутили органическую взаимообогащающую связь литературного и изобразительного творчества. «Если бы я не был грековцем, военным художником,— заметил Кокорин,— то я бы не поднял это произведение, не решился бы взяться за ответственную и сложную задачу его иллюстрирования. Меня пленил язык народа, способность Серафимовича передать движение масс, чувства людей и подчеркнуть отдельные фигуры, наделенные чертами эпическими».

В наши дни «Железный поток», вероятно благодаря своей вулканической силе воздействия на читателя, правдивости и живописности, что далеко не всегда

присуще в такой степени каждому литературному произведению, переживает свое третье рождение. Советские воины не дают ему залежаться на полках библиотек наших войсковых и корабельных клубов, офицеры — слушатели военных академий — часто берут его темой своих сочинений и рефератов, а художники постоянно возвращаются к нему, видя в творчестве нашего любимого писателя высокое нравственное и патриотическое начало.

1976

Павел Федоров

НЕЗАБЫВАЕМОЕ


В начале декабря 1942 года состоявшая из трех неполных кавалерийских эскадронов ударная группа, которой мне довелось командовать, провела на Сычевском направлении в районе совхоза Никишкино очень тяжелый ночной бой. За сутки перед этим части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса при поддержке танковой бригады вышли в тыл, заняв полукруговую оборону, сковали крупные части противника из состава ржевской группировки. Видя, что на его тылы и фланги наступают наши полки, противник быстро опомнился, ввел в бой резервы: с севера, от станции Осуга, несколько рот автоматчиков, с юга, от Сычевки, внезапно подтянул бронепоезд. Наши небольшие заслоны были отброшены. Мы остались без продовольствия и боеприпасов. Танкисты слили из трех танков бензин и заправили одну приданную нашей группе «тридцатьчетверку». На рассвете танк под командованием лейтенанта Бурденко подкрался к бронепоезду, разбил несколько платформ, заставил его убраться в направлении Сычевки, где он на одном из полустанков сошел с рельсов.

Лишенный огневого прикрытия, батальон гитлеровских автоматчиков был атакован нашими кавалеристами и откатился к станции Осуга, откуда изредка все еще долетали снаряды тяжелых пушек.

Запомнилось стылое, морозное утро. Колючий ветер обжигал щеки, разнося по безлюдному селу

едкий дым. Догорали совхозные дома, зажженные снарядами бронепоезда, разбитые на линии железной дороги вагоны.

Мы зашли в один из дворов, где на фундаменте тлели последние бревна. Кругом валялись домашние вещи, трепетали на снегу белые листочки ученических тетрадей с поставленными красным карандашом учительскими отметками. Где сейчас их владельцы? Может быть, в ближайших лесах? Или превратились в эвакуированных скитальцев, а то в угнанных на чужбину рабов? Задумавшись над этим, я присел на корточки. Перебирая тетради и учебники, увидел запорошенную снегом небольшую по размеру книжку в густо-красном коленкоровом переплете. Взял ее, отряхнул от снега и прочитал на обложке: «А. Серафимович. «Железный поток». Одна из самых любимых мною книг! Обрадованный находкой, я спрятал ее в карман полушубка и тут же, пристроившись на опрокинутом комоде, стал писать в штаб дивизии второе по счету донесение, снова настаивая на подкреплении и немедленной телефонной связи. Я уже почти закончил свое послание, когда услышал за спиной хруст снега и негромкий разговор. Оглянулся. Отворачивая от жгучего морозного ветра бурые, потемневшие лица, придерживая — кто перчаткой, кто рукавичкой — концы серых башлыков, подходили командиры эскадронов лейтенанты Федор Матюшкин, Алеша Фисенко и командир минометной батареи лейтенант Георгий Бабкин. Поздоровавшись, Гога, как мы его в шутку называли, заметил:

— Ну что за место выбрали, товарищ начштаба?

— Не выбирал, — продолжая писать, кратко ответил я.

— Продует до костей!

— А скирда на что? — вмешался Матюшкин.

— И верно! — воскликнул никогда не унывающий Алеша Фисенко.

— Пошли под скирду,— предложил лейтенант Матюшкин.

— Идите, немножко остыньте... — ответил я.

Вскоре подошли командир 3-го эскадрона старший лейтенант Федор Грузинов и его замполит Петр Трапезников.

Дописав донесение, я тоже подошел к скирде и устало, с наслаждением присел на солому. Командиры, опустив башлыки, дремали. От разворошенных ржаных стеблей исходил успокоительный хлебный дух. Все тело и лицо, овеянное знакомой с детства пыльцой, приятно расслаблялись. На нас еще давил грохот только что закончившегося боя, скорбные, горькие мысли о боевых товарищах, которых мы потеряли в этой схватке.

Я хорошо понимал психологическое состояние дремавших рядом со мной командиров. За восемнадцать месяцев войны мне не раз приходилось убеждаться, что под артиллерийскую канонаду люди засыпают вовсе не от храбрости, а от больших, глубоких переживаний и страшной усталости. В прошедшую ночь они спали не более двух-трех часов. Я спал и того меньше — долго сидел в танке и при свете маленькой электролампочки «ездил» карандашом по карте, уточнял план боя, согласовывал его с командиром танка лейтенантом Бурденко. Перед рассветом поднял людей, спавших в совхозном коровнике, построил и зачитал подробный боевой приказ. Сейчас я слышал, как сладко посапывал мне в ухо лейтенант Алеша Фисенко.

«Пусть поспят, пока позволяет обстановка»,— подумал я и почувствовал, как закутанная башлыком голова сникла к воротнику полушубка. Только тот, кто длительное время сидел в опасной засаде или на ответственном дежурстве, знает, как трудно бороться со сном. Я отлично понимал, что спать мне нельзя. Мы хоть и выполнили задачу — взяли совхозный поселок,— теперь должны были во что бы то ни стало удержать его, вывезти трофеи, главным образом продовольствие, предназначенное противником для ржевской группировки, которая все еще удерживала этот город и считала его трамплином для прыжка на Москву... Я был уверен, что фашисты предпримут контратаку, попытаются снова закрыть участок прорыва. Поэтому, отдав приказание на подготовку к обороне, сразу же выслал в двух направлениях, по линии железной дороги, усиленную разведку с задачей: избегать стычек с противником, но не спускать с него глаз.

Над крышами уцелевших домов вовсю белело утро. За домами вставало солнце. Лучики его золотом плавились на дрожащих стеблях ржаной соломы. Нудно и методично били вражеские пушки. Чтобы отогнать сон, я достал из кармана книжку, раскрыл на сорок девятой страничке, прочитал, а на следующей так смеялся, что Фисенко открыл глаза и, тронув меня за рукав полушубка, спросил:

— Вы что, товарищ старший лейтенант? — Было чему удивиться командиру эскадрона.

— Ты только послушай! Послушай, яка ваша кубанска мова! — Я толкнул его локтем в бок и начал читать:

— «Я его у самую у сопатку я-ак кокну, он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж..., а он, сволочь, ка-ак тяпнет за ...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?»

Фисенко не выдержал, прыснул в рукавицу. Рядом зашуршала солома, откинулись со лба теплые кубанские башлыки, диковатые спросонья глаза командиров расширялись.

— «Що же вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?» — продолжал я читать.

«— Та що ж, як выпилы, — виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза.

— Дэ же вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопаны в саду двадцать пять бочонкив, мабуть с Армавиру привезлы, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построилы нас тай кажуть: колы возьмете станицу, то горилки дадим. А мы кажем: та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур. Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпилы, — а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

— Э-э, ссволочи! — подскочил солдат. — Як свыньи, — и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы. Его удержали...»

Все, кто слушали, были кубанцы, а Алеша Фисенко аж из-под самого Армавира...

Так и повеяло от этой родной мовы левадами да дынями да теми горячими денечками. До сна ли тут? Смеялись так, что скирда вздрагивала, и не сразу услышали голос Хандагукова, которого я посылал выбрать место для командного пункта.

Сначала он кричал, а потом свистнул по-разбойничьи, я понял, что все в порядке, и спрятал книгу в полевую сумку, еще не зная, какую верную службу она сослужила нам в этот нелегкий день.

— Поднимайтесь, товарищи ахвицеры, главнокомандующий меняет свой командный пункт,— шутливо сказал я и встал. Поднялись со своих теплых насиженных ямок все остальные, стряхивая с полушубков стебли соломы, двинулись за мной.

Навстречу нам шел Семен. Полы его полушубка были прострелены и ерошились клочьями шерсти. Я тогда еще не знал, что он ранен. Пряча в рукавичке простреленную, наспех перевязанную руку, доложил, что нашел подходящее укрытие.

— Блиндаж что надо, оборудован под домом. Офицеры фрицевские жили, перин и подушек натаскали и барахлишка всякого, и продукты есть.

...Едва успели отойти от соломы метров на двести — двести пятьдесят, как над нашими головами с отвратительным звенящим шелестом пролетел тяжелый снаряд, заставив нас запоздало поклониться. Сначала я увидел, как взлетела вместе с жердями скирда, где мы только что сидели, затем со вспыхнувшим пламенем раздался оглушительный грохот.

— А ведь... — заикнулся было лейтенант Бабкин, но тут же замолчал, наверное понял, что книга «Железный поток» теперь стала для нас добрым и мудрым спутником.

Блиндаж, куда нас привел Семен, на самом деле оказался удобным и прочным. Он находился в подвале каменного дома. Боковые стены были завалены толстым слоем земли, политой водой, крепко схваченной декабрьским морозом. Внутри в два яруса были устроены спальные места, застланные новенькими шерстяными одеялами, с большим количеством деревенских перин и подушек. Почти все верхние ярусы были завалены чемоданами с офицерским имуществом.

Внизу, под спальными местами, лежали ящики с продовольствием, вином, свежими фруктами, вплоть до апельсинов и лимонов. Мы знали, что совсем недавно на плацдарм «для прыжка на Москву» приезжал Гитлер и привез для близко стоявших от столицы частей эти дары. Сейчас все это вскрывалось, взламывалось. На длинный стол выкладывали консервные банки разных сортов, пачки галет, черный хлеб выпечки 1938 года, завернутый в целлофановую бумагу. Кое от кого уже ароматно попахивало офицерскими духами, ромом и коньячком. Решительно отказавшись от выпивки, я еще раз объяснил командирам сложность обстановки, в заключение сказал в категоричной форме:

— Тот, кто сегодня напьется пьяным, будет строго наказан!

После такого крутого разговора, к огорчению любителей выпивки, все напитки были собраны в одно место, укрыты брезентом — под ответственность моего коновода Калибека, совсем не употреблявшего спиртное.

Я приказал командирам немедленно ложиться спать, да и самому не терпелось скорее прилечь на одну из постелей, манящих своими возвышенными пуховыми подушками, набитыми с деловой хозяйской щедростью. У командира есть своя священная заповедь: он не ляжет спать, пока не сделает всех не терпящих отлагательства дел. Полным ходом шла сортировка и вывозка трофеев. За всем этим строго следили Семен и Калибек. Мне было не до этого: приехавший из штаба дивизии офицер связи по секрету сказал, что там не сразу поверили моим донесениям и сначала начальник оперотдела засомневался, а разбили ли мы бронепоезд и захватили ли совхоз. Очистив край стола, я быстро набросал схему своей обороны, указал место командного пункта. И снова дописал в донесении несколько горьких слов.

Теперь я мог немного отдохнуть, но не тут-то было. Из штаба дивизии вернулся отвозивший трофеи Семен Хандагуков, а с ним прибыли заместитель командира дивизии по политической части мой однофамилец полковник Михаил Алексеевич Федоров и командир разведывательного дивизиона майор Нилов.

Я вскочил и доложил обстановку.

— Читал, брат Федоров, твои донесения... Уж больно ты рассердился,— улыбаясь заговорил полковник.

— Мне же не поверили! — горячился я.

— Этому трудно было поверить,— признался Михаил Алексеевич.

— Слишком силы были неравные, потому и не верилось,— заметил майор Нилов.

— Отлично действовали! — подтвердил полковник.

— Один танк против бронепоезда и нескольких рот пехоты! Молодцы! — продолжал Нилов. — Начальник штаба дивизии полковник Жмуров оформляет на ваших людей наградные листы, а ты нас встречаешь совсем хмуро... Угостил бы чем бог послал... Мы тебе еще один танк прислали на левый фланг.

— Танкистам подвезли горючее. А когда они на своих железных конях — сила! Двадцатая дивизия должна выдвинуть сюда два кавалерийских полка с артиллерией,— продолжал Михаил Алексеевич, с аппетитом уничтожая разогретые на сухом спирте консервы, запивая их чаем с вареньем.

В это время блиндаж дрогнул от близкого разрыва. Я приказал оперативному дежурному Бабкину подняться по лестнице наверх и уточнить на левом фланге обстановку. Командиры так крепко спали, что никто не пошевелился.

— Нам тоже нужно малость вздремнуть,— сказал майор Нилов.

Приехавшие гости решили расположиться на отдых, но я категорически воспротивился этому, стал уговаривать, чтобы они отправились в Карпешки, где в совхозном сарае находились наши коноводы. Там было безопаснее, а тут каждую минуту обстановка могла осложниться.

— Ладно, майор, не станем их стеснять, да и все равно его не переспоришь,— согласился Михаил Алексеевич.

— Ну что же, в Карпешки так в Карпешки, там как раз мы оставили своих коней, — проговорил Нилов.

— Сам-то тоже отдохни наконец! — сказал полковник.

Я велел Хандагукову проводить их до Карпешек, остаться там и как следует обработать раненую руку. Мы попрощались.

Вот что написал мне в своем письме от 18 мая 1974 года ныне живущий в Волгограде полковник запаса Михаил Алексеевич Федоров:

«Дорогой Павел Ильич!

Письмо Ваше получил — такое сердечное и теплое, которое может написать только соратник, фронтовик, друг, переживший смертельную опасность и невероятно трудные испытания, горечь и радость в суровые годы Великой Отечественной войны. Такая испытанная дружба не забывается до самой смерти. Каждая встреча и письма заставляют вновь и вновь вспоминать все пережитое и вызывают теплые чувства к своим боевым соратникам. Но больше всех пришлось испытать Вам, Павел Ильич. Ведь мы Вас похоронили. А Вы назло фашистам выдержали все муки...

В своем письме Вы вспоминаете мое посещение совхоза Никишкино. Кроме угощения, Вы снабдили меня хорошими одеялами, которые я вручил своим комдивам — Михаилу Ягодину и Александру Курсакову. Действительно, выпроводили Вы меня с Ниловым (между прочим, очень настойчиво) вовремя. Ведь после моего ухода у вас начался сабантуй — ад кромешный. Товарища Нилова я хорошо знал по Дальнему Востоку — вместе служили в отдельном кавалерийском дивизионе. В той долине смерти, одновременно с Ниловым погиб и мой однополчанин майор Тяжев, заместитель командира полка, с которым я учился в кавалерийской школе в 1931 году».

Письмо друга радовало, волновало, будоражило память, заставляло вспомнить подробности событий более чем тридцатилетней давности. Талон на бессмертие — это строки воспоминаний и наши осколки в раздробленных костях. Встав перед зеркалом, я пригладил седые на висках волосы, надбровные дорожки морщин, прощупал гнездящиеся в правой руке металлические, от танкового снаряда, осколки, которые ношу в своем теле с той самой поры, долго и пристально разглядывал на старой фронтовой гимнастерке орден Красной Звезды за № 951827, полученный за тот самый ночной декабрьский бой.

Не раздеваясь, я прилег тогда после ухода Михаила Алексеевича на одну из постелей, вытянул усталые ноги, чувствуя, что сию же минуту усну как мертвый. Тело мое ослабело, глаза буквально слипались, но странное дело — где-то глубоко внутри сознание протестовало против сна. В то же время я был рад, что дал отдохнуть бойцам и командирам, обогретым, накормленным. Решил, что, пока не вернется лейтенант Георгий Бабкин, которого я уважал и нежно, по-братски любил, спать не буду. Вспомнив о «Железном потоке», я вынул его из полевой сумки. Не читал, а словно пил в жаркий полдень освежающую родниковую воду: «За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу. А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежды, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях собаки». До чего же знакомая картина! Я даже подскочил на постели. Все это мы видели в прошлом, 1941 году, когда советские люди с детишками и таким же точно домашним скарбом уходили от фашистов в глубь страны, посматривая на нас, конников, укоряющими глазами. И дальше: «Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки... Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки... Поют молодыми, сильными голосами украинские песни». И это все было родное, близкое, как тревожный стук сердца. Как тут уснешь! Душу охватило какое-то нехорошее предчувствие. Почему долго не возвращается Бабкин? Была у меня привычка, выработанная еще в особом кавалерийском пограничном полку: если в чем сомневаешься, еще раз проверь. Отбросив бурку, встал с постели, схватил автомат и разбудил крепко спавшего Калибека. Ни о чем не спрашивая, он взял свой карабин, и мы поднялись

с ним по крутым, скользким ступенькам бункера. После душного подземелья в лицо нам хлынул снежный вихрь, гоня струйки поземки. Посреди пустынной улицы маячила долговязая фигура лейтенанта Бабкина. Он странно пятился к входу в блиндаж, схватив рукой кобуру, нелепо кричал:

— Вот они, фрицы, вот!

Я взглянул вдоль улицы — и замер на месте. В сотне метров от меня, по левой стороне улицы, вяло и разболтанно двигалась цепь немецких солдат, человек девять — двенадцать. Вторая группа, примерно в том же количестве, шла с противоположной стороны. Видно было, как, нахлобучив пилотки по самые уши, они тоже привычно отворачивали лица от ветра, по ногам вихлясто мотались полы темно-зеленых шинелей... Это запомнилось мне на всю жизнь. Не будь книги «Железный поток», мы бы все уснули навечно... Однако размышлять было некогда. В какие-то доли секунды инстинкт самосохранения сработал помимо моего сознания. Мгновенно вскинув автомат, я дал длинную очередь сначала по одной группе, идущей гуськом по левому от меня посаду, а затем хлестнул свинцом по другой. Так же, стоя во весь рост, бил из карабина Калибек. Фигурки в темно-зеленых шинелях исчезли, словно растаяли... На снегу осталось несколько серых комочков. Приказав лейтенанту Бабкину поднять отдыхающих в блиндаже командиров, буквально засыпанный трассирующими пулями, я кинулся к фундаменту сгоревшего дома и повел огонь из своего ППШ. Рядом со мной очутился Семен. По-сибирски, неторопливо выбирая цель, стрелял одиночными из автомата, после каждого выстрела что-то кричал станковому пулеметчику, в задачу которого входило прикрытие командного пункта.

Продолжая отстреливаться, мы с Калибеком поползли к нему.

— Ты чего спишь? — крикнул я пулеметчику.

— Заело!..

Я прилег за щиток и поправил перекошенный в ленте патрон. Когда держишь в руках станковый пулемет, то чувствуешь себя куда спокойнее... Я уверенно повел огонь по дому, где засели вражеские автоматчики, поливая нас огненными трассами.

В это время из блиндажа успели выскочить проснувшиеся командиры и быстро заняли свои места. Услышав выстрелы и крики, повели огонь и другие пулеметные точки. Группа разведки противника, более двух десятков солдат, была уничтожена.

Мы снова в блиндаже. Про сон я и думать забыл. Сижу и читаю разведдонесения моих замечательных трудяг разведчиков Ивана Баловнева и Алеши Медведева. Они сообщали, что к ближайшему полустанку подошли три танка противника и пять машин пехоты. Пытаются отремонтировать поврежденный нами бронепоезд. А с востока к станции Осуга подошел второй — такого же класса. Из Сычевки на станцию Скобелево прибыли эшелоны с войсками и · техникой. Танки своим ходом съезжают с платформ и сосредоточиваются вдоль шоссе Сычевка — Ржев. Едва я успел написать и отослать донесение, как блиндаж снова сотрясли несколько взрывов. Выяснилось, что это наши опоздавшие к делу штурмовики бомбили фашистов... Огорчительно было провожать танкистов. Им подвезли горючее, и они ушли в открытый проход навстречу нашим наступающим войскам.

Вскоре прибыли обещанные полковником Михаилом Алексеевичем Федоровым два кавалерийских полка — 103-й подполковника Дмитрия Калиновича и 124-й майора Саввы Журбы.

Гремя по мерзлым крутым ступенькам ножнами кривой кавказской шашки, в сопровождении двух автоматчиков в блиндаж спустился Дмитрий Калинович.

Я подал команду встать, но подполковник, махнув снятой с руки кожаной перчаткой, дал понять, что ему сейчас не до церемоний. Сунув перчатку в карман белого полушубка, склонился к разостланной на столе карте, бегло пошарил темными чуть прищуренными глазами, сказал:

— Добре. — Увидев рядом с картой случайно оставленную мною книгу А. Серафимовича, пытливо взглянул на меня, листая ее, продолжил: — И над картой колдуем и книжечки в червонном переплете почитываем... Ого! Я бы сам возил с собой такую вместе с наставлением для полевых штабов. Огненное это, братцы мои, сказание о героях таманцах! Ладно, старшой, не трать время на доклад. Мне все известно. Дрались вы

молодцом! Будем считать, что участок твой принят. Полк майора Журбы на левом фланге, а мы на правом — до Белохвостова включительно. Туда мы с тобой еще проскочим. Розумиешь?

— Розумию, товарищ подполковник, только вот удержать участок... — Я откровенно высказал свои сомнения.

— Будем стараться! — не отрываясь от книги, закивал подполковник сдвинутой на затылок серой ушанкой и тут же, покосившись на прибывших с ним людей, хитро щуря умный глаз, добавил: — «Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания... — расстрел».

Кто-то из его свиты кашлянул и захлопал рукавицами.

— А вы не кашляйте, а скажите, як вы мозгуете? — держа перед глазами книжку, допытывался подполковник.

— А так и мозгуем, як вы сказали: будемо стараться... — ответил самый крупный и плечистый из его свиты конник с коричневым, обдутым всеми бурями и ветрами лицом, в лоснящемся, видавшем виды полушубке, увешанный гранатами, запасными дисками, подсумками, фляжками, как и мой стоявший за моей спиной коновод Калибек.

— Значит, ты, Мирон, не возражаешь? — дергая себя за темный чапаевский ус, спросил Калинович.

— Само собой! — ответил Мирон.

— Тут так и написано, да еще с закруглением, вот слушайте все: «Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания...» Чуешь, Мирон?

— Та чую!

— Ну и лады. А теперь, товарищ гвардии старший лейтенант, будь ласка, дай почитать! Убей бог, верну!

Не успел я и рта раскрыть, а Калинович уже прятал книгу в полевую сумку, приговаривая:

— Вот и спасибо, дружище, спасибо. Я тебе тоже какой-нибудь трофей подкину. За нами не пропадет. А сейчас, братка, добежим до Белохвостова и всё там обмозгуем.

...Сколько мы с ним в тот лихой час ни мозговали, к исходу дня противник силами двух батальонов при поддержке танков и бронепоездов повел наступление

одновременно на Никишкино и Белохвостово, вытеснил прибывшее подкрепление и поставил всю нашу группировку в очень тяжелое положение.

Вот что я записал в свою тетрадь, которую завел, находясь в 1943 году в Брянске, в офицерском госпитале:

«Подошедшие с двух направлений бронепоезда противника снова закрыли нам выход через линию железной дороги, а его танки оседлали ржевский большак и запечатали путь в лес в западном направлении. Семь кавалерийских полков с артиллерийскими дивизионами на конной и моторизованной тяге, более двухсот повозок и саней с боеприпасами и ранеными сгрудились в мелколесье на небольшой площади — между ржевским большаком и линией железной дороги. Оставаться на этом гиблом месте было нельзя. Над мелколесьем, завывая моторами, нас искала авиация противника. По рации получили приказ штаба фронта: прорываться через большак и уходить в глубокий тыл.

Никогда не забыть этого серенького, пасмурного утра. Семь колонн всадников выстроились в молодом заснеженном лесочке и ждут сигнала. Слышно, как громыхают гусеницами и беспорядочно стреляют из пулеметов фашистские танки. Ходят взад и вперед по ржевскому большаку, который мы должны пересечь. Мы еще ждем, когда по ним ударят с флангов наши пушки, которые выдвинул полк Дмитрия Калиновича,— ему оставляется вся артиллерия и обозы с ранеными. Как он все эти колеса и сани перетащит через большак? Вдоль шоссе протекала крохотная речушка, обозначенная на карте едва заметной синей нитью. До речушки нужно было продираться несколько сот метров через молодой лес, проросший кустами черемухи, можжевельником, осинами, лапчатыми елками, черноталом и суковатой прибрежной ольхой. За большаком расстилалось широкое поле, а за ним — примерно в двух километрах — начинался настоящий смешанный лес. Там было наше спасение. Пушки Калиновича ударили неожиданно, разнося по лесу тяжелый гул. Обеспокоенные кони тревожно завертелись на месте. Подо мною была горячая, необыкновенно резвая кобылица по кличке Флейта. Я легонько тронул ее шенкелем и поехал вперед. На правом фланге от меня шел

полк Капустина. Майор Капустин был ранен, и теперь этим полком командовал начальник разведотдела дивизии майор Федота. Между кустами мелькала его бурка, закрывшая до самого хвоста круп большой черной лошади.

Наконец колонны тронулись. Мы движемся по заданному азимуту, а вернее, шагом пробираемся сквозь кустарник строго на запад — туда, где грохочут вражеские танки. Только вперед. Свернуть куда-либо невозможно. Справа ломают кусты кони федотского полка, слева мелькают всадники штаба дивизии. Семь колонн идут на очень узком фронте. Идем ощупью. Слышим первые, особенно неприятно шипящие пули. Они шарят по верхушкам деревьев и сбивают прилипший к веткам снег. На флангах гулко бьют дивизионные и полковые пушки Дмитрия Калиновича. Не будь этого прикрытия, нам пришлось бы совсем плохо. Рвутся на рокаде снаряды наших пушек. Лес поредел. В пяти метрах от головы моей лошади затаенно возникла та самая безымянная речушка, заросшая ольшаником и занесенная мягким слоем пушистого снега. А впереди? Впереди на той стороне крутой обрыв в сорок пять градусов, предательски сглаженный белой снежной периной. А воздух так густо нашпигован шипящим свинцом, что позади кто-то коротко охнул и свалился с коня.

— Перевязать,— кратко говорю я и резко посылаю вперед лошадь, но она упрямится и пытается повернуть назад, чует опасность.

Нервы мои предельно напряжены, но я настолько собран, что не позволяю себе пустить в ход плеть, шепчу лошади что-то на ухо... Толкнув меня стременем в бедро, вперед вырывается мой коновод и, разогнав коня, погружает его в мягкий снег чуть ли не по самые маклаки. Калибек выпрыгивает из седла и тянет лошадь за повод, она бьет ногами и выбрасывает черную, перемешанную со снегом жижу. Видимо, речушка славится летом своими студеными родниками, а зимой не замерзает. С боков слышны стоны, ругань, крики: фырчат, ворочаются в грязи под пулями кони и люди. Я не выдерживаю, со злостью вонзаю шпоры в бока Флейты, и она вихрем переносит меня на ту сторону, только задними ногами чуть касаясь мягкого,

запорошенного снегом берега. Потом, как кошка, лежа на брюхе, царапает передними подковами крутизну... «Ну, голубка моя, давай, давай же»,— шепчут мои губы. Рывками Флейта выползла на край обрыва, стремительно вскочила, качаясь подо мной, несколько раз встряхнулась, протяжно всхлипнула и устремилась вперед. Я выправил ее бег, услышав крик, взглянул вправо. Там на большой черной лошади с блеснувшим над буркой клинком широким, размашистым галопом скакал майор Федота, нелепо выкрикивая:

— О-о! Ланцепупы!

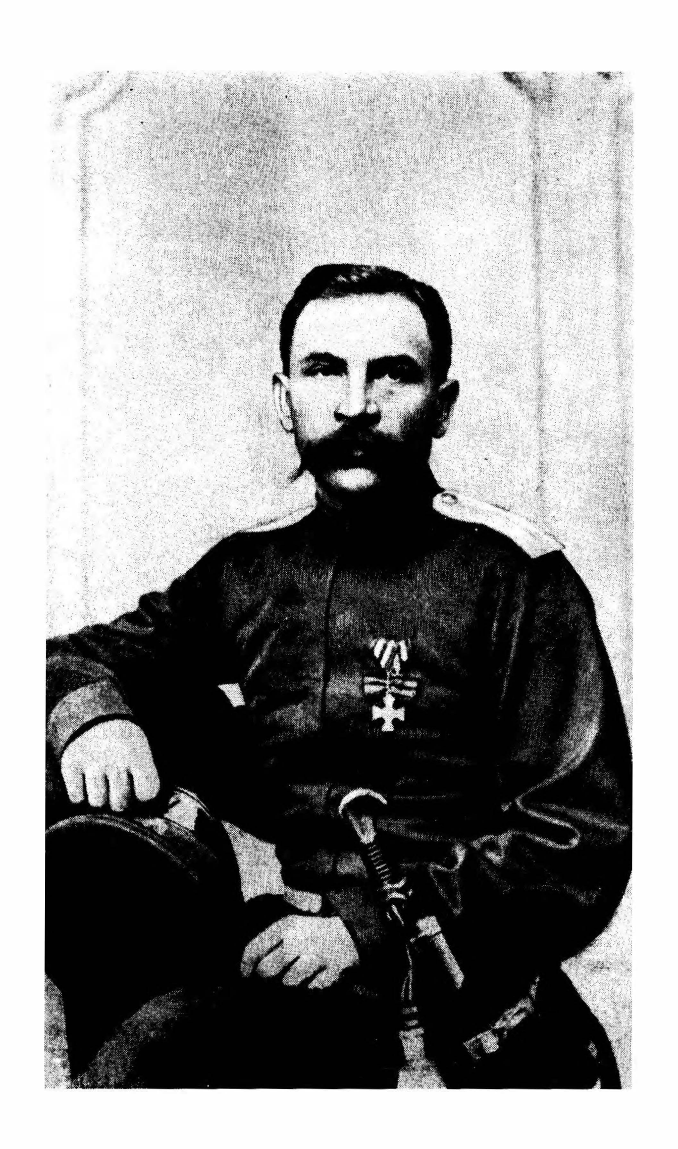
Откуда он выкопал такое словечко? И вдруг я вижу впереди скачущего майора приземистые фигуры в лыжных желтого цвета комбинезонах, с торчащими на груди темными автоматами, и только сейчас соображаю, что это враги. Их много маячит по всему снежному полю. С опаской оглядываюсь назад. Коновод и мои люди отстают — орут, стреляют прямо с седел. Слева зрелище, которое не забыть: грозно, напористо, словно призраки, выскакивают черные бурки на распластанных конях вперемежку с белыми полушубками, а из речушки — все новые и новые всадники. У нас с Федотой сильные и резвые кони, мы вырвались далеко вперед.

Я опережаю его, не могу сдержать свою Флейту одной рукой, она проносит меня мимо какой-то желтой фигурки с автоматом в приподнятой руке. Вижу еще одну, другую и, уже не пытаясь сдерживать лошадь, взмахнув клинком, бью по чему-то мягкому, неприятно вязкому... Помню, что повторил это несколько раз... Помню еще черный фонтан земли и противный запах гари. Это рвались вокруг снаряды. Помню приближающийся зеленоватый лес, горластые, надсадные дорогие мне боевые песенные возгласы...»

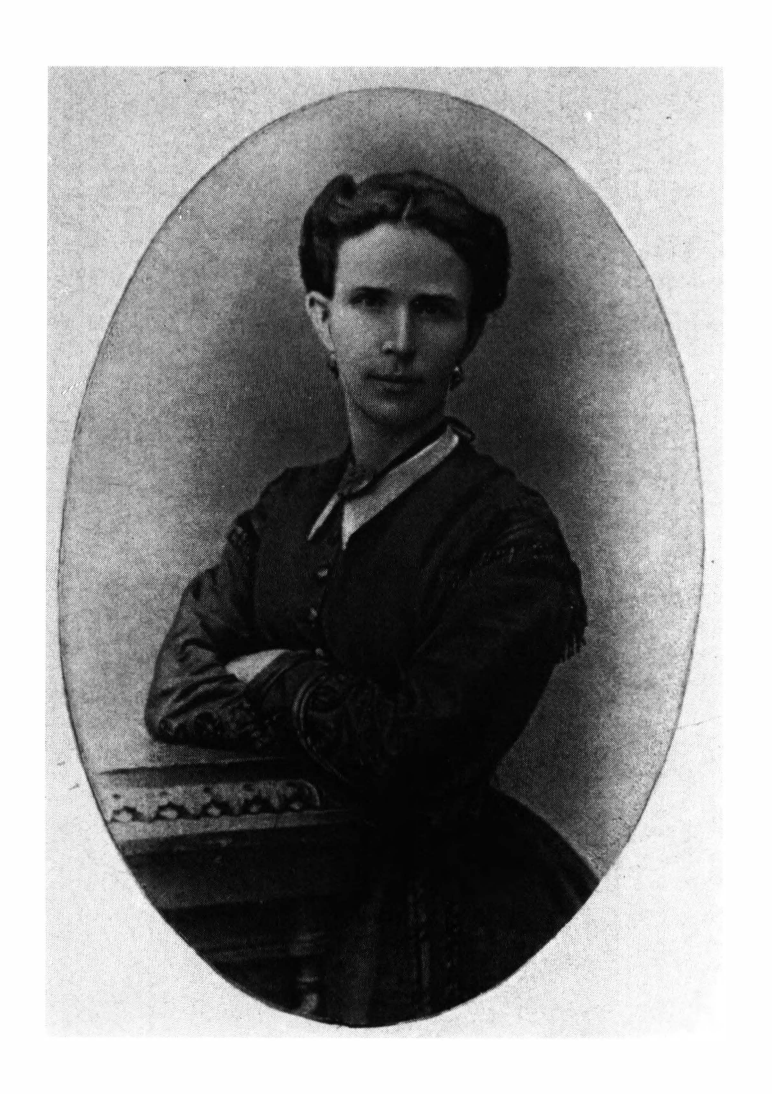
...Шли годы. После войны я часто жил и работал в Доме творчества Союза писателей имени А. С. Серафимовича. Проходя мимо стоящей в нише скульптуры автора «Железного потока», мысленно поклонившись его мудрой лобастой голове, я каждый день уходил в лес на берег реки Рузы. У меня есть тут свои на всю жизнь облюбованные места. Здесь мягко, с легкой грустью шумят на ветру разлапистые ели, мачтовые сосны и старые дубы-великаны, звенящие крученой

листвой. Я бываю в этих местах потому, что тут каждый перелесок, каждый безымянный курган на опушке представляется мне молчаливым памятником грозным дням сорок первого года. Мне эти места дороги — здесь я защищал столицу, был ранен. Хожу, думаю, вспоминаю. Белой зимой в сердитый колючий мороз по хрустящему снежному насту можно пройти по тропинке и наткнуться на зоревых снегирей. В тревожной, чуткой, как сон, тишине они чаруют своим огневым оперением и напоминают друзей-однополчан, гвардейцев в малиновых башлыках, в серых папахах и ушанках. Потомки героев «Железного потока» в декабре сорок первого года прогремели боями горячими, смело и дерзко прошли в пешем строю и на тонконогих стремительных конях кубанских, прошли грудью вперед по этим широким просекам, по вязким тропам тростянских болот, по лесным завалам, таящим смерть, по пылающим, подожженным врагом селам с холмиками смерзшейся земли, запорошенной злою снежною поземкой.

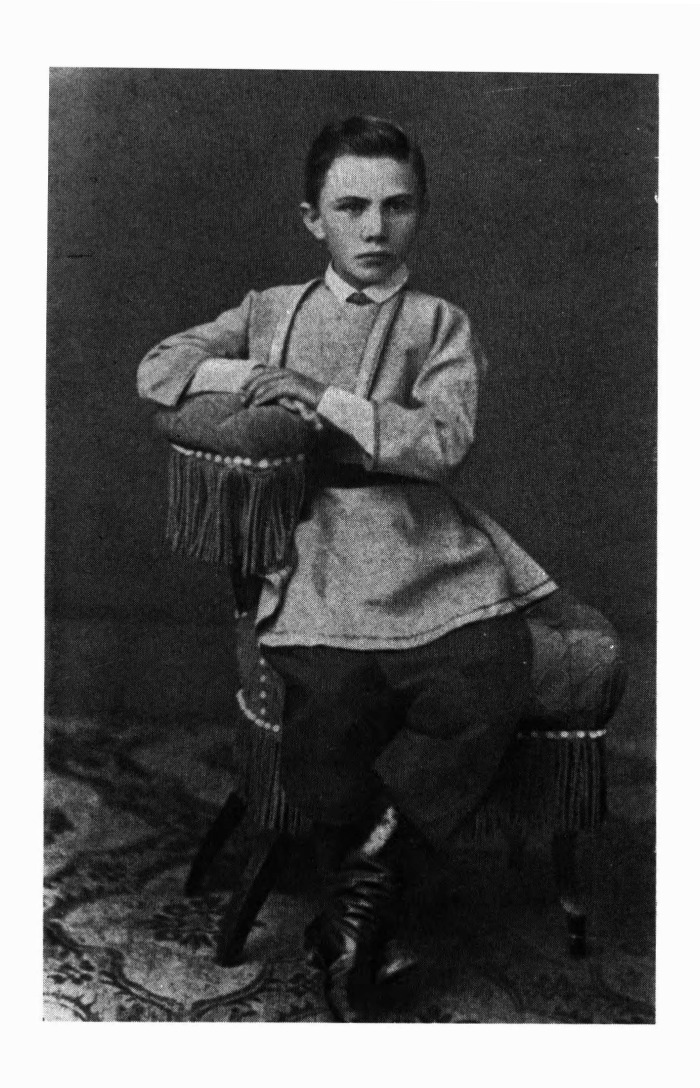
Плотно и грузно лежат голубые снега, а вокруг подросли и возмужали деревья. На широкие просеки шагнула молодь крепких берез и дубков. Молодь шумит, разрастается, а над нею на могучих металлических арках провисают тяжелые провода линии высоковольтного напряжения, по которым течет электрический ток волжских станций, сооруженных моими бывшими однополчанами и их сыновьями. Тихо гудят провода, несущие в своих горячих жилах энергию тепла, неиссякаемую силу солдатской удали. И стережет это тепло, эту славу бессменный часовой в беломраморной каске, с автоматом в гранитных руках. Чуть ли не у каждой околицы, на многих лесных опушках, на развилках бывших военных дорог гордо стоят суровые памятники солдатам, словно застывшим на вечном своем посту, на вечной солдатской вахте! Тут сибиряки и уральцы, москвичи и волжане, дальневосточники, донцы и таманцы — сыны Кубани. Это о них и славном командире 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерале Льве Михайловиче Доваторе я написал свою первую книгу. Одним из первых читателей, сказавших о ней самые добрые слова, был А. С. Серафимович, знакомство с которым произошло на войне, продолжалось — в Москве.



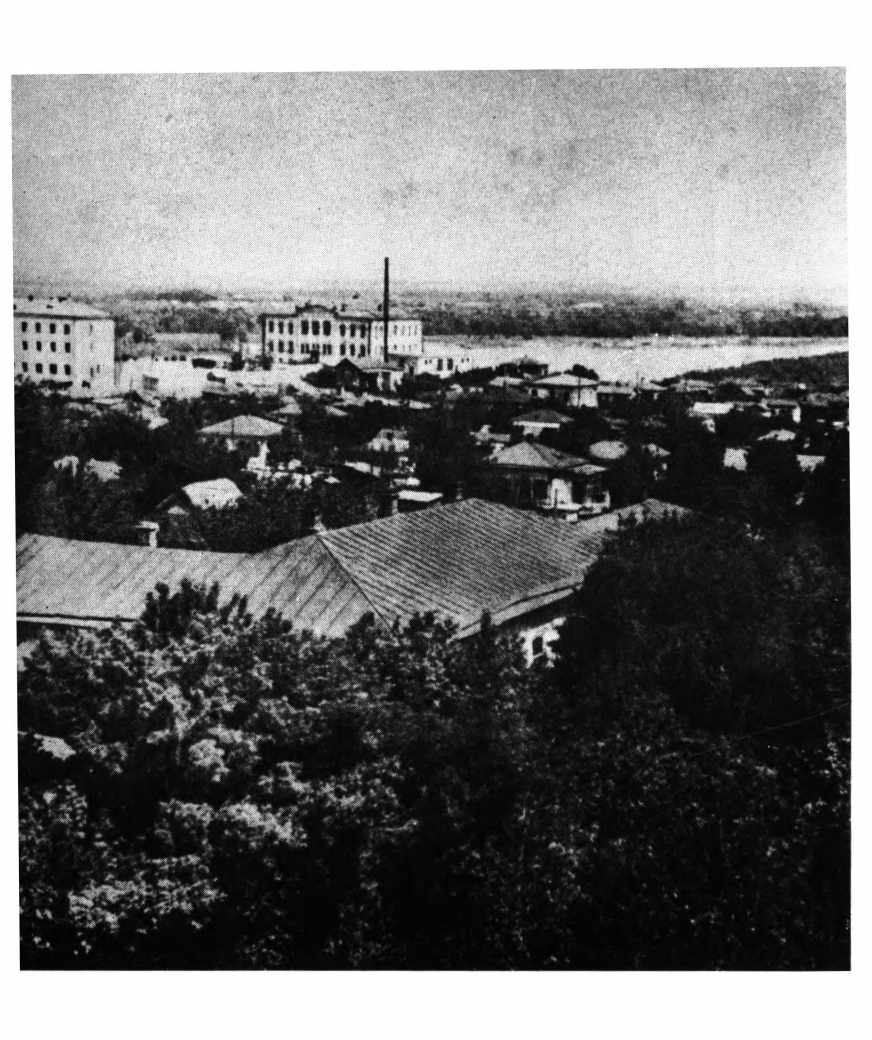
Отец писателя С. И. Попов.



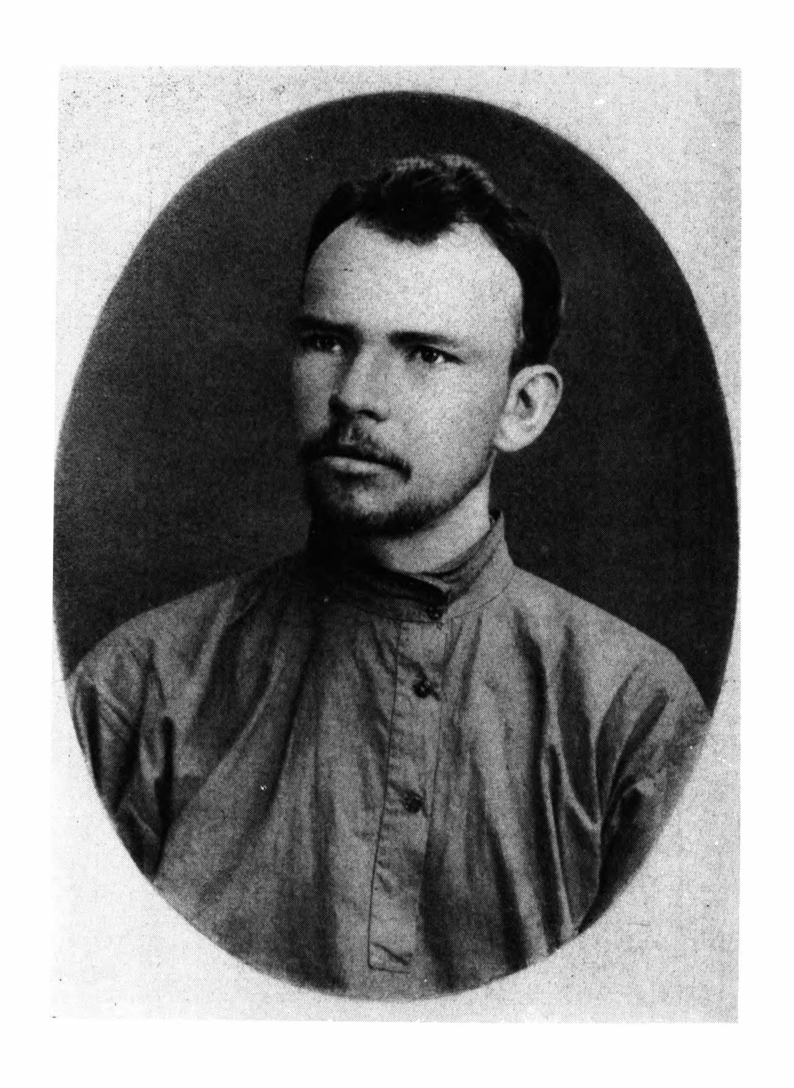
Мать писателя Р. А. Попова.



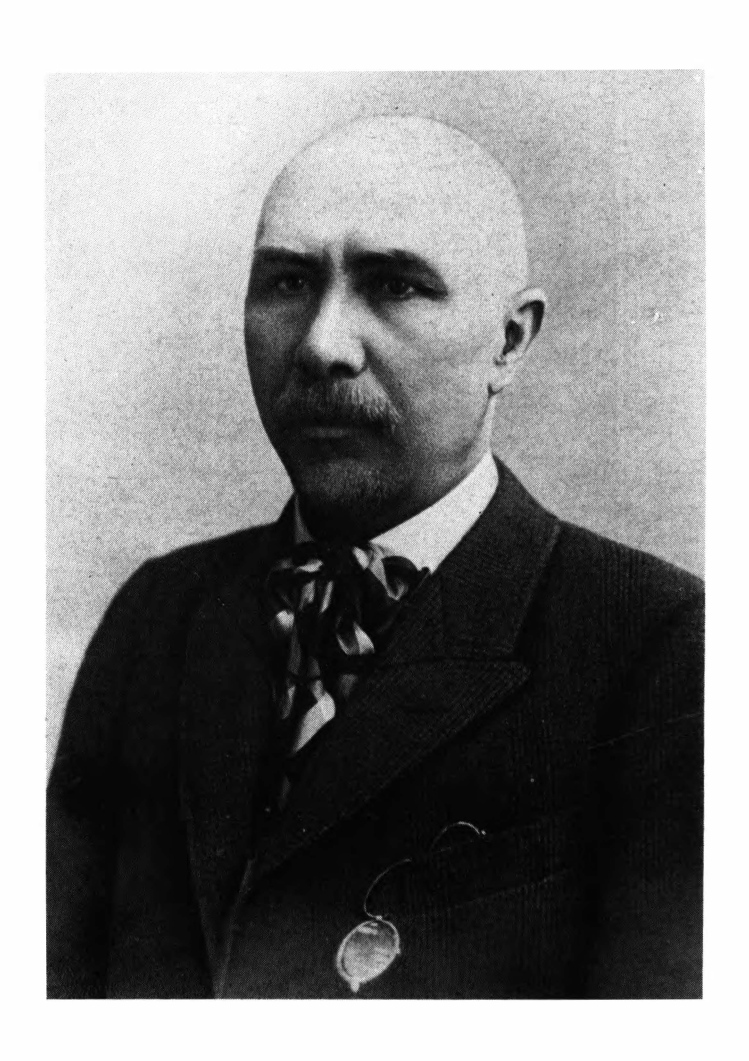
Александр Попов (Серафимович) в 1870 г.



Станица Усть-Медведицкая, ныне г. Серафимович. 1965 г.



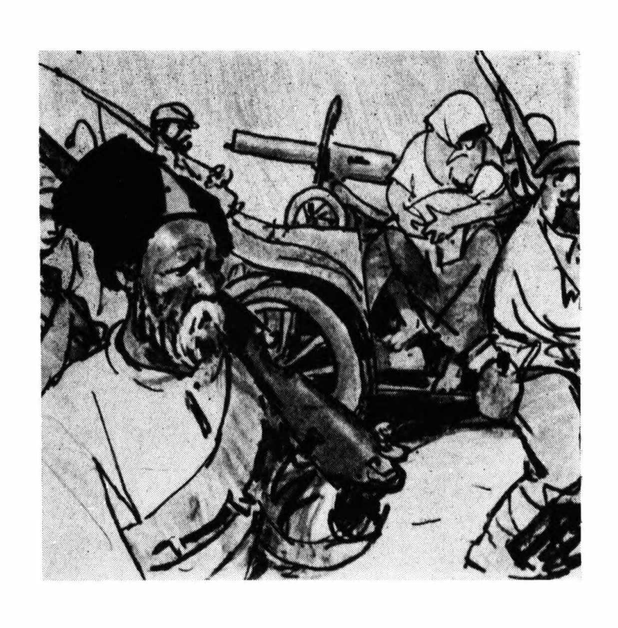
А. Серафимович. 1874 г.



А. С. Серафимович. 1913 г.

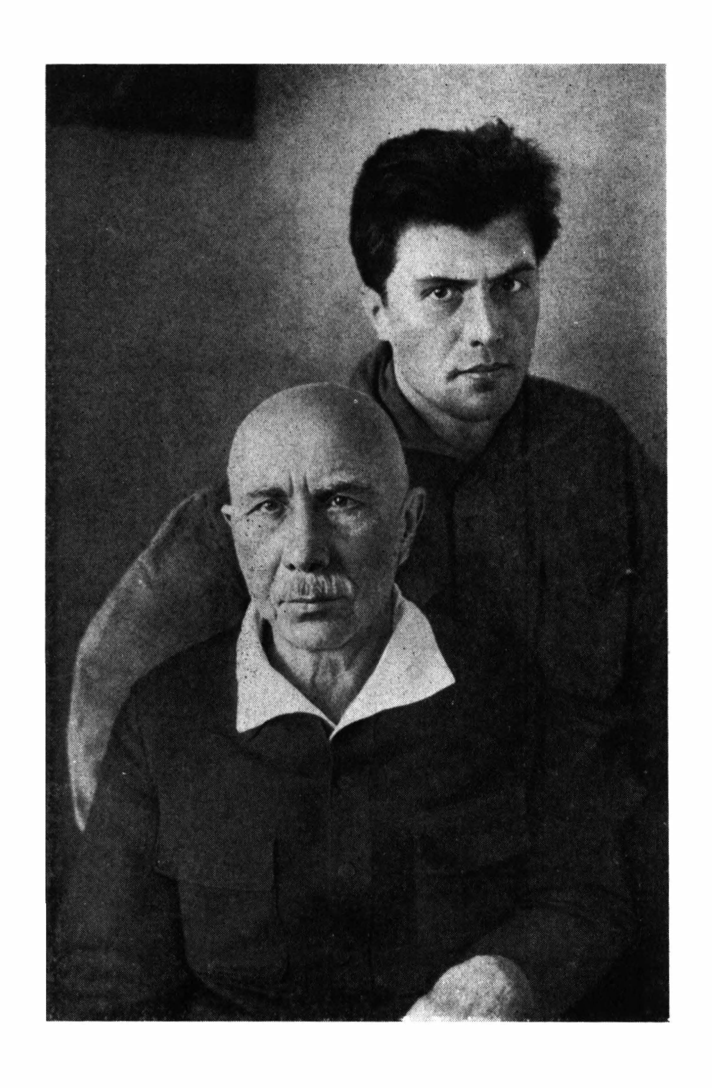


На Галицийском фронте в 1915 г. А. С. Серафимович во втором ряду в центре.

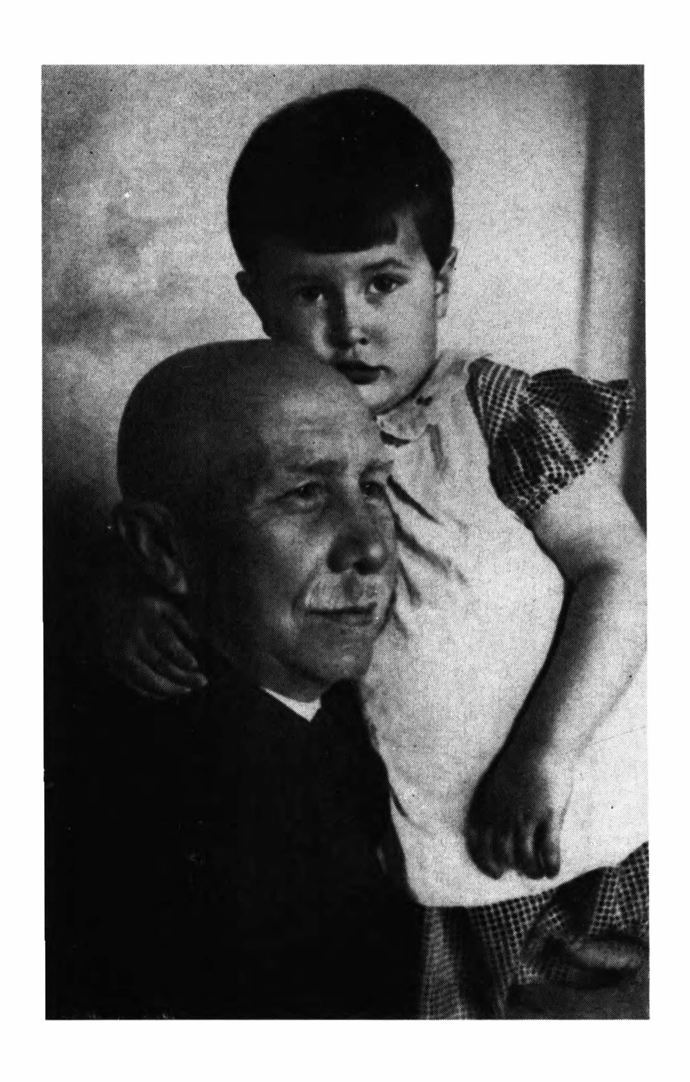


Иллюстрации А. Кокорина к «Железному потоку».





А. Серафимович с сыном И. Поповым. 1933 г.



А. С. Серафимович с внучкой Искрой. 1936 г.



А. С. Серафимович и писатель М. М. Подобедов. Воронеж.
1933 г.



А. С. Серафимович в гостях у Николая Островского. Сочи. 1934 г.



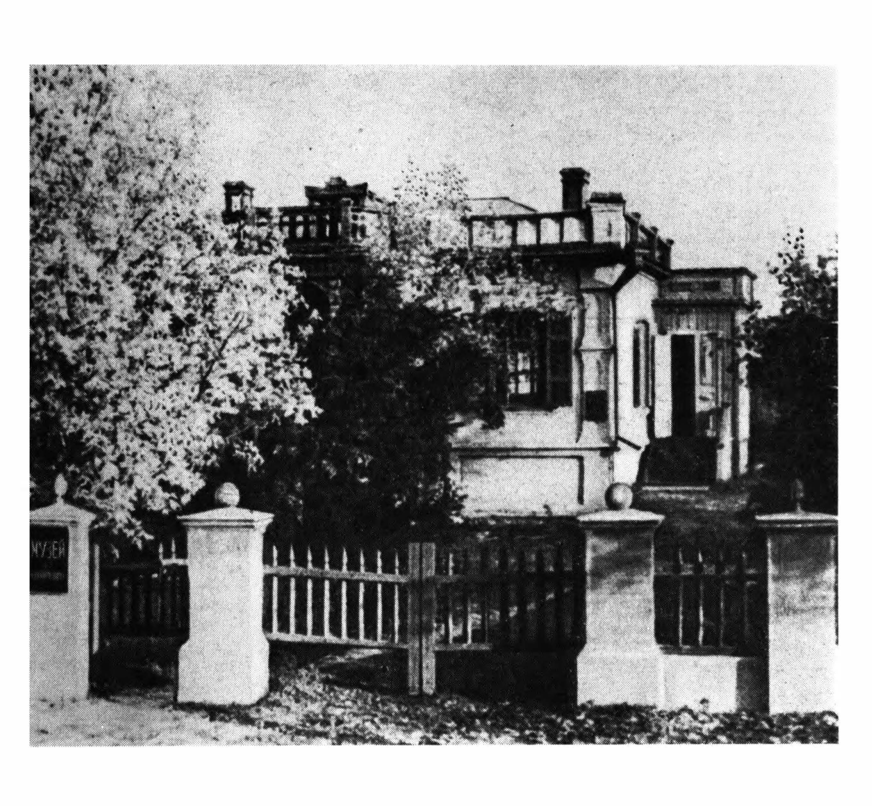
Делегацию Союза писателей СССР встречают в Киеве в 1939 г.
На снимке А. С. Серафимович, А. А. Фадеев, Ф. В. Гладков, А. Е. Корнейчук.



Т. Л. Щепкина-Куперник, А. С. Серафимович, Ф. В. Гладков и Н. Д. Телешов.



А. С. Серафимович на Орловско-Курской дуге. 1943 г.



Музей А. С. Серафимовича. Гор. Серафимович.

...В апреле 1948 года меня встретил в Союзе писателей Иван Митрофанович Овчаренко, старейший коммунист, бывший боец знаменитой Таманской армии, моряк, автор популярной в то время книги «В огненном кольце», в которой рассказывается о героическом подвиге красных партизан в знаменитых Керченских каменоломнях в 1918—1919 годах. Овчаренко был участником этой эпопеи.

Остановив меня в коридоре, Иван Митрофанович неожиданно сказал:

— Сейчас мы поедем с тобой в гости! Александр Серафимович просил приехать и привезти тебя... Он прочитал твою книжку и хочет с тобой переговорить. Но прежде чем ехать, надо все-таки позвонить,— не обращая внимания на мою растерянность, продолжал Овчаренко и скрылся в дверях какого-то кабинета.

Было от чего растеряться. Моя история как писателя еще только начиналась. «Железный поток» А. С. Серафимовича всегда был и остается для меня недосягаемым. Не говоря о ее исторической социальной значимости, книга эта по своей живописности, художественному мастерству, необычно упругой и сжатой композиции — одна из лучших в советской литературе. Она мне всегда представлялась в виде гигантского раскаленного утюга, который движется по степи в дождь, грязь, в свирепый холод, в пургу, сокрушает все препятствия на пути и нисколько, до самого конца, не остывает в своем накале. Эта удивительная книга размером всего-навсего в семь печатных листов обошла весь мир и создала ее автору бессмертную славу. Миллионы советских парней моего и других поколений, читая «Железный поток», учились мужеству, героизму у воинов Таманской армии. Книга стала подлинно классической, хрестоматийной.

«Железный поток» стал настольной книгой. Но, наверное, очень плохо, что я никогда не вел дневников[1]. В годы Великой Отечественной войны, будучи строевым офицером, разведчиком, командиром эскадрона, помощником и начальником штаба кавалерийского полка, ведя записи в журнале боевых действий, в личный блокнот я не занес ни единой строчки, хотя

[1] Записи начал делать позже, в госпитале.

писательством был заражен с малых лет и печататься начал с 1924 года. Однако впечатление о встрече с А. С. Серафимовичем я все же, придя домой, записал. Но только спустя несколько лет, когда нужно было писать статью о Сергее Николаевиче Ценском, я понял, что такое старая блокнотная запись...

...Александр Серафимович жил за Каменным мостом. Дверь нам открыла Фекла Родионовна и провела в небольшую гостиную.

Серафимович вышел из кабинета медленной старческой походкой и приветливо поздоровался.

— Спасибо, что приехали,— проговорил он тихим, глуховатым голосом, энергично пожимая нам руки.

Он сел на диван, мы с Иваном Митрофановичем напротив него. С глубоким внутренним волнением и напряжением я смотрел на его большую, лобастую, совершенно белую голову, седые коротко остриженные усы, чуть суровое розовое лицо с крупными резко выделяющимися морщинами.

— Хорошую вы написали книгу,— подняв на меня живые, совсем не старческие глаза, проговорил Александр Серафимович. — У вас очень удачно изображены кони. Люблю коней. Советую написать книгу специально о военных конях. Это, конечно, не значит, что вы плохо пишете о людях. Доватор у вас — фигура сильная. Человек. А литература живет там, где есть человек.

Александр Серафимович замолчал. В широкое окно гостиной лился теплый апрельский свет. Фекла Родионовна гремела посудой, расставляя ее на белой скатерти. Над пузатенькими рюмками горделиво возвышалась бутылка настоящего цимлянского.

— Много пришлось непосредственно участвовать в боях? — вдруг спросил Александр Серафимович.

Меня этот вопрос застал врасплох. Все бои, в которых мне пришлось участвовать, я хорошо помнил. Их было так много, что я боялся, как бы мой ответ не прозвучал неправдой. Назвал цифру «сорок», уменьшив чуть ли не на треть.

Александр Серафимович оживился. Спросил, сколько раз я был ранен.

— Живучий вы! — Он скупо, но дружелюбно улыбнулся. — Как звали вашего коня?

— Орелик, Грань, Ракета, Трензель, Флейта,— торопливо ответил я.

— Почему так много? — удивился он.

Я объяснил, что Орелик был убит в первом же бою. Грань ранена. Ракета сгорела во время бомбежки. На последних — Трензеле и Флейте — я ездил попеременно.

— Да. Эта война была страшной. В одном месте есть у вас такое: казак, засучив рукав, посмотрел на бледно-розовую кость, выпирающую из предплечья, сморщился и опустил рукав. — Серафимович покачал белой головой: — Деталь!..

— Это пулеметчик Криворотько,— напомнил я.

— Кстати, у вас хорошо звучит украинский язык. Я знаю кубанцев. И было бы очень плохо, если бы вдруг линейные кубанские казаки заговорили, как москвичи. У народов Северного Кавказа свой, особенный язык, сочный, образный. Украинские слова придают ему своеобразный колорит.

— Учился и учусь у вас, Александр Серафимович,— признался я, постеснявшись откровенно сказать, что, работая над «Глубоким рейдом», книгу «Железный поток» держал не только в памяти, но и на письменном столе.

— Уж это вы зря говорите, голубчик. — Он погрозил мне пальцем и по-прежнему доброжелательно улыбнулся. — Я ведь понимаю, что у кого есть. У вас свое, с натуры списанное, с живых людей. В этом ваше преимущество. Потому что язык передает характер народа, скажем — тех же донских и кубанских казаков. Можно придумать жаргон, но своеобразие любого языка не придумаешь, его надо уметь улавливать на слух, как музыку.

Настоящие книги, которым суждено долго жить, рождаются в тяжелых муках,— продолжал он, задумчиво смотря перед собой. — Рождение Григория Мелехова или Аксиньи — это появление на свет нового человека в литературе, невероятной выпуклости и сложности. Как, наверное, и все старые люди, я пишу мало, но читаю много. А о войне читаю все, войну вижу. Хоть и глуховат, но слышу, как рвутся бомбы, пули свистят, вижу, как никнут израненные березы, а человека не везде чувствую. Вот Алексей Николаевич

Толстой умеет писать... Я его люблю. Правда, не всегда густо пишет, как, например, «Петра Первого» написал... «Хождение по мукам» тоже интересно написано...

Александр Серафимович бережно, по-казацки расправил сединку усов, в серых умных глазах заискрилась веселая лукавинка.

— Заглавие трилогии «Хождение по мукам» больше всего лично подходит к нему самому. Эмиграция — разве это не мука? А возвращение и писание романа о революции, о гражданской войне? Побывав в «западном раю», он, не мудрствуя, нырнул в самое «адово пламя». Выскочил, взвился благодаря своему незаурядному таланту. Заканчиваешь последние страницы «Хождения по мукам», радуешься за Катю и Вадима Рощина и даже чуть-чуть заморгаешь ресничками, облегченно вздохнешь и заснешь без особых душевных тревог... А вот когда читаешь последние страницы «Тихого Дона», неделю не находишь покоя и никак не можешь забыть эту нашу русскую бабу Аксютку, для которой Григорий Мелехов казачьим своим клинком могилу вырыл. Попробуй забудь-ка!..

Александр Серафимович умолк и задумался. Молчали и мы, покоренные его глубокими мыслями, не замечая возраста этого мудрого, прозорливого в своих суждениях старца с быстро потухшей лукавинкой под седыми опущенными бровями. А время шло. На стенах еще ярче заблестел солнечный весенний день апреля 1948 года. Мы чувствовали, что Александр Серафимович утомился. К этому времени добрая, милейшая Фекла Родионовна пригласила нас к столу.

— Вина я не пью теперь, но ради такого случая налейте и мне рюмку.

Мы чокнулись. Александр Серафимович выпил до дна. За обедом говорили мало. Потом Александр Серафимович снова перешел на диван и продолжил разговор о Шолохове:

— Он живет среди своих героев, среди колоритнейших казацких типов. Сам вскормлен степным молоком вольной Придонщины, с детства впитал в себя все сгустки извечного народного творчества.

Серафимович говорил тихим, размеренным голосом, без труда находя удивительно яркие и точные определения.

— Знаете что,— неожиданно повернув ко мне голову, продолжал Александр Серафимович. — Знаете что, дорогой, приглашаю вас в мае к себе на дачу. Иван Митрофанович свой человек, дорогу знает. Поживете у меня, а потом сядем на пароходик, доедем до Сталинграда, а оттуда махнем прямо к Михаилу Александровичу Шолохову. Примет. Он добрый. Гостей любит. Вот будет поездка, а?

— Что и говорить, мечта, Александр Серафимович, а не поездка, — заметил Овчаренко.

— Люблю ездить. Посмотреть новое, свежее... Да и на старое поглядеть тянет... Любил, очень любил ездить,— повторил Александр Серафимович. — Всегда прыгал в жизнь обеими ногами...

Заговорив о поездках, опять вернулись к литературе и отдельным писателям.

— Сергеев-Ценский? — Серафимович быстро поднял голову. — Сергей Николаевич — это резкое явление нашего века. Большой писатель и совсем не оцененный критикой. Вот же в чем беда!

Было видно, что Александр Серафимович разволновался и начал утомляться. Мы поднялись. Встал и он. Поманив меня пальцем, позвал в кабинет, заставленный книжными шкафами. На столе лежали листы бумаги, исписанные крупным, неровным почерком. Взяв из шкафа небольшую книгу в ярко-красном переплете, раскрыл, бережно разгладил первый лист и, присев к столу, написал сразу, без раздумья, следующее: «Автору «Глубокого рейда», лично пережившему страшную борьбу за Родину, кругом израненному Павлу Ильичу Федорову на добрую и долгую память. А. Серафимович. Москва 15/4 48 г.».

Стоит ли говорить, с каким чувством я принял из рук Александра Серафимовича этот подарок. Сейчас, когда пишу эти строки, не могу без волнения смотреть на лежащую передо мной книгу. На обложке кумачового переплета бегут таманцы со вскинутыми вперед штыками. Ниже: А. Серафимович. «Железный поток». Гослитиздат, 1938 год.

Не знаю, какие слова благодарности говорил я тогда автору. Запомнилось другое. Ласково взяв меня за руку, Александр Серафимович сердечно и доверительно заговорил:

— Есть у меня к вам одна просьба...

— Да, пожалуйста, Александр Серафимович, для вас...

— Это несколько необычная просьба... — Поглаживая морщинистый подбородок, Серафимович улыбался, слушая мои неумеренно пылкие заверения о готовности выполнить любую его просьбу. — Мне бы хотелось, чтобы вы приехали на дачу верхами на конях.

Такой просьбы я не ожидал. Даже растерялся поначалу.

— Нет у вас такой возможности? — спросил он.

— Есть. Во всяком случае, я постараюсь. — Я вспомнил о кавалерийском училище, которое находилось в Хамовниках. Начальником политотдела в то время там был мой однополчанин, бывший заместитель командира дивизии по политчасти полковник Михаил Алексеевич Федоров. Я обещал сообщить Александру Серафимовичу через несколько часов.

— Уважьте старика. Хочется мне сесть в седло и хоть шагом проехать по садовой аллее. Я ведь родился в степной станице, — смотря куда-то в сторону, чуть слышно заключил Александр Серафимович.

Мы попрощались. Спустя полчаса я уже был в Хамовниках в квартире полковника Федорова и с ходу сообщил о просьбе писателя.

— Ну как не поехать к такому человеку! С удовольствием! — выслушав меня, сказал Михаил Алексеевич. — Возьмем четырех коней и выедем на зорьке. Даже если ехать хорошим шагом, а где-то немножко рысцой, к одиннадцати будем там...

Ждал я этого дня с большим нетерпением. Накануне решил еще раз побывать в Хамовниках, поговорить с коноводами, которые с нами поедут, а главное, выбрать для Серафимовича коня посмирнее.

— Так когда же мы все-таки тронемся завтра? — спросил я у Михаила Алексеевича Федорова.

— Договоримся, — ответил он неопределенно.

По выражению его лица нетрудно было заметить, что сегодня он не разделяет моего восторга от пред-

стоящей поездки. Я тут же прямо спросил, что ему не по душе в нашей затее.

— Видишь ли, поехать, конечно, можно...

— Мы же обещали приехать!

— Все это верно. Но ты понимаешь, человеку восемьдесят пять лет, а мы его на коня будем подсаживать...

— Боитесь, что-нибудь случится?

— В таком возрасте все может быть...

— Да он крепкий! Степной!

— Верю. Но ты все же позвони Фекле Родионовне. Предупреди.

— Дважды сегодня звонил. Телефон не отвечает. Значит, они давно уже на даче. Мы твердо договорились на завтра...

— Позвони еще разок,— настаивал Михаил Алексеевич.

Пришлось уступить. Трубку сняла Фекла Родионовна. Узнав, в чем дело, сказала:

— Нет, голубчик, пошла уже вторая неделя, как Александр Серафимович лежит в больнице. Занемог наш батя...

С ощущением какой-то внутренней тяжести я положил трубку.

Бывалые люди не любят говорить шепотком — они либо разговаривают громко, либо молчат. Мы долго молчали. Не выдержав напряжения, я открыл книгу и, как стихи, читал заключительные строки «Железного потока»:

— «Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка,— тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь».

1976

Г. А. Селиванов

В ГОРОДЕ ЕГО ИМЕНИ


б А. С. Серафимовиче написано его современниками немало хорошего, позволяющего глубже понять образ (именно образ!) этого человека, одержимого страстью творить, помогать людям открывать таланты. Опубликованное, очевидно, составляет только часть того, что могли бы сказать лица, знавшие этого великого подвижника, отдававшего нашей литературе свои огромные силы до последних дней жизни.

Мне посчастливилось видеть А. С. Серафимовича в его родном городе. Время давнее — 30-е годы. Я был свидетелем торжественной встречи писателя с горожанами, участия его в пионерских сборах у костра в сосновой роще (ныне загубленной в результате бесхозяйственности), выступлений на литературных вечерах. Два раза я посетил писателя на его квартире, где он останавливался каждый раз, когда приезжал отдыхать в г. Серафимович.

Запомнилось выступление Александра Серафимовича во время его встречи на берегу Дона. Прежде всего, он высказал искреннее недовольство торжественной обстановкой, созданной в честь его приезда. Самые теплые слова он обратил к пионерам и школьникам. Он настоятельно советовал им изучать и любить родной край, родной язык и непременно знать иностранные языки.

Мне, тогда студенту, захотелось лично встретиться с Александром Серафимовичем и побесе-

довать на литературные темы. Таких посетителей у писателя было много. Обычно это молодые люди, приносившие с собой, выражаясь словами Д. Бедного, свои «ребяческие крохи». Я не знал, что Александр Серафимович, как старатель, неутомимо ищет в народе золотые россыпи литературных дарований, но много слышал о том, что он всех принимает хорошо. Вот и решил показать свои стихи.

В доме на Горбачевской площади меня встретила хозяйка и спросила о цели «визита». Услышав ответ, она скрылась в коридоре со словами:

— Александр Серафимович, к вам.

Мне стало страшновато. На веранду вышел, как мне сперва показалось, хмурый старик, но я быстро заметил, что смотрит он как-то по-особенному ласково и как будто хочет сказать что-то первый.

Так оно и было:

— Это что за казак донской пожаловал ко мне? Ну, пройдемте-ка к столу и потолкуем.

Я не знал, с чего начать разговор. Выручил меня вопрос:

— Вы, поди, что-нибудь пишете?

Я сказал, что учусь писать стихи, но не знаю, как это получается. Ребята говорят — здорово, а так ли это?

Глядя мимо стола, Александр Серафимович заметил:

— В стихах-то я не очень силен. А может, для вас проза лучше? Вот ко мне приходит с рассказами Николай Караваев. У него получается. Нуте-ка, а у вас что?

Я начал читать свои стихи. Самым сильным я считал стихотворение «Смех», посвященное Семнадцатому съезду партии. С пафосом я произносил слова:

Смех победителей понятен,
Он крепок, он жесток, он строг,
Когда квартет «обозной рати»
По нотам даже петь не смог.

Неизмеримы наши силы.
Понять фашистам не дано,
Что видеть их свиные рыла
Совсем не страшно, но смешно...

и т. д. в том же роде.

Когда кончилось чтение, я с замиранием сердца стал ждать приговора.

Александр Серафимович посмотрел на меня, будто спрашивая: «А что еще» — и потер переносицу.

— Вы, батенька, видимо, регулярно читаете газеты и, похоже, любите это занятие.

Я утвердительно кивнул головой.

— Это хорошо. У вас в стихах все правильно, все современно. Однако журналисты лучше пользуются газетным стилем, чем писатели, а поэтам он вовсе ни к чему. Вот если от сердца идет, другое дело. Где искренность, там и сила.

На вопрос, у какого поэта лучше всего учиться писать, последовал ответ:

— Учиться можно у всякого, но чему и как. Искренности лучше всего учиться у Есенина. Только умеючи. Учиться не нытью, а искусству.

Это было для меня большой неожиданностью. Ведь в те годы имя Сергея Есенина едва ли не предавалось анафеме. Критики не жалели усилий, чтобы представить его кулацким поэтом, учеником и последователем Клюева. Да и отдельные поэты не отставали. Запомнились слова одного из них:

Мой век не тот — к чему таить?
Покрой есенинский мне узок.
Борьбою схваченная блуза
Не поэтическая прыть.

Позже стало широко известно высказанное Александром Серафимовичем еще в 1926 году его отношение к поэту:

«С огромной интуицией, с огромным творчеством — единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших — ни у кого из современников».

И далее: «Сам. Ни у кого не спрашивал, никому не подражал. За ним косолапо тащились другие, бездарно и убого». А с другой стороны: «Есенин, чтоб задушить тоску смерти, до дна хлебнул пошлости,— да, да, пошлости! — вещи надо называть их настоящими именами, хлебнул и... захлебнулся...» [1]

---

[1] А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., Гослитиздат, 1958, стр. 313.

Беседа несколько затянулась. Я собрался было уходить, но Александр Серафимович остановил меня вопросом:

— А что же, прозу совсем не жалуете?

Я ответил, что пробовал, но ничего не получается. Стихи как-то лучше даются.

— А вы попытайтесь еще. Да работайте не с налету, а поусидчивей, ан, глядишь, и получится. Я-то бы на вашем месте начал учиться у Льва Толстого и кончил бы им.

Александр Серафимович рассказал то, что потом у него образно названо «волшебным окном» [1].

— Ведь вот какая история. Читаю я Льва Толстого всего пять-шесть минут. Беру книгу, особенно «Войну и мир», раскрываю, незаметно увлекаюсь, и... исчезают страницы, главы и прочее. Я вижу войска, слышу разрывы ядер, даже бряк походных котелков, а порой кажется, чую запах пороховой гари. И этот мир я не могу покинуть до тех пор, пока меня Фекла Родионовна или еще кто не вернет из толстовского царства. Вот, батенька, как бы писать-то.

Позже я нашел в сборнике неопубликованных материалов высказывания о Льве Николаевиче Толстом, часть которых совпадала со словами, сказанными мне. Видимо, Александру Серафимовичу дорога была мысль о «волшебном окне», в которое виден мир, гениально изображенный автором бессмертных художественных произведений.

В конце беседы я поинтересовался, над чем сейчас работает Александр Серафимович.

— Пишу роман «Борьба» — о колхозниках.

По тогдашним моим понятиям, эта тема показалась не менее «газетной», чем мои стихи. Я подумал, что роман едва ли будет интересным, но сказал:

— Очень интересно, а то ведь...

Александр Серафимович перебил меня:

— Это как получится. Одно знаю, что «Железного потока» уже не напишу. Возраст не тот и силы не те. Вы вот, молодежь, хорошо живете. Ко мне приходят ребята. У них еще ничего пока такого... большого, но

---

[1] А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов, стр. 429.

хватка есть, а сил сколько! Будут работать — дело пойдет. А вы тоже работайте.

Я поблагодарил писателя за хорошие советы, извинился за то, что отнял время. Александр Серафимович, не дослушав мою тираду, сказал:

— Эге-е, батенька. Мое время отняли царские жандармы. А вы приходите. На наших людей не только часов — лет не жалко.

Приезжая в город Серафимович на летние каникулы, я постоянно участвовал в организации литературных вечеров. Александр Серафимович был постоянным и неизменным нашим гостем и шефом.

На одном из таких вечеров он должен был выступить с докладом. Многие, в том числе и я, ждали ораторского выступления, пламенной речи. Однако ничего подобного не было. Докладчик поднялся на трибуну, обвел всех взглядом, будто кого-то высматривая, потер двумя пальцами переносицу и начал:

— Собственно, доклада-то никакого и не будет, не мастер я произносить речи. Вы лучше задавайте вопросы, какие кого интересуют, а я постараюсь на них ответить.

Вопросов было много. Большинство их касалось деятельности писателя в период между двумя революциями — 1905—1917 годов. Александр Серафимович подробно рассказал о своей творческой работе, о встречах с А. М. Горьким, Л. Андреевым и другими писателями.

* * *

Запомнилось еще одно выступление в Волгоградском (тогда Сталинградском) пединституте. Оно тоже носило характер беседы. Александр Серафимович отвечал на вопросы из зала. Первым был вопрос:

— Расскажите, как Вы написали рассказ «На льдине»?

Александр Серафимович помолчал, слегка улыбнулся и ответил:

— А я его украл у Короленко.

Под дружный смех и аплодисменты Александр Серафимович поделился первой радостью, испытанной

им, когда в 1889 году названный рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости».

— Повесил я газету на стенке в бараке. Подойду, читаю. Эк, думаю, здорово! Еще раз подойду — еще больше нравится. Не вытерпел и спросил у одного товарища: «Читал?» Он рассмеялся и говорит: «Здорово, только ты целыми страницами по Короленко лупишь». Хотел было обидеться. Да, думаю, правда ведь. А я только с правдой и готов водить дружбу.

Много задавали вопросов о том, как создавался «Железный поток».

— Первый этап работы — прошел своими ногами по всему пути Таманской армии. Помогали рассказами таманцы. А потом сел писать. Только писал я не так, как обычно думают: по порядочку. Начал с эпизодов, которые в процессе собирания материала сложились в уме и сердце. Затем, по мере «дозревания», перешел к другим.

Память не сохранила содержания ответов на другие вопросы; но их было много, и аудитория, переполненный актовый зал, живо реагировала на многочисленные остроумные и глубокие в своей простоте замечания. Искренне сожалею, что не сумел записать все интересное во встречах с нашим знаменитым земляком, а интересного было так много.

1967

И. А. Новиков

НА РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ

Я познакомился с Александром Серафимовичем Серафимовичем неожиданно. Был 1946 год, первый послевоенный год, тяжелый, с засушливым летом и неурожаем почти по всей России. Побежденный враг оставил на нашей земле сожженные села, разрушенные города и большое горе в каждой семье.

Люди питались и одевались по карточкам, восстанавливали мирную жизнь и самозабвенно работали.

Я и моя жена закончили четвертый курс медицинского института и должны были пройти практику в одном из городов Московского угольного бассейна. Но в особых случаях, с согласия деканата, разрешалась летняя работа врачом-субординатором в любом населенном пункте страны, где имелись больница и поликлиника. Этой возможностью мы и решили воспользоваться, так как были молоды и нас влекла романтика в «дальние края».

Наше желание неожиданно поддержала Е. В. Ломтатидзе, соседка по дому, врач, в прошлом большевичка-подпольщица, коммунист с большим стажем партийной жизни. Выбор предстоящей поездки остановился на городе Серафимовиче, бывшей Усть-Медведицкой станице, расположенном в широких донских степях, около слияния двух рек: Медведицы и Дона. В местном Доме санитарного просвещения работала подруга Е. В. Ломтатидзе,

и к ней мы получили от Елизаветы Вениаминовны рекомендательное письмо.

До сих пор помню необычайно яркое впечатление от донских степей, привольно раскинувшихся под голубым куполом небосвода. Глазу не за что было зацепиться до самого горизонта. Лишь иногда порывистый ветер выкатывал к колесам автомобиля сплетенные клубки засохшей травы перекати-поля да вдали кое-где на короткое время возникали небольшие крутящиеся столбы пыли. Высоко в небе неподвижно парили коршуны и где-то, совсем близко от дороги, трещали цикады.

Наша полуторка остановилась на пологом песчаном берегу Дона, когда солнце стояло в зените. За широкой синей лентой реки был виден высокий холм, по которому рассыпались белые мазанки и красные кирпичные домики города Серафимовича. Дон в этом месте огибает бывшую Усть-Медведицкую станицу и лежит у подножия холма кривым казачьим клинком.

Мы долго пересекали на пароме речную ширь. Слушали мягкий казачий говор, хруст травы на зубах лошадей, детский плач и веселый смех молодых людей, вдыхали свежий запах воды, навоза и бензина.

Город Серафимович поразил нас чистотой улиц и домов, обилием в садах яблок, груш, слив, малины, смородины и спокойной, размеренной жизнью. Никогда мы не видели и в дальнейшем не встречали таких богатых плодами земли базаров, какими они были в этом степном городе,[1] где помидоры и дыни, огурцы и арбузы, яблоки и картофель, баклажаны и тыквы продавались возами, где можно было обойти весь рынок, попробовать все, что на нем предлагалось, ничего не купить и быть сытым. От красок рябило в глазах, и временами базар виделся цветастым платком.

Поселились мы на окраине города, у одинокой бабки Васёны, в чистой белой хате с высоким каменным фундаментом и резными ставнями. Наслаждались варениками с вишнями и малиной, ели жирный и ароматный казачий каймак, приготовленный из топленого молока с поджаренной пенкой, пирожки с мясом, отварную

[1] Из-за малочисленности автотранспорта удаленные от железных дорог районы имели в то время часто свой независимый продовольственный баланс (*прим. ред.*).

курятину и свежую донскую рыбу. В чистых, выскобленных и побеленных комнатах дома все время стоял тонкий, чуть уловимый запах яблок, сваленных в углу горницы. В хате днем всегда было прохладно и легко дышалось, так как бабка Васёна вовремя закрывала ставнями окна, охраняя комнаты от палящих солнечных лучей.

Вечерами я, моя жена и хозяйка дома любили подолгу сидеть на ступеньках крыльца, слушать заунывные, чуть диковатые казацкие песни, доносящиеся от далеких костров в степи, где табунами паслись лошади, и любоваться россыпью звезд, более обильной, чем в любом другом уголке России.

Днем мы работали в больнице или поликлинике, а под вечер отправлялись на песчаную косу, далеко уходящую от подножия высокого берега к середине реки. Нежились на теплом песке и часами плескались в прозрачной донской воде.

Наша производственная практика подходила к концу, когда я узнал, что в город приехал Александр Серафимович Серафимович. После долгих раздумий мы набрались смелости и решили познакомиться с прославленным автором «Железного потока», одного из любимых нами романов, писателем, создавшим еще до революции много замечательных произведений, и в том числе прекрасный и страшный рассказ «Стрелочник», врезавшийся в нашу память еще со школьных лет.

Большой каменный дом с колоннами, в котором жил Александр Серафимович, находился далеко от центра города и принадлежал в прошлом какому-то богатому станичнику. Дом окружал огромный фруктовый сад, и белые стены его едва проглядывали сквозь густую листву деревьев.

С некоторым волнением мы поднялись по ступенькам и отрекомендовались одной из родственниц писателя. Нас попросили подождать Александра Серафимовича, который работал в своем кабинете, и мы сели на плетеные дачные кресла. Спустя четверть часа к нам вышел среднего роста, очень пожилой мужчина, с легкой косинкой в глазах на лице монгольского типа, с остатками седых волос по бокам продолговатой головы и маленькими белыми усами на верхней губе. Смуглая кожа лица с розовостью на щеках и загорелые

кисти рук хорошо контрастировали с белой рубашкой «апаш», в которую он был одет. От этого старого человека веяло каким-то особым домашним теплом.

Мы сразу узнали Александра Серафимовича. Ласково улыбаясь, он познакомился с нами и предложил сесть за круглый стол, на котором стояла фарфоровая ваза с большими яблоками белый налив и иссиня-черными крупными сливами. Опустившись в мягкое кресло, Александр Серафимович угостил нас фруктами и стал расспрашивать о нашей студенческой жизни, впечатлениях о донском крае, местной больнице, нашем устройстве в городе. Потом вдруг неожиданно сказал мне:

— А я хорошо знал твоего батьку Силыча! Водил с ним дружбу. Любил его как прекрасного, сердечного человека и восхищался его романом «Цусима», в котором он, как в соленой купели, выполоскал весь царский самодержавный строй. Сила была в этом Силыче! После смерти Новикова-Прибоя в чем-то осиротела советская литература...

Мне было приятно и радостно слышать мнение о моем отце большого художника слова и человека, умудренного огромным жизненным опытом.

Наш разговор перешел на судьбу современной советской литературы. Александр Серафимович был глубоко убежден, что героика прошедших битв за Родину должна обязательно породить серию больших и выдающихся художественных произведений, посвященных войне, да и крепкий исторический «заквас» в книгах писателей старшего поколения, к которым он отнес Алексея Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, моего отца, себя и ряд других литераторов, сыграет свою положительную патриотическую роль.

Конечно, наша беседа не была легкой, так как сказывался 83-летний возраст Александра Серафимовича: иногда ему было трудно подобрать нужные и точные слова, нередко его мысли перескакивали с одной темы на другую, а временами он неожиданно замолкал.

К концу разговора Александр Серафимович внезапно извлек из кармана брюк маленькую книжку английского писателя Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», на бумажном переплете которой был изображен герой рассказа — маленькая фараонова мышь по

прозвищу Рикки-Тикки-Тави. Александр Серафимович мягко и восхищенно заулыбался и, указывая пальцем на нарисованного зверька, сказал:

— Вот ведь удивительное существо: крохотулька, а бесстрашно нападает на огромных змей и убивает их, перегрызая тело гадов около головы. Перед нападением эта фараонова мышь очень возбуждается и ее глаза начинают краснеть и гореть ненавистью, а все это придает зверьку особую остроту зрения и физическую ловкость. Она на своей родине, в Индии, истребляет змей и является незаменимым и смелым другом людей. Да, очень удивительное существо!

Казалось, что неожиданное переключение Александра Серафимовича на фараонову мышь и ее роль в жизни человека в условиях Индийского полуострова было нелогичным и странным. Но позже, вспоминая нашу беседу, я понял глубокий смысл этого восхищения отважным зверьком и всю символику, вложенную Александром Серафимовичем в оценку поведения фараоновой мыши: светлое начало при любых ситуациях одерживает победу над темными силами.

Наша встреча подходила к концу, так как мы не могли больше отнимать время у Александра Серафимовича и должны были беречь силы старого писателя. Перед расставанием он участливо спросил, как мы думаем возвращаться в Москву, так как в то время очень трудно было достать билеты и сесть на поезд. На несколько минут Александр Серафимович покинул нас, потом снова появился и, добродушно улыбаясь, протянул мне небольшое письмо на личном бланке (Александр Серафимович Серафимович, Москва, улица Серафимовича, 2, Дом правительства, квартира 431), которое я полностью здесь привожу:

«Тов. Начальнику станции «Себряково».

Уважаемый товарищ!

Очень просил бы Вас, если возможно, помочь получить 2 билета на Москву студенту медику НОВИКОВУ Игорю Алексеевичу и его жене, студентке медичке НОВИКОВОЙ.

Крепко обяжете.

С приветом А. Серафимович.

13 августа 1946 г.»

Дрожащий почерк записки выдавал душевное волнение и возраст писателя.

Вместе с письмом Александр Серафимович вручил мне свой роман «Железный поток» в красном коленкоровом переплете, изданный в 1938 году Государственным издательством художественной литературы. На первой странице книги было написано: «Игорю Алексеевичу НОВИКОВУ на добрую память. А. СЕРАФИМОВИЧ, 12 августа, гор. Серафимович».

Мы расцеловались и на прощание дружески пожали друг другу руки.

А через несколько дней я и моя жена уехали в Москву.

С Александром Серафимовичем, к сожалению, мы больше не встретились. Спустя три года он скончался, но в нашей памяти навсегда остался образ прекрасного и мудрого человека, его приветливость, добрая улыбка и живописный край, где родился и жил этот замечательный русский писатель. И мы бережно храним его письмо и подаренную им книгу в красном коленкоровом переплете.

1975

Ефим Дзиган

СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА

В 1924 году я прочел только что появившуюся книгу Александра Серафимовича «Железный поток». Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Поразила удивительная правдивость повествования, яркая, своеобразная форма, цветистые, колоритные диалоги, точно и выпукло выписанные образы.

«Железный поток» запомнился мне на всю жизнь... Много лет спустя, уже работая в кинематографии, после поставленного мною фильма «Мы из Кронштадта» я начал искать сценарий для следующей картины. И тут вновь вспомнил книгу А. Серафимовича, перечитал ее и загорелся неукротимым желанием экранизировать это замечательное произведение.

В середине 1936 года я встретился с А. С. Серафимовичем. Признаюсь, шел к нему не без робости: автор классического произведения советской литературы, старый коммунист, известнейший литератор, а я — еще молодой кинорежиссер — разительное и очевидное неравенство. И по возрасту и по деятельности в искусстве.

Я увидел очень живого, несмотря на возраст, человека, в черной толстовке с белоснежным отложным воротничком, внимательно вглядывавшегося в меня темными выразительными глазами.

Писатель встретил мое предложение как-то настороженно. Причиной тому, как оказалось, было одно обстоятельство: уже не раз кинематографисты, еще в период

немого кино, делали попытку создать по «Железному потоку» фильм. Однако осуществить это не удавалось: то пугала масштабность постановки, то предложенный Серафимовичу сценарий его не удовлетворял. Поэтому, естественно, особой веры в реальность моего предложения у автора не возникло.

Рассказав мне о прежних неудачах в стремлении воплотить его книгу на экране, писатель поинтересовался, что привлекает меня в его произведении и как я предполагаю поставить фильм.

— Прежде всего,— сказал я,— ваша вещь очень близка мне по своему жанру — героической эпопеи. Масштабность действия, патетика народной борьбы, участие в ней масс, колоритные образы персонажей и правда времени, правда событий.

Беседа наша длилась долго. Александр Серафимович оказался радушным, гостеприимным хозяином, угощал меня чаем, расспрашивал о картинах, снимавшихся на «Мосфильме», и согласился вместе начать работу над сценарием.

У меня сохранились записи бесед с ним. Я записал их дословно. Мне важно было запомнить и хорошо усвоить мысли о предстоящей нашей работе, чтобы лучше понять замысел автора о кинематографическом воплощении его книги.

— Имейте в виду,— сказал Серафимович,— действия масс в фильме должны быть не менее значимыми, чем линии персонажей. Именно в этом проявляется идейная сущность моего «Железного потока».

Работа над сценарием шла у нас интенсивно и дружно. Стало ясно, почему писатель отвергал прежние варианты. Во-первых, при намерении сделать немой фильм выпадал великолепный, своеобразный диалог. А без него блекло, терялось словесное богатство вещи. Помимо того, в погоне за большей сюжетностью (в ремесленническом понимании) терялась масштабность и значительность событий, их массовость, народность. Вся эпопея похода сводилась лишь к примитивному пересказу поступков отдельных действующих лиц, к незамысловатой интриге.

В совместной работе с Серафимовичем мы поставили перед собой задачу: взять за основу поход многотысячной массы бойцов и командиров Красной Армии, их

мужество, неустрашимость, организующую роль коммунистов, сумевших из разрозненных воинских отрядов, партизан и беженцев из станиц, захваченных Деникиным, создать несокрушимую боевую силу, ставшую во время неимоверно тяжелого боевого похода *железным потоком*, сметавшим на своем пути бесчисленные войска врагов.

Поражало меня во время работы глубокое знание Серафимовичем всех перипетий прославленного похода Таманской армии, деталей быта, характеров бойцов и командиров, особенно командующего первой колонной Епифана Ковтюха, названного в книге Кожухом.

Писатель прекрасно знал и всю географию похода, ведь замысел книги родился у него еще в то время, когда он с сыном прошел пешком весь путь, пройденный таманцами. Поэтому так достоверно, живописно, зримо выписаны в книге места действия, пейзажи Кавказского побережья, Михайловский перевал, геройским штурмом взятый армией Ковтюха.

Спокойно, неторопливо писатель рассказывал о встречах с ним, неустанно обращал мое внимание на необходимость предельно достоверного отображения событий, определивших содержание «Железного потока».

Я решился высказать писателю свое сомнение в целесообразности включения в сценарий большого, но пугавшего меня эпизода из книги:

— Стоит ли нам показывать на экране сцену, когда после геройского боя на перевале и занятия Туапсе часть таманцев начала грабить магазин? Совместима ли беззаветная отвага храбрейших бойцов с мародерством?

Серафимович укоризненно посмотрел на меня, постукивая собранными в пригоршню худыми пальцами.

— Вы сами говорили о правде времени,— помолчав, заговорил он. — Пробыв несколько лет в рядах Красной Армии, разве вы не помните, что она была совсем не однородной? Особенно Таманская, в которую влились самые различные отряды. Немало было в них людей с неизжитым еще наследием тяжелого прошлого: малосознательных, не очень грамотных, не всегда подчинявшихся дисциплине. А к тому же еще и анархиствующих элементов, провоцировавших разного рода эксцессы. И пафос преображения этой разноликой массы в несо-

крушимую боевую силу, ее идейный рост заключается именно в том, что большевиками-коммунистами были преодолены внутри потока все подобного рода недостойные Красной Армии поступки. Без этого эпизода мы придем к плакатности, не показав тех неимоверных усилий, благодаря которым и была достигнута победа!

Довод автора был настолько убедителен, что все мои сомнения по поводу этого эпизода были преданы забвению...

Когда сценарий был закончен, одобрен, — казалось, постановка фильма уже несомненна. Это радовало и Серафимовича и меня — так нам обоим хотелось увидеть наконец фильм о походе Таманской армии на экране. Уже создана была на «Мосфильме» съемочная группа, выехавшая на поиски мест предстоящих съемок.

Перед выездом Александр Серафимович напутствовал меня своими советами — в каких районах Кубани и Кавказа нам следует побывать, где лучше всего встретиться с бывшими участниками похода, с какими архивными документами следует ознакомиться — словом, проявлял живейший интерес к предстоящей съемочной работе.

Он все вновь и вновь возвращался к сценарию, уточняя отдельные эпизоды, реплики, искал наилучшее соотношение массовых сцен и индивидуальных персонажей, стремился к эпическому звучанию вещи. Такая горячая заинтересованность писателя в полноценном воплощении на экране его произведения радовала нашу группу, помогала глубже понять замысел автора.

Шел 1937 год...

Мы выехали на Кубань для определения мест съемок. Неожиданно пришлось прервать поездку: получили телеграмму о незамедлительном возвращении в Москву.

На студии нам сообщили, что постановка «Железного потока» отменяется.

Когда об этом узнал Серафимович, огорчение его было беспредельным. Грустной была наша встреча. И все же он старался утешить меня, зная, что крушение постановки было мне пережить крайне тяжело — безрезультатно потерян длительный труд, время, впереди перспектива творческого простоя, поскольку не

так легко было найти для постановки другой сценарий, который отвечал бы моим стремлениям.

— Не отчаивайтесь,— сжал мою руку Серафимович,— рано или поздно правда восторжествует, и, верю, вы снимете «Железный поток»!

Душевность, с которой были сказаны эти слова, забота о человеке, работавшем с ним, внимание к его тяжелому настроению говорили о сердечности, добром участии и человечности этого прекрасного художника. Тем более что и самому ему во время нашей беседы было нелегко примириться со случившимся... Вскоре он уехал в город своего имени. А через некоторое время я получил от него письмо, оно бережно хранится у меня до сих пор.

А. С. Серафимович писал, что, приехав в родной город, он почувствовал себя нехорошо — настроение было скверным, одолевало недомогание. Тогда, взяв с собой мешок с концентратами, писатель сел в лодку, завел мотор и поплыл по реке.

Дальше шло описание прелести поездки, пейзажей, тронувших сердце путешественника, вечеров у костра, очарования одиночества на природе. И после строк о том, что к нему вернулось радостное восприятие жизни, бодрость, давал мне совет.

«Дорогой Ефим Львович! — писал Серафимович. — Если когда-либо зло жизни начнет одолевать вас, бросьте все, садитесь в лодочку, заведите мотор и плывите куда глаза глядят...»

К сожалению, мне так и не удалось воспользоваться этим мудрейшим советом, хотя «зло жизни» не раз встречалось на моем творческом пути...

Шли годы. После каждого поставленного нового фильма я неизменно возвращался к мысли снять «Железный поток». И все эти годы в памяти моей хранился, не тускнея, образ его автора — замечательного человека, писателя-большевика. Вспоминались встречи с ним, задушевные беседы, мудрые высказывания большого художника, классика советской литературы.

А одна фраза его оказалась пророческой: «Рано или поздно правда восторжествует, и, верю, вы снимете «Железный поток»!»

И действительно, фильм был создан. Сценарий для него был написан писателем Аркадием Алексеевичем

Первенцевым. Картина вышла на экраны к 50-летию Великой Октябрьской революции.

Огромную помощь в этой сложной работе оказал нам сын писателя Игорь Александрович Попов-Серафимович. Он был нашим постоянным консультантом на всех этапах постановки.

Фильм широко начал демонстрироваться по всему Советскому Союзу и за рубежом.

И оказалось, что творение писателя, его замечательная книга, по которой снят фильм, была близка, дорога и понятна не только нашему народу, но и миллионам зрителей в самых различных странах: в Чехословакии, Венгрии, Германской Демократической Республике, во Франции и даже на другом континенте — на Международном кинофестивале в Перу наша картина получила высшую награду — «Гран-при».

Вдохновенное творение Александра Серафимовича и на экране приобрело общечеловеческую значимость...

Почему?.. «Потому, что,— писал однажды Всеволод Вишневский,— были эпические страсти, события, борьба народа и его сынов, простых людей за свою честь, свободу, идеи... Это в эпоху войн и революций и есть общечеловеческая тема...»

1976

Г. Нерадов

ПОЕЗДКИ ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ


е сиделось ему в Москве. Жаждал новых впечатлений, новых людей.

— Закиснешь тут, в Москве... И чего мы тут с вами высидим в кабинетной берлоге? Какой уж там писатель в четырех стенах...

Обставлялось дело с виду так, что надо «материалу поднакопить», набраться свежих впечатлений. В действительности же мотивы были гораздо более сложные. Толкали его в необъятные просторы Союза великая любовь к народу и боевой темперамент большевистского трибуна, пропагандиста, агитатора. Серафимович не мог остаться в стороне от великой стройки пятилеток. Ему хотелось быть в гуще народа, хотел он видеть собственными глазами, как чудодейственно меняется жизнь в родной стране, как исполински растет народ и семимильно шагает вперед. Разъезды по Советской стране он начал еще в первые годы, можно сказать, в первые месяцы после Великой Октябрьской революции. Затем еще в 1927 году выступал на «вечерах рабочей критики», проводившихся на крупнейших ленинградских заводах, а в 1928 году выступал с «отчетами писателя» — в Горьком, Сормове и других городах. Продолжал затем разъезжать, с небольшими перерывами, вплоть до последних лет своей жизни.

Выступал он чаще всего в рабочих клубах, в Домах культуры, в педагогических институтах и училищах, в школах, в Домах пионеров, в библиотеках, в Домах Крас-

ной Армии, в университетах, в концертных залах филармоний. Выступал также в воинских частях, в военных училищах, в избах-читальнях, в парткабинетах, на курсах, в политшколах. Так как в зданиях заводских клубов подчас нельзя было вместить всех желающих послушать писателя, то иногда приходилось переносить выступления в цехи.

Ездил он обычно по приглашениям обкомов и райкомов партии, по командировкам Центрального и областных лекционных бюро, Союза советских писателей. Поездке предшествовала длительная подготовка. Он собирал в Москве материал о крае, куда направлялся. Если, например, предстояло ехать в Архангельскую область, то собирал материал о лесах. Если на Урал, то о металлургии; в Ивановскую область — о ткачах и торфяниках.

— Надо же подготовиться... Спросят что-нибудь, а ты будешь стоять как истукан.

Он ездил по министерствам, заставлял и меня ходить по разным ведомствам и собирать «самый свеженький материал»... Старался разузнать, что в данной области или крае подготовляется, что планируется:

— Порадуем их, небось они еще там не знают...

Я в течение многих лет сопровождал его в разъездах, выступая с докладами о его жизни и творчестве. И куда только не заносила нас его ненасытная жажда увидеть собственными глазами, как входят в строй все новые и новые гиганты промышленности, как одевается в несокрушимую броню страна! Радостная улыбка все чаще и чаще появлялась на его лице, когда мы осматривали гигантские новостройки.

— Теперь, батенька, уж нас не возьмешь, нет... Помните об этом, мистеры и сэры.

Приходилось передвигаться по стране почти на всех видах транспорта; бывало, шли и пешком. Иногда — в буран и вьюгу, а летом — в изнуряющий зной. Ничто его не останавливало — ни тропическая жара, ни весенние разливы и распутица, ни осенняя слякоть, ни 30-градусные морозы. В такие морозы Серафимович ездил в легких бурках и в черном демисезонном пальто без мехового воротника.

— Замерзнете, Александр Серафимович... Надо будет вас снабдить хорошим тулупом и валенками,— говорили ему.

— Нет, я — человек горячей крови. И в дороге надо быть налегке. Я — хитрый. Чем толстую шубу пуда в два на себя напяливать, как вы,— я вот это пальтишко смастерил. С виду неказистое, а «свойство чудное имеет»: двух шуб теплей будет — на гагачьем пуху. Никакой мороз не страшен.

Выступал много лет в одном и том же простом, черном, хорошо сшитом и всегда свежем костюме, который по возвращению с вечера бережно вешал на распялку или на стул.

— Он у меня — без износу. Из «аглицкого» сукна, самой настоящей ивановской марки.

Во время поездок не обходилось без приключений. Приведу, например, такой случай. По договоренности с Саратовским обкомом партии и лекционным бюро, Серафимович должен был выступить в Саратове. День был назначен заранее. Но перед самым отъездом он заболел. Температура 38 с лишним. Все его близкие стали доказывать, что поездку необходимо отложить.

— Надо послать телеграмму, что заболел, просить перенести.

— Ни в коем случае! Что вы! Афиши вывешены, в газетах заметки. Обмануть?! Нет! Назначено,— значит, хоть умри, а выступи...

Так и выехал больной. В пути не давал мне измерять температуру. Приехал и виду не показал, что нездоров, и мне запретил говорить об этом. После выступления поздней ночью в номере я измерил ему температуру: нормальная.

— Вот видите. А дома, конечно, провалялся бы в постели.

Там же, в Саратове, днем, когда Серафимович сидел в номере и готовился к вечернему выступлению, в гостинице вспыхнул пожар. Загорелось во втором этаже, а мы жили в третьем.

Раскрылись настежь двери номеров, поднялась суматоха, беготня, женщины выбегали с тревожными лицами, тащили в коридор чемоданы, вещи, платье, стремительно неслись вниз по лестнице.

Пожарная команда прибыла быстро.

Серафимович хладнокровно продолжал работать. Ни малейшего следа тревоги на лице.

— Не перенести ли и нам чемоданы и рукописи в контору?.. На всякий случай.

— Нет. В этом покамест нет никакой надобности. В случае чего, нас пожарные предупредят...

Примерно часа через полтора нам позвонили снизу. Серафимович взял трубку, держа в другой руке тетрадку.

— Да, да... я в номере... Потушили?.. Очень хорошо. Быстро...

Или был еще такой случай. Мы выступали в Архангельске на лесозаводах — в Маймоксе, Цигломени, Соломбале, выступали ежедневно в течение недели. Однажды к нам в гостиницу ввалился высоченный голубоглазый детина, с огромной русой бородой, как в сказке,— подлинный северный богатырь, косая сажень в плечах. Из матросов. Приехал он с шофером из строившегося тогда города Северодвинска на Белом море (недалеко от Архангельска) как представитель тамошних культурно-просветительных организаций с приглашением Серафимовичу выступить в местном клубе строительства. Серафимович пригласил его и шофера позавтракать, подробно расспросил о городе — как он строится, кто там живет. И когда узнал, что на улицы города из Белого моря шлангом накачивается слой песку в полтора метра, сразу согласился ехать. Но тут наш богатырь стал крутить беспокойно ус, мяться и даже стакан чая отставил.

— Видите ли, Александр Серафимович, должен вас предупредить...

— Что такое?

— Дело-то немножко... Как бы чего... то есть... собственно...

— В чем дело? Говорите прямо.

— Видите ли... Ежели сказать прямо — так опасновато... даже очень. Всю дорогу сюда думал: может, не стоит вам... Рискованно. Ответишь еще за вас...

— Что, пошаливают? Глухие места? Так я с оружием.

— Да нет! Потрескивает... Трещит местами лед. А ведь шестьдесят километров по льду, по Северной Двине...

— Вот что! Пейте чай... Пустяки... Вы же приехали, ничего с вами не сталось?

— Ну как сказать, — покачал головой шофер,— две грузовые с грузом вчера пошли ко дну. Пришлось объезжать кое-где. Зима-то на исходе. Лед — он ненадежный стал. И горячую воду заводы спускают в реку.

— Давайте не тратить зря время. Закусывайте, и поедем.

Сборы были недолги. Поехали. И благополучно доехали, хотя лед действительно потрескивал.

Через два дня, закончив свои выступления и осмотрев город, мы опять по льду Северной Двины возвращались обратно в Архангельск. Вместе с нами в машине сидела женщина-врач, которой срочно нужно было в Архангельск. За два дня хорошенько подморозило, и треска мы почти не слышали. Но пришла другая беда. Машина неожиданно застряла в колдобине, и, сколько над ней ни бились, ее никак не удавалось сдвинуть с места. Серафимович вместе со всеми изо всех сил толкал машину. Женщина-врач пришла в ужас:

— Что вы делаете, Александр Серафимович?! Вам никак нельзя... В такие годы! (Серафимовичу шел семьдесят восьмой год.) Долго ли до греха? Лопнет сосуд — и на ... кровоизлияние. Я решительно запрещаю!..

Но никакие уговоры не помогли.

— Застряли основательно,— сказал шофер, вытирая пот. — Хоть ночуй тут на льду.

А кругом — безбрежная белая пелена. Снежные сугробы выше человеческого роста. Не видно человеческого жилья.

Мороз крепчал. Мы думали отправить кого-нибудь искать деревню.

— Да тут провалишься с головой...

Долго стояли мы на льду. Серафимович и не думал впадать в уныние. Он стал рассказывать разные забавные случаи и приключения в тундре, происшедшие в годы его ссылки. Как ни грустно было, нельзя было не улыбнуться, не посмеяться.

Вдруг шофер радостно замахал руками:

— Идут! Идут!

Шла артель связистов, которые чинили и меняли телеграфные столбы. Они навалились с ломами и лопатами, скоро наша машина тронулась. Приехали мы

в Архангельск, когда на улицах уже светились фонари, с опозданием на пять часов.

В Северодвинске Серафимович был приглашен в совхоз НКВД. Хозяйство оказалось образцовым. Не верилось, что такое птицеводство, такую молочную ферму можно было организовать на берегу Белого моря, да еще на болоте. Зимой, в январе, зеленые огурцы, зеленый лук, помидоры, морковь и всякие другие овощи выращивались в теплицах. Породистые куры прекрасно неслись: им примешивали в корм витамины — рубленые иглы елей.

Серафимович все внимательно и подробно осматривал и хвалил:

— А тут, в этой самой Архангельской, при царе от цинги много ссыльных погибало. Вам, как большевикам, придется не успокаиваться на достигнутом и завести тут, у Белого моря, еще и лимоны. В них ведь больше витаминов...

Сопровождавшие нас работники совхоза усмехнулись:

— Культура-то уже совсем не северная.

Стоявший впереди капитан госбезопасности, сдерживая усмешку, задумчиво заметил:

— Что же, задание, пожалуй, стоящее. Приезжайте к нам, товарищ Серафимович, этак годика через два. Может, и лимончиком своим угостим к чаю... Надо рассчитать — стоит ли игра свеч. Если стоит, то за нами дело не станет.

Потом в кировских и вологодских колхозах и совхозах Серафимович с гордостью рассказывал, как угощали его зимой у Белого моря огурцами и помидорами, и спрашивал:

— Вы небось огурцами зелеными не располагаете? А я без огурчика зимой никак не могу. В Архангельской обещали еще и лимоны вскоре вырастить... А вы-то как-никак поюжней.

Долговременные разъезды по новостройкам, заводам Серафимовича закалили и вытренировали. Никаких следов дряхлости. Когда ходил, прямой и стройный, то шедшим сзади казалось — бодро шагает юноша.

После выступлений на вечерах ложились мы спать поздно, обычно во втором, а то, выпадало, и в третьем часу. Утром сквозь дрему слышу, Серафимович уже

возится в своем углу; старается потише, чтоб меня не разбудить. Смотрю, он по всем правилам при открытой форточке делает гимнастику.

Процедуру эту называл он «утренней молитвой». И меня корил:

— Отлыниваете. Будете дряблой тряпкой...

На своих лекциях он рассказывал, что надоумил его насчет гимнастики Горький. Горький как-то однажды ощупал его мускулатуру и недовольно забасил:

— Гимнастику надо, батенька... Обязательно. И каждый день, без пропуска, как правоверный — молитву. Иначе быстро скатитесь вниз.

В Ивановской области, в Тейкове, на торфяных разработках девушки после его выступления допытывались, как он себя чувствовал на фронте.

— Не страшновато ли было?

— Привычка, знаете...

Они не удовлетворились ответом и продолжали расспрашивать о его самочувствии во время боев.

— Врать не буду, вы такие строгие следователи — по секрету скажу вам истинную правду: страшновато было, порой очень даже страшно, но я — упрямый казак, именно потому, что страшно было, я и лез в самую «страшноту».

— И не боялись, что разнесет вас снарядом? — не унимались девушки.

— А вы думаете, что в постели умереть приятнее?..

...Утром, едва успевали мы одеться и позавтракать, уже раздавался стук в дверь. «Приемы» иногда затягивались на целый день. Приходил разный народ. Больше всего в городах и поселках — представители интеллигенции, рабочие, а в деревнях — молодые колхозники.

Серафимович очень любил беседовать с простыми, рядовыми работниками. Он сам искал встреч с ними. Охотно вступал в беседу и умел незаметно перевести ее на интересующую его тему. Разговаривал тепло и дружески, и люди чувствовали себя с ним свободно. Почти в каждом он находил что-нибудь интересное, достойное внимания и изучения. Записывал кое-что себе в книжечку.

Больше всего его интересовали встречи с рабочими. Во время выступлений на Уралмаше и Челябинском тракторном заводе он не раз повторял, что писатель «подотчетен» рабочим, что писатель должен работать «под рабочим контролем». Предпочитал он встречаться с рабочими не на торжественных собраниях, а запросто, в домашней обстановке. Библиотекари водили нас по рабочим общежитиям. Там он знакомился с семьями рабочих, с детьми, запоминал их имена, расспрашивал, что каждый любит, чем лечится хворая бабушка.

К нему приходило много начинающих писателей из рабочих, они робко рассказывали ему о своих замыслах и достижениях. Он убеждал их, что «не святые горшки лепят». Они оставляли ему свои рукописи, просили прочитать. И он весь загорался, когда среди груды литературного сырья вдруг натыкался на оригинальную мысль, талантливую фразу, на емкое словечко. Он тогда, грозно глядя на меня, сердито тыкал пальцем в рукопись и говорил:

— Видали?! Поу́читесь еще у них...

В Няндоме (Архангельской области), где Серафимович выступал в большом клубе железнодорожников, пришли к нему местные писатели со своими рукописями. Один из них стал читать Серафимовичу главы из своего романа, в которых в качестве действующего лица был изображен старший сын Серафимовича — Анатолий, погибший в гражданскую войну на врангелевском фронте. Оказалось, автор романа вместе с Анатолием работал на севере и хорошо его знал. Серафимович с неослабевающим интересом, жадно, взволнованно слушал эти главы, в которых описывалось, как геройски вел себя на севере его любимый сын. Однако потом, после ухода автора, прочитав другие главы романа, он пришел к заключению, что композиция произведения рыхлая, сюжет не разработан, краски бледны и трафаретны. Он прямо, не подслащивая пилюлю, сказал об этом автору. Тот очень огорчился. По-видимому, он думал, что «старейший писатель», наверное, одобрит его роман, если он рисует в нем образ его погибшего сына. Автор романа, добиваясь поддержки, обещал доработать, переделать и тогда прислать в Москву свое произведение. Серафимович, не обнадеживая его, сказал на прощание:

— Что же, попробуйте. Попытка — не пытка...

Он сердился, когда какой-нибудь рабочий, молодой автор, вдруг начинал описывать аристократическую среду — богатых дворян, князей.

— Чего это вас угораздила нелегкая? Вы ж таких в глаза никогда не видали. Как же вы беретесь рисовать то, чего не знаете?

Некоторых рабочих авторов он жестоко критиковал за то, что они иногда изображали рабочих какими-то бесцветными, безликими. «Ни рыба ни мясо»,— говорил он.

— Может, и есть такой рабочий, даже наверное есть, попадается. Но в целом разве таков, как вы изображаете, рабочий класс? Это — поклеп на него! Рабочие в тюрьмах царских гнили, рабочие нам Октябрьскую революцию дали. Рабочие всегда были впереди!

В Свердловске, выступая на партийных курсах, он говорил:

— Рабочий класс, я наглядно убедился, самый умный и трезвый, самый решительный и самый идейный класс. Поэтому я к нему пошел и стал ему служить по мере разумения. Гордость — служить рабочему классу. Вы думаете, даром такие люди, как Маркс, Ленин, отдали свои силы рабочему классу? Я был за границей и видел, как капиталисты превратили рабочего, творца материальных ценностей, в добывателя прибыли. Это противно природе и рано или поздно будет изжито во всем мире.

Выступал Серафимович обычно с докладами о классической и советской литературе. Читал о Толстом, Чехове, Короленко, Глебе Успенском, рассказывал о встречах с Горьким, Маяковским, Фурмановым, Шолоховым, Н. Островским, А. Н. Толстым... Ему задавали много вопросов о советских писателях и поэтах, просили дать оценку их творчества. К этому он еще в Москве очень тщательно готовился, делал себе заметки, и вопросы читателей не могли застать его врасплох. Он хорошо знал советскую литературу, был знаком со многими писателями.

Надо отметить, что его рассказы о писателях всегда дышали дружеской благожелательностью, истинным благородством и в то же время были нелицеприятны.

Он радостно говорил о достижениях своих товарищей по перу, но и не скрывал их недостатков. Критика Серафимовича была идейна и честна. Вот почему слушатели так верили ему.

Часть высказываний Серафимовича о писателях потом печаталась в виде статей и очерков, часть дана в качестве комментариев к его собранию сочинений.

После литературного доклада обычно начинались вопросы слушателей на самые разнообразные темы: осведомленный человек, приехал из столицы, живет на улице своего имени, в Доме правительства. И засыпали записками. Он отвечал. Отвечал не без юмора, иногда не без сарказма.

В Мотовилихе, в клубе им. Свердлова, ответы затянулись далеко за полночь и могли бы продолжаться до утра. Стопочка записок не уменьшалась, а Серафимович все отвечал, отвечал до хрипоты. Пока те, кто сидели за столом президиума, решительно не поднялись с мест:

— Довольно. Стоп! Спать надо!.. Завтра рано на работу... И замучили совсем человека. Кто отвечать будет?

Библиотекари завладели Серафимовичем и старались воспользоваться его пребыванием, чтобы еще больше возбудить интерес к книге. Они знакомили его со своими лучшими читателями, среди которых часто встречались начитанные, культурные, хорошо знающие и любящие литературу люди. Серафимович с радостью убеждался, что многие читатели хорошо знают все его произведения, не только «Железный поток». Некоторые вступали с ним в спор, а он очень любил спорящего, критикующего читателя. Открывался настоящий диспут. Собственно говоря, именно тут, видя перед собой «настоящего» читателя, того, кому писатель призван служить всем разумением своим, Серафимович выступал с наиболее глубокими и сокровенными своими мыслями.

О приезде Серафимовича быстро разносилась весть по всему району (в газетах печатались сообщения) — и приходили к нему пешком и на лыжах, и приезжали издалека начинающие писатели с предприятий, из колхозов. Нередко, когда попадалась «сто́ящая рукопись», Серафимович устраивал в свободный денек

у нас в номере читку и обсуждение произведения. Если собиралось много народу, администрация гостиницы отводила нам свободное помещение, и там открывалось что-то вроде семинара. Обычно он приглашал на эти читки писателей из местного отделения Союза советских писателей. В Иваново-Вознесенске в такой работе участвовали писатели Полторацкий, Благов, Семеновский, Шошин, Прокофьев и другие. Обсуждения проходили очень оживленно. «Хозяин» умело и тактично руководил прениями. В обращении со всеми Серафимович был неизменно мягок и деликатен, не допускал резкостей. Но совершенно преображался, когда дело касалось принципиальных и острых вопросов. Он тогда не скупился на самые беспощадные слова, был непреклонен, несгибаем, как истинный большевик.

По окончании читки и обсуждения «хозяин» приглашал гостей поужинать. После ужина уговаривал гостей петь, сам «дирижировал», размахивая руками. Велись интересные разговоры на разные темы. Спрашивали Серафимовича о здоровье. Желали ему жить много-много лет. Он вздыхал и признавался:

— Умирать не хочется... Ох, как не хочется... Главное, досадно: скоро, очень скоро наука добьется — человек будет жить очень долго...

...Приезжая в какой-нибудь пункт, Серафимович прежде всего отправлялся в обком или райком партии; знакомился с рядовыми партийцами, работающими на предприятиях и в учреждениях, в которых он собирался выступать. Обыкновенно вначале устраивался специальный вечер для партийного, комсомольского и профсоюзного активов. Устраивались также встречи с местными писателями и журналистами, большею частью в редакции местной газеты, или в одном из клубов, или в местной библиотеке. В Свердловске, например, такие собеседования с работниками литературы и искусства проходили под председательством писателя Павла Петровича Бажова.

На таких встречах Серафимович чувствовал себя как среди родных, как будто десятки лет знал этих людей: своя семья, свои люди. Основная тема собеседований была — литература. Но постепенно беседа переходила на животрепещущие политические и между-

народные темы. А когда касались производственных тем, Серафимович и слушатели менялись ролями: он задавал вопросы, а они отвечали. Серафимович настойчиво расспрашивал, что мешает успеху хозяйственной и культурной работы, в чем ощущается наибольшая нужда. Постепенно ему все выкладывали: какие, в чем препятствия, что надо изменить, какие планы на будущее. Много интересного рассказывали об окружающей жизни. Затрагивали зачастую и личные, бытовые вопросы.

Серафимович говорил о задачах советской литературы, проводя параллель между ней и старой, дореволюционной литературой.

— Прежний писатель,— указывал он,— работал в одиночку, в тиши кабинета, под дамокловым мечом цензора, работал нередко анархически, без руля и без ветрил. О плане не могло быть и речи при капиталистах и их власти. Идейных организаторов и вдохновителей преследовали. Однако один только Горький что сделал в издательстве «Знание»?! А какую громадную революционизирующую роль сыграла дореволюционная русская литература, как помогла она партии сплотить массы рабочих и крестьян!.. Какие же перспективы имеет литература теперь, когда писатель может руководствоваться четким и ясным планом, разработанным партией при участии лучших сил страны и одобренным всем народом, и когда писатель твердо знает, за что ему биться, к чему призывать?! Писатель у нас чувствует себя твердо стоящим на ногах, делающим именно то дело «изменения мира», к которому призывали еще Маркс и Энгельс. За годы Октября,— говорил Серафимович,— я воочию убедился, что историю тоже можно заставить идти по плану. Большевики и истории дают «задание»: выполняй на сто процентов, матушка...

...Серафимовича всюду и везде спрашивали о его встречах с товарищем Лениным. Он рассказывал, как сидел у вождя пролетариата, Ленина, в гостях, беседовал с ним за самоваром и скудным угощением — тогда голод был, блокада. Это был для писателя «единственный, незабываемый день». Он ясно ощутил «всю глубину его любви, веры и гордости за создателя жизни — рабочего творца». Эти ответы Серафимовича

на вопросы о его встрече с Лениным послужили ему потом материалом для замечательного очерка «В гостях у Ленина».

Во время лекций Серафимович иногда читал отдельные места из другого своего очерка — «Работники земли советской». В этом очерке Серафимович описывает, как выступал товарищ Ленин на IX съезде Советов в 1921 году. Аудитория слушала с глубоким волнением. Очерк этот словно был написан о сегодняшних поджигателях войны.

Какую веру вселяли скупые строки в слушателей! Если тогда затея империалистов так позорно провалилась, говорил Серафимович, то уж сейчас их дело явно безнадежно. Коммунистическая партия осуществила такие грандиозные, такие захватывающие, мирового масштаба, перемены, которые самым ощутимым образом отразятся на ходе истории всех народов. И это будет в весьма недалеком времени, предрекал Серафимович.

— Блеск предстоящих наших дел, — предсказывал Серафимович в кунцевском клубе «Заветы Ильича» 7 апреля 1945 года, — будет еще более ослепителен, чем сейчас, и превзойдет по масштабу и мощи все, что мы наблюдаем теперь. Для истории четверть века — краткий миг. А коммунисты успели уже так много сделать... Они уже властвуют над умами лучших людей в самых дальних уголках мира. Представляете себе, что будет во второе двадцатипятилетие? Недаром враги наши мечутся и беснуются.

— Если бы не партия, — говорил Серафимович на съезде железнодорожников на станции Пермь, где присутствовало более 1500 человек, — мы бы, безусловно, еще в начале двадцатых годов были разбиты наголову и съели бы нас с косточками и потрохами...

...Он весь загорался, рассказывая студентам о грандиозных демонстрациях на улицах Москвы в дни первомайских и октябрьских праздников. Всюду реют знамена и транспаранты, идут с песнями, льются бесконечные потоки демонстрантов.

— Неизмеримо... колоссально неисчислимо, как звезды. Да разве там, в снежных сугробах ссылки, мы смели о таком мечтать? В тюремных камерах наше

пылкое воображение разве могло представить себе такое грандиозное зрелище ликующего народа?

Речь его лилась вдохновенно, действовала на аудиторию как призыв набата. Раздавались бурные рукоплескания.

Часто выступал Серафимович в Домах Красной Армии, в воинских частях, в военных училищах. Особенно — в годы Великой Отечественной войны. У писателя был собран и систематизирован богатый материал о выдающихся военных подвигах советских воинов, больше всего в годы гражданской войны, которую он хорошо изучил, будучи корреспондентом газеты «Правда». Он ярко рассказывал о чудесах храбрости и самоотверженности солдат. Например, как артиллеристы на руках перетаскивали орудия в ледяной воде на другой берег, как маленькая горсточка героев отгоняла целые офицерские отряды, казачьи полки.

Безвестные скромные герои совершали величайшие подвиги во имя чего? Во имя защиты родины! Они забывали о себе, о своих семьях и близких, гибли тысячами, сотнями тысяч.

В годы войны Серафимович страстно обличал фашизм. У него был подобран материал, рисовавший бесчеловечность диких фашистских орд, их волчью алчность и хищность, их моральную опустошенность и гнилость. Он подолгу расспрашивал участников войны, беженцев из оккупированных немцами районов, бежавших из плена бойцов.

Из этих материалов постепенно вычеканились два известных рассказа Серафимовича — «На хуторе» и «Душегубка».

Перелом в ходе войны в тот период еще не наступил: дерзкий и напористый враг занимал еще огромные территории нашей страны. Но в речах писателя не было и малейшего следа уныния. Наоборот, каждое его выступление выражало уверенность в конечном торжестве нашего дела — враг будет повержен в прах. Вера его заражала слушателя, внушала бодрость.

В г. Кинешме, Ивановской области, мы в годы войны побывали в военном лазарете, и там Серафимович выступил перед ранеными. К тяжелораненым он зашел в палату, и они слушали его, лежа на койках.

— Вы пролили кровь свою за Родину,— сказал он раненым воинам,— и помогли остановить нашествие фашистов. Этим самым вы помогли отстоять завоевания Великой нашей революции, отстоять социализм, который мы уже построили, и коммунизм, к которому мы идем и придем. Значит, вы пролили кровь недаром. Вы помогли не только своей стране и своему народу — вы помогли всему угнетенному трудящемуся человечеству, страстно ищущему освобождения от ярма капитала.

Выступая перед работниками литературы и искусства в Пермской областной библиотеке им. Горького, Серафимович призывал их считать себя «бессрочно мобилизованными», «на казарменном положении». Когда нависают грозовые тучи, писатель должен рвать в клочья врага и всех клеветников и злопыхателей. В то же время всеми силами вдохновлять работников тыла на славные подвиги.

— Народ,— говорил Серафимович на выступлении в Смоленске в концертном зале филармонии,— вовсе не станет слушать нас, если мы не будем говорить о самом главном, что его интересует,— о Родине. Как набат, должно звучать с наших страниц и с наших кафедр: «Защищайте Родину до последней капли крови!»

От коммунистов и комсомольцев он требовал: «Умри, а долг свой выполни!» Считал, что они должны служить примером для всех воинов, быть везде и всюду на передовой линии огня и бесстрашно идти вперед — только вперед!

Паразитом на народном теле является писатель и работник искусств, который не думает об обороне отечества и о своем вкладе в это священное дело.

По поручению Курского обкома партии мы из Курска, где выступали, поехали в село Беседино. Там на площади, где была сооружена трибуна, собрались все жители — от мала до велика. Серафимович рассказывал, что он видел в деревне раньше, при царе: порку, зуботычины урядника, увод последней коровенки за недоимку, хроническое голодание крестьянского населения старой России, трупы детей, не доживших и до года. Крестьянин не считался человеком, это был помещичий раб.

Речь Серафимовича, сопровождавшаяся конкретными примерами, взволновала слушателей. Старухи то и дело вытирали слезы, а молодежь, видимо, не могла себе представить, что так жили когда-то их деды. Но на трибуну выходили седобородые старики и своими рассказами о жестоком прошлом, пережитом на этой же родной курской земле, подтверждали: «Да, так жили...»

...Серафимовича было интересно слушать. Его выступления имели успех. Слушателю было ясно, что этот человек, проживший долгую жизнь, внимательно наблюдал и изучал народ. Ни одного часа он не терял даром. Он много знал, много учился и много видел. Он был наделен богатой памятью: все, что видел, на всю жизнь врезывалось в его ум и сердце. Даже о том, что он видел много-много десятков лет тому назад в казацкой станице, когда был еще ребенком, он рассказывал так выпукло, так ощутимо, что слушатель словно присутствовал на месте, где все это происходило. В его выступлениях талант художника сочетался с темпераментом политического борца.

С особым интересом слушала его молодежь. Для нее это был живой свидетель, живой очевидец прошлого. При этом такой очевидец, который хорошо знает настоящее и имеет возможность сравнить день вчерашний с днем сегодняшним...

...Он всюду звал молодежь к бесстрашию и героизму во имя Родины. Подчеркивал, что именно молодежь в первую очередь отвечает за судьбу единственной в мире социалистической республики, на нее ложится главная ответственность. В то же время с гордостью, как о своих сыновьях и дочерях, говорил, что всюду, и на фронте и в тылу, видел молодежь, комсомольцев и комсомолок, молодых партийцев и партиек в первых рядах борцов. Серафимович рассказывал, черпая из сокровищницы виденного им за долгую жизнь, о героическом поведении нашей молодежи, о ее самоотверженности, ее глубочайшей революционной сознательности. Все это давало ему основание возлагать на советскую молодежь большие надежды. Она не остановится на полпути, она доведет страну до коммунизма. Кому же, как не ей?

Серафимович, просветленный рисуемыми им картинами и образами грядущего коммунизма, увлекаясь сам и увлекая за собой зал, говорил все это учащимся техникумов, средних школ, об этом он говорил, например, в Пермском механическом техникуме, учащимся средних школ в Ломоносовском и Октябрьском районах г. Архангельска, в средней школе им. Карла Маркса в Ярославле.

— Я-то, надо полагать, уже не доживу, — сожалел он. — Косточки мои будут гнить в могиле. А вы-то, вы доживете. Вы войдете в это лазоревое царство коммунизма! Вы будете членами коммунистического общества!

Так готовьтесь же к этим светозарным дням! Набирайтесь знаний — огромные знания потребуются там. Шлифуйте мозг. Совершенствуйте свои моральные качества! Освобождайтесь от пережитков прошлого!..

...Разъезжая по стране и выступая в различных аудиториях, мы имели возможность наглядно убедиться, что советский народ любит литературу, любит писателей. Аудитория охотно слушала, когда Серафимович подкреплял свои политические аргументы литературными примерами из популярных произведений.

Манера Серафимовича излагать свои мысли перед слушателем-читателем, тон его речи ясно показывали, что он выступает не как популярнейший в стране писатель, а просто как опытный и знающий человек. Аудитория все время чувствовала, что этот старый, многоопытный человек относится к ней с глубочайшим и искренним уважением. Не с высоты своего величия учить слушателей пришел он сюда, а пришел поделиться с ними своим опытом, своим знанием жизни, вернее, того или другого уголка жизни, с которым слушатель, занятый другим, не менее, а может быть, более важным общественно-государственным делом, не имел возможности ознакомиться, изучить его, продумать.

Он очень боялся многословия и неустанно стремился к лаконичности. Убежденный, что масса культурно выросла, он больше всего боялся преподносить ей мелкодонные, шаблонные, неясные и путаные рассуждения и мысли. На этот счет он строго выговаривал молодым писателям в разных городах: «Если ты — писатель и специально к этому делу приставлен, то уж

будь добр давать действительно глубокие мысли, мысли-изобретения, мысли-открытия, неопровержимые, всесторонне проверенные, крепкие и звонкие, как сталь». Он требовал от писателей, чтобы читателю давался только высокосортный материал; он говорил, что не только во многих городах Союза, но и во многих колхозах встречал читателей, которые понимают не меньше любого писателя. «Много теперь в Советском Союзе очень умных и глубоко мыслящих людей. Им не приходится объяснять: се лев, а не собака. Надо бросить изжитую систему грубой опеки над читателем или слушателем».

Серафимович не переставал повторять, что писатель должен быть человеком больших, разносторонних знаний. Чем образованнее писатель, чем шире его горизонт, тем характеры, мироощущения, психология создаваемых им образов тоньше, вернее, поступки героев более закономерны.

Вот почему Серафимович упорно и настойчиво звал писателей к образованию, прежде всего марксистскому, к выработке широкого кругозора. Он требовал от писателей, чтобы они «крепко осознали» величайшую ответственность писателя перед народом...

...Серафимович в ответ на вопросы местных писателей нередко раскрывал свои «секреты производства». «Я редко брал целиком живую модель, однако без модели почти не обходился». Во многих встречаемых людях он видел «потенциальную модель». Но с разбором брал у каждого только одну-две интересные черточки — не более. Так собирал и откладывал. Потом все эти черточки отбирал, отсеивал, комбинировал, сцеплял, и в результате вырисовывался единый образ.

— Они у меня частенько из кусочков слеплены, подобраны слагаемые одно к другому. Конечно, все выверено, взвешено, взято в соответствующей пропорции. Главное, чтобы сюжет последовательно и неразрывно развивался. На единую цельную живую модель писателю трудно рассчитывать — случай такой счастливый редко выпадает, его годами искать можно и не набрести. Если отличительные черты и характер «героя-модели» подходящие, то, оказывается, переживания его бледны или события, в которых он участвует или является движущей силой, шаблонны и представляют

мало интереса. Кроме того, правда художественная, как известно, имеет свои требования и законы. В жизни происходило так, а в художественном произведении, если точно дашь, как было, может выглядеть нежизненно, фальшиво, даже маловероятно — читатель не поверит. Из отдельных черт разных людей гораздо легче организовать и вылепить правдивый образ. Тут воображение играет большую роль. Делать такой сплав надо, конечно, с толком, и тогда самый опытный глаз не заметит следов сплава...

...Всюду, куда бы ни приезжал Серафимович, ему оказывали необычайно радушный прием. Его доклады и выступления были большим и радостным событием. Провожали его также с большой сердечностью, крепко жали руки, благодарили. Приходили, провожали, даже если поезд отходил поздно ночью, настойчиво просили обязательно еще раз приехать, и как можно скорее, девушки приносили в купе цветы. Серафимович, тронутый вниманием, обещал:

— Обязательно приеду к вам...

В некоторых местах, например на Урале, в Ревде, руководители Среднеуральского медеплавильного завода серьезно убеждали писателя приехать туда «на полгодика»: «Дадим вам отдельный домик, снабдим всем необходимым, сидите и пишите о нашем заводе или о чем хотите».

В Архангельске студенты Лесотехнического института явились с таким трогательным предложением:

— Вам уже трудно, Александр Серафимович, самому собирать материал... Вот мы, шесть человек, организовали бригаду, которая поступает в полное ваше распоряжение. По вашему указанию мы будем собирать необходимый вам литературный материал, систематизировать его, разрабатывать. Вы, имея этот материал, легче сможете писать. Если надо будет, мы приедем к вам в Москву, по первому вашему вызову...

...Когда мы из дальней и длительной поездки возвращались в Москву, я не замечал в нем ни малейшего следа усталости. Можно даже сказать, что он чувствовал себя бодрее, чем тогда, когда мы выезжали из Москвы. Он энергично записывал что-то себе в книжечку и то и дело вспоминал:

— А ведь правильно они указывали...

— Это я действительно проморгал, что и говорить. Надо было еще в Москве сообразить...

Словно взвешивая и рассуждая сам с собою вслух, он неожиданно замечал:

— А хорошее все-таки дело мы сделали. Нужное. Почаще бы так проветриваться... Чувствуешь себя нужным человеком...

Говорил о необходимости для писателей таких выездов:

— Слишком долго сидят они сиднем в Москве. Почаще бы выезжали — и для литературы было бы полезнее...

Проходило несколько месяцев — он по телефону вызывал меня к себе:

— Знаете, был вчера у меня из N-ского обкома партии. Очень уж зовет. Не двинуться ли нам снова в путь-дорогу?

И мы снова двигались по необъятным просторам нашей родины.

Осмеливаюсь в заключение высказать свое убеждение, что Серафимович не был бы тем Серафимовичем, которого мы знаем и высоко ценим, если бы он не был так кровно связан с народными массами Советского Союза.

1950

Вяч. Лебедев

ВСТРЕЧА С СЕРАФИМОВИЧЕМ


числе довольно многих встреч, выпавших на мою долю более чем за полвека моей литературной жизни, не могла не запомниться мне и единственная, но содержательная беседа с Александром Серафимовичем Серафимовичем. Она произошла в Москве, во время какого-то литературного вечера, в комнатке, прилегающей к сцене, сбоку и слева от зрительного зала. Мне было необходимо увидеться с ним, хотя я еще не имел в литературе ни лица, ни имени, да, понятно, и голоса сколько-нибудь значащего... Однако неожиданно приветливый, доброжелательный обладатель уже большого, знаменитого имени принял меня даже без «снисходительности», а очень просто и тепло.

— Чем могу быть полезен, молодой человек? — задал он вопрос, ибо я был достаточно молод.

Едва не растерявшись, я все же попробовал объяснить:

— Мне очень нравятся ваши произведения, и познакомиться с вами было бы для меня не только почетно, а и полезно, Александр Серафимович...

Он улыбнулся, несмотря на некоторую суровость черт своих.

— Не слишком удачный псевдоним я себе придумал... Только ударением отличается от имени... Что же хотели бы вы узнать, услышать?

— Какую вещь свою вы считаете наилучшей? — вымолвил я.

— По логике вещей — последнюю... — опять слегка улыбнулся он.

— «Железный поток»... — подхватил я. — Совершенно понятно! Она и мне представляется наилучшей...

И опять чуть-чуть улыбнулся серьезный мой собеседник:

— Достаточно хоть что-нибудь путное сделать, и уже осаждают. Но не могу не поделиться с вами, молодой человек,— видимо, из начинающих? — своей недавней удачей, совсем недавней... В нашей литературе взошла новая, большая, пожалуй, долгожданная звезда... И где! На нашем славном Дону, про который красиво сказано: «Тихий Дон — краса полей...» Был у меня тут как-то молодой автор, которому впору потягаться с Львом Толстым... Вот какое возникло у меня и чувство и мнение об этом человеке, а прочитал мне он как раз главы из вещи, озаглавленной «Тихий Дон»... Настоящий праздник у меня оказался, хороший, радостный праздник! Вещь, правда, еще далеко не закончена, начата, вернее, но, если будет доведена до завершения с такой же силой и блеском, литературу нашу можно поздравить! Не посрамили ни Русь, ни Дон!

Из дальнейшего выяснилось, что Серафимовича привел в восторг действительно в ту пору очень молодой Михаил Шолохов, причем вещью, тогда еще не опубликованной, только, видимо, начатой. Пожилому, маститому мастеру Александру Серафимовичу не так-то просто было и в восторг прийти, и предсказать великое будущее еще не законченному произведению, тем более — в беседе, можно сказать, с «первым встречным», каким я только и мог быть для него тогда!

Нет, видимо, чувство, его обуревавшее, было столь сильным, искренним, непроизвольным, что действительно захотелось поделиться этим чувством с «первым встречным»... Ведь не мог он подозревать, что и я мечтаю о больших свершениях, о том, что и мою скромную персону скоро заметит великий Горький, что моего «Командарма», повесть о восточном походе Михаила Фрунзе, высокая литературная критика поставит рядом с его, Серафимовича, *шедевром* — «Железным потоком». Вот уж об этом-то я никак не мог мечтать!

Встреча, хотя и недолгая, хотя и единственная, не оказалась бесплодной, ненужной. Если она, разумеется, ничего не дала автору «Железного потока», то меня немало вдохновила, подбодрила, окрылила, даже заставила смелее дерзать, видеть в старших мастерах словесной живописи не придирчивых «охладителей» и «тормозителей», а добрых, чутких способных горячо радоваться нашим удачам, успехам молодых — учителей и наставников!

Достаточно было мне увидеть, какой огромной радостью было для Серафимовича его открытие в безвестном земляке нового *Толстого*, лишь через *пятнадцатъ* лет завершившего свою донскую «Илиаду»,— чтоб и я проникся творческим «совосторгом», верой в нужность, важность, верой в значительность литературного *подвига*.

Спасибо Александру Серафимовичу за это!

1975

Дм. Налбандян

ДВЕ ВСТРЕЧИ



Серафимовичем меня познакомил известный советский писатель и драматург Борис Андреевич Лавренев, который очень любил изобразительное искусство, интересовался работами советских художников, и в частности моими картинами. Мы поддерживали дружеские отношения и нередко встречались с ним.

Однажды — это было около пятнадцати лет тому назад — Борис Андреевич предложил мне:

— Поедем к Серафимовичу. Ведь он любит живопись.

Я охотно согласился.

И вот мы у Серафимовича. Нас встретил просто одетый человек с добрыми, приветливыми глазами.

Мы застали у Серафимовича группу молодых писателей. Он заканчивал с ними беседу, в которой дружески журил их и давал отеческие советы, как беречь и правильно развивать свое творчество.

Ожидая, пока Александр Серафимович освободится, я внимательно разглядывал все вокруг. Меня очень поразила скромность, с которой была обставлена квартира выдающегося советского писателя. Кругом книги. Много их и в застекленных шкафах, и на столе. А между книжными шкафами я увидел висящие на стене пейзажи Левитана и других художников. «Значит, Серафимович действительно любит живопись»,— обрадованно подумал я.

Александр Серафимович с интересом стал расспрашивать меня, где я учился, кто были мои педа-

гоги. Я рассказал, что художественное образование получил в Тбилиси, где окончил Академию художеств по классу выдающегося русского художника Евгения Евгеньевича Лансере, который привил мне большую любовь к природе, к родным местам и научил живописному мастерству. Далее я рассказал писателю о том, что очень люблю искусство пейзажа и портрета, стремлюсь к изображению национальных черт народа, к созданию произведений, ясных и понятных широким массам зрителей.

Так у нас возникла беседа об искусстве живописи.

— Кого вы любите из художников? — спросил я Александра Серафимовича.

— Я очень люблю художников девятнадцатого века, — сразу ответил он. — Особенно — Репина, его замечательную картину «Запорожцы». Ведь когда смотришь «Запорожцев», то как бы читаешь увлекательный рассказ о Запорожской Сечи. Если бы я в своем литературном произведении так предельно выразительно смог бы передать психологические образы и типы, как Репин в «Запорожцах», то был бы счастлив.

Далее Серафимович с увлечением заговорил о Василии Ивановиче Сурикове и его чудесной картине «Боярыня Морозова». Он подчеркнул, что великие русские художники И. Е. Репин и В. И. Суриков сумели создать жизненно правдивые картины большой художественной силы только потому, что хорошо знали народ, изучали жизнь людей той эпохи. Важность этого обстоятельства для деятелей искусства и литературы он иллюстрировал и примерами творчества русских и зарубежных писателей. Александр Серафимович говорил мне, что он особенно ценит Алексея Максимовича Горького за то, что Горький был тесно связан с жизнью народа и с большой жизненной правдой отобразил в своих замечательных произведениях русских людей, их революционную борьбу, что он также любит Антона Павловича Чехова за его исключительную наблюдательность и глубокое знание жизни и характеров людей, которых он так правдиво показал в своих произведениях. Из иностранных литераторов Серафимович привел в пример французских писателей Эмиля Золя и Ги де Мопассана.

Затем Александр Серафимович опять вернулся к вопросам творчества современных художников. Он высмеивал формалистов, декадентов, говорил, что терпеть не может в живописи трюкачества и фокусов. Касаясь творчества советских художников, Серафимович спросил меня:

— Как вы, например, понимаете творчество Сарьяна? Почему его так высоко ценят? Мне непонятно его искусство. Он изображает Армению в каком-то другом плане...

Я на этот вопрос писателя ответил:

— Сарьян — крупный художник. Он владеет цветом, сочетаниями красок, и это пленяет зрителя.

— Красочность? — как бы спрашивая, произнес после небольшой паузы Александр Серафимович. И тут же сам ответил на свой вопрос: — Некоторые художники увлекаются любованием красками. А ведь важно не только техническое мастерство. Главное в произведении — его идея, содержание, которое надо правдиво передавать средствами изобразительного искусства.

Наша интересная беседа продолжалась около двух часов. Я вынес из нее глубокое убеждение, что А. С. Серафимович — большой писатель-реалист, верный интересам народа, всей душой любящий реалистическое искусство, человек огромной культуры и высокой принципиальности.

После беседы я попросил у Серафимовича разрешения сделать его портрет. Александр Серафимович охотно согласился и назначил встречу:

— Приходите ко мне завтра в двенадцать часов дня.

Затем А. С. Серафимович, Б. А. Лавренев и я поехали на выставку картин московских художников, расположенную на Кузнецком мосту. Для этой выставки я написал весной 1945 года несколько живописных полотен и среди них одну историко-революционную картину. Внимательно осмотрев выставку, в том числе и мои работы, Александр Серафимович отметил, что я иду правильным путем в искусстве, но, однако, сделал ряд дружеских замечаний. Он сказал мне:

— Вот что, молодой человек, не надо спешить при работе над произведением. Вспомните, как работал

Лев Николаевич Толстой над романом «Война и мир», как он многократно, тщательно переписывал каждую фразу. Ничего легкого в подлинном искусстве нет. Здесь нужны большой труд и настойчивость.

С большим волнением внимал я словам выдающегося писателя. Мне А. С. Серафимович по своей житейской мудрости, отеческому отношению к молодым авторам и большой требовательности к творчеству напоминал А. М. Горького.

На следующий день я пришел к Серафимовичу. Писатель позировал мне полтора часа. Вначале я искал композицию портрета, затем сделал набросок. Александру Серафимовичу понравился этот набросок, и он поставил под ним свой автограф.

К сожалению, мне не удалось еще поработать над этим портретом, так как А. С. Серафимович вскоре серьезно заболел.

Этот портрет Серафимовича долгое время я хранил у себя. Но однажды его увидел народный писатель Грузинской ССР драматург Шалва Дадиани, которому он понравился, и я подарил старейшему грузинскому писателю портрет старейшего русского писателя.

Образ замечательного советского писателя и патриота Александра Серафимовича Серафимовича навсегда останется в моей памяти.

1959

Григорий Ершов

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Звонок. Короткий телефонный разговор. И с этой минуты все стало складываться как-то непривычно, по-особенному.

Меня вдруг вызвал директор Гослитиздата Анатолий Котов.

И вот мы вдвоем.

Старый, на резных, солидных ножках, поддерживающих и тяжелые вместительные тумбы с ящиками, и просторную, с добротным, протертым местами сукном дубовую отполированную временем доску, видавший виды письменный стол по-прежнему со всех сторон завален грудами новых изданий современной советской, русской и иностранной классической литературы. Я сижу, утонув глубоко в черном кожаном кресле, и в его старых объятиях чувствую себя уже от одного этого достаточно неловко. Анатолий Котов примостился на самом краешке такого же мягкого, довольно потертого и оттого потерявшего свой некогда черный цвет дивана. И, на мой взгляд, просто чудом не проваливается в его ослабевшие пружины, а как бы завис над ними.

Но вот он вскочил на ноги и неслышно зашагал по ковровой дорожке рабочего кабинета, явно собираясь с мыслями.

И вдруг решился.

— Вчера довольно поздно вечером у меня в кабинете раздался звонок. Секретаря уже не было, и я поднял трубку: «Товарищ Котов? Не кладите трубки, с вами будет говорить...» Поверь мне, друг,

меня действительно будто оглушило, когда я услышал, с кем мне предстоит разговор. Никогда в жизни ни лично, ни по телефону мне ни разу не доводилось удостаиваться столь высокой чести. И тут я услышал спокойный, с характерным акцентом голос: «Здравствуйте, товарищ Котов!» — услышал я. Я не знал, что сказать в ответ, словно оцепенел. А из трубки: «Вы меня слышите?» И я поздоровался. Вот тогда-то и зашла речь о том, ради чего я и пригласил тебя нынче к себе. Глава партии и правительства обратился непосредственно ко мне, директору издательства, с тем, чтобы мы все подумали, как в опустевшие библиотеки чуть ли не половины страны в ближайшие год-два дать лучшие творения, созданные силою высокого гражданского мужества и истинного таланта лучших советских писателей. А приближается, друг, восьмидесятипятилетие А. С. Серафимовича, этого, по словам руководителя партии и правительства, «верного бойца». И предлагалось мне продумать, в какое время можно завершить прерванное войной его десятитомное собрание сочинений. Упор-то, браток, сделан был на то, чтобы читатель получил до конца все лучшее, обещанное ему перед войной, из сочинений Серафимовича. И главное — быстро и оперативно. Вслед за тем он со мной так же спокойно, деловито, но достаточно тепло попрощался.

Я выслушал все это с затаенным дыханием.

И тут мне на ум пришла по-настоящему дельная мысль.

— Утро вечера мудренее, — сказал я. — Звони Александру Серафимовичу. Верю, он охотно поможет нам в этом, пусть и не легком деле.

— А что я ему скажу? — растягивая фразу и обдумывая в это время со всех сторон эту новую ситуацию, произнес Анатолий. И затем ко мне: — Ну, соавтор нашего сверхоригинального плана (он об этом, как я узнал от него позже, оказывается, подумывал уже, да только решение принять опасался), завтра едем с тобой к будущему юбиляру — с таким человеком никому не грех лишний раз повстречаться.

И вот мы на улице Серафимовича, 2, в прихожей квартиры сына писателя. Дверь нам открыла жена сына Изабелла Вениаминовна, подвижная, общительная,

со здоровым, приятным загаром брюнетка. Вышел и сын писателя, высокий, стройный черноволосый приветливый мужчина — Игорь Александрович Попов. Он и провел нас к отцу, который, прихворнув, временно жил здесь, у сына со снохой. Александр Серафимович лежал в постели и, как нам показалось, несколько смущенно извинился за то, что ему сильно с утра нездоровится и он не может принять нас по-настоящему.

— Годы, куда ни кинь, подсовывают клин, — невесело пошутил писатель и вдруг приободрился, позвал сноху, жестом руки попросив поднять его повыше на подушках. Игорь Александрович, легко и осторожно подхватив отца под мышки, приподнял его над постелью, а Изабелла Вениаминовна ловко и быстро взбила подушки, присоединив к ним еще одну. И теперь Александр Серафимович получил возможность разговаривать с нами свободней, удобно полусидя в своей кровати.

— Нам, старикам, куда ни шло. У нас мно-о-о-гое позади. А в глазах у меня, когда так-то вот приболею покрепче, всё подушки на узкой солдатской кровати видятся и на них крупная чернявая голова с удлиненным сухим лицом и открытыми, но невидящими глазами. Белые худые руки с длинными пальцами лежат поверх пледа, которым укрыт...

— Вы о Николае Островском? — спросил я невольно. Знал я его еще по совместной палате в Пироговских клиниках 1-го ММИ, где мы с ним лежали в конце 1929 — начале 1930 года.

Александр Серафимович пропустил мой вопрос. Он с воодушевлением продолжал:

— А раскроется рот, высветлит красивые белые зубы, на лице заиграет вдруг какая-то одному ему присущая энергическая жилка. Признаки несгибаемой воли и великого мужества проступят на этом только что казавшемся больным лице, и вы уже не видите перед собою больного, прикованного тяжелым недугом к постели человека.

Александр Серафимович провел ладонью с широко растопыренными пальцами по начисто выбритой голове, глаза его вдруг весело, по-молодому засветились, и морщинки рассыпались по всему лицу, собравшись к худой шее и образовав складки у кончиков бледных

губ. Теперь казалось — все лицо его стало одной милой и доброй улыбкой, обращенной ко всем нам, сгрудившимся у его постели.

И вот он вновь забеспокоился:

— Игорь, Беллочка! Стулья гостям. В ногах правды нет. А вас, дети, пока что отпускаю. Да скоро и Фекла Родионовна с обедом заявится. Так что гуляйте и будьте свободны в своих делах и намерениях.

А когда Игорь с супругой вышли, он сказал:

— Берегу эту радость для них на самый день своего рождения. А вас, дорогой мой директор, видать, именно эта моя большая радость ко мне и привела.

Анатолий ударился тут в дипломатические игры-экивоки.

— Александр Серафимович! — не без пафоса воскликнул он и даже приподнялся с венского стула. — Город вашего имени есть, на улице своего имени вы живете, есть клубы, есть библиотеки, пионерские дружины и отряды вашего имени. Разве что лайнер морской в вашу честь назвать!

— Кажется, что-то вроде этого тоже есть в каком-то пароходстве, — подхватил игру Котова писатель, с хитрецой взглянув на директора издательства. И добавил: — А знаете, как вышло с Усть-Медведицкой, ставшей вдруг из станицы городом с моим именем?

— Расскажите, очень интересно.

— Плесните кто-нибудь глоток водицы в стакан, во рту пересыхает.

Мы оба с Анатолием схватились — он за стакан, я за графин. И, глотнув воды, Александр Серафимович начал свой рассказ.

Много лет прошло со дня этой моей встречи с Серафимовичем, и потому не смогу, видимо, передать редкого колорита его устного рассказа, искусством которого Александр Серафимович владел в совершенстве.

— Есть, други мои, такие люди: стукнуло дядьку полвека от роду, он уже готов за всю свою недолгую жизнь бабки подбить... Начинает, бедняга, в собственный ящик два на ноль семьдесят пять в плечах да ноль пять в ногах мысленно заглядывать. И невдомек такому вспомнить, что С. Т. Аксаков в эту пору только-только начал о «Детстве Багрова-внука» подумы-

вать да об «Ужении рыбы» на подмосковной холодной речке Воре записи вести, то есть начинал ту свою жизненную карьеру, которая и сделала его известным, оставив навсегда в памяти народной и его творения и его знаменитое Абрамцево.

В комнату вернулся Игорь Александрович.

— Да, вот я и говорю. Мне было под семьдесят, когда я начисто не понимал, что такое старость. Казалось мне, что и другим не давал повода меня считать пожилым, не то что стариком.

Вот Игорек не даст сболтнуть. Еще в тридцать первом году махнули мы с ним по батюшке-Дону родному. Шли на веслах; правда, в запасе имели подвесной моторчик. Тогда такое бензинное судоходство на нашей реке было еще в новость, и не хотелось стукотом и бензиновым запашком сердить молчаливых, словно сама пустынная река в ясный день, рыбаков. Да и моторчик был слабоват, и если отойти от берега, то он еле тянул против стремительного бега полой воды.

— У нас, отец, еще и парус в запасе был.

— С детства, когда я еще оловяннопуговичным гимназистиком на реку бегал, любил с усть-медведицкими сверстниками под парусом куда-нито под Вешки ходить, рыбачить, жечь костры, по чужим бахчам шастать.

Знали бы вы, голуби московские, какой невыносимо чудесный, буквально сжигающий даже под рыбацко-крестьянской широкой соломенной шляпой, наш истинно южный, степной беспощадный зной стоял и на реке, и в степи! Тени не было даже и под приречными ивами. Не было ее и в густых камышах, и уж конечно на каменистых откосах высокого берега. Обжигало, казалось, даже дерево лодочных скамей, а на кожаные обручи весел, там, где они ходили в уключинах, приходилось то и дело лить воду, чтобы не сгорели и не истерлись без времени. С пахоты наносило к реке запахи сухой каленой пыли, а временами крепкий дурманный керосинный дух, не то от моторчика нашей лодчонки, не то и впрямь от степных стальных коней — тракторов.

Куда и подевался характерный и такой привычный для нас, степняков, терпковато-горький запашок седых степных ковылей...

Тем летом я в полную меру ощутил силу и мощь моих родных степей, моей родной реки. Я наслаждался и сухостью и зноем. И казалось, в тот год навсегда болезни все из меня повылезли, растопились и повысыхали на степном палком солнышке.

Порыбачили, а потом и поохотились близ Вешенской вместе с Михаилом Александровичем Шолоховым. Ночью на рыбалке и «дрожжами торговал» и вымокал изрядно да просушивался у ночного казацкого солнышка — приречного костра. А бодрости и здоровья не поубавилось. Целый день Михаил Александрович показывал родные вешенские колхозы. Посмотрел я одно из самых знаменитых в наших местах сельскохозяйственное промышленное предприятие — совхоз-гигант.

Да что я все это вам растолковываю. О многом из этой поездки я написал в своем очерке «По донским степям».

До сего дня не покинула меня неуемная страсть «к перемене мест». Люблю путешествия, как самое жизнь.

Одно скажу — самолету и автомобилю или большому катеру с обслугой до сей поры предпочитаю хорошего коня-иноходца, на худой конец велосипед или мотоцикл. Вот поезда люблю, только редко ездил в мягких вагонах, куда лучше в обыкновенном плацкартном: сколько в таком пути интересных, по-настоящему колоритных дядьков и женок, парубков и дивчин встретишь; каких только былей, а то и небылей не наслушаешься!

А беспредельности тундры или нашей степи, непогоды и бездорожья, холодных дождей, морозов или жары палящей всю жизнь не боялся и в старости не страшусь.

Так вот, в самом начале 1933 года у меня в этом вот доме, в моей квартире, зазвонил телефон... Я поднял трубку и услышал... голос самого Климента Ефремовича.

Спросил он меня поначалу о здоровьице, о том, каково мое самочувствие в год моего полного возмужания. Полушутливо, но задушевно звучал отчетливый и немного начальственный его голос.

«На здоровье особо не жалуюсь, — ответил я, — донцы-скакуны, может, и не всегда уже под силу, но и без доброго коня, Климент Ефремович, слава богу, не обхожусь. Степи свои донские, быстрый Дон люблю, хотя уже давно, с одна тысяча девятьсот второго года, в москвичи записан».

Звонкий и четкий голос Ворошилова поведал мне тут же, что сейчас совещаются наши партийные руководители, как получше отметить мое семидесятилетие. «Не ошиблись в подсчете годков ваших?» — помню, пошутил нарком.

«Увы, Климент Ефремович, время ведет счет самостоятельно, и года копятся, не завися от нашего на то желания или нехотения».

Тут-то он мне и сказал, что высокие руководители партии нашей и государства думают, какой бы достойный моего имени город там, на тихом Дону, в мою честь переименовать. И спросил он меня: «Может быть, старинный, хотя и с явно молодящимся названием Новочеркасск?»

Я замолчал. Такой неожиданный вопрос! У меня ничего подобного, конечно, и в мыслях никогда не было... Только вот уж больно много всяческих неприятностей связано у меня смолоду было с этим городом казачьих атаманов, городом торгашей и богатеев. А Игорек вон знает, как мне всегда были глубоко враждебны и просто чужды понятия частной собственности и власти имущего над неимущим.

Климент Ефремович почувствовал мою заминку, и не стал торопить и дал мне свой прямой кремлевский телефон.

«А и думать-то мне более не надо. Для себя уже все решил», — поспешно ответил я.

Ворошилов меня внимательно выслушал. А я ему сказал примерно так:

«Коли уж так решили, что быть на Руси городу с именем стареющего писателя Серафимовича, или Попова (родная-то моя фамилия — Попов!), — назовите моим именем близкую сердцу моему скромную придонскую станицу Усть-Медведицкую».

И Климент Ефремович пообещал мне, что передаст мою просьбу на обсуждение Политбюро.

И я получил возможность еще и еще раз (теперь наедине с собою) взвесить мое решение. И думал я теперь, что даже до иного самого простого, сельского обустроенного райцентра моей Усть-Медведицкой — с несколькими тысячами жителей, без единого промышленного объекта, без собственного моста через Дон и сколь-либо крупных построек — было ох как далеко. Но слово, идущее из глубины сердца, было высказано.

Думы теперь потекли в иной плоскости. Я стал припоминать, чем же все-таки хороша мне Усть-Медведицкая? Близким выходом Дона в море? Но есть места к нему и поближе. Крутой, обрывчатый берег, террасами спускающийся с большой высоты к самому Дону, где в укрытии от степных ветров и степных вихревых пыльных завертей приютился целый рыбачий флот — и шлюпки, и струги, и баркасы, и даже пассажирские катера. С высоты Усть-Медведицкой далеко видать округ. В погожий, ясный денек утречком вся сетка грунтовых, проложенных по левому берегу Дона, проезжих дорог видна чуть ли не до самой железной дороги. А к самой Усть-Медведицкой примыкает много удобной, ровной, как стол, земли. А рыболовство? А хлебопашество? А какие сады? Мед какой? Что можно найти лучше для пчеловодства, нежели богатые цветами и разнотравьем степные просторы?

Да и в кои-то веки, еще до революции, а здесь уже была гимназия. И сейчас есть и средняя школа, и библиотека, и почтовое отделение. И своя Усть-Медведицкая МТС вот-вот начнет работу на степные колхозы Придонья. А какие тут косяки донцов гуляют в степи! Вот где резервы для буденновской красной конницы. А казаки-конники? Рослые, статные, кряжистые, кровь с молоком!

Тут меня вновь вызвали по телефону, и я еще раз услышал по-молодому громко и ясно звучавший голос Ворошилова: он сообщил мне, что решено райцентру Усть-Медведицкая первым пунктом постановления ЦИКа предоставить статут города. А вторым пунктом город Усть-Медведицкая переименовывается в город Серафимович. Узнал я от Климента Ефремовича затем, что предложение в Политбюро поступило с формулой «город Попов», но большинство товарищей

высказались в том плане, что чествуем мы-де не жителя города, но известного советского писателя Серафимовича, и городу быть названным в честь писателя.

Сердце сильно заколотилось, и я, с трудом владея голосом, ответил на это:

«Рад, сердечно признателен и ЦК нашей партии, и Советскому правительству за столь высокую честь!»

Климент Ефремович жизнерадостно и весело пожелал мне доброго здоровья, творческого вдохновения и вечной молодости!

В трубке раздались короткие гудки...

Воспоминания взволновали и, несомненно, утомили старого писателя. Но эгоизм молодости не давал нам оставить его. Мы молча смотрели, как, прикрыв глаза, он отдыхает. И дождались. Немного ослабевшим голосом, но по-молодому блеснув на нас отдохнувшими глазами, Серафимович закончил этот свой удивительный рассказ:

— Вот и стала моя Усть-Медведицкая городом, да еще имени писателя Серафимовича.

Как видите, пятнадцать лет назад, незадолго до моего семидесятилетия, мне впервые напомнили о солидном моем возрасте прямо из Кремля, — пошутил Александр Серафимович. — И звонил человек, как говорится, из первой пятерки в нашем огромном государстве.

Старый писатель долго молчал, то ли отдыхая, то ли не решаясь открыть нам свою радость, о которой до этого даже его Игорь не знал.

Мы не мешали ему, понимая, какая тяжелая нагрузка выпала на его сердце сегодня с нашим приходом и долгой засидкой. Но распрощаться и уйти и теперь еще не решались. Втайне Анатолий и я думали, наверное, об одном: «Эта радость старого писателя не может каким-то образом не быть связана с тем звонком, что так встревожил и надолго озаботил директора Котова».

И вот мы сидели и безжалостно ждали, когда вдруг узнаем хотя бы что-нибудь из того, за чем сюда пришли.

А повидавший всякого на своем веку и издавна отличавшийся умением проникать в тайное тайн чужой психологии, Александр Серафимович вновь лежал

с закрытыми глазами, словно бы спал. Но снова его глаза приоткрылись, лукавинка мелькнула на миг, а потом вновь умиротворенно и счастливо засветились они добром и благорасположением к нам. И, по-моему, оба мы поняли, что Александр Серафимович давно с большим вниманием наблюдал за нами и твердо знал, что именно привело нас к нему.

Конечно, десятью томами его вроде бы и не удивишь. А все-таки на душе у него наверняка праздник. Такая была война, столько городов еще стоят порушенные и когда до конца мы их восстановим? Но Советское правительство находит время подумать даже о том, что старому писателю Серафимовичу после военной поры на вторую половину к девятому десятку скоро перевалит, и решает: «Дадим-таки читателю собрание сочинений Серафимовича».

А он протянул руку (Анатолий сидел ближе к изголовью, я — немного поодаль) и отечески похлопал Котова по плечу. Я увидел, как снова, будто молния, молодо блеснула хитровато-озорная искорка в его глазах.

— Не беспокойся, дорогой директор. И мне был, браток, вчера звоночек с самого верху. Сообщал, что с товарищем Котовым обо всем условлено.

Надо ли говорить, что вопрос о выпуске собрания сочинений А. С. Серафимовича в десяти томах в самое ближайшее время, то есть в течение двух лет, был решен.

Все девять томов, изданные после войны, несмотря на большие полиграфические послевоенные трудности, были выпущены так же, как и первый довоенный, на хорошей бумаге и в солидных переплетах.

К сожалению, это оказался и последний договор Серафимовича с Гослитиздатом, и последнее прижизненное издание сочинений писателя. Отрадно, что все десять томов этого удивительного собрания сочинений признанного классика советской литературы вышли в 1948 году, еще при его жизни.

В результате этого необычного телефонного звонка в Гослитиздат его директор обогатился новым организационно-хозяйственным опытом, а я получил блестя-

щую возможность уже не только издали, но и непосредственно, в домашней обстановке пообщаться с человеком не только мудрым, но и несомненно самобытно интересным и в качестве собеседника, и в качестве объекта раздумий на тему: какие удивительные люди живут с нами на свете и как мало порою мы их ценим, а нередко просто не знаем о том, что составляет их вклад в общую всенародную копилку вечности, из богатств которой создается и славная история, а вместе с тем и славное будущее целого народа.

1976

Мирзо Турсун-заде

ПАМЯТНЫЕ НЕВСТРЕЧИ

К сожалению, мне не посчастливилось встречаться с автором романа «Железный поток» Александром Серафимовичем. Когда жил и творил этот замечательный советский писатель, мы были молодыми, еще только начинающими, никому не известными литераторами.

В доме, где жил Серафимович, была квартира одного из основателей таджикской советской поэзии Абулькасима Лахути. Бывая в Москве, я часто заходил к нему.

Помню, как однажды Лахути подвел меня к окну и стал объяснять, кто из писателей живет по соседству.

«А это, — сказал он, — квартира Серафимовича».

Я только что прочел «Железный поток» и был под впечатлением этого удивительного произведения. Я был потрясен тем, что в литературе можно с такой силой воплотить народную стихию, организованную так, чтобы она была способна изменить судьбу мира. Именно такой виделась мне наша новая литература.

А. Серафимович — один из основателей литературы социалистического реализма. Не случайно его «Железный поток» был сразу же переведен на таджикский язык и стал поистине любимой книгой наших читателей.

Следует заметить, что хотя таджикская литература имеет многовековую историю, но до революции грамотными были всего 2 про-

цента населения. Тем примечательней издание «Железного потока» в 30-е годы.

Первыми переводчиками романа были Дж. Сухайли и М. Юсуфи. В 1934 году книга в их переводе вышла в свет.

Потом мы читали «Железный поток» в переводе поэта-новатора, талантливого ученика и последователя В. Маяковского — Пайрава Сулеймани, который хорошо знал русский язык.

Пайрав учился в русской школе в Кагане еще до революции. Чтобы не накликать на себя беду, он ходил в школу за восемь километров в женской одежде, скрывая свое лицо за густой сеткой паранджи.

В его переводе «Железный поток» вышел в 1939 году, а затем переиздавался после войны. Пайрав Сулеймани перевел также несколько рассказов А. Серафимовича, которого считал одним из своих литературных наставников. Не случайно в связи с семидесятилетием со дня рождения А. Серафимовича он посвятил ему стихотворение «Творцу «Железного потока».

Вот эти строки:

Там, где капли росы падут в поля,
Молодые побеги дает земля,
И под лаской тепла побег несет
Созревающий, сочный, спелый плод.

Но хоть много подчас идет дождей
Над травою пустынь и степей, —
Там, где труд не прошел рукой своей, —
Сорняки вырастают да репей.

Взять перо — никому запрета нет:
В каждом кроется, может быть, поэт,
Но лишь тот, для кого стал близким труд,
Тот по нашим путям ведет свой след.

Так в книгах твоих — и там и тут,
Словно капли росы с пера текут.
Как посевы Коммуны с каждым днем,
Как дыханье тепла, растет твой труд.

Заострилось перо в труде таком:
Волосок расщепить — и то б смогло,
И повсюду, где искры его сверкнут,
В самом темном углу — и то светло!

Строчкогоны выбрали путь иной:
Для искусства искусство они куют,

А твое мастерство — на службе труда,
И твоим искусством гордится труд...

Хоть перо — это только стали кусок,
Но когда с ним такие, как ты, мастера,—
То и капли чернил, что текут с пера,
Сливаются в мощный «Железный поток».

(Перевод с таджикского К. Реваша)

Идейно-эстетическое влияние А. Серафимовича на молодую таджикскую советскую литературу сказалось не только и не столько в этом стихотворении Пайрава. Оно благотворно воздействовало на развитие всей нашей реалистической литературы. «Железный поток», в числе других лучших образцов русской советской классики, послужил для таджикской прозы той закваской, на которой поднялась наша подлинно современная литература.

Произведения М. Горького и А. Серафимовича стали для наших прозаиков примером художественного исследования истории народной жизни и современности.

Основу романа «Железный поток» составляют события гражданской войны, героический Таманский поход Красной Армии. Роман способствовал появлению и в нашей литературе подобных произведений. Прежде всего это «Дохунда» и «Рабы» С. Айни, «Пулат и Гульру» Р. Джалила, трилогия Дж. Икрами «12 ворот Бухары». В этих книгах отображен путь таджикского народа к революции, борьба за становление и укрепление советской власти в Таджикистане, социалистическое обновление нашей земли.

В центре замечательного «Железного потока» — образ народа. И в этих произведениях таджикской литературы основным героем является народ. Само название «Железный поток» в таджикской прозе стало символичным, приобрело высокое гражданственное звучание. Ведь мы впервые прочли такое удивительное повествование о том, как из неорганизованных, стихийных сил образуется революционная армия — великий сознательный поток, скрепленный большевистской организацией и дисциплиной.

А. Серафимович показывает Кожуха как сознательного вожака армии и воспитателя народных масс. В таджикской прозе подобными Кожухами стали Пу-

лат в романе Р. Джалила и Хайдаркул в трилогии Дж. Икрами.

Таким образом, творчество А. Серафимовича стало великим моральным богатством таджиков. Его произведения, наряду с лучшими поэмами и повестями, романами и рассказами других русских советских писателей, послужили школой социалистического реализма для всех литераторов нашей страны и поныне остаются хрестоматийными.

На книжных полках таджиков «Железный поток» стоит рядом с такими книгами, как «Разгром» А. Фадеева, «Чапаев» Д. Фурманова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. Островского.

... Вот мои памятные невстречи с прекрасным художником, выдающимся мастером слова Александром Серафимовичем. А может быть, все-таки это были встречи?.. Памятные встречи...

1976

Николай Тихонов

О СОЗДАТЕЛЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Горький как-то назвал писателей «живописцами слова». Когда я впервые читал «Железный поток» и передо мной вставали образы неповторимого похода масс, руководимых человеком небывалой воли и энергии, выдержки и нравственного совершенства, я невольно думал об изображении этого события в живописи, но особенно в скульптуре. Какой-нибудь громадного протяжения фриз великолепно вобрал бы в себя и предельно выразительно передал бы именно народность, именно революционную направленность, непреклонность этих мужчин, женщин, подростков, всю трагичность обстановки, всю сумму перенесенных ими бедствий и страданий.

Но Серафимович нашел слова, которые и по прошествии многих лет все равно заставляют читателя почувствовать всю глубокую правду жизни в этом повествовании и ощутить, увидеть краски и живописные богатства, которыми наполнена книга.

Я долго думал, что сила этого произведения заключается, наверное, еще в том, что автор сам участвовал в этом походе. Даже когда я узнал, что это не так, что Серафимович не имел отношения к этому эпосу, я представлял его себе похожим на Кожуха: «И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинуты-

ми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа».

Этот образ победившего героя, особенно его удивительная «почернелость», о которой так верно говорит автор, соединялся у меня с обликом самого писателя, потому что, думал я, наверное, он кое-что взял от себя и себя вообразил идущим по бесконечным дорогам через степи и горы и по взморью... В общем, мне хотелось, чтобы автор напоминал своего героя.

Когда же я увидел его в первый раз на Всесоюзном съезде писателей, он оказался совсем другим и не менее интересным. Ему было уже много лет. Он был худ, то ли наголо выбрит, то ли совершенно лыс. Лицо было чуть скуластое, седые усы строги и крепки, глаза светились умным огнем. Старость еще не имела над ним своей угнетающей власти. Чувствовалось, что он устает, что он ощущает годы на своих широких плечах, голос чуть хрипит, но он еще силен и может сказать такое, что он один знает, и это будет слово, очень важное для писателей, особенно молодых.

Я смотрел на него и не искал больше в нем черт Кожуха. Это было ни к чему. Я все знал о нем, и о том, как уважал его Владимир Ильич Ленин, как ценил его правдивый, высокий талант, и о том, как сложилась его нелегкая биография писателя-революционера, какой долгий и трудный путь прошел он в те годы, когда писатели делились на писателей по ту и по эту сторону баррикады, как он вкладывал свои силы в дело защиты Октября, — много я знал о нем, и его появление на съезде было символическим соединением писателей молодых с писателем-классиком советской литературы. Он был окружен любовью и вниманием, и это было очень хорошо.

Вокруг него всегда была толпа писателей, среди которых были и писатели разных народов, писатели с Кавказа, из степей Ставропольщины, с берегов Кубани, столь близкой его сердцу.

Годы шли. Я, живущий в Ленинграде и бывающий в Москве только редкими наездами, много лет не видел его. В осажденный Ленинград в январе 1943 года дошла весть о том, что старейшему советскому писателю Александру Серафимовичу Серафимовичу исполни-

лось восемьдесят лет. Писатели Москвы обратились к нему с добрым словом, указывая, что «не одно поколение советских людей училось и учится на ваших произведениях беззаветной вере в силы народа, горячей любви к родине, гуманизму и неистребимой ненависти к врагам трудящихся, к фашистам».

И действительно, в эти дни, наполненные гулом боев за самое священное, что есть на свете, — свободу и человека, родину и ее будущее, среди немногих книг, лежавших в блиндажах и землянках и много говоривших солдатскому сердцу, была и книга Серафимовича «Железный поток». Так же поражала она суровые сердца, так же вызывала приток мужества и желание неистового боя с врагом, потерявшим человеческие черты. Те ужасы, что творили белые над участниками ковтюховского похода, творили сегодня пришлые черномундирники, и не было предела тем мучениям и страданиям, что выпали на долю советских людей.

В далеком, отрезанном врагом Ленинграде я вспоминал в тот день славного юбилея высокую, знакомую фигуру и думал, как трудно ему сейчас, как переживает он великую трагедию новой войны, сколько ему надо сил, чтобы быть мобилизованным и дожить до дня победы.

Но я вспомнил его и тогда, когда узнал, что именно от города, носящего его имя, — Серафимовича — началось наше историческое наступление, чтобы окружить врага под Сталинградом. Думаю, что это событие наполнило радостью сердце старого писателя не меньше, чем когда он узнавал, что его книга на вооружении бойцов на всех фронтах.

Я мысленно пожелал автору «Железного потока» здоровья и новых сил, тех сил, которые так нужны были всем нам. И снова шли времена. Война окончилась. Земля, покрытая развалинами городов и селений, вздохнула облегченно. Новые цветы выросли рядом с подбитыми танками и пушками, новые люди, взявшие Берлин, принялись за восстановление родной страны. Все наполнилось новым гулом — работ, труда, радости.

В такие вдохновляющие дни, чуть подернутые грустью о невозвратных потерях, особо чувствовалось дыхание жизни — в каждой цветущей ветке, в каждом

распахнутом на улицу окне, где светились свежие цветы, в каждом прохожем, куда-то спешившем, в каждом ребенке, игравшем на бульваре в песке.

Теперь я часто видел Александра Серафимовича, потому что жил в доме на улице, которая носила его имя. Улица эта необычна, как необычен и тот, в честь кого она названа. Эта улица состоит всего из двух домов! Один — неимоверной величины, и если бы его размножить на целые улицы небольших домов, то вышел бы приличный районный центр, целый город, — так много в нем обитает людей; а второй дом небольшой, обыкновенный, взирающий с некоторым трепетом на своего величественного соседа.

Серафимович ходил по улице собственного имени, лежащей между двумя мостами, и в этом не было ничего необыкновенного. Он достиг естественной известности. На Дону стоял город его имени, в Москве была улица, на которой он жил. Он стал старше годами, лицо его стало сосредоточенней, усы достигли предельной белизны, он еще более высох фигурой и стал казаться от этого еще выше. Но глаза сохранили прежний живой блеск, и он умел пошутить и сказать добрую народную поговорку. Все почтительно приветствовали его и смотрели вслед, когда он проходил. Он уже стал куском живой революционной истории, легендой о героических далеких временах, которые на фоне пережитых лет Великой Отечественной войны светились своим, непотухающим светом.

Он ходил в Союз писателей, сидел и слушал внимательно разные дискуссии, вставал и говорил, что он думает, и слова его были справедливы, хотя временами он довольно жестко высказывал свое мнение.

То же, что ему казалось сто́ящим в литературе, он приветствовал искренне и с какой-то детской улыбкой.

Правда, выходы из дому стоили ему все большего труда. И лестницы и пригорки на даче ему давались с большим напряжением. Здоровье его было уже расшатано, и старость положила ему на плечи свои тяжелые руки. И наконец я встретился с ним в больнице, где он лежал. Я пришел его навестить. Я застал у его постели еще одного друга-литератора. Александр Серафимович пришел в хорошее настроение, и вдруг в его ослабевшем большом теле прошло какое-то со-

дрогание, он выпрямился, сел на кровати, опираясь на подушки, и начал нам рассказывать помолодевшим голосом, так что лицо порозовело, о родном Доне, о его станицах, о виноградниках, о людях тех мест, о своей юности.

Мы слушали, эгоистически забыв, что не надо так много говорить Александру Серафимовичу, не надо так волноваться, но мы не могли прервать его рассказы. А воспоминания о прошлых далеких веснах сменились веселыми рассказами о ярмарках, об анекдотических старых казаках, о красавицах казачках, и так красочны были эти рассказы, так плавно лилась обычно замедленная последние годы речь писателя, вспоминавшего прошлое, что мы только жалели, что это невозможно записать, что эти рассказы не дойдут до широкого читателя.

Как будто собрав свои последние силы, писатель хотел поделиться с нами так нравившимися ему самому воспоминаниями. Ему было радостно, горько, приятно, сладостно погружаться в годы молодости, проходить зелеными станичными уличками, перелезать через изгороди, идти к широкой реке, рассказывать о своих приятелях, о своих веселых подружках юности, о рыбачьих кострах, о всем, что жило еще в нем, скопилось за долгие годы, придавало силы на старости лет.

Мы слушали как зачарованные. Не хотелось уходить от него, не хотелось прерывать этот поток мыслей. Мы знали, что ему будет потом трудно, потому что наступит усталость, но сейчас он не думает о ней. Он весь там, на солнечном юге, где его родина, где качаются деревья, которые он знал тростинками, где ходят старые друзья его юных лет, где так же несет свои волны тихий Дон...

Он даже, слегка подмигнув нам, заявил, что надо взять хорошую лодку и летом махнуть нам всем по реке. Вот уж он нам покажет, где что самого замечательного. Вот это будет поездка! Мы не сомневались, что это будет изумительно. Мы дали свое согласие, только при условии, что он будет нашим вожаком...

Мы оставили его уже усталого, розового, смеющегося, довольного...

Никакого плаванья вместе нам не удалось совершить. Но всегда, когда я вспоминаю Александра Серафимовича, я вижу его так, как видел в первоначальном представлении, то есть идущим впереди неисчислимого человеческого железного потока, как будто он Кожух. И вижу его на борту большой лодки, плывущего в несостоявшемся походе по Дону, как будто он наш вдохновенный, неутомимый вожак, вижу с его последней лукавой улыбкой, с большими, сияющими глазами, полного необыкновенной жизненной силы!

1961

ОБ АВТОРАХ

АМЕТИСТОВ Михаил Евгеньевич — журналист, встречался с А. С. Серафимовичем во время боев за Орел (1943 г.).

АНГАРСКАЯ Мария Николаевна — журналистка, дочь известного профессионального революционера, редактора, издателя, литературного критика Николая Семеновича Клестова-Ангарского, опубликовавшего в 1924 году впервые роман «Железный поток». М. Н. Ангарская с детских лет бывала в семье А. С. Серафимовича.

БИБИК Алексей Павлович (1877—1976) — русский советский писатель. С 1895 года — участник революционного движения. За революционную деятельность подвергался арестам и ссылкам.

ВОСТОКОВ Евгений Иванович — генерал-майор запаса, заслуженный деятель искусств РСФСР, более 20 лет являлся начальником отдела культуры Главпура Советской Армии и Военно-Морского Флота.

ГИДАШ Антал — выдающийся венгерский писатель и общественный деятель, был связан личной дружбой с А. С. Серафимовичем.

ГРИШАЕВ Василий Никитич — поэт, прозаик. Один из литературных воспитанников А. С. Серафимовича.

ДАВЫДОВ Михаил Карпович — земляк А. С. Серафимовича по станице Усть-Медведицкой (гор. Серафимович), преподаватель русского языка и литературы.

ДЗИГАН Ефим Львович — народный артист СССР, профессор, режиссер кинофильма «Железный поток».

ЕРШОВ Григорий Александрович — прозаик, критик, заслуженный работник культуры РСФСР, зампредседателя комиссии СП СССР по литературному наследию А. С. Серафимовича.

ЖАК Вениамин Константинович — поэт, земляк А. С. Серафимовича.

ИВНЕВ Рюрик (Ивнев-Ковалев Михаил Александрович) — старейший писатель, работал в 20-е годы с А. С. Серафимовичем в Наркомпросе.

ИЛЬЕНКОВ Василий Павлович (1897—1967) — писатель, один из литературных воспитанников и близких друзей А. С. Серафимовича.

ИСБАХ Александр (Исбах-Бахрах Александр Абрамович), (1904—1977),— прозаик, долгое время был председателем комиссии СП СССР по литературному наследию А. С. Серафимовича.

КАРАВАЕВА Анна Александровна — советская писательница. Была многие годы хорошо знакома с А. С. Серафимовичем.

КОЗЛОВ Иван Андреевич (1888—1957) — русский советский писатель. В 1905 г. вступил в РСДРП, участвовал в революционном движении, в 1918—1919 гг. вел подпольную работу в тылу белогвардейских войск на Украине и в Крыму. Повесть «Встряска», вышедшая в 1926 г. и посвященная событиям революции 1905 года, была сочувственно встречена А. С. Серафимовичем. В начале Великой Отечественной войны Козлов И. А. — секретарь Крымского подпольного партийного центра.

КОНИЧЕВ Константин Иванович — прозаик, очеркист, мемуарист, знал А. С. Серафимовича по встречам в городах Архангельске, Ленинграде и Москве.

КРАВЧЕНКО Федор Тихонович — советский прозаик, один из литературных воспитанников А. С. Серафимовича.

КРЕТОВА Ольга Капитоновна — воронежская писательница.

КУЗЬКО Петр Авдеевич (1884—1963) — в 20-е годы работал ученым секретарем ЛИТО Наркомпроса под руководством А. С. Серафимовича и был его товарищем.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Алексеевич — советский прозаик и драматург, автор романа «Крылья буревестника».

ЛОМТАТИДЗЕ Елизавета Вениаминовна (1889—1958) — член КПСС с 1917 года, революционер-профессионал, хорошо знавшая А. С. Серафимовича по совместной работе в Московском Совете рабочих депутатов, а также по Военно-революционному комитету гор. Москвы в 1917 году.

НАЛБАНДЯН Дмитрий Аркадьевич — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР.

НЕРАДОВ Г. (1882—1972; Шатуновский Георгий Борисович) — писатель, редактор собраний сочинений А. С. Серафимовича.

НОВИКОВ Игорь Александрович — доктор медицинских наук, профессор, сын писателя А. С. Новикова-Прибоя.

НОВИЦКИЙ Константин Петрович (1879—1960) — член КПСС с 1904 года, в 1917 году — член редколлегии «Известий Московского Совета рабочих депутатов», где сотрудничал А. С. Серафимович.

ОШАЕВ Халид Дудаевич — чеченский советский прозаик-драматург.

ПЕТРОВ Виктор Иванович (1902—1976) — воронежский писатель, партийный работник, долгие годы руководил воронежской писательской организацией.

ПЕТРОВ Владимир Александрович (1893—1974) — свояк А. С. Серафимовича, в студенческие годы жил в семье писателя.

ПЕШКОВА Екатерина Павловна (1878—1965) — жена А. М. Горького.

ПОДОБЕДОВ Максим Михайлович — старейший воронежский писатель.

ПОПОВ Игорь Александрович — инженер, член КПСС с 1918 г., сын писателя А. С. Серафимовича.

РАХИЛЛО Иван Спиридонович — советский прозаик.

САННИКОВ Григорий Александрович (1899—1969) — поэт, один из основателей литобъединения «Кузница», принимал активное участие в работе редколлегии журнала «Октябрь», главным редактором которого был А. С. Серафимович.

САЯНОВ Виссарион Михайлович (1903—1959) — советский писатель. Начал литературную деятельность в литобъединении «Кузница», один из литературных воспитанников А. С. Серафимовича.

СЕМЕНОВ Сергей Иванович — прозаик, критик, один из старейших литераторов Дона, земляк писателя.

СЕЛИВАНОВ Георгий Александрович — доктор филологических наук, завкафедрой русского языка в Ивановском государственном университете.

ТОПОРКОВ Петр Иванович — бывший председатель исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся гор. Серафимовича.

ФЕДОРОВ Павел Ильич — прозаик, в годы Великой Отечественной войны командир конной разведки корпуса генерала Доватора.

ФИЛАТОВ Александр Федорович — рабочий поэт, воспитанник литобъединения «Вальцовка», один из литературных воспитанников А. С. Серафимовича.

ФИЛАТОВ Николай Сергеевич — комсомольский и партийный работник, бывший начальник политотдела совхоза «Зендиково», полковник в отставке.

ШВЕДОВ Яков Захарович — советский поэт, воспитанник рабочего литобъединения «Вальцовка».

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ
ОБ
А. С. СЕРАФИМОВИЧЕ

Сборник

М., «Советский писатель», 1977, 592 стр. План выпуска 1977 г. № 79.

Художник *В. В. Локшин.* Редактор *Н. Д Костржевская* Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев.* Техн. редактор *Л. П. Полякова.* Корректор *Л К. Фарисеева.*

ИБ № 843

Сдано в набор 22/IV 1977 г. Подписано к печати 25/VIII 1977 г. А 09549. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип № 3. Печ. л. 18$^{1}/_{2}$+0,5 вкл. Усл. печ. л 31,92. Уч.-изд. л. 30,0. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1243. Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.